ЖОРЖ БЕРНАНОС

Под солнцем Сатаны

•

Дневник сельского священника

•

Новая история Мушетты



Под солнцем Сатаны. Дневник сельского священника. Новая история Мушетты

Жорж Бернанос

Аннотация
Жорж Бернанос
— ПОД СОЛНЦЕМ САТАНЫ —
Пролог. МУШЕТТА
I
II
III
IV
Часть первая. ИСКУШЕНИЕ ОТЧАЯНИЕМ
I
II
III
IV
Часть вторая. ЛЮМБРСКИЙ СВЯТОЙ
I
II
III
IV
V
VI

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
— ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА —
I
II
III
— НОВАЯ ИСТОРИЯ МУШЕТТЫ —
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая

Аннотация

Жорж Бернанос (1888–1948) — один из крупнейших французских писателей, с которым русский читатель знаком по нескольким новеллам. В настоящий сборник включены три наиболее зрелых и сильных произведения Бернаноса: «Под солнцем Сатаны», «Дневник сельского священника» и «Новая история Мушетты». Писатель ставит проблемы, имеющие существенное значение для понимания духовной жизни человека. Бернанос отдает свои симпатии людям обездоленным. Страдающие, подчас отчаявшиеся, они находят в себе силы для любви, добра.

Жорж Бернанос

— ПОД СОЛНЦЕМ САТАНЫ —

Пролог
МУШЕТТА
I

Настает вечер — пора, излюбленная П.-Ж. Тулэ. Раздвигаются пределы пространств, налившихся прозрачностью безмолвия, — на закате большое облако цвета слоновой кости, и во всю ширь меркнущего неба, от края и до края, безмерное, уже дышащее ледяным холодом, одиночество… Настает час поэта, перегонявшего жизнь в змеевике своего сердца, дабы выкурить сокровенный сок ее — благоуханную отраву.

Уже ворочается в полумраке людское сонмище, тысячеокое, тысячеустое, уже кипит и блистает бульвар… Он же, облокотившись на мраморный стол, глядит, как ночь распускается, подобно цветку лилии.

Пришел час начать повесть о Жермене Малорти из Терненка, городка в графстве Артуа. Отец ее был отпрыском Малорти из Булонэ, потомственных мельников и торговцев мукою — людей одной закваски, из тех, что выжмут все до гроша из мешка пшеницы, но любят вместе с тем раз-

мах в деле и радости жизни. Малорти-старший первый основался в Кампани, женился здесь и, променявши пшеницу на жито, занялся политикой и пивоварением, но то и другое выходило у него весьма посредственно. Мучные торговцы из Девра и Маркиз тотчас решили, что с ним приключилось буйное помешательство и что не миновать ему нищенской сумы, коль скоро опозорил торговцев, никогда и ни от кого ничего не хотевших, кроме приличного барыша. «У нас в роду испокон века одни либералы», — говорили они, давая тем самым понять, что были и остаются безупречными торговцами. А мятежные идеологи — о, злая насмешка Времени! оставляют по себе сугубо мирных потомков: полчища духовных наследников Бланки корпят над бумагами в регистратурах, а в церковных ризницах не протолкаешься среди учеников Ламенне.

В Кампани живут две важные птицы. Во-первых, врач Гале, впитавший премудрость требника Распайля. Он депутат от своего округа и с величавых высот, куда вознесла его судьба, все еще обращает печальный взор к утраченному раю мещанского бытия, к своему захолустному городишке и обитой зеленым репсом гостиной дома, где зрели великие помыслы сего ничто-

жества. Он искренне верит, что представляет опасность для государства и собственности, и, печалуясь о том, надеется отдалить крушение любезных его сердцу установлений, отмалчиваясь и воздерживаясь от голосования.

— Почему ко мне так несправедливы? — воскликнул однажды сей призрак с искренний горечью в голосе. — У меня как-никак совесть есть!

Во-вторых, г-н маркиз де Кадиньян, живший там подобно королю без королевства. Черпая сведения о жизни большого мира из «Светских новостей» в «Ле голуа» и раздела «Современная политика» в «Ревю де Де монд», он не оставил еще намерения возродить во Франции забытое искусство соколиной охоты. К несчастью, поелику загадочные норвежские кречеты со знаменитой родословной, за которых были плачены большие деньги, не оправдали надежд и опустошили его кладовые, маркиз свернул шею пернатым тевтонцам и теперь натаскивал на жаворонков и сорок более скромных соколов-пустельг. В досужее время он волочился за местными девчонками, — во всяком случае, так поговаривали: сплетникам должно было довольствоваться злословием и пересудами, ибо почтенный муж охотился на

запретную дичь сугубо частным образом, выслеживая ее бесшумно, как волк.

II

Малорти-старший прижил с супругою дочь, которую, в порыве республиканских чувств, пожелал наречь Лукрецией. Школьный учитель искренне убежденный в том, что добродетельная римлянка была матерью Гракхов, произнес по сему поводу небольшую речь, напомнив кстати, что Виктор Гюго первый восславил великую дщерь человечества. И вот впервые сие достославное имя украсило свидетельство о рождении. К сожалению, снедаемый угрызениями совести пастырь советовал не спешить, пока не получено архиепископское одобрение, так что пылкому пивовару пришлось скрепя сердце смириться с тем, что дочь окрестили Жерменой.

— Я бы ни за что не уступил, если бы родился мальчик, — заметил он, ну, а девочка…

Барышне исполнилось шестнадцать лет.

Однажды вечером, когда семейство собиралось ужинать, Жермена внесла в столовую полное ведро парного молока… Едва сделав несколько шагов, она вдруг остановилась. Ноги ее подкоси-

лись, лицо покрылось бледностью.

— Боже мой! — вскричал Малорти. — Девочке дурно!

Бедняжка притиснула обе руки к животу и расплакалась. Госпожа Малорти так и впилась взглядом в глаза дочери.

— Выйди на минутку, отец, — промолвила она.

Как часто случается, после бесконечных смутных подозрений, о которых и говорить-то едва решаются, правда вдруг вышла вся наружу, грянула громом средь небес. Ни мольбами, ни угрозами, ни даже побоями ничего не добились от упрямицы: она лишь по-детски плакала. Даже самая недалекая женщина оказывает в подобных крайностях мудрое хладнокровие, которое есть несомненно наивысшее выражение бессознательной прозорливости. В обстоятельствах, приводящих мужчину в замешательство, она упорно молчит. Ей-то отлично известно, что распаленное любопытство вытесняет гнев.

Тем не менее по прошествии седмицы Малорти сказал жене, попыхивая своей любимой трубочкой:

— Пойду завтра к маркизу. Чую, это он. Нутром чую.

— К маркизу! — воскликнула она. — Погубит

тебя твоя горячность, Антуан... Ведь ты ничего не знаешь наверное... Посмеется он над тобой, помяни мое слово!

— Там увидим, — молвил супруг. — Десять уже, ложись спать.

Однако, когда на следующий день он ждал своего грозного противника, покоясь в просторных кожаных креслах в его передней, ему представилась вдруг с ясностью вся неосторожность затеянного им. Гнев его несколько остыл, и он подумал: «Не наломать бы дров...»

Ему казалось поначалу, что он в состоянии спрятать в карман самолюбие и повести дело с мужицкой хитростью, как поступили бы на его месте многие. Но страсть заглушила в нем голос рассудка, и он не понимал, что она говорила ему.

О ту пору Жану де Кадиньяну стукнул пятый десяток. То был невысокий, уже огрузневший мужчина, носивший во всякое время костюм коричневого бархата, в котором казался еще более тучным. Тем не менее маркиз умел обольстить своеобразной обходительностью и учтивостью уездного волокиты, коими пользовался необыкновенно искусно. Как и многих одержимых бесом сладострастия мужчин, маркиза выдавала речь, сколько бы ни старался он, находясь в обществе

женщины или воображая ее рядом с собой, казаться резким, властным, даже грубым. Голос его, где слышались нотки избалованного ребенка, был замечательно гибок и обилен оттенками, настойчив, ласков и вкрадчив. Кроме того, он унаследовал от матери, уроженки Ирландии, бледно-голубые, сверкавшие леденистым блеском глаза, прозрачные и пустые.

— Добрый день, Малорти. Присаживайтесь.

Малорти действительно встал при появлении маркиза. Во время ожидания он приготовил небольшую речь и теперь с удивлением обнаружил, что все слова вылетели у него из головы. Он начал говорить как во сне, ожидая, когда отхлынет гнев.

— Господин маркиз, я пришел говорить о нашей дочери.

— Вот как!

— Поговорим, как мужчина с мужчиной. Пять дней тому назад я сделал одно открытие, и с тех пор все время думал, взвешивал «за» и «против». Дело вполне можно уладить полюбовно, вот я и решил переговорить с вами, прежде чем прибегнуть к другим средствам. Не дикари же мы, в самом деле!

— Каким же, любопытно? — осведомился мар-

киз. — Не подумайте только, что я смеюсь над вами, — продолжал он тем же спокойным голосом, — но, черт возьми, вы меня удивляете! Мы с вами уже не в том возрасте, чтобы лукавить и ходить вокруг да около. Хотите, я скажу, что у вас на уме? Пожалуйста. Девочка забеременела, и вы ищете папу своему будущему внуку… Ну что, прав я?

— Ребенок ваш! — тотчас вскричал пивовар.

Невозмутимость толстяка подействовала на него, как ушат холодной воды. Среди всех доводов, последовательно и тщательно обдуманных им и казавшихся ему неопровержимыми, он не находил теперь ни одного, который осмелился бы высказать хотя бы в виде предположения. Уверенность в своей правоте развеялась, как дым.

— Оставим шутки, — продолжал де Кадиньян. — Я не позволю себе никакой неучтивости по отношению к вам, не выслушавши прежде ваши доказательства. Мы знаем друг друга, Малорти. Вам известно, что я не чураюсь женского пола. А кто не грешит! Но стоит какой-нибудь девчонке принести в подоле, как ваши треклятые кумушки начинают перемывать мне косточки: «конечно, он…», «кажется», «похоже на это…» Да что в самом деле! Времена господ кончились.

Я беру то, что мне позволено взять. Республика существует для всех, черт побери!

«Эк, куда хватил! Республика!» — воскликнул мысленно оторопевший пивовар, приняв сию исповедь за дерзкий вызов, хотя маркиз говорил чистосердечно, и сам Малорти как истый мужик благоволил в душе власти, устраивающей состязания сельских хозяев и награждающей владельцев самой тучной скотины. К тому же обитатель Кампаньского замка рассуждал о политике и истории почти так, как рассуждал бы самый захудалый из его испольщиков.

— И что же? — спросил Малорти, все еще чая определенного ответа.

— А то, что я прощаю вас за то, что вы, как говорится, попались на удочку. Вы сами, ваш чертов депутат, да и вся местная шушера такого наплели обо мне, что я гляжу прямо Синей Бородой. Маркиз то, маркиз се, крепостничество, всевластие феодала — какой вздор! Разве я не имею права на справедливость? Будьте же справедливы и честны, Малорти! Скажите без утайки, какой дурак советовал вам прийти сюда ко мне, наговорить неприятностей да вдобавок и наклепать на меня? Поди, женщина? Вот сучье племя!

Маркиз весело расхохотался, будто сидел с при-

ятелем в кабаке.

Пивовару самому хотелось облегченно засмеяться, как если бы, после утомительного торга, заключилась наконец желанная сделка. Засмеяться и сказать: «По рукам! Идемте выпьем, господин маркиз! У нас, французов, приятельство в крови».

— Но послушайте, господин де Кадиньян, — со вздохом возразил он, — даже если бы у меня не было никаких улик, здесь всякий знает, что вы давно уже обхаживали девчонку. Да что говорить, месяц тому назад я своими глазами видел, как вы сидели рядком на краю канавы у выгона Леклера, как перейдешь дорогу на Вай. Думал, ну, полюбезничает дочка немного, и конец. Она ведь помолвлена с сыном Раво. И девка такая самолюбивая! Да уж что сделано, того не воротишь. Вы человек состоятельный, благородный, не мне вас учить, как поступают люди порядочные… Я, конечно, не требую, чтобы вы женились на ней, не так глуп. Только нельзя же обходиться с нами, как с последними собаками: попользовался — и в сторону, а мы теперь сраму не оберемся.

Последние слова пивовар, сам того не замечая, проговорил с чисто крестьянским лукавым простодушием, голос его звучал искательно и

немного жалобно. «Он не смеет отрицать, — думалось ему, — он хочет сделать мне какое-то предложение, и он сделает его». Однако грозный его противник не открывал рта.

Минуту или две молчание не нарушалось, лишь слышался в отдалении звон наковальни. Стоял чудный августовский день, наполненный свистом птиц и гудением насекомых.

— Ну, так что же? — промолвил наконец маркиз.

Пивовар, собравшийся с духом во время краткой передышки, возразил:

— Сделайте же ваше предложение, сударь.

Но собеседник, мысли которого шли своим ходом, спросил:.

— А что, давно ли она виделась последний раз с этим Раво?

— Откуда мне знать?

— А между тем это могло бы привести нас в ясность, — благодушно продолжал маркиз, — не худо бы разузнать… А эти папаши так глупы! Я бы в два часа представил вам виновника, он бы и не пикнул…

— Вот те на! — только и мог выговорить пораженный пивовар.

Бедняга не очень хорошо был знаком с тем наи-

высшим выражением наглости, которое умники называют цинизмом.

— Любезнейший Малорти, — тем же голосом продолжал маркиз, — не мне давать вам советы. К тому же человек вашего склада, попавши в беду, не принимает их. Вот что я вам скажу по-простому: приходите через неделю. Успокойтесь, поразмыслите на досуге, держите все в тайне и не ищите виновных, не то нарветесь на человека не столь терпеливого, как я. Кой черт, вы взрослый мужчина! У вас ни свидетелей, ни писем, ровным счетом ничего. А за неделю, глядишь, языки развяжутся, и из какого-нибудь пустяка можно будет извлечь немалую выгоду. Представьте, является вдруг… Надеюсь, вы меня поняли, Малорти? — заключил он весело.

— Похоже, да, — ответствовал пивовар.

На мгновение искуситель заколебался, голос его дрогнул. «Будь начеку! Он хочет, чтобы я выложил все, что держу про запас», — подумал Малорти. Сей знак слабости ободрил его. К тому же поднимавшийся в нем гнев все больше туманил ему рассудок.

— Разведывайте и оставьте девочку в покое, — заговорил снова маркиз. Тем более что вам ничего не удастся из нее вытянуть. Эту птичку

так просто не поймать, она что твой коростель — бегает в клевере под самым носом наилучшей собаки, так что и старого спаниеля с ума сведет.

— Вот-вот, это самое я и хотел сказать, — согласился Малорти, подкрепляя каждое слово наклонением головы. — Я сделал, что мог. Хорошо, я подожду неделю, две недели, сколько угодно. Малорти никому не задолжал, а коли его дочь пошла по кривой дорожке, пусть на себя и пеняет. Она достаточно взрослая, чтобы грешить, сама и постоит за себя!

— Послушайте, не болтайте пустое, — попытался остановить его маркиз.

Но пивовар шел напролом. Он решил припугнуть де Кадиньяна.

— От красивой девчонки не так просто отделаться, как от старого простофили, господин Кадиньян, это вам всякий скажет… Вас тут знают как облупленного, да она сама скажет вам все как есть, тысяча чертей! При честном народе, глядя вам в глаза! Будьте покойны, моя дочка не даст себя в обиду. А если ничего не выйдет, от зубоскалов, во всяком случае, пощады не ждите.

— Хм, любопытно было бы видеть.

— А вот увидите! — вскричал Малорти.

— Спросите-ка ее, — возвысил голос и мар-

киз, — спросите ее сами, любезнейший!

На мгновение пивовару представилось бледное решительное личико, хранящее непроницаемое выражение, и гордый рот, за целую неделю так и не выдавший ему тайны…

— Хватит юлить! Она все открыла своему отцу! — воскликнул он и отступил на два шага.

На миг во взоре маркиза мелькнула нерешительность, глаза его скользнули от лица пивовара вниз, потом вверх, и вдруг взгляд их отвердел. В бледно-голубых зрачках зажегся зеленый огонь. Если бы Жермена была здесь, она прочла бы в них свою судьбу.

Де Кадиньян отошел к окну, захлопнул створки и, по-прежнему не говоря ни слова, возвратился к столу. Передернув сильными плечами, он приступил вплоть к своему гостю и сказал лишь:

— Поклянись, Малорти!

— Клянусь!

Едва сия ложь слетела с уст пивовара, как он уверил себя в том, что прибег к вполне невинной хитрости. Да и уж очень ему не хотелось идти на попятный. Лишь некая мысль мелькнула в его голове и, хотя он не успел сознать ее, заронила ему в душу неясную тревогу. Он смутно почувствовал, что выбрал неверную дорогу и зашел так

далеко, что ничего уже поправить нельзя было.

Он ждал взрыва, он хотел его. Но голос неприятеля звучал спокойно:

— Уходите, Малорти. На сегодня, пожалуй, хватит. Оба мы, вы по-своему, а я по-своему, ходим в дураках из-за этой лживой поганки. Берегитесь же! Надеюсь, ваши советчики достаточно умны и остерегут вас от некоторых глупостей, а самой большой глупостью было бы стараться запугать меня. Пусть думают обо мне что угодно. Плевать! В конце концов существует ведь на что-нибудь и суд. В добрый час!.. А теперь прощайте!

— Что ж, поживем — увидим! — отповедал наш пивовар исполненным благородства голосом и, покуда раздумывал, что бы еще такое примолвить, обнаружил вдруг, что стоит на улице в одиночестве и совершенном замешательстве. — Вот бесов сын, — проговорил он, пришед несколько в себя, подсунет тебе барды вместо жита, а ты ему еще и спасибо скажешь…

На обратном пути он перебирал в уме все подробности происшедшего разговора и, как водится, старался представить свое поведение в выгодном для себя свете, однако, как человек трезвого ума, не мог не сознавать того, что жестоко уязвляло его гордость. Великая встреча,

от которой он столько ждал, ничего не решила. Да и последние, исполненные тайного смысла, слова Кадиньяна не давали ему покоя, внушая тревогу перед будущим. «Оба мы, вы по-своему, а я по-своему, ходим в дураках…» Видать, девчонка обвела их вокруг пальца.

Подняв глаза, он увидел среди дерев свой чудный дом из красного кирпича, бегонии на лужайке, дым, столбом поднимающийся из трубы пивоварни к вечернему небу, и тягостные мысли тотчас отлетели прочь. «Ничего, я свое возьму, — подумал он. — Год будет удачный». В продолжение двадцати лет он лелеял мечту стать однажды соперником маркиза. И вот свершилось. Неспособный к отвлеченным представлениям, но безошибочно чуявший все то, что ценится в жизни земной, он не сомневался более в том, что стал первым человеком в родном городке, что принадлежал отныне сословию господ, по образу и подобию которых испокон века складывались законы и обычаи, сословию полуторговцев, полурантье, владельцев газогенераторного двигателя — знамения современной науки и прогресса, — вознесшись как над именитыми земледельцами, так и над лекарем-политиком, который есть всего лишь мещанин-отщепенец. Он решил, что

когда дочери придет время рожать, отправит ее в Амьен. По крайней мере он мог положиться на скромность маркиза. С другой стороны, нотариусы в Вадикуре и Салене не скрывали более скорой продажи замка. Вот когда умыслил посчитаться с недругом своим честолюбивый пивовар. О лучшей мести он и не мечтал, ибо ему недоставало воображения желать смерти соперника. Он был из породы людей, которые умеют вынашивать ненависть, но которых ненависть не окрыляет.

…Было июньское утро. Ясное, звонкое, свежее июньское утро.

— Поди посмотри, как скотина ночь провела, — велела мать (шесть красавиц коров со вчерашнего дня паслись на выгоне)… Снова Жермена увидит острый клин Совского леса, сизый холм, ширь убегающей к морю равнины и на краю ее песчаные, освещенные солнцем увалы.

Воздух уже теплеет, и дали курятся паром; на дне лощины, где лежит дорога, сумрак, и пажити вокруг, поросшие корявыми яблонями. Свет так же свеж, как росные капли. Снова она увидит шестерых красавиц коров, услышит их сопение и кашель в ясном утреннем воздухе. Снова вдохнет влажную мглу, отзывающую корицей и дымом, —

от нее щиплет в горле и неодолимо хочется петь. Снова увидит воду в дорожных колеях, огнем вспыхивающую от лучей восходящего солнца… Но еще чудеснее будет, когда она увидит на опушке леса своего рыцаря: справа и слева от него помещаются его псы Закатай и Лютый, а он стоит, словно король, в бархатном костюме и тяжелых сапогах, сжимая в зубах вересковую трубку.

Они встретились три месяца назад, в воскресенье, по дороге в Девр. Шагая бок о бок, дошли до первых домов… Во все продолжение пути в ее уме звучали отцовы слова, вспоминались бесчисленные статьи из «Пробуждения Артуа», которые Малорти читал вслух, пристукивая кулаком по столу, рабство, темницы — оживали страницы из украшенной картинками книги о прошлом Франции — Людовик XI в островерхой шапке (за его спиной качается висельник, громоздится башня Плесси). Она отвечала собеседнику без притворной скромности, с очаровательной прямотой, высоко держа голову. И все же, когда мысли ее возвращались к отцу, пивовару республиканской закваски, она невольно поеживалась и холодок пробегал по коже: вот у нее и тайна, своя тайна!

В свои шестнадцать лет Жермена умела любить (а не мечтать о любви, что есть не более

чем игра по заранее известным правилам)… Жермена умела любить, то есть в душе ее созрела, словно чудесный плод, жажда наслаждения и приключений, отважная вера в себя, свойственная тем, кто бросается очертя голову навстречу неизвестности, чтобы все потерять или взять все, бесстрашно устремляется по пути, которым неизменно шло каждое новое поколение в нашем старом мире. Юная мещаночка с молочно-белой кожей, дремотным взглядом и удивительно нежными ручками склонялась над рукодельем в ожидании дня, когда настанет пора дерзать и жить. Смелая до крайности в мечтах и желаниях, но выказывавшая, вопреки всем трудностям, непреклонное благоразумие в решении деловых вопросов, после того как выбор ее был сделан. Что неведение, когда горячая кровь с каждым толчком сердца велит пожертвовать всем ради неведомого! Старая Малорти, рожденная богатой и некрасивой, даже не смела мечтать о чем-нибудь, кроме приличного брака, который решается простым движением пера нотариуса. Добродетель входила в число непременных качеств женщин ее круга. Но даже она весьма живо чувствовала зыбкость бытия любой женщины, подобного громоздкому строению, которое грозит

развалиться от малейшего толчка.

— Отец, — говаривала она своему пивовару, — нашу дочку надобно воспитать в набожности…

Вряд ли она могла бы объяснить почему, разве сказала бы, что так говорит ей сердце. Однако Малорти не поддавался:

— Зачем ей поп? Чтобы узнать на исповеди все то, чего ей знать не положено? Всем известно, что попы смущают детский ум.

Посему дочери было запрещено посещать уроки закона божия и даже, как он выражался, «этих святош, из-за которых и в самых крепких семьях начинаются свары». Отец смутно толковал и о тайных пороках, подтачивающих здоровье юных девиц, которым их основательно научают за стенами святых обителей. Любимым его присловьем было: «Монашки обрабатывают девчонок в пользу священника». И он заключал, пристукнувши кулаком: «Они подрывают в них уважение к будущему мужу!» Пивовар не терпел никаких вольностей в вопросе о власти супруга, единственной власти, которая, по мнению некоторых избавителей рода людского, должна быть безграничной.

Когда же госпожа Малорти сетовала на то, что у дочери нет подруг и она почти безвыходно сидит

в похожем на кладбище садике, среди подстриженных тисов, он говорил жене:

— Оставь ее в покое. Девчонки в этой проклятой стране до мозга костей пропитаны лукавством. Со своей благотворительностью, чадами Пресвятой Девы и прочим вздором священник каждое воскресенье битый час держит их при себе. Ох, не нравится мне все это! Если бы ты хотела научить ее жизни, ты бы послушалась меня да послала ее в Монтрейский лицей. У нее был бы уже диплом! А от подружек в ее годы добра не жди. Уж я-то знаю…

Вот какие речи держал Малорти под влиянием Гале, не оставшегося безучастным к столь щекотливым вопросам женского воспитания. Бедный коротышка, служивший некогда врачом в Монтрейском лицее, действительно знал немало о юных особах женского пола и не делал из сего тайны.

— В рассуждении науки… — промолвливал он иной раз, усмехаясь с видом человека, расставшегося со многими заблуждениями, снисходительно взирающего на любовные шалости человеков и к ним лично не стремящегося.

В саду, среди стриженых тисов, на совершенно пустой веранде, пахнувшей жженой замазкой,

честолюбивая девочка терпеливо ждала, сама не ведая чего, того, что никогда не случается, сколько ни жди… Отсюда пустилась она в дорогу, и суждено было ей познать то, что лежит по ту сторону Индии… К счастью для Христофора Колумба, земля кругла, и сказочная каравелла, едва отплыв от берега, уже возвращалась к нему. Но есть и другой путь, прямой, неуклонный, уводящий все дальше в сторону, путь, которым еще никто не возвращался. Если бы Жермена и те девушки, что пойдут по ее стопам завтра, умели изъяснить свои мысли, они, верно, сказали бы: «Зачем нам ваша правильная дорога, если она никуда не ведет?.. Зачем нам мир, круглый, как моток шерсти?»

Той, что, казалось, рождена была для жизни безмятежной, уготована роковая судьбина. Поразительное, непредсказуемое стечение обстоятельств, скажут иные. А между тем обстоятельства здесь ни при чем, ибо рок таился в ее сердце.

Если бы его самолюбие не было столь жестоко уязвлено, Малорти скорее всего во всех подробностях передал бы жене свой разговор с маркизом. Но он почел за благо на некоторое время утаить от нее свою тревогу и свое унижение, замкнув-

шись в гордом, исполненном угрозы молчании. К тому же злоба томила его, и он надеялся утолить жажду мести, приготовив внезапную развязку семейной драмы, жертвой которой должна была стать его дочь. Семья совершенно необходима многим тщеславным недоумкам, когда их постигает неудача, ибо там у них всегда есть, так сказать, под рукой несколько слабых созданий, на которых и самый отъявленный трус может нагнать страху. Ничтожество утешается в своем бессилии, причиняя страдания ближним.

И вот, едва семья отужинала, Малорти вдруг проговорил своим властным голосом:

— Дочка, мне нужно говорить с тобой!

Жермена подняла голову, медленно сложила на стол вязанье и стала ждать.

— Ты провинилась предо мной, сильно провинилась, — продолжал Малорти тем же голосом. — Когда дочь сбивается с пути, в дом приходит беда. Уже, может быть, завтра все будут указывать на нас пальцем. Это на нас-то, людей, чье доброе имя ничем не запятнано, которые честно ведут свои дела и никому ничего не должны! Дожили! Тебе бы просить у нас прощения да подумать вместе с нами, как жить дальше… А ты только слезьми себя изводишь, вздыхаешь да охаешь. Ничего не

скажешь, хныкать ты горазда! А вот чтобы рассказать отцу с матерью все начистоту, тут из тебя слова не вытянешь. Уперлась, и молчок! Так вот, чтобы у меня этого больше не было! — вскричал он, хвативши кулаком по столешнице. — Ежели и завтра услышу эту песню, худо тебе придется. Хватит лить слезы! Будешь говорить или нет?

— Ну что же, давайте поговорим, — отвечала бедняжка, чтобы выиграть время.

Вот и настал час, которого она с трепетом ждала, но в решительное мгновение все доводы, которые она целую неделю готовила в уме, явились все разом в мыслях и смешались в ужасающем беспорядке.

— Я только что виделся с твоим полюбовником, — снова заговорил отец, видел его своими глазами… Барышне подавай, видите ли, маркиза, от отцовского пива она нос воротит… Бедная невинность уже вообразила себя знатной дамой и хозяйкой замка с графами, баронами и пажом, чтобы таскал за ней шлейф!.. Ну вот мы наконец и потолковали по душам с твоим маркизом. Только прежде давай уговоримся, обещай мне не ловчить и повиноваться беспрекословно.

Она безмолвно плакала, часто вздрагивая телом, и взгляд ее полных слез очей был ясен. Она

не страшилась более позора, одна мысль о котором заранее приводила ее в ужас. Еще вчера, когда она ждала с часу на час взрыва, в голове ее колотилась одна мысль: «Я умру от стыда, просто умру!» И вот теперь она искала в себе стыд и не находила.

— Так ты будешь повиноваться мне? — настаивал Малорти.

— Чего вы хотите от меня? — спросила она.

Он задумался на миг:

— Завтра здесь будет господин Гале…

— Не завтра, — перебила она, — в субботу, к ярмарке.

Мгновение Малорти оторопело глядел на нее.

— В самом деле, совсем из головы вон, — молвил он наконец. — Ты права. В субботу.

Жермена вставила замечание ясным и спокойным голосом, какого прежде отец не слышал от нее. Хлопотавшая у печи мать издала горестный стон, пораженная в сердце.

— В субботу… да, значит, в субботу, — продолжал несколько сбившийся с мысли пивовар. — Гале знает жизнь. У него есть и совесть и душа… Прибереги слезы для него, дочь! Мы пойдем к нему вместе.

— О нет! — сказала она.

Кости были брошены в разгаре битвы, и она почувствовала себя такой свободной и такую жажду жизни в себе! «Нет» оставило на ее губах нежную горечь первого поцелуя. Впервые она бросала вызов.

— Это еще что! — загремел глава семейства.

— Успокойся, Антуан! — взмолилась мать. — Дай же ей опомниться! Ну, что может сказать зеленая девчонка твоему депутату?

— Правду, черт побери, правду! — возопил Малорти. — Во-первых, мой депутат врач! Во-вторых, поскольку ребенок внебрачный, он напишет нам письмецо в одно из амьенских заведений! С другой стороны, врача и мужчиной нельзя считать, это образованность, наука — он есть духовник республиканцев. А эти ваши тайны курам на смех! Неужели ты думаешь, что маркиз сам заговорит? Девочка еще не вошла в возраст, тут, знаешь, растлением малолетних попахивает, это может дорого ему обойтись! Разрази меня гром, если мы не потянем его в суд! Корчит из себя бог знает кого, всех за дураков считает, отпирается, врет напропалую!.. Маркизишко навозный!.. Бессовестная! — возвысил он еще более голос, оборотившись к дочери. — Он поднял руку на твоего отца!

Он солгал неожиданно для себя, просто красного словца ради. Впрочем, стрела пролетела мимо. Сердце юной мятежницы забилось сильнее, но не столько при мысли, что ее повелителю и владыке было нанесено оскорбление, сколько оттого, что ее мысленному взору предстал обожаемый кумир, великолепный в гневе своем… Его рука! Грозная рука! И она украдкой искала на отчем лице оставленный ею след.

— Погоди же, — вмешалась госпожа Малорти, — дай мне сказать!

Она охватила руками голову дочери.

— Бедная глупышка, кому же еще сказать правду, как не отцу с матерью? Когда я почуяла неладное, было уже поздно. Но неужели ты ничего не поняла за это время? Неужели ты не видишь, чего стоят обещания мужчин? Они все до одного лжецы, Жермена!.. Девица Малорти, говорите? Знать не знаю, ведать не ведаю! Где твоя гордость? Да я бы ему в глотку впихнула его подлые слова! Ты, видно, хотела уверить нас, будто отдалась какому-нибудь проходимцу, батраку или бездомному бродяге? Признайся, ведь хотела? Он дал тебе слово, что будет молчать? Да не женится он на тебе, доченька! Сказать тебе одну вещь? Его монтрейский нотариус уже получил

приказ продать усадьбу в Шармет, мельницу и все прочее. А не сегодня-завтра, глядишь, и сам будет таков. Ищи тогда ветра в поле!.. Ведь сраму не оберешься… Да отвечай же, дубовая твоя голова! — вспылила она.

«Ищи ветра в поле…» Из всего сказанного лишь эти слова засели в памяти. Одна… Покинутая, развенчанная, униженная… Одна в безликой толпе… Покаянная! Что может быть на свете ужаснее одиночества и скуки? Что может быть ужаснее этого унылого дома? Скрестив руки на груди, она простодушным движением нащупала сквозь легкую ткань маленькие перси, полудетское лоно, таившее такую глубину и столь безвременную рану, — сдавила их пальцами, и боль, рассеявшая последние сомнения, исторгла из ее уст возглас:

— Мама! Мама! Лучше мне умереть!

— Довольно, — вступил Малорти, — или мы, или он. Даю тебе еще один день, вот мое последнее слово, не будь я Антуан Малорти! Слышишь, бесстыжая? Ни часу больше!

Между ней и ее возлюбленным стоял этот взъяренный толстяк и грозившая ей позорная огласка с ее непоправимыми последствиями. Тогда кончится все, и перед ней захлопнется единственная дверь, за которой ее ждало буду-

щее и радость… Да, она обещала молчать, но в молчании было и ее спасение. Она ненавидела теперь этого тучного человека.

— Нет! Нет! — с силой повторила она.

— Святые угодники, она сошла с ума! — простонала мать, вздевая руки. Она просто рехнулась!

— Я точно сойду с ума! — воскликнула Жермена, и слезы еще сильнее полились из ее очей. — За что вы так казните меня? Делайте, что хотите, бейте меня, гоните меня из дому. Я руки на себя наложу, но вам ни слова не скажу! Слышите? Ни словечка! А что до господина маркиза, это все наветы. Он меня и пальцем не коснулся.

— Потаскушка! — процедил пивовар сквозь зубы.

— Зачем вы допытываетесь, коли не желаете мне верить? — твердила она детским голоском.

Она восставала на отца, дерзко вперяла в него взор застланных слезами очей. Она чувствовала себя сильнее его своей юностью, безжалостной своей юностью.

— Верить тебе? Тебе? Меня, стреляного воробья, хочешь одурачить? Поищи кого похитрее! Твой голубок-то признался! Признался-таки! Добрую пулю я ему отлил! Спорьте сколько угодно, говорю, а только девчонка все рассказала.

— О ма…ма! Мама! — едва пролепетала она. — Он по… посмел… он посмел!

Ее прекрасные голубые глаза, вдруг высохшие и заблестевшие, стали синими, как фиалки, чело побледнело, а пересохшие губы шевелились, тщетно стараясь вымолвить что-то.

— Замолчи, ты убьешь нашу дочку! — причитала мать. — Беда, ох беда!

Но и без слов голубые глаза были достаточно красноречивы. Пивовар перехватил мгновенный взгляд, выражающий глубокое презрение. Мать, защищающая детей своих, не так страшна и проворна, как женщина, у которой выдирают плоть от плоти ее, любовь, выношенный ею плод.

— Уходи! Вон отсюда! — прорычал коснеющим языком пораженный в самое сердце отец.

Некоторое время она оставалась на месте, не поднимая глаз. Губы ее дрожали, она с трудом сдерживалась, чтобы не швырнуть ему в лицо признание и довершить его унижение. Потом она взяла со стола вязанье, иглу и клубок шерсти и вышла из комнаты. Щеки ее алели ярче, чем у вязальщицы снопов на жниве. Но, едва почувствовав себя на воле, она двумя прыжками, как горная коза, взлетела по лестнице и со всего маху захлопнула за собой дверь. Через приоткрытое

окно она видела в конце садовой дорожки, за луковыми грядами, окрашенную белой краской решетку чугунных ворот, замыкавших ее мирок, и два куста гортензии, растущие по обе стороны от них… А за оградой другие кирпичные домики выстроились в ряд до самого поворота дороги, где дымится печная труба над ветхой соломенной кровлей, насунутой на глинобитные рассевшиеся стены — там жилище голодранца Люгаса, последнего нищего в округе… И сопревшая солома среди нарядных, устланных обливными черепицами кровель тоже глядела нищетой и волею.

Жермена легла на кровать, примявши щекой подушку. Она старалась привести мысли в порядок и ясность, но в отуманенной голове гудело от ярости… Бедная! Ее судьба решается на чистенькой детской кроватке, пахнущей воском для полов и свежей холстиною.

В продолжение двух часов Жермена перебрала в уме немало замыслов покорения мира, — он, правда, уже имел хозяина, но молоденьких девушек это решительно не волнует. Она стонала, кричала, плакала, но что можно было поделать с неумолимой действительностью? Теперь, когда случившееся с ней открылось, когда она призналась, много ли у нее надежд на скорое свидание

с любимым, если вообще ей суждено еще свидеться с ним? Да и захочет ли он сам? «Он думает, что я выдала его, — мелькало в ее голове, — он перестанет уважать меня». Припомнились ей и слова матери: «Ищи ветра в поле...» Странное дело! Впервые в ней шевельнулась тревога, но не когда она подумала, что он может бросить ее, а от мысли о грядущем одиночестве. Измена не страшила ее, она никогда и не думала о ней. Ее ничуть не волновало, что придется лишиться всех этих благ: тихого, добропорядочного мещанского бытия, чинного кирпичного дома, доходной пивоварни с газогенераторным двигателем, благонравия, самого по себе служащего наградой, достоинства, приличествующего юной дочери именитого купца. Глядя на нее в воскресном наряде, со строгой прической, какая и должна быть у девицы воспитанной, слыша ее беззаботный звонкий смех, старый Малорти ни мгновения не сомневался, что дочь его безупречна во всех отношениях, «воспитанна, как королева», говаривал он не без гордости. И еще он говорил: «Совесть моя спокойна, и этого довольно». Но он всегда имел дело только со своей совестью и приходо-расходной книгой.

Ветер посвежел, окна в частом переплете стоя-

щих поодаль домов запламенели одно за другим; посыпанная песком дорожка за окном стала смутно белеющим пятном, а дурацкий тесный садик вдруг раздался вширь и вглубь, слился с бескрайней ночью… Жермена стряхнула бремя гнева, словно пробудившись от сна. Она соскочила с постели, постояла, напрягая слух, у двери, но не услышала ничего, кроме привычного храпения пивовара и важного тиканья стенных часов, вернулась к открытому окну, десять раз обошла свою тесную клетку, бесшумная, гибкая и чуткая, как волчонок… Что, уже полночь?

Глубокая тишина — опасность и приключение, чары неведомого. В безмолвии расправляются крылья великих душ. Все погружено в сон, засады нет… «Свободна!» — вдруг проговорила она низким хриплым голосом, где слышался стон страсти и который был так знаком ее любовнику… Она в самом деле была свободна.

«Свободна! Свободна!» — твердила она себе с крепнущей уверенностью. По правде говоря, она не могла бы объяснить, ни кто дал ей свободу, ни какие оковы распались. Просто она распускалась, как цветок, в укрывшей ее тишине. Еще раз, сначала несмело, а потом с упоением, молодая самка пробует свои налившиеся силой мышцы, свои

клыки и когти на пороге дивной ночи.

Она расставалась с прошлым, как покидают однодневное пристанище.

Жермена ощупью открыла дверь, ступень за ступенью сошла по лестнице, ключ заскрежетал в замочной скважине, и в лицо ей пахнул вольный воздух, никогда еще не казавшийся ей таким легким. Сад скользнул мимо, как тень… ворота позади… дорога, первый поворот… Лишь миновав его и оставив за спиной деревню — тесное черное скопище, — она вздохнула полной грудью… Она села на дорожном откосе, все еще радостно трепеща от своего открытия… Преодоленный путь казался ей безмерно долгим. Перед ней была ночь, как приют и добыча… Она ничего не обдумывала и чувствовала в голове блаженную пустоту… «Уходи! Прочь отсюда!» — сказал отец. Чего же проще? Она взяла и ушла.

III

— Это я, — сказала она.

Пораженный, он вскочил на ноги. Нежный призыв или укор, без сомнения, разъярил бы его. Но она стояла на пороге прямая, такая естественная и, казалось, почти спокойная. Позади нее

на усыпанной камешками дорожке шевелилась легкая тень. Он тотчас узнал столь любимое им важное и невозмутимое выражение глаз, но в глубине золотистых зрачков уловил еще какое-то слабое мерцание. Они узнали друг друга.

— Заявиться сюда в час ночи, после того, как у меня побывал твой папаша! И это теперь, когда надо мной собирается гроза! Вздуть бы тебя за такие проделки!

— Господи, как я устала, — промолвила она. — Посреди аллеи глубокая рытвина, я два раза провалилась в нее, вымокла до колен... Ты не дашь мне напиться?

До сих пор, несмотря на то что между ними была совершенная доверительность и даже нечто еще большее, в их обращении друг к другу ничего не менялось. Она по-прежнему говорила ему «сударь», а иногда и «господин маркиз». Этой ночью она впервые обратилась к нему на «ты».

— Вот уж действительно, смелости тебе не занимать! — весело воскликнул он.

Она с важностью приняла из его рук стакан и поднесла его ко рту, стараясь унять дрожь, но мелкие ее зубки стукнули о хрусталь, ресницы затрепетали, и на подбородок сбежала невольная слеза.

— Фу! — вздохнула она. — Сам видишь, у меня до сих пор в горле ком стоит от слез. Я два часа проплакала на постели. Я была просто не в себе. Они положительно решили сжить меня со свету… Нечего сказать, хороши родители! Больше я к ним не вернусь.

— Не вернешься? — рассердился он. — Выкинь этот вздор из головы, Мушетта (это было ее ласковое прозвище). Уж не воображаешь ли ты, что молоденькая девушка может бегать где ей вздумается, как куропаточка среди лета? Да первый же объездчик притащит тебя домой в своей охотничьей суме!

— Вот как!.. Да если хотите знать, у меня деньги есть. Вот возьму да укачу завтра вечером в Париж! Каково? У меня там тетка Эгле живет, в Монруже… Прекрасный дом с бакалейной лавкой. Я начну работать и буду очень счастлива.

— Глупыш, да ты достигла ли совершеннолетия?

— Ничего, достигну, — возразила она все так же невозмутимо.

На миг она отвела глаза, потом вновь спокойно взглянула в лицо маркизу.

— Можно, я останусь у вас?

— Остаться у меня! Это уже ни на что не похо-

же! — вскричал он, расхаживая взад и вперед, чтобы скрыть свое замешательство. — Хорошенькое дело, остаться! А где я тебя спрячу? Может быть, ты воображаешь, что у меня есть подземелье для юных красавиц? Так только в романах бывает, лукавица! Завтра же они всем скопом нагрянут сюда, твой папаша, жандармы и полдеревни с вилами… И с ними этот жердяй, депутат наш, лекарь чертов!

Она рассмеялась и забила в ладоши, но вдруг умолкла. Лицо ее вновь приняло строгое выражение, и она тихо молвила:

— Ах да, господин Гале! Завтра я должна идти к нему с папой. Он, видно, что-то придумал.

— Придумал, придумал! Как она это говорит! В сотый раз повторяю тебе, Мушетта: я не такой уж дурной человек, я сознаю мою вину. Ну нет у меня ни гроша, хоть лбом о стену бейся! Даже если я продам здесь все до последнего бочонка, вырученных денег хватит лишь на то, чтобы не околеть с голоду. Жалкие медяки! Ну, разумеется, у меня богатая родня! Хотя бы тетка Арну: в свои шестьдесят лет она крепка, как мореный дуб, и богата, как церковная крыса. Она еще похоронит меня! У меня и так уже было немало всяких приключений. Надо играть осторожно, очень

осторожно, Мушетта, и прежде всего выиграть время.

— Ах, какая прелесть! — раздался голосок девушки. — Чудо как красиво!

Отвернувшись от него, она с нежностью оглаживала обеими руками лакированный поставец времен Людовика XV, украшенный золоченой бронзой и китайскими пагодами, и чертила пальцем загадочные знаки на запорошенной пылью поверхности лилового трещиноватого мрамора.

— Оставь поставец в покое! — окликнул он ее. — У меня этой рухляди полон чердак. Может быть, ты все-таки соизволишь ответить?

— А что отвечать?

Она смотрела ему в лицо тем же спокойным взглядом.

— Что отвечать! — начал было он и невольно отвел глаза. — Оставим шутки, девочка, и приведем все в совершенную ясность. Да и вообще мне не хочется злиться. Ты должна понять, что нам обоим выгодно дождаться, когда гроза пролетит мимо. Скажи, могу я завтра повести тебя в мэрию? Так чего же ты хочешь? Надеюсь, ты не собираешься остаться здесь, под самым носом у папаши? Каша такая заварится, что не приведи господи! Теперь половина второго, — заключил

он, вынимая из кармашка часы. — Пойду запрягу Боба и живым духом домчу тебя до Гардской дороги. Еще до рассвета будешь дома, и концы в воду. А завтра снова противопоставишь Малорти несокрушимое упорство. А там, глядишь, что-нибудь надумаем. Обещаю тебе. Ну, ступай. Живее!

— Как бы не так! — возразила она. — Сегодня я не вернусь в Кампань.

— Да где же ты ночевать будешь, упрямая твоя голова?

— Здесь. На дороге. Где угодно. Не все ли равно?

Кадиньян взъярился и начал нещадно бранить ее, но все было напрасно. Так рыкает и скрежещет зубами тарасконское чудище, удерживаемое витым из моха поводком.

— Глуп же я, коли хочу вразумить упрямицу. Если тебе уж так хочется, иди ночевать в поле с жаворонками. Я, что ли, виноват? Можно было бы найти какой-нибудь выход, но мне нужно время. Еще бы месяц — и я продал бы свою халупу и был свободен. А пока что? Ко мне врывается твой отец, грозит судом… Скандал ужасный! Завтра на меня насядет вся округа. Эта старая сова накличет воронья. А все почему? Потому, что девочка испугалась, заартачилась и выдала нас с головой:

будь что будет! Рассказала все, конечно, как на исповеди… А ты расхлебывай, дружок! Нет, я не корю тебя, милочка, однако же… Ну, хватит, хватит! Довольно слезы лить!

Прижавшись лбом к оконному стеклу, она беззвучно плакала. Решив, что убедил ее, он подумал, что теперь ему будет легче растрогаться и пожалеть ее, ибо человеку свойственно жалеть себя в ближнем.

Он сжимал руками белокурую упрямую головку, пытаясь повернуть ее к себе лицом.

— Да не плачь же, я говорил совсем не то, что думал! Но вообще-то я ясно представляю, как все было… День сельскохозяйственной выставки, папаша Малорти с его замашками генерального советника… «Отвечайте же, несчастная! Скажите правду вашему отцу». Он бы вполне мог и поколотить тебя. Надеюсь, этого не случилось?

— Не…нет, — пролепетала она между двух рыданий.

— Подними же наконец голову, Мушетта. Это уже дело прошлое.

— Он ничего не знает! — выкрикнула она, стиснув кулачки. — Я ничего не сказала!

— Вот те на! — только и мог вымолвить он.

Ему не очень понятны были причины этой

вспышки оскорбленной гордости, но еще более его поразило преображение Жермены: злой блеск глаз, мужественная складка гнева на лбу и зубы, белевшие под приподнявшейся губой.

— Что же ты раньше не говорила?

— Вы не поверили бы мне, — отвечала она по кратком молчании. Голос ее еще дрожал, но взгляд был, как прежде, ясен и холоден.

Он глядел на нее с некоторым беспокойством. Ему знакомы были эти причуды, запальчивость ее, и дерзость выходок, и неожиданные повороты мысли, похожие на прыжки преследуемого зайца, запутывающего свои следы, но до сих пор в охотничьем пылу он почитал все это за жалкие уловки красивой девчонки, которая из самолюбия уверяет себя, что еще не покорилась, когда перестала уже сопротивляться. Возмужалая зрелость нередко склоняет к самонадеянности, но в любви опытность даже самого искушенного в делах такого рода чаще, чем принято думать, оборачивается слепотою простоты… «Мышка шмыгает под самым носом у кошки, да недолго ей бегать», — говаривал он и в самом деле думал, что поймал ее. Сколько любовников вот так пригревает на своей груди чужанинку, искусного и изворотливого врага!

В душе ничего не подозревавшего простофили возникло даже на миг ощущение близкой и необъяснимой опасности. Просторная зала, загроможденная стоящей в беспорядке мебелью, которую недавно снесли сюда из чердака, где она трухлявела долгие годы, показалась ему вдруг бесконечно огромной и пустой. Он расширил глаза, чтобы яснее видеть тонкий стан девушки, недвижно и безмолвно стоявшей за кругом света, — единственной живой души рядом с ним… Но тут же маркиз рассмеялся:

— А как же честное слово папы Малорти? Шутка?

— Какое честное слово?

— Да нет, ничего. Это я так, про себя… Если тебе нетрудно, повернись и притвори дверь.

В самом деле, дверь позади нее внезапно и бесшумно растворилась. От легкого соленого ветерка, принесшегося с моря, но пропахшего на своем пути затхлостью стоячих вод, взлетели под потолок разбросанные по столу бумаги, а из стеклянного колпака лампы далеко высунулся багряный язык коптящего пламени. Ветер задул сильнее, и смутным гулом отозвались во всех концах парка пробудившиеся ели.

Она затворила дверь и вновь повернулась к

нему, храня на лице надутое выражение.

— Подойди же наконец, — позвал Кадиньян.

Однако она отступила на два шага, проворно скользнула за стол, отгородивший ее от возлюбленного, и с видом обиженной девочки присела на краешке стула.

— Что же, так и будем торчать здесь всю ночь, Мушетта? Фу, злючка! сказал он, принужденно смеясь.

Он легко отступил перед упрямством, с которым, как он сам отлично понимал, ему было не совладать, и если сердце его билось сильно, то не столько от предвкушения ласк, уже пресытивших его, сколько от сознания опасности. «До завтра совсем недолго ждать», — думал он с какой-то странной радостью. Отдохновение сладко, но еще слаще краткая передышка.

К тому же он находился в том возрасте, когда общество женщины скоро становится невыносимо мужчине.

— Может быть, ты уделишь мне минуту твоего времени? — холодно промолвила Мушетта, не поднимая глаз.

Ему был виден лишь ее упрямо склоненный гладкий лоб. Но тонкий злой голосок странно прозвучал в тишине.

— Целых пять! — шутливо возразил он, чтобы скрыть свою растерянность, ибо эта холодная дерзость испортила ему настроение (так когтистая лапка проворно бьет по носу добродушного увальня-пса).

— Значит, ты мне не веришь? — заговорила она по долгом раздумье, словно завершая внутреннюю речь.

— Я не верю тебе?!

— Только не старайся обмануть меня! Всю неделю я думала, но мне кажется, что только теперь я все поняла, жизнь поняла, если хочешь! Смейся, смейся! Во-первых, я совсем не знала себя. Радуешься неведомо чему, всякой малости… Яркому солнышку, словом, какому-нибудь вздору… Ну так радуешься, что кажется, сейчас сердце из груди выскочит, и чувствуешь, что в глубине души хотела бы чего-то другого… Непонятно чего, но только без этого никак нельзя, и если этого не будет, все остальное уже ни к чему. Я не думаю, что ты был мне верен. Не так глупа! Ведь мы, мальчишки и девчонки, все отлично видим и, глядя в заборную щель, гораздо больше узнаем, чем на уроке катехизиса! «Все смазливые девчонки, милочка моя, проходят через его руки!» Вот что у нас говорилось о тебе. Я и подумала: «А чем

я хуже? Теперь мой черед...» А ты перетрусил, стоило папаше вылупить на тебя свои злющие глаза... Как я тебя ненавижу!

— Да она просто рехнулась! — вскричал ошеломленный Кадиньян. — В тебе и капли рассудка нет! Начиталась романов!

Он медленно набил трубку, раскурил ее и сказал:

— Давай рассуждать по порядку.

Какой там порядок! Сколько уже мужчин до него думало, что им удалось обморочить шестнадцатилетнюю, вооруженную хитростью красавицу. Двадцать раз вам кажется, что она поддалась на самую явную ложь, но она и не слушала вас, чутко ловя лишь бесчисленные, нами пренебрегаемые знаки: уклончивый взгляд, неконченое слово, самый звук вашего голоса, непрестанно изучаемого, все более понятного и день ото дня все более открывающего ей; терпеливо постигая все, притворяясь покорной, она постепенно перенимает опыт, которым вы так гордитесь, — не столь неспешно-мудрым проникновением, сколь необыкновенно изощренным бессознательным чувством, которому истина открывается в молниеносном озарении, во внезапном наитии, относящемся скорее к догадке,

нежели к разумению, — и не успокоится, покуда сама выучится вредить вам.

— Давай рассуждать по порядку. В чем ты меня упрекаешь? Разве я скрывал от тебя, что в моей развалюхе с дозорными башнями я такой же нищий, как последний босяк? Ну посуди сама, как мы будем жить? Конечно, можно выкинуть из головы мысли о грозящих нам неприятностях. Это еще куда ни шло: влюбленные дуралеи первые же себя и обманывают. Но обещать то, чего заведомо не можешь исполнить, — это уже ни в какие ворота не лезет. Представляешь себе, как вытаращится на нас священник и этот дылда викарий, если мы в воскресенье заявимся в церковь под ручку? Когда будет продана мельница в Бриме и я расплачусь с долгами, у меня останется на руках всего полторы тысячи луи. Это все, чем я могу располагать. Давай решим так: две трети мне, одна тебе. Идет?

— Ах, ах, какое благородство! — со смехом заметила она, хотя в глазах ее стояли слезы.

Он покраснел от досады и сквозь трубочный дым навел на странную девушку взгляд, в котором уже блеснул гнев. Однако Жермена смело выдержала его.

— Можете оставить себе ваши полторы тысячи

луи! Они вам нужны больше, чем мне!

Она вряд ли могла бы объяснить, отчего испытывала какую-то непонятную радость, вряд ли могла бы выразить словами неясные чувства, тревожившие ее бесстрашное сердце. Ей просто хотелось унизить любовника его бедностью, ощутить свою власть над ним.

Устремиться час тому назад сквозь ночную тьму навстречу неведомому, бросить вызов всему свету — и только затем, чтобы обрести еще одного мужлана, еще одного благонамеренного папашу! Было от чего яриться! Разочарование ее было столь велико, а презрение скоро и бесповоротно, что, в сущности, последующие события были как бы предопределены ее состоянием. Случайность, скажут некоторые. Но случай лишь отображает нашу сущность.

Да подивится простак могучему напору долго сковывавшейся воли, где уже обозначились из-за почти бессознательной потребности притворяться черты жестокости, — непостижимому возмездию слабого, неизменному замешательству сильного, постоянно настороженной ловушке! Гордящийся своим умением наблюдать неотрывно следит причудливо-внезапные изгибы страсти, более могучей и неуловимой, чем мол-

ния, но в стремлении постичь ближнего видит в зерцале сознания своего лишь собственное, жалко кривящееся отображение. Наипростейшие движения души возникают и усиливаются в непроницаемом мраке, соединяются или отталкиваются, повинуясь законам сокровенного родства или чужеродности, подобно заряженным электричеством тучам, но на границе тьмы мигают лишь беглые отблески недосягаемой грозы. Оттого-то наилучшие психологические гипотезы, хотя и дают возможность восстановить прошлое, не годятся для предсказаний. Как и многие другие, они лишь прячут от нас тайну, одна мысль о которой тягостна разуму человеческому.

Ветер налетел еще раз и упал. Лавровые кусты, тремя поясами охватывавшие старую усадьбу, давно уже утихли, но в глубине парка могучие чернолистые дерева и двадцатиметровые сосны еще трепетали вершинами, по-медвежьи урча. Стоявшая на краю орехового стола лампа горела теперь ярче, теплым, домашним светом, однообразно потрескивая. В столь близком соседстве с ночью, непроглядно темной за окном, теплый душноватый воздух оставлял во рту сладкий привкус.

— Можешь беситься, Мушетта, сколько угод-

но. Ты не выведешь меня из себя, — спокойно проговорил маркиз. — Честное слово, я рад, что ты пришла.

Он старательно примял нагоревший в трубке пепел и продолжал наполовину важно, наполовину шутливо:

— Можно отказаться от пятисот луидоров, моя милая, но нельзя плевать в руку бедняка, предлагающего тебе то, что наскреб на дне своего кошелька. Надеюсь, ты поняла меня? Я не стыжусь моей бедности, малютка…

При последних словах Жермена покраснела.

— И я не стыжусь, — возразила она. — Разве я хотя бы раз чего-нибудь просила?

— Нет, конечно, нет. Но Малорти, твой отец…

Он сказал это без особого умысла и осекся, увидев, как задрожали ее губы, напряглась от детских рыданий изящная шейка.

— Малорти, Малорти! Что Малорти? Мне-то что до него? Это невыносимо, наконец! Неправда, я не выдавала тебя! Это ложь! О, когда вчера вечером… он посмел… сказать… при мне… Я словно обезумела! Да я назло ему проткнула бы себе горло ножницами, убила бы себя у него на глазах, прямо за столом! Нет, вы меня не знаете! Ни он, ни ты! Попомните мое слово, я еще такого

наделаю!

Она напрягала слабый голосок, пристукивая кулачком по столу, немного смешная в своем гневе. В ней чувствовалась некоторая преувеличенность, с помощью которой даже самые искренние женщины подхлестывают себя, чтобы набраться духа для решающего шага.

Кадиньян в молчании слушал ее и впервые ею любовался. Нечто другое, чем плотское желание, своего рода отцовская нежность, никогда доселе им не испытанная, влекла его к поднявшей мятеж девочке, к женщине-товарищу, более сильной и гордой, чем он сам… Чем черт не шутит! Быть может, когда-нибудь?.. Он внимательно взглянул ей в лицо и улыбнулся. Но в его улыбке ей померещилась насмешка.

— Напрасно я горячусь, — холодно сказала она, прервав свою речь. Только все так и было бы, как говорю. Да я умерла бы в их кирпичном доме и кукольном садике!.. Но вас, Кадиньян (она бросила ему в лицо его имя, как вызов), вас я считала другим человеком!

Последние слова она выговорила с заметным усилием, боясь, что голос изменит ей. Какой бы дерзкой и уверенной ей ни хотелось казаться, она уже не видела иного выхода, кроме готовой за-

хлопнуться ловушки отчего дома, неотвратимой мышеловки, откуда она ускользнула два часа назад в безумном порыве надежды. Она думала: «Он разочаровал меня», но, по совести говоря, не могла бы объяснить, чем и почему. Любовники еще стояли лицом к лицу, но уже не узнавали друг друга. В своем простодушии стареющий маркиз полагал, что поступает великодушно, предлагая в награду за пасторальные услады последние свои деньги, внушавшие юной дикарке еще большее отвращение, чем нищета и бесчестие… Чего же искала она, бежав сюда в первую же ночь своей свободы, чего нужно было ей от этого здоровяка, у которого уже выросло брюшко и который своей сугубо животной силой и своего рода тяжеловесным достоинством был обязан исключительно своим предкам, крестьянам и военным? Она бежала из неволи, и в этом было все. Она трепетала от ощущения свободы. Она стремилась к нему, как стремятся к пороку, к осуществлению долго лелеемой и обманчивой мечты — сделать наконец решающий шаг и действительно погубить себя. Словно ужасная издевка, ей вспомнились вдруг прочитанные книги, греховные помыслы, картины, рисовавшиеся ее воображению, когда под ровное гудение печи она подолгу сиживала с

закрытыми глазами, сложивши руки на праздно лежащем рукоделье. Скандал, о котором она мечтала, от которого кругом пошли бы головы, неприметно сократился до размеров шальной затеи, родившейся в голове сумасбродки-школьницы. Возвращение под родительский кров, тайные роды, долгие месяцы одиночества и восстановление чести в объятиях какого-нибудь глупца… а потом длинная череда лет в толпе жалких болванчиков. Все это вспыхнуло перед ней мгновенным светом, и она застонала. Увы! Подобно тому как дитя, пустившееся утром открывать мир, обходит огород и вновь оказывается у колодца, похоронив свою первую мечту, она сделала лишь куцый шажок в сторону от торной дороги. «Ничего не изменилось, — шептали ее губы, — все осталось как прежде». Но, очевидности вопреки, внутренний голос, несравненно более внятный и твердый, внушал ей, что прошлое сгинуло, что открылся широкий простор, что ей суждено нечто упоительно неожиданное, что час пробил и возврата нет. В сумятице отчаяния зрела, словно некое предчувствие, великая бессловесная радость. Найдется где-нибудь для нее прибежище, здесь ли, в другом ли месте — какая разница! Что приют человеку, переступившему наконец

порог родительского дома и с легким сердцем затворившему за собой дверь! Развратник-маркиз страшится молвы, которою она притворно пренебрегала? Пусть! Это отнюдь не поколебало ее уверенности в своих силах, ибо она мерила их теперь слабостью ближнего. Отныне в глубине ее бесстрашных глаз читался уготованный ей и уже близкий рок.

Оба хранили молчание. В середине высокого незавешеного окна глянул вдруг месяц, недвижный, нагой, полный жизни и такой близкий, что мерещился шорох его бледного сияния.

И тогда с уст Кадиньяна — случаются такие забавные совпадения — слетели слова, несколько часов назад произнесенные Малорти:

— Так что ты предлагаешь, Мушетта?

Она взглянула на него, молча вопрошая взглядом.

— Говори, не бойся, — поощрил он.

— Увези меня.

Она измерила, взвесила его взглядом, определила точную ему цену, совершенно так, как делает хозяйка, покупающая курицу, и промолвила:

— В Париж… Все равно куда!

— Давай пока не будем говорить об этом, ладно? Я не скажу ни да, ни нет… Вот когда ты родишь и

у тебя будет ребенок…

Он еще не кончил говорить, а она уже приподнялась с места, приоткрыв рот, столь искусно разыграв изумление, что не оставалось ни малейших сомнений в ее искренности:

— Роды?.. Ребенок?..

Она расхохоталась, прижав ладони к горлу и откинув голову, упиваясь своей звонкоголосой дерзостью, наполняя старинную залу единым чистым звуком, похожим на боевой клич.

Лицо Кадиньяна залилось краской. Задыхаясь от смеха, она едва выговорила:

— Мой отец посмеялся над вами… И вы ему поверили?

Ложь была столь смела, что нельзя было не верить. Вымысел не нуждается в доказательствах. Маркиз не сомневался в том, что она говорит правду; к тому же его душил гнев.

— Замолчи! — завопил он, грохнув кулаком по столу.

Но она все еще смеялась, размеренно и осторожно, следя за ним из-под полусомкнутых ресниц и подобрав ножки под стул, готовая вскочить в любое мгновение.

— Проклятье! Трижды проклятье! — ярился простак, пытаясь стряхнуть незримую банде-

рилью.

На краткий миг он поймал взгляд своей любовницы и заподозрил все же некий подвох.

— Посмотрим, кто говорит правду, — насупившись, заключил он. — Если ее остолоп отец решил сыграть со мной шутку, я проучу его! А теперь хватит об этом!

Но она хотела лишь видеть его лицо, улавливать малейшее движение на нем, наслаждаться его смущением. Лицо ее сильно побледнело — она почувствовала себя хитрой и опасной, не уступающей в силе мужчине.

Кадиньян беспокойно подергал усы: «Вот так задача… Кто же меня водит за нос?» Да и то сказать, никогда прежде ему не лгали так естественно, непринужденно, без малейшего колебания, как поднимают руку, чтобы отразить удар, как вскрикивают от боли.

— Ну, да все равно, беременна ты или нет, а я от своего слова не отказываюсь, — проговорил он наконец. — Вот только продам мою хибару и приищу для нас двоих какой-нибудь уголок, какую-нибудь охотничью избушку, чтобы и лес был рядом и река, и заживем там в свое удовольствие. А там, чем черт не шутит, глядишь — и поженимся…

Он начинал умиляться. Она спокойно предложила: — Идем завтра?

— До чего же ты глупа! — вскричал он с неподдельным возмущением. — Что за вздор ты мелешь! Это тебе не воскресная поездка в город… Не забывай, Мушетта, ты несовершеннолетняя, а с законом шутки плохи.

Маркиз говорил на три четверти искренне, но в жилах его текла кровь предков-крестьян, и он из осторожности не открывался до конца, ожидая радостного восклицания, объятий, слез — словом, трогательной сцены, которая вывела бы его из затруднения. Но коварная девушка не говорила ни слова, внемля ему в насмешливом молчании.

— Так я и буду сидеть и ждать, когда вы найдете свою избушку!.. В мои-то лета! Очень мне нужны ваш лес и ваша река! Вы что же, думаете, раз я никому больше не нужна, то соглашусь прозябать в какой-то дыре?

— Гляди, как бы все это не кончилось плохо, — презрительно бросил маркиз.

— А мне безразлично, чем это кончится, — ответствовала она, хлопнув в ладони. — Кстати, я кое-что надумала…

Кадиньян лишь пожал плечами, и тогда она, задетая за живое, поспешила продолжить:

— Есть у меня на примете любовник — лучше не сыскать…

— Любопытно было бы узнать!

— Уж с ним-то мне ни в чем отказа не будет… К тому же он богат…

— И молод?

— Да помоложе вас! Во всяком случае, достаточно молод, если белеет, как полотно, стоит мне коснуться его ногой под столом. Вот так-то!

— Скажите на милость!

— Человек образованный, даже ученый…

— Уж не депутат ли?

— Он самый! — живо подтвердила она. Щеки ее ярко рдели, а взор был тревожен.

Она ждала вспышки ярости, но он ответил спокойно, потряхивая трубкой:

— Поздравляю тебя! Великолепная находка: отец двух детей, женатый на долгоногой кикиморе, которая глаз с него не спускает…

Однако голос его дрожал… Подшучивание не обмануло наблюдательную девочку, от которой не ускользало даже самое незаметное движение любовника: она мерила оком ширину разделявшего их стола, сердце в ее груди билось сильно, а влажные ладони похолодели, но чувствовала она себя проворной, как лань.

В свое время Кадиньян легко перенес бы утрату одной или двух любовниц. Еще накануне ему казалось более постыдным быть уличенным во лжи каким-то жалким человечишком, чем бояться потерять белокурую Мушетту. К тому же он был убежден, что она выдала его, осуждал ее в своем простодушном себялюбии, почитая слабость сию за преступление, и не простил ей. И все же имя человека, которого он ненавидел более всех, ненавидел тяжелой мужицкой ненавистью, потрясло его до глубины души.

— Нечего сказать, ты хотя из молодых, да ранняя… Что ж, как говорится, яблочко от яблони далеко не упадет. Папаша торгует скверным пивом, а дочка… Дочка торгует тем, что у нее есть!

Она хотела с дерзким вызовом тряхнуть головой, но кожа ее еще не загрубела. Гнусное оскорбление, брошенное ей в лицо, заставило ее дрогнуть: она зарыдала.

— Ты еще и не такое услышишь, погоди, — преспокойно продолжал маркиз. Любовница Гале! Верно, под носом у папаши?

— В Париже, стоит мне только пожелать, — пролепетала она сквозь слезы. Да! В Париже!

Она опиралась ладонями о стол, и слышно было, как скребли два ноготка. В ее голове шумело от

наплыва мыслей, множество, бесконечное множество лживых замыслов жужжало в мозгу, как пчелиный рой. Пестрые, причудливые мысли, уступавшие место другим, едва успев возникнуть, соединялись в бесконечную вереницу, как томительные сонные видения. Напряжение всех чувств рождало в ней ощущение неизъяснимой силы, словно жизнь хлынула вдруг из недр ее существа. На миг ей почудилось даже, будто исчезли самые пределы пространства и времени и что стрелки часов ринулись вперед, как она сама в дерзновенном своем порыве… Жившая всегда под гнетом придуманной для несмышленых детей системы привычек и предрассудков, не ведавшая наказания худшего, нежели суд людской молвы, она видела бескрайний берег волшебной страны, куда ее, потерпевшую крушение, прибивало волнами. Сколь бы долго ни вкушал человек горькую сладость греховного помышления, она тускнеет перед неистовой радостью мгновения, когда зло мнимое свершается наконец, становясь злом действительным — когда впервые восстал и словно вторично родился. Порок растет в душе медленно и пускает в ней глубокие корни, но вспоенный ядом цветок лишь на единый день распускается во всем своем великолепии.

— Так, значит, в Париже? — переспросил Кадиньян.

Она тотчас поняла, что ему нестерпимо хочется продолжить расспросы, но он не может решиться.

— Да, в Париже. — Щеки ее еще горели, но слезы в глазах высохли. — У меня в Париже чудесная комнатка, совершенно свободная… Все господа депутаты устраиваются так со своими подружками, — добавила Жермена с невозмутимой важностью. — Это всему свету известно… Уж они-то себе хозяева! Да что говорить, между нами дело уже решено… и давно!

Действительно, унылый государственный муж из Кампани, пропитавшийся желчью до мозга костей и обращавший избыток ее, не испытывая, впрочем, от того особого облегчения, против своей суровой половины, снедаемой, как и он, завистью, не единожды выказывал пивоваровой дочке отеческие чувства, подоплека коих не может не быть понятна сколько-нибудь сообразительной девице. И тем все кончалось… Но хотя из сего предмета немного можно было выжать, Мушетта чувствовала себя в состоянии лгать до рассвета. Она наслаждалась каждой новой своей выдумкой, и горло ее перехватывало, как от

любовного блаженства. Она лгала бы в эту ночь, даже если бы ее оскорбляли, били, даже если бы ее жизни грозила опасность. Она лгала бы ради лжи. Собственное исступление вспоминалось ей позднее, как неистовое расточительство по отношению к себе, как сладострастное безумство.

«Почему бы и нет?» — думалось Кадиньяну.

— Нет, вы только поглядите на эту простушку, — сказал он вслух, — она поверила на слово этому олуху, этому отступнику, этому пустомеле, этому шуту гороховому! Девочка, он обойдется с тобой, как со своими избирателями! Депутатская любовница: нечего сказать, важная птаха!

— Смейтесь, смейтесь, — отвечала Мушетта, — от вас и не такое случалось терпеть.

Нос уездного волокиты, обыкновенно красноватый и самодовольный, был теперь бледнее его щек. Кипя от гнева, он расхаживал некоторое время взад и вперед, сунув руки в карманы просторной бархатной куртки, потом двинулся в сторону своей любовницы, бдительно следившей за ним. Из предосторожности она тотчас отступила влево и стала так, чтобы стол отделял ее от опасного противника. Между тем он, не поднимая глаз, пошел прямо к двери, замкнул ее и положил ключ в карман.

Затем он вновь уселся в кресло и сухо промолвил:

— Хватит дразнить меня, детка. Так и быть, ты останешься у меня до завтра просто потому, что мне так хочется… На мой страх и риск. А теперь будь умницей и отвечай мне откровенно, если можешь. Ведь ты говорила это все просто так, шутки ради?

Лицо девушки тоже было бело, как воротничок ее платья.

— Нет! — бросила она сквозь стиснутые зубы.

— Полно, неужели ты думаешь, что я поверю тебе? — продолжал он.

— Он мой любовник!

Она вновь исторгла из груди свою ложь, словно выплюнув терпкую жгучую влагу. И когда утих отзвук ее голоса, сердце Мушетты зашлось, словно на качелях, когда доска начинает проваливаться под ногами. Она сама почти уверовала в то, что утверждала, и, выкрикнув слово «любовник», скрестила руки на груди движением невинным и в то же время развратным, как если бы при звуке этих трех колдовских слогов одежды спали и явили наготу ее.

— Дьявольщина! — взревел Кадиньян.

Он вскочил на ноги так проворно, что бедняж-

ка, всполошившись, кинулась с перепугу едва ли не в объятия маркиза. Они столкнулись в углу залы и мгновение молча стояли лицом к лицу.

Она метнулась было прочь, вскочила на стул — он начал валиться набок, перемахнула со стула на стол, но высокие каблучки ее туфель заскользили на вощеном ореховом дереве; она выставила ладони, но руки маркиза сгребли ее и рванули назад. Толчок был так силен, что в глазах у нее потемнело. Толстяк поволок ее, как взятую с бою добычу, и с маху кинул на кожаный диван. Еще минуту она видела лишь глаза — сначала они горели свирепой яростью, но мало-помалу в них появилась тревога, а потом стыд.

Она вновь была свободна. Лампа ярко освещала ее: волосы растрепаны, из-под задравшегося платья выглядывал черный чулок, глаза тщетно искали ненавистного повелителя. Ослепленная невыразимым гневом, страдая от унижения более, чем страдала бы от раны, терпя боль телесную, жгучую, непереносимую, она едва различала черный провал и отсвет огня на стене… Когда наконец она увидела его, кровь сразу отхлынула в сердце.

— Что ты, что ты, Мушетта! — встревоженно приговаривал мужчина. Непрестанно повторяя

эти слова, он мелкими шажками подходил к ней, чтобы вновь завладеть ею, но стараясь на сей раз не делать резких движений, как если бы ловил пугливую птаху. Она увернулась от него.

— Перестань же дурить, Мушетта! — твердил он срывающимся голосом.

Она следила за ним издали, кривя красивый рот злобной ухмылкой. «Не в себе она, что ли?» — мелькнуло в голове у Кадиньяна. Поддавшись приступу бешенства, внезапно пробуждающего похоть, он чувствовал не столько раскаяние, сколько смущение, ибо всегда обходился со своими любовницами с бессердечием партнера, честно играющего свою роль в жестокой игре. Мушетта была неузнаваема.

— Скажи наконец хоть слово! — крикнул он, выведенный из себя ее молчанием.

Она медленно пятилась от него, потом бросилась к двери. Он пытался преградить ей путь, перетащив кресло в узкий проход, но она проворно отпрянула, так пронзительно вскрикнув от ужаса, что он замер на месте, тяжело переводя дух. Когда же в следующее мгновение он повернулся, чтобы кинуться ей вдогонку, то, словно при ослепительной вспышке, увидел ее в противоположном конце залы: встав на носки своих

маленьких ножек, она тянулась руками, стараясь достать нечто, висевшее на стене.

— Эй, сумасшедшая, прочь руки!

Очевидно, он успел бы двумя прыжками настигнуть ее и вырвать оружие, но ложный стыд удерживал его. Он приближался неторопливыми шагами человека, которого не так-то просто остановить. В ее руках он увидел свой винчестер превосходное ружье с клеймом Ансона.

— Я тебе задам! — повторял он, подходя все ближе, тем особым голосом, каким говорят со злой собакой, чтобы припугнуть ее.

Обеспамятевшая Мушетта отвечала ему лишь стоном, где смешались ужас и бешенство, поднимая в то же время оружие на вытянутых руках.

— Сумасшедшая! Он заряжен! — хотел крикнуть он, но грянувший выстрел словно раздавил последнее слово на его губах. Заряд угодил под самый подбородок и разворотил ему челюсть. Выстрел был сделан со столь малого расстояния, что намасленный пыж пробил маркизу шею насквозь и застрял в галстуке сзади.

Мушетта растворила окно и исчезла.

IV

Кончив письмо, доктор Гале, проворно водя пером, писал на конверте адрес своим мелким почерком, когда за его спиной возник садовник Тимолеон и сказал:

— Мадемуазель Жермена велела вам передать…

В то же мгновение на пороге появилась дочь Малорти. Она была затянута в узкое черное пальто, держала в руке зонтик и вошла так быстро, что не успел еще стихнуть звук утопленных ее шагов на каменных плитах садовой дорожки.

Она рассмеялась в лицо Тимолеону. Тот осклабился в ответ. В полураствореное окно лился вечерний запах, извечный запах тайного сговора. Почти тотчас погас рядом с креслом рыжеватый свет лампы.

— Чем могу служить, мадемуазель Жермена? — осведомился доктор Гале.

Он торопливо запечатывал письмо.

— Папа собирался лично известить вас, что ближайшее заседание Совета переносится на девятое число текущего месяца, а я как раз шла мимо… говорила она с неизменным своим спокойствием,

так странно нажимая на слова «Совет» и «переносится на девятое число текущего месяца», что Тимолеон вновь рассмеялся, сам толком не зная почему.

— Ну, ступай, ступай! — резко оборвал его Гале, протягивая конверт.

Он провожал садовника глазами, пока дверь захлопнулась за ним.

— Что все это значит? — спросил он.

— Хочешь, чтобы сразу сказала? — возразила она, кладя зонтик поперек кресла. — Я забеременела, только и всего!

— Замолчи, Мушетта, — прошипел он сдавленным голосом, — или говори тише!

— Я запрещаю тебе называть меня Мушеттой, — сухо проговорила она. — Как угодно, только не Мушеттой!

Она скинула пальто на стул и встала перед врачом.

— Сам должен понимать, — продолжала она, — разве сразу разберешься?

— Это… это давно случилось?

— Да уже месяца три (она преспокойно расстегивала юбку, зажав в зубах булавку).

— И ты мне… ты только теперь признаешься…

— Признаешься! — Она рассмеялась сквозь

сжатые зубы, не выпуская изо рта булавки. — Хорошенькое слово!

Губы ее были сомкнуты, а в глазах играло детское веселье.

— Но послушай, нельзя же раздеваться здесь! — увещевал ее Гале, с трудом сохраняя хладнокровие. — Шла бы в кабинет!

— Какая разница? — удивилась Жермена. — Запри дверь, и дело с концом. Холодно у тебя в кабинете.

Он пренебрежительно пожал плечами, а сам искоса глядел на нее, чувствуя, что в горле у него пересохло. Согнув одну ногу, она поставила другую на подлокотник кресла и невозмутимо расшнуровывала ботинок.

— Воспользуюсь случаем, — заметила она. — Они ужасно мне жмут, а я за целый день не присела. Дай мне замшевые туфельки, помнишь, я оставила их у тебя в среду? Ну да, на полке туалета, за ящиком. И знаешь что? Сегодня я заночую у тебя. Я сказала папе, что поеду в Коленкур, к тетке Мальвине. Если не ошибаюсь, твоя жена вернется завтра?

Он внимал ей в совершенном изумлении, не замечая в необыкновенно подвижном личике некоей застылости, судорожной напряженности,

выражения усталости и неотвязной заботы, отчего даже улыбка выходила у нее кривой.

— Своей неосторожностью ты в конце концов погубишь все, — жалобно проговорил врач. — Сначала мы виделись только в Булони или Сен-Поле, а теперь ты уже и сама не знаешь, что бы такое придумать… Ты видела Тимолеона? Ради меня…

— Кто боится проиграть, тот не выигрывает, — строго возразила она. Поди же принеси мои туфли, да не забудь дверь за собой притворить.

Она проводила взглядом своего странного любовника, бесшумно ступавшего в войлочных шлепанцах, обтянутого узким жакетиком с дурацкими сборочками на поясе, тесным воротничком и до блеска затертыми локтями. О чем она думала? А может быть, вовсе ни о чем не думала? Ее уже перестали удивлять смешные и отталкивающие черты этого желтозубого святоши. Мало того, она любила его. Любила настолько, насколько вообще способна была любить. С тех пор, как однажды ночью юная Малорти, мадемуазель Малорти совершила непоправимое, застрелив безобидного маркиза и заодно разрушив свой собственный ложный облик, она беспомощно барахталась под обломками рухнувшей надеж-

ды. Если бы она бежала, скрылась, то неминуемо навлекла бы подозрение на себя. Ей пришлось вернуться под родительский кров, вымаливать, скрыв гордыню под упрямым лбом, отеческого прощения и, замкнувшись более, чем когда бы то ни было прежде, в смирении и молчании, ловя на себе нестерпимо жалостные взгляды, нить за нитью ткать вокруг себя паутину лжи. «Завтра все забудется, — думала она, снедаемая нетерпением, — я снова стану свободна». Но завтра так и не наступило. Мало-помалу порванные некогда узы все туже стягивались вокруг нее, и — горькая насмешка судьбы — клетка стала спасительным прибежищем: она могла свободно дышать лишь за тюремной решеткой, внушавшей ей прежде такую ненависть. Под личиной притворства гибла незаметно ее истинная сущность, а мечты, некогда окрылявшие ее, рушились одна за другою, подточенные незримым червем — скукою. Захолустный городишко, которому она бросила дерзкий вызов, вновь засосал ее и начал переваривать.

Не было еще падения столь скорого и бесповоротного. Непрестанно воскрешая в памяти мельчайшие подробности случившегося в ту роковую ночь, Мушетта не находила решительно

ничего, что убедило бы ее в том, что она имеет право вспоминать о ней как о нечеловеческом напряжении всех сил, приведшем к неожиданному исходу, как о сгинувшем сокровище. Она не знала уже, как называется то, к чему порывалась, что не далось ей в руки сразу и исчезло навсегда. Да и называла ли она это каким-то словом? Нет, валявшееся на полу тело грузного мужчины не имело к этому ни малейшего отношения. Так чего же она жаждала?

Сколько женщин пресмыкается и умирает под липами, женщин, чья жизнь длилась всего час или столетие! Она вспыхивала перед ними на миг, распахивалась во всю ширь, вольный ветер хлестал им в лицо… но вдруг сжималась и падала камнем.

Но они-то не совершали преступления, разве грезили о нем. У них нет тайны, они могут говорить: «Боже, как я была сумасбродна!», проводя рукою по седым, гладко причесанным волосам, выглядывающим из-под чепца с рюшами. Они так никогда и не узнают, что грозовым вечером далекого прошлого могли бы играючи убить человека.

После совершенного Жерменой преступления любовь Гале стала для нее новой тайной,

новым безмолвным вызовом. Побывав сначала в объятиях бессердечного мужлана, она ухватилась теперь за это убожество. Но уже вскоре взбунтовавшееся дитя, вооруженное отточенной хитростью, вскрыло его сердце, как вскрывают гнойник. Бесспорно черпая наслаждение во зле и затевая в то же время опасную игру, она превратила нелепого болванчика в ядовитую гадину, ей одной ведомую, ею выпестованную, подобную жутким чудовищам из снов порочных подростков, которая стала наконец дорога самой Жермене как образ и воплощение ее собственного падения. Но она уже устала от игры.

— Вот, возьми, — сказал он, бросая на коврик домашние туфли.

Молчание поразило его. По своему обыкновению искоса взглянувши в ту сторону, он увидел в сумраке маленькую фигурку: Жермена полулежала в кресле, поджав под себя ноги и склонив голову набок; угол рта едва заметно приподнялся, лицо покрывала бледность.

— Мушетта! — окликнул он ее. — Мушетта!

Проворно подошед к креслу, он стал гладить концами пальцев смеженные веки. Они медленно раздвинулись, но взгляд еще ничего не выражал. Она повернула голову и застонала:

— Не знаю, что со мной было… Мне холодно…

Тут только он заметил, что, не считая легкого шерстяного халатика, на ней ничего не было надето.

— Что с тобой? Ты спишь? Как ты себя чувствуешь? Он стоял перед ней, нагнув голову, не переставая смеяться желчным своим смешком.

— Кризис кончился (он взял ее руку). Пульс, как всегда, несколько учащенный. Ничего страшного. Ты ведешь нездоровый образ жизни… Это может кончиться… кончиться… У тебя кашель? Вот это мне не нравится!

Гале присел рядом с ней и быстрым движением распахнул наполовину раздвинувшийся ворот халата.

Дивное плечо со звериным изяществом в плавной его покатости вздрогнуло, обнажившись на мгновение. Жермена быстрым, но осторожным движением отвела его руку.

— Когда тебе будет угодно, — проговорил Гале. — Согласись, однако же, что без предварительного исследования твоих дыхательных путей мне невозможно сказать ничего определенного. Это твое слабое место, а ты безобразно относишься к своему здоровью.

Он еще что-то говорил и вдруг заметил, что

она плачет. Личико ее хранило неизменное спокойствие, губы по-прежнему изогнуты, как напряженный лук, взор широко открытых глаз неподвижно уставлен в пространство, — она плакала без единого вздоха.

Некоторое время он стоял в совершенном изумлении. На миг в нем шевельнулось любопытство, свойственное душам несравненно более возвышенным, желание постичь непостижимое в существе, находящемся совсем рядом, ужас перед непостижимым. Он хотел что-то сказать, но покраснел, отвел глаза и промолчал.

— Ты любишь меня? — неожиданно спросила она жалобным голосом, который звучал в то же время до странности строго и твердо. — Я спрашиваю тебя об этом, потому что мне пришла в голову одна мысль, — поспешила добавить она.

— Что за мысль?

— Любишь ли меня? — повторила она вопрос тем же голосом.

С этими словами она поднялась с места, дрожащая, нелепо нагая под распахнутым халатом, нагая и маленькая, и в глазах ее было все то же жалкое выражение.

— …Отвечай! Отвечай же!

— Но послушай, Жермена…

— Нет, только не это! — перебила она его. — Только не это! Скажи только: я люблю тебя! Да… так и скажи!

Она откинула голову, закрыла глаза. Дыхание с легким свистом, явственно слышным в тишине, вырывалось сквозь крепкие белые зубы, блестевшие за раздвинувшимися губами.

— Так что же? Не скажешь? Не можешь?

Она скользнула к его ногам и мгновение раздумывала, опершись подбородком о сплетенные руки. Потом вновь возвела к нему полный коварства взор.

— Да… да… понимаю, — промолвила она, покачивая головою. — Я знаю, ты ненавидишь меня… Правда, не так сильно, как я тебя, — добавила она важно.

И тотчас продолжала:

— Только, видишь ли… ты и не знаешь вовсе, что это такое.

— Что «это»?

— Ненавидеть и презирать.

И она разразилась потоком слов, что случалось всякий раз, когда случайно оброненное слово пробуждало в ней древнее, как мир, желание — жажду выразить не радость или страдание темной своей души, но самое душу. И в трепете

хрупкого тела, уже тронутого порчей под блистательным саваном плоти, в бессознательной мерности движений то сжимающихся, то разжимающихся рук, в сдержанной силе неутомимых плеч и бедер являлось некое звериное великолепие:

— Как, неужели ты никогда не чувствовал?.. Как бы это сказать? Это возникает, как мысль… как головокружение… Хочется катиться вниз, падать на дно… на самое дно… Так глубоко, что дурачью и не добраться до тебя со своим презрением… Но и там, дружок, ты всем недоволен… Тебе не хватает чего-то еще… О, как в прежние времена я боялась… Слова… Взгляда… Какого-нибудь пустяка… Да возьми хотя бы старую Санье!.. (Знаешь ты ее! Та, что живет рядом с господином Ражо!) Какую боль она причинила мне однажды! Я шла по мосту Планк, и она торопливо отстранила от меня свою племянницу Лору… «Да что же я, зачумленная?» — подумалось мне тогда. Но теперь!.. Теперь я смеюсь над ее презрением! Разве кровь течет в жилах этих женщин, если они теряются от одного взгляда? Если одним взглядом можно отравить им все удовольствие? Если они воображают себя непорочными голубицами даже в объятиях своих любовников?.. Стыдно? Да,

если хочешь, стыдно! Но скажи мне откровенно, не к постыдному ли стремились мы с самого начала? К тому, что притягивает и отталкивает? Чего страшатся и от чего не спешат бежать? От чего всякий раз сжимается сердце, без чего не можем жить, как без воздуха, что стало нашей естественной средой — к постыдному! Конечно же, должно стремиться к наслаждению ради наслаждения… Ради него одного! Какая разница, кто твой любовник? Не все ли едино, где и когда?.. Иной раз, иной раз, ночью… когда совсем близко храпит во сне толстый мужчина… Одна… одна среди ночи в моем покое… я встаю с постели… я, которую все осуждают… (за что, хотела бы я знать?) я прислушиваюсь… я чувствую себя такой сильной — я, такая маленькая, с моим жалким впалым животиком и грудями, помещающимися в ладони. Я подхожу к растворенному окну, будто меня позвали с улицы… Я жду… Я готова… Нет, не одинокий голос, но сотни, тысячи голосов! Не знаю, мужские ли то голоса… В сущности, вы, мужчины, настоящие дети, чертовски испорченные, правда, но все равно дети! Клянусь тебе, мне чудится, будто тот, кто зовет меня, — уж и не знаю откуда, не все ли едино? — чей зов слышится среди ропота голосов, звучащих отовсюду, что некто

наслаждается мною и ликует во мне… Человек или зверь… Неужели я схожу с ума?.. Да, я совсем сошла с ума!.. Человек или зверь сжимает меня… сжимает крепко… мой отвратительный любовник! Она хохотала во все горло, но смех ее вдруг оборвался, глаза, вперившиеся в зрачки мужчины, погасли какое-то время она еще стояла перед Гале, словно мертвец, неведомым чудом держащийся на ногах, потом колени ее подогнулись.

— Мушетта, — обеспокоенно сказал сельский эскулап, поднявшись со своего места, — говорю тебе со всей решительностью, что твоя болезненная возбудимость пугает меня. Советую тебе не волноваться.

Он мог бы долго еще продолжать в том же духе, ибо Мушетта не слышала его. С неуловимой быстротой она повалилась ничком на диван, и когда он обхватил ладонями ее голову и повернул набок, то увидел бескровное, словно из белого камня высеченное лицо.

— Проклятье! — выругался он.

Он пытался разжать ей челюсти, скрежеща о стиснутые зубы костяной лопаткой, но усилия его были тщетны. Из вздернувшейся верхней губы потекла кровь.

Он подошел к аптечке, отворил ее дверцу,

пошарил среди склянок, достал одну из них и понюхал, напрягая в то же время слух с выражением тревоги в глазах — ему было не по себе от того, что она лежала там и молчала; сам себе не признаваясь в том, он ждал крика, вздоха, какого-нибудь движения, отразившегося в стеклах дверцы — чего-нибудь, что нарушило бы чары… Не выдержав, он обернулся.

Смирно сидя на ковре и высоко держа голову, Мушетта с печальной улыбкой глядела на него. В ее улыбке он прочел лишь непостижимое сострадание к нему существа, вознесенного на высоту недосягаемую, сострадание божественно упоительное. Свет лампы ярко озарял одно ее белое чело, в то время как низ лица оставался совершенно в тени, и улыбка, более угадываемая, нежели зримая, казалась удивительно застылой и потаенной. Сначала ему даже показалось, что она спит. И вдруг раздался ее спокойный голос:

— Ну что ты стал с этой склянкой? Поставь ее! Прошу тебя, поставь! Послушай, что такое было со мной? Я заболела? Мне стало дурно? Нет? Правда, нет?.. Не хватало еще, чтобы я умерла прямо здесь, у тебя в доме!.. Не касайся меня! Только не касайся!

Он неловко присел на краешке стула, все еще

крепко сжимая в широких ладонях пузырек с лекарством. Но лицо его уже принимало обычное выражение скрытного, порою жестокого упорства. Он пожал плечами.

— Можешь издеваться, сколько тебе угодно, — продолжала она тем же невозмутимым голосом, — но я ничего не могу с собой поделать. Когда меня подхватывает и уносит… далеко-далеко… я ужасно боюсь, что ко мне притронутся… Мне кажется тогда, что я стеклянная… Да, именно так… Большой пустой кубок…

— Гиперэстезия — обычное явление после нервных потрясений.

— Гипер… что? Какое странное слово! Так тебе это знакомо? Тебе случалось лечить таких женщин, как я?

— Сотнями, — с гордостью отвечал он, — сотнями!.. В Монтрейском лицее бывали случаи куда более тяжелые. Подобные приступы нередки у девушек, живущих сообществом. Проницательные наблюдатели утверждают даже, что…

— Так ты полагаешь, что тебе хорошо знакомы женщины моего склада?

Она умолкла и вдруг выкрикнула:

— Так нет же! Ты лжешь! Ты солгал!

Она подалась к нему, взяла его за обе руки, тихо

склонилась к ним щекой… Вдруг она впилась зубами ему в запястье, и острая боль проникла в самое его сердце. В то же мгновение гибкий звереныш покатился вместе с Гале на кожаные подушки. Он видел над своей запрокинутой головой лишь огромные глаза, где росло поднимавшееся в нем блаженство… Она встала прежде него.

— Вставай же, — смеялась она, — вставай! Если бы только ты мог видеть теперь себя! Дышишь, как кот, глаза блуждают… Такие женщины, как я? Как бы не так, дружочек мой! Нет ни одной, нет другой такой женщины, какая могла бы сделать из тебя любовника…

Она ласкала взором взлелеянный ею порок. В самом деле, на протяжении долгих недель угревая в своих объятиях кампаньского законодателя, она воскресила его к новой жизни. «Наш депутат входит в тело», — поговаривали добрые люди. В прежнее время необыкновенно постное выражение лица господина Гале умиротворило бы самую сварливую супругу, кроме его собственной благоверной — теперь у него стало округляться брюшко. Сладострастие, пиршество плоти отнюдь не утолили его вожделений, но он начал обрастать свежим жирком: вынуж-

денный держать в тайне свои утехи скупца, он насыщался ими, не тратя ни крохи на праздные речи, переваривая их без остатка. Его повседневная, постоянная скрытность поражала даже его любовницу. Сама, вероятно, не сознавая вполне, сколь велика ее власть над ним, она видела верное отображение этой власти в глубоко вкоренившейся, упорной, мелочно-изощренной лжи. Несчастный упивался ею; иной раз малодушный депутат отваживался даже приблизиться к ней вплоть, коснуться ее — в ней вкушал он сладкую горечь отмщения: многолетнее унижение супружества лопнуло в ней, как пузырь в жидкой грязи. Мысли о беспощадной супруге, прежде рождавшие в нем ненависть и страх, стали для него одним из источников радости. Бедная женщина неустанно сновала по дому, то спускаясь в погреб, то взбираясь на чердак, зеленая от глубоко въевшейся подозрительности. Казалось, она была еще хозяйкой в сих ненавистных стенах («Или я уже не хозяйка в своем доме?» — эти полные вызова слова то и дело слетали с ее уст). Но нет, она уже не была хозяйкою! Воздух, которым она дышала, и тот он украл у нее: она дышала их воздухом.

— Я люблю тебя, — промолвил врач, — до тебя и понятия ни о чем не имел.

— Мне-то какая забота? (Она вновь засмеялась смехом, с каждым днем увы! — звучавшим все напряженнее и жестче.) У меня, скажу тебе, никогда к этому особой охоты не было! Так, самую малость… Знаю, прекрасно знаю, о чем ты подумал (он внимал ей с видом укоризненным и насмешливым, притворяясь, будто все это не очень его трогает). Ну не глуп ли ты! Принимать меня за распутницу! Какой вздор!..

Но смех никого не мог обмануть; в голосе ее, звучавшем теперь немного громче, слышалось самодовольство польщенной самки. Взгляд ее вновь уходил вглубь, ускользал. Человеческого в нем осталось лишь едва различимое выражение тщеславия, упрямства и глуповатого простодушия — дани ее полу.

— Однако… — возразил было он.

Она зажала ему рот, и он ощутил на губах прикосновение ее пальцев.

— Если бы ты знал, как приятно быть красивой! Мужчина, чувствующий влечение к женщине, всегда прекрасен. Но тысячу крат прекраснее мужчина, жаждущий ее каждый день, как хлеба и воды… У тебя, дружок, глаза такого мужчины.

Она откинула его голову и погрузила взгляд под самые его вялые веки. Никогда еще горящее в

ней пламя, неизменное, неистовое и бесплодное, не пылало столь ярко. На краткий миг законодатель из Кампани ощутил себя другим человеком. Пугающая воля любовницы стала точно зримой и ощутимой, и он с каким-то стоном простер к Жермене руки.

— Му… Мушетта, — взмолился он, — маленькая моя Мушетта!

Она не противилась охватившим ее рукам, но глядела как в те дни, когда бывала в дурном расположении духа.

— Хорошо… хорошо… ты любишь меня…

— Но послушай, только что…

— Подожди минутку, — перебила она, — пойду оденусь. Совсем продрогла.

Когда голос ее раздался вновь, он увидел, что она в застегнутом халате уже свернулась калачиком в кресле, скромно сдвинув ноги и сложивши руки на коленях.

— И после всего этого ты даже не осмотрел меня?

— Хоть сейчас.

— Нет, нет! — вскричала она. — Чего ради? Отложим до следующего раза. Впрочем, я в этом разберусь лучше любого. Через шесть месяцев я, как говорится, стану матерью. Прелестной

матерью!

Гале разглядывал узор на ковре.

— Новость удивила меня, — произнес он наконец с забавной важностью. — Я как раз собирался поговорить с тобой об этом. Весьма сомнительная беременность. Позволь мне говорить откровенно, у меня есть к тому веские причины… Боюсь только, ты снова рассердишься…

— Не бойся, говори, — успокоила его Жермена.

— В вопросах любви ни у тебя, ни у меня нет ни предрассудков, ни особой щепетильности. Да и как верить в нравственность, которую такие точные науки, как математика и гигиена, отрицают изо дня в день? Институт брака меняется, как и все на свете, и вершиною его явится то, что мы, врачи, называем Свободным Союзом. Так вот, уважая в тебе свободную женщину, вольную распоряжаться собственной судьбою, я воздержусь от каких бы то ни было нескромных намеков и буду говорить о прошлом со всей возможной сдержанностью. Однако у меня есть веские причины считать, что у тебя больший срок беременности. Я убежден, что обследование — с твоего разрешения, разумеется — подтвердит сей априорный диагноз. Мне нужно не более пяти минут.

— Нет! — возразила она. — Я передумала.

— Хорошо. Стало быть, ограничимся пока этим.

Напрасно он ждал гневного восклицания, возмущения, хотя бы тени досады на лице. Вновь наступило долгое молчание, повергшее его в совершенное замешательство. Невозмутимо выслушав его, Жермена раздумывала, напрягая все силы своего духа, а в такие мгновения лицо ее принимало детское выражение.

— Да, хорошо быть ученым человеком, — объявила она наконец. — Ничего-то от вас не утаишь. А все-таки я правду говорила… Впрочем, гляди сам, еще и незаметно ничего… Но, уж во всяком случае, я, надеюсь, могу рассчитывать на то, что ты не оставишь меня без помощи в затруднительном положении.

— О чем это ты?

— Я не рожу ни через три, ни через шесть месяцев, Я вообще не собираюсь рожать.

— Ты меня удивляешь! — бросил он со смехом.

Она снова остро посмотрела на него.

— Ты думаешь, я совсем уже дура? Я-то знаю, как скоро у вас такие дела делаются: раз-два и… фюить! Как будто ничего и не было!..

— То, о чем ты меня просишь, малыш, есть тяжкое правонарушение, караемое по закону. Как и

о других предметах, я имею об этом собственное суждение. Однако человеку моего положения должно считаться с мнениями, если хочешь, с предрассудками, которые можно уважать или нет, но которые, без сомнения, имеют большую власть над умами… Закон есть закон.

Он решил уже, что своей неосторожностью Мушетта выдала себя, что любовница, выдавшая свою тайну, станет сговорчивее.

— Не тебе учить меня моему ремеслу, малютка, — продолжал он снисходительно. — Я никогда не теряю от любви голову настолько, чтобы забыть о необходимой в таких обстоятельствах простейшей предосторожности… Возможно, впрочем, что ты ложно толкуешь малознакомые тебе симптомы. Но если ты действительно беременна, Мушетта, то не от меня.

— Довольно, — со смехом прервала она его. — Я просто возьму и поеду в Булонь. Можно подумать, что я бог весть что прошу у тебя.

— Простая порядочность обязывает меня сказать тебе еще кое-что.

— Что же?

— Я должен предупредить тебя, что хирургическое вмешательство опасно в любом случае, а иногда смертельно… Вот так.

— Вот так! — повторила она.

Жермена поднялась и тихо, почти смиренно ступая, подошла к дверям. Напрасно, однако, вертела она дверную ручку, сначала неуверенно, потом все более порывисто, наконец, в совершенном исступлении. Очевидно, Гале по рассеянности запер дверь на два оборота ключа. Жермена попятилась на несколько шагов, уперлась в письменный стол и стала там, бледная как смерть. Несколько раз подряд она проговорила помертвелыми губами, вопрошая самое себя:

— Это что-то напоминает мне, но что?

Были ли причиною тому удары дождевых капель об оконное стекло? Или внезапно сгустившиеся сумерки? Или что-нибудь более тайное? Гале кинулся к двери, дернул, распахнул настежь. Растворил не столько ради любовницы своей, сколько ради страха своего, опасности — он и сам не знал какой, — которую увидел в лице Жермены, ощутил совсем близко — в слове, готовом сорваться с ее губ и которого ему нельзя было слышать, — ради неведомого признания, которого не удержали бы долго ее уже задрожавшие губы. Порыв его был столь внезапен, столь безумен, что, выбежав в темный коридор и обернувшись к свету, он удивился, оказавшись лицом к лицу с

недвижно стоявшей Жерменой.

Однако, боясь показаться смешным, он нашел в себе силы сказать:

— Я не держу тебя, девочка, коли тебе так уж не терпится уйти. Прошу только извинить меня за то, что давеча запер дверь, — прибавил он с изысканной вежливостью, за что в уме похвалил себя. — Я сделал это неумышленно, просто по забывчивости.

Она слушала его, не поднимая глаз, без улыбки на губах, потом шагнула мимо и, понурившись, побрела прочь той же смиренной походкой.

Столь неожиданная в ней покорность повергла в смятение кампаньского лекаря. Всякий раз, когда он попадал в затруднение, ему, как и всем глупцам, хотелось непременно что-нибудь сказать, но соображал он слишком медленно, и ему была нестерпима мысль, что их ссора завершится столь простой и молчаливой развязкой. За столь непродолжительное время, какое понадобилось мадемуазель Малорти для того, чтобы добраться до выхода, куриный мозг Гале не мог успеть приготовить решающие, в одно и то же время красноречивые и исполненные твердости слова, которыми он, не роняя собственного достоинства, возвратил бы сострадательную Мушетту в

обитое зеленым репсом кресло. Но когда обожаемая ручка коснулась двери, когда черный силуэт Жермены обрисовался уже на самом пороге, все силы его тщедушного тела слились в вопле:

— Жермена!

Он обхватил ее сзади, пропустив свои руки под ее руками, притиснул к себе так, что она согнулась, и, сильным пинком ноги захлопнув дверь, швырнул ее в кресло.

Побледнев до синевы, он тотчас опустился на первый попавшийся стул, словно это усилие поглотило мгновенно все его душевные силы. А она уже ползла к нему на коленях: волосы распущены, руки тянутся к нему, и в словах ее еще больше мольбы, чем в глазах, посветлевших от мучительного страха.

— Не оставляй меня одну, — твердила она. — Не оставляй! Не прогоняй меня сегодня… Мне померещилось… Мне стало так страшно!..

— Кухонную дверь заперли. Тимолеон ушел. Там кто-то есть… пробормотал, отстраняя любовницу, побежденный герой.

Но она обхватила его руками.

— Не гони меня! Я обезумела! Я никогда не боялась. Это впервые со мной случается. Этого больше не будет.

Он вновь отстранил ее, уложил на диван, но она тотчас села. Краска вернулась на ее щеки. Она бездумно повторяла: «…больше не будет… больше не будет…», но голос звучал уже иначе.

Гале отошел от дивана, но почти немедленно вернулся с озабоченным видом.

— Ничего не понимаю, — сказал он. — Дверь прачечной открыта, окно в кухне тоже. Но Тимолеон не возвращался, я видел его сабо на ступенях крыльца…

Он сделал ужасное лицо и повысил голос:

— Из-за тебя я черт знает какие глупости делаю!

Она улыбнулась.

— Это последняя. Я буду умницей.

— Чертов Тимолеон! Не дом, а проходной двор!

— Да чего ты перепугался?

— Мне вдруг показалось, что там моя жена, — простодушно признался великий государственный муж из Кампани.

И тотчас промолвил, полагая, что так оно будет выглядеть достойнее:

— Она иногда возвращается вот так, совершенно неожиданно.

— Оставь свою жену в покое, — отвечала совершенно оправившаяся Мушетта. — Уж мы бы

увидели ее. Я тоже хочу просить у тебя прощения, я отвратительно вела себя, бедный мой котик! Лучше бы ты не удерживал меня. Я все равно вернулась бы. Ты мне нужен, котик… Нет, совсем не потому, о чем ты думаешь! — вскричала она, беря его за руку. — Не станем же мы в самом деле ссориться из-за малыша, который все равно не родится, даю тебе слово! Я не хочу, чтобы здесь поднялся шум. А остального я не боюсь! Мне на все плевать! Ты мне нужен, потому что теперь ты единственный человек, которому я могу говорить правду.

Он пожал плечами.

— Ты думаешь, что все это вздор, — продолжала Жермена (она говорила очень быстро, очаровательная в своем возбуждении). — Сразу видно, милый, какие мы с тобой разные люди! Когда я была маленькой, я часто лгала без всякого удовольствия. Теперь же я ничего не могу с собой поделать. Тебе я представляюсь такой, какой мне хочется казаться. Мною владеет мерзкое желание играть не свою роль, но именно такую, какая вызывает отвращение! Почему мы так не похожи на животных? Они бродят, едят и умирают, не заботясь о том, как все это выглядит. Ты видел, как быки жуют сено у ворот городской бойни, в

двух шагах от станка, где стоит мясник с окровавленными руками и склабится, глядя на них. Да, я завидую им! Больше того, скажу тебе…

— И пошло и поехало, — перебил ее лекарь. — Скажи-ка мне лучше, но только откровенно, что случилось с тобой? Посуди сама, спервоначала ты, как девушка благоразумная вроде, признаешь справедливость моих доводов, потом, похоже, собираешься просить каких-то людей — не желаю знать ни кто они, ни как их зовут — об опасном, сомнительном деле, ответственность за которое я не могу взять на себя, затем уходишь покорно, как побитая собачонка — тише воды, ниже травы, и вдруг… — да, разумеется, странными должны казаться тебе мои речи, только откуда тебе знать? Тут, видишь ли, то, что мы, врачи, называем случаем, весьма любопытным случаем… вдруг из-за того, что запертая дверь не поддалась твоим усилиям, у тебя начинается бред, самый настоящий бред (подражая ей): «Мне померещилось… Мне стало так страшно!» Я едва успел ухватить тебя на лету. У тебя было такое дикое лицо! Куда ты собиралась идти?

— Хочешь знать? Ты же мне все равно не поверишь.

— Все-таки скажи.

— Я хотела покончить с собой, — спокойно промолвила Мушетта.

Он сильно ударил себя ладонями по коленям.

— Ты издеваешься надо мной!

— Или, если хочешь, — продолжала она невозмутимо, — мне представлялся берег пруда в Вору, подле усадьбы, то место, где растут две ивы и где я хотела утопиться. Позади виднелась между деревьями черепичная кровля замка. Ну, что я тебе скажу? Я понимаю, все это глупости… Я совсем тогда обезумела.

— Проклятье! — выругался Гале, подскакивая к двери. — Теперь ходят наверху… Это ее шаги!

Она захохотала было, но он посмотрел на нее такими свирепыми глазами, что она поспешила заглушить взрыв веселости, прижав ко рту платочек.

Ей слышно было, как он, осторожно шаркая шлепанцами, подошел к лестнице, как скрипнули нижние ступени. Потом стало тихо, и он вернулся к ней.

— Это Зеледа, — объявил он, — ее дорожная сумка стоит на полу в коридоре верхнего этажа. Видно, чтобы не тратиться на ночлег в гостинице, она вернулась поездом в двадцать тридцать. Как это я выпустил из виду! Она здесь уже минут де-

сять, а то и двадцать, кто знает?.. Быстро уходи!

От нетерпения он переступал с ноги на ногу, хотя и старался в столь унизительном для себя положении сохранить некоторое достоинство. Однако Мушетта холодно возразила:

— Теперь ты сходишь с ума! Да чего ты боишься, скажи на милость? Меня послал к тебе папа. Не могу же я тайком бежать, как воровка, — глупее этого не придумаешь. Да и окно твоей комнаты смотрит на улицу Эгролет, и она непременно увидит меня. Вернуться домой после трехдневной отлучки и не сказать ни слова! Странно как-то. Ты думаешь, она слышала наш разговор? Ну так что же? Пусть слышала — через запертую дверь никогда не разберешь, о чем говорят. Не спорь! Смейся ей в лицо! Когда она придет, мы с ней поздороваемся как ни в чем не бывало…

Ее слова показались ему убедительными. В мгновение ока проворные руки Мушетты навели в комнате прежний порядок. Диванные подушки обрели свою упругую округлость, кресла благовоспитанно повернулись спинками к стене, дверца аптечки затворилась, а лампа сияла мирным светом под уютным зеленым абажуром. И когда мадемуазель Малорти вновь заняла свое место в кресле, даже от стен веяло ложью.

— А теперь будем ждать, — молвила она.

— Будем ждать, — вторил ей Гале.

В последний раз он обвел комнату взглядом и, совершенно успокоившись, обратил его к любовнице. Сидя в почтительном удалении от высокоученого мужа, юная пациентка готова была со всем прилежанием внимать непогрешимому оракулу.

— Ты с ума сошла — так высоко скрещивать ноги! — испуганно прошипел он.

Теперь, когда Жермена молчала, он ясно сознавал, что поддался не столько доводам, сколько выражению и звучанию голоса.

«Какое ребячество, — твердил он себе, — какое ребячество! Да можно придумать тысячи причин, чтобы оправдать ее приход!»

Но при одной мысли, что в скором времени ему придется лгать, подыгрывая сумасбродной девчонке, притворяться, чтобы обмануть недоверчивого и коварного врага, язык немел у него во рту.

Он стал искать взгляд Мушетты, но она не смотрела на него. Предательские глаза разглядывали стену над его головой, и в них росла новая тайна. В нем возникло предчувствие, нет, уверенность, что беды не миновать. Грех был здесь,

перед глазами его, ярко освещенный, очевидный, вопиющий — он сам настоял на том, чтобы сей неопровержимый свидетель остался подле него! Если бы страх не приковал его к месту, он тот же час выкинул бы Мушетту в окно, бросился бы на нее и топтал, как топчут тлеющий фитиль, упавший рядом с пороховым погребом. Но было слишком поздно. Оцепеневший в жутком безволии, поражающем трусов, он оказался бы беззащитен перед извечным своим врагом. Он услышал ее еще прежде, чем она успела выговорить первое слово (нарушивший молчание голос был ясен и чарующ):

— Веришь ли ты в ад, котик?

— Теперь самое время толковать о всяком вздоре, — примирительно заметил он. — Прошу тебя, приберегли для более удобного случая свои нелепые шуточки.

— Ай-ай-ай! Нет, вы только полюбуйтесь на него!.. Ну, довольно уже, опасность миновала, успокойся. Ты наконец выведешь меня из себя! Трясешься, будто тебя на казнь должны вести. Чего тебе теперь бояться? Да ничего, решительно ничего!

— Я одной тебя боюсь, — проговорил Гале. — На тебя не очень-то положишься.

Ничего не сказав в ответ, она только улыбнулась и, помолчав, спросила тем же спокойным чарующим голосом:

— Отвечай мне не раздумывая: веришь ли ты в ад?

— Конечно же, нет! — вскричал он, теряя терпение.

— Поклянись!

Он решил покориться.

— Ну хорошо, клянусь.

— Так я и знала, — заметила она. — Ты не боишься ада, но боишься жены! Как же ты глуп!

— Замолчи, Мушетта, или уйди! — умоляюще сказал он.

— Уйди! Поди, жалеешь теперь, что давеча не отпустил меня? Лежала бы теперь твоя Мушетта на дне лягушачьего пруда, милый ротик ее был бы набит тиной, и она молчала бы, как рыба… Не плачь, большое дитя! Ты же видишь, я нарочно говорю шепотом. Жалкий трусишка! Ты ее, а не меня боишься.

Он взмолился:

— Какая тебе корысть в том, чтобы причинять боль?

— Никакой, решительно никакой. Я вовсе не хочу делать тебе больно. Но почему все-таки ты

не боишься меня?

— Ты добрая девушка, Мушетта.

— Еще бы! С ней ты делишь одно наслаждение! Разве ты не доказал этого только что, ну, признайся? Ребенок от Мушетты? Упаси боже!

Ребенок не мой! — завопил он, теряя власть над собой.

— Допустим. Но я и не прошу тебя признать свое отцовство.

— Но ты требовала, чтобы я совершил поступок, противный моей совести!

— Сейчас мы потолкуем о твоей совести, — заметила Мушетта. — Не пожелав оказать мне услугу, ты окончательно открыл мне глаза. Не дожидайся, я не стану ссориться. Я люблю тебя не за красоту — взгляни-ка на себя! — и не за торопливость — уж не обессудь, но ты прижимист-таки! Так что же я люблю в тебе? Не делай круглых глаз! Порочность твою... Скажешь, что это все из книжек? Если бы ты знал... то, что узнаешь скоро... ты понял бы, что я точно скатилась на самое дно и стала вровень с тобой... Оба мы сидим в одной яме... Мне нет нужды лгать тебе... Ты думаешь, что мною движет чувство мести, но ты не понимаешь моей души... Нет, мой милый! Но сегодня я могу быть откровенной до конца, я

должна высказаться — или теперь, или никогда! Я загнала тебя в угол, бедный мой котик! Тебе от меня не улизнуть… Да я об заклад готова биться, что ты в полный-то голос побоишься говорить!.. Так-то!

Она сама говорила так тихо, что он простодушно-бессознательным движением склонял голову к ней, чтобы лучше слышать. Привычная складность речи и пониженный до полушепота голос Жермены, неторопливые шаги Зеледы наверху, голос Тимолеона, возившегося со своими кастрюлями и напевавшего какую-то дурацкую песенку, совершенно рассеяли тревогу Гале. Однако он все еще не смел смотреть в глаза Жермене, хотя и чувствовал на себе ее взгляд… «Вот ведь неприятность!» — думалось ему.

Но роковой знак уже начертался на стене.

Мушетта глубоко вздохнула и повела речь:

— Если я решилась теперь говорить, то единственно ради тебя, ради твоего же блага… Суди сам. Мы встречаемся уже не первую неделю, и никто не знает о том, ни единая душа… Мадемуазель Жермена здесь, господин депутат там… Плохо ль мы таимся? Плохо ль бережемся чужого глаза? Господин Гале живет с шестнадцатилетней девчонкой, а кому это придет в голову? Да хотя бы и

твоей жене? Признайся же, старый развратник, уже одно то, что ты изменяешь ей прямо здесь, под самым носом у нее, прямо-таки под самыми ее усами (есть, есть у нее усы!), составляет уже половину твоего счастья. Я-то знаю тебя, ты любишь мутную водицу. В том прудике в Вору, о каком я тебе сказывала, водятся престранные, диковинного вида твари, нечто вроде сороконожек, только подлиннее… Поплавают в прозрачной воде у поверхности и вдруг нырнут, и на том месте, где они были, поднимается из глубины облачко мути. Так вот эти козявки похожи на нас! Между дурачьем и нами тоже стоит такое вот облачко. Тайна. Великая тайна… И когда ты узнаешь ее, меж нами будет такая любовь!

С этими словами она откинулась и рассмеялась беззвучно.

— Забавно! — проронил Гале.

Она легонько выпятила губы, состроив по-детски обиженную рожицу, и некоторое время наблюдала его с выражением беспокойства, но вскоре лицо ее прояснилось:

— Ты прав, я действительно много болтаю, — призналась она, — от страха, в сущности. Болтаю, просто чтобы что-нибудь сказать. А что, если бы сейчас сюда вошла Зеледа? Любопытно знать,

испытала бы я чувство облегчения или, напротив, досады? Подожди! Подожди! Выслушай прежде!.. Так вот, ребенок не твой. Догадайся — чей?.. Маркиза… да, да… Господина маркиза де Кадиньяна!..

— Забавно! — повторил Гале.

Губы Мушетты задрожали.

— Поцелуй мне руку, — неожиданно велела она, — да… поцелуй мне руку… Я хочу, чтобы ты поцеловал мне руку!

Голос не повиновался ей совершенно так, как у актрисы, которой не удался задуманный эффект: она теряет самообладание, но упрямо твердит свое. Произнося эти слова, она совала руку к губам своего любовника, потом внезапно отстранилась и проговорила необыкновенно напыщенно:

— Ты целовал руку, убившую его!

— Презабавно! — в третий раз повторил доктор Гале.

Мушетта хотела презрительно рассмеяться, но сдавленный звук, вырвавшийся из ее горла, был так страшен и так мучителен, что она умолкла.

— У тебя душевная болезнь, — рассудительно изрек кампаньский лекарь. Любой врач тотчас нашел бы все ее признаки. Но ты девушка нервическая, с тяжелой наследственностью: в роду

были алкоголики, всего два-три года как достигшая половой зрелости и страдающая к тому же от преждевременной беременности. В подобных случаях такое состояние не редкость. Извини меня за то, что я так говорю: я взываю к твоему рассудку, к здравомыслию твоему, ибо знаю, что больные такого рода никогда не верят до конца собственным бредовым измышлениям. То была шутка, признайся? Пусть далеко зашедшая, но все же шутка, какую от всякого можно услышать? Скверная шутка.

— Шутка, — с трудом выговорила она наконец.

Невыразимый гнев тяжело бился в ее груди, но она подавила его. В пламени жестоко уязвленного самолюбия сгорели последние остатки безумного и жестокого отрочества. Она ощутила вдруг в своей груди одетое несокрушимой броней сердце, а в голове холодный и рассудительный ум женщины, несчастной сестры девочки.

— Не пытайся спрятаться в кусты, когда дело приняло такой оборот, воскликнула она, — или настанет твой черед плакать! Думай что угодно: может быть, я устала носить в себе тайну, может быть, раскаиваюсь, а может быть, просто боюсь… Как и всем, мне знаком страх. Думай, что тебе угодно, но не отпирайся от своей доли. Отсту-

пать поздно, я и так слишком много сказала. Да, я убила его. Когда? Двадцать седьмого числа… В котором часу? В час ночи без четверти (как теперь, вижу стрелку часов)… Я сняла его ружье, оно висело на стене под зеркалом… Скорее всего, я не была совершенно уверена в том, что оно заряжено. Но оно оказалось заряжено. Я надавила спуск, когда дуло коснулось его. Он повалился едва не на меня… В туфлях было полно крови — я отмывала их в пруду, а чулки выстирала дома, в тазе… Вот так! Ну что, убедила? — спросила она с ребячливой самоуверенностью. — Может быть, тебе нужны еще доказательства? (А между тем она не привела ни единого.) Будут и другие, ты расспроси меня.

Невероятно! Ни на мгновение Гале не усомнился в ее искренности. Он поверил ей с первых же произнесенных ею слов, ибо глаза ее были еще красноречивее слов. Однако он был настолько поражен, что лицо его не выразило ужаса, которого ожидала Мушетта. Когда безумный страх, объемлющий труса, не находит сильных внешних выражений, он стократ увеличивает темные силы его души, рождая в получеловеке-полузвере, где разум едва тлеет, почти безграничную способность таиться и лгать. Не ужас перед

убийством пригвоздил Гале к месту, но молнией мелькнувшая в его мозгу мысль, что он останется навечно связан со страшной своей подругой не как соучастник преступления, но как посвященный в жуткую тайну. Возможно ли будет когда-либо открыть ее, не выдав себя? Но коль скоро признание слетело с ее уст, он будет отрицать! Что еще оставалось ему делать? Нет, нет и нет! Пусть против самой очевидности! Нет! Нет! Нет! — вопил животный страх. Ему нестерпимо хотелось ударить ее своим «нет» по рту, только чтобы не слышать страшных, бичующих слов. Но погоди… Следствие закончено, состава преступления не найдено… Но, может быть, он еще не все знает? Что, если Мушетта держит про запас какое-нибудь доказательство? Пусть выложит все, а уж он отведет удар! Свойственная судьям недоверчивость, необычность преступления, забвение, уже коснувшееся памяти о человеке, некогда внушавшем страх и ненависть, уважение к семейству Малорти, наконец, свидетельство врача — члена парламента, — всего этого было достаточно, чтобы положить конец всяким колебаниям суда. Лихорадочное возбуждение Мушетты и бредовые выдумки, на которые она вполне способна в ослеплении гнева, давали

все основания предполагать приступ безумия, действительно грозивший ей в скором времени, в чем Гале, кстати, не сомневался… Но что же еще наговорит коварная девчонка, будь она безумна или в здравом рассудке, прежде чем за ней захлопнется обитая войлоком дверь отделения для буйнопомешанных? Как бы скоро ни мелькали в голове бедняги путаные мысли, он вновь пустил в ход свою крестьянскую хитрость и сказал без тени насмешки:

— Я боялся, что ты рассердишься… Не берусь судить о твоем поступке, даже если ты действительно его совершила. Совратителю пятнадцатилетних девочек не всегда безопасно заниматься своим промыслом… Хорошо, я расспрошу тебя, тем более что ты сама настаиваешь на том. Перед тобой друг… исповедник (он невольно понизил тревожно звучавший голос)… Стало быть, ты не ночевала дома в ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое?

— Что за вопрос!

— А отец?

— Разумеется, спал. Незаметно уйти из дому не составляет никакого труда.

— А вернуться?

— И вернуться, разумеется… Да в три часа утра

его пушкой не разбудишь!

— А что было на следующий день, дорогая, когда они узнали?..

— Как и все, они решили, что это самоубийство. Папа поцеловал меня. Накануне он виделся с господином маркизом, и тот ни в чем не сознался. «А все-таки он струхнул!» — сказал папа, и еще он сказал: «С малышом что-нибудь придумаем — у Гале длинная рука». Они хотели с тобой посоветоваться, но я не захотела.

— Значит, и ты ни в чем не созналась?

— Нет!

— И тотчас по совершении своего… деяния… ты скрылась?

— Я только сбегала к пруду и вымыла туфли.

— Ты что-нибудь взяла с собой, унесла оттуда?

— А что бы я могла взять?

— Что ты сделала с туфлями?

— Сожгла в печи вместе с чулками.

— Я видел… я осмотрел труп, — продолжал Гале. — Полное впечатление самоубийства. Выстрел был произведен с такого близкого расстояния!

— Да, под самый подбородок, — подтвердила Мушетта. — Я была намного ниже его, а он шел прямо на меня… Он не боялся.

— Уби… покойный имел при себе какие-нибудь мелкие предметы… письма?

— Письма? — Жермена пренебрежительно пожала плечами. — Какие еще письма?

«Весьма правдоподобно», — подумал Гале и удивился, услышав свой собственный голос, произносящий эти слова.

— Вот видишь! — торжествующе вскричала Мушетта. — Я-то не сомневалась, что все это чистая правда. Пусть теперь приходит твоя Зеледа, вот увидишь, я буду вести себя, как паинька. «Здравствуйте, Жермена». (Она встала и сделала перед зеркалом реверанс.) — «Здравствуйте, сударыня…»

Но врач уже не в силах был сдерживаться. Тиски страха вдруг разжались, и он выпустил на волю ложь, как обложенный псами зверь изливает непроизвольно мочу, когда преследователи оставляют его наконец в покое.

— Твой рассудок помешался, — сказал он, испустив долгий вздох.

— Как?! — изумилась она. — Ты…

— Я не верю ни единому слову.

— Можешь не повторять, — проговорила она сквозь зубы.

Улыбаясь, он делал успокоительные движения

рукой.

— Послушай, Филогон, — умоляюще начала она (выражение ее лица менялось еще быстрее, чем звук голоса). — Я лгала тебе, просто храбрилась. Да, я не могу больше ни жить, ни дышать, ни даже видеть свет дня, когда окружила себя такой чудовищной ложью. Ну вот, теперь все! Поклянись, что я сказала все!

— Тебе привиделся страшный сон, Мушетта.

Она взмолилась вновь:

— Ты сводишь меня с ума. Если уж и в этом я стану сомневаться, во что же тогда мне верить? Но что я говорю! — перебила она сама себя, и голос ее зазвучал пронзительно. — С каких пор отказываются верить слову сознающегося в своем злодеянии и кающегося убийцы? Я каюсь!.. Да, да, я буду каяться, буду! Тебе никуда не деться от этого! И если ты не поверишь мне, я пойду и расскажу всем мой сон, преследующий меня сон! Твой сон!

Она рассмеялась. Гале узнал этот смех и побледнел как полотно.

— Я зашел слишком далеко, — пролепетал он. — Успокойся, Мушетта, успокойся, оставим этот разговор.

— Я напугала тебя, — сказала она уже не так

громко.

— Немного, — признался он. — Ты теперь так возбуждена, так необуздана… Довольно об этом, мне все ясно.

Она вздрогнула.

— Во всяком случае, тебе нечего опасаться. Я ничего не видел, ничего не слышал. Вообще говоря, ни я, ни кто бы то ни было… — неосторожно начал он.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хотел сказать, что твой рассказ, независимо от того, сказала ты правду или солгала, походит на сон…

— То есть?

— Кто видел, как ты выходила из дому? Кто видел твое возвращение? Какие могут быть против тебя улики? Ни единого свидетеля, ни единого вещественного доказательства, ни единой записки, ни пятнышка крови… Вообрази, что я объявляю себя убийцей. Ну и что? Мне тоже никто не поверит. Доказательств-то нет!

И тут Мушетта поднялась перед ним во весь рост. Нет, она не была бледна — напротив, лоб, щеки и самая шея ее пылали так ярко, что под тонкой кожей на висках резко обозначились синие жилы. Сжатые кулачки были угрожающе

подняты, но в глазах несчастной девочки отражалась невыразимая тоска, словно она молила о пощаде. Потом и этот свет угас, и в зрачках Жермены заметалось безумие. Она открыла рот и закричала.

Непрерывный звериный вой, звучавший то выше, то ниже, наполнил домик, где уже слышался повсюду невнятный говор и топот ног. Врач отшвырнул далеко от себя тщедушное окостенелое тельце и теперь пытался зажать воющий рот, заглушить вопль. Он боролся с ним, как убивец борется с живым, бьющимся под его пальцами сердцем. Если бы по случайности его долгие руки натолкнулись на содрогающуюся шею Жермены, она несомненно была бы удавлена, ибо всеми своими движениями обезумевший от страха трус походил на убийцу. Он сдавил, стеная, маленькую челюсть, и никакая сила в мире не заставила бы его ослабить хватку… Зеледа и Тимолеон появились в одно время.

— На помощь! — взмолился он. — Мадемуазель Малорти… приступ буйного помешательства… необыкновенно тяжелый… Да помогите же, боже мой!..

Тимолеон схватил руки Жермены и придавил их к ковру, раскинув крестом. Помешкав немного,

мадам Гале взялась за ноги. Освободив наконец руки, Гале накинул на лицо безумицы смоченный эфиром платок. Жуткий вой приглушенно звучал еще некоторое время, постепенно стихая, и, наконец, оборвался. Побежденная девочка потеряла сознание.

— Сбегай за простыней! — приказал врач супруге.

Они спеленали неподвижное тело. Тимолеон побежал известить о случившемся пивовара. Вечером того же дня Жермену перевезли автомобилем в психиатрическую лечебницу доктора Дюшемена. Она вышла оттуда месяц спустя, родив там мертвое дитя и совершенно излечившись от своего недуга.

Часть первая
ИСКУШЕНИЕ ОТЧАЯНИЕМ
I

— Дорогой мой каноник, старый друг мой, что сказать вам? — заключил аббат Деманж. — Хотя мне теперь и трудно считать ваши сомнения основательными, меня тяготит наше расхождение во мнениях… Я весьма склонен был бы полагать, что изощренный ум ваш обратился на пустяки, когда бы не знал вашей осмотрительности и твердости суждений… Все же вы придаете чрезмерное значение молодому неотесанному священнику…

Ничего не ответив, аббат Мену-Сегре зябко оправил одеяло на коленях и, низко клонясь вперед, потянулся руками к очагу. Наконец он нарушил молчание и заговорил не без затаенного лукавства, мгновенно блеснувшего в глазах:

— Среди всех тягот преклонного возраста опыт стоит не на последнем месте, и мне не хотелось бы, чтобы упомянутая вами осмотрительность увеличивалась в ущерб твердости. Нельзя, разумеется, положить предел рассуждениям и предположениям, но жизнь есть прежде всего

выбор. Признайте же, друг мой, что старых людей пугают не столько ошибки, сколько сознание, что они могут ошибиться.

— Вы верны себе! — с нежностью в голосе проговорил аббат Деманж. — Как мало изменилась душа ваша! В моих ушах все еще звучит ваш голос, когда во дворе Сен-Сюльпис вы спорили о мистических состояниях бенедиктинцев — о святой Гертруде, святой Мельтгильде и святой Хильдегерде — с беднягою де Лантиви. Помните, он еще возражал вам: «Что вы мне толкуете о третьем мистическом состоянии, вы, самый щеголеватый среди всех находящихся здесь и более любого из них грешащий чревоугодием!»

— Помню, — проговорил настоятель, и, обычно такой спокойный, голос его едва заметно дрогнул. Он с трудом повернул утопавшую в подушках голову, обводя взглядом просторный покой, где уже сгустились сумерки, и сказал, указывая глазами на милую его сердцу мебель: — Надо было избавиться. Всегда надо избавляться.

Но голос его тотчас окреп, и в нем зазвучал вызов — так случалось всякий раз, когда Мену-Сегре хотел подтрунить над самим собой, смущая свою великую душу:

— Нет лучшего средства, чем ревматизм, еже-

ли хотите понять и почувствовать, что значит свобода.

— Вернемся к нашему подопечному, — с неожиданной резкостью сказал аббат Деманж, не сразу решившись посмотреть в глаза своему старинному другу. — Мне нужно будет уйти от вас в пять часов. Я охотно повидался бы с ним.

— К чему? — спокойно возразил Мену-Сегре. — Или за целый день мы не насмотрелись на него? Он истоптал грязными ножищами мой бедный старый смирнский ковер, едва не сломал ножки самого дорогого и хрупкого стула, на который не преминул взгромоздиться со столь присущей ему находчивостью… Чего вам еще надобно? Уж не собираетесь ли вы взвесить и измерить его, как новобранца?.. Поверьте, одному богу ведомо, сколько я пережил за неделю из-за милых моих безделушек, к которым так дурацки привязан, с замиранием сердца глядя на этого нескладного, во все черное одетого верзилу!

Но аббат Деманж слишком хорошо знает товарища своей юности, чтобы удивляться его настроению. В старое время, в бытность свою личным секретарем магистра де Таржа, он знал решительно все о некоторых трудностях, выпавших на долю Мену-Сегре и последовательно

преодоленных ясным и прозорливым умом его. Неукротимая независимость сего ума, необоримое, если можно так выразиться, здравомыслие, неизменное следование которому не может иной раз не показаться выражением некоей жестокости, производящей на людей чувствительных впечатление, еще более удручающее оттого, что аббата отличала самая изысканная любезность, свойственное ему презрение к суесловию, преклонение перед жизнью духовной в наиболее высоком смысле слова и в то же время нежелание довольствоваться умозрением, возбудили на первых порах недоверие епископа. Благодаря мягкому, но упорному заступничеству юного Деманжа и в особенности безукоризненной воспитанности будущего настоятеля кампаньской церкви, отправлявшего в те поры обязанности соборного викария, Мену-Сегре снискал — увы, слишком поздно — благорасположение человека, явно чувствовавшего себя польщенным, когда его называли последним дворянином в духовенстве, и скончавшегося на другой же год, оставив магистру Папуену, любимцу министра духовного ведомства, которого тот прочил в преемники епископа, наследство довольно щекотливого свойства. На первых порах аббата Мену-Сегре

вежливо держали в стороне, затем, после того как провалился на выборах в парламент депутат-либерал, за которого аббат, видимо, не очень-то хлопотал, его постигла настоящая опала. Победа радикала — доктора Гале лишила Мену-Сегре всякой надежды преуспеть на духовном поприще. Назначенный в кампаньский приход, впрочем бывший предметом вожделения многих, он покорился судьбе и с той поры мирно оберегал порядок в своих владениях, между тем как обе партии повадились сговариваться во вред ему, а министр духовного ведомства и епископ поочередно то порицали его, то выражали ему свое неодобрение. Эта игра забавляла Мену-Сегре, и более всякого другого он находил удовольствие в сей смене впечатлений. Наследовав порядочное состояние, аббат мудро распоряжался им, целиком предназначив его своим племянницам, довольствовался малым, хотя жил с достоинством опального вельможи, перенесшего в свое захолустье некоторые повадки и замашки царедворца, любопытного к чужой жизни, однако же совершенно чуждого злословия, искусного в умении заговорить любого, выведывающего тайну единым взглядом, как бы ненароком брошенным словом, улыбкой, чтобы потом самому же

просить ничего не разглашать, настаивать на безусловном сохранении этой тайны, наделенного редкостным тактом и остроумным достоинством, очаровательного гостя, учтиво отведывающего кушанья, умеющего быть словоохотливым из милосердной снисходительности к ближнему, воспитания столь безупречного, что простые священники из управляемого им округа, попавшись на эту приманку, почитали его за человека редкой мягкости, приятного и ровного в обхождении, проницательного, но не язвительного, от природы терпимого, правда, несколько скептического и, пожалуй, в известной мере подозрительного.

— Друг мой, — кротко ответствовал аббат Деманж, — узнаю вас. Вы обращаете против вашего викария удар, предназначавшийся мне. В глубине души вы пеняете мне то ли за непонимание, то ли за пристрастие, то ли еще за что-то. Да, весьма милосердно с вашей стороны думать так под рождество о бедном, отставленном от дел товарище, которому, прежде чем лечь в постель, придется, единственно от любви к вам, тащиться сегодня вечером за три лье! Ужели вы и впрямь думаете, будто я могу легкомысленно отнестись к сомнениям, о которых вы поведали мне?.. Но вы, как водится, не терпите колебания в других,

когда сами во что-либо уверовали, подавляете людей своей уверенностью, хотя и с большею, нежели обыкновенно, любезностью… Вы требуете от меня определенного ответа, но данные, которыми я располагаю…

— Вот как, данные? — перебил его настоятель. — Давайте уж начнем расследование, заведем дело, а? Когда решается исход сражения, годится все, что можно пустить в ход. Я не звал вас, покуда сам взвешивал все обстоятельства, но коль скоро укрепился в определенном мнении…

— Короче говоря, вы рассчитываете на мое одобрение?

— Именно, — невозмутимо подтвердил престарелый священнослужитель. — Я от природы несколько самонадеян, но достоинства мои столь ничтожны, старость моя столь малодушна, и я столь безрассудно привержен своим привычкам, слабостям и даже недугам, что в решительный час должен непременно видеть глаза и слышать голос друга. Вы дали мне все, в чем имел нужду! Я доволен. А остальное уж мое дело.

— О, упрямая голова! — воскликнул аббат Деманж. — Вы хотите заткнуть мне рот. Этой ночью, когда я вновь буду далеко от вас, я стану в слепой вере моей молиться об исполнении ваших

желаний, и молитва моя будет такой горячей, какой не была еще никогда. Но прежде, хотите гневайтесь, хотите нет, я изложу вкратце, ради спокойствия моей души, суть нашей беседы и подведу итог… Позвольте, позвольте же мне сказать! — воскликнул он, заметив нетерпеливое движение настоятеля. — Я займу немного вашего времени. Давеча я упомянул о данных из личного дела. Мне хотелось бы продолжить разговор. Разумеется, я не придаю особого значения оценкам успеваемости ученика семинарии…

— Какой смысл продолжать разговор? — прервал его Мену-Сегре. — Да, оценки посредственные, весьма посредственные, но одному богу ведомо, в чем причина! То ли ученик посредственный, то ли учитель!.. Однако вот что сообщает мне, между прочим, магистр Папуен в письме, которого я не читал вам… Благоволите передать мне бумажник — вон он лежит, на краю стола — и придвиньте, пожалуйста, лампу.

Сначала он с улыбкой на устах пробежал письмо взглядом, поднесши его вплоть к своим близоруким глазам, затем начал читать вслух: «Едва осмеливаюсь предложить вам последнего оставшегося у меня, недавно рукоположенного выпускника, с которым господин архиерей, по-

лучивши его от меня, не знает, что делать. Он исполнен всяческих достоинств, умаляемых, к сожалению, крайней несдержанностью и редким упрямством, не получил порядочного воспитания и не умеет прилично держаться, весьма набожен, однако в вере выказывает более усердия, нежели мудрости, — словом, довольно еще неотесан. Боюсь, что человеку вашего склада… (здесь, как водится, колкость, обычная епископская колкость) что человеку вашего склада трудно будет приноровиться к дичку, который оскорбит вас сто раз на дню, сам того не желая».

— Что же вы отвечали? — полюбопытствовал аббат Деманж.

— Примерно следующее: приноравливаться не столь уж важно, ваше высокопреосвященство, довольно будет, ежели он станет полезен мне, или нечто в таком духе.

В голосе Мену-Сегре звучала лукавая почтительность, но в прекрасных, выражающих спокойную отвагу глазах искрился смех.

— Но ведь, по вашему собственному признанию, — нетерпеливо возразил Деманж, — этот малый совершенно таков, как вам его описывали!

— Хуже, — вскричал настоятель, — в тысячу

раз хуже! Да что говорить, вы сами его видели. Вне сомнения, его присутствие в столь благоустроенном доме совершенно противно здравому рассудку. Судите сами, старому канонику довольно уже осенних дождей, сентябрьского ветра, от которого ноют ревматические кости, раскаленной печи, воняющей вареным жиром, грязных следов, оставляемых гостями на коврах, ружейной пальбы последних охотничьих облав. В мои лета ждут бога, надеясь, что он тихо придет в будний день, никому не причинив беспокойства… Увы! Вместо бога к вам заявляется широкоплечий детина, полный столь простодушного рвения, что хочется скрипеть зубами, еще более несносный из-за своей робости, оттого что прячет свои красные ручищи, старается не греметь своими коваными сапожищами и приглушает раскаты своего трубного голоса, каким впору беседовать с конями или быками… Мой сеттерок с отвращением воротит от него нос, домоправительница измучилась, выводя пятна и зашивая прорехи на той из двух его сутан, какая сохраняет еще более или менее приличный вид… Воспитания никакого, грамоте знает ровно столько, сколько надобно, чтобы с грехом пополам читать из требника. Спору нет, обедню он служит с похвальным

благочестием, но так медлительно, с таким неуклюжим прилежанием, что меня пот прошибает на хорах, хотя там чертовски холодно! От одной мысли, что ему придется обращаться с кафедры к столь утонченным слушателям, как наши прихожане, у него делается такой несчастный вид, что я не смею его неволить и продолжаю надсаживать свою бедную глотку. Что еще? С утра до вечера таскается, как последний бродяга, по грязным проселкам и предлагает свою помощь возницам в тщетной надежде выучить их языку, не столь оскорбительному для слуха господа бога, и от него так несет хлевом, что верующие приходят в смущение. И, наконец, мне пока не удается научить его изящно проигрывать в триктрак. В девять часов вечера на него уже находит сонная одурь, и мне должно отказывать себе в сем удовольствии… Ну, что скажете? Не правда ли, предостаточно?

— Если таково существо ваших донесений епископству, мне жаль беднягу, немногословно отвечал аббат Деманж.

Улыбка тотчас исчезла с лица настоятеля, и необыкновенно живые черты его окаменели.

— Меня пожалейте, друг мой, — проронил он.

И в голосе его звучала такая тоска, такая

неизбывная надежда, что сразу стало ясно, как стар настоятель, и величием смерти повеяло в безмолвии просторного покоя. Аббат Деманж покраснел.

— Неужто положение столь тревожно, друг мой? — поспешно проговорил он с трогательным смущением, в благородном порыве дружеского участия. — Боюсь, что я обидел вас, сам не зная, чем.

Но Мену-Сегре с живостью возразил:

— Обидели? Меня? Это я по глупости огорчил вас. Не будем путать наших суетных забот с делами господними.

Улыбаясь, он некоторое время собирался с мыслями.

— Я слишком умен, вот где моя пагуба. Мне бы делом заняться, а я вместо того задаю вам загадки да тешусь вашим смущением. Ах, друг мой, господь тоже задает нам загадки!.. Я жил спокойно, вернее, мирно доживал свой век, но вот является этот мужичина — и все идет кувырком, и нет мне теперь покоя ни днем, ни ночью. Уже одно то, что он рядом со мной, вынуждает меня делать выбор. Поверьте мне, подвергаться искушению великого предприятия, когда охладевшая кровь едва сочится в жилах, есть жестокое испытание.

— Коль скоро дело представляется вам в таком виде, — молвил аббат Деманж, — скажу одно: позвольте старому другу вместе с вами нести крест сей.

— Слишком поздно, — возразил настоятель, все так же улыбаясь. — Я буду нести его один.

— …Однако, говоря откровенно, по совести, — продолжал Деманж, — я не заметил в новичке ничего такого, что могло бы лишить душевного покоя такого человека, как вы. То, что я узнал о нем, лишь навело на меня сомнение, но отнюдь не убедило. Такого рода викарии весьма обыкновенны. Они докучливы в своем усердии, самой природою предназначены занятиям иного свойства, сопряженным с более тяжелым трудом, в первые же годы священничества тратят избыток силы, которая в суровой среде духовной семинарии…

— Ни слова более! — остановил его, рассмеявшись, Мену-Сегре. — Я могу возненавидеть вас. Неужели вы думаете, что меня не посещали сомнения такого свойства? Волей-неволей мне пришлось пройти через это. Кто же уступит без борьбы высшей силе, которой в себе не чувствуете, которая остается чуждой вам? Необузданность претит мне, и уж я не попадусь на столь грубую

приманку. Не подумайте только, что я баба в штанах! В наше время, друг мой, мы не были приучены к нежностям, чтобы там ни воображало дурачье… Здесь совсем другое.

Мену-Сегре запнулся и тоже покраснел, несмотря на преклонные лета свои.

— Я не произнесу этого слова, я со страхом жду чего-то от вас, и сердце у меня сжимается заранее. Да, друг мой, душа моя была покойна, я жил в смирении, и смирение было мне сладостно. Я никогда не был честолюбив: мне любезно повелевать, а не управлять. Мне хотелось, чтобы мои способности употребили с пользою. Но это уже не имело значения — к тому времени я слишком устал. Людская подлость, недоверие и ненависть ко всему высокому, которую эти несчастные называют осторожностью, наполнили сердце мое горечью. Я видел, как человека высоких достоинств травят, словно дикого зверя, как подтачивают исподволь душу возвышенную. Но мне ненавистны козни, суета, я люблю власть, благочиние. Я ждал часа, когда один из сих непризнанных попадет в зависимость от меня, когда я буду держать за него ответ перед Богом. Мне было отказано в сем, и надежда уже оставляла меня, как вдруг… когда уже почти не осталось сил…

— Разочарование ваше будет жестоко, — медленно проговорил аббат Деманж. — Другому заблуждение сие было бы неопасно, но мне — увы! — отлично известно, что ежели вы решились на что-нибудь, то уж пойдете до конца. Вы разобьете собственную жизнь и, боюсь, жизнь несчастного простака, который последует за вами, не понимая вас… Однако во взоре вашем я вижу божественный покой.

Он безнадежно махнул рукой, как бы давая понять, что хочет прекратить столь странный разговор. Мену-Сегре понял его.

— Время минет, — молвил он, вынимая часы. — Искренне сожалею о том, что вы не можете провести со мной рождественскую ночь… В возке вы найдете добрую бутыль старой водки. Я распорядился хорошенько обвернуть ее, но дорога бойка, и вы поступите благоразумно, ежели присмотрите за ней.

Внезапно настоятель умолк. Старые богослужители молча переглянулись: от дороги доносился звук тяжелых мерных шагов.

— Извините меня, — проговорил наконец кампаньский священник с видимым смущением. — Мне нужно узнать, кончил ли принимать пришедших к исповеди мой собрат д'Эдлин и все

ли готово к всенощной… Позвольте опереться о вашу руку. Мы перейдем залу, и я провожу вас к повозке.

Он надавил кнопку звонка. Явилась домоправительница.

— Попросите господина Дониссана прийти проститься с господином аббатом Деманжем, — сухо сказал ей Мену-Сегре.

— Господин аббат, — запинаясь, начала женщина, — я думаю… Мне кажется, что господин аббат вряд ли может… Во всяком случае, пока не может…

— Не может?

— Видите ли… кровельщики… словом, кровельщики хотели бросить работу… Они говорили, что придут после новогодних праздников.

— Наша колокольня действительно нуждается в починке, — пояснил настоятель. — Деревянный сруб едва не обрушился. Мне пришлось обратиться за помощью к десятнику из Морвер и нанять на месте неопытных плотников для исполнения опасной, в сущности, работы. Господин Дониссан…

Мену-Сегре обернулся к домоправительнице и сказал тем же сухим голосом:

— Просите его сойти к нам в том платье, какое

на нем надето. Это не имеет значения…

— Господин Дониссан испросил у меня позволения помогать им… А уж если он помогает, то помогает во всю мочь! На прошлой неделе я видел его однажды утром на подмостях. Он стоял на самом верху в своих сиротских штанах, намокших от дождя и липнувших к его коленям, и надзирал за подъемом балок, выкрикивая распоряжения сквозь шум порывистого ветра. Видимо, на своей высоте он чувствовал себя гораздо более уверенно, нежели в кресле высшей духовной семинарии в день четвертных испытаний… Надо полагать, он и сегодня там.

— Зачем вы позвали его? — спросил аббат Деманж. — Зачем унижать его? Ради чего?

Мену-Сегре рассмеялся и проговорил, положив ладонь на руку друга:

— Я люблю сводить вас. Мне нравится ставить вас лицом к лицу. Возможно, мною движет некое лукавство. Но это скорее всего последний раз. К тому же за этим лукавством таится очень сильное и нежное чувство, которым я обязан вам, — чувство милосердия божьего, благости господней. Сколь же велика и проникновенна, сколь властно утверждается в творении божием благость сия, которая столь разными путями, неприметно и

тихо ведет ваши души к единению, к слиянию в единой сущей в свете любви! Сколь, в сущности, напрасны многотрудные ухищрения коварного врага рода человеческого!

— Я думаю совершенно так, как вы, — отвечал аббат Деманж. — Извините меня, ибо то, что я хочу сказать вам, очевидно, покажется вам совершенно заурядным. Я полагаю, что благочестивый христианин пребывает озарен божественным светом без всяких к тому усилий, подобно тому как попавший в воду не тонет, ежели не будет делать никаких движений, благодаря тому, что объем и вес его тела необыкновенно искусно соразмерены и сохраняют удивительно постоянное соотношение. Так, святые наши, выключая немногих, постигнутых судьбою странной, мнятся мне могучими и кроткими великанами, чья сверхъестественная сила возрастает стройно, подчиняясь некоей мере, сокрытой от нашего невежества, ибо в невежестве нашем можем судить лишь о высоте препятствия, но не способны предопределить высоту и дальность прыжка. Ношу, что мы едва приподнимаем, кривясь и стеная от натуги, богатырь подхватывает, как перышко, не дрогнув ни единой мышцею лица, свежий и улыбающийся… Догадываюсь, что вы возразите

мне, сославшись на вашего подопечного…

— Вот и я, господин каноник, — послышался сзади низкий сильный голос.

Оба обернулись одновременно. Тот, кому суждено было стать впоследствии люмбрским священником, стоял перед ними, храня важное молчание. Пока он не переступил еще порога сумрачной прихожей, его силуэт, удлиненный тенью, показался им огромным, но когда исчезло светлое пятно отворенной двери, он словно сжался вдруг, стал почти тщедушным. Грубые кованые башмаки, наспех отертые у входа, были измазаны известью, чулки и сутана забрызганы грязью, а широкие в кости руки, засунутые за пояс, испачканы землей. По лицу его, казавшемуся особенно бледным по сравнению с докрасна обветренной шеей, бежали струйки пота и воды, ибо, поспешив на зов г-на Мену-Сегре, он по пути наспех умылся в своей комнате. Неряшливость, вернее говоря, граничащая с непристойностью запущенность его будничного платья еще более поражала при виде новехонькой, коробом топорщившейся на нем душегрейки, которую он впопыхах натянул на себя так нескладно, что один рукав задрался и из него нелепо торчало узловатое, как старая лоза, запястье. То ли оттого, что долгое молчание

каноника и его гостя совершенно смутило его, то ли оттого, что слышал — как пришло позднее на ум настоятелю — последние слова г-на Деманжа, взгляд его глаз, от природы напряженный и даже тревожный, выразил вдруг такую печаль, такую мучительную униженность, что грубое лицо его словно озарилось вдруг.

— Вы напрасно отвлеклись от дела, — сказал Деманж, испытывая к нему чувство жалости. — Я вижу, вы не теряете времени зря и не гнушаетесь трудом… Я очень рад, что попрощался с вами.

Дружески кивнув головой, он тотчас отворотился с явно наигранным равнодушием. Они услышали на лестнице грузные шаги викария, может быть, более грузные, чем обычно…

Во дворе продрогший возница хлопал кнутом.

— Мне, право, жаль так рано покидать вас, — сказал на пороге аббат Деманж. — Да, мне хотелось бы, особенно хотелось бы провести рождественскую ночь подле вас. Но рядом с вами остается, друг мой любезный, существо более могущественное и мудрое, нежели я. Смерть мало чему может научить стариков, но дитя в колыбели!.. Какое дитя! Скоро жизнь начинается сызнова.

Бок о бок они сходили по ступеням низкого

крыльца. Звуки упруго неслись к самому небу. В колеях хрустел ледок.

— Все возобновляется снова и снова, и так будет вечно, до скончания веков! — произнес вдруг Мену-Сегре с невыразимой тоской в голосе.

От резких порывов холодного ветра щеки его покраснели, синеватые тени легли у глаз, и тут Деманж заметил, что старый товарищ его весь дрожит от озноба.

— Что я вижу! — вскричал он. — В такую ночь вы вышли из дому без пальто и не покрыв головы!

В самом деле, рассеянность кампаньского священника более красноречиво, нежели речи, свидетельствовала об ужасном смятении, владевшем душою его. Но еще более поразился Деманж, вернее, пришел в совершенное изумление, в первый, и последний, раз увидев слезу, катившуюся по тонкому лицу друга.

— Прощайте, Жак, — молвил настоятель, силясь улыбнуться. — Ежели существуют предвестники скорой кончины, то столь необычное отступление от моих домашних привычек, столь поразительное забвение простейшей осторожности есть, в сущности, роковое предзнаменование…

Им уже не суждено было свидеться вновь.

II

Аббат Дониссан вернулся домой лишь глубокой ночью. Лежавший с книгой в руке, но не читавший Мену-Сегре долго слышал мерные шаги викария, расхаживавшего по комнате. «Скоро настанет час решительного объяснения», думал старый священник. Он не сомневался в том, что объяснение совершенно необходимо, однако до сей поры избегал его, ибо в мудрости своей предоставлял викарию возможность первому начать решительное объяснение со всеми преимуществами его и неудобствами… Последние звуки стихли окрест, лишь слышались за стеной те же размеренные шаги. «Почему именно в эту ночь, а не завтра, не послезавтра? — думалось настоятелю. — Видно, я разволновался из-за разговора с Деманжем». Но, вопреки самым разумным и очевидным доводам, он с растущим тревожным волнением ждал чего-то необычного, что непременно должно было случиться. Вдруг в коридоре скрипнули петли, в дверь дважды постучали, и в комнату вошел Дониссан.

— Я ждал вас, друг мой, — сказал только Мену-Сегре.

— Знаю, — смиренно ответствовал гость.

Но он тотчас поднял голову, выдержал взгляд настоятеля и твердо проговорил без единой заминки:

— Мне должно ходатайствовать перед его преосвященством об отозвании моем в Туркуэн. Я надеюсь умолить вас поддержать мое прошение, не утаивая ничего из того, что вам известно обо мне, и не щадя меня даже в малости.

— …Постойте… погодите… — перебил Мену-Сегре. — Вы сказали «мне должно ходатайствовать»? Должно… Почему должно?

— Мне не под силу исполнять обязанности приходского священника. отвечал аббат тем же голосом. — Так думал мой наставник, и, судя по всему, вы того же мнения. Даже здесь я мешаю творить добро. Последний селянин прихода устыдился бы столь неопытного, несведущего и не умеющего держать себя с истинным достоинством священника, как я. Возможно ль мне надеяться восполнить когда-либо недостающее, сколь бы усилий я ни прилагал к тому?

— Оставим это, — прервал его речь настоятель, — оставим это. Я понял вас. Бесспорно, ваши угрызения небезосновательны. Я готов просить его преосвященство о вашем отзыве, но дело

ваше щекотливого свойства. Лежащие на вас обязанности не доставляли вам, в сущности, много хлопот. Но, судя по всему, вам и это показалось многовато?

Аббат Дониссан потупился.

— Довольно ребячиться! — вскричал настоятель. — Возможно, вы сочтете меня бессердечным, но я и должен быть таким с вами. Приход слишком беден, друг мой, чтобы кормить бесполезного работника.

— Признаюсь, — едва пролепетал бедняга, — …правда, я еще не решил… в общем, я собирался… искать… искать где-нибудь в монастыре хотя бы временного пристанища…

— В монастыре!.. У таких, как вы, сударь мой, это слово с языка не сходит. Белое духовенство составляет гордость церкви, крепость ее. В монастыре! Монастырь не место отдыха, не приют, не дом призрения!

— Все это так, — хотел вымолвить Дониссан, но с уст его слетело лишь невнятное бормотание. Багровые, несмотря на необычайное волнение, щеки викария дрожали, и лишь дрожь эта выказывала ужасное смятение души его. Но когда наконец он обрел способность говорить, в голосе его слышалась даже некоторая твердость: — Так

что же мне делать?

— Что делать? — повторил настоятель. — Вот первое разумное слово, какое слышу от вас. Поелику вы признались в своей неспособности наставлять и вразумлять ближнего, возможно ли вам мудро распоряжаться самим собою? Сын мой, меня дали вам в наставники Господь и епископ.

— Это так, — согласился аббат, помедлив, — …и все же я умоляю вас…

Он не договорил. Властным манием руки настоятель принудил его к молчанию. С любопытством и страхом глядел Дониссан на престарелого, обыкновенно столь учтивого священника, ставшего вдруг надменно-невозмутимым, чей взор исполнен был теперь такой твердости.

— Дело трудное, — начал старец. — Ваше начальство допустило вас к рукоположению и, надо полагать, решило так по здравом размышлении. В то же время неспособность исправлять свои обязанности, в которой вы давеча признались…

— Позвольте, — заговорил снова несчастный викарий тем же неживым голосом, — но ведь гожусь же я хоть к какой-нибудь апостолической службе, соразмерной уму моему и способностям. К счастию, телесное здоровье…

Он умолк, пристыженный тем, что в своей

безграничной простоте противопоставил множеству красноречивых доводов столь жалкое возражение.

— Здоровье есть дар божий, — строго отповедал Мену-Сегре. — Увы! Мне более, чем вам, известна цена ему. Несомненно, дарованная вам крепость, самая ловкость ваша в некоторых ручных работах есть знамение призвания не столь высокого, как то, коему предназначало вас Провидение… Однако никогда не поздно, внявши совету достойных доверия людей, признать невольное заблуждение. Должно ль вам испытать себя еще раз либо, либо…

— Либо? — отважился переспросить Дониссан.

— Либо вернуться к сохе, — сухо заключил настоятель. — Обращаю ваше внимание на то, что пока оставляю вопрос без ответа. Слава богу, вы не принадлежите к числу тех впечатлительных юношей, на которых сказанное напрямик слово только нагоняет страху, не вразумляя. Вы-то головы не потеряете. Что же до меня, я лишь исполнил свой долг, хотя и несколько жестоко, как может показаться.

— Благодарю вас, — тихо молвил аббат странно отвердевшим голосом. — С самого начала нашего разговора Господь дал мне силу услышать от

вас жестокие истины. Ужель теперь он оставит меня своей помощью? Я умоляю вас ответить на предложенный вами же вопрос. Что толку откладывать?

— Боже мой, — тихо проговорил застигнутый врасплох настоятель. Признаюсь, несколько недель размышления… Мне хотелось бы дать вам время.

— Какой смысл, если мне не должно, да, признаться, я и сам не хочу быть себе судьею? Я хочу слышать ваше мнение, и чем скорее, тем лучше.

— Весьма возможно, что вы готовы выслушать его, друг мой, но, очевидно, не готовы принять его безоговорочно, — возразил настоятель с притворной резкостью. — В таких случаях желание ускорить наступление того, что внушает страх, есть не столько признак мужества, сколько выражение малодушия.

— Да, признаю! — воскликнул Дониссан. — Вы не ошиблись. Ничто во мне не сокрыто от вас. Взывая к вашему милосердию… нет, не к милосердию даже, а к чувству сострадания, молю нанести мне последний удар. Убежден, что, когда он обрушится на меня, я найду в себе силы… Не случалось доднесь, чтобы господь не поднял поверженного несчастного…

Мену-Сегре окинул викария пронзительным взглядом и спросил:

— Вы настолько уверены, что мнение мое вполне определилось, что в душе моей нет более сомнения?

Аббат Дониссан потряс головой:

— Много ли времени надобно, чтобы составить суждение о таком человеке, как я? Вы просто щадите меня. Но отдайте же мне по крайней мере должное и признайте перед Богом, что я повинуюсь вам безусловно, безоговорочно. Приказывайте! Велите! Не оставляйте меня в неведении.

— Похвальное поведение, — проговорил настоятель по некотором раздумий, — такая решимость заслуживает лестных слов. Намерения ваши благи, более того — мудры. Мне понятно нетерпение, с которым вы стремитесь решительным натиском побороть свою природу. Однако слова, которые вы жаждете услышать от меня, могут оказаться для вас непосильным искусом. Но вам угодно знать мой приговор — пусть будет так. Готовы ли исполнить мою волю?

— Мне кажется, да, — отвечал аббат глухим голосом. — Да и буду ли я когда-нибудь более, чем в ночь сию, готов возложить крест на плеча

мои и нести его? Час пробил. Да, отче, час пробил. Перед вами не просто невежественный, неотесанный, неспособный внушить любовь к себе священник. В низшей семинарии я был обыкновенным посредственным учеником, а в высшей совершенно измучил всех. Понадобилось непостижимое милосердие отца Деманжа, чтобы убедить директорат допустить меня к рукоположению в диаконство… Во мне нет никаких решительно достоинств, ни ума, ни памяти, ни даже прилежания… И все же…

Он запнулся, но, безмолвно поощряемый Мену-Сегре, с усилием продолжал:

— И все же мне не удалось совершенно побороть в себе некое упорство… упрямство… Справедливое презрение окружающих возбуждает во мне… такое недоброе… такое жгучее чувство… Говоря откровенно, я не могу справиться с ним обычными средствами!..

Он умолк, словно испугавшись собственной откровенности. Маленькие глаза настоятеля, выражавшие напряженное внимание, впивались в глаза Дониссана. Аббат заговорил вновь, и в голосе его слышалась мольба, почти отчаяние:

— Не станем же откладывать… Час настал… Поверьте мне, все решится сей ночью… Вы не

можете знать…

Мену-Сегре с такой живостью встал из кресел, что бедняга побледнел. Но старец в задумчивости сделал несколько шагов к окну, опираясь на посох, потом вдруг распрямил стан и молвил:

— Чадо мое, ваша покорность тронула меня. Я показался вам, вероятно, безжалостным — я вновь буду беспощаден. Мне не составило бы особого труда повернуть беседу в любое другое русло, но я предпочитаю говорить без обиняков. Вы отдали свою судьбу в мои руки… А знаете ли вы, в чьи руки?

— Прошу вас… — дрожащим голосом пролепетал аббат.

— Так я скажу вам: вы отдали свою судьбу в руки человека, которого не уважаете.

Лицо Дониссана побледнело до синевы.

— Которого не уважаете, — повторил Мену-Сегре. — Вы считаете, что я живу здесь, как богатый мирянин-рантье. Признайтесь, считаете? Вы стыдитесь моей полупраздности. В ваших глазах опыт, за который множество глупцов расхваливает меня, бесполезен душам верующих, бесплоден. Я мог бы выразиться еще яснее, но и этого довольно. Дитя мое, в столь сложном деле надобно пренебречь мелочной щепетильностью благо-

воспитанных господ. Верно ли я выразил ваше мнение обо мне?

При первых же словах сей необычной исповеди Дониссан возвел на грозного старца полный страха и замешательства взор и уже более не отводил его.

— Я требую ответа, — продолжал Мену-Сегре, — прежде чем выразить мнение о чем бы то ни было… Я жду от вас послушания и ответа. Вы имеете право отказаться от моей помощи. В нашем деле я могу быть вам судьей, но искушать вас отнюдь не стану. В ответ на предложенный мною вопрос скажите просто «да» или «нет».

— Мне должно ответить вам утвердительно, — сказал вдруг Дониссан спокойным голосом. — Вы подвергаете меня тяжкому испытанию — не надо продолжать.

Но тут слезы брызнули из его глаз, и последние слова Мену-Сегре едва расслышал. Несчастный священник жестоко пенял себе за робкую мольбу о снисхождении, почитая ее за слабость. Однако по недолгой внутренней борьбе он заговорил вновь:

— Я отвечал вам по долгу послушания, и, очевидно, теперь мне должно было бы ждать и молчать… Но… но я не могу… Господу не угодно,

чтобы я оставил вас в убеждении… По совести говоря, то была мысль… чувство, в котором я был не волен…

Видимо, Дониссан оправился от волнения и продолжал уже более твердым голосом:

— Я говорю так не в оправдание себе — вам ясно теперь непокорство духа моего… Волею Провидения нет более ничего во мне, что было бы сокрыто от вас… А теперь… теперь…

Он стал шарить в воздухе длинными руками, словно ища опоры, колени его подогнулись, и он рухнул ничком, как подкошенный.

— Мальчик мой! — вскричал Мену-Сегре с искренним отчаянием в голосе.

Он неумело отволок недвижное тело к дивану и с великим трудом перетащил его туда. Среди порыжелых кожаных подушек костистое лицо викария казалось бледным до синевы.

— Ну разве можно так… разве можно! — бормотал старик, пытаясь расстегнуть сутану негнущимися, подагрическими пальцами. Но обветшалая ткань первой поддалась его усилиям. Из-под разошедшегося ворота показалась грубая холщовая рубаха, испятнанная кровью.

Широкая выпуклая грудь уже дышала, мерно поднимаясь и опускаясь. Резким движением

настоятель распахнул сутану.

— Так я и знал! — проговорил он, страдальчески улыбаясь.

Тело викария от подмышек до пояса было стиснуто жестким чехлом, неловко сплетенным из самых толстых конских волос. Оба края страшной волосяной брони были так туго стянуты спереди узким ремешком, что Мену-Сегре лишь ценой больших усилий удалось развязать его. Обнажилась кожа, так воспалившаяся от причиняющего мучительную боль трения власяницы, словно ее разъело щелочью. Растертая местами до мяса, покрывшаяся волдырями величиной в ладонь, она являла вид огромной язвы, сочившейся кровянистой жидкостью. Отвратительное буровато-серое плетение было все пропитано ею. Складка кожи на боку была растерта еще сильнее, и из глубокой раны капала алая кровь. Чтобы остановить кровотечение, несчастный наложил комок трепаной конопли, и, едва сняв ее, Мену-Сегре отдернул тотчас обагрившиеся пальцы.

Викарий открыл глаза. Некоторое время он внимательно оглядывал незнакомую комнату, настороженно всматриваясь в углы, увидел настоятеля, и глаза его отразили сперва удивление, а потом крайнее замешательство. Вдруг он заме-

тил широко распахнутую на своей груди сутану и окровавленные повязки. Он резко откинулся на подушки и закрыл лицо ладонями. Но Мену-Сегре осторожным, почти материнским движением отвел руки от костистого лица.

— Мальчик мой, Всевышний доволен вами, — тихо молвил он с невыразимой нежностью.

Но тотчас в голосе его зазвучала та несколько высокомерная снисходительность, за которой он имел обыкновение прятать свое доброе сердце.

— Аббат, вы завтра же бросите в печь это ужасное изобретение, надобно придумать что-нибудь получше. Господь внушает мне не взывать к единому здравомыслию, ибо и в добре и в зле надобно немного безрассудства. Я хочу попенять вам за то, что вы умерщвляете плоть слишком уже заметно: молодому безупречному священнику должно носить белое белье… Встаньте, — продолжал дивный старец, — устраивайтесь поближе ко мне. Наша беседа не кончена, но самое трудное позади… Ну, что же вы? Садитесь здесь, я все равно вас не отпущу.

Он усадил викария в свое кресло и, продолжая говорить, словно ненароком сунул подушку под его разламывающуюся от боли голову. Затем уселся сам на низеньком стульчике, зябко натянул

шерстяное одеяло и некоторое время собирался с мыслями, устремив на огонь пристальный взгляд светлых смелых глаз, где плясали отсветы пламени.

— Дитя мое, — молвил он наконец, — в целом мнение ваше обо мне справедливо, но в одном вы заблуждаетесь. Я сужу себя — увы! — гораздо строже, нежели вы полагаете. Конец пути близок, а я так ничего и не сделал…

Он неторопливо пошевелил горящие поленья и продолжал:

— Вы удивительно не похожи на меня, вы перевернули привычные мне представления. Ходатайствуя за вас перед его преосвященством, я несколько простодушно мечтал заполучить… да, именно… молодого, не подающего особых надежд священника, лишенного природных, столь ценимых мною качеств, которого я намеревался приготовить по своему разумению к приходской службе… Видит Бог, тяжкое бремя я собирался взвалить на свои плечи под конец жизни! Но одиночество было мне слишком сладко, чтобы я мог спокойно умереть. Чадо мое, суд божий должен постигнуть нас среди трудов… Суд божий!

По долгом молчании он добавил:

— Но не я вас, а вы меня приготовляете…

Аббат Дониссан не пошевелился, даже когда прозвучало столь поразительное признание. В его широко отверстых глазах не появилось и тени удивления. Лишь по шевелению губ настоятель догадался, что викарий творил молитву.

— Они не признали наивеличайшего дара Духа Святого, — продолжал Мену-Сегре. — Они никогда ничего не признают. Господь нарекает нас, имя же, данное нам от людей, есть имя ложное… Чадо мое, дух силы обретается в вас.

Снаружи донеслись, как торжественная весть, три первых удара колокола, зовущего к заутрене, но они не слышали их. Прогоревшие головни осыпались углями в золу.

— И теперь, — говорил Мену-Сегре, — и теперь я нуждаюсь в вас. О нет! Не каждый, даже если бы он с такою же ясностью понимал все, решился бы говорить с вами так, как этой ночью говорю я. Но так нужно. Мы достигли той поры нашей жизни (каждый рано или поздно достигает ее), когда истина является нам как ослепительное озарение, когда довольно раскинуть руки, чтобы вознестись единым махом к светозарному пределу, к блистанию света божия. И тогда осторожность человеков есть единственно западня и нерассудство. Святость! — вскричал старец с

глубоким волнением. — Произнося слово сие перед вами, ради вас единого, я сознаю, какую боль причиняю вам! Вам ведом смысл его: призвание, зов. Вам должно подниматься и подниматься туда, где вас ждет Бог, либо погибнуть. Никто среди людей не поможет вам. Совершенно сознавая лежащую на мне ответственность и в последний раз испытав послушание и прямоту вашу, я полагаю, что верно поступил, державши перед вами такие речи. Усумнившись не токмо в силах своих, но и в том, что Господь отметил вас перстом своим, вы ступили на ложный путь, я же, на свой страх, наставляю вас на путь, вам предначертанный. Предаю вас тем, кто ждет вас, кому дадите пищу духовную… Да благословит вас Господь, сыне мой!

При последних словах Дониссан выпрямился, как выпрямляется бессознательно пораженный пулею воин, и рухнул наземь. Его лицо с упрямым лбом и тяжелой челюстью словно окаменело, уста безмолвствовали, и лишь взор бледных очей отражал мучительную внутреннюю борьбу. Глаза его долго блуждали, ни на чем не задерживаясь, остановились на стенном распятии, потом вперились недвижно в лицо Мену-Сегре и вдруг словно угасли. Теперь настоятель видел одну

слепую покорность, бросавшую отблеск величия на человека, в чей потрясенной душе не улеглась еще мучительная тревога.

— Я прошу позволить мне удалиться, — нетвердым голосом проговорил будущий пастырь люмбрского прихода. — Когда я слушал вас, мне казалось, что я вечно пребуду в смятении и отчаянии, но теперь все кончилось… Мне… мне кажется… что во мне есть то, на что вы уповаете… и что Господь не попустит, чтобы я не выдержал искуса.

С сими словами он вышел, и дверь бесшумно затворилась за ним.

С той поры водворился в душе Дониссана мир странный, который он сам на первых порах не дерзал постигнуть. Распались вдруг бесчисленные путы, сковывающие действие или препятствующие ему. Сей необычный человек, долгие годы плененный паутиной недоверия и малодушия, стоявших над ним, вырвался наконец на волю и расправил крылья. Он шел навстречу трудностям и преодолевал их приступом. По прошествии нескольких недель ничем более не сковываемая воля начала раскрепощать уже самый ум Дониссана. Молодой священник просиживал ночи напролет над книгами, которые

прежде закрывал в отчаянии и смысл которых постигал теперь не без труда, но с упорством, изумлявшим Мену-Сегре, как некое чудо. Именно тогда он проник в сокровенный смысл Священных книг. Знание не сразу обозначилось в его речи, по-прежнему бесхитростно будничной, но давало пищу его уму. Двадцать лет спустя он сказал как-то не без лукавства магистру Лередю:

— В тот год я спал семьсот тридцать часов…

— Как семьсот тридцать?

— Вот так, по два часа в ночь, да и то, между нами говоря, я немного плутовал сам с собой.

Наблюдая лицо викария, аббат Мену-Сегре мог следить за ходом внутренней борьбы, об исходе которой он боялся даже думать. Хотя бедняга по-прежнему трапезничал за общим столом и силился хранить на лице спокойствие, старый настоятель с растущей тревогой замечал день от дня все более заметные следы страшного напряжения воли, которого Дониссан мог наконец не выдержать. Сколь бы многомудр и проницателен ни был настоятель, а может быть, как раз от избытка одного из сих качеств, он лишь отчасти понимал причины духовного кризиса, с последствиями которого, как он опасался, уже нельзя было совладать. Слишком умный,

чтобы тратить власть бесполезными словами и тщетными призывами к благоразумию, которым Дониссан, без сомнения, не способен был внять, он искал повода для вмешательства и не находил его. Нередко умудренный опытом человек не властен над страстями, им же пробужденными в другом, и Мену-Сегре боялся сделать какую-нибудь глупость и лишь усугубить зло, от которого искал лекарства. Если бы на месте его странного питомца был кто-нибудь другой, он преспокойно ждал бы естественной реакции тела, изнуренного непосильным трудом. Но не был ли самый труд сей более лекарством, нежели злом, чем-то вроде занятия, в котором несчастный колодник исступленно ищет забвения неотступной мысли своей?

Впрочем, аббат Дониссан, по видимости, нимало не отступил от привычек своих и, как и прежде, исправлял сразу несколько дел. Каждое утро его видели восходящим быстрыми, несколько неуклюжими шагами по крутой тропинке, ведущей от дома к кампаньской церкви. Отслужив обедню и отчитав благодарственную молитву, краткость которой долгое время изумляла Мену-Сегре, он выходил на Бреннскую дорогу и, заложивши руки за спину и наклонясь всем телом вперед, неутомимо бродил по бескрайней равнине, обду-

ваемой пронизывающим ветром и пересекаемой скверными дорогами, которая спускается к морю от холмистой гряды, окаймляющей долину Канш. Редкие, далече отстоящие друг от друга хутора окружены пажитями, обнесенными колючей проволокой. Иной раз долго бредешь по скользкой холодной траве, податливо никнущей под каблуком, прежде чем доберешься до грязной лужищи, натекшей там, где землю выбила копытами скотина. Посреди лужи торчат неряшливо сколоченные из досок ворота, со скрипом поворачивающиеся на гниловатых вереях. Жилье таится где-нибудь за пригорком. Близость его угадывается по струйке голубого дыма, поднимающегося в сером воздухе, или по торчащим оглоблям телеги с сидящей на одной из них курицей. Крестьяне, народ насмешливый, наводили исподлобья недоверчивые взоры на рослого викария в подоткнутой сутане, являвшегося неведомо откуда из утренней мглы и старательно покашливавшего, приближаясь к их жилищу, чтобы выказать им дружеское расположение. Дверь неохотно приотворялась, впуская гостя, и обитатели дома, столпившись вокруг печи, терпеливо ждали, когда он наконец заговорит. Каждый с первого взгляда узнавал в нем землепашца, оставившего

соху, так сказать, блудного брата, к уважению и учтивости примешивалось снисходительное, несколько презрительное панибратство, и краткую проповедь викария слушали в убийственном молчании… О, эти мучительные возвращения поздним вечером в уже зажегший свои огни городок, когда в горле стоит горький ком стыда и сердце обречено вечно биться в одиночестве!

— Я творю больше зла, чем добра, — печально говаривал Дониссан.

Он испросил позволения прекратить на время свои обходы, которые из-за стеснительности викария выставляли его в дурацком виде и стали сущим мучением. Теперь же он вновь дни напролет ходил из дома в дом и даже настоял на том, чтобы Мену-Сегре оставил на его попечение самую унизительную заботу: сбор пожертвований на великий пост, который бедняки с уничтожающим бесстыдством называют «походом попрошаек»… «Ему и медяка не дадут», — с сомнением думал настоятель… Но каждый вечер чудаковатый проситель клал на край стола туго набитый мешок из черной шерсти. Мало-помалу Дониссан возымел над людьми ту необоримую власть, какую обретает человек, решивший идти напрямик, не заботясь о том, как бы располо-

жить людей в пользу своего предприятия. Ибо, в сущности, люди вооружаются хитростью и осторожностью, чтобы защитить себя, и наглый смех застревает в горле самого черствого человека, когда он видит, что жертва даже не пытается оградить себя от презрения.

«Хорош гусь!» — думали они, но им становилось как-то не по себе. Прежде несчастный викарий забивался в самый темный угол и, комкая шляпу в руках, долго и тщетно искал какого-нибудь удачного и ловкого предлога, томясь оттого, что никак не может вставить в беседу заранее придуманное словцо или целую фразу, и наконец уходил, так ничего и не сказав. Теперь же он слишком поглощен внутренней борьбой. Перебарывая себя, он не просто убеждает или очаровывает — он покоряет, приступом берет души. Как и прежде, он скоро шагает по двору какого-нибудь деревенского домика среди луж навозной жижи и испуганно разлетающихся кур. Тот же перемазанный карапуз, насупившись и засунув палец в рот, глядит на чужого дядю, пока тот шумно обивает у дверей облепленные грязью сапоги. Но теперь при его появлении все встают. Никто не знает, что таится в глубине этой жадной и в то же время пугливой души, отчаивающейся от самого ничтожного

препятствия, но вечно ненасытной. Он все тот же застенчивый до робости священник, которого простой улыбкой можно смутить до слез и который словно клещами выдирает каждое слово из своей пересохшей глотки. Но теперь это внутреннее борение никак уже более не отражается в его наружности. Лицо бесстрастно, высокий стан не гнется, лишь подрагивают долгие руки. Единым взглядом, неотступным взглядом умных тревожных глаз он отмещет пустую веселость, уклончивые речи. Он вопрошает, зовет. Самые обыкновенные, истрепавшиеся в обиходе слова постепенно обретают смысл, будят в сердце странные отзвуки. «Когда он почти шепотом, но с каким-то необыкновенным выражением произносил имя божие, у нас душа уходила в пятки, словно в небе ударял гром», — вспоминал двадцать лет спустя старый издольщик из Сен-Жиль. Никакого витийства, ничего похожего на те очаровательно-простодушные уловки, которыми станут позднее восторгаться люди пресыщенные и достоверность которых, за редкими исключениями, представляется сомнительной. Речь будущего люмбрского священника нескладна, порой он говорит сбивчиво, беспомощно ищет слов. Причина заключается в том, что ему неведомо

удобство употребления близких по смыслу слов и выражений приблизительно точных, неведомы блуждания мысли, поспешающей вослед словам и послушно, как воск, повторяющей все изгибы их. Он долго мучился от неумения сказать то, что чувствовал, от своей смехотворной неуклюжести. Но он не уклоняется более от опасности, встречает ее лицом к лицу; не страшится более унизительного молчания, когда, начав говорить, не знает, как кончить, и слова повисают в воздухе. Ему даже хочется, чтобы так было. От каждой новой неудачи лишь еще туже скручивается пружина воли отныне непреклонной. Без околичностей он приступает к предмету беседы, уповая на милость господню. Он прямо говорит то, что мыслит, и вскоре даже самые неотесанные насмешники внемлют ему, не противясь в душе, оставив намерение заведомо ничему не поддаваться. И все оттого, что невозможно представить себе, чтобы такой человек мог обмануть. Вы чувствуете, что он возвышается вместе с вами на том, пути, куда увлекает вас. Жестокая истина, поражающая в самое сердце тщательно выбранным словом, постигла его еще раньше. Вы ясно сознаете, что он вырвал ее из самого сердца своего. О нет, здесь не найдется ничего

любопытного для маститых богословов, ничего такого, что могло бы поразить их необычностью. Говорятся слова самые обыденные. Ему надо, чтобы люди просто сидели и слушали… Чайник приплясывает и свистит на печи, замызганный пес дремлет, положивши морду на лапы, на дворе гуляет ветер, дверь качается и скрипит петлями, в воздушной пустоте надсадно кричит галка… Они искоса поглядывают на него, стеснительно отвечают на вопросы, просят извинить их, оправдываясь невежеством или привычкою, и умолкают, когда молкнет он.

— Да что ж такое вы говорите нашим прихожанам? — допытывается Мену-Сегре. — Их словно подменили. Когда я говорю о вас, никто не отваживается смотреть мне в глаза.

Настоятель избегает предлагать викарию вопросы, на которые надо отвечать прямо: или да, или нет… Почему?.. Видимо, из осторожности, но также и потому, что в глубине души он боится… Чего же он боится? Благодать, низошедшая на сию смятенную душу, разбудила в ней силы столь необузданные, столь неистовые, что Мену-Сегре попросту растерялся. С той достопамятной ночи под рождество, когда кампаньский настоятель держал такие смелые речи, он не дерзает более

возобновлять разговор, при воспоминании о котором ему всякий раз становится неловко. К тому же викарий все так же прост, так же послушлив, неизменно и безупречно почтителен. Никто из близко знакомых с ним собратьев не заметил в нем сколько-нибудь заметных перемен. К До-ниссану относятся с прежней, несколько пренебрежительной снисходительностью, хвалят за усердие и благочестивость. Духовник викария, из прихода Ларье, добрый старичок сен-сюльписской закваски, исповедовавший его по четвергам, не заметил решительно ничего необычного, никаких тревожных признаков. Но как раз это обстоятельство, которое, казалось бы, должно было успокоить Мену-Сегре, огорчает его до совершенного расстройства.

Разумеется, он не единожды пытался укрепить свою пошатнувшуюся власть с помощью какой-нибудь хитроумной уловки, что-нибудь предлагал, советовал или требовал чего-нибудь с тайной надеждой услышать хотя бы одно возражение. Он готов был склониться перед более вескими доводами, лишь бы кончилось невыносимое молчание! Но и эта хитрость разбивается о смиренную покорность Дониссана. Стоит Мену-Сегре о чем-нибудь заикнуться, как викарий

уже готов повиноваться. Тщетно настоятель, жестокий мудрец, испытует то терпение, то робость несчастного Дониссана, неожиданно предлагая ему, например, возобновить воскресные проповеди после того, как сам на долгое время освободил его от них. В урочный день викарий, без единого упрека на устах, торопливо собирает листки, исписанные корявым мужицким почерком, поднимается на кафедру и без кровинки в лице на протяжении двадцати убийственно долгих минут толкует, ни на кого не глядя, подходящее к случаю писание из Евангелия, запинается, заикается, оживает мало-помалу, с отчаянным упорством сражается с собой и под конец начинает говорить с каким-то жалким, почти мучительным красноречием… Каждое воскресенье он неизменно появляется на кафедре, и всякий раз, как проповедь кончается, по рядам кресел бежит ропот, которого он один не слышит, словно глубокий, ни на что не похожий вздох, когда разряжается вдруг напряжение слушателей, очарованных колдовскою властью…

— Теперь дело идет лучше, — говорит после службы настоятель, — но все это еще настолько неопределенно… настолько смутно…

— Увы! — сокрушенно вздыхает аббат, и лицо

его кривится, как у готового заплакать ребенка.

За обедом у него еще дрожат руки.

Тем временем Мену-Сегре принял еще более важное решение, широко распахнув перед викарием двери исповедальни. В тот год настоятель Обюрденского округа взял на себя устроение покаянных собраний, где должны были проповедовать братья Марист, однако один из братьев заболел гриппом и вынужден был в первый же день страстной недели возвратиться в Валансьен. Тогда-то настоятель стал просить своего собрата из Кампани уступить ему аббата Дониссана:

— Он молод, трудолюбив, годен на всякое дело…

До того дня, следуя совету отца Дониссана, много толковавшего с ним о своем питомце, Мену-Сегре весьма умеренно использовал викария для исповедания кающихся. По неведению отец миссионер совершил вполне простительную оплошность, возложив часть своих обязанностей на будущего люмбрского священника, который теперь с четверга до субботы не выходил из исповедальни. Обюрденский округ, находящийся на самой окраине горняцкой области, простирается на обширное пространство. Тем не менее покаянные собрания имели огромный успех. Ра-

зумеется, никто из священников, облачившихся в великолепные белые стихари и собравшихся в день пасхи на хорах в то время, как являвшиеся несметными толпами верующие преклоняли колена у стола причастия, даже не взглянул на молчаливого молодого викария, впервые среди мрака и молчания отдавшего себя во власть своего повелителя-грешника, чьим слугою ему суждено было оставаться до конца дней своих. Никогда и никому не говорил аббат Дониссан о мучительном волнении или, быть может, неизъяснимой сладости, испытанной им при решающей встрече… Но когда Мену-Сегре вновь увидел его вечером пасхального дня, он был так поражен отрешенным, самоуглубленным видом Дониссана, что тотчас с необычной суровостью приступил к нему с расспросами, и немногословный ответ несчастного викария отнюдь не рассеял его тревоги.

Тем не менее одно замечание, много позднее слетевшее с уст аббата Дониссана, бросает странный свет на сию пору его жизни. Однажды в разговоре с г-ном Грозелье аббат признался:

— В юности я не понимал, что есть зло, и познал его лишь через покаянные речи грешников.

Так миновала неделя за неделей, жизнь вновь

обретала свою мирную размеренность, ничто не давало повода к особому беспокойству. Молчание, хранимое Дониссаном со времени последнего разговора в рождественскую ночь, причиняло Мену-Сегре жестокое разочарование, а покорность, подчеркнуто безропотная кротость викария отнюдь не избавили настоятеля от горького осадка какого-то недоразумения, причин которого он сам не понимал. Да и было ли то простое недоразумение? День ото дня бремя непостижимого страха все более гнетет многоопытного и многомудрого старца, отлично хорошо изучившего предательскую обманчивость внешних знаков. Взрослое дитя, всякий вечер опускающееся перед ним на колена, дабы получить благословение и удалиться в свой покой, ведает его тайну, ему же не ведома Дониссанова. Сколь бы пристально ни наблюдал викария Мену-Сегре, он не мог заметить какого-либо внешнего выражения униженной гордости или уязвленного тщеславия, мучительного внутреннего разлада, борения между верой и отчаянием, томления духа, знаки коего всегда столь очевидны… И все же… «Ужели навеки смутил я дух сей? — вопрошал он себя порою, стараясь поймать избегающий его взор. Чист ли пожирающий его внутренний огонь?

Поведение его примерно, безупречно. В благочестии своем он пылок, труды его не остаются праздны, и церковь видит уже пользу от него… За что же пенять ему? Сколь многие почли бы за счастие встретить старость, черпая духовную крепость в таком человеке! Обликом походит на святого, но что-то в нем отталкивает, возбуждает недоверие… Нет в нем радости…»

Но радость была ведома Дониссану. Радость не быстролетная, изменчивая, то бьющая через край, то сякнущая вдруг, но непреходящая, непременная, неизбывная, как бы необоримая, подобная особливой жизни в жизни обычной, все более сильному ощущению новой жизни в себе. Сколь бы отдаленное прошлое ни приводил он на ум, память не сохранила ничего похожего на то, что происходило с ним теперь. Он не мог даже вспомнить, чтобы когда-либо предчувствовал это состояние или желал его. Даже теперь он наслаждался им с боязливой жадностью, словно погибельным сокровищем, которое неведомый владелец заберет с минуты на минуту и без которого жить уже невозможно.

Ничто во внешнем мире не предвестило сей радости, и казалось, что она будет длиться столь же непостижимо, как возникла, неведомо чем пи-

таемая, подобная свету, источник коего незрим, и всякая мысль канет в нее и глохнет, точно вопль единый под необъятными небесами, не могущий вырваться из первого круга безмолвия… То случилось в ночь, избранную кампаньским настоятелем для необычного испытания, в исходе рождественской ночи, при первом проблеске дня, в спальне, куда скрылся со смятенной душой несчастный викарий. Некая серая мгла, которую едва ли можно было назвать рассветом, вставала за окном, и в ней начинала брезжить бескрайняя, запорошенная снегом равнина. Стоя на коленях перед разобранной постелью, он вновь и вновь вспоминал сказанное во время того необычного разговора, пытаясь постичь смысл, но всякий раз, как в памяти всплывало вдруг с поразительной ясностью и точностью какое-нибудь слово, мысль его останавливалась со всего разгона. И он отчаянно боролся с новым, еще более опасным искушением. Тревога томила его, ибо он не ведал, в чем заключается опасность.

Святость! В своем величавом простодушии он решил покориться чужой воле и вознестись вдруг от самого низа на высоту. Он смиренно ждал своей судьбы.

«Вам должно подняться на высоту, куда зо-

вет вас Господь», — сказал старец. Его позвали. «Вознестись либо погибнуть!» Он погиб. Убеждение, что он недостоин такой судьбы, было столь незыблемо, что слова молитвы и те замирали на его устах. Воля господня пала на его бедную душу бременем нечеловеческой усталости. Нечто еще более сокровенное, чем даже самое жизнь, цепенело в нем. Ни пожилому живописцу, найденному мертвым у начатого полотна, в чьих глазах застыла тоска по недостижимому шедевру, ни безумцу, отбивающемуся, лепеча несвязные речи, от осаждающих его страшных видений, подобных вырвавшимся на волю диким зверям, ни ревнивцу, которому завязали рот и которому дано лишь взглядом выразить всю ненависть свою, когда насильник у него на глазах оскверняет разодранную плоть любимой женщины, не вонзалось столь глубоко в грудь предательское острие — тонкое жало отчаяния. Никогда еще несчастный не видел свою сущность более ясно (так казалось ему), не судил о себе более беспристрастно. Невежественный, трусливый, нелепый, на всю жизнь окованный подозрительной, узколобой благочестивостью, замкнувшийся в себе, не умеющий найти дорогу к чужой душе, одинокий, бесплодный умом и сердцем, неспособный

творить добро с расточительной щедростью, совершать великолепно неосторожные поступки — удел великих духом, самый заурядный среди людей. Увы! Не есть ли то, что наставник отличает в нем, остаток богатства, некогда дарованного и расточенного праздно? Омертвелые семена уж не прозябнут. Однако они были посеяны. В его уме толпятся воспоминания о детских годах, столь странно связанных с Богом, и о грезах, тех самых грезах, — о, бессильное отчаяние! — которые страшили его своей опасной сладостью и были мало-помалу заглушены усердною молитвою. Стало быть, он внимал тогда незабвенному голосу, звучащему лишь недолгие дни, прежде чем настанет великое безмолвие. Сам не ведая того, он бежал протянутой ему руки господней, самого укоризненного лика его, а потом не хотел слышать последнего зова, едва слышно, как слабый вздох, донесшегося из-за холмов. С каждым новым шагом он все далее вступает в землю изгнания, но по-прежнему несет на челе своем печать, замеченную служителем Бога.

«Я мог бы… Я должен был…» Страшные слова! Если бы он хотя на миг одолел их власть над собою, он вновь стал бы господином себе — так побежденный герой диктует близким свои вос-

поминания, без конца считает и пересчитывает и воскрешает прошлое, дабы заглушить будущее, еще не погибшее в его сердце. Крепкие духом во всем доходят до крайности. Едва преступлена некая черта, как несокрушимое здравомыслие обращается ярым нерассудством. Человек, который в продолжение сорока лет будет обращать к заблудшим взор Иисуса Христа, чьей веры не возмогут поколебать даже самые закоренелые в неверии, который подобно Схоласту, успел в столь многом оттого, что более других любил, настолько пал духом в тяжкий час, что не мог даже возвести очей к распятию, дающему силу всепобедительную. Ему даже не пришла на ум простая мысль сия — наипервейшее помышление всякого христианина, очевидно, неотъемлемое от свойственного нам чувства беспомощности и смирения истинного.

«Мы праздно иждили благодать божию, — твердил внутри него чужой, но удивительно похожий на его собственный голос, — есьмы осуждены и прокляты… Меня уже и нет вовсе — я мог бы стать!»

По миновании двадцати лет священник люмбрского прихода со слезами на глазах говорил отцу де Шарра, будущему аббату трапперской общины

в Эгбаль, горько сетовавшему перед ним на постигшее его духовное одиночество, заронившее в нем даже сомнение в спасении души:

— Прошу вас, замолчите!.. Вы не знаете, сколь сильно действуют на меня иные слова. Даже на смертном одре, даже в руце божией мне нельзя будет слышать их безнаказанно.

И когда святой отец стал настаивать, просить, чтобы его выслушали, взывая к чувству милосердия к ближнему, Дониссан порывисто встал с места: взор его блуждал, рот сжался и отвердел, рука судорожно ухватилась за спинку соломенного стула.

— Молчите! — громко сказал он таким голосом, что пораженный гость его окаменел. — Я приказываю вам молчать!

Некоторое время он безмолвствовал, все еще бледный и трепещущий, потом привлек себе на грудь голову отца де Шарра, охватил ее дрожащими руками и молвил с трогательным волнением:

— Чадо мое, истинная сущность моя порою выходит наружу… Несчастные души ищут утешения у еще несчастнейшей! Мне выпали испытания, о коих не дерзаю никому говорить, боясь, как бы люди, в непостижимой ко мне снисходительности, не нашли в моих несчастьях нового повода к

славословию… Мне так нужно, чтобы за меня молились, но вместо молитв слышу одни похвалы!.. Просто они боятся извериться во мне.

Настал день. В печальном свете декабрьского утра стал виден беспорядок убогого жилища: некрашеный дощатый стол, заваленный книгами, придвинутая к стене койка, откуда свешивалась до пола простыня, ужасные выцветшие обои… Некоторое время бедняга озирал столь близко обступившие его стены казалось, они давили ему грудь — и вдруг в невыразимом ужасе вскочил на ноги, чувствуя, что руки его ослабели, а на лбу выступила ледяная испарина. Его пронзило страшное ощущение, какое испытывает человек, попавший в западню, бегущий по коридору, откуда нет выхода.

И тут опустилась тишина.

Так бывает, когда по несметному людскому скопищу прокатывается гул и все вдруг замирает в напряженном ожидании. Низкий ропот, постепенно стихая, какое-то время еще колышет воздух, и вот огромное живое море только что полное тысячеголосого шума, погружается внезапно в молчание.

Так и чудовищная разноголосица, сатанински гремевшая, свиставшая и скрежетавшая в душе

Дониссана, смолкла разом. Искушение не ослабело — оно исчезло. Когда Дониссан уже изнемогал, препятствие, которое силилась сокрушить воля аббата, неожиданно перестало существовать, и чувство внезапной легкости было столь поразительно, что несчастный ощутил его всем телом, как если бы провалился вдруг в пустоту. Но последнее испытание длилось лишь краткий миг, и человек, совсем недавно бившийся отчаянно под все отягощавшимся бременем, пробудился с душою более легкой, чем у малого дитяти, и чувствовал столь блаженную пустоту, что исчезло, казалось, самое ощущение жизни. То не был душевный покой, ибо покой есть просто равновесие сил, из коего возгорается вера в себя. Обретший мир ничего более не ждет, а Дониссан ждал чего-то, что нарушило бы безмолвие. Не было то и отдохновением истерзанной души, достигшей последней степени муки людской, ибо Дониссан желал большего. Не было то и крушением великой любви, ибо когда расточатся узы, пленившие существо человека, сердце в нем еще живо и хочет давать более, нежели получает… Он же не хотел ничего — он ждал.

Вначале он ощутил вкрадчивую неуловимую радость, — словно проникнув извне, она овладе-

ла им мгновенно и более не оставляла, рождая в нем чувство почти досадливое. Чего опасаться, чего ждать от неясной, расплывчатой мысли, от желания невесомого, как летучая искра? И все же, подобно тому как дирижер чутко уловляет в бушевании оркестра первую, едва слышную дрожь фальшивой ноты, но уже не в силах отвратить грядущего взрыва, викарий не сомневался в том, что неведомое, которого ждал, уже случилось.

Через запотелые стекла едва очертивший-ся окоем виделся мглистым, а в комнатушке викария зимний рассвет стоял недвижно молочным, исполненным безмолвия сиянием, словно сочащимся сквозь воду. И Дониссан постиг с неколебимой уверенностью, что радость сия есть нисшедший на него Дух. И едва отступила мучительная тревога, на ум снова стали приходить мысли, столь недавно еще рождавшие ее, но даже самые эти мысли не могли более причинить ему страдания. Вначале он ужаснулся, потом стал с боязливой осторожностью ворошить их в уме, наконец, дал памяти волю и с упоением ощутил, что они все более покорны ему, послушны, стали смиренными прислужницами его неизъяснимой отрады. И в мгновенном озарении он увидел себя способным к любому свершению, уже достигшим

головокружительных высот. Незримая десница единым махом столь высоко вознесла его из глубины бездны, где, казалось ему, он обречен был быть прикован навеки, что все его сомнения, отчаяние, самые заблуждения явились вдруг преображенными, возвеличенными. Он ступил за пределы мира, где каждый шаг вперед стоил мучительного напряжения, и теперь мета стремления его близилась с быстротою молнии. Все это ослепительно вспыхнуло перед его мысленным взором, и когда видение погасло, все вновь словно подернулось мглою, но отныне он жил и дышал, ослепленный тем благостным светом, и мелькнувшее перед ним и тотчас угасшее видение оставило по себе не убеждение, не жажду неутолимую, которая, как он сам понимал, сокрушила бы ему сердце, но предчувствие неисповедимое. Вознесшая его рука лишь едва отстранилась, она была рядом, готовая поддержать в любое мгновение, она не оставит его более своей помощью… Ощущение таинственного присутствия было столь сильно, что он быстро оглянулся, словно надеясь встретить взгляд друга. Но в радости есть нечто такое, чего не может заглушить пьянящий его восторг. Это нечто мешает ему, раздражает, оно похоже на последнюю узу, которую он не

решается порвать… Ибо когда связь пресечется, куда увлечет его поток?.. Порою уза ослабляется, и, подобно кораблю, ныряющему и рвущемуся на якорной цепи в бурную погоду, все существо его всколыхивается до самых глубин… Просто уза, не преодоленное еще препятствие? Нет, то, что противится в нем, не есть слепая сила. Оно чувствует, наблюдает, рассчитывает. Оно в борьбе отвоевывает себе место. Уж не сам ли он это нечто? Не пробуждается ли медленно в нем оцепеневший рассудок?.. Как удивительно точно выразился апостол, сказав, что предел радости положен разделением души и ума! Нельзя преступить сего предела и остаться живу.

Повернув голову, Дониссан вместо дружеского взора увидел лишь отражение своего бледного искаженного лица в зеркале. Он сразу опустил глаза, но было поздно. Он застиг врасплох самого себя в сем невольном движении и теперь пытался разгадать его смысл. Чего же он хотел? Сие вещественное воплощение тревоги, до той поры оставшейся неясным, неопределенным чувством, страшит его почти так же, как если бы нечто бесплотное обрело вдруг ощутимые, зримые черты. Теперь он не просто ощущает некую разлитую окрест себя сущность, но восприемлет

ее как нечто совершенно определенное, хотя словами неизъяснимое. Он более не один… Кто же рядом? Едва закравшись, сомнение всецело овладевает им. Первым его движением было броситься на колени и молиться. Но слова молитвы по-прежнему не идут с уст. Поверженный не вознесет смиренной мольбы о помощи, ибо не внял предостережению свыше. Вставшая на дыбы воля вырвалась из направлявшей ее десницы, и овладевает ею рука иная, не ведающая ни жалости, ни пощады. О, сколь силен и проворен тот, другой, сколь терпелив, покуда должно ждать, но реет, подобно молнии, когда настал его час!

Придет день, и люмбрский святой узрит лик врага своего. Теперь же он не выдержал первого нападения неведомого противника, получил первый удар от него. Какой стала бы жизнь сего удивительного человека, прошедшая вся в ожесточенном борении и закончившаяся столь печальной смертью, когда бы, отказавшись от сопротивления, он сразу воззвал к милосердию, взмолился о помощи? Стал бы он тогда в один ряд со святыми, чьи имена стали легендой, кроткими правителями земли, улыбающимися царственно-детской улыбкой?.. Но зачем гадать? В решающий час он принял бой, движимый не

самолюбием, но неукротимою отвагой. Ярость перед лицом супостата возгорается в нем не от страха, но от ненависти. Он рожден для ратных дел, и всякий поворот на его пути будет обильно полит кровью…

Но загадочная радость все теплится, лишь едва потускнев, как бы у крайнего предела сознания, словно слабый огонек, раздуваемый ветром… Против нее — о, безумство! — он и обратится теперь. Иссохлая душа, не ведавшая иной отрады, нежели безмолвие и смиренная печаль, сперва дивится, потом устрашается и, наконец, воспаляется гневом перед сей непостижимой сладостью. На первой ступени сверхъестественного вознесения у несчастного закружилась голова, и мужество оставило его, и он будет усиливаться, дабы избавиться от безвольной сосредоточенности, нарушить внутреннее безмолвие, кажущаяся праздность которого приводит его в растерянность. С каким искусством увертывается тот, кто столь ловко проскользнул между ним и Богом! Как проворно наступает, и отступает, и вновь теснит, осторожный, прозорливый, бдительный!.. Как точно ставит ногу в собственный след!

Бедному священнику еще только чудится западня, а страшные челюсти уже стиснули его и от

каждого нового порыва сжимаются еще крепче. Слабый огонек дразнит его в сумраке наступающей ночи… Дониссан бросает вызов, почти призывает всепроникающую, чудесным образом рассеявшуюся тоску. Не лучше ли уверенность, пусть даже в грядущей беде, нежели смятение замешкавшегося на распутье, в предательском мраке ночи? Беспричинная радость может быть только обманом. Столь сокровенная, глубокая, гнездящаяся в самых глухих тайниках души и столь внезапно возникшая надежда — надежда беспредметная, неопределимая — слишком похожа на самодовольство гордыни… Нет, милость божия не может быть столь пленительно-чувственна!.. Он должен истребить радость сию!

Едва решение было принято, он не колебался более. Мысль о жертвоприношении, которое должно свершиться тут же, сей же час, вздувает в ней иной огонь — пламя бесстрашного отчаяния, составлявшего силу и слабость сего поразительного человека и оружие, которое Дьявол столько раз еще вонзит ему в сердце. Исполненное теперь ледяного спокойствия лицо Дониссана сообщает его угрюмым глазам выражение готовности к расчетливому самоистязанию. Он подходит к окну, открывает его. Прихотью одного из пред-

шественников аббата Мену-Сегре выломанный железный прут, некогда перегораживавший оконный проем, был заменен бронзовой цепью, извлеченной из недр какого-нибудь ларя в церковной ризнице. Могучими руками Дониссан срывает ее с гвоздей, которыми она прикреплена на концах. Через мгновение необычный бич со свистом обрушился на его обнаженную спину.

О редкостных и своеобразных способах умерщвления плоти, к коим прибегал священник люмбрского прихода, можно лишь гадать по случайно оброненному слову, свидетельству немногочисленных людей, близко знавших Дониссана, или отдельным смутным признаниям, ибо святой отец держал все в строжайшей тайне. Нередко и лукавством сбивал он с толку любопытствующих, и какой-нибудь нашумевший писатель-человеколюб (как они сами изволят выражаться), нарочно приехавший ради такой диковины, отправлялся восвояси совершенно обмороченный. И если нам более или менее хорошо известны некоторые из употреблявшихся им приемов, например, посты, которых ужасающая строгость превосходит человеческое разумение, он унес в могилу тайну других, много более лютых самоистязаний. Последнюю свою просьбу

он обратил к одному из друзей, моля его сжалиться над ним и не звать врача. Бедная девица, ухаживавшая за ним и впоследствии ставшая игуменьей, известной под именем Марии Ангельской, а в те поры нанимавшаяся прислугой к обывателям городка Брес, сказывала, что низ шеи и плечи отца Дониссана были изборождены рубцами, из коих некоторые выпячивались валиком в мизинец толщиной… Еще доктор Леваль, во время одного из первых припадков неистовства у Дониссана, обнаружил на его боках глубокие рытвины от старых ожогов. Когда он мягко выразил свое удивление сим обстоятельством, святой промолчал, залившись краской смущения.

— И я делал глупости в свое время, — сказал он однажды аббату Даржану, когда тот читал ему из жития отцов пустынников.

И в ответ на вопросительный взгляд собеседника заметил, стеснительно и в то же время простодушно-лукаво улыбаясь:

— Молодость, знаете ли, не ведает сомнений, — ей надо дать перебеситься.

Теперь же, вставши в изножии узкой койки, он неутомимо, с холодным бешенством хлестал себя цепью. После первых ударов на вздувшейся коже выступило лишь несколько алых капель,

но вдруг кровь хлынула ручьем. С каждым новым взмахом руки цепь, изогнувшись на миг над его головой, со свистом впивалась ему в бок, виясь гадюкою. Он отдирал ее от тела и вновь расчетливо-мерно взметывал над собой, словно крестьянин, молотящий цепом снопы на гумне. Пронзительная боль, вначале исторгавшая из его груди глухие стенания, а потом лишь глубокие вздохи, словно гасла в потоках теплой крови, сбегавших по спине и рождавших в нем чувство мучительного упоения. У ног натекала рыжевато-бурая лужа, но он ничего не видел. Его помутившийся взор устремлялся сквозь розовую пелену к бледно-синему небу. Но вот исчезла красноватая мгла, а вместе с нею и запорошенная снегом грязь, и самый свет дня. Но он все хлестал и хлестал в этой внезапно наставшей мгле, — он готов был засечь себя до смерти. Мысли в голове, словно оцепеневшие от лютой телесной боли, ни на чем определенном более не задерживались, и было в нем лишь одно желание: разить и истреблять в мерзкой плоти своей самые корни зла. Каждое новое уязвление рождало другое, еще мучительнейшее, но ему все мало было, ибо достиг того исступления, когда обманувшийся в любови своей всю силу ее обращает к разрушению. Быть

может, он надеялся сокрушить и отторгнуть непомерно тяжкую часть своего существа, бремя нищеты человеческой, что не поднять горе? Или хотел покарать бренное тело, коего и апостол желал избыти? Но искушение только глубже проникало ему в сердце, и он ненавидел всего себя. Ненавидел, как может ненавидеть жизнь человек, чья мечта погибла… Но в руке своей он сжимал бесполезное орудие, праздно терзавшее плоть его.

Между тем, смежив веки, обливаясь потом и кровью, он бичевал себя неустанно, и, без сомнения, лишь неизъяснимая ярость еще давала ему силу держаться на ногах. В ушах тонко звенело, словно он камнем падал в глубину воды. Два или три раза он видел сквозь крепко сомкнутые веки мгновенные вспышки высоко взлетавшего пламени, потом сердце заколотилось в висках с такой силой, что голова задрожала от ударов, отзывавшихся в ней резкой болью. С каждым ударом стиснутая в окостенелых пальцах цепь становилась все изворотливее и злее. Она летала с легким посвистом, удивительно проворная и коварная. Никогда уже с тех пор тот, кого нарекли люмбрским святым, не отваживался попирать столь неустрашимо законы природы, никогда

более не бросал ей вызова столь дерзновенного. Вся поясница превратилась в жгучую рану, в кровавое, несчетное число раз изрубленное месиво, пузырящееся алой пеной, но боль от бесчисленных ран сливалась в единую муку — всеобъемлющую, невыразимую, хмельную, подобную судороге глаз, ничем не защищенных от яркого солнца, когда зрачок ничего не видит, кроме слепящей боли… Неожиданно слишком рано вздернутая цепь извилась в воздухе, едва не вырвавшись из руки Дониссана, и жестоко хлестнула его по груди. Последнее звено ее ударило под правый сосок с такой силой, что стесало кусок мяса, как рубанок стружку. Дониссан пронзительно вскрикнул не столько от боли, сколько от неожиданности, но тотчас, подавив вопль, вновь занес бронзовый бич. Глаза его пылали уже неземным огнем. Лютую ненависть, что питал он к себе, ничем нельзя было бы утолить в мире бренном, и если бы, дабы изгасить пламень сей, собрали воедино всю кровь людскую и разом излили ее, она оказала бы не более действия, нежели капля воды, упавшая на докрасна раскаленное железо… Но когда он, в который уже раз, опускал занесенную руку, пальцы разжались сами собою и рука упала без сил. В то же

мгновение спина его согнулась, и все мышцы тела разом расслабились. Медленно опустился он на колена, огромным усилием пытался встать, вновь пошатнулся, протянул перед собой руки, подобно слепцу, содрогаясь от лихорадочного озноба. Тщетно пытался он добраться до окна, до бледного света в нем, который видел, не узнавая, сквозь полусмеженные вежды. От страшной битвы осталось в сознании лишь неясное, смутно брезжившее воспоминание, словно полузабытый сон. Так человек, проснувшийся поутру в умиротворенном, сосредоточенно-бодром настроении, ощущает в глубине души какое-то смутное беспокойство, оставшееся от страшного сновидения, словно некую неосязаемую, невыразимую сущность… Дониссан сел в изножии кровати, голова его покатилась, и он уснул.

Когда он проснулся, комната была озарена солнцем. Он услышал колокольный звон, летящий в прозрачных небесах. Часы показывали девять. Долгое время его внимание занимало солнечное пятно на стене, потом он медленно обвел покой взглядом и с удивлением увидел большое блестящее пятно на еловых половицах и брошенную поперек цепь. И тут детская улыбка осветила его лицо. Свершился ужасный труд, и теперь все

кончено. Дело сделано. Минувшее безумство не оставило на сердце горечи, и по мере того, как в памяти вставали подробности, он гнал их прочь, не испытывая ни любопытства, ни гнева. Мысли его витали далече, в осиянном дивным светом пределе! Он чувствовал в себе такой покой и такую ясность духа, каких не знал доселе, и в то же время удивительную отрешенность от прошлого. Угнетенность, своего рода полуоцепенение, в каком он пробудился, уже рассеялась. Последние покровы спали, он постигал собственную сущность, исследовал себя взором прозорливым и пристальным, но с какой-то сверхчеловеческой отчужденностью.

Солнце стояло уже высоко. По дороге, скрипя ступицами, катился богренанский дилижанс. В садике слышался голос аббата Мену-Сегре, ему отвечала его домоправительница Эстелла… Дониссан напряг слух и дважды услышал свое имя. Непроизвольно он вскочил с койки, но, едва ступни ног коснулись пола, его опоясало такой нестерпимой болью, что он застыл посреди комнаты, с трудом сдерживая рвущийся из глотки крик. Чары мгновенно рассеялись. Что он сотворил над собой?

Какое-то время, согнувшись в три погибели и

не трогаясь с места, он пытался собраться с духом для нового усилия — второго шага, которого вся его трепещущая плоть ждала, как пытки. В настольном зеркале отобразился его наводивший ужас облик… Бока под висевшей лоскутами рубахой казались сплошной раной. Ссадина под грудью еще кровоточила. Но покрытую еще более страшными рубцами спину и поясницу пекло нестерпимо, словно огнем, и когда он попытался поднять руку, ему показалось, будто кончик пламени опалил ему самое сердце… «Что я наделал? — шептали его губы. — Что я наделал?» Еще более его удручало то, что в скором времени, сию минуту, ему придется выйти к аббату Мену-Сегре, что не миновать переполоха, что к нему пришлют врача, и многие другие картины, рисовавшиеся его воображению. Но ни разу этому поразительному человеку не пришло на ум сослаться в свое оправдание на пример тех служителей бога, которых тот же священный ужас понуждал терзать собственную плоть. Одна мысль вертелась в его голове: «Еще шаг, и раны откроются… Придется звать на помощь».

Опустив глаза, он увидел, что его грубые сапоги стоят в луже крови.

— Аббат! — послышался за дверью спокойный

голос. — Аббат!

— Да, господин настоятель? — отвечал он с тем же спокойствием.

— Мальчик мой, скоро в последний раз ударят к обедне. Пора, давно пора собираться!.. Уж не захворали ли вы?

— Подождите, пожалуйста, немного, я сейчас буду готов, — проговорил Дониссан тем же ровным голосом.

Решение было принято, жребий вержен. Как удалось ему, стиснув зубы, сделать еще один, решительный шаг к лохани, где он намочил жесткое холщовое полотенце? Каким чудом претерпел без единого звука мучительную боль в спине и боках, когда омочил раны ледяной водой? Как удалось ему обернуть истерзанное тело двумя старыми рубашками? Ему нужно было еще крепко стянуть их, чтобы остановить кровь, сочившуюся по капле, и с каждым движением складки ткани вдавливались все глубже. Он отмыл пол, потаил окровавленное белье, почистил щеткой обувь, навел в комнате порядок, сошел по лестнице и перевел дух только на дороге, где, по счастью, никого не встретил, ибо ему не удалось бы скрыть от Мену-Сегре лихорадочную дрожь, от которой его трясло так, что стучали зубы.

Зимний ветер хлестал его по щекам, и Донис-сан чувствовал, что глаза его горят в глазницах, как два пылающих угля. Сквозь студеное пространство, где носилась, сверкая разноцветными искрами, снежная пыль, он упорно глядел на осиянную колокольню. Празднично одетые четы кланялись ему по дороге, но он не замечал их. Чтобы преодолеть триста шагов, отделявшие его от церкви, ему пришлось двадцать раз призвать на помощь всю силу своего духа, но шел он все тем же мерным шагом, так что никто и понятия не имел, какая битва разыгрывалась в его душе, сколь расточительно он тратил силы, пригоршнями черпая их в недрах существа своего, тратил безвозвратно, ибо точною мерою отпускается всякому сущему на земле. У ворот небольшого погоста его кованые башмаки скользнули на кремнистой дорожке, и лишь сверхчеловеческим усилием ему удалось удержаться на ногах. До церковных дверей оставалось каких-нибудь двадцать шагов. С великим трудом он преодолел это расстояние. Но надо было еще добраться до низенькой дверцы ризницы через колыхавшееся перед его померкшим взором пространство, рябящее черными и белыми клеточками… В ризнице его ждет новое испытание. Здесь едко

пахнет смолой, ладаном и пролитым вином, вокруг копошащийся и жужжащий рой мальчиков из хора в красно-белых одеждах. Смежив веки, бормоча уставные молитвы и чувствуя горечь во рту, он бессознательно берет один за другим священнические наряды. Завязывая тесемки рясы, он застонал, и стон неслышно клокотал в его горле, пока он шел к алтарю. Бесчисленные и разнообразные звуки за его спиной отражаются от стен и летят под самые своды, сливаясь там в единый ропот — гулкая пустота, куда он бросит вступительные слова проповеди, простерев перед собою руки… Нащупывая ногами опору, он поднимается на три ступени и обращает взор к распятию.

О вы, познавшие от всего богатства мира лишь бесплотные краски и звуки, чувствительные сердца, томные уста, где горькая истина тает, как шоколадная начинка, слабодушные, изнеженные — зрелище сие не про вас! Ваше представление о кознях Дьявола под стать вашим слабым нервишкам, изнеженным мозгам, и Сатана нелепых обрядов ваших есть лишь ваш собственный искаженный образ, ибо набожный мирянин есть сам себе Сатана. Чудище склабится, глядяще на вас, но не вонзило емей своих. Его нет в ваших

суесловных книгах, в ваших богохульствах и нелепых проклятиях. Нет его и в ваших алчных взорах, в коварных руках ваших, в слухе вашем, где множится праздная молвь. Тщетно ищете вы его и в самой тайной плоти своей, обуянной жалким и неутолимым вожделением, и из губ, куда вонзаете вы зубы, сочится лишь пресная водянистая кровь… Но он существует… Он сущ в молитве скитника, в посте его и покаянии, в самозабвенном упоении и в безмолвии сердца… Им отравлена вода очистительных омовений, он горит вместе с воском священных светильников, излетает с дыханием девственниц, терзает плоть с власяницею и бичом, сбивает людей со всякого пути. Он приводил ложь на уста, едва отверстые ради слова истины, преследовал блаженного, возносящегося на небеси среди громов и молний, и не отставал, даже когда сам Господь принимал его в свои объятия… Зачем оспаривать у земли неисчислимых человеков, пресмыкающихся на ней, подобно скотам, если она поглотит их завтра? Стада темных разумом сами бредут навстречу уготованной им судьбе… Святых избрал он жертвой в злобе своей.

И тогда он обращает взор к распятию. Он не молился со вчерашнего дня и теперь скорее всего

не творит молитвы. Во всяком случае, не слова смиренного прошения поднимаются к его устам. Слишком долго противостоял он недругу в великой ночной битве, отвечал ударом на удар: воин, сражающийся насмерть ради самого живота своего, вперяет взор перед собой, но не обращает с надеждой к небесам, струящим безучастный свет равно на доброго и на злого. В измученном уме его теснятся воспоминания, но все сходятся воедино, подобно лучам света в увеличительном стекле, и рождают муку единую. Он обманулся или разочаровался во всем. Всюду грозит ему либо западня, либо позор. Из заурядности, где он томился, оставив всякую надежду, слово Мену-Сегре вознесло его на такую высоту, что падение было неминуемо. Не лучше ль было оставаться бесконечно одиноким, всеми на свете забытым, чем изведать предательскую радость? О, горечь разочарования поверившего на миг в бесконечную любовь к нему и возликовавшего! О, исступление вероломства! О, усмешка, о, лобзание предательства! Во взгляде, упорно устремленном — ни единого слова, ни единого вздоха — на бесстрастного Христа, отобразилась слитно вся одержимость сего неистового духа. Так глянет вдруг в высокое озаренное окно пиршественной залы недоброе лицо

нищего. Всякая радость есть зло, — говорит сей взгляд, — всякая радость от Лукавого. Никогда не стану достоин божественного избрания, понеже прельщается единственный друг мой. Не соблазняй более и не мани! Да пребуду в ничтожестве моем, да останусь послушною глиною в руцех твоих творящих. Ибо не алчу славы, ниже ищу радости! Самое надежда не надобна мне. Что могу дать? Что остается мне? Надежда единая. Возьми же ее! Отними! Когда бы я мог поступить так, не возненавидевши тебя, я отдал бы тебе и спасение моей души, обрек бы себя проклятию вечному ради душ, о которых оставил пещись мне, смеясь надо мною, презренным!

Так заглядывал он дерзновенно в бездну, так призывал ее торжественно, в чистоте сердца своего…

III

Сначала кампаньский викарий шел по Боленкурской дороге, потом полем спустился к Этаплю.

— Сущие пустяки, от силы три лье, — с улыбкой сказал ему при расставании Мену-Сегре. — Отправляйтесь пешком, ведь вы любите ходьбу.

Старому настоятелю было известно пристрастие бедняги к железной дороге. Однако на сей раз, вопреки своему обыкновению, Дониссан не покраснел и даже усмехнулся не без лукавства.

Настоятель Кампаньского округа посылал викария к своему коллеге в Этапле, которому очень несладко приходилось теперь, когда устраивались последние покаянные собрания. Оба искупителя, по три раза на дню в продолжение минувшей недели надрывавшие глотки и совершенно выбившиеся из сил, тоже запросили пощады. Представлялось совершенно немыслимым подвергнуть несчастных жестокому испытанию, засадив их на целые сутки в исповедальню. «Надеюсь, ваш юный помощник не откажется выручить нас с присущим ему рвением», — писал первосвященник к Мену-Сегре. И вот аббат Дониссан поспешил на сей простодушный зов о помощи. Он широко шагал по пустынным лугам, орошаемым ноябрьским дождем. Слева, на самой грани земли, придавленной серым клубящимся небом, угадывалось незримое море; справа круглились последние холмы. Перед Дониссаном расстилалась плоская безмолвная равнина. Дувший от запада ветер облеплял ему ноги полами сутаны, поднимая временами в

воздух соленую водяную пыль. Однако Дониссан подвигался вперед мерными шагами, ни на пядь не уклоняясь от своего пути, держа под мышкой свернутый ситцевый зонтик. Чего еще смел бы он желать? С каждым шагом близилась старая, уже завидневшаяся церковь, странно нахохлившаяся в неприютном одиночестве под кровлей своей. Он представляет уже в воображении стайку женщин, сгрудившихся у исповедальни и ловко протискивающихся, перебраниваясь, поближе к входу, их благочестиво-постные лица, хитрые глаза, поджатые с набожным смирением или злобно стиснутые губы, а несколько в стороне от шумливого сборища толпятся… мужчины, такие неуклюжие, такие напряженно-скованные, такие одеревенело-негнущиеся. Зрелище необычное — сказали бы мы при подобных обстоятельствах — трогательное зрелище! От этой мысли молодой суровый священник чувствует волнение и какую-то тревожную нежность. Невольно ускоряет он шаги, и на губах его играет такая кроткая и печальная улыбка, что повстречавшийся на дороге возчик, сам не зная почему, снял перед ним шапку… Его ждут. Даже взор матери, грезящей на пути к дому о близком уже мгновении, когда станет с упоением ласкать восхитительное тельце

своего дитяти, не отобразил бы столько нетерпения и чистой радости… Но вот обозначилось уже среди песков ложе горького потока, вознесся к небу бесплодный холм и высокая белая башня между черных елей.

В продолжение нескольких недель Мену-Сегре безуспешно пытался прочесть что-либо в тайниках сего замкнувшегося сердца. Угрюмое молчание викария минувшей поры казалось ему теперь более понятным, нежели неизменно ровное, почти веселое расположение духа, в котором пребывал он теперь. Не единожды расспрашивал он аббата Шапделена, священника прихода Ларье, исповедовавшего Дониссана по четвергам. Престарелый духовник не находит решительно ничего особенного в речах вверенного его попечению кающегося и добродушно посмеивается над страхами своего коллеги. «Дитя, прямое дитя, — твердит он, — простак, каких мало! (От смеха у него на глазах навертываются слезы.) Вечно вам мерещатся, друг мой, какие-то редкостные случаи больной совести! (Сквозь смех.) Хотел бы я, чтобы вы послушали его исповеди. Полно! Все мы прошли через это, когда начинали. Немного волнения, мечтательность, чрезмерное увлечение проповедью… (Без тени

улыбки.) Проповедь есть превосходная, великолепная вещь, но не надо ею злоупотреблять. Мы ведь не картезианцы, друг мой, мы имеем дело с простыми, малообразованными людьми, в большинстве своем забывшими школьный катехизис. Не надо залетать под облака, отрываться от грешной земли. (Новый приступ веселья.) Вообразите, он подверг себя бичеванию! Не стану говорить вам об орудии самоистязания, вы все равно не поверите. Я запретил ему прибегать к столь бессмысленно-жестоким приемам умерщвления плоти. Впрочем, он уступил сразу же, без единого возражения. Я уверен в том, что он подчинится. Не видывал еще такого послушания, удивительно покладистый человек!»

Мену-Сегре счел неуместным продолжать беседу и с присущей ему осторожностью сделал вид, будто убежден столь вескими доводами. Но в голове его вертелась мысль: «Какого черта мальчик избрал себе в духовники этакого дурака?» В конце концов он совершенно запутался в собственных хитроумных предположениях. А между тем истина была так проста! Дониссан избрал, ничтоже сумняшеся, самого старого не из дерзости вовсе, не из желания выказать свое пренебрежение, но просто потому, что предпочтение возрасту каза-

лось ему разумным, справедливым. И вот каждый четверг он слушает небольшое назидание г-на Шапделена. Лишь Дониссан способен внимать столь жалким речам и внемлет им с такой любовью, что несказанно удивленный и польщенный духовник сам начинает находить некий смысл в собственном невразумительном лепете.

…Посмел бы молодой священнослужитель признаться себе, что ищет благочестивую глупость ради нее самой? Вероятно. Ему так мало известно о великой распре, причиной которой был он сам! Противу всех ожиданий, он делает невозможное и даже не подозревает о том. Правда, торжественное предсказание Мену-Сегре смутило на время его душу, но с течением времени сердце его настолько закалилось в трудах и заботах иного свойства, что стало как бы неуязвимо для острого жала отчаяния. В самом разгаре наижесточайшего сражения, какое человек вел когда-либо с собой, он не вопрошает себя, должно ли ему биться в одиночку, ибо в самом прямом смысле слова не нуждается в чьей-либо помощи. Что в ином казалось бы самоуверенностью, в нем проистекает от простоты: он введен в заблуждение своей силой, как другие бывают обмануты их слабостью. Он полагает, что творит самое обычное,

заурядное дело. Ему нечего сказать о себе.

Городок темнеет, словно погружается за край земли. Дониссан убыстряет шаги. Поскорее бы забиться незамеченным в темный угол, где до самого ужина, а потом целую ночь он будет один — один за тонкой деревянной перегородкой, приклонив ухо к незримым устам! Его беспокоит лишь то обстоятельство, что прежде ему не миновать встреч с незнакомыми людьми. С архиереем, мельком виденным в минувший троицын день, двумя миссионерами, наверное, еще с кем-нибудь… На протяжение последних месяцев будущего священника люмбрского прихода удивляют некоторые взгляды, некоторые слова, смысл которых ему пока неясен, любопытство, которое он на первых порах принимал в простоте своей за недоверчивость или презрение и которое мало-помалу создало вокруг него какую-то странную обстановку, вызывающую в нем чувство стыда. Тщетно старается он держаться в стороне, быть как можно незаметнее, избегает новых знакомств — самое его одиночество, кажется, привлекает к нему внимание самых равнодушных, его диковатая робость подстрекает их любопытство, а печаль притягивает, как магнит. Порою он сам вступает в разговор, когда случайно

слетевшее с уст слово заденет живую струну в его возвышенной душе. И тогда он говорит, говорит с нескладным, запинчивым красноречием, стараясь изъяснить мысль, вослед которой слова влекутся, словно тяжкий груз, и вдруг замолкнет, заметив молчаливое изумление окружающих… Но чаще всего слушает в напряженном внимании, с выражением жадности и страдания во взоре, и творит немо шевелящимися губами молитву, пока старые суетные пастыри, ничего не подозревая, беззаботно болтают. Всех с первого взгляда поражает его странность, но никто, за единственным исключением, не угадывает в нем человека блистательной судьбы. Людям довольно уже того, что он сеет смуту и рознь.

Да и что можно разглядеть в сей необычной личности? Наблюдение ничего не дает, разве что следить за ним. По приказу аббата Шапделена он беспрекословно отказался от умерщвления плоти, об ужасающей жестокости которого вряд ли догадывался доверчивый старец, хотя Донисан с присущей ему откровенностью ответил на все его вопросы. Но самая откровенность его вводит в заблуждение. Для кампаньского викария случившееся есть не более, чем дела дней минувших, отдельное звено в цепи событий.

Ему можно признаться без смущения. Он охотно признает, что рассекающего плоть бича не довольно, дабы укротить человеческое естество. Однажды, уже по прошествии долгого времени, люмбрский священник сказал: «Наша бедная плоть принимает муку с такою же неутолимой жадностью, как наслаждение». Нам довелось читать странное признание, начертанное его рукою на полях одной главы «Упражнений» святого Игнатия: «Ежели почтешь за благо наказать себя, бей сильно, но недолго». Он же говорил святым сестрам своим из Кармель-д'Эр: «Не будем же забывать, что Враг умеет обратить себе на пользу как слишком усердную молитву, так и непомерно жестокое умерщвление плоти». «Наш приятель совершенно теперь образумился», — уверял господин Шапделен. И то была сущая правда. Голова его ясна и трезва, слова никогда не вводили в заблуждение, воображение довольно скудно, а от сердца остался один пепел.

В сумерках ветер стих, насыщенная влагой земля курилась паром. Только теперь викарий почувствовал усталость. Впрочем, он уже миновал Верлимон и до недалекой теперь церкви дойдет быстро и без помех. Все же он останавливается и садится передохнуть у перекрестка

дорог, ведущих в Кампрене и Вертон. Бредущая мимо крестьянка глядит на его непокрытую голову, сложенные поверх огромного зонта руки, лежащую на земле шляпу. «Ну и чудак!» — говорит она вслух.

Случалось, он сгибался под тяжестью бремени, но порабощенная природа напрасно молила о пощаде. Он не запрещал себе слушать ее голос — он просто не слышал его. Во всяком случае, вел он себя так, как если бы силы его были неистощимы — может быть, они и в самом деле были неиссякаемы. Когда подчас руки его опускались, о едином отдохновении помышлял он: погрузиться в свою душу и воззреть на себя изнутри с удвоенной суровостью. Усталость для этого поразительного человека — просто дурное настроение. И вот он перебирает в памяти события минувших месяцев. Он действительно не жалеет, что отказался от самоистязания, в течение некоторого времени укреплявшего его дух. Еще прежде, чем аббат Шапделен потребовал положить ему конец, он уже осудил его в сердце своем. Разве оно не утешило, не облегчило его? Не возродило в нем источник радости, который ему хотелось осушить? Ныне он более чем когда-либо верен обету, однажды данному перед святым распятием и

воскресшему вдруг в его душе в то незабвенное мгновение. Никто не дерзнет оспаривать то, что он избрал себе в удел, ибо ни один смельчак не заключал еще договора с силой тьмы. Если бы сам люмбрский святой не поведал с такой потрясающей простотой о том, что ему угодно было назвать страшной порой своей жизни, никто, разумеется, не поверил бы, что человек мог совершить, вполне сознательно и непринужденно, как самую простую и обыкновенную вещь, своего рода нравственное самоубийство, расчетливая, утонченная и глубоко скрытая жестокость которого повергает в ужас. Но сомнений быть не может, ибо на протяжении долгих-долгих дней человек, чье любовное и мудрое милосердие воскресило надежду в столь многих, навсегда, казалось, опустошенных сердцах, упорно истреблял в себе самое надежду эту. Сие изощренное мучительство столь тесно сплелось с жизнью его, что стало неотделимо от нее.

На первых порах им владела неистовая жажда самоотрицания и самоотвержения. Книги, где он черпал прежде не только радость, но и силу, были заброшены, вновь раскрыты и вновь заброшены. Вняв дружескому упреку Мену-Сегре, он начал разбирать «Трактат о Воплощении» и

составлять примечания к нему. Надо подержать в руках это редкое издание, одну из жемчужин книжного собрания кампаньского настоятеля, все поля которого исписаны крупным почерком аббата Дониссана! Нескладность замечаний, простодушная старательность, с которой многострадальный викарий отправляет читателя к источникам до смешного подробными ссылками, — все, вплоть до неправильных оборотов его убогой латыни, являет свидетельство столь ревностного труда, что самый безжалостный насмешник не посмел бы ухмыльнуться. К тому же, насколько нам известно, эти примечания представляют собою набросок несравненно более значительного и ныне утраченного сочинения, очевидно также оставшегося трудом напрасным, которое, вероятно, плесневеет где-нибудь в ящике, как скорбный и косноязыкий свидетель блужданий возвышенного духа. Работа, вначале внушавшая ему просто отвращение, стала вскоре невыносимым рабством. Люмбрский священник всегда был заурядным метафизиком, и лишь на собственном опыте можно понять, какой мукой для человека, лишенного необходимых основ знания, может стать изнурительное копание в смутных богословских сочинениях. Предпри-

нятый с неосмотрительной смелостью, труд его стал еще тягостнее из-за возникших вскоре нелепых осложнений. Целый день занятый исполнением своих обязанностей, аббат Дониссан освобождался лишь за полночь, проиграв Мену-Сегре очередную партию в безик. Догадливому настоятелю потребовалось немного времени, чтобы проникнуть в новую тайну Дониссана. По обыкновению своему, он не преминул несколько раз мягко намекнуть на сие обстоятельство, смущая бесхитростную душу викария. Тогда бедняга решил трудиться при свете ночника и начал вскоре страдать от боли в глазах, совершенно измучившей его, но не сломившей его упорства, ибо испытание это дало ему повод к новым безумствам.

До той поры Дониссан находил некоторое отдохновение и отраду лишь в излюбленной молитве, скромной, читаемой вслух молитве. В течение долгого времени люмбрский святой в простоте своей сомневался, что способен творить молитву, хотя прибегал к ней всякий день и, можно сказать, ежечасно. И вот он вознамерился одержать над собой новую победу.

Нам, право же, совестно приводить столь сухие, невыразительные подробности, описывать

обстоятельства до такой степени обыденно-скучные. Просидевши ночь за письменным столом, страдалец расхаживает взад и вперед по своему покою, опустив голову, скрестив руки на пояснице, стараясь ровно дышать, как борец, берегущий силы перед схваткой, и усиленно размышляя, размышляя по всем правилам… Он не отступает от темы, заранее выбранной и тщательно разработанной в строгом соответствии с методой отцов Сен-Сюльпис, покуда совершенно исчерпывает ее. Кстати, в своем новом предприятии он пользуется руководством, составленным безымянным священником в лето 1849 от рождества Христова и озаглавленным следующим образом: «Искусство молитвы в двадцати уроках, преподанное душам благочестивым». Каждый урок делится на три части: «Размышление», «Вознесение молитвы» и «Заключение», венчаемое жемчужинами богословской премудрости. В конце сборника помещено несколько стихотворений (положенных на музыку неким монахом, как утверждается в предисловии), в которых воспевается сладость и упоительные восторги небесной любви на лад, любезный госпоже Дезульер.

Можно подержать в руках, сжать пальцами эту ужасную книжонку. Переплет ее с великим тща-

нием обшит черным сукном. Затертые от частого пользования листы еще пахнут кислятиной и прогорклым салом. В левом углу скверной цветной гравюры мелким востреньким почерком надписаны выцветшими чернилами загадочные слова: «Моей дорогой Адолине, дабы вознаградить ее за неблагодарность некоторых особ». Очевидно, нетленное свидетельство обиды некоей богобоязненной души. Трудно представить себе, что сия жалкая писанина могла стать неразлучным спутником человека, говоря о котором даже самые самолюбивые люди не решатся утверждать, что могли без смущения выдержать его проникающий в самые тайные мысли взгляд, — спутником, другом, наперсником люмбрского святого! Чего искал он на сих, столь похожих одна на другую страницах, где всякая строка напоена смертной скукой томимого праздностью священника?

Чего искал и главным образом что нашел там? Правда, аббат Дониссан не оставил нам ни единого богословского либо мистического сочинения, однако нам известны некоторые его проповеди, и память о сих совершенно необычных откровениях доднесь жива в сердцах кое-кого из прихожан. Никто из беседовавших с ним не усумнился в

редкостном его здравомыслии, ясности ума и поразительной простоте решений. Никто более его не остерегался суемыслия, да никто с большей твердостью и суровостью не осуждал, как случалось ему. Сколь бы одинок он ни был, как принято думать, в ту пору своей жизни, возможно ли верить, что в сем благочестивом блудословии он черпал мысли для своих проповедей? Неужели он мог без отвращения произносить сии хвастливо витиеватые проповеди, обонять смрадную стряпню богобоязненных назиданий, проливать гаерские слезы? Молился ли он или, полагая, что молится, перестал уже, в сущности, молиться?

С чувством гадливости читатель захлопывает книжонку, испытывая неприятное ощущение от прикосновения засаленного сукна. Ему хотелось бы понять, найти в чьем-либо взоре разгадку тайны той жалкой силы, что помрачила на время столь просветленный дух. Ужли возможно так обмануть самое благодать божию? Ужли каждый человек, оборачиваясь, неизменно будет видеть позади себя свою тень, своего двойника, зверя, принявшего его облик и безмолвно крадущегося вослед ему? О, сколь тяжка книжица эта!

Так врагу рода человеческого, впрочем неотступно преследовавшему бедного священника

до последнего дня его жизни, удалось о той поре преуспеть в большинстве козней, против него устроенных. Вначале он понудил его предпринять труд и тяжкий и бессмысленный, который коварно изобразил ему в виде хитроумной системы жертвенности и самоотречения, лишив его, таким образом, возможности искать утешения вне себя, а теперь вознамерился погубить самое сущность его. С каждым днем ужасный труд свершается с меньшими усилиями и подвигается все спорее. Объятый яростью саморазрушения, упрямый крестьянин стал наконец довольно изощрен в искусстве обращать против самого себя доводы разума. Он изыскивает побудительные причины всякого поступка, совершенного им в своей смиренной жизни, и во всяком находит отображение некоей зловредной воли, презирает и отвергает отдых, всякую печаль тотчас гонит от себя, усматривая в ней знак сожаления, ибо отныне все в нем и вне его несет печать гнева.

Но пришла, видно, пора, когда страшный труд должен был принести свои плоды, оказать самые гибельные свои следствия. Есьмы безумны, ибо усматриваем в собственной мысли, которую, однако же, слово беспрестанно делает доступной чувствам нашим, лишь некую невещественн-

ность, от которой нам не грозит никакая близкая, неминучая опасность! О, слепец, столкнувшийся лицом к лицу с чужестранцем и не узнающий себя в нем, в котором и взор и злобная складка рта уже дышат ненавистью к нему, слепец, не узнающий себя в глазах чужестранки!

Дониссан поднялся с земли, некоторое время пристально глядел на окрестность, затопленную сумерками, ощутил некое беспокойство, но без труда подавил его. Впереди дорога ныряла в лощину меж высоких откосов, поросших короткой редкой травой. То ли оттого, что откосы совершенно заслоняли дорогу от ветра (задувшего вновь по заходе солнца), то ли по какой-либо другой причине, ни малейший звук не нарушал глубокой, глухой тишины. И хотя город отстоял недалеко, а час был еще не поздний, викарий услышал, напрягши слух, лишь невнятный, едва различимый шелест земли, столь однообразный, что тишина казалась еще более поразительной. Впрочем, и этот смутный ропот вскоре умолк.

Быстрыми шагами он пустился по дороге, вернее, ему казалось, что он очень быстро идет по безупречно ровной, едва покатой дороге, мягко пружинящей под ногами. Усталость исчезла, и в исходе долгого пути он чувствовал себя уди-

вительно свободным и легким. В особенности поразила его раскованность мыслей. Некоторые трудные задачи, над которыми он напрасно бился в течение долгих недель, решились сами собою, стоило ему напрячься и ясно представить их себе. Целые главы из книг, читавшиеся и толковавшиеся им с трудом превеликим и обыкновенно словно клещами, по частям, выдиравшиеся из памяти, явились вдруг ему в должном порядке, со всеми заглавиями и подзаголовками, со всеми параграфами, расположенными в точной последовательности, вплоть до примечаний на полях. Продолжая путь все тем же скорым шагом, почти бегом, он решил, дабы сократить дорогу, свернуть с большака и пробираться далее тропой по берегу Раванель, которая текла рядом с кладбищем и должна была привести его прямо к церковным дверям. Не замедляя хода, он устремился по новому пути. По этой дороге, обыкновенно до середины лета изрытой глубокими, полными соленой воды колеями, редко кто ходил, кроме рыболовов да волопасов. К великому удивлению и радости Дониссана, почва показалась ему плотной и ровной. Хотя необычайная живость и вольное парение мысли словно охмелили аббата, он искал взглядом в ночном мраке знакомые

приметы: темное пятно придорожного куста, крутой изгиб тропы, понижение устремленного к черному небу склона, хижину дорожного смотрителя. Однако, по прошествии изрядного времени, он, противу ожидания, ощутил под ногами отлогую понурость, перешедшую внезапно в крутой склон, потом густую луговую траву. Взглянув вперед, он узнал дорогу, оставленную им некоторое время назад. Быть может, сам того не замечая, он свернул на проселок, который неприметно привел его на то самое место, где он сошел с большой дороги, но теперь уже с противоположной стороны? Ведь он ясно различал (откуда такая ясность в глухую ночь?) первые дома окраины! «Вот так угораздило!» — подумал он без досады и раздражения и, не мешкая, вновь тронулся в путь, полный решимости не оставлять более главной дороги. Теперь он подвигался медленно, пристально глядя вперед и чувствуя, как под толстыми подошвами скрипит сырой от дождя песок. Стояла такая темень, что, сколь бы далеко ни простирал он взгляд, не видел нигде не только света, но хотя бы смутного мерцания, того неуловимого трепета, который даже в самую глухую ночь являет как бы ток, исходящий от живой земли, нечто вроде медленного умирания

угасшего дня, длящегося до самого рассвета. Тем не менее Дониссан выступал с большей уверенностью, чем прежде, словно туго спеленатый непроглядною тьмою, — она расступалась перед ним и смыкалась позади, оставляя ему так мало места, что он как бы чувствовал ее теснение. Но он не испытывал от того ни малейшего беспокойства и шел твердыми неторопливыми шагами. Хотя обыкновенно, приближаясь к исповедальне, он чувствовал страх и нерешимость, его отнюдь не удивило то обстоятельство, что на сей раз в его душе не было ничего, кроме нетерпения почти радостного. Живость мыслей была такова, что он ощущал ее, казалось, во всем теле — нетерпеливое возбуждение, потребность расходовать напряжением мышц избыток мыслей и образов, лихорадочный подъем, столь хорошо знакомый мыслителям и влюбленным. И вновь, незаметно для себя, он уторапливает шаги. Ночь все так же расступается перед ним и смыкается за его спиной. Дорога стелется под ноги и скользит назад — она словно несет его, прямая, удобная, едва покатая… Сам он проворен, бодр, легок, словно, прекрасно отдохнув, проснулся свежим утром. Вот и последний поворот. Нетерпеливо ищет он взглядом сложенный из розовых кирпичей до-

мик на перекрестке большака и дороги, которую он, по всей видимости, только что миновал, не разглядев в потемках. Но взор его не различает ничего определенного, ни дороги, ни дома, а в близком городке не видно ни одного огня. Он останавливается, чувствуя не беспокойство, но удивление… И тогда, лишь тогда, он услышал в безмолвии частые твердые удары своего сердца и почувствовал, как по телу струйками течет пот.

В то же время питавшая его силы ложная уверенность исчезла вдруг, он сразу ощутил смертельную усталость: спину ломило, одеревеневшие ноги гудели, глаза, напряженно всматривавшиеся все это время в ночной мрак, закрывались сами собой.

«Взберусь-ка я на откос, — подумал он. — Не может быть, чтобы я не обнаружил того, что ищу. Увидеть хотя бы одну примету, а там уж я выберусь на верную дорогу…»

С бессмысленным упорством он все повторял про себя эти слова, и когда, решившись наконец, стал карабкаться вверх по ледяной траве, упираясь ладонями и коленами, все тело его пронзила странная боль. Добравшись до верха, он со стоном распрямился, ступил несколько раз и стал вглядываться в темноту, поворачиваясь в

разные стороны, пытаясь угадать черту окоема. К великому своему удивлению, он обнаружил, что находится на краю поля, смутно отсвечивающего пластами свежевспаханной земли. Поблизости росло показавшееся ему исполинским дерево, простиравшее над ним незримые ветви, которые угадывались во мраке по слабому шелесту листьев. Он перебрался через неглубокий ров и там, по более плотной и светлой почве и двум темным полосам, определил дорогу. И нигде ни малейшего намека на кручу, куда он давеча взлезал. Он не столько видел, сколько чувствовал окрест себя бескрайнюю, безлюдную пустыню, простершуюся до границ ночи.

Дониссан не испытывал страха и был скорее раздосадован, чем встревожен, но устал до такой степени, что холод начал пробирать его до костей: он весь дрожал под намокшей от пота сутаной. Не в силах более держаться на ногах, он опустился на землю там, где стоял, и сомкнул веки. Внезапно он ощутил сквозь тяжкий сон некое беспокойство. Еще неясное, оно овладело всем его существом. Ему словно почудилось что-то страшное, и он сознавал, что ему грозит действительная опасность, и от сознания опасности постепенно, как бы порывами, освобождался из

цепкого плена сна. Но, уже почти проснувшись, он боялся открыть глаза, потому что имел твердую уверенность, что стоит ему повести взглядом, как смутный, непонятный страх примет ясные черты. Какие? Отведши ладони от крепко смеженных глаз, он медлил открыть их, собираясь с духом, в ожидании чего-то необычного и жуткого. Но когда наконец быстро взглянул перед собою, то увидел лишь, что вторично вернулся на то же место.

Удивление его было столь велико и столь внезапно рассеялся оказавшийся ложным страх, что он некоторое время еще глупо сидел на корточках в холодной слякоти, не в силах пошевелиться или подумать о чем-нибудь. Потом ему пришло в голову разведать ближайшие окрестности. Низко пригнувшись, он бродил туда и сюда, от времени до времени щупая руками землю, чтобы отыскать свои следы и по ним добраться до того таинственного места, где он, судя по всему, сбился с верного пути, покуда, незаметно для себя все забирая в сторону, пришел на то же место, описав полный круг. Хотя он и совладал со страхом, но уже не мог продолжать пути, не поняв причины загадочного явления. Он должен был разобраться, в чем тут дело. Двадцать раз пытался он разорвать

круг, но неизменно терпел неудачу. В некотором удалении следы совершенно пропадали, из чего ему пришлось заключить, что он шел по обочине, поросшей довольно густой травою, где следов не могло остаться. Он заметил также, что земля вокруг него на расстоянии нескольких шагов совершенно истоптана. От какой-то глупой досады и почти детского отчаяния слезы навернулись ему на глаза.

Меньше, чем кого бы то ни было, люмбрского святого можно было назвать эмоциональной натурой, пользуясь выражением, заимствованным в странном наречии времен новейших. Мало-помалу он стал думать в своей простоте об обманах и мороке сей ночи как о препятствиях, кои ему должно преодолеть. Снова, в который уже раз, он трогается с места, спускается по откосу, идет сперва медленно, потом быстрее, еще быстрее и, наконец, бежит. Ему еще кажется, что он владеет собой, но не к цели своего путешествия поспешает он бежит мрака и страха ночного, бессознательно напрягает последние силы, спасаясь от них. Но ведь ему давно уже пора добраться до недостижимого городишки! Каждая новая минута промедления кажется ему новой неразрешимой загадкой.

Вновь возникают два черных, уже знакомых склона, понижаются, повышаются, потом пропадают совершенно, и тогда он угадывает вокруг себя невидимую равнину, и ледяной ветер бесшумно сечет его лицо… Он уверен, что уже сбился с пути, хотя и не знает, когда именно. До-ниссан прибавляет хода, тем более что ноги сами несут его под уклон. Он торопится, сутуля спину, и сутана смешно задирается, обнажая тощие ноги, — нелепый призрак, бессмысленно суетящийся и размахивающий руками среди недвижных вещей. В своем слепом стремлении вперед викарий со всего маху натыкается выставленными перед собой ладонями на холодную мягкую преграду. Он медленно валится боком в грязь и закрывает глаза. Еще не открыв их, он знает, что вернулся.

Храня спокойствие, он поднимается с глубоким вздохом, поводит плечами, как бы удобнее примащивая лежащую на них ношу, решительно поворачивается в ту сторону, откуда пришел, и вновь пускается в путь. Мерными шагами он покорно идет по раскисшей земле, липнущей к подошвам, переступая низкие ограды, перелезает через проволочную изгородь, ощупью обходит еще какие-то препятствия. Он бредет,

не оборачиваясь, неутомимый, как в начале своих блужданий. Разум его ясен, а намерения бесхитростны — он принял свое столь странным образом прерванное путешествие как самое будничное событие и просто хочет вернуться как можно скорее, еще до рассвета, в свой кампаньский дом. Не мудрствуя лукаво, он решил совершить весь долгий путь в обратном направлении. Не может быть никаких сомнений в том, что если бы вдруг перед Дониссаном встал Мену-Сегре, викарий учтиво поклонился бы ему и в немногих словах поведал о случившемся как о досадной помехе.

Он перелез последнюю канаву и пустился по очень узкой, едва наторенной дорожке, пролегающей среди вспаханного поля. Кажется ему, что час, а может быть, два тому назад он уже вроде ходил здесь, но тогда, помнится, он был один…

Дело в том, что в какое-то мгновение (какой смысл скрывать) Дониссан обнаружил, что на дороге есть еще кто-то и этот кто-то идет рядом с ним. Судя по всему, спутник его мал ростом и на редкость подвижен — он идет то справа, то слева, то отстанет, то забежит вперед. Правда, Дониссан с трудом различает его. Первое время человечек семенит мелкими шажками в полном молчании.

В такую темную ночь люди, вероятно, могут помочь друг другу. Есть ли нужда быть знакомыми, чтобы идти рядом среди мертвого безмолвия, в непроглядной тьме?

— Ну и темень, хоть глаз выколи, — заговорил неожиданно человечек.

— Да, сударь, до света еще далече, — отвечал ему Дониссан.

Видно, попутчик попался ему жизнерадостный — в его глуховатом голосе слышится сдержанная, удивительно располагающая веселость, совершенно успокоившая бедного Дониссана. Он даже начал опасаться, как бы немногословный ответ не обидел его веселого, полного доброжелательства соседа. Как отрадно вот так, неожиданно, услышать человечью молвь, как ласкает она слух! Аббат вспоминает, что у него нет друга. И тут вновь звучит голос маленького черного пешехода:

— Я считаю, что темнота сближает людей. Это хорошо, очень хорошо. Когда на дворе темно, как в погребе, и с гордецов слетает спесь. Представьте, что мы повстречались бы с вами средь бела дня… Да вы бы и не взглянули!.. Вы, верно, из Этапля идете?

Не дожидаясь ответа, он проворно опережает

Дониссана, приподнимает колючую проволоку невидимой ограды и вежливо придерживает ее вытянутой рукой, чтобы спутнику удобнее было подлезть. Затем он продолжает беседу веселым глуховатым голосом:

— Так, значит, вы из Этапля и, по всему видать, держите путь в Кюмьер?.. Или в Шалендр?.. Или, может быть, в Кампань?

— В Кампань, — отвечает викарий, решив говорить правду.

— До Кампани я вас, пожалуй, не стану провожать, — говорит человечек, рассыпавшись мелким дружелюбным смешком… — Двинем-ка мы лучше напрямик в Шалендр — я знаю тут все изгороди, с завязанными глазами найду дорогу.

— Благодарю вас, — с чувством отвечал преисполненный благодарности Дониссан. — Благодарю вас за любезность вашу и милосердие. Вряд ли можно было мне надеяться на помощь чужих людей. Ведь немало таких, кому сутана внушает страх.

Человечек презрительно присвистнул:

— Невежды, неучи, деревенщина. Уж я на них насмотрелся по торжищам да по ярмаркам от Кале до Гавра. И каких только глупостей я не понаслышался! Вот уж убожество, вот темнота! Да

брат моей матушки сам духовного звания, ежели хотите знать.

Тут он снова нагнулся над низкой живой изгородью из часто посаженных шиповатых кустов. Ощупав ее и исследовав проворными руками, он с замечательной быстротою увлек викария вправо, отыскал широкий лаз и посторонился, уступая дорогу Дониссану:

— Ну как, убедились? Мне и смотреть не надо. В такую ночь кто угодно будет кружить до утра на одном месте, а я эти края знаю как свои пять пальцев!

— Вы здесь живете? — почти робко спросил викарий (ибо, по мере удаления от города, так и не достигнутого им, терзавший его ужас отступил наконец, и теперь душу его наполняло смешанное чувство утихшего страха и стыда, как по нечистом сновидении, и Дониссан, испытывая слабость и неуверенность, по-детски хотел, чтобы рядом был верный человек, который не покинет в беде, на чью руку можно опереться).

— В сущности, я нигде не живу, — признался собеседник. — Странствую по делам моей службы у одного конеторговца из Булонэ. Позавчера был в Кале, в четверг переберусь в Авранш. Поверьте, хлеб нелегко мне достается. Где уж тут корни

пускать.

— Вы женаты? — снова спросил Дониссан.

Тот рассмеялся:

— На нужде! Помилуйте, это вдруг не делается, а откуда мне время взять? Сегодня здесь, завтра там — так и кочую. Разве иной раз позабавишься мимоходом.

Он умолк, потом проговорил со смущением в голосе:

— Вы уж извините, как-то неудобно толковать об этом с таким человеком, как вы. Забирайте покруче вправо, где-то здесь должна быть глубокая рытвина с водой.

Этот знак внимания снова трогает Дониссана. Теперь он шагает очень быстро, почти не чувствуя утомления. Но, по мере того как усталость исчезает, в душу ему вкрадывается, все более овладевает им новая слабость, обволакивая его волю гаденьким, липким, как смола, умилением. Слова почти непроизвольно слетают с его уст:

— Господь вознаградит вас за ваш труд. Он навел вас на мой путь, когда мужество уже оставляло меня. Ибо ночь сия была мне долга и тяжка, более долга и тяжка, нежели вы можете вообразить.

Дониссан с трудом удержался, чтобы с безрас-

судным простодушием не поведать спутнику о своих ночных блужданиях. Ему хотелось рассказать обо всем без утайки, открыться этому человеку, увидеть в чужом, но дружелюбном и сочувственном взоре отражение своей тревоги, уже гложущих его сомнений, мучительного наваждения своего. Но, взглянув на идущего рядом человека, он увидел в его глазах не столько сочувствие, сколько удивление.

— Не очень-то приятно путешествовать безлунной ночью, — как-то неопределенно говорит пришелец. — От Этапля до Кампани почитай не меньше четырех лье скверной дороги, а если бы не я, пришлось бы идти еще больше. Мы сократили путь самое малое на два километра… А вот и дорога на Шалендр (бледная полоса прямо уходит в смутное пространство).

— Скоро мне придется расстаться с вами, — продолжал он как бы с огорчением. — Вы в самом деле очень спешите?

— Я и так уже замешкался сверх всякой меры, — отвечал Дониссан.

— Я хотел предложить вам… можно было бы… даже лучше… дождаться рассвета у меня, в одной хорошо мне известной хижине на опушке леса Сонсери — такая добротная изба, срубленная

углежогами, — там есть очаг и все необходимое, чтобы развести огонь.

Все это говорится как-то нерешительно, и колебание, которое чудится Дониссану в голосе, до той поры столь искреннем и ясном, больно его задевает. «Конечно же, он боится, что я приму приглашение, — печально думает он. — И он, он тоже спешит избавиться от меня, чтобы продолжить путь одному!» Будничная истина сия наполняет его горечью. Новое разочарование столь велико и столь внезапен, столь жгуч новый приступ отчаяния, что вопиющее несоответствие причины и следствия не может не беспокоить в нем остатки здравого смысла и рассудка, хотя его помрачившийся ум не способен уже трезво судить о происходящем (но если он в состоянии еще воздержаться от неосторожного слова, то как удержать слезы, ручьем бегущие из глаз?).

— Давайте передохнем, — предлагает барышник, из сострадания отводя взор от лица плачущего навзрыд священника. — Не надо стыдиться, это от усталости — просто вы дошли до крайности. Мне знакомо такое состояние: так или иначе это должно прорваться.

И немного погодя добавляет с тихим смешком:

— Не обижайтесь, отче, но, по всему видать, вы

порядком-таки потрудили ноги. Пять-шесть лье, поди, отмахали!

Он расстилает на верху дорожной насыпи свой плащ из толстого сукна и почти насильно укладывает на нем своего спутника. Сколько заботы, сердечной теплоты и братского сочувствия в знаке внимания грубого самаритянина! Возможно ли не поддаться хоть немного сей неведомой Дониссану нежности? Возможно ли отказать в откровенности человеку, который ждет ее, глядя на него с таким дружеским участием?

Однако несчастный, жестоко униженный священник еще противится, призывая на помощь остаток мужества. Сколь бы ни были непроницаемы потемки вне его и в нем самом, он судит себя без снисхождения, пеняет себе за ребячливость и малодушие, казнит себя за то, что оказался в таком дурацком положении, за то, что так глупо расплакался перед чужим человеком. Хочет он того или нет, трудно не заметить связь между этим приключением и, пожалуй, не менее загадочным обманом чувств, из-за которого несколько часов тому назад он останавливался на своем пути и непостижимым образом сбивался с дороги… Но может быть, с другой стороны, эта встреча есть ниспосланная ему помощь, прощение грехов

его? Не должно ли ему смиренно ждать совета доброжелательного человека, который, помогая ему, творит, возможно не догадываясь о том, евангельское милосердие? Ах, слишком тягостно молчать, отталкивать протянутую руку!

Он берет руку, сжимает ее и сразу чувствует в сердце странное тепло. То, что совсем недавно казалось глупо безрассудным или опасным, представляется теперь разумным, нужным, необходимым. Может ли униженный гнушаться чьей-либо помощью?

— Не знаю, как объяснить вам, — начал викарий, — как просить у вас прощения… Впрочем, к чему?.. Так вам легче будет понять мое ничтожество!.. Увы, горестно думать, что мне, столь недостойному, такому малодушному, так скоро отчаивающемуся, вверено озарять светом веры душу ближнего, вселять в него мужество… Когда Господь оставляет меня…

Он помотал головой, усилился подняться на ноги и снова тяжело опустился наземь.

— Вы совсем выбились из сил, — мягко проговорил чужестранец. — Надо набраться терпения. Терпение доброе лекарство, аббат… Не такое спорое, как многие другие, но намного более верное!

— Терпение!.. — простонал Дониссан с мукой в голосе. — Терпение!..

Почти бессознательно он склонил голову на плечо своего необычного собеседника, не выпуская уже привычную ему руку. Головокружение сжимало ему виски мягким обручем, но давление его постепенно и неумолимо усиливалось. Мгла окутала его сознание, и он заговорил, как сквозь сон, глядя перед собой широко открытыми глазами:

— Нет, усталость так не измучила бы меня!.. Я выносливый, силен, могу долго бороться… Но не со всеми и, правду сказать, не так…

Ему мерещилось, будто он тихо скользит под уклон в безмолвие. Вдруг он испугался медлительного падения: ему ясно представилась глубина пропасти… Невольным движением, таким же внезапным, как испуг его, он ухватился обеими руками за чужое недрогнувшее плечо.

Вновь послышался дружелюбный голос, но теперь он громом отозвался в ушах Дониссана:

— Это ничего, просто дурнота… Обопритесь на меня, не бойтесь!.. Да, сколько же вы исходили!.. Как же вы устали! Я давно уже следую за вами, наблюдаю за вами, друг. Я был позади вас, когда вы ползали на четвереньках, в поисках этой са-

мой дороги, ай-ай-ай!

— Я не видел вас, — прошептал Дониссан. — Неужто правда? Вы в самом деле были там? Не могли бы вы сказать…

Он не кончил, потому что вновь заскользил вниз, все быстрее и быстрее, падая камнем. Мрак, куда он погружался, свистел в ушах, словно Дониссана поглощала водяная пучина. Расставив руки, он ухватился за каменные плечи спутника, вцепился в них что было мочи. Туловище, к которому он припал, было твердо и узловато, как дубовый ствол. Оно не шелохнулось, когда аббат всей тяжестью навалился на него. Своим лицом несчастный священник ощутил неровности и тепло чужого лица.

На мгновение, неуловимо краткое мгновение сознание покинуло его. Осталось лишь ощущение опоры, плотности и незыблемости преграды, удерживающей его на краю воображаемой бездны. Всем телом он прижался к ней, испытывая острое, пронзительно-радостное чувство безопасности. Дурнота, словно плавясь в груди от жара неведомого пламени, медленно вытекала из жил.

Именно тогда и совершенно неожиданно, хотя столь внезапно открывшаяся истина не сразу про-

никла в его сознание, именно тогда, повторяю, кампаньский викарий понял, что встретился наконец с тем, от чего спасался в продолжение всей жуткой ночи.

Испугался ли он, поверил ли, объятый отчаянием, что произошло наконец то, чему должно было случиться, что неминуемое настало? Или же вкушал горькую отраду приговоренного, которому нечего больше доказывать и не на что надеяться? А может быть, просто провидел жребий люмбрского священника? Как бы то ни было, викарий без особого удивления услышал слова:

— Крепче держитесь, не падайте… Сейчас вам полегчает. Я друг вам, товарищ и всем сердцем люблю вас!

Спутник обхватил его рукой и медленно, все крепче и крепче привлекал к себе. Дониссан совсем поник головой на плечо лошадника, тесно прижался щекой к его шее, так тесно, что чувствовал тепло дыхания на лбу и лице.

— Почий на груди моей, возлюбленное дитя, — говорил между тем ласковый голос, — прильни ко мне крепче, глупая скотина, бедный священник мой, товарищ мой. Отдохни! Я долго искал, выслеживал тебя — и вот ты здесь. Как ты любишь меня! Но возлюбишь еще сильнее, ибо я

уже не оставлю тебя, ангелочек, бритолобое убожество, навеки неразлучный спутник мой!

Впервые люмбрский святой слышал, видел и осязал омерзительное существо, с которым неразрывно была связана его мученическая жизнь, и, если верить словам немногих людей, ставших поверенными или свидетелями тайного искуса, ему суждено было еще не раз слышать голос искусителя, прежде чем душа разлучилась с телом. Впервые Дониссан повстречал его и все же узнал без труда. Мало того, в то мгновение он не мог даже усомниться в своих чувствах и рассудке, ибо не принадлежал к числу тех, кто простодушно полагает, что неразлучный наш истязатель, сущий во всякой нашей мысли, вскармливающий нас с мудрым терпением ненавистью своей, имеет повадку и речь сказочного воителя… Любой другой человек на месте кампаньского викария, даже наделенный столь же ясным умом, не мог бы сдержать в подобных обстоятельствах невольного движения страха или по крайней мере отвращения. Он же, весь сжавшись от гадливости, смежив вежды, словно чая в себе обрести духовную крепость, обуздывая бесплодное волнение чувств, силился победить страх свой, обнажив перед лицом врага волю, как

выхваченный из ножен клинок.

Но когда, словно кощунственно глумясь, гнусные уста прильнули к его устам и исхитили дыхание их, ужас великий объял его, так что самое биение жизни замерло в нем и сердце как бы опустошилось в лоне его.

— Еси приял лобзание друга, — покойно молвил барышник, осушая рот тылом руки. — И в мой черед есьм наполнил тя собою, хранилище мощей Христовых, милый мой простачок! Да не убоишься малости сей, не тебя бо единого лобзал, но многих. Знай же, есьм лобзал всех вас, бодрствующих и спящих, мертвых и сущих на земле. Се истина. Отрадно мне быть с вами, человечки-боги, странные, странные, о, столь странные созданьица! В сущности, мы никогда не разлучаемся, ибо вы носите меня в темных недрах вашей плоти, меня, чей свет бысть в начале вещей, в крепости, трижды свершенной двумя властителями мира на ваше бренное тело, меня, Люцифера. Я веду вам счет, никто меня не минет. Я распознаю по запаху каждую овцу в своем стаде.

Он отвел руку, все еще крепко обнимавшую Дониссана, и несколько отстранился, как бы для того, чтобы тот мог упасть. Мертвенно-бледным, словно застывшим лицом викарий походил на

труп. Вся мука его отобразилась в страдальчески приподнявшихся уголках рта, словно тронутого жуткой усмешкой, в крепко зажмуренных глазах, в напряжении всех черт лица. Он лишь едва склонился на сторону и продолжал сидеть на поле плаща в каком-то страшном оцепенении.

Попутчик искоса взглянул на него, тотчас отвел глаза и не мог сдержать едва заметного удивленного движения. Потом шумно потянул носом, вытащил из кармана большой платок и, нимало не смущаясь, отер им шею и щеку.

— Довольно шуток, господин аббат! В эту мерзкую пору года под утро делается чертовски холодно, — он дружески пихнул Дониссана в плечо, точно так, как забавы ради толкают неустойчивый предмет, как дети опрокидывают под радостные клики снежную бабу. Но кампаньский викарий не пошатнулся, только медленно раздвинул веки и, храня то же напряженное выражение на лице своем, устремил перед собой недвижный взгляд непроглядно черных глаз. — Эй, аббат! Господин аббат! — громко окликнул его лошадник. — Да вы, никак, кончаетесь, дружочек? И похолодел уже… Эй, очнитесь!

Он забрал обе руки викария в свою широкую ладонь, а другой стал похлопывать по ним.

— Вставайте, поднимайтесь же, черт возьми! Подымайтесь, будь вы неладны! Право слово, кровь стынет в жилах от такого холода.

Он сунул ладонь ему под сутану, желая убедиться в том, что сердце бьется. Затем быстро следующими одно за другим, непроизвольными, если можно так выразиться, движениями коснулся сначала его лба, потом глаз и, наконец, губ. Проделав все это, он снова взял его руки в свои и стал согревать дыханием. Каждое его движение выдавало какую-то лихорадочную поспешность, торопливость мастерового, которому не терпится кончить тонкую художественную работу и который боится, что не управится до рассвета или что ему помешает не ко времени случившийся гость. Вдруг он спрятал руки в складках одежды у себя на груди, задрожал крупной дрожью, как если бы медленно опускался в глубокую ледяную воду, и проворно вскочил на ноги.

— Холод мне нипочем, — проговорил он. — Мне не страшен ни зной, ни стужа. Но даже мне удивительно видеть, как вы сидите в промерзшей грязи и не шелохнетесь. Диву даюсь. Как только вы еще не закоченели… И то сказать, немало пришлось вам поколесить по дороге, дружище… А я, признаться, так совсем продрог. Мне всегда холодно.

Уж поверьте, от меня не всякий это услышит… Но это так… Я есьм холод, сущность моего света есть нестерпимый холод… Но оставим это — вы видите перед собой бедного человека со всеми достоинствами и недостатками, присущими людям его круга… посредника по торговле нормандскими и бретонскими клячами… барышника, как у них принято говорить… Но и об этом довольно! Думайте только о том, что рядом с вами друг, спутник в безлунную ночь, добрый товарищ… Нет, нет, никаких вопросов! Не надейтесь многое выведать у меня об этой нечаянной встрече. Я хочу лишь услужить вам и чтобы вы меня тотчас забыли. Но я-то вас не забуду: ваши руки причинили мне жестокую боль… И лоб ваш, и глаза, и губы… Мне ни за что не отогреть их — от них оледенел мой мозг, промерзли мои кости. Причина тут, верно, в вашем елее, в ваших треклятых священных мазях, во всей этой вашей ворожбе. Но довольно… отпустите меня! Мне идти да идти, и у меня есть еще силы. Расстанемся здесь и пойдем каждый своей дорогой.

Он беспокойно расхаживал, раздраженно размахивал руками, но не удалялся более чем на несколько шагов. Дониссан не сводил с него сумрачного взора, и губы уж не шевелились на

окаменелом лице.

Впрочем, оно выражало теперь не столько страх, сколько ненасытное любопытство. Можно было бы сказать — ненависть, но ненависть воспламеняет взор. Можно было бы сказать — омерзение, но омерзение бездейственно, и никогда вопль ужаса или отвращения не разжал бы челюсти, сомкнутые неколебимою решимостью. И праздная жажда знания тоже не может сообщить человеку столь несравненное достоинство. Кампаньский викарий не спешил торжествовать победу, с каждым мгновением все более полную и очевидную, ибо знал, что победа над таким противником всегда сомнительна, ненадежна, недолговечна. Мало проку в том, что неприятель повержен на миг к твоим ногам и молит пощады, когда сражаешься с губителем душ и нужно вырвать у него хотя бы одну из тайн его.

Вдруг чудной непоседа стал как вкопанный, словно порывистыми своими движениями совершенно опутал себя незримыми узами, подобно связанному быку. Голос его, достигший самого пронзительного звучания, принял сразу обычное выражение, и он довольно буднично произнес следующие слова:

— Отпусти меня. Твое испытание кончилось.

Я не знал, что ты так силен. Может статься, мы еще и свидимся, но если ты того пожелаешь, мы никогда больше не встретимся. Я утратил власть над тобой.

Он снова извлек из кармана обширный платок и судорожно отер лицо и шею. Тяжелое дыхание со свистом слетало с его уст.

— Перестань бормотать молитвы, замолчи! От твоих заклинаний нет никакого проку — воли твоей не мог я сломить. Чудные же вы создания!

С растущим беспокойством он поворачивал голову то направо, то налево, оглянулся вдруг и стал пристально вглядываться в мрак за своей спиной.

— Мне делается не по себе от этой мартышки, — промолвил он, сильно передернув плечами. — Худо мне в чехле из кожи… Вели, и от меня не останется и следа, самого духа не останется!..

Долгое время он стоял недвижно, закрыв лицо ладонями, словно собираясь с силами. И когда он поднял голову, Дониссан посмотрел ему в глаза и восстонал.

Если бы он висел на самой вершине мачты, привязанный к ней обеими руками, и, перестав понимать, где верх, где низ, увидел бы, как под ним то проваливается, то вздувается не море,

не звездная пучина, а пена рождающихся галактик кипит на триллионы километров окрест среди безбрежных пустых пространств, сквозь которые он будет падать бесконечно, то и тогда в груди своей не ощутил бы он такого сосущего замирания. Сердце его заколотилось о ребра как безумное и остановилось. Неодолимая тошнота подступила к горлу. Пальцы — единственное, что оставалось еще живого в окованном ужасом теле, заскребли землю, как звериные когти. Меж лопаток побежали ручейки пота. Неустрашимый муж, казалось сломленный, исторгнутый из лона земли неодолимым зовом бездны, видел уже себя погибшим безвозвратно. Но и в сей страшный миг всеми помыслами его владело одно непостижимое желание: не сдаваться.

Сразу, словно от толчка, застывшая было в нем жизнь вновь ринулась по жилам, кровь застучала в висках. Вперенный в него взор походил на любой человечий взгляд, и знакомый голос звучал в ушах, словно не смолкал никогда.

— Я покидаю тебя, больше ты меня не увидишь. Единожды в жизни видят меня. Пребуди в глупом твоем упорстве. О, если бы люди знали, какую награду уготовал им господин их, ты не был бы столь великодушен, ибо мы одни, только мы

— слышишь? — не дались в обман и, избирая между любовью его и ненавистью, предпочли, ведомые высшей мудростью, недоступной вашему ничтожному мозгу, ненависть его… Да что мне проку вразумлять тебя, пес, припавший к земле, покорная скотина, раб, творящий во всякий день господина своего!

Наклонившись с необыкновенным проворством, он подобрал валявшийся на дороге камень, поднял к небу, сдавивши рукою, произнес чародейные слова и радостно заржал… Все произошло во мгновение ока. Отголоски дикого хохота покатились до самых дальних пределов земли; камень заалелся, потом побелел и воссиял вдруг неистовым светом. С тем же смехом лошадник швырнул его себе под ноги в грязь, где он погас с оглушительным шипением.

— Это так, забава, — молвил он, — детская потеха. Тут и смотреть не на что… Однако же час настал, и нам должно разлучиться навсегда.

— Ступай, никто тебя не держит, — отвечал святой.

Голос Дониссана был тих и покоен, но слышался в нем легкий оттенок жалости.

— Нас встречают в страхе великом, — отповедал другой так же тихо, — но разлука грозит

бедою тому, кто расстается с нами.

— Ступай же! — кротко повторил кампаньский викарий.

Чудище подскочило, закружилось с немыслимой быстротой, простерши перед собой руки, и отпрянуло вдруг, словно налетев на непреодолимую преграду, — с трудом оно восстановило равновесие и устояло на ногах. Сколь бы нелеп ни был сей внезапный прыжок, строгая последовательность движений, рассчитанная сила их и, в особенности, неожиданная остановка были столь поразительны, что отнюдь не казались смешными. Очевидно, незримое препятствие, на которое наткнулся витязь тьмы, было огромно, ибо, хотя он и избежал его с ловкостью непостижимой, земля содрогнулась неслышно до самых недр и гулом отозвалось в ней среди глухого безмолвия.

Понурившись, лошадник медленно попятился и тихонько, словно смирившись, уселся на землю.

— Но вы же не пускаете меня, — молвил он, пожимая плечами. — Что ж, пользуйтесь своей властью, покуда не вышел отпущенный вам срок.

— Я не имею никакой власти, — печально ответствовал аббат. — Зачем искушать меня? Нет,

не от меня исходит сила сия, и тебе ведомо о том. Однако я некоторое время наблюдал тебя и извлек из того некоторую пользу. Твой час настал.

— Я вижу мало смысла в ваших словах, — мягко возразил собеседник. — О каком часе вы толкуете? Разве существует мой час?

— Мне дано видеть в тебе, — раздельно проговорил святой. — Я вижу в тебе, насколько дано видеть человеку. Я вижу твою нестерпимую муку, длящуюся бесконечно до избавления через смерть, но в милосердии смерти тебе будет отказано. О, тварь, обреченная муке вечной!

При сих словах чудище свалилось с насыпи на дорогу и стало кататься по грязи в ужасных корчах. Потом затихло вдруг, в мучительном напряжении выгнув спину так, что опиралось лишь затылком и пятками, подобно пораженному столбняком. И тут вознесся его голос — пронзительная жалоба:

— Довольно! Довольно! Священный пес! Палач! Кто научил тебя, миропомазанный зверь, что более всего на свете страшна нам жалость? Делай со мной все, что захочешь, но если ты доведешь меня до крайности…

Кто из людей мог бы без содрогания услышать сей жалобный вопль, изреченный на их языке,

но звучащий из мира иного? Кто не испугался бы за свой рассудок? Но люмбрский святой, потупив очи, думал лишь о рассудке тех, чьи души были погублены чудищем…

Все время, пока Дониссан творил молитву, ночной спутник стонал и скрежетал зубами, но все тише и тише, и когда викарий встал на ноги, совсем умолк и лежал подобно трупу.

— Что тебе нужно было от меня этой ночью? — спросил Дониссан так спокойно, как если бы обращался к кому-нибудь из своих знакомых.

От недвижного тела восстал голос:

— Отныне и впредь до твоего смертного часа нам дозволяется испытывать тебя. Только при чем здесь я? Я просто исполнял волю более могущественного. О праведник, не мучь меня боле!

— Чего ты хотел от меня? — повторил Дониссан. — Не пытайся лгать — у меня есть средство принудить тебя говорить правду.

— Я не лгу и готов отвечать на твой вопрос, только ослаби силу молитвы. К чему молитва, когда я простои исполнитель? Он послал меня испытать тебя. Хочешь знать — как? Скажу. Кто смеет ослушаться тебя, о мой повелитель?

— Молчи! — отвечал Дониссан с тем же спокойствием. — Испытание посылает мне Господь.

Я буду ждать, не стараясь что-нибудь разведать, тем более у тебя. В годину сию Господь послал мне силу, какой тебе не одолеть.

В то же мгновение стоявший перед ним расплылся, вернее, очертания его тела как-то странно задрожали и стали смутны, словно слившиеся в мглистый круг спицы быстро вертящегося колеса.

И тут викарий узрел перед собою двойника своего, столь совершенное, столь искусное свое подобие, что оно походило не так на зеркальное изображение, как на то неповторимое, единственное в своем роде, необыкновенно сложное представление, которое каждый имеет о самом себе.

Дониссан увидел свое бледное лицо, измазанную грязью сутану, невольное движение руки, прижавшейся к сердцу; увидел свои глаза и страх в них. Никогда его собственное сознание при всей его привычке к самосозерцанию не могло бы столь поразительно раздвоиться. Даже самый тонкий наблюдатель, исследующий свой внутренний мир, может постичь в единое время лишь одну из его сторон; то же, что явилось теперь тому, кто назван был впоследствии люмбрским святым, было одновременно и совокупность и

части, ее слагающие, его мысли, причины, их породившие, и следствия их, переплетение бесчисленных нитей, их связующих, тончайшие оттенки своих желаний — так в узоре кровеносных сосудов нагого тела видно биение жизни. Образ сей, единый и многоликий, подобный той картине, которая представилась бы человеку, способному видеть мир сразу в трех измерениях, был столь совершенен, что бедный священник увидел себя не только в настоящем, но и в прошлом и в будущем, увидел всю свою жизнь… Господи, ужли человеки столь прозрачны взгляду Лукавого, неусыпно их стерегущего? Ужли столь беззащитны мы пред ненавидящим нас разумом его?

Некоторое время они стояли так друг против друга. Чувства Дониссана обмануты были столь тонко, что он даже не испугался. Несмотря на все свои старания, викарий не мог отличить себя от двойника, но все же сохранял отчасти ощущение своей целостности. Нет, то был не испуг, но смятение столь великое, что ему казалось бессмысленным приказывать призраку, как если бы ему противостоял враг, облеченный его собственной плотью. Наконец он отважился.

— Сгинь, Сатано! — произнес он, стиснув зубы.

Слова застряли у него в глотке, и рука дрожала, когда он поднял ее на самое себя, но он схватил это плечо, ощутил его плотность и не умер от страха. Он сдавил его, желая сокрушить, и, внезапно взъярившись, стиснул пальцы, что было силы. Он видел перед собой свое собственное лицо и свои глаза, ощущал свое дыхание на своей щеке и тепло своего тела на ладони… И тут все исчезло.

От жалкой развалины, все еще валявшейся в дорожной грязи, вновь послышалось стенание:

— Ты ломаешь, грызешь, пожираешь меня. Что же ты за человек, коли уничтожил столь дивный образ, даже не разглядев его как следует?

— Не это мне надобно, — сказал Дониссан. — Зачем мне знать себя? Бедному грешнику довольно простого самосозерцания, другого знания ему не нужно.

Так говорил он, хотя ему было мучительно жаль пропавшего видения. Он задыхался, чувствовал в себе головокружительную пустоту от неистовой жажды познать сверхъестественное, которая навсегда, бесповоротно останется неутоленной. Но казалось ему, что он близок к исполнению своего намерения.

— Пришел конец твоим козням, — молвил он,

спихивая ногой с дороги трепещущий остов. — Как знать, много ли еще у меня времени? Надо спешить, спешить!

Он низко склонился над телом не столько оттого, что хотел лучше слышать, сколько от владевшего им бессознательного желания скорее кончить дело.

— Отвечай! (Он осенил крестом не неподвижное тело, но самого себя.) Ужли Господь отдал в твои руки жизнь мою? Должно ли мне умереть здесь?

— Нет, — отвечал голос с тою же мукою. — Мы не вольны распоряжаться тобой.

— В таком случае мне нужно вырвать у тебя тайну, сколько бы мне ни оставалось времени жизни: один день или двадцать лет. Я вырву ее, даже если мне придется отправиться туда, где живет твое племя. Я не боюсь тебя, нет во мне страха! Да, я снова перестал понимать тебя, но я видел твои страдания, о обреченный вечному мучению! Тебе мало погубленных тобою душ? Тебе нужны новые жертвы? Ты в моих руках. Я попытаюсь свершить то, что внушает мне Господь наш. Я изреку слова, повергшие тебя в ужас, затворю тебя в круге молитвы, как зловещую сову, ежели не отступишься от пагубных умыш-

лений противу вверенных мне душ.

К его великому изумлению, в тот самый миг, когда речи его должны были, казалось, возыметь наибольшую силу, валявшийся на краю дороги дряблый куль заворочался, движимый неодолимою силою, стал пухнуть, принял вновь человечье обличие, и уже знакомый Дониссану веселый спутник взговорил:

— Мне не так страшен ты со своими молитвами, как тот… (Начав со смешком, он произнес последние слова с ужасом в голосе.) Он близко, я чую его. О, как беспощаден тот господин!

Он затрясся всем телом, потом голова его склонилась к плечу, а лицо прояснилось, как если бы ему послышались удаляющиеся шаги недруга своего. Он заговорил снова:

— Ты спешил расправиться со мной, но власть твоя кончилась. Ты хотел помешать моим козням? Безумец! Нет, я не напился еще христианской крови! Сегодня тебе оказали милость, но ты дорого заплатил за нее и заплатишь еще дороже!

— Какую милость? — воскликнул Дониссан.

Он тотчас пожалел о сказанном, но собеседник уже ухватился за сорвавшиеся с его уст слова. Его гадкие губы покривились от злорадства.

— Ты видел самого себя (в первый и последний

раз), а теперь увидишь… увидишь… хе-хе-хе!..

— Что ты мелешь, лгунишка? — вскричал викарий.

Как если бы невольное восклицание снедаемого любопытством Дониссана совершенно ободрило и успокоило странное создание, несмотря на учиненную ему обиду, оно медленно поднялось с земли, уселось с показным спокойствием и неторопливо застегнуло пуговицы кожаной куртки. Пикардский барышник сидел на прежнем месте, словно и не сходил с него. Поднятая рука святого бессильно опустилась. Странное дело! Ему, не устрашившемуся сонмища видений, то причудливых, то пугающих, стоило немалых усилий глядеть на безобидное существо, добродушного малого, удивительно похожего на многих других. Трудно было бы изъяснить словами чудовищное несоответствие между этим знакомым ртом с озорною складкою в углах губ и страшными речами, слетавшими с них.

— Погоди, не увиливай! Уж больно ты падок на наши тайны! Сейчас сам увидишь, лгал я или нет. Кстати, если бы ты потрудился посмотреть хорошенько на то, что я показывал тебе, ты не стал бы хулить меня (он употребил другой глагол). Ты видел самого себя, теперь увидишь еще кое-кого…

Какая жалость, что такой дар ниспослан такому пентюху, как ты!

— Б-р-р, — сказал он и подул в сложенные ладони, как делают сильно продрогшие люди. Глаза под полуопущенными веками смеялись на красноватом лице. Необыкновенно живые, они могли выражать и насмешку и презрение, но теперь в них светилась откровенная радость.

— Хо-хо-хо! Как мы смущены! Какое красноречивое молчание! — заикаясь, проговорил он. — А сколько прыти в нас было! Ну прямо гроза для бесов! Ах ты, заклинатель, колдунчик, святенький мой!

При каждом взрыве хохота Дониссан вздрагивал и снова впадал в отупелую неподвижность, ибо оцепеневший мозг его не мог уже породить ни единой мысли.

А тот крепко потирал руки.

— Какую милость, какую милость! — язвительно повторял он, передразнивая свою жертву. — В битве с нами очень просто сделать неверный шаг. Из-за своего любопытства ты на время оказался в моей власти.

Он подошел ближе и доверительно продолжал:

— Да что вы знаете о нас, самодовольные ту-

пицы? Мы так терпеливы в своем неистовстве, так мудры в твердости! Да, мы исполняем Его волю, ибо нельзя не подчиниться Ему. Да, конечно, — какой смысл отрицать? — наше ночное приключение кончилось, судя по всему, моим посрамлением… (О, когда давеча я усилил волю против тебя, мысль Его сосредоточилась на тебе, и даже твой ангел-хранитель вострепетал в блеске огненных сполохов!) Но твои незрячие очи ничего не разглядели!

Он фыркнул от смеха, более похожего на конское ржание:

— Го-го-го! Среди всех, отмеченных одною печатью, ты самый неповоротливый, самый тугодумный, самый тяжеловесный!.. Ты вздираешь борозду, словно вол, и кидаешься на врага, как козел… сверху — ничего не скажешь, удобное положение!

Лихорадочно дрожащий Дониссан по-прежнему смотрел на него в безмолвном ужасе. В то же время нечто подобное молитве, хотя и неопределенное, смутное, расплывчатое, вертелось у него на уме, и он никак не мог вспомнить. И казалось ему, что болезненно сжавшемуся сердцу становится немного теплее в груди.

— Уж мы возьмемся за тебя с умом, — продол-

жал между тем другой. Можешь вредить нам — мы в долгу не останемся. Не было еще на свете деревенщины, из которой мы не извлекли бы выгоды. Уж мы с тебя сгоним жирок, пообтешем!

Он приблизил свою круглую голову, пышущую жаром полнокровия:

— Я прижимал тебя к груди, баюкал на руках — сколь же раз ты будешь неговать меня, воображая, что прижимаешь к сердцу другого! Сей печатью еси отмечен, такова на тебе есть печать ненависти моея!

Он положил ладони на плечи Дониссана, нудя его стать на колена, но викарий бросился на него — и нашел лишь пустоту и мрак…

Тьма вновь сгустилась окрест и в нем самом. Он не чувствовал в себе силы пошевелить хотя бы пальцем. Вся жизнь сосредоточилась в слухе едином, ибо внимал словесам, произносимым вокруг него, но звучавшим призрачно, словно рождавшимся из воздуха, в бесплотном мире сонных видений. Он усилился гораздо над собой и определил связь между ними и некими живыми существами, двигавшимися подле него. Одно из сих существ, мнимых иль истинных, отдалялось, и он слышал, как стихал его голос и хруст песка под ногами. Потом он почувствовал, что дюжая

рука, больно сдавив плечо, обхватила его и поднимает от земли. Затем что-то сильно прижалось к его губам и зубам. Огненная струя обожгла ему горло и грудь. Стена мрака, куда упирался его взгляд, расступилась, слабый свет проник в глаза, источник света медленно обозначился, и Дониссан узнал большой фонарь того рода, какие носят с собой ловцы в ненастные ночи, стоявший на земле в некотором отдалении. Незнакомый человек приподнимал его, обняв за плечи, и поил из горлышка солдатской фляги.

— Раненько же вы сегодня встали, господин аббат!.. — промолвил незнакомец.

— Чего вы хотите? — с трудом выговорил Дониссан.

Он старался произносить слова как можно медленнее и тверже, но видение еще стояло перед взором его. Человек отпрянул то ли от неожиданности, то ли от испуга, чем привел в недоумение измученного викария.

— Я Жан-Мари Буленвиль, брат Жермены Дюфло из Кампани. Занимаюсь извозом в Сен-Пре. Я вас знаю. Вам лучше теперь?

От неловкости и великой жалости он старался не смотреть на священника.

— Я нашел вас на дороге, вы лежали без чувств.

Один славный малый из Мареля, конеторговец, наткнулся на вас еще раньше меня, возвращаясь с ярмарки в Этапль. Вдвоем мы и перенесли вас сюда.

— Вы видели его? — возопил Дониссан. — Так он здесь?

Он вскочил на ноги так стремительно, что толкнул возчика, и тот пошатнулся. Но простой человек на свой лад истолковал столь удивительную порывистость и спросил:

— Может быть, вам нужно что-нибудь сказать ему? Хотите, я его кликну? Должно, он не успел еще далеко уйти.

— Нет, друг мой, — остановил его викарий, — не ворочайте его. К тому же я чувствую себя лучше… Давайте-ка я сам пройдусь немного.

Пошатываясь, он тронулся с места, и чем далее, тем тверже становились его шаги. Вернулся он уже успокоенный.

— Так вы знаете его? — спросил он возчика.

— Это кого же? — удивился тот, но тотчас весело воскликнул: — А, парня из Мореля? Еще бы я его не знал: в прошлом месяце на ярмарке в Фрюж он продал мне двух жеребят. Так-то!.. А не пройтись ли нам вместе, господин аббат, ежели вы не прочь? От ходьбы вам сразу полегчает. Я

как раз иду в каменоломню Вай — работаю я там — по пути увидите. Если вам станет хуже, то у Скворца, что держит корчму «Сорока-воровка», можно достать повозку.

— Идем же, — ответствовал будущий святой. — Силы вернулись ко мне, я чувствую себя прекрасно, дружище!

Некоторое время они шли в молчании. И тут Дониссан постиг истинный смысл недавно сказанных ему слов: «Сейчас увидишь, лгал я или нет».

Сначала медленно, потом все прибавляя ходу, они шли по довольно бойкой дороге, которая в осеннюю пору бывала настолько изрыта колдобинами, что по ней отваживались ездить лишь в крепкие заморозки. Вскоре им стало невозможно идти рядом. Извозчик шагал впереди, а викарий следом, глядя себе под ноги, чтобы выбрать место получше, стараясь тверже ставить ноги, обутые в тяжелые башмаки, и помышляя лишь о том, чтобы не отстать от провожатого. Хотя его знобило еще от усталости и лихорадки, он в своей пагубной простоте почти забыл о мрачных дивах странной ночи, но не по легкомыслию или от умственного отупения, вызванного крайним упадком сил, — он умышленно не думал о них,

что не требовало, впрочем, от него особых усилий. Он простодушно откладывал раздумья до более благоприятного случая, например, до ближайшей исповеди. Сколь многие на его месте пребывали бы в величайшем смятении, не зная, было ли случившееся плодом их помутившегося рассудка, либо они подверглись тягчайшим испытаниям, став жертвой могучих сверхъестественных сил! Он же, едва оправившись от испуга, покорно ждал новых происков нечисти и сошествия на него столь необходимой ему благодати. Не все ли едино, одержим он бесами или безумием, стал ли он игралищем собственного воображения или нечистой силы, коль скоро благодать сия есть нечто само собою разумеющееся и непременно сойдет на него! Он ждал прихода Утешителя с простодушною уверенностью дитяти, которое, едва настанет час трапезы, возводит взор на отца своего, ибо несмышленое чадо Николи не усомнится в том, что даже в крайней нужде будет напитано хлебом насущным.

Они покрыли уже более трех четвертей расстояния, отделявшего их от каменоломни в Айи. Дорога была неведома Дониссану, отчего он всячески остерегался уклоняться вправо или влево. Порою он скользил, и жидкая грязь брызгала ему

в лицо, залепляла очи. Непрерывное умственное напряжение в сочетании с каким-то внутренним сопротивлением, бессознательным стремлением оберечь и без того переутомленный мозг мешали ему сосредоточиться на новом невыразимом ощущении, в котором ему трудно было бы разобраться, даже если бы он желал того. Но мало-помалу это ощущение стало настолько сильно, вернее столь неотвязно, столь настоятельно (оно наполняло его удивительной сладостью), что он пришел наконец в смущение. В нем самом или вне его находился источник? В груди разливалось какое-то неземное тепло, несказанное блаженство. Но было еще что-то, острое чувство чего-то находящегося совсем рядом, настолько властное, что он подумал, что занимается рассвет или на небо вышел месяц. Но отчего же не смел он поднять очей?

Он шел, все так же глядя себе под ноги, почти смежив веки и не видя вокруг ни малейшего признака света, ни малейшего проблеска, кроме едва приметного мерцания грязных луж. Тем не менее он готов был поклясться, что его окружало кроткое ласкающее сияние, словно облако золотой пыли. Сам себе в том не признаваясь, да, может быть, и не веря в то, он боялся, что, стоит ему под-

нять глаза, наваждение рассеется и вместе с ним радость. Радость сия не пугала его. Он чувствовал, что нельзя бежать ее, не изведавши сначала, как поступал уже не раз. Он не ощущал насилия — его приглашали, его звали. В сущности, он не противился и не пенял себе за то, уверенный, что рано или поздно покорится могучей благотворной силе «Сделаю еще десять шагов, не глядя вперед, — твердил он себе, — потом еще десять… Еще десять…» Возчик камней весело стучал каблуками по иссохшей затверделой дороге, и Дониссан с чувством умиленной растроганности слушал звук его шагов. Мало-помалу в нем зрело убеждение, что человек сей есть друг его, что их соединяют и, очевидно, искони соединяли тесные узы неземного братства, узы божественного прозрения. Слезы навернулись ему на глаза. Так ясным утром встретились в райском вертограде два избранника, рожденные друг для друга.

Тем временем они достигли перекрестка двух дорог. Одна из них отлого сбегала к селению, другая же, разбитая тяжело груженными дрогами, спускалась к каменоломне. Издали доносились пение кур и человечья молвь — по всей видимости, говор камнетесов, торопившихся добраться к месту работы еще до света. И тут Дониссан

решился.

Ужли спутник его стоял перед ним? Он не сразу поверил глазам своим. Возможно ль, чтобы человек, представший взору его, с ослепительной ясностью напечатлевшийся в очах его, был смертным из плоти и крови? Вряд ли мог разглядеть он в ночном мраке недвижный стан, но чудилось Дониссану, что светит ему тот кроткий, ровный, живой свет, озаривший мысли его, свет истинно нездешний. Впервые будущий святой стал очевидцем свершавшегося в безмолвии чуда, ставшего впоследствии столь привычным ему. Вероятно, ему стоило некоторого усилия уверовать в то, что чувства не обманывают его. Так, прозрев внезапно, слепорожденный простирает к неведомому свету дрожащие персты и дивится, что не может осязать ни плотности его, ни очертаний. Да и мог ли молодой священник принять без внутренней борьбы новый способ познания, недоступный другим? Он видел спутника своего, не мог усумниться в том, что видит, хотя не различал черт его и тщетно пытался разглядеть лицо и руки… Однако, не ведая страха, с верою нерушимою, пристально и спокойно созерцал он дивное сияние не ради того, чтобы проникнуть в него взором, но в убеждении, что сам им проник-

нут. Ему казалось, что прошло много времени, но в действительности все длилось какой-то миг. И вдруг он понял.

«Как видел самого себя», — сказал страшный свидетель. Так оно и было. Он видел, видел своими смертными очами то, что пребывает сокрыто от самой мудрой прозорливости, самой изощренной догадливости, самой просвещенной образованности: человеческую сущность. Конечно, отчасти мы сознаем свою природу и, несомненно, несколько лучше разбираемся в собственной душе, чем в душе ближнего, но всякому должно погрузиться в себя, и чем более мы погружаемся, тем более сгущается мрак, пока наконец достигнем самых глубин своего «я», где мятутся тени предков и ревет, как подземная река, звериное естество. И вот… вот бедный священник очутился неожиданно в самой сокровенной глубине другого человека, проникнув в нее так далеко, как проникает взор высшего Судии!

Дониссан сознавал, что свершалось чудо, и был восхищен тем, что свершалось оно так просто и тихо. Теперь, когда произошло проникновение в чужую душу, что любому трудно представить без громов и молний, оно не страшило его более. Вероятно, он лишь подивился тому, что таинство

столь поздно открылось ему. Хотя он и не умел выразить этого чувства словами (впрочем, ему ни разу не удалось этого сделать), у него было ощущение, что знание сие соответствует его природе, что ум и способности, которыми гордятся люди, не имели бы здесь особого значения, что было оно попросту могучим приливом, бурной, всепоглощающей волной милосердия. Искренне полагая себя недостойным столь редкой, исключительной милости, он готов был в смирении своем винить себя за то, что мало любил ближних, коль скоро не знал душу их. А все, в сущности, так просто, и цель так близка, как только избран путь! Научившись пользоваться возвращенным ему чувством, прозревший слепец не удивляется более тому, что достигает взором далекой небоземи, куда прежде добирался он с великим трудом, оступаясь и продираясь сквозь терновник.

Камневоз с прежним спокойствием шествовал впереди. Дониссан ощутил вдруг сильное желание окликнуть его, догнать, но подавил искушение. Он проникся уважением и любовью к внезапно открывшейся ему душе. То была простая, бесхитростная, заурядная душа человека, обремененная жалкими будничными заботами, не озаренная, словно божественным сиянием,

светом кротости неземной. Каким уроком для несчастного, измученного, истерзанного страхом священника стало познание сего праведника, безвестного всем и ему самому, покорившегося своему жребию, долгу своему, хранящего верность всему, что любил в своей будничной жизни перед Богом, глядящим с небесного престола! И тут викария осенила мысль, от которой к уважению и любви примешалось какое-то опасение: «Не от сего ли человека, и его одного, бежал ты?»

Ему хотелось остановиться, не разрушив хрупкого пленительного видения, но тщетно искал он слов. Впрочем, ему казалось, что любое слово было бы недостойно: перед величием сей чистой души немели уста. Не диво ль, что сей ревнитель Бога, сей нищий среди нищих, замешавшийся в людской толпе, живущий бок о бок с самыми невежественными простолюдинами, видящий столько пороков, но не осуждающий их в простоте своей, сохранил бесхитростную прямоту и младенческую чистоту души, что приводил он на ум образ другого труженика, столь же загадочного и столь же безвестного, образ деревенского плотника стража владычицы ангелов, праведника, представшего Искупителю, — чья рука крепко держала рубанок, ибо первейшей заботой его

было добросовестно исполнить заказ и честно заработать свой хлеб.

Увы! Урок сей отчасти окажется напрасен, ибо, призванный вселять мир в души, сей пастырь не вкусит его сам. О единых грешниках назначено ему пещись, и путь свой люмбрский святой продолжит в тяготах и слезах.

Лишь когда они достигли распутья, Дониссан нашел наконец нужные слова. Он вкушал эту сладость, впивал ее с жадностью неутолимой, ибо предчувствовал, что она станет одной из редких отрад его бедной радостями жизни. Тем не менее он готов уже был отказаться от нее так же просто, как получил, лишиться ее без единого слова.

Камнетес остановился и сказал, поглаживая свой картуз:

— Вот мы и пришли, господин аббат. Вам идти прямо еще полторы версты. Ну как, доберетесь сами? Не то я провожу вас к Скворцу.

— Нет нужды, друг мой, — отвечал викарий. — Напротив, мне стало лучше от ходьбы. Так что мы с вами простимся здесь.

Некоторое время он раздумывал, не разыскать ли ему позднее этого камнетеса, но решил, что лучше будет положиться на ту же волю, что свела их и, может быть, даст свидеться вновь. Ему

хотелось благословить своего провожатого, но он не осмелился.

В последний раз обратил он к нему взор свой, вложив в него всю силу любви, какой дарил столь многих. Но смиренный путеводитель его не видел взгляда. Расставаясь, Дониссан ощупью нашел в темноте его руку и пожал.

Вновь перед ним лежала знакомая дорога. Он шагал по ней быстро, очень быстро. Первым побуждением его было безмолвно возблагодарить Господа за то, что ему дано было увидеть. Он шел, словно окутанный еще тем дивным сиянием. Ощущение близости исчезло, но то, что он испытывал, было не просто воспоминание. Так замирают, отдаляясь постепенно, звуки песни.

Увы! То действительно были постепенно стихавшие отголоски таинственного гимна, которого уже никогда, никогда он не услышит! Недолговечно оказалось счастье его. С каждым шагом все более отдалялось это блаженное чувство, а когда, по детской простоте своей, он остановился, желая удержать его, стало ускользать еще быстрее. Он ссутулился и зашагал прочь.

Смутно видевшаяся в предрассветных сумерках местность мало-помалу обретала все более знакомые очертания. С грустью глядел он. Чем больше

знакомых предметов видел он вокруг, тем скорее возвращался в русло привычных мыслей и забот, тем более смутным и сомнительным казалось ему великое ночное приключение. Утрачивая постепенно подробности, происшествие окутывалось мглою, таяло в дымке сонных грез гораздо скорее, чем он мог предполагать. В таких размышлениях Дониссан пересек деревню Помпон, миновал хуторок Брем, взобрался на последний косогор. Под собой, в лощине у подножия холма, он увидел неожиданно близкие путевые огни, горевшие близ кампаньского вокзальца.

Он стоял наверху с непокрытой головой, тяжело дыша, дрожа под своей заскорузлой от грязи сутаной и не понимая, отчего его знобит: от холода или от стыда. В ушах у него шумело.

И тут повседневная жизнь так внезапно и с такой силой прихлынула к нему, что на какое-то время столь недавнее еще событие совершенно изгладилось в его памяти, не оставив там никакого следа. Столь неожиданное забвение сильно огорчило его главным образом потому, что он чувствовал себя так, словно его обокрали.

«Неужели мне все приснилось?» — думал он, вернее, пытался беззвучно проговорить эти слова в уме, чтобы заглушить другой голос, который

внутри него произнес гораздо громче и необыкновенно раздельно: «Неужели я сошел с ума?»

О, человек, чувствующий, что его воля, внимание, а затем и сознание утекают, словно вода через решето, в то время, как окутанная мраком внутренность его является вдруг на свет, словно изнанка вывернутой рукавицы, терпит муку жестокую в краткий миг, которого не измерить ходом часов. Но коли сей страдалец — о, злосчастный пастырь! — усумнился, то не в себе только, но и в едином уповании своем. Теряя себя, он утрачивает большую драгоценность, достояние божественное, самого Господа и при последнем проблеске рассудка зрит черную пропасть, куда канет его великая любовь.

Он всегда будет помнить место, где разыгралось новое сражение. На вершине последнего холма дорога круто изгибается, взору предстает узкая полоса земли, где растет древний вяз. Селение остается справа, в лощине, образованной последней складкой возвышенности, у самого подножия ее. В небе, над красными и зелеными огнями станционных семафоров, стоит смутное зарево пламени, полыхающего в пекарне Жозюэ Гириона. Рассветные сумерки все еще медлят в вышине.

По левую руку от Дониссана неясно обозначается низбегающий по крутому склону проселок, ведущий к службам замка Кадиньяна. Едва начавшись, проселок, поросший по сторонам чахлыми кустиками, уходит в землю и более напоминает овраг или глубокую промоину. Там чернеется мрак еще более густой, нежели объемлющий окрестность. Викарий невольно заглянул в рытвину. Налетавший порывами ветер то шелковисто шуршал вкруг древесных стволов, то поникал. Время от времени выбитый ногою из размокшей земли камень катился с шорохом вниз. И тут ухо Дониссана уловило в ропоте ветра легкий шум, который невозможно спутать ни с каким другим: шелест одежд человека, встающего на ноги и идущего к вам…

— Эй, вы там! — слышится женский голос, очень молодой, но глуховатый и немного дрожащий. — Хватит уж, я давно слышу вас… Значит, вы все-таки вернулись? Значит, вы все-таки вернулись?

— А вы сама кто будете? — мягко спрашивает викарий.

Он стоял на краю откоса, его высокий стан едва проступал на слабо светлеющем небе, где текли клубящиеся облака. Печальным и словно обра-

щенным внутрь взором он наблюдал, как на дне яра, меж глинистых обрывов копошится маленькая тень. Он ничего не знал о том, кем была эта загадочная, шевелившаяся в нескольких шагах от него и неуклонно близившаяся тень, но уже ощутил в себе тихую, чуждую всяких сомнений, росшую в полном безмолвии уверенность, что это, взбиравшееся по склону к нему и с негромким плеском ступавшее по грязной жиже, было последним и самым важным действующим лицом сей незабвенной ночи…

— А, это вы! А я-то думала… — сказала мадемуазель Малорти, как-то болезненно покривившись.

Чтобы лучше разглядеть его, она привстала на цыпочки, так что ее лицо пришлось вровень с его плечами. Оно выражало жестокое разочарование. Гнев, вызов, бесстыдное горе чередой пробежали по нему с молниеносной быстротой и так четко, так пронзительно резко отпечатлелись на чертах ее, что детское личико сразу постарело. Тут ее глаза встретились со странным, приковавшимся к ней взглядом. Она с трудом выдержала его. Взор ее еще пылал, а опустившиеся уголки круто изогнутых губ отразили тревогу, смешанную с гневом.

Ибо взгляд сей не отрывался от ее лица. Сохра-

нив, несмотря на безумие, осторожность, она напряженно, с присущей ей недоверчивостью всматривалась в эти глаза, пытаясь разгадать их выражение. До сей поры молодой священник, который, по выражению доктора Гале, «кружил слабые головы в Кампани», был ей в высшей степени безразличен, и она была поражена, повстречав его здесь в такую пору. Но, по причинам другого свойства, она была разочарована не менее того. Она-то была уверена, что если бы и не напугала его своим появлением, то по меньшей мере рассердила, но во взгляде его прочла одну невыразимую жалость.

Не ту жалость, что есть лишь скрытое презрение, но жалость мучительную, жгучую, хотя и соединенную со спокойствием и вниманием. Она не увидела никаких признаков ужаса или изумления, ни малейшего замешательства на немного склоненном на сторону лице — к одному этому лицу был прикован взгляд Мушетты. Глаза его были прикрыты веками, ей хотелось заглянуть в них, и тогда она почувствовала, что все теснее прижимается к его груди, как если бы божий человек, равнодушный к праздному блеску зениц, прозревал людей через биение сердца.

Она ошибалась лишь наполовину. Он вновь

услышал тихий и властный зов. И тогда, словно сокровенный свет, в нем воссиявший, словно заструившаяся в нем светозарная вода несякнущего родника, неведомое ощущение, необычайно тонкое и чистое, чистоты бесподобной проникло понемногу в тайная тайных его существа, достигнув самого начала жизни и обратив начало сие как бы плотью его тела. Подобно умирающему от жажды, который всем существом наслаждается острой свежестью влаги, викарий не мог бы сказать, что пронзило его: блаженство или боль.

Знал ли он в тот миг цену дара, ему преподнесенного? Знал ли, каков был дар сей? Человек, который в продолжение всей своей жизни, в беспрерывной изнурительной борьбе с собой, когда подчас казалось, что воля его слабеет, сохранил редкую прозорливость, вероятно, сам никогда ясно не сознавал в себе такое качество. То, что происходило с ним теперь, не имело ничего общего с медленным накоплением опыта, когда люди идут от наблюдения к наблюдению и, осаждаемые сомнениями, почти неизбежно останавливаются на полпути, а иной раз попадаются на приманку собственной мудрости. До-ниссан прозрел нечто внутренним оком еще прежде, чем в уме возникло какое-либо предположение,

и видение это властно им овладело. Дух викария был постигнут внезапным откровением, но разум его, уже плененный им, лишь начинал медленно, окольным путем, постигать причину сей уверенности. Так человек, пробудившийся в незнакомой местности, сразу охватывает ее взглядом при свете полуденного солнца, в то время как сознание еще только освобождается постепенно из плена сна.

— Что вам нужно? — резко спросила мадемуазель Малорти. — По-вашему, сейчас подходящее время, чтобы останавливать людей?

Она недобро посмеивалась, но смех был неискренний, и он это понимал. А может быть, он и не слышал его, ибо громче самого зычного голоса вопила в его ушах лютая боль, терзавшая молодую женщину.

— Я шла по Сеннекурской дороге, — словоохотливо продолжала она, — а потом сделала крюк в сторону Кюрзарг. Вы удивлены, я вижу, только тут нет ничего странного: мне не спится по ночам… Другой причины нет… Ну, а уж вам, — распалилась она вдруг гневом, — святому человеку, служителю бога, не пристало подстерегать девушек, спрятавшись под кустом… Впрочем, может быть…

Она высматривала на спокойном лице малейший признак досады или смущения, который дал бы ей новый повод для смеха, но смех застрял у нее в горле, потому что она не увидела ничего, решительно ничего, что свидетельствовало бы о том, что ее хотя бы слышали. И когда она заговорила вновь, взгляд ее выражал совсем не то, что голос, звучавший все так же насмешливо:

— Видать, шутки вам не по душе. А что особенного? Я люблю посмеяться… Это что, запрещено? Уж я посмеялась за свою жизнь.

Она вздохнула и сказала уже другим голосом:

— Ну ладно. Кажется, нам больше не о чем толковать…

Мадемуазель Малорти пошла было вперед, но на дороге была выбоина, нога ее скользнула, она ухватилась цепкими пальчиками за рукав черной сутаны.

Что побудило ее остановиться вновь? Какое сомнение удерживало? И главное, отчего сказала совсем не то, что хотела, тотчас осудив себя в душе?

— Небось думаете, идет от любовника, спешит возвратиться до света?.. В некотором смысле вы правы.

Она украдкой оглянулась. По правую руку могу-

чие норвежские пихты с черной хвоей гудящими черными громадами возвышались на побледневшем небе. В который раз уже слышала она их угрюмое ворчание!

Дониссан мягко положил ей руку на плечо и бесхитростно сказал:

— Хотите, пройдемся немного?

Он сошел по склону и решительно направился в сторону деревеньки Тьер, удаляясь от замка Кадиньяна и от городка. Понемногу дорога сузилась настолько, что по ней невозможно стало идти рядом. Никогда еще сердце не стучало так громко в груди Мушетты, как в то мгновение, когда она, слишком ослабевшая, чтобы сохранить мужество, а тем более хитрость, услышала позади себя топот грубых кованых башмаков. Так шли они некоторое время в молчании. При каждом шаге викарий отмеривал добрую сажень и буквально наступал ей на пятки, понуждая прибавлять ходу. По прошествии некоторого времени такое поторапливание показалось ей столь невыносимо, что пропал сковывавший ее страх. Легко вскочивши на придорожную насыпь, она движением руки пригласила его пройти вперед.

— Да вы не бойтесь, — стал успокаивать ее Дониссан, — я не собираюсь навязываться вам! Я

не любопытен, просто мне приятно было встретить вас этой ночью, когда столько дней минуло бесполезно. Ну, ничего, еще не поздно!

— Скорее рановато! — пошутила мадемуазель Малорти, делая вид, будто подавляет визгливый смешок.

— Я не искал вас, — возразил викарий, — не сердитесь на меня. Прежде чем встретить вас, я долго кружил, очень долго, очень странно. Надеюсь, вы не станете возражать против того, чтобы мы немного поговорили, ибо наша беседа, несомненно, принесет большое утешение и вам и мне?

Она пожала плечами и не тронулась с места. Однако она колебалась, какое-то беспокойство удерживало ее. Лишь некоторое время спустя она поняла, что в ней шевелилась тайная надежда.

Накануне Мушетта гостила у своих братьев в Реманже. Около семи часов вечера ее высадили из автомобиля у Фо, где она хотела поужинать у своей подруги Сюзанны Рабурден в корчме «Юная Франция», а оттуда собиралась пройти пешком четыре или пять километров, отделяющие Фо от Кампани. Хотя роды ее были окружены тайной, кое-кому из родственников было известно, что после болезни девушка страдала тяжелыми при-

ступами «черной хвори». Добрые люди считают «черную хворь» неизлечимой, а страдающих ею окончательно и бесповоротно помещают в разряд несчастных, у которых, пользуясь грустным и трогательным выражением, употребляемым в подобных случаях, «не все дома». По этой именно причине в последние месяцы редко случалось, чтобы кто-нибудь противился ее причудам. Итак, она покинула харчевню «Юная Франция», отвергнув общество брата своей приятельницы. Хотя и поздно пустившись в путь, она без особых усилий добралась бы до Кампани ранее десяти вечера. Однако, достигнув большой дороги, ведущей в Этапль, и повинуясь уже глубоко вкоренившейся привычке, она забрала немного в сторону, чтобы пройти мимо парка Кадиньяновой усадьбы. Неизвестно, сколько времени, без страха в душе, она простояла в грязи, прислонившись к изгороди и уткнув подбородок в стиснутые кулаки, привычно перебирая в уме воспоминания и взвешивая «за» и «против», чувствуя холодную трезвость в голове и жгучее пламя в груди. Побежденная, изгнанная из мира грез, ставшая отныне для всех несчастной девицей, одержимой призраками, обреченной на вечное сострадание, у которой отняли все, даже злодейство ее. Един-

ственным утешением ее маленькой мятежной души осталась эта дорога, куда она приходила в тот же незабвенный час и по которой шла в ту неповторимую ночь, запертые отныне ворота, таинственный изгиб садовой дорожки и высокие безмолвные стены там, в отдалении, где бодрствовал бесполезно покойник, бессловесный свидетель.

Викарий долго ждал ответа, не выказывая ни малейшего нетерпения, но и ни малейшего сомнения в том, что ему должно повиноваться. И в то время, как голос его звучал все смиреннее, почти робко, лицо становилось все более властным. Внезапно он произнес, не меняя выражения голоса, нежданные слова, словно взорвавшиеся в сердце мадемуазель Малорти:

— Я просто хотел увести вас отсюда. Вам-то должно быть известно, что мертвец, которого вы ждете здесь, не воскреснет уже!

Как громом пораженная Мушетта не издала ни звука, лишь вздрогнула всем телом, но тотчас овладела собой. И когда она проговорила первые пришедшие ей на ум слова, голос ее дрожал не от страха:

— Мертвец? Какой мертвец?

Все так же шагая вперед в то время, как она

покорно трусила следом, он отвечал с прежним спокойствием:

— Мы плохие судьи себе и нередко внушаем себе веру в некие мнимые прегрешения, лишь бы не замечать того, что совсем разъело нам душу и должно быть выброшено ради нашего же спасения.

— Какой мертвец? — снова спросила Мушетта. — О каком мертвеце вы говорите?

Бессознательно хватаясь за полу сутаны, задыхаясь и лепеча, она едва поспевала за ним, заносясь на обочину каждый раз, как он делал новый шаг. Эта нелепая гонка, унизительное выпытывание, почти мольба, больно ранили ее самолюбие. Но она чувствовала в то же время какую-то тайную радость. Она без конца твердила одно и то же и вдруг заметила, что, удалившись от дороги, они вышли в чистое поле. Она сразу узнала место.

То было неширокое, окруженное живыми изгородями и обсаженное на старый лад чахлыми липами пространство метрах в двухстах от Трилли, где сходилось несколько дорог. В первое воскресенье августа, на праздник местного святого, ярмарочные торговцы съезжаются сюда на своих убогих колымагах с товаром, а парни и мо-

лодицы иногда устраивают гулянье с плясками.

Снова, как при встрече, они стояли лицом к лицу. На востоке разгоралась печальная заря, и при таком освещении рослый викарий показался ей еще выше, когда властным движением, исполненным неизъяснимой силы и кротости, воздел над ее головой широкий черный рукав:

— Не удивляйтесь тому, что я скажу вам. Знайте, в моих словах нет ничего, что могло бы вызвать в ком-нибудь удивление или любопытство. Я всего лишь бедный человек, но когда мятежный дух обуял вас, я узрел божье имя, начертанное в вашем сердце.

Опустивши руку, он дважды перекрестил большим пальцем грудь Мушетты.

Она легонько отскочила с выражением тупого удивления на лице, не найдясь что сказать. И когда в ней смолк отзвук голоса, пронзившего ее кротостью, отеческий взор викария поверг ее в совершенное замешательство.

Сколько отеческой ласки было в нем! (Ибо и он вкусил отравы и изведал неизбывной горечи ее!)

Человеческий язык, как ни бейся, не может изъяснить в выражениях отвлеченных истинность присутствия Бога, ибо все, что ни полагаем за несомненное, есть истина опосредствованная, и

для большинства тех, кто прожил долгую жизнь и клонится к закату, опыт есть не что иное, как итог многолетних блужданий вокруг собственного ничтожества. Разум не рождает истин, кроме истин умозрительных, человеку дано познать лишь мир, разъятый на роды и виды. Единое пламя божественное способно сокрушить и расплавить ледяную скорлупу человеческих понятий. И то, что о сей поре открылось взору Дониссана, не есть внешний знак или личина, но душа живая, сердце, распахнутое перед ним, но накрепко запечатанное для всякого другого! Ныне, как и в час столь необычной их встречи, он не был бы в состоянии изъявить словами немеркнущее сияние, льющееся извне и растворяющееся с внутренним переполняющим его светом. И столь ярок и чист был первоначально запечатлевшийся образ девочки, что мир, распахнувшийся перед ним, не сразу можно было отличить от трепетавшей в нем радости: все краски и облики жизни разом вспыхнули в ликующем свете.

Когда впоследствии у него допытывались о сем даре читать в душах, первым его побуждением было неизменно отрицать, отрицать упорно. Правда, иногда, страшась лжи, он высказывался более определенно, но с такой щепетильностью,

столь простодушным стремлением к точности, что вопрошавшие лишь испытывали новое разочарование. Так толковал бы благочестивый селянин о блаженстве и слиянии с Богом святой Терезы и святого Иоанна Крестителя. Причина же в том, что жизнь представляется беспорядком и великой путаницей лишь тому, кто наблюдает ее извне. Но человек, наделенный сверхъестественным даром, хранит спокойствие, сколь бы высоко ни вознесла его любовь, жизнь духовная отнюдь не повергает его в смятение, коль скоро он обретает чудесные способности, которые он не дает себе труда истолковать иль обозначить словом.

Святого вопрошали: «Что вы видите? Когда? Какой знак? Какое знамение?» Он же в ответ твердил голосом прилежного школьника, забывшего простое слово: «Я жалею… просто жалею!..» Когда он увидел на обочине дороги мадемуазель Малорти, едва различимую во мраке тень, душу его объяла неизъяснимая жалость. Не так ли матерь пробуждается в ночи, в совершенной уверенности, что ее дитяти грозит опасность смертельная? Видимо, милосердие великих духом, невыразимое чувство сострадания дают им проникнуть мгновенно в самую сокровенную глубину чужой

души. Милосердие есть орудие познания наравне с разумом. Оно также имеет свои законы, но истина является ему, словно грянувший с небес гром, а рассудок, следующий его путями, видит лишь блеск молнии.

У любого другого на месте Мушетты, верно, подогнулись бы колена от устремленного сверху взора святого. Да и она ощутила на мгновение как бы нерешительность и нечто вроде умиления. Но тут приспел на помощь — о, на него можно всегда положиться! — властитель, день ото дня все более бдительный и неумолимый — образ, некогда едва различимый среди прочих, побуждение не более властное, чем иные желания, голос среди множества других голосов, звучащий теперь ясно и внятно; товарищ и мучитель, то жалкий, изнемогающий, льющий слезы, то требовательный, жесткий, не терпящий возражений, в решительную минуту становящийся неумолимым, беспощадным, чья сущность вся заключена в горькой, страдальческой ухмылке, бывший прежде слугой, а ныне господин.

Это вспыхнуло в ней внезапно: слепая ярость, неистовое желание бросить вызов этим очам, замкнуть перед ними душу, унизить, оскорбить, осквернить сострадание, простершееся над ней.

Она не бросилась к ногам судьи, хранящего величавое молчание, но восстала дерзновенно, вся трепеща, перед лицом его.

Она не сразу нашлась что сказать. Да и были ли слова, которые могли бы выразить сей исступленный порыв? В ее мозгу мелькали лишь с невероятной быстротой необыкновенно четкие воспоминания о жестоких разочарованиях ее короткой жизни, словно сострадание священника было их завершением и венцом… Наконец она пролепетала коснеющим языком:

— Ненавижу вас!

— Не надо стыдиться, — промолвил он.

— Держите ваши советы при себе! — выкрикнула Мушетта. (Но удар пришелся так точно, что гнев ее как бы отвлекся от своего предмета.) Я просто не понимаю, о чем вы говорите!

— Можете не сомневаться, что вас ждут новые, еще более тяжкие испытания…

Помолчав, он спросил:

— Сколько вам лет?

Взгляд Мушетты выражал удивление, к которому примешивалась досада. При последних словах Дониссана она сделала над собой большое усилие и усмехнулась:

— Вам-то должно быть известно. Ведь вы столь-

ко знаете!..

— До сего дня вы жили, как неразумное дитя… Как можно не пожалеть ребенка? Хороши же отцы в мире сем! Но Господь помогает нам даже в безумстве нашем, и когда человек восстает на него, дабы проклясть, один он поддерживает немощную его руку!

— Дитя! — воскликнула она. — Дитя! Я не из тех девочек, что поют на церковных хорах, о нет! Чтобы отпустить все их грехи, вам не понадобится много святой воды. Не пожелала бы я вам испытать то, что изведала сама.

Последние слова она произнесла с какой-то забавной напыщенностью. Викарий спокойно ответствовал:

— Что вы нашли в грехе такого, ради чего стоило бы столько переживать и мучиться? Конечно, стремление к злу и исполнение греховного помысла доставляет какую-то гнусную радость, но знайте, что некто до вас вкусил уже ее и испил чашу сию до дна.

Аббат Дониссан еще на шаг приблизился к ней. Ничто в его облике не обнаруживало особого волнения или желания произвести впечатление, но слова, слетевшие с его уст, пригвоздили Мушетту на месте и громом раздались в самом ее сердце:

— Забудьте об этом. Перед Богом вы неповинны в сем убийстве, и это так же верно, что теперь вы движимы чужою волею. Вы игрушка, детский мячик в руках Врага.

Он не дал ей времени ответить, да, впрочем, она сама не знала решительно, что возразить. Продолжая говорить, он увлек ее на Деврскую дорогу, широко шагая среди пустынной равнины. Она пошла за ним, не могла не пойти. Он говорил так, как никогда прежде не говорил и как ему уже никогда не суждено было говорить, даже в Люмбре, в пору полного расцвета его дарования, ибо она стала первой его добычей. То, что ей довелось услышать, не было приговором судьи, и не было в речах его ничего такого, что оказалось бы недоступно ее разуму дикого зверька. То была беспощадно кроткая повесть о ней самой, правдивая повесть о Мушетте, в которой рассказчик нигде не сгустил красок, ничего не преувеличил, добавив причудливых, поражающих воображение подробностей. Напротив того, созерцая жизнь ее изнутри, выкинув из нее все второстепенное, несущественное, он изложил самое главное, так что стала очевидна вся пустота ее. О, как мало места оставляет жизни снедающий нас порок! На ее глазах огонь слов испепелил ее самое, всю без

остатка, ибо ничто не могло избегнуть жгучего пламени бесхитростной правды, проникающего в самые глухие закоулки души, в каждую клетку тела. Разящий голос, потрясший Мушетту до самых недр, то усиливался, то замирал, и тепло жизни то приливало, то отливало в ней. Сперва поначалу голос сей глаголел внятно, словами обычными и являлся ей, сраженной страхом, подобно лицу друга среди пугающих снов; однако мало-помалу он все теснее сплетался с голосом, звучавшим внутри нее, с мучительным ропотом совести, возмущенной в самых глубоких истоках ее, и, наконец, оба слились в единый стенающий вопль, словно ударила вверх струя алой крови.

И когда голос умолк, она увидела, что жива еще.

Молчание было долгим. Во всяком случае, невозможно было бы определить, сколько времени оно продолжалось. Нет меры, которой можно было бы измерить его. Голос зазвучал вновь, но из какой дали донесся он!..

— Отдохните, пощадите свои силы. Вы и так довольно сказали.

— Довольно сказала? Что сказала? Я ничего не говорила!

— Мы говорили, — продолжал голос, — и гово-

рили весьма долго. Взгляните, небо уж светлеет, скоро ночь кончится.

— Неужели я говорила? — снова спросила она с мольбою в голосе.

И вдруг Мушетта вскричала (так при пробуждении в уме вспыхивает с неумолимой очевидностью воспоминание о совершенном накануне):

— Говорила! Говорила!

В серых рассветных сумерках она разглядела наконец лицо кампаньского викария. Оно выражало безграничную усталость, а глаза, где пламень угас, словно пресытились созерцанием тайного.

Мушетта чувствовала себя такой слабой, такой беспомощной, что, казалось ей, не была бы в состоянии сделать ни одного шага вслед ему или прочь от него. Некоторое время она пребывала в нерешимости, потом проговорила:

— Возможно ли?.. По какому праву?..

— Я не имею на вас никаких прав, — мягко ответствовал викарий. — Если Господу…

— Господу! — начала было она, но не могла кончить. Мятежный дух словно оцепенел в ней.

— Как вы бьетесь в его руке, — печально молвил Дониссан. — Удастся ли вам вырваться? Не знаю…

Он умолк, затем с невыразимым смирением сказал:

— Пощадите меня, дочь моя!

Викарий был ужасающе бледен. Протянутая к ней рука неловко упала, он отвел глаза.

А Мушетта уже зло стиснула кулачки.

Он увидел ее такой, какой неясно различал в потемках, час тому назад, увидел искаженное судорогой, неузнаваемое лицо преждевременно состарившейся девочки. От сознания тщетности усилий, бесплодного расточения сокровищ милосердия, от предчувствия неотвратимого у него заныло сердце.

— Господь! — снова вскричала она, злобно смеясь.

Над землей вставал бледный рассвет, но они видели лишь отражение его на своих лицах, ставших какими-то торжественно-значительными. По правую руку от них едва проглядывала сквозь утреннюю мглу убогая деревенька, приютившаяся меж холмов. Единственным вестником жизни среди раскинувшейся насколько хватал глаз равнины была тонкая струйка дыма, курившегося над незримою кровлею.

Мушетта перестала смеяться, зыбкий огонек в ее глазах погас. Неожиданно она взмолилась

снова, жалкая, измученная, упрямая:

— Я не хотела оскорбить вас… Ведь вы солгали мне? Я ничего не говорила, да и что я могла бы сказать? Мне кажется, я спала… Я спала?

Казалось, он не слышал ее. Она продолжала:

— Не отталкивайте меня… Вы должны ответить… Я исполню все, что вы ни прикажете мне!

Никогда еще голос странной девицы не звучал столь приниженно и просительно.

Однако и теперь он ничего не сказал.

Она отступила на несколько шагов, нахмурилась, долго глядела на него исподлобья пылающим взором и вдруг выкрикнула:

— Я во всем созналась! Вы знаете все!

Но сразу спохватилась:

— Впрочем, не все ли равно — когда? Я ничего не боюсь… Какая разница!.. Скажите только… прошу вас, скажите, что такое вы сделали? Правда, я говорила во сне?

Мушетта была измучена до крайности, но неодолимое любопытство толкало ее к новой затее. Щеки ее зарделись, в очах снова зажегся мрачный огонь. Викарий смотрел на нее с состраданием, может быть даже с презрением.

Ибо, к великому его изумлению, видение померкло, растаяло. Слишком свежо и ясно было

оно еще в памяти, чтобы можно было усомниться. В ушах еще звучали сказанные ими друг другу слова. Но вот мрак сгустился вновь. Почему не послушался он тогда внутреннего голоса, велевшего ему без промедления замкнуться в себе? Ибо перед собою он зрел лишь жалкое создание, наспех чинившее порвавшееся вдруг сплетение лжи… Но разве сам он, в почти божественном порыве, не освободился на краткое мгновение — целую вечность! от пут своей природы? Ужель отчаялся он, утратив сие могущество? Иль овладело им безумное желание вернуть его? Иль обуял гнев, когда жалкая девчонка, совсем еще недавно бывшая совершенно во власти его, восстала вновь? Он пожал плечами, и было в этом движении что-то в высшей степени оскорбительное.

— Я видел тебя! (Она затрепетала от бешенства, услышав это «ты».) Видел с такой ясностью, с какой никогда, быть может, на грешной земле не являлись человеческому взору создания, подобные тебе! Я видел тебя так, что, при всей твоей хитрости, ты не ускользнешь теперь от меня. Уж не вообразила ли ты, что грех твой пугает меня? Не думай, что оскорбляешь Бога более, чем оскорбляют его обыкновенные скоты. В своем уме ты лелеяла лишь мнимые злодейства, подобно

тому как утроба твоя могла носить лишь плод свой. Ищи, разрой скверны твои! Порок, коим кичишься, давно смердит там, и сердце твое преисполнилось омерзения во все дни твои. Твоя природа наделила тебя одними праздными мечтаниями, и они развеялись прахом. Ты веришь, что убила человека… Бедная девочка! Ты просто избавила его от тебя самой. Ты собственными руками уничтожила единственную возможность твоего омерзительного освобождения. А несколько недель спустя ты пресмыкалась у ног человека, который не стоил того. Он ткнул тебя лицом в грязь. Ты его презираешь, он же ненавидит тебя. Но ты в его руках.

— Я… в его… руках… — с трудом вымолвила Мушетта.

Ужас и бешенство ее были таковы, что на поразительно подвижном, а теперь словно застывшем лице ее отобразилось какое-то зловещее спокойствие.

— Нет, я могу освободиться, я знаю, — проговорила она наконец. — Стоит мне только захотеть. Меня сочли безумной, но я ничего не сделала, чтобы разубедить их. Я ждала, когда буду готова, вот и все.

Он так нажал рукой на ее плечо, что она по-

качнулась.

— Ты никогда не будешь готова. Лишь непотребство свое таишь ты от Бога, грязь, которой сочится твоя душа. Дьявол! Ты думаешь, что свободна? Лишь в Боге ты обрела бы свободу. Твоя жизнь…

Он глубоко вздохнул, словно борец, готовящийся к схватке, в глазах его снова сверкнул свет сверхчеловеческого прозрения, но теперь в них не было жалости. Итак, он снова обрел свой грозный дар, отвоевав его в сражении, ценой безумного порыва. Он был готов свершить насилие, восстать против самого неба. Милость божия стала зрима его смертным очам, ибо видел отныне перед собой единого врага, затаившегося в своей жертве. И на бледное, словно съежившееся от страха лицо Мушетты легла печать сего прозрения, чей ужасающий свет вспыхивал поочередно в их слившихся взорах.

— Твоя жизнь есть точное повторение других жизней. Жизнь, прожитая на брюхе, когда люди видят не дальше края корыта, из которого жрет зерно их скот. Да! В каждом твоем деянии угадывается один из тех скупых, похотливых и лживых трусов, кто породил тебя на свет. Я вижу их, Господь сподобил меня видеть. Говорю тебе,

я видел тебя в них и их в тебе. О, сколь тесно и опасно пространство жизни нашей в юдоли сей! Сколь узок путь наш!

И далее он держал речи еще более необычные, понизив голос и с кротостью великою.

Как передать их здесь? То была все та же повесть о Мушетте, чудесным образом переплетшаяся со сказом о других, давно забытых, а может быть, оставшихся совсем безвестными людях. Еще прежде, чем Мушетта поняла, сердце ее сжалось, словно она проваливалась куда-то, и еще она чувствовала робость, какую испытывает даже самый отчаянный человек, стоя на пороге огромной таинственной обители. Потом ее слуха коснулись уже слышанные, знакомые либо что-то неясно, но настойчиво напоминавшие ей имена; множась и множась, они озаряли друг друга, так что, наконец, стала обозначаться самая суть повести: будничные, ничем не примечательные события повседневной жизни, обросшие извечной злобой людской — словно каменья, облепленные присохшей грязью, скучные тайны, скучная ложь, скучные изветы порочных уст, скучные приключения, вспыхивающие вдруг в памяти от произнесенного имени, словно в свете маяка, чтобы тотчас кануть во тьму, где разум

бессилен что-либо различить, но в которой некий благоговейный ужас помогал угадывать сонмы бессмысленно копошащихся человеческих существ. Теперь, когда Мушетту влекла, вопреки ее воле и разуму, сила необоримая, сей ужас жил и думал за нее, ибо у пределов незримого мира страх служит человеку шестым чувством, а боль сливается с восприятием. Мушетта узнавала на лету некоторые имена, произносимые голосом, обретшим властную силу: Малорти, Брисо, Поли, Пишон, деды и пращуры, безупречные торговцы, почтенные домоправительницы, любившие имение их. Никто из них не умер, не оставив завещания, все они были гордостью торговых палат и нотариальных контор (твоя тетка Сюзанна, твой дядя Анри, твоя бабка Адель, и Мальвина, и Сесиль…). Но мало кому доводилось слышать то, о чем говорил ровный голос сей: о человеческой жизни, постигнутой изнутри, о самом тайном в нем, запертом за семью печатями, не о том, какой она представляется с ее замысловатым переплетением причин и следствий, поступков и намерений, но о жизни, сведенной к немногим наиважнейшим явлениям, к наитягчайшим ошибкам, совершенным в продолжение ее. Разумеется, одним разумом

своим Мушетта не много поняла бы из рассказа, ошеломительная сжатость которого оказалась бы не по силам и более светлым умам. Не в самой ли плоти Мушетты, ослабляемой всяким непотребством ее, скудевшей еще толику, едва греховный помысел вступал ей в ум, отзывался голос священника? Один за другим покойники и покойницы вставали из могил и являлись ее взору в наготе их, но она отнюдь не испытывала того, что можно было бы назвать любопытством. Она внимала сим превосходящим разум откровениям, сжавшись от ужаса, но не чувствуя ни любопытства, ни изумления в подлинном смысле слова. Ей чудилось, что она уже слышала все это. Более того: злобные наветы, годами лелеемая ненависть, блуд постыдный, злодейства, совершенные хладнокровно-расчетливо из алчности и злобы, — все поднималось помалу со дна ее души, как всплывают в уме пробудившегося человека образы страшного сна. Никогда, нет, никогда еще не исторгали мертвецов столь беспощадно из праха могил и не повергали наземь, безжалостно выставив на свет нутро их. При каждом слове, каждом произнесенном имени что-нибудь всплывало из глубины прошлого, как зловонный пузырь со дна болота: поступок, жела-

ние, а порою нечто более важное и сокровенное — какая-нибудь мысль (ибо не умерла вместе с человеком), но столь сокрытая, столь глубоко потаенная и выхваченная столь беспощадно, что стон стыда исторгался из груди Мушетты. Она не слышала более внутреннего голоса, неумолимо обличавшего ее собственную сущность, в тысячу крат более выразительного и звучного. Впрочем, являвшиеся отовсюду рои призраков мелькали так быстро, что их нельзя было даже назвать, ибо слово не поспевало за ними. Но подобно тому, как могучая нота встает среди сумятицы звуков и властно подчиняет их себе, так и некая деятельная и ясная воля стремилась навести порядок в сумбурном кишении. Безотчетно-детским движением Мушетта выставила перед собой ручки, обороняясь от врага, но тщетно. Одно страшное видение, отброшенное усилием холодного рассудка, отдалялось и меркло, но уже подступало другое, словно рать рассеянная и вновь собирающаяся воедино, чтобы ударить на неприятеля. Еще совсем недавно столь многоликое полчище призраков, где она узнавала близких людей, неуклонно редело. Пестрое мелькание застывало в едином обличье — обличье порока. Мало того, порою зло оставляло от своей жертвы лишь урод-

ливую разлагающуюся груду, полупереваренный, напитанный ядом ком. Скупцы являлись в виде шевелящейся кучи золота, блудники — клубка внутренностей. Прорвав оболочку, грех всюду являл взору тайну плода своего десятки мужчин и женщин, опутанных волокнами раковой опухоли — и самые эти ужасные тяжи, сокращающиеся, подобно перерубленным щупальцам осьминога, стягивающиеся к тулову чудища, изначальный порок, тайно гнездившийся в сердце дитяти… И вдруг Мушетта увидела себя такой, какой никогда еще не видела, даже в ту минуту, когда почувствовала, что гордыня ее побеждена. Что-то в ней надломилось бесповоротно и рухнуло во мрак. Голос тихий, но жгучий, сокрушающий, словно расчленял, разнимал ее на части. Она сомневалась уже, существует ли еще и существовала ли вообще когда-либо. Всякая отвлеченная мысль всегда принимала в ее сознании зримые черты — ее можно было либо принять, либо отвергнуть. Что же можно было сказать теперь, когда распадалось ее собственное «я»! Она узнала самое себя в своих близких и, словно в горячечном бреду, не могла распознать себя в людском стаде, неотличимо похожую на других. Как, неужто за всю жизнь она не сделала ничего, что не было

бы уже сделано другими? Неужели не было ни единой мысли, принадлежащей исключительно ей, ни единого поступка, который не был бы предвосхищен задолго до нее? Не схожие, но тождественные! Не повторенные, но неизменные! Она не могла бы изъяснить членораздельно ни одно из откровений, сокрушавших остатки ее мира. Она чувствовала в своей жалкой жизни какой-то чудовищный обман, ей чудился оглушительный хохот ликующего мошенника. Почуяв, распознав в ней свою собственность, каждый из ее ничтожных, однообразно подленьких предков приходил за принадлежащим ему добром. Ее растаскивали по кусочкам, всю без остатка. Она раздавала себя, стадо толпившихся вокруг Мушетты двуногих словно пожирало из подставленных ею пригоршней собственную ее жизнь. Что могла она оставить себе, отобрать у них? Ничего. Даже гнев ее принадлежал им.

Она вскинулась, замахала руками, запрокинув голову, забилась, клонясь то на одну сторону, то на другую, совершенно так, как делает тонущий пловец. По лицу ее, словно потоки слез, ручьями бежал пот, но в глазах, прикованных к внутренним виденьям, викарий видел лишь тусклый блеск остывшего металла. Уста ее безмолвство-

вали, хотя вопль видимо колотился в горле. Но неслышный этот вопль округлял искаженный рот, натягивал жилы откинутой шеи, сводил худенькие плечи, напрягал изогнувшийся стан, рвался наружу из каждой клетки тела, словно тянувшегося ввысь в отчаянной мольбе… Наконец она бросилась прочь.

До первого поворота дороги ей казалось, что она неторопливо идет, в действительности же она почти бежала. У подножия склона, где ее укрыли облетевшие кусты живых изгородей и тесно растущие яблони, Мушетта пустилась бежать что было духу. Однако на окраине Кампани, повинуясь безотчетному побуждению, она оставила большак и далее шла безлюдной о сию пору стежкою, которая и привела ее, никем не замеченную, в сад родительского дома. Она не думала ни о чем определенном, желала лишь остаться одна за крепко запертой дверью, наедине с собою в укромном убежище. Внешний мир, знакомая окрестность, самое небо принадлежали врагу. Ее испуг, вернее, потрясение было столь велико, что, если бы представился случай, она позвала бы на помощь любого, даже отца.

Но случай не представился. В кухне никого не было. Она взбежала по лестнице, перескакивая

несколько ступеней сразу, заложила дверь засовом, бросилась поперек постели, вскочила как ужаленная, кинулась к окну, раздернула занавески и, увидев свои глаза в стекле, отпрянула, как испуганный зверь.

— Это ты, Жермена? — раздался за стеною голос матери.

Одно стекло видело взгляд Мушетты, судорогу скривившихся губ. Негромко и спокойно ответила она:

— Я, мама.

И прежде чем старуха успела молвить слово, она сочинила, не колеблясь, не раздумывая, ту единственную ложь, которая более всего походила на правду:

— Жорж довез меня в автомобиле до Вьель… Он как раз ехал на рынок в Вьель-Обен…

— В такую рань?

— Ему пришлось выехать затемно: он вез на продажу свиней. Ну, я и воспользовалась случаем, не то пришлось бы возвращаться домой пешком.

— Ты не ужинала, — отвечала старая мать. — Сейчас сварю тебе кофе.

— Нет, я лягу — я совсем не спала, — возразила Мушетта. — Оставь меня.

— Отопри мне.

— Нет! — дико вскрикнула Мушетта. Но, одумавшись, проговорила тем сухим жестким голосом, который приводил в трепет госпожу Малорти: — Я хочу одного: спать! Покойной ночи!

Но когда внизу лестницы стих стук сабо, ноги Мушетты подкосились, она присела на корточки в темном углу, немая, незрячая.

Близкая опасность рождает единый страх, повергающий труса в оцепенение. Прежде чем убить, он сковывает мозг. Ужас просыпается позднее, когда окоченелый разум начинает понемногу сознавать, какой гость поселился в теле хозяина, начинает различать его зловещие черты. Приговор сражает осужденного, подобно камню, пущенному из пращи, и стражник, влекущий обреченного назад в узилище, бросает на ложе некое подобие трупа. Но когда в тишине глухой ночи несчастный открывает глаза, он понимает вдруг, что стал чужим среди людей.

Мушетта редко всматривалась в себя со вниманием — это не доставляло ей ни малейшего удовольствия. В этом отношении она была совершенно не искушена, можно сказать — невежественна. Сколько ей помнилось, она никогда не испытывала ни сомнений, ни угрызений совести, но единственно смутное беспокойство, порож-

денное либо страхом, либо желанием подавить его, подспудное ощущение, что она на какое-то время поставила себя вне закона, до крайности обострившееся темное чувство зверя, отдалившегося логова своего и текущего незнаемым путем. Теперь же ее заботила лишь необъяснимая, только что возникшая воля, угроза, подчинившая ее волю, нелепый, такой будничный священник, которого все знают, с которым все раскланиваются на улице и который поставил ее на колени.

Воспоминание так жгуче, что оттесняет все прочие. Она наткнулась на преграду, и ею оказался священник. В прежнее время такое открытие распалило бы ее гневом, побудило бы насторожить бесчисленные ловушки хитрости. И если она не восстает теперь, то лишь потому, что, к несказанному своему удивлению, не нашла в оскорбленной своей душе ничего, кроме горечи и отвращения.

На миг — на краткий миг — ей пришла в голову мысль (но как мучительно было облечь ее словами!): сокрушить преграду, вновь посягнуть на жизнь. Но тотчас Мушетта отбрасывает ее: она кажется ей бесплодной, нелепой, как все совершаемое в грезах. Человека не убивают из-за нескольких смутных слов. Так ищет она оправ-

дания себе, но истина заключается в том, что, унизив ее гордыню, беспощадный противник сломил становой хребет, на котором держалась вся ее жизнь.

Опасность подхлестнула бы ее, отвращение не остановило бы. Одного страшится она: показаться смешной или жалкой. Как нередко случается в подобных обстоятельствах, слова, помимо сознания слетающие с уст, выдают глубоко затаенный страх. «Как бы им не вздумалось, что я совсем лишилась рассудка!» — шепчут губы Мушетты.

Лишилась рассудка! Мысль ее надолго задерживается на этом соображении. До сей поры, даже находясь в кампаньской лечебнице для душевнобольных, она не сомневалась в здравости своего ума. Едва сознание прояснилось, она стала с насмешливым любопытством прислушиваться к спорам врачей по поводу ее недуга. Что могли знать эти господа о случившемся с ней? Почти ничего, ибо главное оставалось ее тайной. Своим новым зрителям она предстала в том именно облике, в каком мечтала явиться: опасной и загадочной девицей с необычной судьбой, героиней в толпе трусов и глупцов… Но сегодня, в эти мгновения…

Кого же устрашилась она? Там, за поворотом

пустынной дороги, остался молодой священник, уже много раз встречавшийся ей на пути, безобидной и даже простоватой наружности. Очевидно, он что-то говорил. Но что такое важное мог он сказать? Несмотря на все свои усилия, она теряет власть над собой, как только начинает думать об этом. Но по мере того, как она размышляет, ей кажется все более вероятным предположение, что она стала жертвой самообмана. Она испугалась нескольких туманных высказываний, намеков, коварных на первый взгляд, но в действительности скорее всего совершенно невинных, ложно ею истолкованных намеков. На что же он намекал? Несколько вскользь произнесенных слов по поводу столь давнего, полузабытого преступления, скорее всего сказанных для того лишь, чтобы успокоить ее: «Перед Богом вы невиновны в сем злодействе…» (Она повторяет эти слова вслух, но не чувствует более бешенства унижения, клокотавшего тогда в ее груди.) Что еще? Увещания, просьбы оставить стезю греха (она не может в точности вспомнить ни одной из них). И, наконец… (здесь память совершенно изменяет ей) какое-то странное откровение, столь смутившее ей душу, что теперь, когда остался один страх, а причина, породившая его, забыта, она не пони-

мает, почему забилась, вся дрожа, в угол комнаты и стучит зубами, спрятав лицо в коленях. Вот она, тайна! Тогда-то она и бросилась бежать, тогда-то ощутила в себе эту жуткую пустоту. Возможно ли, возможно ль, чтобы она бежала в беспамятстве потому лишь, что услышала какие-то смутные суждения о себе и своих родственниках, почерпнутые, очевидно, в местной летописи? Правда, она поверила им; будучи довольно осведомлена на сей счет, не сомневалась в том, что при известных обстоятельствах не могла не поверить. Совершенно очевидно, что если бы вновь ей нарисовали те же картины и сказали те же слова, она и тогда не усомнилась бы. Ну и что из того? Разве она когда-нибудь страшилась ненависти глупцов? Ну что нового мог сказать ей поп? Ужас, словно подхвативший ее и повергший, трепещущую, в этом доме, внушен не им. Ее рассудок помрачил сон… и этот сон, дремлющий в ней, может вдруг воскреснуть… Ах, вот уже и сердце забилось гулко, пот ручьями побежал между лопаток. Темный ужас захлестывает ее, бесплотная ледяная рука жуткими тисками сдавливает горло. Дикий вопль слышен в другом конце городка, вздрогнули самые стены.

Она очнулась на полу, лежа ничком у подно-

жия кровати. Перина сползла на пол вместе с нею, и она так впилась в нее зубами, что рот полон пуха. Ничто не нарушает безмолвия, и она вдруг сознает, что кричала во сне. Призвав на помощь остаток сил, она глушит, загоняет внутрь новый вопль. В одно ослепительное мгновение ей представилось, как ее вновь водворяют в лечебницу для душевнобольных, как дверь вновь затворяется позади нее, теперь уже окончательно безумной, безумной в ее собственных глазах, по собственному ее признанию… Мушетта постонала прерывисто и умолкла.

Порою, когда колеблется самое основание человеческой души в телесной ее оболочке, самый презренный человек жаждет чуда и если не умеет молиться по наитию, то по крайней мере открывается Богу, как открываются уста, жаждущие глотка свежего воздуха. Но даже если бы весь остаток своей жизни несчастная Мушетта разгадывала пугающую ее тайну, усилия ее остались бы тщетны. Да и как могла бы она собственными силами вознестись на высоту, куда поднял ее единым махом божий человек и откуда она низринулась? От света, пронзившего ее насквозь — жалкую легкомысленную зверушку, — осталась лишь непонятная боль, от

которой она может умереть, так и не постигнув ее причины. Она бьется в корчах, пораженная блистающим клинком в самое сердце, и тот, чья десница держит оружие, не ведает, сколь жестоко его уязвление. Он не ведает божественного милосердия и не способен вообразить его… Сколь много рабов божиих яростно отбивается, когда ангел, чей лик открылся им на мгновение, но был тотчас забыт, вотще прижимает их к перси своей! Люди с любопытством наблюдают неистовые метания кого-нибудь среди них — он то ищет исступленно наслаждения, то отчаивается, вкусив его, и глядит на все, что окрест его, алчным одичалым взором, где угас последний отблеск томящей его жажды!

В течение двух бесконечных часов она то сворачивалась клубком и замирала, то корчилась на полу в припадке безмолвной бешеной ярости, то впадала в жуткое забытье. Ей чудилось, что она на самом деле сходит с ума и опускается все ниже и ниже, словно нисходя по черным ступеням. Как бы читая строка за строкою свою жизнь, она снова переживала череду слагающих ее событий и поступков. То было нечто вроде вереницы живых картин, на мгновение вспыхивающих перед ее мысленным взором. Она вела счет воображаемым

участникам, вглядывалась в их лица, слышала их голоса. С каждым новым образом, рожденным ее волею, наполненным жизнью по ее желанию, а затем сознательно выжатым ею до последней капли, чувства ее и разум буквально трепетали, подобно туго натянутым струнам, как трепещет под натиском ветра утлое суденышко, но боль была начеку и неизменно одерживала верх. Наконец, она стала умышленно разнуздывать в себе слепые силы хаоса, призывая безумие, как иные призывают смерть. Однако, повинуясь глубоко затаенному, вряд ли сознательному побуждению, она остерегалась в то же время малейшего внешнего проявления безумия, страшась, что оно сломит ее волю. Она не испустила ни единого вопля и подавляла даже стон, ибо стон был единственным признаком ее исступления и сам по себе мог поколебать ее рассудок. Она понимала это и потому не звала на помощь. По мере того как вопреки ей самой внутреннее сопротивление усиливалось, судороги становились притворным беснованием, а ярость иссякала от самой необузданности ее. Мало-помалу она становилась сторонней наблюдательницей собственного безумия. И когда, словно пробудившись от неспокойного сна, она вновь услышала собственное

шумное дыхание, а в душе воцарилось все то же странное спокойствие, безграничное, невыразимое разочарование овладело ей. Так бывает, когда ветер стихает внезапно над бушующим морем среди непроглядной ночи.

Мушетта по-прежнему не знала то, без чего ей невозможно было теперь жить. Но что же? Что? Напрасно отирала она кровь на изодранных ногтями щеках и искусанных губах, напрасно смотрела сквозь окна на занимающийся день, тщетно твердила в унынии бесцветным голосом: «Конец… конец!..» Истина открывалась ей, от сознания неизбежного сжималось сердце, безумие и то отказывало ей в сумрачном своем приюте. Она не лишилась рассудка и никогда его не лишится! Ей не хватало того, что было какое-то время в ее руках, но чего? Когда было? Как досталось? Теперь было совершенно ясно, что она разыграла перед собой сцену сумасшествия, чтобы скрыть от самой себя, забыть — забыть любой ценою! — истинный, неизлечимый, неведомый недуг свой.

Ах, порою Господь зовет нас так кротко и так властно! Но когда Он отдалится вдруг, вопль, исторгнутый из обманутой плоти, приводит, верно, в изумление самих жителей ада!

И тогда она позвала — из самых недр, самых сокровенных тайников души зовом, в котором излилась самая сущность ее, — Сатану.

Впрочем, звала бы она его иль нет, он должен был явиться лишь в урочный час и кружным путем. Мертвенно-бледное светило редко восходит из бездны, даже когда ему творят моленье. Кроме того, коль скоро разум Мушетты отчасти помутился, она не могла бы сказать, кому и какую жертву хотела принести в своем лице. Желание сие возникло внезапно и было рождено не столь рассудком, сколь жалкой осквернённой плотью. Раскаяние, на миг разбуженное в ней божиим человеком, стало просто одним из страданий. Настоящее было исполнено тревоги и страха, прошлое же и будущее представлялись черным провалом. Она свершила уже путь, который другие проделывают шаг за шагом: сколь бы незначительна ни была ее судьба по сравнению с уделом прослывших во языцех грешников, она сотворила, повинуясь тайному влечению к греху, все зло, на какое способна была, не считая последней неудачи. С детских лет она стремилась к нему, и каждый новый неуспех лишь подстрекал ее к новому вызову. Ибо Мушетта любила зло.

Не в толпе бесноватых, изумляющих свет

картинными злодействами, находит Лукавый вожделенную добычу. Наивеличайшие святые не всегда творят чудеса, созерцатель чаще всего живет и умирает в безвестности. И среди служителей ада попадаются тихие монахи.

Вот она перед нами, невинность, одержимая нечистой силой, тихая служаночка Сатаны, святая Бригитта преисподней. Если не считать убийства, она не оставит по себе памяти на земле. Жизнь ее есть тайна между ней и господином ее, точнее, единственная тайна господина. Он не искал ее среди могущественных мира сего, и брак их свершился в молчании. Она достигла меты своей, не подвигаясь к ней помалу, но словно скачками, и коснулась ее, когда не предполагала, что она столь близка. Она будет вознаграждена. Увы! Нет на земле человека, который, приняв решение и сознавая неизбежность угрызений совести, не бросился бы, хотя на миг, с холодной алчностью в омут зла, словно наскучив проклятиями ему — гибельная жажда исторгает стоны из уст любовников, мутит рассудок убийцы, вспыхивает последним светом в глазах самоубийцы, когда петля захлестнулась уже на его шее и он яростно отшвыривает ногою стул из-под себя… Так и Мушетта, но с силой удесятеренной, при-

зывает из глубины души, не называя по имени, беспощадного Властителя.

Он тотчас явился, без предупреждения и возражений, устрашающе покойный и уверенный. Сколь бы велико ни было его сходство с Богом, он не способен вселить радость в душу, и наивеличайший дар его, далеко превосходящий все услады, тешащие плоть едину, есть безмолвный, одинокий, ледяной покой, подобный вкушанию небытия. Когда дар сей предложен и принят, хранящий нас ангел в смущении отворачивает лик свой.

Он явился, и исступление Мушетты кончилось, как по мановению волшебного жезла, сердце забилось медленно, тепло постепенно разлилось по ее членам. Тело и душа ждали, расчетливо и твердо, без праздного нетерпения, того, чему должно было случиться. Почти одновременно мозг представил ожидаемое событие и полностью сознал его смысл. И Мушетта поняла, что настал час умертвить себя. Как можно скорее, немедленно.

Тело еще пребывало недвижимо, но разум устремился уже по пути избавления, и она пустилась вослед ему. Странная вещь, один взгляд ее был смутен и нерешителен. Все чувства Мушетты

сосредоточились в концах пальцев, в ладонях проворных рук. Она отворила дверь своей комнаты, так, чтобы петли не скрипнули, потом дверь в спальню отца (его никогда не бывало там об эту пору), нашла на привычном месте его опасную бритву и открыла ее. И вот она уже снова в своей горнице стоит на цыпочках у зеркала, откинув голову так, что перед глазами ее напряглось беззащитное горло… Подавив сильное желание всадить лезвие сразу, она сознательно-безжалостно надавила и услышала хруст хрящей. Последним ее воспоминанием была теплая струя, ударившая в руку у самого сгиба ее.

IV

Аббат Дониссан дождался начала богослужения в ризнице, ключ от которой носил всегда в кармане, и справил обедню, как обычно. Вот уже несколько дней Мену-Сегре не выходил из своих покоев, страдая от особенно жестокого приступа грудной жабы. Взглянув около половины одиннадцатого на дорогу, он с удивлением увидел идущего по ней викария. Вот его тяжелые башмаки стучат уже по каменным плитам первого этажа, потом на лестнице. Неизменно твердый и

спокойный голос спросил за дверью:

— Можно войти, господин настоятель?

— Ну, разумеется! — воскликнул священник, чье любопытство было возбуждено. — Прошу вас!

Он неловко повернул голову, покоящуюся на спинке тяжелого кресла между двух огромных подушек. Лицо викария неясно виднелось в сумраке покоя (занавеси были наполовину задернуты), но и то немногое, что разглядел Мену-Сегре, весьма мало соответствовало притворному спокойствию голоса. Впрочем, недоумение настоятеля выразилось лишь в том, что веки его, из-под которых он устремил на аббата острый взгляд, мигали чаще обычного.

— Вот так неожиданность! — начал Мену-Сегре необыкновенно мягко. — Как это вам удалось так скоро обернуться?

Он умышленно не предложил Дониссану сесть, ибо знал по опыту, что когда бедный викарий стоял перед ним столбом, природная застенчивость его еще увеличивалась и тогда из него можно было веревки вить.

— Вечно со мной случаются всякие нелепицы, — ответствовал Дониссан. Словом, я заблудился…

— Стало быть, вы пришли в Этапль слишком поздно, когда исповедание уже кончилось?

— Я еще не все сказал, — сокрушенно признался викарий.

— Вы с ума сошли! — вскричал Мену-Сегре, пристукнув ладонью по подлокотнику с горячностью, столь не похожей на обычную его учтивость. — Что подумают люди, я вас спрашиваю? Еще куда ни шло опоздать, но не прийти совсем!

Сколь бы мало ни заботило настоятеля чужое мнение о нем, он боялся предстать в смешном свете по причине болезненной мнительности, составлявшей как бы женское начало этого в общем довольно мужественного человека. Вот уж будут потешаться над ним в лице этого несуразного викария, и так уже ставшего притчей во языцех! Но, встретившись взглядом с непогрешимо честными глазами Дониссана, он покраснел, устыдившись своей слабости, и проговорил примирительно:

— Ну ладно, что сделано, того не воротишь. Сегодня же вечером напишу канонику и буду просить у него прощения за нас. А теперь объясните мне…

Сжалившись наконец над беднягою, он указал ему на стул. Однако, к великому его удивлению,

викарий не сел.

— Извольте же объяснить мне, — начал он снова, но уже совершенно другим, участливым и в то же время требовательным голосом, — как вас угораздило заблудиться в местности, которую едва ли назовешь пустыней безлюдной?

Аббат по-прежнему стоял, склонив голову к плечу, всем видом своим выказывая смиренную почтительность, но ответ прозвучал высокомерно:

— Должно ли мне говорить то, что почитаю за истину?

— Да, должно, — возразил Мену-Сегре.

— В таком случае я скажу.

Бледное лицо викария, на котором не изгладились еще следы ночных страхов и усталости, выражало твердость человека, принявшего решение и намерившегося исполнить его во что бы то ни стало. Лишь по тому, что он отворотился, можно было понять, что ему стыдно. До-ниссан заговорил, потупив глаза, и пожалуй, несколько утороплено.

Впрочем, откровенность, смелость некоторых замечаний, явное стремление говорить обо всем без прикрас даже менее проницательного наблюдателя навели бы на мысль, что бедняга питает,

очевидно, тайную надежду на то, что его перебьют, строго одернут и помогут, таким образом, выйти из затруднительного положения, лишив в то же время собеседника возможности упрекнуть его в том, что он не исполнил своего обещания. Однако настоятель слушал викария до конца в глубоком молчании.

— Я не заблудился, — начал Дониссан. — В крайнем случае, я мог бы сбиться с пути на полдороге, среди равнины. Потому я и держался большака и лишь однажды, и то на короткое время, отошел в сторону. Мне нужно было просто идти все прямо и прямо. Даже глухою ночью (а темень, надо сказать, была непроглядная) было бы немыслимо заплутаться, и если это случилось все же со мной, вина тут не моя.

Переводя дух, викарий продолжал:

— Каким бы диковинным и невероятным вам ни казалось все это, есть вещи еще более диковинные и невероятные. Еще более страшные. Мне уготовано было еще одно испытание.

Здесь голос его дрогнул, а рука непроизвольно приподнялась — так бывает, когда рассказчика перебьют вдруг каким-нибудь веским возражением. Взор его обратился, на сей раз смиренно, к лицу настоятеля.

— Я хочу спросить вас… Уместно ли вести речь о приключениях, совершенно, пожалуй, несуразных, и толковать их так, как мне представляется уместным… (он снова запнулся) невольно приписывая себе некое значение… некий дар?..

— Да будет вам! Будет! — резко прервал его Мену-Сегре.

Викарий послушно умолк и, помолчав некоторое время, в течение которого, видимо, собирался с духом, дабы побороть праздное желание сгладить острые углы, щадя чужое самолюбие, продолжал:

— Божиею волею сподобился дважды, и так, что в сем не может быть ни малейшего сомнения, узреть воочию душу человечью сквозь плотскую оболочку. Узрел, не прибегая к обычным способам, таким, как изучение и размышление, но единственно особого рода чудесным наитием, о коем почел своим долгом поведать вам, не страшась любой кары…

— Что же почитаете вы за чудо? — вопросил Мену-Сегре совершенно будничным голосом.

— Именно то, что случилось со мною, — ответствовал тот.

— Вы не преминете сообщить о случившемся епископу, — преспокойно молвил настоятель.

Да и во взгляде, которым настоятель буквально обволок нескладного своего викария, не было решительно удивления, но единственно спокойное, беспристрастное внимание человека, с легким любопытством и не без высокомерного сострадания взирающего на изложенные ему обстоятельства. Викарий покраснел до корней волос.

— Так что же вам повстречалось глухой ночью в чистом поле?

— Сначала человек, чье имя мне неизвестно.

— Угу, — насмешливо хмыкнул настоятель.

— Поймите меня! — воскликнул Дониссан, и губы его задрожали. — Он сам подошел ко мне… Я ни о чем таком и не думал… Я и лица-то его не видел… голос незнакомый… Некоторое время мы шли вместе, говорили о разных пустяках… о погоде… о ночи… не помню уж теперь, о чем…

Викарий умолк, устыдившись того, что не сказал всей правды своему судье, и, решившись вдруг, проговорил, словно головой вперед бросился в воду:

— Тогда-то меня осенило божественное наитие, о котором говорил вам. Что же касается до второй встречи…

— Я довольно теперь знаю… во всяком случае,

пока, — прервал его настоятель. — Подробности не имеют уже особого значения.

Он откинул голову на подушки, болезненно покривившись, вытащил из кармана табакерку, втянул понюшку носом и, расслабленно приподняв руки, как бы прося прощения за то, что прервал будничную беседу, попросил:

— Не откажите в любезности позвонить мадемуазель Эстелле! Мне пора глотать салициловую кислоту, а я не знаю, где она поставила пузырек.

Пузырек сыскался на обычном месте. Настоятель медленно выпил лекарство, тщательно отер губы и отпустил домоправительницу благодарным взглядом. Когда дверь затворилась за ней, он сказал:

— Мальчик мой, вас сочтут сумасшедшим!

Но перед ним стоял один из тех, чей опыт питается исключительно внутренним источником, а таких нелегко выбить из колеи. Лишь легкая тень пробежала по лицу скорее удивленного, чем испуганного, викария. Он неторопливо возразил настоятелю:

— Мне должно было признаться вам. Бог тому свидетель, я желаю лишь, чтобы все забылось и было сохранено в тайне.

— Положитесь на меня, — отвечал Мену-Се-

гре, — я утаю все, что только утаить можно, не прибегая ко лжи. Я старший над вами, дружок мой, но и надо мною есть старшие!

Помолчав немного, старец продолжал:

— Я напишу… нет, лучше переговорю лично с каноником Кувремоном, прежним директором высшей духовной семинарии, человеком верным и решительным. Он рассудит, как нам лучше всего поступить. Я не сомневаюсь, впрочем, что мы скоро придем с ним к согласию. Мне нетрудно предугадать его мнение…

Видимо, настоятель ждал какого-нибудь вопроса, но викарий даже не взглянул на него.

— Мы исхлопочем для вас длительную поездку на покаянные моления в Тортефонтен или к бенедиктинцам в Шеветонь. Я буду откровенен с вами, аббат. Я по-прежнему считаю, как и говорил вам о том, что вы отмечены перстом божиим, печатью избранника. Но не следует заходить слишком далеко: времена чудес минули. Скорее всего люди всполошатся, и, стало быть, следует опасаться нарушения общественного порядка. А власти только и ждут повода навалиться на нас. К тому же ныне в моде неврологические, как они выражаются, науки. А тут какой-то попик читает, видите ли, в душах, как в открытой книге!..

Да вас упекут в сумасшедший дом, мой милый! Мне предостаточно того, что вы сказали, мне нет нужды знать, что происходило дальше.

Он выставил перед собой обе ладони, словно отталкивая опасную тайну, и снова утонул головою в подушках. Но стоило викарию сделать легкое движение в сторону двери, как настоятель заговорил вновь:

— Берегитесь же! Я строжайше запрещаю вам хотя бы единым словом намекнуть кому бы то ни было на сей предмет, не испросив предварительно на то моего согласия. Вы слышите, ни одной живой душе!

— Даже моему исповеднику?.. — робко осведомился Дониссан.

— Ему в особенности, — спокойно возразил настоятель.

За сими словами последовало еще более глубокое молчание. Два или три раза викарий грузно переступил с ноги на ногу, косясь на дверь… Правой рукой он беспокойно крутил пуговицы сутаны. Неожиданно, к своему великому удивлению, он услышал собственный голос:

— Я не все сказал.

Ни слова в ответ.

— То, о чем я хотел бы еще рассказать, касается

— уж и не знаю, в какой мере! — до спасения одной бедной души, за которую нам с вами предстоит держать ответ. Очевидно, Провидение вверило мне пещись о ней, именно мне, и никому другому: я убежден в том, что упомянутая особа принадлежит пастве вашего прихода, господин настоятель.

— Я слушаю, — ответствовал Мену-Сегре, медленно возводя взор.

Во все продолжение последовавшего за сим рассказа властные мудрые глаза не отрывались от измученного лица викария. В них отражалось какое-то мучительное напряжение и вместе с тем все более непреклонная решимость. Ни единого слова не слетело со сжатых губ, ни разу не дрогнули тонкие бескровные руки, покоившиеся на подлокотниках кресла, а несколько откинутая голова и выставленный подбородок дышали умом и силою.

Когда викарий кончил исповедь, настоятель, повинуясь совершенно искреннему порыву, обратился к висевшему в изголовье кровати распятию флорентийской работы и промолвил голосом мягким и сильным в то же время:

— Возблагодарим Господа нашего, дитя мое, за то, что речь ваша была столь искренна и сми-

ренна. Ибо простота эта обезоруживает самый дух зла.

Поманив молодого священника, он привстал на своем ложе, вперил взор в глаза Дониссана и проговорил, приблизив лицо свое вплоть:

— Верю вам, верю безусловно. Но мне должно приготовиться к тому, что я намерен сказать вам… Возьмите на столе, справа, да, да, там — «Подражание Господу нашему»… Раскройте на главе пятьдесят шестой и читайте со всем чувством, на какое способны, в особенности четверостишия пятое и шестое. Читайте же… Оставьте меня.

Старый священник, наделенный редкостными качествами, которые долгие годы пребывали втуне из-за невежества, несправедливости и зависти людской, чувствовал, что это неповторимое мгновение стало часом его торжества. Сравнения, заимствованные в языке житейском, слишком немощны, чтобы выразить явления жизни духовной и дать ощутить их величие. Настал час, когда этот выдающийся человек, утонченный и страстный, смелый, как никто другой, но и способный в то же время исследовать любое явление отточенным лезвием ума, должен был показать полную меру своего дарования.

— …И устыдился, бежав от славы… — прошептал он, повторяя по памяти заключительные слова главы. — А теперь слушайте меня, друг мой.

Викарий послушно поднялся с молитвенной скамеечки и встал в нескольких шагах от старца.

— Вероятно, то, что вы услышите от меня, причинит вам боль. Бог свидетель, до сей поры я чересчур щадил вас! Но мне не хочется смущать вашу совесть… Что бы я ни сказал, да будет душа ваша покойна, ибо нет на вас греха, ежели не почитать за грех содеянное по неопытности либо от ревностного желания послужить делу божию. Вы поняли меня?

Аббат молча наклонил голову.

— Вы поступили, словно простодушное дитя, — продолжал старец по непродолжительном молчании. — Уготованные вам здесь испытания столь тяжки, что лишь человек самоуверенный может надеяться выдержать их. Более чем когда бы то ни было прежде, чего бы вам то ни стоило, уклоняйтесь от них, бегите без оглядки, ибо каждому посылается искус лишь в меру сил его. Желание рождается, растет, изменяется вместе с нами. Подобно застарелому недугу, оно есть некое

промежуточное состояние между здоровьем и болезнью. Чаще всего достаточно набраться терпения. Но иногда болезнь внезапно обостряется, может случиться, что какая-то новая причина…

Он умолк в некотором смущении, но быстро оправился.

— Прежде всего запомните вот что: отныне вы будете для всех (и кто знает, как долго это будет продолжаться!) лишь самонадеянным аббатишкой, наделенным не в меру пылким воображением, полумечтателем, полулжецом, а может статься, и попросту безумцем. Отнеситесь же к епитимье, которую на вас, наверное, наложат, к безмолвию и временному забвению монашьей обители не как к несправедливой каре, но как к необходимой и оправданной предосторожности… Вы следите мою мысль?

Тот же взгляд и то же наклонение головы.

— Я не стану таиться от вас, мальчик мой. В продолжение многих месяцев я наблюдаю за вами, может быть, слишком осторожно, слишком нерешительно. Но уже с первого дня я понял смысл происходящего. Господь посылает вам от милостей своих слишком щедро, я бы сказал, превосходя всякую меру, надо полагать оттого, что сверх меры искушал вас. Не скудеют щед-

роты Духа Святаго, но доброта его николи не есть напрасна, понеже соизмеряема с нуждами нашими. Знак сей глаголет ясно: Дьявол вторгся в жизнь вашу.

И теперь промолчал Дониссан.

— Ах, чадо мое, невежды стараются не замечать такие дела! Иной священник одно имя Сатаны страшится вымолвить. Что для них внутренняя жизнь человека? Унылое борение звериных начал. Нравственность? Всего лишь разумное управление чувственностью. Милость божия, полагают они, есть не более чем суждение истинное, наставляющее разум, а искушение — всего-навсего томление плоти, понуждающее разум ко лжи. Как видите, они весьма упрощенно представляют себе даже самые заурядные явления великой битвы, разыгрывающейся в нас. Предполагается, что человек, руководствуясь сознанием, ищет лишь удовольствия и пользы. Но это годится только для человека, придуманного сочинителями, неведомо где существующего среднего человека! Эти ребяческие выдумки ничего не объясняют. В мире скотов двуногих, наделенных чувствами и рассудком, святому нечего делать, разве попасть в сумасшедшие. И уж за этим дело не станет, поверьте мне! Но не здесь главное. Каждый из

нас — ах, кабы вы помнили всегда слова старого друга! — так или иначе становится попеременно то злодеем, то святым: то его влечет к добру — не потому, что он все более убеждается разумом в преимуществах добра, но, очевидно, потому что некий непостижимый порыв, могучая волна любви вздымает его, и он жаждет страдания и самоотречения, то овладевает им мучительное и необъяснимое стремление к безнравственности, к тлетворным усладам, хмельное влечение к плотскому началу, неизъяснимая тоска по нем. И что тогда многовековый опыт обуздания нравственностью! Что печальные примеры столь многих жалких грешников, что напоминания о горькой их доле! Помните же, мальчик мой, зло, как и добро, любят ради него самого и служат ему ради него.

От природы слабый голос настоятеля становился мало-помалу все глуше, так что наконец могло показаться, что он говорит сам с собой. Однако впечатление было обманчиво. Глаза его из-под приспущенных век неотрывно глядели в лицо Дониссану. Первое время оно не обнаруживало никакого волнения, но при последних словах бесстрастность исчезла вдруг, словно с него спала личина.

— Возможно ль? — вскричал Дониссан. — Ужли мы столь несчастны?

Он не кончил начатой мысли, не подкрепил ее ни единым движением. Тоска жестокая, словами не изъяснимая, столь мучительно отобразилась в сем сбивчивом восклицании, в безнадежной покорности застлавшихся мраком очей, что Мену-Сегре почти невольно раскрыл объятия, и Дониссан бросился в них.

Он стоял на коленях у высокого стеганого кресла, припав в детском порыве угловатой, коротко стриженной головой к груди друга своего… Но, по молчаливому уговору, они скоро отстранились друг от друга. Теперь викарий просто стоял на коленях, как подобает кающемуся на исповеди. Волнение настоятеля заметно было лишь по легкой дрожи правой руки, поднятой для благословения.

— Такие речи смущают вас, дитя мое. Но мне хочется, чтобы они вооружили вас, ибо совершенно очевидно, что монашья келья уготована не вам.

Губ его коснулась и тотчас исчезла грустная улыбка.

— Жизнь в монашьей обители, куда вас скоро отправят, будет для вас, несомненно, порою испытаний и тяжкого духовного одиночества. Искус

ваш продлится более, чем вы предполагаете.

Он надолго остановил отеческий взгляд, где сквозила мягкая насмешка, на склоненном лице.

— Вы не рождены нравиться, ибо в вас есть то, что люди ненавидят более всего, расчетливой, изощренной ненавистью: умение и желание быть сильным. Нескоро, нет, нескоро оставят они вас в покое.

Помолчав, он продолжал:

— Труд Господа, нас совершенствующего, редко приносит желанные нам плоды. Почти всегда нам кажется, что Дух Святый берется за дело не с того конца, тратит время напрасно. Когда бы кусок железа мог сознавать терпуг, медлительно опиливающий его, о, как бы ярился он, как изнывал от скуки! Но именно так трудится над нами Господь. Житие иных святых представляется нам ужасающе однообразным, подобным бесплодной пустыне.

Он медленно склонил чело, и Дониссан впервые увидел, как две тяжкие слезы скатились из омрачившихся очей настоятеля. Но тут же Мену-Сегре тряхнул головой и промолвил:

— Ну, довольно. Поспешим же, ибо скоро пробьет час, когда я, как принято думать в миру, уже ничем не смогу помочь вам. Поговорим теперь

начистоту, со всей определенностью, на какую способны. Чтобы выразить явления сверхъестественные, нет лучшего средства, чем обычный, обиходный язык, употребляемые в повседневной жизни слова. Тут уж наверное рассеется любой обман. Обратимся же к первой вашей встрече. Откуда мне знать, действительно ли вы сошлись лицом к лицу с тем, кого встречаем ежедневно увы, не на повороте дороги, но в нас самих? Какая разница, действительно вы его видели или он просто померещился вам. То, что мирянам кажется событием чрезвычайной важности, для смиренного слуги божьего есть не более, чем второстепенное обстоятельство. Лишь труды ваши могут подтвердить ваш дар прозрения и чистосердечие, одни они представят доказательства в вашу пользу. Оставим это.

Он поправил сбившиеся подушки, отдышался и продолжал тем же странно добродушным голосом:

— Поговорим теперь о втором вашем приключении, представляющемся мне необыкновенно важным. Видите ли, ошибка в ваших умозаключениях может повредить одной из душ, о коих, как вам угодно было выразиться, нам вверено пещись. Я не знаком с дочерью господина Малор-

ти, и мне ничего неизвестно о преступлении, в котором, по вашему мнению, она повинна. Нам предстоит ответить на другие вопросы. Была ли ниспослана сей девице особая милость господня, независимо от того, преступница она или нет? Явились ли вы орудием милости сей? Поймите, поймите же меня!.. В любое мгновение нам может быть внушено произнести необходимо нужное слово, совершить единственно правильный поступок, именно такой, и никакой другой. И вот тогда мы становимся очевидцами истинного воскресения совести. Одно-единственное слово, взгляд, простое пожатие руки — и непреклонная доселе воля подается. Бедные глупцы! Мы воображаем, будто поводырь душ может свершить труд свой, довольствуясь признаниями грешников, пусть даже искренними! Но обстоятельства то и дело мешают исполнению наших намерений, самые красноречивые доводы наши рассыпаются в прах, а те слабенькие козыри, которыми мы располагаем, против нас же и обращаются. Между священником и кающимся всегда стоит незримо третий. Порой он молчит, порою ропщет, а то возвысит вдруг властный голос. Как часто оказываемся мы в положении беспомощного наблюдателя! Здесь не поможет ни тщеславие,

ни самонадеянность, ни мудрость опыта! Возможно ль без стеснения сердечного думать, что незримый третий, способный использовать нас, не спросив нашего согласия, постепенно обращет нас в соучастников своих богомерзких деяний? Ежели вы оказались в таком положении, значит, он испытывает вас. Тяжек будет искус ваш, столь тяжек, что вся жизнь ваша станет мукою.

— Знаю, — пролепетал несчастный викарий. — О, как ранят меня речи ваши!

— Знаете? — удивился настоятель. — Откуда?

Дониссан закрыл лицо ладонями, потом, устыдившись, видимо, невольного порыва, отвел руки и промолвил, высоко подняв голову и глядя на бледный день за окном:

— Господь внушил мне, что так указывает мое назначение в мире, что мне должно изгонять Сатану из душ и что я неминуемо лишусь через то вечного покоя, достоинства служителя Бога и самого спасения души.

— Вздор! — с живостью вскричал настоятель. — Не спасет души лишь мятущийся на путях погибели! Там же, где Господь следует за нами, мы можем лишиться мира, но не милости божией.

— Велико заблуждение ваше, — спокойно

возразил Дониссан, видимо не замечая, сколь разительно противоречили эти слова обычной его почтительности и смирению. — Мне невозможно усумниться в велении понуждающей меня воли, ниже в судьбине, мне уготованной.

На сей раз в глазах Мену-Сегре зажглась радость исследователя, почувствовавшего вдруг, что решение мучающей его задачи совсем близко.

— Какая же судьба ждет вас, сыне мой?

Викарий слегка пожал плечами.

— Я не собираюсь выпытывать тайну вашу. Некогда я имел бы на нее право, теперь же пути наши расходятся, вы уже не принадлежите мне.

— Не говорите так, — тихо молвил Дониссан, вперивши в старца сумрачный взор. — Где бы я ни был, в какие бы мрачные глубины ни погрузился, даже в руках самого Сатаны я буду помнить вашу доброту.

Внезапно, словно представшие его мысленному взору картины причинили ему мучительное волнение и он хотел бежать от них прочь (а может быть, напротив того, бесстрашно встретить лицом к лицу), Дониссан поднялся с места.

— Так вот какова тайна ваша! — вскричал Мену-Сегре. — Вот какова мнимая заповедь господня! Если я верно понял, вы кощунственно

отринули в сердце своем милосердие божественное? Сему ль учил вас? Знайте же, несчастный, вы стали (быть может, давно уже) жертвой, игралищем, слепым орудием в руках того, кого страшитесь более всех!

Как бы в отчаянии и ужасе, старец воздел и опустил руки, но в глазах его горел волевой огонек.

— Я не кощунствовал, — возразил Дониссан. — Я отнюдь не отчаялся в справедливости всеблагого Господа нашего. До последнего мгновения моей жалкой жизни я буду верить, что одной благости Всевышнего довольно, чтобы отпустить грехи и мне, и всем человекам со мною. Но не праздно было мне дано испытать однажды — и сколь чувствительно! — ужасающую мерзость греха, жалкий жребий грешников и могущество беса.

— Когда же… — начал было Мену-Сегре.

Однако будущий святой продолжал, не дав ему договорить, вернее не обращая, по всей видимости, внимания на его слова:

— Я давно уже предчувствовал свою судьбу. Еще не познавши истины, я пребывал в печали. Всякому дано прозреть истину в меру его. Очевидно, люди более ревностные в служении Богу, более просвещенные весьма сильно чувствуют божественный порядок. Что до меня, то с детских

лет не столь уповал на славу будущую, сколь скорбел о славе, нами утраченной. (Лицо Дониссана принимало понемногу недоброе выражение, на лбу обозначилась гневная морщина.) Ах, отче, отче мой! Я желал отстранить крест сей, но желал невозможного! Вновь и вновь он ложился на плечи мои. Не будь его, жизнь лишилась бы смысла, ибо в наилучшем среди людей вера остывает тогда, и Господь отмещет его с отвращением. Что сталось бы с нами, в невыразимой скудости нашей, униженными, попранными, осквернёнными злейшим врагом нашим, когда бы не чувствовали себя хотя бы оскорбленными! Лукавый не станет вполне владыкою мира, доколе праведным гневом полнятся сердца наши, доколе человек среди человеков восстает на него и бросает ему в лицо: Non Serviam! [1]

Слова теснились у него на устах, плохо сообразуясь с рождавшими их внутренними видениями. Необычная многоречивость человека от природы неразговорчивого свидетельствовала о том, что состояние его было близко к умоисступлению.

— Остановитесь! — холодно велел Мену-Сегре. — Приказываю вам слушать. Вы говорите так

---

[1] Примечания: 1
Не буду рабом твоим! (лат.)

много затем лишь, чтобы обмануть самого себя, а заодно и меня. Однако же я знаю, что вы не из тех, кто тешится суесловием. Ваше неистовство проистекает, очевидно, от какого-то решения, намерения, может быть, поступка. Я желаю знать — какого.

Удар пришелся так метко, что Дониссан растерянно посмотрел на наставника своего. Между тем мудрый и могучий духом старец продолжал:

— Как случилось, что в своей жизни вы познали чувства, по меньшей мере смутные и пагубные?

Молодой священник безмолвствовал.

— Ну что же, я сам объясню, что произошло, — продолжал Мену-Сегре. — Вы начали с непомерно усердного умерщвления плоти, затем с не меньшим пылом предались службе. Последствия таких крайностей радовали ваше сердце, ибо вы надеялись обрести таким образом душевный покой. Однако вы не обрели его. Но Господь никогда не отказывает в нем изнемогающему слуге своему. Следовательно, вы умышленно отвергли его.

— Я не отвергал его, — с трудом проговорил Дониссан. — Просто от природы я более склонен к печали, нежели к радости.

Он смолк ненадолго, видимо размышляя, как бы сгладить резкость слов, выразиться помяг-

че, но вдруг решился и вскричал глухим от чрезвычайного волнения голосом — казалось, вспыхнуло угрюмое пламя:

— Ах, лучше отчаяние и все муки его, чем трусливое потворство деяниям Сатаны!

К его несказанному удивлению, ибо это пожелание исторглось из груди его воплем, от которого он сам похолодел, настоятель взял его руки в свои и мягко сказал:

— Довольно. Я без труда читаю в сердце вашем и не ошибся. Вы не только не искали утешения, но умышленно обращали ум свой лишь к тому, что питает отчаяние. Вы обрекли себя отчаянию.

— Не отчаянию, но страху, — возразил Дониссан.

— Отчаянию, — так же мягко повторил Мену-Сегре, — которое, выразившись первоначально в ярой ненависти к греху, неминуемо заставило бы вас презирать и ненавидеть грешника.

При сих словах глаза Дониссана наполнились слезами, он вырвал руки из ладоней настоятеля и хрипло возопил (взгляд его был жалок и дик):

— Ненавидеть грешника! Грешника!

Неистовство и смятение чувств были в нем таковы, что слова замерли на его устах, и прошло довольно долгое время, прежде чем он мог вы-

говорить, закрыв глаза и словно созерцая нечто тайное в себе:

— Мне досталось сокровище гораздо более драгоценное, нежели жизнь…

Он умолк, и тогда вновь зазвучал голос старца, твердый, ясный, неотвратимый:

— Я всегда подозревал, что в вашей внутренней жизни есть тайна, которую ваше неведение и щепетильность оберегают лучше всякого лукавства. Но вы были неосторожны. Я не удивился бы, если бы узнал, что вы принесли некий опасный обет…

— Я не мог бы принять никакого обета без дозволения своего духовника, пролепетал несчастный викарий.

— Ну, если не обет, то нечто на него похожее, — возразил Мену-Сегре.

С трудом приподнявшись от подушек и положивши руки на колена, он проговорил, не повышая голоса:

— Повелеваю вам, дитя мое.

К великому удивлению старца, Дониссан долго не решался, устремив на него напряженный взгляд. Наконец он вымолвил с мучительной дрожью в голосе:

— Я не солгал, уверяю вас… Не давал никакого

обета, никакого зарока… просто пожелание… наверное… может быть, опрометчивое… во всяком случае, по законам человеческой осторожности!

— Оно отравляет ваше сердце, — заметил Мену-Сегре.

Тогда викарий решился и проговорил, тряхнув головой:

— Но вот что, быть может, заслуживает вашего осуждения… Власть греха над толиким множеством душ христианских… часто воспаляла во мне гнев на врага… Ради спасения их я решил отречься от всего, что имею или когда-либо буду иметь… прежде всего от жизни моей — о, такая малость! — от сладостной благости Духа Святаго…

Мгновение он колебался, потом тихо закончил:

— От самого спасения души моея, коли Господь того пожелает!

Слова признания падали среди мертвой тишины. Казалось, они сами рождали ее и в нее же канули.

Но вот старец заговорил вновь с обычной простотой своей:

— Прежде чем нам продолжить разговор, откажитесь навсегда от сего помысла и молите

Господа нашего о прощении. Кроме того, я запрещаю вам говорить о сем с кем бы то ни было.

Видя, что викарий открыл уже рот, чтобы возразить, сей несравненный знаток души человеческой продолжал, храня осторожность и поразительное здравомыслие:

— Не трудитесь возражать. Молчите. Вам должно лишь забыть. Мне известно все. Все было безукоризненно придумано и исполнено со тщанием. Вот так и обманывает Дьявол таких, как вы. Когда бы он не умел обращать во зло дары господни, он был бы лишь безответным воплем ненависти в черной бездне…

Хотя в голосе Мену-Сегре и не слышалось особого волнения, о нем свидетельствовало тем не менее то обстоятельство, что он поднял лежавший подле кресел посох, встал и прошелся по покою. Викарий оставался недвижим на прежнем месте.

— Мальчик мой, — взговорил старец, — сколь гибельных опасностей подстерегает вас! Всевышний зовет вас к совершенству, но не к отдохновению. Вы будете шествовать своим путем с меньшей уверенностью, чем кто бы то ни было, прозревая сокрытое лишь ради ближнего, одолеваемый сомнениями, мятущийся меж светом и

тьмою. Ваше безрассудное желание было так или иначе услышано. Надежда почти погибла в вас, погибла навсегда. Лишь брезжит едва тот свет, без которого немыслимо любое предприятие и напрасна всякая добродетель. Утрата надежды — вот что важно. На пути, который вы избрали, какое избрали: вы бросились туда очертя голову! — вы будете один, совершенно один, в полном одиночестве. Всякий, кто решился бы последовать за вами, погибнет неминуемо, а вам не поможет.

— Я не просил о том! — вскричал с неожиданной страстью будущий святой (впечатление было тем более разительно, что в голосе его по-прежнему звучала угрюмая решимость). — О сих исключительных милостях я не просил! Они не надобны мне! Я не хочу чудес! Пусть мне будет дано жить и умереть в шкуре жалкого невежды. Нет, нет, начатое в эту ночь не завершится! Мне приснилось все, я был безумен!

Мену-Сегре вернулся к креслам, снова улегся в них и возразил, не повышая голоса:

— Как знать. Укажите хотя одного среди тех, кого чтим как отцов наших в вере, кого не называли бы выдумщиком. А у какого выдумщика не было учеников? При настоящем положении лишь дело

может доказать правоту иль заблуждение ваше!

Помолчав, он продолжал уже более мягко:

— А меня, мальчик мой, вам совсем не жаль? Мой опыт изучения душ и многомесячные раздумья склоняют меня к мысли, что Господь отметил вас перстом своим. Неверующее дурачье не признает святых, дурачье же набожное воображает, что заводятся они сами собой, как трава в поле. Лишь немногим ведомо, что дерево тем нежнее, чем более редкой оно породы. Без сомнения, судьба ваша связана с множеством других судеб, зависит от случайной ошибки, от невольного злоупотребления милостью божией, от скоропалительности, нерешительности, непоследовательности. А ведь вы вверены мне! Я в ответе за вас! Как дрожат мои руки, предлагающие вас Богу! Мне не позволительно допустить малейшую ошибку. Сколь тяжко мне оттого, что не могу броситься на колена рядом с вами, вместе с вами вознести благодарственную молитву! Изо дня в день я искал какого-то сверхъестественного подтверждения промысла божия в вашей душе, ожидал найти его в усердии вашем, во все большем уважении к вам, в обращении к вере истинной моей немногочисленной паствы. Но в вашей столь тревожной, столь мятежной жизни

знамение грянуло, как гром среди небес! Оно повергло меня в растерянность совершенную, ибо мне ясно теперь, что знак сей двусмыслен, что в самом чуде есть нечто сомнительное!

Он задумался, пожал плечами, как бы в знак своего бессилия:

— Господь свидетель, я не убоялся бы! Я с радостью бросил бы вызов людскому мнению! Меня постоянно обвиняют в независимости и даже неповиновении старшим. Есть, однако же, правила, которых нельзя нарушать. Можете сколько угодно полосовать себя бичом, я как-нибудь сам разберусь. Можете видеть во сне Дьявола, встречайтесь с ним хоть на каждом перекрестке — это меня одного касается. Но случай с дочкой Малорти, не менее правдоподобный, чем все остальное, открыл мне глаза. Я не могу позволить вам говорить и действовать в моем приходе по своему разумению… Я не могу довериться вам… Я должен… Мне придется… Я вынужден рассказать обо всем вышестоящему начальству. От моей помощи вам будет мало проку! В то же время вам не должно и утаивать что-либо. И тогда… тогда!.. Бог весть когда вы преодолеете наконец недоверие одних, сострадание других и всеобщую враждебность! Да преодолеете ли? Не ошибся ли

я в вас? Не слишком ли долго ждал я? Старику уже поздно решать, не прожил ли он жизнь зря. Да и умереть я, видно, опоздал…

Дониссан нарушил наконец молчание. Сомнения Мену-Сегре не только не смутили его, но, казалось, напротив того, вдохнули в него силы. Он робко возразил:

— Одного хочу я: жить тихо, скромно, как живут все, исполнять честно свой долг. Если бы вы только пожелали того, что помешало бы мне стать таким, как прежде? Кому было бы дело до меня? Нет во мне ничего замечательного. Совершенно справедливо меня считают вполне заурядным, недалеким священником… Ах, если бы вы только позволили, мне кажется, я жил бы совершенно незаметно даже для Господа нашего и ангелов его!

— Незаметно! — с мягкою укоризною вскричал Мену-Сегре (на устах его играла улыбка, но в глазах стояли слезы)… Он не договорил, потому что послышались необычно торопливые шаги домоправительницы. Почти тотчас дверь распахнулась, показалось бледное лицо женщины, и она выпалила, питая, как все старухи, пристрастие к дурным вестям:

— Дочь Малорти наложила на себя руки!

И добавила, довольная произведенным впечатлением:

— Перерезала себе горло бритвой!

Ниже следует письмо его преосвященства канонику Жербье:

«Дорогой каноник,

примите изъявления моей благодарности за проявленное Вами хладнокровие и мягкую настойчивость во время известных Вам событий, наполнивших скорбью мое отеческое сердце. Злосчастный аббат Дониссан вышел на неделе из Вобекурской лечебницу, где был окружен неусыпными заботами врача господина Жолибуа. Сей лекарь, питомец доктора Бернхайма из Нанси, поведал мне вчера о состоянии здоровья возлюбленного чада нашего, выказав при сем широту взглядов и трогательную заботливость, нередко восхищавшие меня в некоторых служителях науки, которых, к великому сожалению, ремесло их отвратило от веры божией. Причиною сей кратковременной хворости он почитает чрезвычайно сильное отравление нервных клеток, ки-

шечного, судя по всему, происхождения.

Не оставаясь чужд милосердия, коему должно быть непреложным правилом жизни нашей, я скорблю вместе с Вами о небрежении, ежели не сказать более, господина настоятеля кампаньского собора. Когда бы он действовал ясно и решительно, у нас не возникло бы, очевидно, хотя бы и временных неурядиц с мирской властью. Тем не менее благодаря Вашему мудрому посредничеству доктор Гале, по скором разрешении возникшего спервоначала недоразумения, выказал к нам достойную всяких похвал любезность, придя нам на помощь, когда старались о том, дабы избежать нежелательной огласки. Кстати, поставленный им диагноз был подтвержден его именитым коллегою из Вобекура. Оба поступка делают столько же чести его человеческим качествам, сколь и врачебным его познаниям.

Показаний мадемуазель Малорти и признаний, сделанных ею незадолго до кончины в состоянии совершенного умственного помешательства, было бы, вероятно, недостаточно, чтобы унизить

в лице господина Дониссана достоинство духовенства. Однако господин настоятель ни при каких обстоятельствах не должен был допустить, чтобы господин Дониссан находился у одра умирающей, невзирая на решительные возражения господина Малорти. Разумеется, ни один здравомыслящий человек не мог предвидеть последующих событий. Во всяком случае, не должно было принимать во внимание объявленную во всеуслышание волю сей молодой особы, требовавшей перенести ее к церкви, дабы испустить дух у дверей храма божия. Мало того что отец и лечащий врач не желали позволить сей неосторожности, но и все, что известно нам о прошлом мадемуазель Малорти и безразличии ее к вере, должно было бы склонить к мысли, что близость смерти омрачила слабый ее рассудок, тем более что она лечилась по поводу душевного расстройства. Не поддаются описанию последовавший за сим жестокий спор и странные речи несчастного викария! Но уже совершенно неописуемо словами совершенное им похищение, когда, в бук-

вальном смысле слова, вырвав болящую из отчих рук, он отнес ее, окровавленную и уже отходящую, в церковь, которая, по счастию, находится в небольшом расстоянии! Такого рода крайности принадлежат векам минувшим и совершенно нетерпимы в наше время.

Хвала Господу, вызванный сим происшествием шум удалось замять. Некоторые добрые люди, движимые более ревностью к вере, нежели благоразумием, уже разглашали весть о чудесном обращении in articulo mortis [2], неправдоподобие коего сделало бы нас всеобщим посмешищем. Мне пришлось вмешаться и навести порядок. Наше решение удовлетворило всех, исключая, разумеется, господина кампаньского настоятеля, который, замкнувшись в высокомерном молчании и отказавшись предоставить нам необходимые сведения, выставил себя в весьма странном по меньшей мере свете.

В исполнение моей воли господин аббат Дониссан удалился в Тортефонтенскую

---

[2] Примечания: 2
На смертном одре (лат.).

пустынь, где и пребудет, покуда получим известие о совершенном исцелении от поразившего его недуга. Правду сказать, безоговорочная покорность господина Дониссана весьма располагает в его пользу, и я полагаю, можно надеяться, что, когда сии прискорбные события будут преданы забвению, станет возможно приискать ему в епархии скромную должность, его способностям соразмерную».

Действительно, по миновании пяти лет бывший кампаньский викарий был назначен священником небольшого прихода в деревушке Люмбр. Каждому известны совершенные им там богоугодные дела. Слава, рядом с которой тускнеет самая громкая мирская слава, нашла в том глухом сельце нового арского святого. Вторая часть настоящей книги повествует о последних годах жизни сей поразительной личности на основании письменных и устных свидетельств, подлинность которых никто не дерзнет оспаривать.

Часть вторая
ЛЮМБРСКИЙ СВЯТОЙ
I

Он распахнул окно, ждал еще чего-то. В черной, мокрой от дождя пустоте слабо мерцала церковь, единственный островок жизни… «Вот и я», проговорил он, как сквозь сон.

Внизу старая Марта гремела засовами. В отдалении под молотом кузнеца зазвенела наковальня. Но он не слышал: в этот ночной час бесстрашный муж, ставший опорой столь многих, шатался под тяжестью великой ноши своей. «Бедный люмбрский кюре! — с улыбкой говаривал он. — Ну много ли от него проку?.. Спать и то разучился!» И добавлял: «Поверите ли, я боюсь темноты!»

По мере того как ночной мрак сгущался, горевший в ризнице светильник все ярче очерчивал высокие стрельчатые окна о трех средниках. Как раз над ними возвышался деревянный шпиль башни, некогда возведенной между хорами и средней частью храма, и грузная колокольня. Но он не видел их. Он стоял одиноко у окна и глядел во тьму, словно дозорный на носу корабля. Дико

ревя, окрест него вздымались тяжкие волны мрака, из безбрежного пространства мчались навстречу ему незримые поля и леса… Там, за полями и лесами, другие села и городки, неразличимо схожие, готовые лопнуть от изобилия, враждебные неимущим, густо населенные затаившимися скупцами, — могильным холодом веет от них… А еще дальше бессонные города.

— Боже мой! Боже мой! — мог только шептать он, не в силах ни плакать, ни молиться… Мгновения падали в мрак неотвратимо, как последние капли жизни, вытекающей из лежащего на смертном одре. Как бы коротки ни были ночи, день встает слишком поздно: Селимена успела нарумянить губы, бражник проспаться… Вернувшаяся с бесовских игрищ ведьма, еще пышущая жаром, забралась под белые простыни… День встает слишком поздно. Но единственный правый суд все равно застанет людей врасплох, из конца в конец земли.

Дониссан медленно опустился на колена, словно корабль, столбом погружающийся в море. Ему не пришлось бы идти далеко в поисках справедливости, которой ждет от министра финансов великодушный народ: она таится где-то там за краем земли, уже готовая, сотканная из сияния

близкой зари, неотвратимо восходящая среди клочьев разметанной тьмы. Разжатая ладонь не сожмется более… слово присохнет к устам… чудище по имени Эволюция замрет навсегда, перестав раскручивать витки своего тулова и клокотать… В грозном зареве зари, занимающейся в сердце человечьем, застынет в незыблемом постоянстве самая тайная мысль, и двуликое изменчивое сердце не возможет более отречься от себя… Consummatum est, то есть: определено вовеки.

Инспектор Академии господин Лойоле (имеющий степень кандидата гуманитарных наук) пожелал видеть люмбрского святого, о котором был столько наслышан, и тайно посетил его в сопровождении дочери и супруги. Рассказывая позднее о своей поездке, он был несколько взволнован: «Я представлял себе человека почтенного, получившего приличное воспитание и умеющего держаться в обществе. Но этот попик просто неприличен: ест прямо на улице, как последний нищий…» И присовокуплял: «Как жаль, что такой человек верит в Дьявола!»

Да, люмбрский святой верит в Дьявола, и в ночь сию его томит страх. Впоследствии он признавался: «В продолжение многих недель меня угнетало новое, непривычное мне чувство. Вся жизнь моя

прошла в исповедальне, и вот внезапно мною овладело ужасное чувство беспомощности. Я испытывал не столько сострадание, сколько отвращение. Лишь поживши в шкуре простого священника, можно постичь ужасающее однообразие греха!.. Я не знал, что сказать им. Я мог лишь отпускать грехи их и плакать...»

Облачная пелена разлезается клочьями. Одна, две... рои звезд зажигаются в ночном поднебесье. Из разорванной ветром тучи сеется дождик, невесомая водяная пыль. Дониссан вдыхает освеженный, легкий после грозы воздух... В эту ночь он перестанет бороться: ему нечего больше защищать, он отдал все, осталась одна пустота... Он-то хорошо изучил человечье сердце (он побывал там в своей сутане и тяжелых башмаках). Ох уж это сердце!

Старое сердце, где таится непостижимый враг душ, могучий и подлый, великолепный и низкий, проклятая утренняя звезда — Люцифер, или мнимая заря... Сколько же знает он, жалкий священник люмбрского прихода! Сколько в самой Сорбонне не знают. Столько вещей, о которых не пишут и говорить то едва отваживаются, в которых признаются, словно раздирая заросшую уже рану. Столько вещей! И еще знает он, что есть

человек: взрослое дитя, закосневшее в пороке и томящееся скукой.

Что нового может узнать старый священник? Он прожил тысячи жизней, неотличимо похожих одна на другую. Его уже ничем не удивишь — он может умереть. Появляются новые воззрения на нравственность, но грех неизменен.

Впервые он усомнился — не в Боге, но в человеке. Его обступают воспоминания, чудятся невнятные жалобы, сбивчивые от жестокого стыда признания, мучительный вопль тайной страсти, когда проницательная догадка застигает ее врасплох, когда она выхвачена внезапно из убежища и корчится под ножом обличительных слов… Мерещатся ему жалкие измученные лица, взгляд, где борется желание признаться и страх, складка безвольной покорности у рта и горькое «нет!», слетающее с губ… Сколько мнимых мятежников, таких красноречивых на людях, позорно валялось у него в ногах! Сколько гордецов, носящих в сердце гаденькую тайну! Сколько стариков, похожих на отвратительных детей! Но более всего юных корыстолюбцев, глядящих на мир холодным взором, никогда не прощающих.

Сегодня те же, что и вчера, что и в тот далекий день, когда Дониссан ступил на стезю свою… Уже

близится конец земных трудов, как вдруг исчезла преграда, которую он силился сокрушить. Те, кого он хотел избавить, отреклись от свободы как от бесполезного бремени, а враг, преследуя которого он достиг самого неба, хохочет внизу, неуловимый, неуязвимый. Над ним посмеялись, как над дураком! «Мы хотим покоя», — говорят они. Нет, не покоя, но короткого отдыха, передышки среди блужданий во мраке… Они приходили, изливали у ног отшельника мерзость души и возвращались к своим печальным утехам, к гнусной своей жизни. (Он сравнивал себя со старой изгаженной стеной, где прохожий оставляет мимоходом непристойный след и которая медленно ветшает, храня несметное множество постыдных тайн.)

Никто из тех, кого он столько раз утешал, даже не вспомнит его. В час сей, один из самых грозных в его жизни, ему кажется, что он нигде не поспевает, что все идет прахом. На ум ему приходят вдруг разные предательские мысли, которые он долгие годы гнал прочь и которые предстают теперь в совсем другом свете. Во всем находит он некий смысл и какой-то особый вкус… Впервые он глядит без любви, но с состраданием на жалкое стадо обреченных насыщаться и умирать. Он вкушает горькое чувство поражения и величия.

Но дерзновенный дух его во мраке безысходного отчаяния не желает признать себя побежденным — любой ценою он стремится обрести равновесие.

Дониссан поднялся с колен, вперил в пространство взгляд непреклонных очей… Сколько еще будет таких ночей, пока настанет последняя его ночь! Но неизменно милость божия будет находить кого-нибудь в толпе, неизменно будет метить своей печатью того, к кому справедливость пробивается сквозь время, как свет звезды. И загорается звезда, покорная их зову.

Он уже не смотрит на церковь, взор его устремился поверх нее. Все трепещет в нем от мрачного восторга. Он почти уже не страдает, он застыл навеки. Он ничего не желает более, он побежден. Стена рухнула, и гордыня, некогда изгнанная, хлынула неудержимо в душу ему.

— Сам того не видя, я обрекал себя муке вечной, — рассказывал он позднее. — Я чувствовал, что отвердеваю, как камень.

Вновь посещает его давно взлелеянная мысль: удалиться в какой-нибудь заброшенный в глуши монастырь, к братьям картезианцам или траппистам, и там доживать свой век. Но теперь она является не так, как прежде: сердце щемит слад-

ко и сильно, и как-то странно кружится голова. Прежде в такие мгновения пастырь отнюдь не покидал в мыслях паствы своей: он мечтал увести ее с собою в место покаяния, чтобы жить там подле нее и снискать прощения, заботясь о ней. Но и это последнее воспоминание тускнеет и гаснет. Неутомимый опекун душ жаждет лишь покоя. Но есть еще одно тайное желание, наполняющее его сладким томлением, — желание умереть, подобное жажде слез… И слезы бегут из его очей, не облегчая, и простодушный старец не понимает, что с ним, и дивится, отчего так сладко теснит грудь. Он готов уступить, так и не разомкнув век, последнему искушению, поглотившему до него столько пламенных душ, отринувших единым порывом мирские радости затем лишь, чтобы обрести небытие и с восторгом кануть в него навеки. В исходе долгих лет непомерного напряжения сил, столько раз преодоленная, копившаяся в нем усталость хлынула из жил его, как кровь. Он не испытывает никаких угрызений совести. С непостижимым проворством лукавый враг его, словно мерзко издеваясь над материнской заботой, окутывает его, как саваном, сей безмерной истомой!.. Напрасно удрученный старец устремляет в рассветный полумрак свой

взор, где в последний раз зажегся огонь и где не блеснет уже отсвет зари. Он ищет в себе и ничего не находит, решительно ничего, где могло бы гнездиться искушение, ни малейшего признака действия той силы, что медленно подтачивает его крепость перед очами бесстрастного господина. Он мечтает уже не о монашеской обители, но о чем-то еще более сокровенном, нежели одиночество: о бесконечном падении в головокружительную пучину, в мрак непроглядный. Тому, кто столь долго держал в рабстве плоть свою, блаженство явило наконец свой истинный лик, навеки неизменную негу. Однако не сей образ и не какой-либо иной взволновал старого отшельника, но вожделение другого свойства, пробудившееся в его бесхитростной и строптивой душе: безумная жажда знания, погубившая прямодушную матерь рода людского, в раздумий стоявшую на пороге Добра и Зла. Познать, чтобы разрушить, и, разрушая, вновь познавать и жаждать, — о, солнце Дьявола! — жаждать небытия ради небытия, в упоении безумства! У святого осталось сил лишь для того, чтобы желать сего страшного покоя. Божественная милость опустила завесу на очи, где так недавно еще светилась божественная тайна… Неизменно ясный взор

блуждает теперь, не находя опоры… Какая-то юная сила, детская ненасытность, похожая на первое жгучее волнение чувств, разливается теплом по старым жилам, толкается в тощей груди… Он ищет вслепую, жадно нащупывает смерть сквозь тысячи пелен слабеющей рукой.

Был ли смысл в его жизни до сего величавого мгновения? Он не знает. Позади него мертвая пустыня и людские толпы, которые он мимоходом благословлял. Но что там? Стадо все еще трусит вослед ему, не отстает, ненасытно требует, не давая ему передышки, тревожно ревет и топочет, словно от боли. Нет, он не обернется, он не хочет! Его оттеснили сюда, к последнему пределу, но дальше — о, чудо! — страна тишины, полного, вожделенного безмолвия, там он обретет покой.

— Умереть, — шепчут его губы, — умереть…

Он медленно произносит слово по слогам, дабы проникнуться им, впитать сердцем сок его… И в самом деле, он чувствует его в себе, оно разливается по жилам, как тонкий яд… Он думает еще упорнее, напрягает все силы, им все более овладевает какое-то лихорадочное нетерпение — ему хочется разом опорожнить слово, ускорить конец. Сей нетерпеливый порыв выражает стремление грешника все глубже погрязать в зле,

дабы спрятаться там от судии. Настал час, когда власть Сатаны становится неодолимой, когда к единой мете стремятся сопряженные силы тьмы.

Но взор его устремляется ввысь, к прямоугольнику сереющего неба, где рассеивается мглистая ночь. Никогда еще не молился он с такой твердой волей, с такой страстью, никогда голос его не звучал так громко: уста шептали, но внутри него шепот гремел, словно раскаты грома, плененные в бронзовой скале… Никогда еще смиренный чародей, стяжавший столь шумную славу, не был так близок чуда, не видел его вплоть. Впервые, вероятно, тиски воли ослабили хватку, разжались непреодолимо — довольно было бы произнести в безмолвии одно-единственное слово, чтобы все рухнуло бесповоротно… Да, стоит еще немного податься его железной воле, и он обретет желанный покой… Он не смеет уже глядеть ни на церковь, ни на окутанные рассветной мглою жилища своей немногочисленной паствы. Какой-то стыд еще удерживает его, он спешит избавиться от него, сделав непоправимый шаг… К чему беспокоиться о каких-то пустячных делишках? Он опускает взгляд к земле, последнему прибежищу своему.

II

И тогда дважды брякнуло кольцо калитки со стороны Шавраншской дороги. Захлопали крыльями куры, загремел цепью Жако, и все это поднялось слитным чистым звуком в ясном утреннем воздухе.

Деревянные сандалии старой Марты уже звонко хлопали по ступеням — цок, цок, потом глухо зашлепали по мокрой траве — топ-топ. Заскрежетал засов.

Святой очнулся. Совершенное безмолвие есть лишь по ту сторону жизни. Как родниковая вода, действительность просачивается сквозь тоненькую трещинку и устремляется в свое русло. Едва заметный знак, едва прошелестевшее слово воскрешают исчезнувший мир, а напомнивший давнее прошлое запах имеет над нами власть большую, нежели сама смерть… Невольно глаза старца обратились к висевшим на гвозде простеньким серебряным часам-луковице, сохранившимся со времен высшей семинарии. «В такую рань… Видно, заболел кто-то», — подумал он. Заболело одно из чад его!

Мгновенным мысленным взором он окидывает

широко разбежавшиеся домишки сельца, дымы от печных труб, встающие над деревами. Все обитатели невеликого прихода и столько душ на белом свете, чьей крепостью и отрадою он был, зовут его, произносят его имя… Он внемлет, он откликнулся, он готов.

Что ждет его внизу лестницы, «насеста», как он любит называть ее? Какие слова? Чье лицо? Какое сражение вновь предстоит ему? Ибо гнездится в нем нечто словом не выразимое, нечто тяжкое и громадное лежит в сердце: Дьявол, тоска его и страх. Он знает, что мира не обрел. Вместе с ним дышит другое существо, потому что искушение есть как бы рождение в человеке другого человека, и плод сей устрашающе растет, тяжелеет. Он влачил ношу свою, не смея бросить. Где бы он мог оставить ее, как не в другом сердце?

Но святой по-прежнему один подле распятия. Единственного друга своего.

— Батюшка! — кличет Марта. — Батюшка!..

Сам не заметив как, он сошел по лестнице, бредет, словно во сне, через кухню к двери, ведущей в сад… Старушка тащит его за рукав.

— В гостиной, батюшка, в гостиной…

Как бы с огорчением, она легонько пожимает плечами.

Чудо как хороша до блеска навощенная гостиная. Там шесть соломенных стульев, два куличьих чучела и большая раковина на каминной полке серого мрамора, а на видном месте красуется громоздкая гипсовая статуя Пречистой Девы Лурдской какого-то ужасного синюшного цвета (ее привезла из Конфлан-сюр-Марн сестра Сен-Меморен, ездившая туда на прошлую пасху). На стене, оклеенной обоями с выцветшими разводами (совершенно того рода, что можно видеть на любом постоялом дворе), висит в дубовой, заросшей плесенью раме картина, изображающая положение во гроб, а рядом с единственным окном большой крест черного дерева, простой крест, без распятого Христа.

(Едва вошед в гостиную, священник упирается в него взглядом и сразу отводит глаза.)

— Батюшка, — говорит Марта, — пришел хозяин Плуи — мальчонка у него захворал…

Хуторянин встал, откашлялся и сплюнул в печную золу. На столе еще курилась парком порожняя чашка из-под кофе.

— Который? — рассеянно спросил старик… и сразу осекся, покраснел от взгляда Марты, сбивчиво залепетал что-то… Боже мой, кто не знает, что у хозяина Плуи единственный сын! Однако гость

не удивляется и невозмутимо растолковывает:

— Тьено, мальчонка наш… Как вернулись от вечерни, живот у него схватило, вроде объелся чего. Ну а потом голова разболелась, болит и болит, спасу нет… А под утро он, значит, и говорит матери… «Мамка, у меня все отнялось». И точно, ни рукой, ни ногой ворохнуть не может, лежит пластом. Паралич его разбил, и глаза уже закатились. Тут господин Гамбийе говорит мне: «Бедный Арсен! Кончается мальчик-то!» Говорит, менингит у него. Ну а мать услыхала… Сами знаете, мать есть мать… Ничего слышать не хочет… Немедля поезжай, кричит, привези люмбрского святого… Ну, запряг я конягу да прямо к вам…

Он глядит на старца полными слез добрыми глазами, но в глубине их прячется усмешка. Мы-то, мужики, знаем, мол, эти бабьи причуды! (Да и святой тоже! Чего только о нем не рассказывают, а он и о мальчонке-то не знает, растолковывай ему все, как малому дитяти!)

— Дружочек… Дорогой мой… — бормочет аббат, — я бы с радостью… то есть я… поехал бы… боюсь только… Люзарн-то ведь не в моем приходе!.. Ваш священник… Я очень тронут тем, что госпожа Авре вспомнила обо мне… несчастная женщина!.. Но я должен… мне следовало бы…

Больше всего он боится оскорбить своего обидчивого собрата. Да и сам он такой гадкий сегодня!

Но хозяин Плуи не намерен вступать в дальнейшие объяснения. Он уже обмотал шею шарфом, на все пуговицы застегнул драповое пальто, а Марта решительно сует в руки своему господину позеленевшую от времени шляпу… Надо идти. Он идет.

III

Священник люзарнского прихода — человек бесхитростный. Он довольствуется малым, узким кругом несложных чувств, осторожности ради сохраняемых в тайне. Он еще молод в свои пятьдесят лет и всегда останется таким: у него нет возраста. Совесть его чиста, как страница толстой книги без помарок и пятен. Ему есть что вспомнить, он знавал радости. Он перебирает их в уме и удивляется тому, что они совсем уже засохли и разложены в памяти в дивном порядке, каждая на своем месте, словно строгие ряды чисел. Полно, были ли они настоящими радостями? Дышала ли когда-нибудь в них жизнь? Билось ли живое сердце?.. То был добросовестный, испол-

нительный, дотошный кюре, во всем любящий добрый порядок, преданный своему сословию, не отстающий от времени, следящий за новейшими веяниями и сообразно им порицающий одно и одобряющий другое, из всего извлекающий хоть какую-то выгоду, рожденный для чиновничьей службы и нравоучительных проповедей. Он предрекал искоренение пауперизма — пользуясь ходячим ныне словцом, ежели будет покончено с пьянством и венерическими болезнями, словом, стал провозвестником здоровой, закаленной спортом молодежи, идущей на приступ царства небесного в шерстяных трико.

«Наш святой», — говорит он порою с тонкой улыбкой. Но в пылу спора ему случается совсем другим голосом сказать «ваш святой». Ибо, хотя он частенько пеняет правителям епархии за буквоедство и чрезмерную осторожность, но весьма в то же время сокрушается о беспорядке, учиненном в столь тихом ведомстве одним из сих чудодеев, из-за которых путаются все расчеты. «Его преосвященству надлежит выказать весьма и весьма много осторожности и умения применяться к обстоятельствам», — заключает он, такой же осторожный, как каноник, заранее ощетиниваясь извлечениями из богословских книг…

Великий Боже! Одна морока с этими святыми! Но что поделаешь? Надо как-то уживаться с ними.

Каждый новый оборот колес приближает люмбрского пастыря к сему неумолимому блюстителю порядка. Он уже видит сквозь мглу серые глаза, живые, беспокойные, насмешливые, где то вспыхивают, то гаснут огоньки. Привезенный за шесть верст от своего бедного прихода к постели умирающего сына богатых родителей в качестве чудотворца! Дичь какая-то, нелепость! Срам, просто срам! Он явственно слышит, каким ехидным голоском приветствует его коллега, и вздрагивает, пораженный в самое сердце… Чего все они хотят от него? Какое чудо надеются они получить из этой старческой руки, бессильно подрагивающей при каждом толчке повозки?.. С каким-то детским испугом он глядит на мужицкую, никогда дочиста не отмывающуюся руку. Ах, кто он среди них, как не бедный упорный землепашец, который, прилежно налегая на сошник, подвигается шаг за шагом по обширному пустынному полю! Всякий день доставляет новые заботы, и нужно вновь и вновь трудиться, подобно оратаю, вздирающему целину и бредущему за сохою, увязая в земле ногами, обутыми в тяжелые чеботы. Он идет, идет, не оборачиваясь, роняя

одесную и ошую безыскусные слова, неутомимо благословляя крестным знамением (так пращуры его осенним мглистым днем метали в землю семена ячменя и пшеницы). Почему приходили к нему из такой дали мужчины и женщины, зная лишь имя его да полусказочную молву о нем? Почему к нему, а не к другим пастырям, в городах и больших селах, кто умеет складно говорить и знает суетный свет? Сколько раз в исходе дня, полуживой от усталости, ломал он голову над этим вопросом и мучился, не находя ответа. Потом смежал веки и засыпал наконец с мыслью о непостижимых дарах господних и причудливых путях его… Но сегодня… Почему чувство неспособности своей творить добро унижает его, вместо того чтобы умиротворять? Иль столь горьки слова самоотречения устам верного слуги божиего? О, странная прихоть сердца! Столь недавно еще он помышлял бежать от людей, от суеты мирской, от вселенского греха; последней, напоенной горечью радостью его стало бы в смертный час воспоминание о безмерном и тщетном труде, о величии жизни и безграничном одиночестве своем. Но вот теперь он усумнился в самом труде своем, и Дьявол тянет все дальше вниз… Это он-то мученик самоотречения? Смиренная, избранная

Богом жертва? Как бы не так! Невежественный изувер, доведший себя до исступления постом и молитвою, блаженный посконник, которому дивятся праздные зеваки и одуревшие от скуки бездельники… «Да!.. Да…» — шептал он, трясясь в повозке и глядя перед собой отсутствующим взглядом… Живые изгороди по-прежнему бежали одесную и ошую, бричка летела, как во сне, но неизбывная тревога забегала вперед, ждала его у каждого дорожного столба.

Ибо сей необычный человек, приявший в лоно свое тяготы бесчисленных собратьев, наделенный редкостным даром утешения, сам не был утешен. Известно, что изредка он открывал свою исстрадавшуюся душу и изливал печаль свою в слезах на груди отца Бателье, моля небо о сострадании, всхлипывая и жалуясь, как малое дитя. В пахнущих плесенью потемках убогой люмбрской исповедальни коленопреклоненные чада его лишь слышали дивный голос, без помощи красноречия сокрушавший броню самых очерствелых сердец, проникновенный, молящий и кротко непреклонный. Миротворное слово, изроненное во мраке святилища от незримых уст, ширилось до небес, исторгало душу из грешной плоти и являло ее Богу изящно совершенной

и свободной; слово простое, звучащее в самом сердце, ясное, выразительное, значительное в кротости своей, обретавшее помалу власть неодолимую, неотвратимую; слово, назначенное нести верующим смысл заповеди божественной, в котором те, кому оно было особенно дорого, не единожды ощутили мощь неистовейшей души и как бы слышали отголосок ее. Увы, сей водворитель мира в человеках, столь щедро расточавший себя ради ближнего, обретал в собственной душе лишь сумятицу, разброд, неистовый пляс пестрых образов, плищ бесовский, где все корчилось и вопило… А потом наставала жуткая тишина.

Для многих так и осталось навсегда необъяснимой загадкой то обстоятельство, что человек, которого тысячи людей избирали судьей для разрешения самых жгучих вопросов долга и совести, в делах, имевших касательство до его собственной совести, всегда был неуверен, почти робок. «Мною забавляются, — говаривал он. — Я им вроде игрушки». Так с щедростью расточительной даровал он покой, которого не ведал сам.

IV

— Вот и приехали! — сказал хозяин Плуи, указывая кнутовищем на дым, подымавшийся к небу среди деревьев.

Какой-то паренек в небесно-синих коротких штанах отворил ворота и принял вожжи. Когда бричка въехала на подворье, Авре соскочил наземь и направился к дому, сопровождаемый гостем.

На крыльце их встретил священник люзарнского прихода, высокий мужчина в черном облачении.

— Дорогой коллега, — промолвил он, — вас ждут здесь с таким же нетерпением, с каким во время оно удрученный горем знатный вельможа ждал святого Винцента!..

Он весело, но сдержанно улыбался, стараясь, видимо, о соблюдении приличий, подобающих духовному лицу в доме, где лежит при смерти ребенок, и, как бы в извинение своей шутки, крепко, по-мужицки, пожал Дониссану руку.

Однако викарий тотчас увлек коллегу во двор, где они стали в некотором удалении от крыльца, вызвав переполох среди кур.

— Мне, право же, совестно, друг мой, очень совестно, — начал Дониссан, стараясь говорить как можно мягче. — Умоляю вас простить невежество бедной женщины… и меня покорно прошу извинить… Мы побеседуем об этом позднее, продолжал он уже другим голосом, — и вы убедитесь, что я… что главная вина на мне…

Сильные, немного дрожащие пальцы сжали у локтя руку люзарнского кюре. Даже когда этот сверхъестественный человек умышленно унижался, дарованная ему божественная сила излучалась вне и подчиняла собеседника.

— Добрейший собрат мой, — отвечал бывший профессор химии уже не так весело, — не стоит виниться передо мной… Не знаю уж, так это или не так, только я слыву вольнодумцем, а некоторые даже считают меня крамольником… Я, знаете ли, изучал точные науки… Конечно, тут есть оттенки… немного другой словарь… Тем не менее… я весьма уважаю вас за характер…

Он говорил, потупив глаза, испытывая растущую неловкость. Он сам себе казался смешным, просто отвратительным. Наконец, совершенно смешавшись, он умолк, но, еще не подняв головы, видел, словно внутри себя, как бы в бездонном зерцале, взгляд, устремленный прямо ему в глаза.

Помимо своей воли, он жадно впитывал сей взор, отдавался целиком во власть его… На какой-то миг он почувствовал, что предстал якобы нагим всепрощающему судии.

На обмякшем, дрожащем, мертвенно-бледном лице он видел одни глаза, зовущие его из безмерной дали, молящие, полные отчаяния. Взор их был сильнее протянутых рук, жалобнее стона — взор немой, бездонно черный, влекущий неодолимо… «Чего он хочет?» — вопрошал себя бедняга, объятый священным трепетом… «Мне казалось, он стоит среди огненного озера!» — рассказывал позднее люзарнский кюре. Неизъяснимая жалость стеснила ему сердце.

Рука Дониссана задрожала сильнее.

— Молитесь за меня… — прошептал на ухо ему святой старец.

Рука сжалась еще крепче; вдруг он резко отстранился и сказал совсем другим, жестким голосом, голосом человека, защищающего свою жизнь:

— Не искушайте меня!

Бок о бок они вернулись в дом, не проронив более ни слова.

Лишь этот вопль исторг старец. Ему хотелось объяснить, оправдаться, он сгорал от стыда при одной мысли, что входит в сей дом в облике да-

ятеля благ жизни, что совершит какую-нибудь роковую ошибку, оскорбит ближнего… И тут воспряли в единое мгновение силы, терзавшие его в продолжение всей мучительной ночи, и слова, которые он хотел сказать, и тайно зревшая в нем мысль растворились в нахлынувшей, всепоглощающей тревоге. Сколь бы низко ни увлек его неистощимый в выдумках враг, еще тянулась к внешнему миру хрупкая нить, еще звучали смутные его отголоски. Но вот могучая рука исторгла его из живого лона, вырвала с корнем… «Спасайся сам, пора! — гремел в нем незнаемый голос. — Кончилась бесплодная борьба, кончилось унылое однообразие побед! Сорок лет труда и скудного прибытка, сорок лет опостылевших споров, в гное их подлых душонок, сорок лет преодолено в поте лица, осталось позади. Спеши! Сделай твой первый, твой единственный шаг за пределы мира!..»

Голос говорил еще многое другое, но говорил лишь одно, многое в едином, слово единое, короткое, как взгляд, — и бесконечное… Прошлое сдиралось лоскутами, летело клочьями. Среди бурливой тревоги вспыхивала внезапно ослепительным сполохом жуткая радость, гремел в душе смех, сокрушающий самые крепкие до-

спехи… Ему вспомнился дождливый день, и он сам, будущий священник, во дворе семинарии… потом в высокой зале, обтянутой узорчатым шелком вишневого цвета, перед его преосвященством в короткой мантии и белой накидке… Вспомнились первые дни, проведенные в Люмбре, обветшалый церковный дом, голая стена, его окружающая, зимний ветер, гуляющий в тесном садике… А потом… потом безмерно тяжкий труд, и безжалостная толпа, денно и нощно осаждающая его, теснящаяся вокруг исповедальни божьего человека, как собиралась некогда у обители арского святого, сознательное отречение от всякой помощи людской… да, божий человек, отданный на растерзание ближним! Подчиненная, наконец, плоть, не ведающая ни отдыха, ни покоя, который не был бы куплен ценою поста и самобичевания; вновь и вновь возникающие сомнения, смятение и ужас от бесконечного прикосновения к смердящим язвам человеческого сердца, страшное зрелище несчетных душ, обреченных муке вечной, и отчаяние бессильного помочь им, протянуть им руки через бездну плоти; мучительное сознание напрасно потерянного времени, безмерность труда… Сколько раз и в эту ночь, и прежде его преследовали такие мысли!.. Но в час

сей его озаряет изнутри свет великого ожидания, великого и дивного ожидания. Пламя его сжигает остатки сущего в Дониссане создания. Он уже человек новых времен, его зовут вступить в иной мир… Как далеко позади остался старый мир и его резвоногое стадо! Он утратил уже, навсегда утратил жгучее чувство вселенского греха. Он чувствует лишь чудовищное ослепление попавших во власть порока, шитый белыми нитками, до смешного незатейливый обман, которому они поддались. О, жалкое, столь несовершенное сердце! О, бедный, скудный мыслями мозг! О, племя ничтожных личинок, копошащихся в грязи!.. Он не принадлежит ему более, оно перестало существовать для него. Он готов отречься от него, не питая к нему ненависти. Он всплывает из мрака к свету, подобно ныряльщику, который всей силою своей порывается из глубины, простерши перед собою руки и ловя открытыми глазами свет, льющийся из выси в текучую черноту вод.

— Ты свободен! — говорил тот человек (так похожий на него). — Твое прошлое, праздный и трогательный труд, посты, самобичевание, твоя несколько простодушная и грубоватая честность, унижение и самоуничижение твое, восхищение тобою одних и несправедливое недоверие других,

напоенное ядом слово, слетающее с уст, — все сон, тень сна! Все было сном, кроме медленного восхождения к жизни действительной, кроме твоего зарождения и крепнущей силы твоей. Приблизи ухо уст моих и вонми слову, заключающему всю мудрость!

Он напрягает слух, он ждет. Он пришел туда, куда вел его старый недруг, пускающий в ход все ту же уловку, извечный мятежник, униженный, попранный, истолченный в грязную жижицу, раздавленный огромной тяжестью, сожженный всеми незримыми огнями, вздетый на острие меча, исколотый, иссеченный, скрежещущий зубами в последних корчах под громогласные вопли небожителей, которому Бог дал единственную защиту: бесконечно повторяемую ложь… Увы, все та же ложь сочится из стиснутых уст скупца, рвется вместе с хрипеньем жуткого блаженства из ненасытной глотки лежащего на смертном одре: «Ты узнаешь… скоро узнаешь… Вот первая буква таинственного слова… Войди, войди в меня!.. Погрузи руки в горячую рану… Ешь и пей досыта!..»

Да, да, вас ждал он столько веков, латанный и перелатанный, подновленный, нарумяненный и обильно умащенный благовониями, лоснящийся

от жира, сверкающий всеми своими новехонькими зубами и являющий вам, снедаемому любопытством, свое иссохлое тело, жалкую ложь свою, откуда ваши изжаждавшиеся уста не высосут и капли крови!

«…Я увидел, вернее, мы увидели, — писал много времени спустя канонику Сибо кюре люзарнского прихода, бывший преподаватель низшей семинарии в Камбре, — что он стоит, полузакрыв глаза. Некоторое время мы глядели на него, не решаясь нарушить молчания. Черты его выражали обыкновенно елейную доброту, в которой некоторые рассудительные особы склонны были усматривать признак известной простоватости. Но в тот миг всем нам его костистое лицо показалось словно окаменевшим от крайнего внутреннего напряжения — так выглядит человек, призывающий на помощь всю свою волю, чтобы преодолеть мучительную нерешительность. Я заметил в то же время, что стан его поразительным образом распрямился и дышал в его преклонные лета мощью необыкновенной, я бы сказал, какой-то дикой силой. Хотя ум мой, некогда воспитанный на строгих правилах точных наук, весьма мало наклонен к игре воображения, меня столь поразил вид этого могучего человека, застывшего в

недвижности, словно молнией пораженного, под мирным кровом сельского жилища, что я подумал вдруг, не снится ли мне все это, и когда мой почтенный друг задвигался и заговорил, я был поражен так, как если бы случилось нечто в высшей степени неожиданное. Казалось, он проснулся внезапно. Выше я писал Вам, уважаемый коллега, что я вышел навстречу нашему дорогому собрату и встретил его у дороги, в некотором удалении от дома. Некоторые произнесенные им слова, вероятно не совсем понятые мною, усилили мое беспокойство. Я старался отвечать так, как внушало мне чувство дружбы и осторожность, как вдруг, сильно сдавив мою руку и наведши взор свой прямо мне в глаза, он промолвил: „Довольно искушать меня!..“ Тем и кончился первый наш разговор, так как мы подошли уже к дверям дома Авре. И тут во мне шевельнулось предчувствие беды… Увы, оно не обмануло меня! Дитя, состояние коего не оставляло, впрочем, ни малейшей надежды, угасло во время моей непродолжительной отлучки. Местная повитуха, мадемуазель Ламбелен установила кончину по всем правилам науки и с точностью, исключающей ошибку. „Он умер!“ — сказала она, понизив голос (не знаю, слышал ли ее коллега из Люмбра). Переступив

порог, господин Дониссан едва сделал несколько шагов, как вдруг, движимая трогательным порывом, в котором всякий просвещенный человек не может не признать выражения истинного благочестия, сожалея в то же время о чрезмерной горячности, проистекающей главным образом от невежества, несчастная мать буквально рухнула к стопам моего почтенного коллеги и, обеспамятев от горя, стала целовать полу его старой сутаны, биясь об пол лбом с такою силою, что сей глухой звук отдавался в самом моем сердце. Едва бедная женщина коснулась его, господин кюре из Люмбра стал как вкопанный, устремив недвижно взор перед собою. Он застыл, подобно изваянию, посреди комнаты и в течение нескольких томительных минут пребывал в том оцепенении, о котором я писал Вам выше.

Затем он осенил голову госпожи Авре крестным знамением, обратил свой взор ко мне и молвил: „Выйдем!“ Увы, дорогой и уважаемый коллега! Толико велика слабость рассудка нашего, постигнутого чрезмерно сильным впечатлением, что никакая сила, кажется, не помешала бы мне тогда последовать за господином Дониссаном, а удрученная страшным горем злосчастная мать позволила нам удалиться, не сказав ни

единого слова. Из всех нас одна мадемуазель Ламбелен сохраняла, видимо, присутствие духа. Хотя поведение и набожность сей особы весьма предосудительны, Господь преподал нам в ее лице урок здравомыслия и хладнокровия. Вне всякого сомнения, я стал в то ужасное утро как бы игралищем несчастного существа, которое мог бы уберечь от страшной беды благотворный совет, внушенный опытом и мудростью. Одному Господу ведомо, сделал ли он меня орудием гнева своего иль милосердия, однако последующие события склоняют чашу весов в пользу первого предположения».

Высокоуважаемый каноник, мирно пожинавший доходы от своей должности и отошедший ныне в мир иной, предстает, словно живой, в каждой строке сего поистине бесподобного письма, в сих благоразумных и сдержанных оборотах речи, как бы соединенных, подобно индийским каштанам, в длинную цепочку, где глупцы увидят одно дюжинное и пошлое, но где все словно окутано колдовскими чарами наваждения — единственного наваждения в убогой жизни человека, который лишь однажды усомнился в себе и не пережил ни этого единственного сомнения, ни неотвязного сна! За несколько месяцев до

кончины невинная жертва писала к одному из близких друзей:

«Вынужденный прервать работу, бывшую мне единственной отрадой, я не в силах освободиться из плена воспоминаний, из коих наиболее мучительное связано с горестной и непостижимой кончиной господина Дониссана, священника люмбрского прихода. Мысленно я непрестанно возвращаюсь к ней. Я вижу тут одно из тех весьма редких на свете явлений, превосходящих разумение обыкновенного человека. Слабое здоровье мое еще более пошатнулось из-за сих неотступных мыслей, в чем я усматриваю главную причину все увеличивающейся слабости и почти полной утраты аппетита».

Последние строки порадуют любого пакостника из породы тех, кто любит копаться в чужой жизни. Пусть сколько угодно барахтаются и сопят в зловонной жиже. Но если читать их без низменного любопытства, открыв сердце сей бесхитростной жалобе, нельзя не почувствовать искреннее горе, звучащее в сем признании бессилия, сделанном в выражениях столь высоких. Отчаянные усилия некоторых простых людей, рожденных для мирного труда и на краткое, молниею сверкнувшее мгновение прикоснувшихся

благодаря чудесному случаю самой сущности вещей, когда они до последней минуты своей неисповедимой жизни пытаются вспомнить, вновь ухватить то, что никогда не повторяется и что поразило их, как удар в спину, являют зрелище невыразимо печальное и порождают в душе чувство жестокой, пронзительной боли, с каким сравнится лишь горе, вызванное смертью младенца. Тщетно воскрешают они мысленно каждый свой шаг, восстанавливают в памяти мельчайшие события, буква за буквой перечитывают свою жизнь. Кажется, ничего не упущено, но прошлое лишилось смысла. Им кажется, будто пережитое случилось не с ними, они не узнают самих себя. Злая сила поразила всех, но упал стоявший рядом. Могут ли они остаться равнодушны к такой несправедливости судьбы, к бессмысленной жестокости случая? Как бы ни напрягались они, усилия их столь же тщетны, как трепет невинного беззащитного зверя, и в смертный час они падут под ударом судьбы, которой не заслуживали и которая осталась для них непостижимой. Ибо, сколь бы далеко ни хватал ум дюжинный, даже если допустить, что изредка он нащупывает мир действительный сквозь толщу условностей и наружных знаков, ему никогда

не сравниться с могучими духом, удел которых есть не столько знание бытия истинного, сколько сознание, что нам не дано уловить его и удержать целиком — о, жестокая насмешка истины!

Кто лучше сей досточтимой духовной особы написал бы заключительную главу жизни, свершившейся в одиночестве и молчании, оставшейся навсегда тайной? К несчастью, бывший священник люзарнского прихода оставил по себе лишь несколько частично сохранившихся писем, наиболее важные извлечения из коих мы приводили выше. Остальное было тщательно уничтожено по дознании, наряженном властями епископства, причем полученные сведения сохранялись до времени в тайне.

V

— Выйдем! — сказал святой отец из Люмбра.

Коллега последовал за ним, движимый отнюдь не колдовской силой, во что он сам искренне уверовал позднее, но простым любопытством: в чем же дело? Бывший профессор мало знал о старом священнике, ставшем неожиданно пастырем несметного множества верующих, все увеличивавшихся в числе. Каким чудом этому

странному человеку в облепленных грязью башмаках, который ходит всегда один и никогда не останавливается на дороге, удалось собрать вокруг исповедальни настоящую общину, целое сообщество преданных ему людей? Священник люзарнского прихода, новичок в епархии, разделял «в известной мере» недоверие кое-кого среди своих коллег. «Поживем, там видно будет», невинно говаривал он. И вот, благодаря случаю (еще одно излюбленное им слово) ему при первой же встрече представилась возможность доверительно беседовать с этой самобытной личностью.

Они вышли в тесный, обведенный стеною садик за домом. Яркие солнечные лучи пробивались сквозь листву и пятнами ложились на грядки латука. В воздухе стремительно проносились пчелы, подгоняемые западным, задувшим после восхода солнца ветром.

Люмбрский старец внезапно остановился, шагнул к спутнику. В резком свете дня его изможденное бессонницей лицо казалось мучительно искаженной личиной умирающего. Рот его жалко растянулся, губы дрожали. Какое-то время он крепился, потом перестал бороться с собой под устремленным на него взглядом любопытных глаз… Слезы брызнули у него из глаз.

Чувствуя жалость к нему, будущий каноник успокоительно поднял свою белую холеную ручку:

— Полноте, коллега…

Он говорил многословно, торопливо, первое, что приходило в голову, как и подобает в столь сложных обстоятельствах, обретая уверенность от звука собственного голоса, а сам не сводил внимательного взгляда с едва державшегося на ногах старика, поверяя оком впечатление от своих речей, ни на миг не сомневаясь в том, что столь неотразимое красноречие не замедлит оказать действие. «Этот приступ слабости, несомненно вызванный чрезмерно усердным служением Богу, есть лишь кратковременное испытание, но и предостережение свыше, ибо Господь, видимо, не всегда одобряет ваш непомерный пыл, мой благочестивый друг, все эти епитимьи, посты, ночные радения, которыми вы изнуряете себя…»

Он говорил без остановки, спеша кончить свою речь, щедрой рукой лия бальзам утешения и великодушных советов, как вдруг раздался такой странный о, так странно, так необычно звучащий! — голос человека, который не слушал и не станет слушать. Услышав этот стон, наш добряк тотчас понял, что напрасно тратил красноречие.

— Друг мой, друг мой, я больше не могу! Нет сил!..

Трясущиеся губы почти выговорили еще какое-то слово, но не кончили. Однако оно не ускользнуло от внимания коллеги, быстро оправившегося от растерянности.

— Вы сказали «отчаяние»? В каком это смысле? Но святой старец властно положил свою лихорадочную дрожащую ладонь на его руку и сказал:

— Давайте отойдем немного, вон туда…

Они остановились под старой полуобвалившейся стеной. Какая ликующая жизнь кипела тут!

— У меня нет сил, — жалобно повторил старец. — Пожалейте меня, друг мой, теперь единственный друг мой, не дайте милосердию совратить вас с пути истинного. Будьте тверды! Я всего лишь недостойный пастырь, жалкий священник, бесплодная душа, слепец, несчастный слепец!..

— Нет, нет, только не вы, — вежливо возразил будущий каноник, — но те немногие, кто дерзал злоупотребить вашей до… вашим прямодушием… Ведь так хочется верить в искренность лестных слов!

Он усмехнулся, отгоняя рукой назойливую осу (жужжавшую так же докучно, как эти самоупо-

енные, велеречивые уста), но, спохватившись, внушительно проговорил:

— Так я слушаю вас.

Люмбрский старец клонится вперед, падает на колена:

— Господь вручает меня вам, отдает в вашу власть!

— Какое ребячество! — негодует будущий каноник. — Встаньте же, друг мой, встаньте! Вы просто устали, переутомились, все представляется вам в преувеличенном виде. Я самый обыкновенный человек! Правда, некоторый опыт… — добавляет он с улыбкой.

Люмбрский пастырь отвечает ему горькой усмешкой. Какая разница! Прежде чем произойдет роковой поворот, ему хочется видеть в этом человеке друга, не избранного им, но посланного, очевидно, посланного ему Богом, последнего друга своего. Конечно, он уже не надеется, что можно будет поворотить вспять, обрести утраченный мир, начать новую жизнь. Слишком долго шел он гибельным путем и уже будет идти до конца, покуда хватит сил, рука об руку с единственным товарищем своим.

— Увы, — отвечал он, — каким я был в высшей семинарии, таким и остался: твердолобым бессер-

дечным упрямцем, презренным человечишкой, ставшим орудием в руках провидения. Ходящие обо мне слухи, упорное преследование, дружеское расположение ко мне многих грешников суть знамения и предзнаменования, смысл которых мне непонятен. Святость зреет в безмолвии, но в нем отказано было мне. Давеча мне нужно было молчать, и теперь мне не пришлось бы говорить вам то, в чем я собираюсь признаться… (Да, сердце мое обливалось кровью, когда я покидал при столь ужасных обстоятельствах несчастную коленопреклоненную женщину, постигнутую столь жестоким, о, столь жестоким горем…) Но тому есть, очевидно, причина… ибо, друг мой, когда я выходил уже за дверь… одна мысль… мне пришла в голову одна мысль…

— Какая же? — спросил люзарнский пастырь.

Он невольно склонился и приблизил ухо к губам старца, чтобы лучше слышать голос, понизившийся до неразборчивого шепота… Вдруг он выпрямился с выражением ужаса на лице и вскричал:

— О, друг мой, друг мой!

Он воздел руки к небу, потом скрестил их на груди, в глубокой скорби понурив широкие плечи. Старец по-прежнему стоял на коленях. Был

виден лишь седой затылок низко опущенной от стыда головы.

— Стало быть, эта мысль пришла вам в голову внезапно, в первый раз? раздельно проговорил люзарнский коллега.

— В первый раз.

— А прежде никогда не приходила?

— Боже мой! — воскликнул престарелый священнослужитель. — Конечно же, нет! Я несчастный человек. За долгие годы у меня не было и часу душевного покоя. Конечно, вам трудно поверить! Еще бы! Чудотворец! Святой в лапах Дьявола!.. По правде говоря, друг мой, за всю мою жизнь я, пожалуй, не совершил ни одного, хотя бы незаконченного, хотя бы неудачного деяния во имя божественной любви… Нет, мне должно было пройти через ужасные страдания этой ночи… Я более не принадлежу себе, в буквальном смысле слова… Я корчился в муках отчаяния… И тогда, словно в насмешку… тогда меня посетила эта мысль…

— Вы должны были гнать ее прочь, — возразил люзарнский пастырь.

— Поймите же, — смиренно отвечал старец, — я сказал «посетила», но я просто неудачно выразился. Это не мысль, но убеждение… (Ах, я не нахожу

слов, мне всегда не хватало слов! — воскликнул он с какою-то детской досадой.) Мне нужно идти до конца, возлюбленный брат мой, признаться во всем… Даже стоя перед вами на коленах, обуреваемый тревогой неизъяснимой, сомневаясь в самом спасении души моей… я верую… мне должно верить неколебимо, что убеждение сие мне внушил Господь!

— Получили ли вы — как бы сказать? — какой-либо ощутимый знак?

— Знак? — с простодушным удивлением переспросил старец.

— Ну, не знаю… может быть, вы что-нибудь видели или слышали?

— Ничего… Только внутренний голос. Если бы воля божия была изъявлена столь явственно, я повиновался бы незамедлительно. Но это был не приказ, но просто уверенность, убеждение в том, что так и будет… ежели я сам того пожелаю. Видит Бог, признание сие терзает мне душу, я просто сгораю от стыда… Я знал… знаю и теперь… я уверен… что единого моего слова было бы довольно, чтобы… Боже мой!., чтобы воскресить… да, оно воскресило бы мертвое дитя!..

— Посмотрите мне в глаза! — властно сказал люзарнский кюре по долгом молчании.

Обеими руками он стал подымать старика с колен, и когда тот встал перед ним и он увидел его низко опущенную голову и испачканные землей штаны, в нем шевельнулось дружеское участие.

— Смотрите мне в глаза… Отвечайте искренне… Кто воспротивился тому, чтобы вы испытали… немедленно испытали свою власть?

— Не знаю, — ответствовал старик. — Это было ужасно!.. Когда орудие слишком низменно, Господь выбрасывает его после того, как употребит для своей пользы.

— Но ваше… убеждение остается неколебимо?

— Да.

— Что вы решили делать?

— Повиноваться, — последовал ответ дивного старца.

Будущий каноник с живостью сдернул очки, взмахнул ими в воздухе.

— Советы мои будут чрезвычайно просты. Во-первых, вместе со мною вы вернетесь сейчас в дом и принесете свои извинения (столь неожиданный уход, вероятно, несколько удивил и обидел хозяев!). Пока я буду исполнять долг вежливости, вы пойдете, — вы хорошо меня слышите? — пойдете в смертный покой, отчитаете молитвы — словом, сделаете все, что считаете

нужным, сделаете на совесть… Мне не хотелось бы, чтобы в вашей душе, и так уже потрясенной, осталась хотя бы тень сомнения… Я все возьму на себя, заключил он после коротенькой заминки, резким взмахом руки словно отметая сомнения. (Он устыдился невольного, темного любопытства, шевельнувшегося в нем, и такой решительностью как бы пытался скрыть от самого себя эту слабость. Иногда самый заурядный человек, случайно затесавшись в игорную залу, поддается лихорадочному возбуждению собравшихся вокруг стола людей, бросает на сукно золотой двадцатифранковик и еще немного узнает себя.)

Засим люзарнский пастырь водрузил очки на нос и закончил:

— После чего, мой друг, вы будете благоразумны и отправитесь отдыхать.

— Я постараюсь, — смиренно ответствовал старец.

— Это будет зависеть от вас. По утверждению людей ученых, отдых есть акт воли. Даже бессонница, считают они, является одним из чрезвычайно многообразных проявлений безволия у многих больных. Уж поверьте опыту человека, основательно изучившего явления такого рода. Внезапный упадок душевных сил,

жертвой которого вы стали, есть, несомненно, естественная реакция переутомленного организма. Будем откровенны, дорогой коллега. В девяти случаях из десяти душевный мир, в поисках которого вы заходите столь далеко, весьма легко достижим: чтобы обрести его, достаточно соблюдать правила гигиены. Разумеется, такого рода истины подчас опасны в устах духовного лица и, во всяком случае, должны преподноситься с изрядной осторожностью. Но я могу не опасаться, что человек вашего ума даст им превратное толкование… вроде тех щепетильных особ…

— Вы считаете меня безумным, — мягко проговорил старец, поднимая глаза и устремляя на собеседника взор, исполненный неизъяснимой нежности.

— Увы, — продолжал он, — еще недавно я рад был бы лишиться рассудка. Порою просто видеть само по себе уже столь тяжко, что лучше бы Господь разбил зерцало. И оно будет разбито, друг мой… Трудно стоять у распятия, но еще труднее пристально глядеть на него… Какое страшное зрелище, друг мой, смерть невинного существа! В сущности, в самой смерти нет ничего особенного… Наверное, можно убить сразу, ускорить конец, набить землей неисповедимые

уста, заглушить вопль… Но нет, рука, сдавившая несчастного, несравненно могуча и искусна, и взор, упивающийся зрелищем страданий, не есть человеческий взор. Всесильна свирепая злоба, что тешится муками испускающего дух праведника, нет ей преград. Божественную плоть не только терзают, но и насилуют, оскверняют кощунством беспредельным даже в великий час кончины… То глумление Сатаны! Радость, непостижимое ликование Сатаны, друг мой!..

Он помолчал и добавил:

— По сравнению с таким зрелищем непотребство человеков кажется чистотою непорочной…

— Восхождение на Голгофу… — начал было будущий каноник и не кончил.

Все смешалось в голове сего ученика Декарта в сутане. Если бы некий достославный мыслитель, чьи речи открыли иной чувственный мир перед толпами его прелестных слушательниц, который, искусно сочетая математику и остроумие, превратил вопрос бытия в развлечение праздных умов, услышал однажды членораздельную речь в устах одного из диковинных созданий, собранных целиком из пружин, рычагов и зубчатых колесиков, он так же опешил бы, как наш незадачливый священник, бывший доселе столь

твердым и сбитый вдруг с толку, совершенно растерявшийся.

Люмбрский святой приставил острый перст свой ко лбу будущего каноника и проговорил медленно, хрипло:

— Бедные мы, бедные! Здесь у нас немного мозга и сатанинская гордыня! На что мне ваша осторожность? Судьба моя решена. Какого мира, какого безмолвия я искал? Нет мира на грешной земле, говорю вам, нет! И если бы хотя на миг воцарилось истинное безмолвие, сей изъеденный порчей мир рассеялся бы, как дым, как запах. Я просил Господа нашего открыть мне глаза, я хотел видеть крест его. Я увидел — о, вы не знаете, что это такое!.. Голгофа, говорите… Да вы просто слепы, для вас не существует ничего другого!.. Поверьте мне, Сабиру, я собственными ушами слышал — и не где-нибудь, а на соборной кафедре — такие вещи… уму непостижимо!.. Они толкуют о смерти Христа, словно рассказывают старую сказку… приукрашивают, сочиняют… Откуда они все это взяли?.. Голгофа! Помните же, Сабиру!..

— Дорогой мой друг… дорогой друг… — залепетал тот, совершенно потерявшись, — такой жар… такое неистовство… столь чуждые вам…

По правде говоря, его испугали не столько сло-

ва, сколько голос, ставший твердым, как железо. Но самое сильное впечатление на него произвело его собственное имя, три брошенных в пространство слога, звучащие, как приказание: Са-би-ру… Са-би-ру…

— Помните же, Сабиру, мир не есть хорошо налаженный механизм. Мы словно последний оплот Господа, где он обороняется от Сатаны. На протяжении бесчисленных столетий ненавистный враг тщится поразить Его через людской заслон, гнусное убийство свершается в жалкой плоти человеческой. О, как бы далеко, как бы высоко ни увлекали нас молитва и любовь, он всюду с нами, неразлучный и страшный спутник наш, и гремит во все концы его ликующий хохот! Помолимся же, Сабиру, о том, чтобы испытание было недолго, и о милости к бедному стаду… Бедное стадо!..

Голос его пресекся, он заслонил глаза трясущимися руками. Все свищет и щебечет окрест в солнечном садике, но они ничего уже не слышат.

— Бедное стадо! — едва слышно шепчут губы старца. При мысли о тех, кого он так любил, губы его задрожали, странная улыбка медленно обозначилась на них, от которой по чертам его

разлилось выражение такой кроткой величавости, что Сабиру испугался, как бы старец не упал замертво. Два раза он робко окликнул святого. Наконец, словно проснувшись, тот заговорил:

— Мне должно было говорить так. Так будет лучше. Полагаю, Сабиру, что я имел право показать вам, что ваше мнение обо мне не совсем справедливо. Мне было бы прискорбно оставить вас в заблуждении, будто… я сподобился… видений, знамений… каких-то редкостных искусов. Нет, друг мой, это не по моей части! Все, что я видел, я увидел, сидя на соломенном стуле в моей тесной исповедаленке, так же ясно, как вижу вас. Дело в том, что никто не знает, что такое грешник. Во мраке исповедальни вы слышите голос: первые слова еще можно разобрать, но потом они начинают спешить, говорят все быстрее, быстрее, так что, наконец, ничего уже не поймешь — жу-жу-жу!.. И это, спрашивается, все? Нет уж, милые мои, рассказывайте эту сказочку малым детям! Надо видеть, видеть лицо, где отражается малейшее движение душ. А глаза? Человеческие глаза, Сабиру! О них можно говорить бесконечно. Да, я многим помогал встретить смертный час, но это не так страшно: со временем привыкаешь относиться к этому спокойно — ведь они

возносятся к Богу. Страшно другое: эти жалкие создания приходят ко мне, спорят, улыбаются, упрямятся и лгут, лгут, лгут, покуда, обезумев от ужаса, валятся нам в ноги, как порожние кули! И они еще важничают на людях, петушатся перед девицами, кощунствуют не без приятности!.. О, я долго не мог понять, видел одних заблудших овец, которых Господь мимоходом наставляет на путь. Но между Богом и человеком не какая-нибудь мелкая сошка, а что-то другое… Тут… тут есть таинственное существо, необыкновенно умное и упорное, его можно сравнить разве что с бесчеловечной издевкой, жестокой ухмылкой. Господь на время дал ему власть над собой. Внутри нас в Него вонзаются когти и клыки. Его выдирают из нас. На протяжении бесконечных веков из рода людского выжимают кровь, она льется рекой ради того, чтобы чудовищный палач насладился, глумясь, малейшей частицей божественной плоти… О, сколь безмерно невежество наше! Что Дьявол, спрашиваю вас, в глазах образованных, учтивых, искусных в обращении священников? Далеко не всегда им удается сдержать усмешку, упоминая его имя. Они подзывают его свистом, как песика. Уж не воображают ли они, что приручили его? Как бы не так! Они слишком много

читали и мало исповедовали. Они заботятся лишь о том, чтобы угодить, и угождают одним глупцам, успокаивая их. Но мы не утешители, Сабиру! Мы стоим в первых рядах сражающихся насмерть, за нами дети наши. Священники! Или не слышат они вопля нищеты вселенской? Или исповедуют одних дьячков своих? Знать, никогда не видели они прямо против себя лица, искаженного мукой! Знать, никогда не видели глаз, пылающих ненавистью к Богу, которым уже нечего дать, понимаете, нечего!.. Скупец, снедаемый страшным своим недугом, блудник, подобный живому трупу, честолюбец, одержимый единою страстью, завистник, лишившийся сна!.. Какой священник не плакал хотя бы раз в жизни от чувства бессилия перед тайной людского страдания, тайной Бога, поруганного в человеке, в ком Он ищет прибежища!.. Не хотят видеть! Не хотят!..

Чем громче звучал в сиянии солнца и шуме ветра твердый голос, тем враждебнее становился крепкий садик с его вызывающим пиршеством жизни. Майский ветер, гнавший по небу серые облака, иногда задерживал за краем земли их несметные толпы, и тогда сноп ослепительного света, пронесшись исполинским сверкающим мечом низко над бескрайней померкшей рав-

нино̆й, вспыхивал среди великолепной зелени живой изгороди.

«Мне казалось, — писал позднее аббат Сабиру, — будто я стою на одинокой высоте, ничем не защищенный от ударов незримого врага… А он молчал, недвижно устремив взор вдаль, словно ждал знака, но не дождался».

VI

Передадим же слово свидетелю, которому мы обязаны наилучшими местами повести сей и который волею более искушенного и могущественного был избран помогать люмбрскому старцу в последней его битве. Как и ранее приведенные выдержки, нижеследующее извлечено из обширного доклада, приготовленного для начальства добросовестным каноником. Спору нет, подчас в строках этих проскальзывает страх и самолюбие, прячущиеся за простодушно-хитрыми обиняками. Впрочем, что особенно дурного в том, что бедняга пытается оправдаться, защищая свои предрассудки, свой покой, свое тщеславие, свои понятия о жизни?

Конечно, весьма нелегко с достаточной живостью воскресить в памяти теперь уже далекие

события, но разговор, подобный тому, что я пытаюсь передать здесь, можно сказать, не поддается описанию, и даже самая надежная память не могла бы по прошествии столь значительного времени восстановить общий его настрой, звук голоса, множество мелких подробностей, сообщающих словам особый смысл и побуждающих нас слышать лишь те из них, какие созвучны тайному нашему желанию. Уважению к настоятельному требованию вышестоящих особ и стремлению по возможности полно осведомить их должно восторжествовать над отвращением и укорами совести. Итак, я буду стараться не столько о том, чтобы в точности воспроизвести нашу беседу, сколько о том, чтобы передать общий смысл сказанных тогда слов и необычное чувство, какое они вызвали во мне.

— Помните же, Сабиру! — вскричал вдруг мой злосчастный собрат голосом, пригвоздившим меня на месте. Очи его жгли меня огнем. Раза два я пытался заговорить, но он глядел все так же упорно. Что скрывать, я был во власти чар, если можно назвать чарами невыносимое душевное напряжение и жгучее любопытство. Он начал говорить, и пока звучал его голос, я ни на миг не усомнился в том, что передо мной действительно

сверхъестественный человек, пришедший в совершенное умоисступление. Множество вещей, о которых я никогда прежде не думал и которые сегодня кажутся мне противоречивыми, путаными, какими-то даже ребячьими выдумками, осветили тогда сердце мое и разум. Мне чудилось, что я вступил в иной мир. Возможно ли без волнения пересказывать дивные речи того, кто, то умоляя, то грозя, то бледнея от бешенства, то обливаясь слезами, отчаивался в спасении души, душераздирающе скорбел о напрасных муках людей, восставал яро на зло и на смерть, словно хватая за горло самого Сатану! Слово «Сатана» то и дело слетало с его уст, и выговаривал он его с таким необыкновенным выражением, что кровь стыла в жилах. Когда бы человекам дано было на миг узреть мятежного ангела, кому отцы церкви в святой простоте своей приписывают толико многие чудеса, о коих ныне нам известно лучше, он, как живой, предстал бы им в таких речах, и тень его уже возникла между нами, смиренными слугами Господа, в ограде тесного сада. Нет, нельзя без волнения душевного вспоминать их, милостивые судари! Нужно было слышать сего почтенного человека, чье лицо искажалось омерзением, как бы обезумевшего от ненависти,

когда рассказывал о самых сокровенных тайнах, поверенных ему при исполнении им своих обязанностей духовника, о страшных признаниях, о душах, опустошенных грехом, о несчастных, попавших в лапы бесу, в чьих страданиях очи его, коим дано было прозревать незримое, видели от начала до конца все крестные муки Господа нашего. Меня охватил восторг. Я был уже не простой служитель христианской добродетели, но богодуховенный муж, один из вошедших в предание заклинателей духов, готовых отвоевать овец своих у сил зла! Такова власть красноречия! Несвязные слова излетали уст моих, я порывался куда-то, готов был бесстрашно противостоять опасности и, быть может, даже принять мученическую смерть. Впервые за долгие годы мне показалось, что стал обозначаться истинный смысл жизни, что я начал понимать величие священнического подвига. Я бросился, да, бросился в ноги люмбрскому старцу. Мало того, я охватил руками его колена, припал губами к ветхой сутане, обливая ее слезами, вскричал — увы! — от переполнявшего меня восторга — да, да, именно вскричал громким голосом: «Вы святой!.. Святой!..»

Не единожды, но многажды простершийся ниц

каноник произнес это слово, твердил его в упоении заплетающимся языком. Земля горела под ним, небо кружилось огромным колесом. Он чувствовал себя невесомым, бесконечно свободным и легким в упругом воздушном пространстве. «Мне казалось, — пишет он, — что смерть не властна более надо мною».

Сколь же властно было слово и сколь чудотворно молчание, чтобы им возможно стало возвести на такую высоту сию тягость! Что шептал на ухо Сабиру седовласый, всеми, даже Богом, отверженный, измученный, выбившийся из сил, потрясенный искушением до самых глубин страдалец, который, стоя уже на краю могилы, искал взглядом дружеского взора? Этого мы никогда не узнаем.

— Ах, Сатана попирает нас! — проговорил он наконец с тихим смирением.

Ошеломленный пастырь из Люзарна сбивчиво залепетал:

— Друг мой, брат мой, я принимал вас за другого… я не ведал… Господь предназначил вам стать гордостью епархии, церкви, престола истины… И вы, наделенный столь редкостным дарованием, сетуете, считаете себя побежденным! Вы! Позвольте же мне выразить вам по крайней мере

мою признательность, мою глубокую благодарность за все добро, сделанное мне, за искренний порыв…

— Вы не поняли меня, — кратко отвечал старец.

Он знает, что ему нужно молчать, но скажет. У слабости, как и у отваги, есть своя последовательность, своя неуклонная сила. Тем не менее старец колебался некоторое время, прежде чем нанести последний удар.

— Я не святой… подождите, дайте мне сказать. Скорее отверженный. Да, отверженный! Взгляните на меня… На прожитые годы пролился яркий свет: я вижу их так же ясно, как виден Пэн у самых ног твоих, когда стоишь на вершине Шеневьер. Я положил много труда, чтобы отдалиться мира, ибо таково было желание мое. Но враг сильнее и хитрее, он помогал мне истребить в себе надежду. Как я страдал, Сабиру! Сколько раз подавлял подступающую к горлу тошноту! Я пестовал отвращение, словно лелея на груди моей Дьявола-младенца. Силы мои уже иссякали, когда сей приступ разрушил все окончательно. Как же я был глуп! Бог не там, Сабиру!

Еще какой-то миг он колеблется, глядя в лицо своей невинной жертве, на цветущего священни-

ка о простодушных очах, и с удвоенной яростью обрушивает удар:

— Святой! Все вы только и знаете, что твердите: «Святой… Святой!» А вы знаете, что это такое? Запомните, Сабиру! Грех редко овладевает нами силой, но гораздо чаще исподволь. Он вливается, как воздух. Он не имеет своего отличительного признака, цвета или вкуса — он может принять любой вид. Он подтачивает нас изнутри. Некоторых пожирает заживо, и от их воплей кровь стынет в жилах. Другие же еще при жизни подобны охладелым трупам, — не трупам даже, но пустым гробницам. Ибо Господь наш сказал (великие слова, Сабиру!): Враг людей похищает у них все, даже смерть, и уносится прочь со смехом.

(Снова блеснули его недвижно вперенные очи, словно отсвет пламени скользнул по стене.)

— Смех — вот оружие князя мира! Он изворотлив, как ложь его, у него тысячи лиц, и лицо каждого из нас. Он никогда не ждет, нигде не задерживается. Он во взгляде, дерзко устремленном на него, он на устах, отвергающих его, в неизъяснимой тоске, в самонадеянности и беспечальности глупца… Князь мира! Князь мира! «Почему он гневается? На кого?» оторопело думает Сабиру.

— Помилуйте, такие люди, как вы… — начал было он.

Но люмбрский святой не дает ему кончить. Он подступает к нему вплоть:

— Такие люди, как я? Вы найдете ответ в Писании: губит их собственная мудрость!

Вдруг он спросил отрывисто:

— Князь мира… А что вы думаете о нашем мире?

— Право же, вероятно… — в замешательстве мямлил бедняга.

— Князь мира — вот самое верное слово. Он князь мира сего, он владеет им, правит самодержавно… Мы под пятой Сатаны, — продолжал он по недолгом молчании. — И вы, и я, еще больше, чем вы. Се истина жестокая. Мы захлебываемся, тонем, идем ко дну. Он даже не дает себе труда отшвырнуть нас, тщедушных, он пользуется нами как орудием своим. Пользуется нами, Сабиру!.. Что я теперь в ваших глазах? Ужасный человек, терние, которое он вонзает вам в сердце. Простите меня, ради святого милосердия! Всю жизнь я вынашивал в молчании мысль сию, она зрела во мне день ото дня. И теперь не она заключается во мне, но я поглощен ею. Я повержен в ней, как в преисподней! Я знал слишком много душ,

Сабиру, слишком часто слышал человечье слово, сказанное не для того, чтобы скрыть позор, но, напротив, вытащить его на свет, слово, почерпнутое из первоисточника, всосанное, как кровь из раны. Я тоже надеялся бороться, даже победить. В первые годы нашей священнической службы с грешником связаны в нашем сознании такие причудливые представления, такие благородные помыслы… Непокорство, богохульство, осквернение святынь — тут есть какое-то дикое величие: вам предстоит укротить свирепого зверя… Грешника укротить! О, нелепая затея! Укротить самое безволие и трусость! Кто не устанет тащить вверх мертвый груз? Все они одним миром мазаны: лжецы, тысячу раз лжецы, вечные лжецы и в излияниях откровенности, и в великодушии прощения! Изображают этакую сильную личность, которая сорвалась с привязи и мчится, закусив удила, топча условности, нравственность и прочее. Умоляют, чтобы крепкая рука взнуздала их! О, убожество! Крысы, затравленные крысы! Я видывал, знаете, таких, что начинали бесноваться при одном упоминании женского имени, что пресмыкались, как скоты, у моих ног, терзаемые страхом, совестью и вожделением… Да, насмотрелся я на них досыта. Чудовищный

обман, глумливый смех, привычка издеваться над жертвой, прежде чем убить ее, — вот торжествующий Сатана! Вы поняли меня, Сабиру?

Небесно-синие глаза профессора глядят неотрывно, с простодушным любопытством, с бесконечной, неизменной благожелательностью. О, разбить бы этот синий фарфор! Старый боец то краснеет, то бледнеет перед упитанным краснощеким младенцем. Сердце стучит в его груди сильно и ровно, могучая, так и не сломленная воля напряглась и рвет оковы. Притиснув Сабиру к стене, До-ниссан кричит ему в ухо голосом, который невозможно забыть:

— Мы побеждены, говорю вам! Побеждены! Побеждены!

Долго, долго слышит он отголоски богохульства в себе, как шорох последней горсти земли, брошенной на могилу. Единый взор простил грех тому, кто трижды отрекся господина своего, но на что может надеяться отрекшийся самого себя?

— Друг мой! Друг мой! — взывает люзарнский пастырь.

Но святой тихо отводит его руки:

— Оставьте меня… отпустите…

— Оставить вас! — негодует Сабиру. — Оставить вас! В жизни моей я не встречал таких людей,

как вы. Это вы должны простить меня за то, что я усомнился в вас. Я готов быть свидетелем испытания, умышленного вами… Нет невозможного для вас, вы способны свершить невероятное!.. Идите же, идите! Я следую за вами. Господь вас вдохновил! Идемте же в дом. Верните матери умершего сына ее!

Святой отец изумленно глядит, проводит рукой по лбу, старается понять… И его, рыцаря человечества, не миновала ужасная, ошеломительная забывчивость! Неужели он забыл?

— Помилуйте, друг мой! — настаивает Сабиру. — Мне ли напоминать вам о том, что было сказано пять минут назад, на этом самом месте?..

Он вспомнил. Последний дар милосердия, головокружительное обещание, которое могло бы его спасти и которому он внимал с недоверием, вместо того чтобы повиноваться, подобно неразумному дитяти, которое, само того не ведая, своими слабыми ручками творит великие дела… Как мог он забыть? Ему приходится напоминать! Единая мысль неотступно преследует несчастного два дня и две ночи, овладевает им всецело в то самое время, — о, проклятье! когда возможно было избавление, дарованное такой рукой! В решающий миг, в неповторимый миг

своей необычайной жизни он был просто жалкой двуногой тварью, способной лишь страдать и вопить!

О, ни тонущий мореплаватель, когда среди утренней мглы из глаз его исчез внезапно алый парус, ни художник, умирающий при жизни, когда угас огонь вдохновения, ни мать, когда ускользает от нее взгляд умирающего сына, не восстонали бы к небу с такой жестокой тоской!

Но несгибаемый старец не упал на колени, не стал молиться. Мысленным взором он мерит хладнокровно глубину своего падения, в последний раз перебирает в памяти хитросплетения победоносного врага. «Я возненавидел грех, — думает он, — потом возненавидел самое жизнь, и та неизъяснимая сладость, что находил я в упоении молитвы, возможно, было отчаяние, таявшее в моем сердце».

Один за другим рассыпаются образы, рожденные нашим воображением, и когда в душе поселяется смятение, является рассудок и наносит нам последний удар. Слепой страх может быть внушен не только темным чувством, но и совершенным разумом, которым столь гордимся. И страх сей объемлет люмбрского старца. Он погружается на самое дно убийственной мысли.

Возможно ль! В ту самую минуту, когда я уже считал… Как! Даже в упоении небесной любви!..

— Неужели Бог посмеялся надо мною? — вскричал он.

Когда спадает пелена обмана, который мы всю жизнь принимаем за действительность и с которым связали судьбу свою, когда все рухнуло, решительно все, какая сила движет нами, как не жгучее желание накликать беду, устремиться навстречу ей, познать ее, наконец?

— Идем! — молвил святой.

VII

Широко шагая, он переходит садик, покрывшийся тенью от налетевшего облака и отворяет дверь.

— Вот он! — вскрикнула женщина, ждавшая его с сильно бьющимся сердцем.

Она бросается к нему и останавливается, пораженная искаженным лицом, выражающим одну неукротимую волю, лицом воителя, но не святого. Надежда поколебалась в ней. Но он, глядя поверх ее головы, идет прямо к запертой двери позади тяжелого дубового стола и, наложивши руку на скобу, знаком велит оставаться

на месте своему оробелому собрату. Он отворяет дверь и видит темный безмолвный покой с завешенными окнами. Пламя горящей в глубине покоя свечи дрогнуло. Он входит и затворяется с покойником наедине. Выбеленная известью комната узка и длинна, она служит подсобным помещением при кухне; врач настоял, чтобы сюда перенесли хворого, потому что она просторнее других и имеет два окна, глядящих на восток, через которые виден сад, Сеннекурский лес, Борегарские холмы с множеством зеленых оград, пестрящих цветами. На мощенном красными плитами полу расстелен плохонький ковер. Единственная свеча едва освещает голые стены. Весь тот скудный свет, что неизвестно как, через невидимые щели проникает снаружи, облачком стоит вокруг белых, жестких, без единой морщины простыней, прямо ниспадающих до земли по обе стороны кровати, где лежит удивительно тихий и благоразумный теперь мальчик. Где-то хлопотливо жужжит муха. Люмбрский пастырь стоит в изножии смертного одра и молча глядит на распятие на чистой холстине. Он не надеется услышать вновь таинственное веление. Но обет был принесен, и приказ дан. Этого достаточно. Неверный слуга стоит на том самом месте, где

тщетно ждал его господин, и бесстрастно внемлет справедливому приговору.

Он внемлет. Наружи, за опущенными занавесями, пылает и посвистывает в лучах солнца сад, словно вязанка сырых дров в печи. Здесь же воздух душен от запаха сирени, горячего воска и еще какого-то торжественного благоухания. Неземное безмолвие, которого не могут нарушить звуки внешнего мира, обволакивает их, подымаясь из недра земного. Оно восходит, подобно незримому пару, и в сердце его образы живого искажаются и распадаются, звуки слабеют и глохнут, — несметные лики неведомого мира черта за чертой проступают сквозь него. Словно две жидкости разной плотности, две действительности существуют одна подле другой, не смешиваясь, в таинственно стройном единстве.

Святой старец встретился взглядом с мертвецом и приковал к нему свои глаза.

Один глаз покойника открыт. Очевидно, дрожащая рука опустила веко слишком рано, сократившаяся мышца немного оттянула его кверху, из-под ресниц выглядывает синий зрачок. Хотя и потускнелый, он удивительно густого, почти черного цвета. Один он виднеется на белом лице, покоящемся в углублении подушки, — смотрит

из широкого кольца тени, словно из сумрачного провала. Щуплое тельце под отягощенным сиренью саваном уже окоченело и приобрело трупную угловатость. Воздух, которым мы дышим и которому любы очертания живого, словно смерзся вокруг усопшего студеною глыбою. Железная кровать об охладелом тельце похожа на сказочное навье, навеки ставшее на прикол. Жив лишь сей взгляд, обращенный вспять, неотрывный взгляд изгнанника, настоятельный, как мановение.

Нет, пастырь не страшится взора, но вопрошает его. Он силится понять его немой призыв. Минуту назад он переступил порог сей обители, словно бросая вызов, умыслив свершить среди сих белых стен отчаянное предприятие. Он шел к мертвецу, не испытывая ни жалости, ни нежности, словно хотел преодолеть препятствие, подвинуть непомерную тяжесть… Но мертвец опередил: он ждет его, готовый к бою, напрягшийся противник.

Старец смотрит на приоткрытый глаз с напряженным вниманием и любопытством: мало-помалу выражение сострадания исчезает, уступая место жгучему нетерпению. Да, он видел смерть так же часто, как старый воин, зрелище привычное. Ступить вперед, протянуть руку, ощутить

пальцами веко, закрыть стерегущую его беззащитную зеницу: что может быть проще? Не страх, не брезгливость удерживают его ныне, но жажда, бессознательное ожидание невозможного, того, что должно свершиться вне его, помимо него. Мысли его останавливаются в нерешимости, отступают, вновь движутся вперед. Он искушает мертвеца, как вскоре, сам того не ведая, будет искушать Бога.

…Вновь он пробует молиться, шевелит губами, — расслабляет сжатое судорогой горло Нет, еще немного, еще чуть-чуть… Безумный, безрассудный страх, что неосторожное слово навсегда прогонит нечто незримое, угадываемое, чаянное и пугающее, пригвождает его к месту, принуждает к молчанию. Рука, уже творящая крестное знамение, падает вдруг. От маха широкого рукава сутаны пламя свечи заколебалось и угасло. Поздно! Он видел, как глаза дважды открылись и закрылись, призывая его. Он подавляет крик. Погрузившаяся в темноту комната приобрела более мирный облик. Дневной свет просачивается сквозь ставни, рассеиваясь в воздухе. В пепельном сумраке проступают предметы, а над кроватью колышется голубоватое сияние. Часы в кухне бьют десять раз… Где-то звонко смеется

девочка, смех ее долго дрожит в звучном утреннем воздухе… «Ну же, ну!..» — нетвердым голосом говорит святой.

Смешно суетясь, он роется в карманах, пытаясь найти огниво с трутом, подаренное графом де Сальпен (он каждый раз забывает его на столе), нащупывает спичку, тут же роняет и все приговаривает, стиснув зубы: «Ну же, ну!» Опорожняя карманы, он положил на пол нож на черенке из коровьего рога, какие-то письма, хлопчатый носовой платок дивного красного цвета, а теперь ползает по полу, шарит руками и ничего не может найти. Кровать — черная груда в полумраке совсем близко, мглистое сияние от затворенных ставней ширится, теснит потемки. Мало-помалу обозначается лицо покойника… Медленно-медленно всплывает из мрака. Старец склоняется совсем низко, вглядывается… Оба широко открытых глаза смотрят на него.

Полный безумной надежды, он все не отводит взгляда. Но ничто не дрогнет в распахнутых веках, в тускло чернеющих зеницах нет и намека на мысль… Все же… Может быть, в них другая мысль? И тут он увидел, узнал эту издевку… Наглая ухмылка властителя смерти, похитителя людей… Это он!

— Это ты, я узнал тебя! — вскричал злосчастный старец низким чеканным голосом. Вдруг ему показалось, что вся кровь отхлынула ледяной волной из жил в сердце. Боль, от которой и прежде ныла вся левая рука, отдаваясь в кончиках коченеющих пальцев, ударила нестерпимо, словно кинжалом, пронзила его от плеча до плеча. Впервые в жизни его обуял животный страх, от которого в груди, под ложечкой, образовалась тошнотворно сосущая пустота. Он весь напрягся, чтобы не крикнуть, не позвать на помощь. Жизнь повисла на волоске, смерть близка, очевидна, неотвратима. Отважный старец отчаянно борется с ней. Он покачнулся, сделал шаг, чтобы не упасть, ухватился за спинку стула. И в кратком мгновении, которое потребовалось, чтобы сделать этот шаг, сжалось сорок лет величайшего напряжения великой души, чтобы последним, нечеловеческим усилием остановить рок.

Значит, правда? Значит, неумолимый палач, забавляющийся людьми, как кошка мышью, в самом деле морочит его — то поманит, то собьет с пути, то велит, то приласкает, то отнимет, то вернет надежду, кличет на разные голоса, принимает, всемогущий, как Бог, обличье то ангела, то демона покуда рок исхитит его, Дониссана, и

он канет в небытие? Всемогущий, как Бог! Да он с радостью пойдет в ад, будет гореть в пекле, лишь бы раз, единственный раз развеять прахом чудовищный обман! Возможно ли, угодно ли Господу, чтобы слуга, неизменно следовавший завету его, обрел вместо Него гаерского царя мух, семь раз помазанное на царство чудовище? Ужель сие едино дано обрести устам, ищущим креста Спасителя, рукам, объемлющим его? Ужель едину ложь сию?.. «Возможно ли? — шепчут губы святого, — возможно ли?..» Внезапно он возопил:

— Ты обманул меня!

Острая боль, стиснувшая его страшным обручем, немного отпустила, но дышать трудно, сердце бьется медленно, словно облеплено чем-то вязким. «Только бы успеть!» — думает бедный старик, с трудом отрывая от пола точно свинцом налитые ноги. Но ничто не остановит того, кто, сжав зубы, всю волю свою сосредоточив на мысли единой, идет на победоносного врага и готов разить. Святой просовывает руки под окоченелые ручки мальчика, наполовину стаскивает легкое тело с кровати. Голова покойника откидывается, переваливается с боку на бок, совсем повисает. Мальчик словно безгласно кричит: «Не хочу, не хочу!» — запрокинув голову изящно-томным

движением заласканных детей. Но что грубому мужичине, у которого отняли последнюю его надежду, которому лишь нечеловеческая ярость дает силу держаться на ногах, этот чувствительный вздор, детское упрямство иль гнев полубога?

Он поднимает мальчика, как просфору, мечет к небесам грозный взор. Кто отважился бы выразить сей вопль гибнущего, проклятие бесстрашного воителя, не молящего о пощаде, о жалости, но взыскующего справедливости! Он не вымаливает чуда, нет, он требует его. Господи, ты должен совершить его, ты совершишь его, ибо все в мире есть лишь страшный сон. Скажи, Господи, кто из вас двоих есть владыка! Безумная, трижды безумная речь, но ей должно прогреметь до небес и нарушить молчание! Безумная речь, кощунственный вопль любви!

Тому, кто пустил смерть в круг людской, дана, надо полагать, власть истребить самое жизнь, обратить ее в прах, от него же порождена бысть. «Пусть страдания мои были напрасны! Я страдал, веруя. Яви же лик твой! взывает Дониссан тем внутренним голосом, через который оказывается в мире незримом непостижимая власть человека. — Явись, прежде чем навеки покинешь меня!»

О, несчастный старый пастырь, как расточает он всю силу жизни в себе, дабы явилось знамение в небесах! Ему не может быть отказано в знамении, ибо вера, подвигающая горы, и мертвеца может поднять из гроба… Но Бог внемлет лишь тому, кто одушевляем любовью.

VIII

От самого святого нам досталась лишь весьма краткая повесть, точнее, наспех сделанные заметки, писанные в состоянии совершенного разброда мыслей, в каком-то бреду. Составлены записки эти языком столь неловким, столь неуклюжим, что нет никакой возможности предложить их читателю в первоначальном виде. Тут он не найдет и следа поразительной личности, подвергнутой всем возможным и мыслимым соблазнам отчаяния; напротив того, в них явственно выступает прежний пастырь люмбрского прихода, с его простоватой приниженностью, почтением и даже несколько раболепным преклонением перед вышестоящими, трусливый страх возможной огласки, полная неуверенность в себе, сопряженная с глубокой, непреходящей подавленностью, не оставляющей сомнений в близком конце.

Тем не менее некоторые места в записках стоят того, чтобы с них стряхнули пыль забвения, те именно, где, стараясь единственно о точном воспроизведении пережитых им событий, он как бы с буквальной точностью переносит на бумагу заключительные мгновения диковинного своего предприятия. Вот эти записи в первозданном их виде:

«Минуту или две я держал на руках маленький труп, потом с усилием поднял его к распятию. Как бы легок он ни был, мне стоило немалого труда удерживать его, ибо я чувствовал боль и слабость в левой руке. Тем не менее я исполнил мое намерение. Тогда, вперив взор в Господа нашего, стараясь со всей живостью вообразить покаянные труды и утомительные заботы жизни моей, добро, какое творил иногда, и полученные мною утешения, я обещал отдать без остатка все, что имею, дабы враг, неутомимо преследовавший меня и похитивший теперь самое надежду на спасение души, был наконец унижен пред мною существом могущественнейшим, нежели он сам… О Отче наш, ради сего не убоюсь поступиться и животом вечным!

Се бо истина, Отче. Диавол, власти возымевший над мною, довольно силен есть и коварен да

обмануть бы чувства мои, помрачить разум мой, смешать истину с ложью. Заранее приемлю, склоняюсь пред державным приговором твоим! Но очам, зревшим его, рукам, его касавшимся, уже было дано причаститься чуда… Да, на какое-то время, длительность которого затрудняюсь определить, труп, казалось, ожил Я явственно ощутил вдруг пальцами тепло, от него идущее, трепет жизни в нем. Бессильно свесившаяся голова поворотилась ко мне… глаза моргнули, ожили… Я видел. В то же время голос во мне повторял: „Numquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua, et justitia tua in terra oblivionis?“ [3] Я отверз уже уста, дабы изречь глагол сей, как пронзительная, нестерпимая, ни с чем не сравнимая боль снова поразила меня. Некоторое время я силился удержать тело, скользившее прочь из рук, потом оно свалилось на постель. И тут позади меня раздался ужасный крик».

Он действительно услышал страшный вопль, а затем жуткий смех. И тогда он бросился, как вор, прочь из покоя прямо к отворенной двери и озаренному солнцем саду, не оборачиваясь, не видя ничего, кроме теней — он отталкивал их, не узна-

[3] Примечания: 3

Разве познают во мраке чудеса твои и справедливость твою в царстве забвения? (лат.)

вая, вытянутыми перед собой руками… Голоса за его спиной поникли, смешались в невнятный ропот и угасли… Он ступил еще несколько раз, перевел дух и открыл глаза. Он сидел на обочине Люмбрской дороги, рядом валялась шляпа, глаза были еще пьяны. По дороге, окутанная золотистой пылью, бежала рысью впряженная в бричку лошадь, и возница, проезжая мимо, осклабился во весь рот, приветственно махнул кнутом. «Может, мне все приснилось?» — подумал бедняга, прислушиваясь к сильно бьющемуся сердцу…

Тут он увидел люзарнского пастыря.

Бледный, запыхавшийся, заикающийся, он обретал мало-помалу внушительную свою повадку и уверенность, видя перед собой несчастного собрата своего, потерявшего шляпу, со спутанными седыми волосами, похожего на старого школьника, который с великим трудом поднялся с земли, напрягая все силы, чтобы удержаться на ногах.

— Несчастный! — вскричал будущий каноник, едва уверившись в том, что в состоянии говорить с должной твердостью. — Несчастный! Состояние ваше таково, что я не могу не жалеть вас, не сочувствовать вам. Но я браню себя за то, что поддался вашему безумию, навлек на сей постигнутый горем дом новую ужасную беду, унизил

наше — да, наше! — достоинство, став вашим пособником в сей нелепой затее… А ваше бегство! Вот уж не ждал от вас такого малодушия!

Помолчав немного, он продолжал, закрыв глаза, словно прислушиваясь к своему голосу:

— Что же вы теперь будете делать?

— Сам не знаю, — отвечал святой. — Я совершил проступок, всю тяжесть которого вряд ли сознаю. Одному Богу ведома мера моей вины. Я вполне заслужил ваше презрение.

Совсем тихо он проговорил что-то невнятное, долго колебался, потом сказал едва слышным, смиренным голосом, низко склонив голову:

— Может быть… может быть… Не могли бы вы сказать?.. Мертвый мальчик, которого я держал на руках… он…

— Ни слова о нем! — с умышленной резкостью перебил его люзарнский пастырь.

Старец затрепетал при сих словах и как-то странно взглянул на судью своего.

— Почти кощунственное лицедейство, устроенное вами (с самыми благими намерениями, друг мой, с самыми благими!), имело последствия, которые, судя по всему, вам неизвестны… Довольно шутить! Возможно ли, чтобы вы не видели и не слышали…

— Слышал, — повторил святой, — слышал… Что я слышал?

— Что слышал! — негодующе вскричал бывший профессор. — Извольте объясниться! Вполне может статься, что вам просто чудились какие-то голоса. Мне трудно поверить, что такой человек, как вы, утешитель страждущих, мог без угрызений совести бросить на произвол судьбы женщину, мать, которую ваше гнусное лицедейство едва не погубило [4], которая бьется теперь в припадке безумия!

Заметив, однако, что старец смотрит на него с совершенно искренним изумлением, он продолжал уже не так резко, торопясь, по обыкновению всех неумных людей, кончить так неловко начатый и мучительный разговор:

— Так вы ничего не знаете? Не знаете, что бедная женщина незаметно прокралась следом за вами в смертный покой? Вам должно быть лучше известно, чем мне, о том, что произошло потом… Мы услышали крик, дикий смех… Тут вы без памяти кинулись вон из дому… Она хотела

---

[4] Примечания: 4

Известно, что по прошествии нескольких месяцев госпожа Авре исцелилась во время паломничества в люмбрскую церковь. Любопытно заметить, что из всех сверхъестественных превращений, которым ныне уже и счет потерян, лишь сие чудесное исцеление может быть безусловно приписано заступничеству аббата Дониссана.

последовать за вами, и нам с трудом удалось удержать ее. Это было ужасное зрелище!.. Увы, нет ничего удивительного в том, что слабая, сраженная горем женщина поддалась обаянию вашего красноречия, вашей повадки, вашего неистового воображения, если даже я, даже мой ум… еще пять минут назад не мог отличить правду от вымысла… Она кричала: «Он жив! Он жив! Он воскреснет!..» Она требовала, чтобы вас догнали, воротили… Помилуй нас, Господи!

Он перевел дух и продолжал, скрестивши руки на груди:

— Вот как все было… Что вы на это скажете?

— Я погиб, — спокойно отвечал люмбрский пастырь, выпрямляясь во весь рост.

Казалось, он следил взглядом в пустыне неба своего незримого врага.

— Я погиб, — повторил он. — Я вел себя, как безумец… как буйнопомешанный… Я сам казню себя, да, сам! Я должен оградить людей от самого себя… Единая надежда осталась мне: недолго уж осталось жить, совсем недолго… Давеча, друг мой, я испытал первый приступ недуга, который приписывал… Словом, я ощутил очень странную боль, я предчувствую, что она будет ежечасно усиливаться и сведет меня наконец в могилу.

«Он чрезвычайно точно описал типичные признаки приступа грудной жабы, сообщает господин Сабиру в упоминавшихся выше записках, — о чем я и сказал ему без обиняков. Я хотел присовокупить несколько советов (основываясь, увы, на печальном опыте, ибо матушка моя скончалась от сего страшного недуга), но он, попросивши меня дважды повторить неизвестное ему выражение „angor pectoris“, подобрал с земли свою шляпу, отер ее рукавом и, не слушая меня более, удалился большими шагами».

IX

Как долог, как невыносимо долог обратный путь! Путь побежденной рати, закатный путь, никуда не ведущий в клубах праздно вздымаемой пыли!.. Но надо идти, надо идти, пока бьется бедное старое сердце — бьется праздно, дабы иждить остатки дней, ибо нет покоя, пока не угас день, пока жестокое светило вперяет в нас с небосклона единое око свое. Пока стучит усталое старое сердце.

Вот и первый дом на окраине сельца, тропинка между живыми изгородями неравной длины, ведущая наикратчайшим путем через

луг и яблоневый сад прямо к воротам кладбища, прилепившегося к церкви… Вот и она возникла, словно тень.

Никем не замеченный по дороге, святой вошел через низенькую дверцу прямо в ризницу, и рухнул на стул, и, теребя шляпу, тупо уставился на кирпичный пол, не в состоянии за что-нибудь ухватиться в сумятице воспоминаний, с какой-то бессмысленной сосредоточенностью слушая мерные толчки крови в горле.

Да, ничего не осталось от могучего старца, поднявшего мятеж, бросившего дерзновенный вызов! До последнего дня своего ему ни разу, даже на краткий миг, не удалось собраться с духом, чтобы связать воспоминания воедино или хотя бы привести их в ясность. Самая мысль о столь мучительном постижении ему отвратительна, невыносима. Нет, лучше коснеть в сонном отупении! Слишком много сил истрачено, с непомерно большой высоты низвергся он. Обычные искушения кажутся ему теперь детскими выдумками, надоедливым твержением азов, толчением воды в ступе, чем-то вроде назойливых выпытываний судьи. Его-то пытал палач!

Бессознательно он прижимает руку к груди, против того места, где таится притихшая боль.

Но более, чем новый приступ смертного ужаса, его страшит осуждение коллег, их пересуды, архиерейское порицание и кара. Глаза его наливаются слезами. Он подтаскивает стул к столику и, чувствуя в голове пустоту, а в душе страх, горбя спину, точно в ожидании удара, начинает составлять крупным почерком прилежного ученика, стараясь не делать помарок, ту самую объяснительную записку, из которой мы привели выше несколько выдержек.

Он пишет, вычеркивает, рвет. Но по мере того, как на бумагу ложатся подробности необычайного приключения, оно расплывается, тускнеет в памяти. Как будто все это не с ним произошло, как будто он был сторонним наблюдателем. Самое напряжение ума, силящегося воскресить пережитое, рвет последнюю тонкую нить памяти, и он сидит в каком-то оцепенении, упершись локтями в стол и глядя перед собой отуманенным взором.

Сколько часов просидел он так, глядя незрячими глазами в узкое решетчатое оконце, прорубленное в каменной стене, за которым качалась от ветра ветка бузины, то открывая солнце и ярко зеленея в его лучах, то застороняя его и проступая черным кружевом? Пономарь, приходивший в полдень звонить к обедне, видел через дверной

глазок в полумраке покоя валявшиеся на полу шляпу, требник, раскиданные картинки и вкладыши из него. В пять часов пополудни ученик приготовительной школы первого причастия по имени Себастьен Мале, вернувшись за оставленной книгой, нашел дверь запертой и, не услышав за ней никаких звуков, ушел восвояси. «Я не решился стучать громко, потому что церковь была уже полна народу, а я очень боялся, что меня станут расспрашивать».

Действительно, то была пора, когда паломники, ежедневно приезжавшие в Люмбр автобусом Плесси — Богренан, теснились у исповедальни святого в часовне Ангелов. Странное зрелище являло место сие, где толпилось столько скорбных и смешных личин, столько прославленных ничтожеств, возвысившихся на миг над жалкой ложью, обретших человеческое достоинство под влиянием великой души! Более, чем всегда, многочисленные в тот вечер, они ждали с видимым нетерпением, быть может томимые тайным предчувствием, и слитный ропот голосов гудел под сводами старой церкви… Всякий раз, как отворялась высокая дверь, беспокойные лица — завсегдатаи никогда не забудут этого выражения напряженного ожидания — разом поворачи-

вались к возникавшему на миг свету и так же внезапно скрывались в полутьме. Осторожное перешептывание, беспокойное, приглушаемое ладонью покашливание, шорох непрестанного шевеления, выдающего нетерпение и любопытство, сливались в странный гул, напоминающий глухой топот стада во время дождя с грозой. Внезапно настала полная тишина, все смолкло. Среди торжественного молчания дверь ризницы заскрипела, и появился святой.

— Боже, как он бледен! — послышался далеко в приделе женский голос.

Внятно прозвучавшие в тишине слова нарушили очарование. Обретшая пастыря паства облегченно вздохнула.

По-прежнему прижимая ладонь к сердцу, старый священник медленно подвигался к исповедальне, несколько наклонив голову к правому плечу. Когда он переступал порог, ему показалось, что он сейчас упадет. Но толпа качнулась к нему, сомкнулась кругом и повлекла к мете. Снова, в который уже раз, он перестал принадлежать себе.

И не разлучится уже с ними. Он стоит в непроницаемых потемках, в две погибели согнув высокий стан свой, подпирая затылком дубовый

потолок, и хватает воздух открытым ртом. Он отдает на растерзание свою бессильную, униженную плоть, бренное тело свое. Может быть, палач наскучит его тупым терпением?

Но можно ли утолить того, кто наблюдает его, оставаясь незрим, и тешится смертной мукой его? Пусть же жалкий старик, восставший и едва не одолевший, испытывает до последнего вздоха своего могущество, которое дерзал перебороть! О Боже, дай ему хотя бы увидеть лик врага! Но не сей голос, не сей последний вызов себе услышит старец. Через завесу пронзительной боли сознание постепенно возвращается к нему, он начинает слушать… Шепот… все явственнее… однообразный… настоятельный… Он узнал: это они. Сколько их ни есть, мужчины и женщины, один за другим, приникают устами, он слышит их дыхание — оно чище словесной скверны их, унылых покаяний, испакощенных за многие столетия, истасканных до омерзения слов, переходящих из отчих уст в сыновьи, подобных зачитанным страницам гаденькой книжонки, засаленным тысячами тысяч порочных рук, словно клейменным грехом, меченным личным знаком его. Святой стоит в темноте, слова льются ему в уши, переполняют его. Как они спешат, как

торопятся!.. Но, едва отдышавшись, отвратительные младенцы — глядите! — уже ищут губами мерзкий набухший сосец, жадно приникают к нему, и Сатана выдавливает им в уста сладостную отраву!.. До смертного часа своего подъемли десницу, о несущий крест, прощай и отпускай, побежденный еще до начала битвы!

Он внемлет и ответствует, точно во сне, но рассудок ясен, как никогда. Никогда еще ум его не был столь раскрепощен, суждение скоро и точно. Но плоть глуха ко всему, кроме возрастающей боли — все чувства его сосредоточились в месте, откуда растекается по телу, разрастается, как диковинный куст, жгучее страдание, пронизывает ткань нервов, словно ткацкий челнок, снующий проворно между нитей. Оно внедрилось столь глубоко, что, кажется, достигло рубежа тела и души, разделило надвое… В час смерти люмбрский святой сообщается с душами едиными. Из-под полусмеженных век он видит их, только их. Судорожно ухватившись за слуховую перегородку, чувствуя в пояснице боль от вдавившегося в нее края сиденья, куда он боится сесть, глотая спертый воздух разинутым ртом, обливаясь потом, он слышит лишь едва различимый шепот, замирающий от стыда голос своих коленопреклоненных

чад. Говорят они или молчат, не имеет значения, ибо великая, сжигаемая нетерпением душа, упредивши признание, уже заповедает, грозит, молит. Рыцарь креста пришел не побеждать, но до последнего вздоха обличать жестокое коварство, неправое, подлое всевластие, незаконие великое, о нем же вопиет к Богу. Воззри, Господи, на слабые дети твоя! На тщеславие их воззри, легковесное и суетное, яко пчела, переменчивое любопытство, чувственность их, печалью повитую, куцый неповоротливый ум; внемли глаголу их, тяжеловесному и коварному, отобразившему единую наружность вещей, изощренному токмо в двусмыслице, обыкновенно твердому в отрицании, но неизменно трусливому в утверждении, глаголу рабов либо недавних рабов, сотворенному наглости и ласки ради, изворотливому, вероломному, бесчестному... Pater, dimitte i11is non enim sciunt quid facient! [5]

X

— Увы, — заключил пастырь люзарнского прихода, — опыт сей дорого мне стоил! Мой неза-

---

[5] Примечания: 5
Отче, отпусти им грехи их, ибо не ведают, что творят! (лат.)

дачливый коллега едва не умер на глазах у меня от приступа грудной жабы. Впрочем, вы сами скоро увидите…

Так говорил он, широко шагая по Люмбрской дороге. Вослед ему трусил молодой врач из Шавранша. Известность, которую приобрел своей врачебной практикой сей безбородый юнец, всего несколько месяцев как обосновавшийся в округе, вполне соответствовала его блистательным качествам. Самоуверенной болтовней, нагловатой повадкой студента-медика и, ко всему прочему, пренебрежительным обращением с больными он покорил все сердца. Не было хозяйки дома, которая не мечтала бы о том, чтобы дочка услышала признание на сих бесстыдных устах, не уповала бы на помощь ловких рук, столь же искусно врачующих причиненные ими раны, как пресловутая спринцовка; не было умирающего, которому не хотелось бы услышать от него в виде утешения какую-нибудь сдобренную перцем, произнесенную mezzavoce [6] людоедскую шуточку. Наш щеголь потерял уже счет тем, кто благодаря его заботам «бодренько отошел в мир иной», по собственному его выражению.

---

[6] Примечания: 6
Вполголоса (итал.).

— Вполне возможно, вполне возможно, аббат, — успокоительно отвечал лекарь.

Призванный со всей срочностью по совету господина Сабиру, юный врачеватель нашел хозяйку хутора Плуи в горячечном бреду, прекратившемся, лишь когда она совершенно обессилела. Под вечер она уснула, и тогда пастырь обратился к врачу со следующей речью:

— Дорогой доктор, могу ли я просить вас об одной услуге личного свойства? Вы, кажется, говорили, что к семи вечера за вами пришлют автомобиль? Теперь нет еще и пяти. Давайте не спеша прогуляемся до Люмбра. Что вам стоит позвонить оттуда вашему шоферу в Шавранш и сказать ему, чтобы он ехал за вами в Люмбр? Тем временем вы успеете основательно обследовать моего бедного друга, и я, таким образом, узнаю ваше мнение о состоянии его здоровья.

— Но мое мнение давно вам известно! — довольно весело возразил юный лекарь. — Весьма мало питательная пища, недостаток движения, постоянное пребывание в затхлом воздухе обветшалого дома, в сырой духоте церковной исповедальни, — забота о своем здоровье, находящаяся, видит бог, на уровне тринадцатого столетия!.. Этого предостаточно, чтобы угробить

человека, чье здоровье и так уже сильно пошатнулось!.. Что я могу тут поделать?

— У вас свои заботы, у меня свои, — важно возразил кюре. — Наше назначение заключается в сочувствии к слабым, в милосердии к ним. Не все ли равно, каковы человеческие качества моего коллеги? К тому же, судя по тому, что вы говорите, мы имеем здесь дело с профессиональным заболеванием, заслуживающим внимания специалиста и нуждающимся в лечении…

— Хорошо, я пойду! — уступил молодой человек и добавил: — Тем более что беседовать с таким священником, как вы — одно удовольствие.

Так было решено совершить в душевном согласии совместное паломничество в Люмбр.

Когда они вступили в село, с неба посыпался мелкий дождь, белая дорога порыжела, над ней закурился пахнущий хмелем парок. Они заторопились. По кладбищенской траве сбегали капли воды. То и дело отворяемые и затворяемые решетчатые ворота жалобно скрипели, высокое надвратие серого камня, по которому хлестал ливень, казалось в густеющих сумерках напрягшимся, трепещущим парусом. Рука об руку они вошли под своды почти безлюдной церкви. Здесь люзарнский пастырь отечески положил руку на

плечо своего спутника и негромко промолвил:

— Господин Гамбийе, я охотно бы избавил вас от необходимости, возможно неприятной вам, стоять в храме, но мне кажется, вам все же приятнее будет ждать здесь, нежели в прихожей дома, где так же зябко и голо, как в приемной монастыря святой Клариссы! К тому же, по счастию, верующие большей частью уже разошлись. Сколько можно судить, желающих исповедаться больше нет, и если моему почтенному коллеге будет угодно отдохнуть немного в ризнице, он, надеюсь, не станет упрямиться и не замедлит повести нас к себе!

Засим господин Сабиру исчез. Молодой уроженец Шавранша остался в неподвижности близ чаши со святой водой. Некоторое время до него доносились издали отзвуки голоса кюре, потом ударила дверь, застучали, скользя по плитам, тяжелые башмаки, и перед врачом, едва не задевая его, просеменили одна за другой запоздалые богомолки, окуная мимоходом кончики пальцев в святую воду и сурово поглядывая на него. Служка из местных крестьян задул последние светильники. Господин Сабиру воротился наконец.

— Удивительное дело! По всей видимости, мой коллега покинул церковь во всяком случае, его

не могли сыскать. Впрочем, мне сказали, что прошло уже не менее сорока минут, как кончилось отпущение грехов… Ничего не поделаешь, господин Гамбийе… Очевидно, он вышел через кладбищенские ворота. Прошу вас, сделайте еще одно небольшое усилие! — добавил он тем дружеским голосом, перед которым невозможно устоять.

— Ради бога! — любезно отозвался шавраншский врач. — Автомобиль приедет за мною к семи часам, у нас есть еще время… Замечу, однако же, аббат, что ваш умирающий друг весьма скор на ногу…

Как бы в дополнение своих слов, он принялся рассеянно насвистывать. Ибо дожидаясь с мужской сдержанностью, когда придет его черед первенствовать в разговоре, он почел бы за неприличность выказать хотя бы малейшее нетерпение. Однако переговоры со старой Мартой в гостиной, украшенной чучелами двух куликов, ничего не дали. Она не видела хозяина и не ожидала его возвращения в столь ранний час.

— Бедняга! Бог знает когда он ест! А сколько раз ночи напролет простаивал на коленях на каменном полу в часовне святых Ангелов! Да он и теперь там, готова об заклад биться! За сто-

ликом, куда ставят графинчики с вином, есть в стене небольшое углубление, это его излюбленное место забьется туда и сидит в таком же одиночестве, как в Баржемонском лесу. Там и ищите! Ладислас! — окликнула она служку, как раз входившего со стопкой белья в руках. — Ты его не видел при обходе?

Крестьянин отрицательно покачал головой.

— Церковь запирают в шесть, — объясняет Марта, — Ладислас отопрет двери только в девять, когда ударят к вечерне и благословению причастия. В это самое время наш отец святой и наводит в церкви порядок, устраивает все на свой лад… Подумать только, он исхлопотал у его преосвященства, чтобы святое причастие выставлялось на всю ночь! Ты дашь ключи господам? — не без запинки спросила она Ладисласа.

— Сам провожу! — хмуро пробурчал служка. — Коли не велено, значит, не велено, мать! Погодите малость, вот перекушу да промочу глотку винцом…

Старушка тряхнула своим рогатым чепцом, когда Ладислас повернулся к ним спиной.

— Так и знала! Да вы не беспокойтесь, он рассиживаться не станет, он почти и не ест ничего. Нрав уж у него такой: страсть любит строжиться,

да только строгости в нем не больше, чем в малом дитяти!

— Ну что же, мы подождем, — отвечал, поджавши губы, люзарнский кюре, взглядом спрашивая согласия товарища своего.

— Тут, знаете, еще что… такая незадача, право, — заговорила вновь старуха, откашлявшись. — Словом, в соседнем покое (наш святенький называет его молельней, — исповедует он там) сидит очень важный господин. Нарочно приехал из дальней стороны, чтобы нашего батюшку повидать… Старый такой, с орденом Почетного легиона. Очень порядочный господин, уж поверьте мне, такой вежливый! Поди, скучает он там, сидючи в одиночестве.

Шавраншский врач машет руками, как бы посылая к черту старика вместе с его орденом Почетного легиона.

— Верно, какой-нибудь генерал в отставке, — предположил бывший профессор химии, заговорщически улыбаясь.

— Чего не знаю, того не знаю, глядите сами, вон его карточка на столе, у вас под носом, — сердится Марта. — Только глаза у него такие добрые, ласковые такие. Должно, не из военных!

Прямоугольничек бристольского картона дей-

ствительно лежал на столе под самым носом господина Гамбийе, который покраснел, как мальчишка.

— Ого, это несколько меняет дело! — воскликнул он с видом знатока, протягивая карточку священнику. Тот покачнулся, словно от удара.

— Антуан Сен-Марен!.. — едва выговорил будущий каноник, и губы его увлажнились.

— Член Французской академии! — вторил ему Гамбийе.

Молодой врач картинно выпрямился, постоял в раздумье и, наконец, объявил:

— Ведите нас к нему!

XI

Именитый старец вот уже полвека упражняется в иронии. Талант его, беспощадностью которого он гордится, на самом деле самый что ни на есть послушный, ручной. Притворяясь то целомудренным, то разгневанным, разражаясь то насмешками, то угрозами, он хочет лишь угодить своим хозяевам, подобно покорной наложнице, которая то укусит, то начнет ласкаться. Самые достоверные слова становятся предательской ловушкой в его сладкоречивых устах, и сама

истина раболепно пресмыкается. Своеобразной добродетелью седовласого гаера остается не притупившееся с летами любопытство, нудящее его непрестанно менять облик, изучать себя перед зеркалом. Каждая написанная им книга есть своего рода дорожный столб, где он подстерегает прохожего. Подобно уличной девке, наторевшей и изощрившейся в тяжком ремесле порока, он знает, что важно не то, что дается, а то, как дается, и в яростном стремлении к противоречию и самоопровержению ему удается всякий раз представать читателю в совершенно новом обличье.

Толпящиеся вкруг него юные ревнители языка славословят его мудрую простоту, глагол его, столь же искушенный, как актриса на роли невинных девиц, его изворотливую диалектику и обширные познания. Племя дряблых, худосочных людишек признало в нем своего повелителя. Как победой над родом человеческим, они упиваются бессилием, которое хотя бы поиздевается всласть над тем, чего достигнуть не может, и требуют своей доли малокровных ласк. Свет не видывал еще разумного существа, которое испошлило бы столько мыслей, испакостило столько добрых слов, дало бы хамью столь обильную поживу. Истина, с самого начала возвещаемая им с этакой

блудливой развязностью, на последующих страницах выворачивается наизнанку, осмеивается, оплевывается и под конец, сделав в его руках головокружительное сальто, оказывается нагишом на коленях победоносного Сганареля… И куча клевретов, к которой присоединяются вскоре одурманенные хвалебными речами поклонники, готовые молиться на своего кумира, встречает угодливыми смешочками очередную проказу шалуна, дожившего без малого до ста лет.

— Я последний из греков! — объявил он как-то со странной ухмылкой.

И тотчас две дюжины неучей, нахватавших отрывочных сведений о Гомере из примечаний в сочинении Жюля Леметра, трезвонят во все концы о новом чуде средиземноморской цивилизации и своими истошными воплями повергают в трепет пробужденных Муз. Ибо в том и заключалось все чарующее бесстыдство пакостного старикашки, тем и тешился он, что притворялся, будто хочет стяжать себе славы на коленях высокомерной богини, приникнув к целомудренным чреслам ее и блуждая по ним иссохшими руками… Странное, ужасное дитя!

Давно уже он собирался посетить Люмбр, и ревнители его не скрывали более от непосвящен-

ных, что писатель отправится туда с замыслом новой книги. «Мне не раз случалось, — вещал он своим обожателям с той панибратской наглецой, с какой ему благоугодно одаривать ближних жемчужинами низкопробного скептицизма, окрещенного в его честь античной мудростью, — мне не раз случалось встречать святых, ибо именно так принято именовать людей, обладающих бесхитростной душою и живущих в простоте. Эти люди, чье царство не от мира сего, питаются, как все мы, хлебом праздных надежд, но алчут его несравненно более нас. Они живут и умирают в почти полной безвестности, заразив безумием своим лишь немногих. Да простится мне столь запоздалый возврат к детским мечтаниям. Я хочу узреть воочию святого другой породы, настоящего святого, святого чудотворящего, святого простолюдинов, наконец. Как знать, быть может, я уеду в Люмбр и кончу дни мои на руках блаженного старца».

Сии речи, как и другие, впрочем, долгое время почитали за милую причуду, хотя в них отобразилось, с какой-то забавной стыдливостью, искреннее чувство, низменное, но вполне человеческое: трусливый страх смерти. Окажись маститый писатель заурядностью, большой беды

не случилось бы, но, к его несчастью, в нем низменная душонка. Сильная личность писателя, задыхающаяся в тесном круге его книг, нашла выход в пороке. Тщетно силится он утаить от всех, с удвоенным рвением сомневаясь и высмеивая, свою гаденькую тайну, проглядывающую через завесу слов. Но по мере того, как годы идут, горемыка все сильнее чувствует, что выдохся, зашел в тупик, упорствуя во лжи; с каждым днем ему все труднее утолять непрестанно усиливающийся голод всякими безделицами и пустячками. Не в силах перебороть себя, сознавая внушаемое им отвращение, лишь изредка, ценою хитроумных уловок и плутовства, получая возможность удовлетворить похоть, он жадно кидается на все, во что только может вцепиться беззубыми челюстями, а потом плачет от стыда перед опорожненной мисой. Необходимостью преодолевать сопротивление, тратить время на комедию обольщения, пусть разыгранную на скорую руку, страхом внезапного бессилия, — такая возможность отнюдь не исключена, — прихотливостью неутоленных вожделений объясняется его предубеждение против случайных связей. Если в прежнее время он содержал гувернанток, стараясь соблюсти хотя бы видимость приличий, то теперь опустился до

потаскух и горничных, держащих его в домашнем рабстве. Он старается быть снисходительным к их просторечью, напускает на себя удручающе неестественное благодушие, старается отвлечь внимание притворным смешком, а сам тем временем украдкой косится на выглядывающий край короткой нижней юбки, томясь желанием припасть к ней седой головой.

Увы, эти унылые услады истощают его силы, не утоляя жажды. Ему кажется, что ниже пасть уже нельзя, что он скатился на самое дно своего жалкого ада. Желание, более чем когда-либо острое и жгучее, завершается слишком коротким, изменчивым, вороватым наслаждением. Пришло время, когда желание осталось, но потребности уже нет — последняя загадка сфинкса плоти… Тогда-то между старым немощным телом и напрасно подстрекаемой похотью встала Смерть, последний участник троицы. Но он не распознал ту, которую столько раз нежил на страницах своих книг, чьей лаской сам, казалось, пресытился — а смерть между тем проглядывала в каждом его холодно-насмешливом слове, точно лицо, сквозящее в прозрачной толще воды. Но вот он увидел ее совсем близко, прямо перед собою. Ему воображалось тихое угасание, медленное скольжение

вниз по отлогому склону, заросшему цветами, и в самом низу, у последней границы, погружение в сон довольного собой человека; он никак не ожидал, что она явится без предупреждения, как снег на голову, как вор, взломавший дверь средь бела дня… Как, уже конец? Он гнал эти мысли прочь, пытался как-то скрасить их и в этой жалкой игре обнаруживал неистощимую изобретательность. Иногда, набравшись духа, он старался передать самым близким друзьям хотя бы малую долю темного ужаса своего, но они едва ли понимали его: кто поверит, что страдание в глазах великого писателя рождено детским страхом? «Помогите!» — молит взор, а слушатели восторгаются: «Какое блистательное искусство слова!»

XII

Господин Гамбийе приблизился к достославному создателю «Пасхальной свечи» и представился не без остроумия, ибо ему присущи и лукавство и находчивость. Затем, повернувшись к спутнику своему, он представил ею:

— Господин кюре люзарнского прихода более меня заслуживает чести приветствовать вас в Люмбре, чудесном краю, в двух шагах от церков-

ки, которую вы пожелали видеть.

Антуан Сен-Марен склонил к аббату Сабиру длинное бескровное лицо, разглядывая его со скучающим видом.

— Дорогой наш прославленный маэстро, — сдержанно заговорил тот, — я не чаял видеть вас когда-либо столь близко. По роду нашей службы мы обречены провести жизнь в деревенской глуши, вдали от света, и, право, в высшей степени достойно сожаления, что французскому духовенству не дано свести более короткое знакомство с цветом отечественной словесности. Так будет же по крайней мере позволено одному из наиболее скромных представителей духовенства…

Сен-Марен сверху вниз повел тонкой белой рукой, увековеченной кистью Клодиюса Нивелина.

— Цвет отечественной словесности, господин аббат, представляет довольно-таки шумное и мало приятное собрание, от которого духовным особам лучше держаться подальше. Что же касается до жизни вдали от света, продолжал он со смешком, — я крайне сожалею, поверьте, что в свое время мне выпал иной удел!

По коротком замешательстве бывший профессор химии тоже решил улыбнуться. Тут вступил юный врач из Шавранша, начавший уже обра-

щаться со своим спутником несколько вольно:

— Полно, полно, господин аббат, вы прямо городской голова перед королем, въезжающим в свои владения! Не для того маститый писатель ехал за тридевять земель, чтобы слушать ваши хвалебные излияния. Признаюсь, однако же, сударь, — продолжал он, сделав легкий поклон в сторону Сен-Марена, — что сам готов совершить по отношению к вам еще более недозволительную вольность.

— Прошу вас не стесняться! — благосклонно возразил сочинитель.

— Я хотел лишь спросить, что побудило вас…

— Ни слова более, ежели вы дорожите моим уважением! — вскричал писатель. — Очевидно, вы хотели спросить, что побудило меня предпринять это небольшое путешествие? Но, благодаренье Господу, мне известно о том не более, чем вам. Сочинительство, молодой человек, есть самое скучное и неблагодарное ремесло на свете. С меня довольно сочинения романов — жизнь я не придумываю, и на этой странице ничего не написано.

— Я надеюсь, однако, что вы напишете ее, — со вздохом молвил кюре. — Я даже возьму на себя смелость утверждать, что вы в долгу перед нами.

С высоты своего роста знаменитость скользнула взглядом по лицу докучного простофили и спросила, прикрыв глаза веками:

— Итак, трое ждут, когда святому будет угодно осчастливить их?

— Прежде всего ключей от ризницы и милостивого благорасположения служки Ладисласа! — возразил шавраншский баловень.

— То есть? — удивился Сен-Марен, словно не замечая Сабиру, порывавшегося что-то сказать.

Однако более проворный Гамбийе опередил его и на свой лад изложил события дня. Сабиру то и дело пытался ревниво вставить словечко, но каждый раз великий писатель легким досадливым движением повергал его в прах. Выслушав рассказ Гамбийе, романист заметил:

— Клянусь, сударь, я не чаял таких приятных неожиданностей в столь неудачно начавшийся день. Удивительно, знаете ли, освежает душу, когда повеет вдруг чудесами и прочей мистикой!

— Чудесами? Мистикой? — недовольно вскричал священник.

— А что? — вскипел вдруг Сен-Марен, повернувшись всем телом к своему безобидному противнику (сколь бы низко ни пал великий человек, он стыдился откровенной глупости.

Но пуще всего он боялся узнать самого себя в чужой глупости или подлости, точно отразившись в страшном зеркале). — А что? повторил он, стиснув длинные зубы и с каким-то шипением выдавливая через них слова. — Все мы, сударь мой, уповаем на чудо! Его жаждет весь наш объятый скорбью мир. Когда-нибудь — сегодня или через тысячу лет — может произойти нечто такое, что нарушит заведенный порядок, освободит нас из плена закономерностей. Но лучше, если это случится завтра, чтобы я мог спокойно уснуть! Кто дал право тупицам, выпестованным политехническими заведениями, вторгаться в мои сонные грезы? Слова «чудо» и «мистика» исполнены смысла, сударь, и всякий порядочный человек произносит их с чувством зависти!..

Господин Сабиру, в чем он сам признался позднее, никогда еще не был столь несправедливо оскорблен.

— Мне показалось, что господин Сен-Марен более поэт, нежели философ, заметил он, обращаясь к Гамбийе, — и может на свой лад толковать чужие слова. Но зачем же сердиться?

Впрочем, сам творец «Пасхальной свечи» вряд ли мог бы удовлетворительно ответить на сей вопрос. Он бессознательно ненавидит все, что по-

ходит на него, и никогда не признается в том, что испытывает какое-то мучительное наслаждение, презирая себя в других. Лучше кого бы то ни было он понимает, сколь неуловимо зыбка граница, отделяющая глупца от того, кто сделал острословие своим ремеслом; старый циник ярится, зачуяв в олухе, стоящем, казалось бы, неизмеримо ниже его, ягоду того же поля, хотя и помельче.

— Вы не видели отшельника, — вновь заговорил врач, чтобы нарушить затянувшееся молчание, — но осмотрели отшельничью обитель? Не правда ли, какой необычный дом! Какая уединенность!

— Я испытал его чары, — ответствовал писатель. — В жизни ценимы лишь редкие, необычные явления, миг ожидания и предчувствия. Я познал его здесь.

Господин Гамбийе согласно наклонил голову, осторожно улыбнулся. Между тем престарелая знаменитость подошла к окну и принялась водить по стеклу своими долгими перстами. В колеблющемся свете керосиновой лампы его тень шевелилась на стене, то растягиваясь, то укорачиваясь. Сумерки на дворе сгустились, смутно белела одна дорога. Среди глубокой тишины шавраншский лекарь слышал только тихое

поскрипывание ногтей на скользком стекле.

Он вздрогнул от неожиданности, когда раздался голос Сен-Марена:

— Этот чертов служка, видно, решил уморить нас! Ну не глупо ли сиднем сидеть здесь и зевать от скуки, когда у меня впереди целый день? Ведь я только завтра уеду… Да и, правду сказать, устал я изрядно.

— К тому же, — вставил Гамбийе, — если догадки аббата Сабиру не совсем беспочвенны, бедный его коллега вряд ли будет иметь возможность принять вас сегодня.

— Кстати, — откликнулась заезжая знаменитость, — на первый раз довольно уже того, что я увидел обитель сельского священника — впечатление совершенно необычное! (Он любовно обвел рукой четыре голые стены, как бы приглашая любителя редкостей полюбоваться некоей диковиной.)

Эти простые слова пролили целительный бальзам на уязвленное самолюбие Сабиру.

— Должен заметить вам, — промолвил он, — что сей покой весьма неудачно назван молельней, ибо мой почтенный коллега довольно редко наведывается сюда. В сущности, он почти не выходит из своей комнаты.

— Вот как? — воскликнул писатель, чье любопытство было видимо возбуждено.

— Почту за удовольствие быть вашим провожатым, — с готовностью предложил свои услуги будущий каноник. — Я совершенно уверен в том, что господин кюре с великой охотой оказал бы вам сей знак уважения, и, таким образом, я лишь предвосхищаю его желание.

Он взял со стола лампу, поднял ее над головой и по недолгом молчании осведомился, взявшись за дверную ручку:

— Не угодно ли господам следовать за мною?

На втором этаже люзарнский пастырь указал рукой полуотворенную дверь в конце длинного коридора и, обратившись к спутникам, молвил:

— Прошу извинить, я пойду первым.

Писатель и врач вошли следом. Висящая в вытянутой руке Сабиру лампа освещала длинную выбеленную известью чердачную комнату, которая показалась им поначалу совершенно пустой. От недавно вымытых еловых половиц шел крепкий смолистый дух. Потом, благодаря теням, отбрасываемым предметами, они разглядели кое-какую обстановку, расставленную вдоль стены: два плетеных стула, молитвенную скамеечку, заваленный книгами столик.

— Ни дать ни взять, чердак, где ютится какой-нибудь студентишка! разочарованно проронил Сен-Марен.

Но неутомимый Сабиру уже подзывал их к себе, опустивши до полу свой чадный светильник.

— Вот его постель! — не без гордости возвестил сей достойный муж.

Шавраншский насмешник и писатель, оба не отличавшиеся, впрочем, особой застенчивостью, со смущенной улыбкой переглянулись поверх широкой спины своего вожатого. Уже один тюфяк, до смешного узкий и куцый, забросанный рваниной, производил впечатление крайнего убожества. Но Сен-Марен едва взглянул на него: его внимание приковали два грубых зияющих башмака, уже позеленевших от старости. Один как-то странно стоял торчком, другой лежал на боку, являя взору проржавевшие шляпки гвоздей и покоробленную кожу — два старых изношенных башмака, глядевших на мир с усталостью невыразимой, такие жалкие, какими и люди не бывают.

— Что за зрелище! — тихо молвил писатель. — Убогое и пленительное зрелище!

Он думал о замкнутом круге человеческой жизни, о напрасно свершаемом пути, о последнем

шаге и роковом падении. За чем ехал в такую даль благородный скиталец? За тем самым, чего ждал он сам, Сен-Марен, среди привычных предметов, милых ему гравюр и книг, среди любовниц и угодничающих льстецов в особняке по улице Верней, том самом, где скончалась госпожа де Жанзе. Никогда, даже в лучшие свои дни, престарелый певец тлена не поднимался выше томной пресыщенности жизнью, изысканного всеотрицания. В горле у него встал ком, сердце забилось сильнее, а с уст полилась вдохновенная речь:

— Мы находимся в святилище, благоговейный трепет объемлет нас, как под сводами храма. Коль скоро обширному миру положены пределы, должно достойно обозначить место, где свершался труд великий, где духом человеческим владела безумная надежда. Быть может, мыслители древнего мира с презрением взирали бы на люмбрского святого; мы же, наученные многовековым опытом злосчастий, более снисходительно судим о сей звероватой мудрости, смысл которой и оправдание обретаются в одухотворенности действия. Разница между тем, кто хочет все принять, и тем, кто все отвержет, не столь велика, как принято думать. Есть суровое величие, неведомое древним любомудрам…

Торжественно-звучный голос именитого писателя как бы повис на последнем слоге, а взгляд устремился в угол, куда теперь светил расторопный Сабиру. В углублении стены под скатом крыши, на кое-как приколоченной дощечке висело металлическое распятие. В темном углу под ним лежал на полу кольцами свитой ремень того рода, какой погонщики быков называют «стрекало». Он был трех пальцев ширины у основания, оканчивался тонким хвостом и походил на плоскую черную змею. Но не распятие и не бич приковали взор маэстро — он не сводил глаз со странного пятна, занимавшего изрядную часть стены на высоте человеческого роста и состоящего из бесчисленного множества мелких насохших брызг, которые чем далее от края, тем гуще располагались, так что в средине слипались в сплошную бледно-ржавого цвета коросту. Некоторые из них, еще свежие, выделялись ярко-розовым цветом, другие, засохшие, как бы въевшиеся в штукатурку, едва проступали на ней крапинами неопределенного оттенка. Крест, кожаный бич, порыжелая стена… Суровое величие, неведомое древним любомудрам… Прославленный бард не осмелился бросить в зал завершающий аккорд, песнь его оборвалась…

Застывший на месте господин Гамбийе пробурчал себе в усы что-то о безумствах исступленной веры, исподволь наблюдая за хранящим молчание Сен-Маре-ном. Обольстительный наперсник почтенных обывателей Шавранша, столь проворно совлекавший простыни с жалкой наготы, не единожды хваставший, что может, не моргнувши глазом, видеть и слышать что угодно, почувствовал, как он сам позднее признавался, что у него мороз побежал по спине. Самый толстокожий человек и тот содрогнется, когда у него на глазах беззастенчиво вторгаются в тишайшую тайну великой любви, достояние бедного, единственное сокровище, которое он унесет с собой в могилу.

Отведя лампу и не тратя напрасно времени, Сабиру объявил совершенно невозмутимо:

— Господа, мой почтенный друг истязает себя и тем весьма вредит своему здоровью! Боже упаси, я не собираюсь порицать столь благочестивое усердие! Должен, однако, заметить, что такие жестокие приемы умерщвления плоти, отнюдь не предписываемые уставом, но лишь терпимые, многим представляются способом достижения святости как опасным, так и смущающим слабых духом и возбуждающим насмешки безбожников.

Последние слова бывший профессор подчерк-

нул широко распространенным жестом, соединив концы указательного и большого пальцев и отставив мизинец, с видом человека, желающего внести ясность в спорный вопрос. Замешательство врача и молчание писателя показалось ему лестным знаком благосклонного внимания. Он ухмыльнулся и пошел вон, довольный собой, ибо сия заурядность отличалась, ко всему прочему, поразительной бесчувственностью.

«Как же, однако, впечатлителен наш маэстро!» — думал между тем Гамбийе, правя след Сен-Марену и с любопытством поглядывая на длинную точеную руку, крепко сжимавшую трость и изредка постукивавшую ею о пол. И правда, заезжее светило делало почти героические усилия, пытаясь скрыть смятение, овладеть собою. Да, он не остался равнодушен к мрачным чарам убогого жилища, но давно уже научился понимать, что значит каждый удар его старого сердца. Едва шевельнувшееся волнение, находящееся еще в зачаточном, так сказать, состоянии, немедленно приводится в порядок и пускается в дело — оно есть сырье, которое его изворотливый ум перерабатывает, применяясь к вкусу покупателя.

Старого лицедея можно пронять лишь сильным впечатлением — его взбудоражило рыжее

пятно на стене в световом круге лампы. Его перу мы обязаны добрыми двумя дюжинами дерзких страниц — многие знают их наизусть, где бедняга пускает в ход все средства своего искусства, заклиная несговорчивый призрак. Никому еще не удавалось толковать о смерти более непринужденно, беспечно и ласково-пренебрежительно. Сколь можно судить, никто среди художников французского слова не обращал к ней взора столь безмятежного, не потешался над нею с такой злостью и такой нежностью… Какое же таинственное превращение свершается в его душе, когда, отложивши перо, он страшится смерти, как бессловесная тварь, как неразумное животное?

Нет, не рассудок его трепещет при мысли о неотвратимом конце, но слабеет и готова сломиться воля. Сей утонченный служитель искусства познал то отчаяние, когда встает на дыбы звериное начало, изведал липкий страх, слепой ужас пригнанной на бойню скотины, которая пятится, ощетиня шерсть, зачуяв кровь на лезвии мясницкой секиры. Так в свое время, если верить Гонкуру, отец натурализма и творец «Ругон-Маккаров», пробудившись среди ночи от того же темного ужаса, кидался на пол в одной сорочке, являя обмирающей супруге образ трепе-

щущего обличителя.

Сен-Марен стоял на верхней ступени лицом к темной лестнице и сильно дышал, чувствуя свинцовую тяжесть в висках и сухость в горле и зная по опыту, что это единственное средство, помогающее в таких случаях. Застрявший позади него Гамбийе с удивлением и беспокойством слушает неровное шумное дыхание маэстро, трогает легонько его плечо:

— Вам плохо?

Сен-Марен с трудом оборачивается и отвечает деланно бодро:

— Что вы, что вы!.. Так, пустяки… Небольшая одышка… Мне уже лучше… все в порядке…

Он чувствует себя таким слабым, таким разбитым, что вежливое сочувствие врача необыкновенно трогает его. Нередко после сильного потрясения, когда по членам разливалась такая вот блаженная расслабленность, он испытывал желание говорить по душам, откровенничать, нищенски клянчить совета или помощи. К счастью, притуплявшееся самолюбие просыпалось всегда вовремя, отгоняло искушение.

— Доктор, — сказал он отечески покровительственно, — вы узнаете на опыте, что странствия ничему уже не научают стариков, но лишь при-

ближают их конец. Но и это не так уж плохо! Когда на последнем повороте старичок и хочет и страшится кувыркнуться в небытие, иногда полезно легонько пихнуть его в спину!

— Небытие! — вежливо возражает люзарнский кюре. — Не слишком ли сильно сказано, маэстро?

Поверх плеча Гамбийе Сен-Марен устремляет взгляд на своего несносного угодника.

— Не все ли едино, как сказать? У вас что, есть выбор?

— Бывают такие безнадежные… такие мучительные слова… — восклицает бедняга, начиная бледнеть.

— Позвольте! — продолжает Сен-Марен. — Уж не полагаете ли вы, что я сподоблюсь бессмертия, ежели слово будет на слог короче или длиннее?

— Вы не так меня поняли! — лепечет будущий каноник, страстно жаждущий примирения. — Очевидно, такой ум, как ваш… иначе представляет себе… будущую жизнь… возможно… не так, как простые верующие… Однако мне трудно вообразить, что ваш возвышенный дух… смирился… с мыслью о совершенной, бесповоротной гибели, о полном исчезновении в небытии…

Заключительные слова он выговаривает сдав-

ленным голосом, а взор его, где отражается трогательное волнение, молит великого художника о снисхождении, о пощаде.

Неумолимое презрение Сен-Марена к глупцам удивляет на первых порах, ибо в иных обстоятельствах он частенько подыгрывает собеседнику, напуская на себя скептицизм. Но именно так он может, не подвергаясь особой опасности, выказать свою бессознательную ненависть к увечным и слабым.

— Весьма признателен вам за то, что вы уготовали мне другой рай, нежели своему викарию и певчим. Но упаси меня боже искать на небесах новую академию — с меня хватит и французской!

— Если я верно понял ваше язвительное замечание, — начал было Сабиру, вы обвиняете меня…

— Я не обвиняю вас! — вскричал вдруг Сен-Марен с необыкновенной запальчивостью. — Но уж лучше небытие, чем ваши дурацкие кущи!

— Кущи… Кущи… — лепечет, совершенно смешавшись, будущий каноник, …я отнюдь не хотел извратить заповедь господню… Я хотел лишь привести вас в ясность… выражаясь вашим языком…

— В ясность!.. Вашим языком!.. — передразнивает писатель, ядовито ухмыляясь.

Он приостанавливается, переводит дух. Лампа, дрожащая в руках святого отца, озаряет бескровное лицо Сен-Марена. Уголки злобно искривленного рта опустились, словно к горлу писателя подступила тошнота. И седой скоморох действительно изрыгнул, отхаркнул под ноги тупоголовому попу все, что было у него на сердце, вывернул наизнанку свое нутро.

— Я знаю, аббат, что великодушно сулят мне наиболее просвещенные люди вашего круга: бессмертие мудреца, коему отводится место между Ментором и Телемахом, под державной десницей добренького, изрекающего благоглупости Господа. По мне, так лучше бог Беранже, наряженный в мундир солдата Национальной гвардии! Мир древних Афин и Рима в изображении господина Ренана, моление среди развалин Акрополя, Греция, глядящая со страниц школьных учебников… Какая дичь! Я родился в Париже, аббат, в задней комнате лавки торговца из Маре. Мой отец был родом из Бос, а мать уроженкой Турени. Как и все дети, я учил слово божие, и если бы мне понадобилось преклонить колена перед образами, я прямиком отправился бы в свой старый приход Сен-Сюльпис, а не стал бы кривляться, как захмелевший преподаватель лицея, у изваяния

Афины Паллады! Мои книги, говорите? Плевать я на них хотел! Я жалкий дилетантишка, только и всего! Белая косточка? Да, я брал от жизни все, что мог взять, слышите? Я глушил ее стаканами, хлестал из горлышка, лил себе в глотку, не переводя дыхания. Все трын-трава! Ничего не поделаешь, аббат: смерть страшна, когда живешь в свое удовольствие. Лучше уж набраться смелости и посмотреть ей прямо в лицо, чем развлекаться чтением философских сочинений, вроде того, как ожидающие в приемной зубного врача стараются заглушить неприятные мысли, разглядывая картинки в иллюстрированных газетах. Это я-то увенчанный розами мудрец, славный потомок древних мыслителей? О, бывают минуты, когда обожание межеумков заставляет нас завидовать участи осужденных к позорному столбу! Поклонники таскаются за нами по пятам, хотят, чтобы им без конца показывали одну и ту же ужимку, умиляются собой, а назавтра объявляют вас вралем и шутом гороховым. Вот бы ханжам дорваться до пера! Откровенно говоря, аббат, все мы ходим в дураках, — несчетное, дремучее дурачье! Да последний землекоп, жалкий мураш, помышляющий лишь о том, чтобы набить себе брюхо, и тот перехитрил меня ведь он до

последнего часу может надеяться, что будет сыт и пьян. А мы!.. Покидаем стены коллежа в плену романтических бредней. Нет для нас на свете ничего более желанного, чем прекрасное бедро, изваянное из живого мрамора; очертя голову, мы устремляемся в погоню за женщинами. В сорок лет делим постель с герцогинями, а в шестьдесят уже тем рады, что бражничаем с уличными девками… А еще позднее… хе-хе-хе!.. еще позднее начинаем завидовать таким людям, как ваш святой: они-то, по крайней мере, умеют стариться!.. Вам угодно знать, что думает маститый художник? Так слушайте, что он скажет вам без утайки, начистоту выложит, все как есть!.. Когда лишился уже способности…

И он действительно высказал свои мысли, совершенно не заботясь о том, чтобы прикрыть их безобразную наготу, буквально захлебываясь отвращением к себе. Тонкие черты застыли в скотской отупелости, зубы ощерились в угрюмо-злобной усмешке, старое лицо оцепенело, сведенное жуткой судорогой порока. Гамбийе исподлобья наблюдал за ним, злорадно склабясь. Преподобный отец попятился. Выражение отчаяния на его лице смягчило бы самого барона Сатюрна, вызванного к жизни пером бессмерт-

ного Вилье.

— ...Полно... что вы, маэстро... — лепетал несчастный, — вера, обряды которой я отправляю, дарит нас бесценными сокровищами терпимости... милосердия... Сомнение в догмате веры... может... должно в известной мере... сочетаться с отеческим вниманием... я сказал бы, особым попечением... к некоторым исключительным личностям... Я никак не мог предполагать, что искреннее стремление к примирению несходных воззрений... так сказать, к составлению из них стройного целого... известная широта взглядов... Будущая жизнь... по учению церкви...

Доводы беспорядочно теснились в его помутившемся мозгу; ему хотелось выложить их все сразу, мысли скакали от одного к другому, как ошалевшая стрелка компаса.

Но могучий старик приступил к нему, заслонив его широкими плечами:

— Будущая жизнь? Учение церкви? — вскричал он, сверля Сабиру светлыми глазами. — Вы в это верите? Отвечайте прямо, без уверток: верите? Ну?.. Да или нет?..

(В голосе его, видимо, было что-то еще, кроме оскорбительного вызова...) Но разве припрешь к стене такого вот Сабиру? Ни разу он не усумнился

в справедливости проповедуемых им истин по той простой причине, что ни разу не усумнился в себе, в непогрешимости своих суждений. Все же он колеблется, лихорадочно роется в уме в поисках подходящего ответа, какого-нибудь удачного возражения… Но грозный противник совсем притиснул его, взял за глотку… Сабиру умоляюще поднимает руку. «Поймите же меня…» — начинает он обмирающим голосом.

Сен-Марен жжет его взглядом, где пылает нескрываемая ненависть, отворачивается. Тщетно пытается вымолвить что-то злосчастный кюре: слова застревают у него в горле, и слезы кипят на глазах — слезы позора.

Господин Гамбийе так никогда и не понял, каким образом мирно начавшийся разговор, становясь постепенно все громче и раздраженнее, достиг такой запальчивости и озлобления, что на миг почудилось, будто здесь, в свете керосиновой лампы, сошлись лицом к лицу три заклятых врага. Причина же заключалась в том, что все трое оказались в таких обстоятельствах, когда слова и внутреннее состояние перестают соответствовать, когда участники разговора препираются, не слушая друг друга, когда каждый говорит, отвечая своим мыслям, и негодуя, как ему кажется,

против собеседника, в действительности сердится на самого себя, на свое недовольство собой, подобно некоей диковинной кошке, ловящей собственную тень.

В наступившей тишине, где зрела новая гроза, они услышали вдруг скрип наружной двери, потом потрескивание лестничных ступеней под медленными грузными шагами. Они были настолько взвинчены, что переглянулись с каким-то благоговейным ужасом. Сабиру первым облегченно перевел дух, увидев спокойное лицо Марты.

— Ох-хо-хо, чистое наказание! — бормотала запыхавшаяся старуха.

Добравшись до последней ступени, она окинула мужчин быстрым взглядом, легонько охлопывая передник, чтобы разгладить набежавшие морщины.

— Ладислас ждет вас, господа!

В молчании они послушно сошли за ней к садовой калитке. Небо было усыпано звездами.

— Видать, он вперед пошел, — молвила служанка, указывая на светлое пятно, которое плыло, покачиваясь, вдоль дорожки темного кладбища. — Это его шаги. Ступайте, церковь будет отперта.

Она придержала священника за рукав и, привстав на носках обутых в кожаные галоши ног, зашептала ему на ухо:

— Хоть бы вы его уговорили — ведь маковой росинки во рту не было со вчерашнего вечера! Уморит он себя!

Она пошла прочь, не дожидаясь ответа. Своих спутников Сабиру нагнал уже у церковных сеней. Поразительно светлая, резко очерченная стрела храма возносилась в ночное небо. Изнутри доносилось шарканье кованых башмаков служки по каменным плитам.

— Итак, мы продолжаем вместе наши похождения, — любезно проговорил Сен-Марен, обращаясь к бывшему профессору, в которого улыбка великого писателя словно вдохнула жизнь. — Я и думать не могу об ужине, прежде чем вы отыщете вашего неуловимого святого. Согласитесь, это вмешательство свыше пришлось как нельзя более кстати — иначе мы и теперь еще препирались бы и злились друг на друга.

Послегрозовая свежесть развеяла его дурное настроение. Нищая лачуга святого и заколдованный круг света на стене казались ему теперь дурным сном.

— Давайте войдем, — немногословно пригла-

сил Сабиру (но какой благодарностью светились его глаза!).

Ладислас тотчас поспешил им навстречу. Будущий каноник бодро спросил:

— Ну, что новенького, Ладислас? (Лицо доброго крестьянина тотчас выразило крайнее недоумение.)

— Нет нигде нашего батюшки!

— Вот те на! — вскричал Сабиру, и отголоски долго гудели под старинными сводами.

Люзарнский пастырь негодующе скрестил руки на груди:

— Довольно шуток!.. Вы совершенно уверены, что...?

— Все осмотрел, каждый закуток облазил... Думал, он в часовне Ангелов он туда каждый день после обеда ходит и прячется в одном месте, так что не всякий сыщет... Только нет его там, нигде нет... Я уж и под кафедру лазил! Просто ума не приложу!..

— Но должен же он где-то быть? — вмешался Гамбийе. — Человек не иголка, как вы думаете?

Будущий каноник кивнул, давая понять, что он того же мнения.

— Может, господин кюре вышел через ризницу, — отвечал Ладислас, — и пошел по Вер-

нейской дороге до Рою, где крест поставлен? Он любит ходить туда поздним вечером, читая по пути молитвы.

— Ох-хо-хо! — шумно вздохнул шавраншский врач.

— Да вы погодите, — продолжал служка. — Только об эту пору осталось-то всего двадцать минут до благословения святого причастия — он давно бы уж воротился, давно… Я все думал… Сегодня вечером он был такой слабый, бледный… Ведь со вчерашнего вечера ничего не ел… Может, худо ему стало, вот что я думаю!..

— Боюсь, это вполне могло случиться, — заметил Сабиру.

Некоторое время он раздумывал, по-прежнему держа руки скрещенными на груди и надувая щеки, более важный, чем когда бы то ни было. Внезапно он решился:

— Весьма сожалею, уважаемый маэстро… о том, что… волею обстоятельств причиняю вам столько беспокойства…

— Никакого беспокойства, решительно никакого! — любезно возразил уважаемый маэстро, окончательно сменивший гнев на милость. — Я сказал бы даже, что это приключение начинает меня забавлять, если бы не разделял вашего

беспокойства… Но я, пожалуй, дальше не пойду — куда мне угнаться за вами на моих старых ногах! Я лучше подожду вас здесь…

— Надеюсь, вам недолго придется ждать, — отвечал бывший профессор. — Он наверное там: некуда ему больше деваться!.. Я полагаю, господин Гамбийе не откажется сопровождать меня: его помощь понадобится мне более, чем когда-либо. Идемте с нами, Ладислас, — сказал он, обращаясь к служке, — да захватите по пути сына кузнеца — вдруг понадобится нести нашего несчастного друга…

Его голос постепенно затих в отдалении, дверь захлопнулась, маститый романист остался один и улыбнулся.

XIII

Улыбка волшебства! Старая церковь медленно дышит, еще храня слабое тепло угасшего дня. Запах ветхих камней и истлевшего дерева, таинственный, как благоухание старого густого леса, обволакивает приземистые мощные столпы, мглою стелется над плохо пригнанными темными плитами, как болотная вода, застаивается в темных углах. Он стекает в выбоины пола, углуб-

ления стен, пустые ниши, словно в гранитное ложе, и красный свет лампады, теплящейся вдали у алтаря, напоминает бакен, горящий посредине глухого озера.

Сен-Марен с наслаждением вдыхает воздух деревенской ночи среди стен шестнадцатого столетия, источающих благоухание долгой череды минувших лет. Забрав шись в правый придел, он сидит в тихой задумчивости на краю дубовой скамьи, жесткой и гостеприимной. Над головой с легким скрипом покачивается на железной проволоке медный светильник, изредка хлопает дверь, а когда наступает тишина, ему чудится слабый звон — верно, подрагивают в свинцовых окладах пыльные стекла, отзываясь на стук копыт трусящей по дороге лошади.

«Сейчас врач и его несносный спутник таскаются бог знает где, — думает он, — и будут плутать как раз столько времени, чтобы я успел без помехи насладиться столь чудесным мгновением!..» (Он склонен верить в счастливые совпадения, в тайное благоприятствование случая.) Церковь, тишина, игра теней… В самом деле, будто нарочно приготовлено для него, как будто его ждали здесь! «Только бы они не вернулись слишком рано!» — думает он.

Они не вернутся слишком рано.

(«Умирающие прекрасно знают, чего им хочется, но помалкивают о своих желаниях», — заметил однажды старый еврей Мечислав Гольберг.)

Глухое беспокойство маститого романиста растворилось мало-помалу в глубоком внутреннем покое, какой ему редко случалось вкушать. Среди безмолвия, как огоньки ночного города, вспыхивают воспоминания. Его обступают беспорядочные образы прошлого, сладко хмеля своей пестротой. Как перекликаются, вторят друг другу годы, дни, часы через календарные границы!.. Ясное деревенское утро, чудный звон медного таза для варенья… Вечерний час, и прозрачная струя ледяной воды под сенью недвижной листвы… Удивленные глаза белокурой кузины, глядящей на него поверх семейного стола, волнующаяся маленькая грудь… И вдруг прыжок через полстолетия… Первые знаки старости, несостоявшееся свидание… страстная любовь, за которую отчаянно борются, сражаются самоотверженно, ни пяди не уступая, до последнего вздоха, когда губы старика жадно ловят упругий ускользающий рот, который завтра вонзит в него беспощадное жало… Это его жизнь — все, что не уничтожило время, что в минувших летах сохранило еще свои

черты, облик свой. Прочее все вздор, и книги и слава. Пятьдесят лет труда, блистательное имя, тридцать нашумевших книг… Неужели это так мало значит?.. Сколько болванов вопит: искусство, искусство… А что искусство? Бесподобный жонглер знает одни тяготы его. Он нес искусство на своих плечах, как бремя. Лепоречивый вития, толковавший о себе одном, ни разу не выразил себя. Свет, решивший, что любит его, видит лишь обманчивую личину. Он отлучен от своих книг, изначально лишен права на них… Полчища читателей — и хоть бы один друг!

Впрочем, он нимало не сожалеет о том. Вера в свою вечную неуловимость, убеждение, что люди никогда не будут знать о нем ничего, кроме видимости, зажигает лукавый огонек в его глазах. Пожалуй, только этой плутовской усмешки «под занавес» и заслуживает все лучшее, что возникло под его пером. Учеников он не жаждет. Толпящиеся вокруг него люди враждебны ему. Бессильные найти собственный путь к обаянию, обворожительности, тайной которых владел их кумир, они пробавлялись ловким подражательством. Самые дерзновенные их искания не шли дальше грамматических потуг. «Они разбирают по винтикам мои парадоксы, а вот снова собрать

не могут», — говаривал Сен-Марен. Поблекшая юность, видевшая, как Пеги лежал средь сжатой нивы перед лицом Бога, с отвращением отступает от дивана, где сверхутонченный критик лощит себе ногти. Она не мешает Нарциссу изощряться в томной немощи, но всеми силами души ненавидит наиболее крепких и удачливых из той своры, что грызется за наследство скверного учителя и натужно кропает путаные книжонки, со злобным ворчанием расступаясь перед сильнейшими. Единственно, что они способны свершить в юдоли сей, — с кряхтеньем нагадить воняющим кислятиной дерьмом вокруг источников, где несчастное человечество утоляет духовную жажду.

Но что создателю «Пасхальной свечи» до мышиных зубов, прилежно грызущих за его спиной! Сам он глодал свою корку, томясь скукою, скорее по нужде, чем ради удовольствия. Пора уступить место молодым крысам: у них зубы покрепче! В этот вечер он думает о них без гнева, с чувством блаженного покоя воображает далекий шумный город, бурливые толпы под необъятным черным небом. Суждено ль ему увидеть его еще? Да и существует ли он в действительности, там, далеко, во мраке упоительно теплой ночи?

Почти над самой его головой часы тихо стучат, как сердце в груди. Он закрывает глаза, чтобы лучше слышать их, жить и дышать в лад с сим ветхим пращуром, потерявшим счет летам своим, нехотя отмеряющим на протяжении долгих столетий беспощадное будущее. Этот стук, едва слышный под звучными сводами храма, этот ровный стрекот, изредка прерываемый боем, будет и по его смерти, еще многие-многие годы, звучать над безмерными пространствами безмолвия, вплоть до дня… Какой день возвестят они последним ударом полуночи, прежде чем навечно станут ржавые стрелки, две неразлучные подружки?

Он поднимает веки. Перед ним врезана в стену плита сероватого мрамора; на ней крупными, некогда золочеными буквами высечена надпись. Он медленно разбирает слова:

«В память… Жан-Батиста Ома, королевского нотариуса, 1690–1741… Мелании-Гортензии Ле Пан, супруги его… Пьера Антуана Доминика …Жан-Жака Ома, владетеля Эмекура… Поль-Луи Франсуа…» И так далее до последней строки, последнего имени: «…Жан-Сезара Ома д'Эмекура, капитана кавалерии, бывшего церковного старосты прихода, скончавшегося в Каннах… в

1889 году… благодетеля церкви сей… Помолитесь об угасшем роде сем» смиренно, словно стыдясь своей навязчивости, взывает доныне старый камень.

— Какая утрата! — презрительно шепчет писатель, но губы его трогает мягкая улыбка снисходительного покровительства. Толстая мраморная плита, где старательно высечены золоченые буквы… она самодовольно безвкусна, как любая вещь мещанского быта. Что может быть печальнее беломраморного надгробия, окруженного цепью, покоящейся на четырех каменных тумбах, когда по нему хлыщет зимний дождь! Но сколь утешительный образ смерти являет плита сия, утвержденная на стене против скамьи, где церковный староста принимал освященный хлеб, такая же гладкая и блестящая, как в первый день, предмет неусыпных забот прилежного служки! Прославленного романиста волнует незыблемая прочность сего посмертного поминовения. Он неторопливо читает имена, словно имена друзей, чья близость внушает уверенность. А сколько других покоится под плитами с изглаженными надписями вместе с останками многих колен Омовых — и там, и там, и там, до самого подножия алтаря добропорядочных обывателей, которым

хотелось спать под своим кровом и жить, покуда стоит неколебимо крепкое основание жилища их… Как приятно, наверное, уснуть здесь, бок о бок с ними!.. Никогда еще прославленный сочинитель не чувствовал себя таким покорным, смирившимся. От блаженной истомы все в нем расслабилось, и тихо плывет перед глазами сонная глубина церкви, открывшей ему свою тайну, ставшей близкой, родной. И слетает на него еще неизведанный доселе покой, блаженство неизъяснимое, сродни упоению святой веры… Он нежится в тихой отраде, сладко потягивается и подавляет зевок, точно молитву.

Небо темнеет, померк над хорами последний витраж. За отворяющейся дверью видна лишь бархатная тьма, наружный мир напоминает о себе одними долетающими сюда запахами. По рядам, от скамьи к скамье, летит приглушенный шепот, дробно топочут нетерпеливые ноги, поспешая к выходу; один за другим немногочисленные прихожане невидимками покидают храм. Давно уже благословили причастие, ризница по-прежнему заперта, лишь три светильника из двенадцати горят в огромном ковчеге. Так что же? Чего еще ждать?.. Завсегдатаи ищут друг друга в потемках, еще издали подают знак ласковым

покашливанием, заводят беседу… С последним вокурским автобусом уехали любопытствующие мужчины и женщины: в столь поздний час в Люмбре остаются лишь старые его друзья. Наконец и они расходятся. Сен-Марен оказывается совершенно один.

XIV

Теперь он единственный обладатель огромной, мрачноватой, но все же прелестной игрушки, один он, сочинитель «Пасхальной свечи», он один! Сен-Марен любовно скользит взглядом по ребрам сводов, образующим вверху розетку и по трое с упругим, почти звериным изяществом низбегающим к пилястрам боковых стен. Не старался ли, не ведая того, вдохновенный зодчий, чьи руки сотворили некогда сии невесомо парящие своды, о том, чтобы приковался к ним восхищенный взор седовласого гения? Чего еще ждут богомолы и богомолки, да и сам мужичий поп, возводя глаза к безжизненному небу, как не ослабления уз, их оковавших, недолгого покоя, временного примирения с судьбой? То, что они простодушно именуют милостью божией, даром Духа Святого, благодетельностью святого причастия, и

есть эта самая передышка в уединении храма. Жалкие, глупые людишки, утруждающие себя пустословием! Преславный деревенский святой воображает, будто каждое утро вкушает жизнь вечную, но в действительности стал жертвой довольно грубого обмана чувств, который вряд ли может сравниться с грезой наяву, с умышленным самообманом словесника-чародея. «Почему мне раньше не приходило в голову забраться куда-нибудь в глушь и дышать запахами сельской церкви? Наши прабабки, жившие в тридцатые годы прошлого столетия, знали тайны, утраченные нами!» Он жалеет о посещении священнического дома, едва не увлекшем его в совсем другую сторону, о дурацком паломничестве в каморку святого (увидев забрызганную кровью стену, он испугался, решив, что сходит с ума). Зрелище, в сущности, довольно дикое, вынести его под силу только людям с менее развитым воображением. «Как и все на свете, святость красива, только когда ее напудришь и накрасишь, а за нарядной вывеской одна мерзость и вонь!» думает он. В его возбужденном мозгу кипят новые, смелые мысли; еще неясная, полная юных соков надежда вливает бодрость в старые мышцы. Давно уже он не чувствовал свое тело таким упругим и

сильным.

— В старости есть своя отрада, — сказал он едва ли не в полный голос, она открылась мне сегодня. Даже с любовью — да, и с любовью тоже! — можно разлучиться тихо. Я искал смерть в книгах, в гнусных городских кладбищах, то непомерно разбухших, напоминающих чудовищные ночные видения, то съежившихся ровно настолько, чтобы прийтись впору господину в казенной фуражке, который, говорят, содержит в порядке могильные ограды, все заносит в роспись, хозяйски ведает всем. Нет, только здесь или в какой-нибудь другой подобной обители должно принять ее, как приемлют холод или зной, ночь или день, нечувствительный ход светил, круговращение времен года, по примеру мудрецов и зверей. Сколько ценного, непривычного может почерпнуть мыслитель в тайных глубинах души какого-нибудь сельского пастыря, вроде здешнего, живущего согласно с природой, наследника вдохновенных пустынников, превращенных некогда воображением пращуров в божества полей и лугов. О, неразумный стихотворец, ищущий царства небесного и обретающий вместо него просто покой, смиренное покорство силам природы, безмятежность духа!..

Не трогаясь с места, знатный сочинитель мог бы коснуться рукой исповедальни, где люмбрский святой дарит паству сокровищами обретенной опытом премудрости. Устроенная меж двух каменных столпов, она выкрашена в ужасный темно-бурый цвет; вход в это безвкусное, почти безобразное сооружение задернут двумя зелеными занавесами. Знаменитость огорчена этим уродством, тем, что деревенский пророк изрекает свои откровения, сидючи в ящике из еловых досок. Тем не менее она с любопытством разглядывает деревянную перегородку, за которой ему мерещится покойное, улыбающееся, внимательное лицо престарелого пастыря, сомкнутые вежды и поднятая для благословения рука. Сен-Марену несравненно приятнее воображать его таким, нежели стоящим лицом к голой стене в своем чулане под крышей, с бичом в руке, окровавленного, объятого безумием самоистязания! «Самые кроткие мыслители, — думает он, — и те, несомненно, нуждаются в такого рода встряске, оживляющей в их сознании потускневшие образы. То, чего иные добиваются с помощью опиума и морфина, он достигает ударами кожаного кнута по собственной спине и бокам».

Медный светильник тихо качается, колышется

взад и вперед на железной проволоке. Тень то растягивается, всползая до сводов, то съеживается, затаивается в черных впадинах столпов, вновь растекается по храму. «Так и мы переходим от холода к теплу и от тепла к холоду, — грезит Сен-Марен, — то горим задором, то охватит нас холодом и усталостью, согласно неведомым и, вероятно, непознаваемым законам». Некогда неверие наше было вызовом. Но и безразличие, в котором позднее мы видим верное средство все постичь, скоро становится довольно утомительной рисовкой. Боже, какого судорожного напряжения стоит улыбка прожигателя жизни! И правнуков наших не минует чаша сия. Ум человечий без конца меняет рисунок и изгиб своих крыльев — они рассекают воздух под самыми разными углами, от положительных до отрицательных, но не могут оторвать его от земли. Есть ли ныне слово более постыдное, чем «дилетант», некогда внушавшее почтительное уважение? Новое поколение, очевидно, было отмечено печатью иной, теперь можно сказать какой: печатью жертвенности — почетный жребий, которому завидуют военные люди. Я видел юного Лагранжа, снедаемого священным нетерпением, воплощенное предчувствие… Он прежде меня

вкушает покой, который так ненавидел. Кем бы мы ни были, верующими иль вольнодумцами, как бы нас ни называли, все искания наши обречены на неуспех — более того, всякое усилие лишь приближает конец. Самый воздух горит в груди, сжигает нас. Сомнение не слаще отрицания. Но проповедовать сомнение — вот уж казнь египетская! В лучшие годы все помыслы наши сосредоточены на женщинах, от половой страсти кровь шумит в голове, гонит мысли прочь. Мы живем в каком-то болезненно-сладком полубреду, перемежающемся приступами отчаяния, когда все предстает нам с беспощадной ясностью. Но по мере того, как годы минуют, мысленные представления тускнеют, кровь в жилах делается все водянистей, машина работает на холостом ходу. Состарившись, мы переживаем школярские премудрости, которые только потому и были хороши в свое время, что мы вкладывали в них весь пыл наших желаний; мы твердим слова столь же обветшалые, как мы сами; мы жадно ищем в юных взорах утраченные нами тайны. Ах, нет испытания более тяжкого, нежели сравнивать свою немощь с жаром и кипением жизни в других, как если бы вставал перед нами могучий вал, которому уже не взметнуть нас на свой хребет…

К чему пытаться повторить то, что дается лишь единожды? Этот попик поступил умнее: он ушел от жизни, не дожидаясь, когда она уйдет от него. Старость его не отравлена сожалениями. Он желает лишь как можно скорее избавиться от того, с чем так жаль расставаться, и когда мы сетуем на то, что желание наше притупилось, он рад тому, что искушение не тревожит более его покоя. Я готов биться об заклад, что уже в тридцать лет он научился вкушать стариковские радости и, таким образом, ничего уже не терял с возрастом. Может быть, не поздно еще последовать его примеру?

Таинственный крестьянин, воспитанный старыми книгами и поучениями неотесанных наставников в пыльных классах духовной семинарии, может постепенно достичь безмятежного покоя мудрости, но опыт его скуден, приемы незамысловаты, подчас нелепы и осложнены к тому же глупыми суевериями. Именитый словесник, завершающий путь свой на мирском поприще, но достигший поры полного расцвета творческих сил, может добиться того же иными средствами: воспринять от святости привлекательные ее стороны, вернуться, оставив брюзгливые ужимки, к покою детской души, привыкнуть к тишине и уединению сельской жизни, учиться не столько

тому, чтобы ни о чем не сожалеть, сколько тому, чтобы ни о чем не вспоминать, следовать, оснуясь на трезвом рассудке и соблюдая разумную меру, старинным и, без сомнения, мудрым правилам воздержания и целомудрия, находить в старости удовольствие, как его находят в осени, вечерних сумерках: свыкнуться понемногу с мыслию о смерти. Конечно, игра нелегкая, и все же не более чем игра — не так ли? — для человека, написавшего столько книг, для создателя обманов. «То будет последнее мое творение, — решил Сен-Марен, — я напишу его для себя, и буду попеременно то исполнителем, то зрителем».

Но последних книг не пишут, о них лишь мечтается неясно. Уже одно то, что книга эта стала грезой, есть зловещий знак. Так старые кошки, зачуяв близкую смерть, поскребывают ковер, и по прекрасным цветным узорам блуждает их взор, полный нежности неизреченной.

То же выражение и в глазах Сен-Марена, неотрывно глядящего на легкую деревянную решетку — за нею мнится ему благословляющий подвижник, премудрый старец с всепрощающей улыбкой на устах, восхитительно красноречивый и немногословный, умудренный знанием души человеческой. Он полюбил уже святого за

то добро, какое тот может сделать для него. Даже святые не остаются равнодушны к особо утонченным изъявлениям учтивости, к тому сердечному, проникновенному благожелательству, которое есть наивысшее выражение вежливости ума недюжинного. Человек, питающий отвращение к откровенной лести, не без удовольствия принимает тонкую похвалу. Да что говорить! И до великого Сен-Марена немало людей преклоняло здесь колена, внимало доброму старцу и уходило с облегченной душой. В самом деле, разве может человек закоснеть в грехе, коли есть исповедь? Разве, признаваясь со стыдом в своих прегрешениях — пусть утаивая что-то, не оставаясь честным до конца, — не испытывает он острого, терпкого ощущения, похожего на укор совести, которое служит не совсем обычным и не слишком приятным лекарством от пресыщения грехом? Кстати, ярые приверженцы вольномыслия делают великую глупость, не желая признавать, что церковь прибегает к той самой психотерапии, которая кажется им столь новым и превосходным средством, когда к нему прибегает какое-нибудь светило в области неврологии. Разве этот самый профессор не делает в своей клинике то же, чем занимается простой священник в исповедальне:

располагает к откровенности, побуждает довериться ему, а затем внушает расслабленному, успокоенному пациенту? Сколько тайн плесневеет в тайниках души, и облегчить ее можно лишь таким образом! Знаменитость, прячущаяся в собственной тени, видящая свое отражение во всех глазах, слышащая свой голос на всех устах, узнающая себя даже в жгучей неприязни и зависти, какие вызывает в других, вполне может сделать попытку вырваться из плена своего «я», разорвать заколдованный круг. Она никогда не открывается стоящему ниже и неизменно лжет равному. Правда, она оставит по себе правдивые записки, но истинная сущность ее, искаженная вполне понятной скрытностью, заволакивается еще более густым туманом из-за ужасных припадков посмертного тщеславия, которые довольно хорошо знакомы публике. Нет ничего более суетного, чем загробное слово… Ну что ж… ну что ж, он счастлив будет, если однажды, по воле случая, отдаст сокровища своей души первому встречному, как швыряют нищему горсть золотых монет, он, который никому еще не делал столь щедрого дара. Лишенный, при всей своей утонченности, истинного вкуса, хотя и воспринимал грубость как насилие над собой, этот

человек не способен был высвободиться из плена собственной низменности. С детской гордостью он так и сяк поворачивает в уме эти пестрые мысли, радуясь тому, что остается лишь выбирать из множества веских доводов. Он глядит на деревянные ступени, истертые за многие годы коленами кающихся, не просто с любопытством, а с жадностью… Стоит только опуститься на них, а там уже все пойдет само собой. Кто помешает ему? Тому, что не знает равных себе в тонком искусстве наблюдения, очаровательному насмешнику, лучше кого бы то ни было умеющему сохранять хладнокровие, не будет, конечно же, отказано в том, что расточалось на этом самом месте перед неграмотными старыми девами! Нужно лишь небольшое усилие, чтобы он, который несчетное число раз высасывал, выжимал все до капли из редкостных, трудно достижимых ощущений, говорил на самых разных языках, перепробовал столько притворств, влез наконец в шкуру деревенского мудреца, познавший цену всему, умиротворенный, в меру набожный. Со времен римского императора, сажавшего репу, многие великие мира сего ждали смерти, вкушая тихие радости деревенского бытия. На языке театральных кулис это называется «вжиться в роль»,

чтобы поверить собственному притворству. Так жирненький, раскрасневшийся от довольства актер, добросовестно изучив образ, допивает кружку пива и захлопывает книгу со словами: «Ну, теперь он у меня в кармане, этот Полиевкт!»

XV

«Теперь этот святой у меня в кармане!» — мог бы сказать знаменитый писатель, если бы был настроен на шутливый лад. Он и в самом деле у него в кармане или скоро окажется там. С детским самодовольством Сен-Марен размышляет о том, что он, пренебрежительно отведывавший самых диковинных плодов из царских вертоградов, еще может в охоту грызть краюху ржаного хлеба, вырванную изо рта бедняка: гения снедает жгучее, ненасытное любопытство.

Как сладостно вкусить в столь преклонные лета радости причащения! Конечно, от Парижа до Люмбра не близко, но какой путь одолел он, перебравшись из дома священника в церковь! Еще полчаса назад его терзали беспокойство и страх, и впереди не было ничего, кроме бесславного возвращения в особнячок по улице Верней, где он умер бы, ненужный, забытый, цепляясь за руку

служанки, которая шептала бы, словно про себя, что «бедному мосье так не хочется умирать!». Но вот бремя тоски спало с души, он свободен, кое-что придумал, — какое счастье! — его даже лихорадит немного от возбуждения… За полтора месяца все можно обдумать и решить. Он приищет где-нибудь на лесной опушке полукрестьянский, полуобывательский домик, стоящий посреди росистого зеленого луга… Обращение Сен-Марена в веру божию, его отшельническая жизнь в Люмбре… торжествующий вопль верующих… первое интервью… тонко поведенная речь… нечто вроде завещания великого писателя: последний привет юности, красоте и радостям жизни, которых он лишился, но от которых не отрекся, а потом молчание, бесконечное молчание, где будут благоговейно погребены, один подле другого в их люмбрском уединении, мыслитель и святой.

Картина так живо рисуется ему, что он впадает в какое-то забытье, грезит с открытыми глазами, потом, вздрогнув, просыпается, словно от толчка, и вновь оказывается один. Внезапное пробуждение нарушило душевное равновесие, он неспокоен, возбужден. Недоверчиво глядит он на пустую исповедальню — вот она, совсем

рядом, запертая дверь за зеленой занавеской манит его… Да что в самом деле! Лучше случая не придумаешь увидеть нечто большее, чем убогое жилище отшельника, жалкое ложе его и бич, то самое место, где он является душам верующих! Сен-Марен один, да и что за беда, если кто-нибудь увидит? В свои семьдесят лет он действует, повинуясь первому порыву, неизменно ясному, определенному, неодолимому — опасная черта романистов… Он нашаривает ручку, решительно распахивает дверь.

Обычно колебания предшествуют поступку, он же только теперь испытывает нерешительность — мозг включился слишком поздно. Он потупляет глаза, чувствуя смутные угрызения совести, раскаиваясь в том, что поступил опрометчиво, наудачу, то ли боясь, то ли стыдясь вторгнуться в чужую, ничем не защищенную тайну. Но полоса света уже ползет по плитам, достигает зияющего провала двери, забирается внутрь, медленно поднимается… Вслед за ней поднимается его взгляд…

…Останавливается… какой смысл! Уже не скрыть того, что раз и навсегда обнажает свет.

…Два тяжелых башмака, похожих на те, что он видел на чердаке… Нелепо задравшаяся сутана…

длинная худая нога в шерстяном чулке, совсем окостенелая, упершаяся каблуком в порог… Вот что увидел он спервоначала; потом в густой тени стал понемногу различать что-то смутно белевшееся там и вдруг увидел страшное, жутко искаженное лицо.

Антуан Сен-Марен умеет выказывать в чрезвычайных обстоятельствах хладнокровное, расчетливое мужество. Впрочем, неожиданно нашедшийся священник вызывает в нем не меньше раздражения, чем страха. Только он размечтался — и на тебе, прервал на самом приятном месте! Значит, последнее слово осталось за этим необычным свидетелем, забившимся в темный ящик, за стоячим мертвецом. Хозяин нашелся, и профессор язвительной словесности смущенно гонит прочь глуповато-умилительные мечты.

Он широко распахивает дверь, отступает на шаг, мерит взглядом странного соседа; небрежно стоит перед ним, еще не решаясь бросить ему вызов.

— Хорошенькое чудо! — присвистнул Сен-Марен сквозь зубы, начиная злиться. — Наш пастырь, оказывается, умер от сердечного приступа. Эти дураки гоняют за ним по окрестным дорогам, а он преспокойно стоит здесь, как часо-

вой, убитый выстрелом в упор в своей будке!

Привалившись к задней стенке исповедальни над узким сиденьем, на которое откинулся в последний миг, упираясь закоченевшими ногами в тонкую дощечку, укрепленную на полу поперек входа, жалкий остов люмбрского святого, оцепеневший в преувеличенной неподвижности, выглядит так, словно человек хотел вскочить на ноги, увидев нечто совершенно поразительное, — да так и застыл.

Пусть других заботливые руки кладут на одр, укрывают свежей белой холстиной, дабы почили в мире, — сей муж восстал в непроглядной тьме поглотившей его ночи и внемлет зову чад своих… Он не все еще сказал… Нет, он не сказал последнего слова… Старый израненный боец вступается за слабых, обличает изменника и измену… О, Дьявол, мятежник, не желающий расстаться с былою славою своей, презирающий неповоротливо-задумчивое стадо людское, которое то погоняет, то сдерживает по прихоти своей, ты есть искусный, великолепный лжец! Но смиренный противник его не сдается и под оглушительное улюлюканье упрямо качает головой. Ликующая преисподняя бурей хохота и воплей встречает простодушные, маловразумительные речи заступника,

невнятно-бесхитростную отповедь его. Пусть! Ему внемлет еще кто-то, и когда-нибудь люди узрят его в небесах!

«Господи, не верь, что прокляли тебя! Да сгинет лжец, продажный свидетель, ничтожный соперник твой! Он обокрал нас, раздел донага и вложил в уста наши богохульство. Но нам осталось страдание — наш общий с тобой удел, знак избрания нашего, наследие отец наших, которое сильнее целомудренного, неподкупного пламени души… Разум наш неповоротлив и слаб, доверчивость наша безгранична, а соблазнитель хитроумен, и мед на языке его… В устах его привычные слова обретают угодный ему смысл, и чем они благозвучнее, тем скорее сбивают с толку. Когда мы безмолвствуем, он говорит за нас, а когда пытаемся оправдаться, выносим обвинительный приговор самим себе. Необыкновенно хитроумный по части доказательств, он не перечит нам, а тешится тем, что нудит жертвы свои самих себя осуждать к смерти. Да сгинет с ним коварство слов! В вопле страдания отобразился человек, в стенании, исторгнутом от безмерной натуги утробой его. Ты бросил нас в гущу вещества, как горсть дрожжей. Пядь за пядью мы отвоюем вселенную, похищенную от нас грехом, и возвратим

ее тебе, обиталище порядка и святости, в том точно виде, в каком получили в первый день по сотворении мира. Не отмеривай нам времени, Господи! Наше внимание так скоро утомляется, а ум коснеет! Взор наш неутомимо высматривает окрест несуществующий исход, то и дело один из работников твоих бросает орудия и уходит. Но ты не ведаешь усталости в сострадании, всюду зрим острие меча твоего. Беглец вернется к ремеслу своему иль погибнет в одиночестве. Се есть то, чего вовек не прознает всеведущий враг!.. Наипрезреннейший из людей уносит с собой тайну, тайну благодетельного, очистительного страдания… Напрасна мука твоя, Сатано! Вот я пред тобою, там, куда ты увлек меня, и готов принять последний удар… Я всего лишь простоватый священник, над которым ты коварно посмеялся, а теперь столкнешь в пропасть, как придорожный камень… Кто может тягаться с тобой в хитроумии! Давно ли ты принял обличье и голос Господина моего? Когда я уступил в первый раз? Когда принял от тебя с безрассудной снисходительностью то единственное, чем можешь наделить: обманчивый образ отрешенности и бесконечного одиночества святых, отчаяние твое, неизъяснимое сердцу человечьему? Ты страдал,

молился со мною… О, страшная мысль! Да и самое чудо… Но пусть! Пусть! Возьми все! Ничего не остави мне! После меня другой, и еще другой, без конца, из века в век, будет исторгать все тот же вопль, прижимая к груди крест… Мы не те густорумяные святые о ватной бороде, каких видят на картинках простолюдины, красноречию и телесной крепости которых позавидовали бы сами мудрецы. Наша доля отнюдь не такова, какой мнится живущим в миру. Самые тяготы гения кажутся легкомысленной забавой по сравнению с ней. Всякая прекрасная жизнь есть слово в защиту твою, Господи, но слово святых выжжено каленым железом».

Таково было, вероятно, последнее сетование, вознесенное Судие люмбрским святым, такова была укоризна, слетевшая с уст любящего чада. Но приехавшей из такой дали знаменитости он сказал бы нечто другое. Немотствует в полумраке черная яма рта, разинутого для последнего вопля, но всем оцепеневшим телом своим мертвец бросает страшный вызов: «Ты хотел мира моего? Возьми же».

— ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА —

I

У меня приход как приход, ничего особенного. Все приходы на одно лицо. Теперешние, естественно, приходы. Я сказал вчера об этом норанфонтскому кюре: добро и зло здесь в равновесии, но только центр их тяжести лежит низко, очень низко. Или, если предпочитаете, добро и зло наслаиваются одно на другое, не перемешиваясь, как жидкости разной плотности. Г-н кюре расхохотался мне в лицо. Это хороший священник, очень добрый, отечески благорасположенный, в архиепископстве он слывет даже вольнодумцем, немного опасным. Его шуточки веселят всю епархию, и он сопровождает их настойчивым взглядом, как он считает — живым, но, по-моему, таким, в сущности, усталым, измученным, что хочется плакать.

Мой приход снедает уныние, точнее не скажешь. Как и множество других приходов! Уныние снедает их у нас на глазах, и мы тут бессильны. Возможно, не далек день, когда эта зараза коснется и нас, мы обнаружим в себе раковую опухоль. С нею можно жить очень долго.

Эта мысль пришла мне в голову вчера на до-

роге. Моросил мелкий дождичек, из тех, что впитываешь легкими и влага заполняет тебя, проникая до самого нутра. С сенваастского откоса деревня вдруг увиделась мне такой придавленной, такой жалкой под мерзким ноябрьским небом. Вода курилась над ней со всех сторон, и деревня точно прикорнула там, в струящейся траве, как несчастное обессилевшее животное. Какая же это малость, деревня! И эта деревня была моим приходом. Она была моим приходом, а я был бессилен ей помочь и печально смотрел, как она погружается во тьму, исчезает… Еще несколько минут, и я уже не буду ее видеть. Никогда прежде я не ощущал с такой пронзительной болью ее одиночество и мое собственное. Я думал о скотине, сопение которой слышалось в тумане, о пастушонке, который, возвращаясь из школы с ранцем под мышкой, скоро погонит коров по вымокшему пастбищу к теплому, душистому стойлу… И она, деревня, казалось, также ждала — без большой надежды, — что после стольких ночей, проведенных в грязи, придет хозяин и поведет ее к какому-то несбыточному, непостижимому приюту.

Я отлично понимаю, что все это бредни, я и сам не принимаю их вполне всерьез, так, грезы… Де-

ревни не подымаются на зов мальчишки-школьника, как коровы. Ну и пусть! Вчера вечером, мне кажется, найдись какой-нибудь святой — она бы пошла за ним.

Итак, я говорил себе, что мир снедаем унынием. Естественно, нужно немного призадуматься, чтобы отдать себе в этом отчет, так сразу не увидишь. Это вроде как пыль. Ходишь, бродишь, занятый своим делом, и не замечаешь ее, дышишь ею, пьешь ее, ешь, но она так тонка, так въедлива, что даже на зубах не скрипит. Стоит, однако, остановиться хоть на мгновение, она покрывает твое лицо, руки. Нужно суетиться без устали, чтобы этот дождь пепла не осел на тебе. Вот мир все и суетится.

Мне скажут, пожалуй, что мир давным-давно свыкся с унынием, что уныние подлинно удел человеческий. Возможно, семена его и были разбросаны повсюду и взошли местами, на благоприятной почве. Но я спрашиваю себя, знавали ли люди и прежде такое всеобщее поветрие уныния? Недоносок отчаяния, постыдная форма отчаяния, эта проказа, нет сомнения, — своего рода продукт брожения разлагающегося христианства.

Ясное дело, такие мысли я держу про себя. Но не стыжусь их, однако. Я даже думаю, что меня

хорошо бы поняли, слишком хорошо, пожалуй, для моего спокойствия — я хочу сказать, для спокойствия моей совести. Оптимизм наших владык давно омертвел. Те, кто все еще проповедуют его, поучают по привычке, сами в него не веря. На малейшее возражение они отвечают понимающей улыбкой, словно извиняясь. Старых священников не проведешь. Пусть внешние формы и неприкосновенны, пусть соблюдается верность исконному словарю, сами темы официального красноречия уже не те. Люди постарше нас замечают перемены. Прежде, к примеру, в соответствии с вековой традицией, епископское послание непременно завершалось осторожным намеком — убежденным, конечно, но осторожным — на грядущие преследования и кровь мучеников. Теперь предсказания такого рода делаются реже. Уж не потому ли, что их осуществление представляется довольно вероятным?

Увы! В священнических домах все чаще слышишь словечко из так называемых «окопных» — этот отталкивающий жаргон, не знаю как и почему, казался забавным старшему поколению, но моих сверстников от него коробит, так он уродлив и скучен. (Поистине удивительно, впрочем, с какой точностью мрачные образы этого жаргона

выражают мерзкие мысли, но только ли в окопном жаргоне дело?..) Все кругом только и твердят, что главное — «не вникать». Господи! Но мы ведь созданы для этого! Я понимаю, на это есть высшие духовные лица. Ну а кто их, наших владык, информирует? Мы. Так что, когда превозносят послушание и монашескую простоту, мне, как я ни стараюсь, это не кажется убедительным…

Все мы, если велит наставник, способны чистить картошку или ухаживать за свиньями. Но приход не монастырь, тут одной добродетели мало! Тем более что они ее даже не замечают, да, впрочем, им и не понять, что это такое.

Байельский протоиерей, уйдя на покой, стал частым гостем в Вершоке у достопочтенных отцов картезианцев. Одна из его лекций, на которой господин декан предложил нам присутствовать почти в обязательном порядке, так и называлась: «Что я видел в Вершоке». Мы услышали немало интересного, даже увлекательного, вплоть до самой манеры изложения, поскольку этот очаровательный старец сохранил невинные причуды бывшего преподавателя словесности и холил свой стиль не меньше, чем руки. Казалось, он надеется, впрочем не без опаски, на весьма маловероятное присутствие среди своих слушателей в

сутанах г-на Анатоля Франса и словно бы испрашивает у того снисхождения к Господу Богу во имя гуманизма, расточая многозначительные взгляды, двусмысленные улыбки и изящно отставляя мизинчик. Церковное кокетство такого рода было, наверно, модным в девятисотые годы, и мы постарались отдать дань его «меткости», хотя он ровным счетом ни во что не метил. (Я, возможно, слишком груб по природе, слишком неотесан, но, признаюсь, образованные священники мне всегда были противны. Общение с высокими умами — это, в сущности, тот же званый обед, а лакомиться на званом обеде под носом у людей, умирающих с голоду, недостойно.)

Короче, г-н протоиерей поведал нам уйму всевозможных историй, как принято выражаться, «анекдотов». Думаю, смысл их я понял. К сожалению, все это тронуло меня меньше, чем мне бы хотелось. Не спорю, никто так не управляет своей внутренней жизнью, как монахи, но все эти пресловутые «анекдоты» вроде здешнего вина — его нужно пить на месте, перевозки оно не терпит.

Возможно также… должен ли я об этом говорить?.. возможно также, что когда такая небольшая группа людей живет день и ночь бок о бок друг с другом, она невольно создает благо-

приятную атмосферу… Мне и самому доводилось бывать в монастырях. Я видел, как монахи, распростершись ниц, смиренно выслушивали, не пытаясь даже возражать, несправедливые поучения какого-нибудь настоятеля, который старался сломить их гордыню. Но в этих обителях, куда не долетает эхо внешнего мира, сама тишина приобретает такое особое качество, такое поистине поразительное совершенство, что слух, обострившийся до чрезвычайности, мгновенно улавливает малейший трепет… Иная тишина в зале капитула дороже аплодисментов.

(В то время как епископское увещевание…)

Я перечитываю первые страницы своего дневника без всякого удовольствия. Разумеется, я немало передумал, прежде чем решился завести его. Но это меня отнюдь не успокаивает. Для человека, привыкшего к молитве, размышления слишком часто не более чем алиби, скрытый способ утвердить себя в определенном намерении. Рассудок легко оставляет в тени то, что мы желаем там спрятать. Мирянин, раздумывая, взвешивает твои возможности, это понятно! Но о каких возможностях может идти речь для нас, коль скоро мы раз и навсегда приняли грозное присутствие божественного в каждом мгнове-

нии нашей ничтожной жизни? Пока священник не утратил веры, — а что от него останется, если он ее утратит, ведь тем самым он отречется от себя? — он не может даже составить ясного представления о своих собственных интересах, представления столь же прямого — хотелось бы даже сказать: наивного, непосредственного, как человек, живущий в миру. Взвешивать свои возможности да зачем? Против бога не играют.

Получил ответ от своей тетки Филомены, в конверт вложены две стофранковые купюры, — этого как раз хватит на самые неотложные расходы. Деньги утекают у меня между пальцами, как песок, просто ужасно.

Надо признать, что я делаю непоправимые глупости! Так, например, эшенский бакалейщик г-н Памир, человек порядочный (двое из его сыновей священники), сразу же принял меня очень дружелюбно. Он, впрочем, постоянный поставщик моих собратьев. Когда бы я ни зашел к нему, он непременно потчевал меня в задней комнате своей лавки хинной водкой и печеньем. Мы подолгу с ним беседовали. Времена для него сейчас трудные, одна из дочерей все еще не устроена, а оба младших мальчика, студенты католического института, немало ему стоят. Короче, как-то, при-

нимая мой заказ, он сказал с милой улыбкой: «Я добавлю три бутылки хинной, у вас хоть краска появится в лице». Я, по глупости, решил, что это — подарок.

Бедняк, который двенадцати лет прямо из нищего дома попал в семинарию, так никогда и не узнает цену деньгам. Я полагаю даже, что нам трудно сохранить честность в деловых вопросах. Лучше уж вовсе не рисковать и не играть, пусть даже и невинно, с тем, что большинство мирян считают не средством, но целью.

Вершинский священник, не всегда отличающийся тактом, счел нужным шутливо намекнуть г-ну Памиру на это небольшое недоразумение. Тот искренне огорчился. «Я всегда рад господину кюре, — сказал он, — пусть заходит ко мне почаще, мы не откажем себе в удовольствии выпить вместе. Я, слава богу, от одной бутылки не обеднею. Но дела есть дела, я не могу раздавать свой товар даром». А г-жа Памир, кажется, добавила: «Нас, коммерсантов, ведь тоже положение обязывает».

Сегодня утром принял решение, что буду вести дневник не дольше года. Ровно через двенадцать месяцев, 25 ноября, я сожгу эти листки и постараюсь о них забыть. Но это решение, принятое

после обедни, успокоило меня ненадолго.

Я не испытываю угрызений совести в прямом смысле слова. Мне не кажется, что я делаю что-то дурное, отмечая здесь день за днем с полной откровенностью скромнейшие, ничтожнейшие секреты жизни, в которой, впрочем, нет ничего тайного. Из того, что я закрепляю на бумаге, мой единственный друг, которому мне еще случается открывать душу, не узнал бы обо мне ничего существенно нового, к тому же я никогда бы не осмелился, я это ясно чувствую, написать все то, что поверяю каждое почти утро Богу без всякого стыда. Нет, на угрызения совести это не похоже, тут скорее какой-то безотчетный страх, инстинктивная настороженность. Когда я впервые положил перед собой эту школьную тетрадку, я попытался сосредоточиться, заглянуть в себя, как делаешь, проверяя свою совесть, перед исповедью. Но этим внутренним взором, обычно таким спокойным, проницательным, пренебрегающим мелочами и устремленным к главному, я увидел не свою совесть. Казалось, он скользил по поверхности какой-то другой совести, мне до той поры неведомой, по какому-то замутненному зеркалу, и мне вдруг стало страшно, что я увижу в нем лицо, — чье? не мое ли? — лицо вновь об-

ретенное, забытое.

О себе должно говорить с неколебимой суровостью. Откуда же у меня, при первой попытке понять себя, эта жалость, эта нежность, эта душевная размягченность и эти слезы, подступающие к горлу?

Вчера был у торсийского кюре. Это хороший священник, очень добросовестный, пожалуй несколько чересчур практичный, сын богатых крестьян, он знает цену деньгам и поражает меня своим мирским опытом. В наших кругах ему прочат пост эшенского благочинного. Держится он со мной как-то непонятно — не терпит душевных излияний и умеет отбить к ним всякую охоту громким добродушным смехом, впрочем, в этом смехе куда больше понимания, чем кажется. Господи, как бы мне хотелось быть таким здоровым, мужественным, уравновешенным! Но, полагаю, он относится снисходительно к моей, как он называет, чрезмерной чувствительности, поскольку знает, что я вовсе не чванюсь ею, о нет! Я давно уже знаю разницу между истинной жалостью святых сильной и мягкой — и тем детским страхом, который испытываю сам перед чужими страданиями.

— Не очень-то хорошо вы выглядите, мой ми-

лый!

Надо сказать, что я все еще не пришел в себя после сцены, которую мне закатил в ризнице несколько часов назад старик Дюмоншель. Господь ведает, что я охотно давал бы даром, вместе со своим временем и трудами, бумажные ковры, побитые молью драпировки и сальные свечи, за которые сам плачу втридорога поставщику его преосвященства, хотя они истаивают, не успеешь их зажечь, шипя, как жир на сковородке. Но тариф есть тариф: что я могу тут поделать?

— Вы должны были вышвырнуть этого субъекта за дверь, — сказал он мне.

И на мои возражения:

— Вышвырнуть, и точка! Знаю я вашего Дюмоншеля: у старика водятся денежки… Его покойная жена была вдвое богаче, чем он сам, — справедливо поэтому, чтобы он похоронил ее прилично! Все вы, молодые священники…

Он побагровел и глянул на меня сверху вниз.

— Не знаю, что течет в жилах у вас, молодых! В мое время из священника воспитывали деятеля церкви — не хмурьте брови, мне хочется вас отшлепать, да, деятеля церкви, понимайте это, как хотите, главу прихода, хозяина, человека, призванного руководить. И эти люди держали край

в своих руках, им достаточно было кивка головы. Да, знаю, знаю, что вы мне скажете: они хорошо ели, не хуже пили и не брезговали картишками. Не спорю! Когда разумно подходишь к своему делу, оно спорится, и свободного времени остается больше — ничего тут нет плохого. Теперь к нам из семинарии являются простаки, голодранцы. Эти юнцы воображают, что трудятся больше всех, потому только, что у них ничего не выходит. Они хнычут, вместо того чтобы приказывать. Они прочли уйму книг, но до них так и не дошел — не дошел, слышите! — истинный смысл слов о Муже и Жене. Что такое жена, мой мальчик, та истинная супруга, какую только может пожелать себе мужчина, если ему не хватает ума последовать совету апостола Павла? Не отвечайте, все равно ничего, кроме глупостей, от вас не дождешься! Так вот, это — крепкая женщина, которая не боится работы и знает, почем фунт лиха, знает, что до конца жизни ей придется всякий раз начинать все заново. Святой церкви, как она ни старайся, не превратить этот бедный мир в престол праздника тела господня. У меня когда-то, в моем прежнем приходе, была привратницей удивительная женщина, монахиня из Брюгге, обмирщенная в 1908 году, золотое сердце. Всю первую неделю она знай

себе скребла да терла, так что храм божий засиял не хуже монастырской приемной, я его сам не узнавал, право слово! Дело было, надо сказать, в разгар страды, в церкви — ни живой души, от меня проклятая старушенция требовала, чтобы я переобувался — это я-то, который терпеть не может шлепанцы. Она, кажется, даже заплатила за них из своего кармана. Каждое утро она, разумеется, находила новый слой пыли на скамьях, свежую плесень на ковре у хоров и паутину — да, уж в паутине, мой мальчик, недостатка не было, хватило бы, чтобы соткать приданое невесте.

Я думал про себя: «Начищай, начищай, дочь моя, поглядим, что ты запоешь в воскресенье». Настало воскресенье. Воскресенье как воскресенье, не какой-нибудь там престольный праздник, и народу как обычно, ничего особенного. Ну и беда! В общем, далеко за полночь она все еще скребла и наващивала при свечах. А несколько недель спустя, ко дню всех святых, явились к нам с громовой проповедью отцы редемптористы, молодцы что надо. Бедняжка ночи напролет ползала на четвереньках между своим ведром и ветошью — мыть так уж мыть, — так что даже колонны покрылись мхом, а в щелях между плитами стала прорастать трава. Никакими силами

нельзя было ее урезонить, святую сестру. Послушать ее, так следовало бы выставить за дверь всю мою паству, чтобы господь бог не замарал ног, представляете? Я ей говорил: «Вы меня разорите на микстурах» — потому что несчастная старуха вдобавок отчаянно кашляла! В конце концов она слегла — приступ суставного ревматизма, сердце не выдержало, и — хоп! — вот моя монашка предстала перед святым Петром, В известном смысле она, конечно, мученица. И ошибка ее не в том, ясное дело, что она боролась с грязью, но в том, что она хотела с нею покончить раз и навсегда, как будто такое возможно. Приход — грязен, ничего не попишешь. Христианский мир — еще грязнее. Вот погодите, настанет Судный день, увидите, сколько нечистот придется вычерпать ангелам из самых святых обителей — лопатами, как из выгребной ямы! Так вот, дитя мое, отсюда явствует, что церковь должна быть хорошей хозяйкой, хорошей и разумной. Моя монашка не была настоящей хозяйкой: настоящая хозяйка знает, что дом — не дарохранительница. Все это поэтические бредни.

Только этого я и ждал. Пока он набивал свою трубку, я попытался, довольно косноязычно, объяснить ему, что пример, выбранный им, не

слишком удачен, что эта монахиня, умершая от трудов праведных, не имеет ничего общего с «простаками», «голодранцами», юнцами, которые «хнычут, вместо того, чтобы приказывать».

— Ошибаешься, — сказал он мне сурово. — Иллюзии те же. Только у этих голодранцев нет упорства моей монашки, вот и вся разница. После первой же попытки, под предлогом, что практика священнослужения превосходит их бедное понимание, они опускают руки. Им подавай варенье! А христианский мир, как и взрослый мужчина, питается не вареньем. Господь бог сказал в Писании, что мы соль земли, мой мальчик, а вовсе не мед. Так вот, наш бедный мир подобен старому Иову на его навозной куче, покрытому ранами и язвами. Соль, когда ею посыпают раздраженную кожу, обжигает. Но и спасает от гниения. У нас одно в голове — попрать Дьявола, да еще снискать любовь — любовь к себе самим, я имею в виду. Настоящего священника никогда не любят, запомни это. И хочешь, я скажу тебе еще одну вещь? Церкви наплевать на то, любят вас или нет, мой милый. Пусть вас уважают, слушаются. Церкви нужен порядок. Добейтесь, чтобы весь день не нарушался порядок. Установите порядок, помня, что назавтра снова возобладает беспо-

рядок, потому что это в порядке вещей — ночь сводит насмарку все, чего вы добились накануне — ночь принадлежит Дьяволу.

— Не ночью ли, — сказал я (зная, что рассержу его), — отправляют литургию иноки?..

— Да, — ответил он холодно, — они музицируют.

Я сделал оскорбленное лицо.

— Я ничего не имею против ваших созерцателей, каждому свое. Кроме музыки, они занимаются еще цветами.

— Цветами?

— Именно. После того, как мы приберемся, вымоем посуду, почистим картошку, накроем стол скатертью, они ставят в вазу свежие цветы, это нормально. Заметь, только дурак оскорбится моим сравнением, тут ведь есть, разумеется, свой оттенок… Мистическая лилия отнюдь не то же самое, что лилия полевая. Впрочем, если человек предпочтет говяжью вырезку букету подснежников, то потому лишь, что он сам — скот, брюхо. Короче, твои созерцатели созданы, чтобы снабжать нас прекрасными цветами, подлинными цветами. К сожалению, и в монастырях, как и повсюду, бывают случаи саботажа, и нам подсовывают цветы бумажные.

Не показывая вида, он искоса наблюдал за мной, и мне казалось, я ловил мгновениями в глубине его глаз безмерную нежность и — осмелюсь ли сказать? своего рода тревогу, озабоченность. У меня свои испытания, у него — свои. Но мне о своих трудно умолчать. И если я о них не говорю, то не столько, увы, из героизма, сколько из стыдливости, знакомой также, как я слышал, на свой манер, врачам, по роду их деятельности. Он же о своих трудностях никогда не скажет, что бы там ни случилось, прикрываясь этой ворчливой прямотой, в своем роде еще более непроницаемой, чем белые, как свечи, отцы картезианцы, с которыми я сталкивался в коридорах З…

Внезапно он стиснул мою руку в своей, припухшей от диабета, но пожатие ее было твердым, решительным, властным.

— Ты, может, скажешь, что я ничего не смыслю в мистиках. Смотри не окажись в дураках, сказав это! Так вот, мой милый, был в мои времена в семинарии один преподаватель канонического права, который считал себя поэтом. Он, бедняжка, был мастак на поразительные штуки, тут тебе и стопы, как положено, и рифмы, и цезуры, все, что хочешь! Дай ему волю, он уложил бы в стихи даже свое каноническое право. Ему не хватало

только одного, назови это как хочешь — вдохновением, гением — ingenium, так, что ли? Я не гений. Но, предположим, Святой Дух подаст мне в один прекрасный день знак, я без промедления брошу свою метлу и тряпки — не сомневайся! — и вознесусь прогуляться в облацех, чтобы обучиться ангельской музыке, пусть я поначалу и буду подвирать. Но позволь уж мне смеяться в лицо людям, которые запевают хором, прежде чем Господь Бог поднимет дирижерскую палочку!

Он на миг задумался, и его лицо, хотя и обращенное к свету, показалось мне вдруг подернутым тенью. Даже черты его стали жестче, словно он ждал от меня — а может, от себя, от своей совести — возражения, опровержения, сам не знаю чего… Он, впрочем, почти тотчас просветлел.

— Что ты хочешь, мой милый, у меня свои соображения насчет арфы юного Давида. Он был талантливый мальчик, спору нет, но вся эта музыка не уберегла его от греха. Я прекрасно знаю — бедные благонамеренные писатели, которые фабрикуют Жития святых на экспорт, воображают, что вдохновение — верное убежище, что человеку в нем тепло и надежно, как в лоне Авраамовом. Надежно!.. Ну, разумеется, иногда ничего нет легче, как туда вскарабкаться: сам бог тебя

возносит. Да только сумей там удержаться, а уж коли не удается, знай, как спуститься. Не секрет, что святые, истинные святые не раз оказывались в весьма затруднительном положении на обратном пути. И когда их потуги удержать равновесие обнаруживались, молили об одном — чтобы это держали в секрете: «Не говорите никому о том, что видели…» Им было немного стыдно, понимаешь? Стыдно, что они баловни у Отца нашего, что им дано было испить из чаши блаженства прежде всех других! А за что? Да ни за что. Из милости. Такого рода благодатные дары… Первое движение души — от них уклониться. Можно по-разному толковать слова Библии: «Страшно попасть в руки бога живого!» Да что я говорю! В его объятия, ему на грудь, в сердце Иисуса! Ты ведешь свою скромную партию в оркестре — играешь, предположим, на треугольнике или на цимбалах, и вдруг тебе предлагают подняться на сцену, дают тебе Страдивария и говорят: «Пожалуйста, мой милый, я вас слушаю». Бр-р!.. Пойдем, поглядишь на мою молельню, только раньше вытри хорошенько ноги, чтобы не испачкать ковер.

Я не очень-то разбираюсь в мебели, но его спальня показалась мне роскошной: массивная кровать красного дерева, трехстворчатый шкаф,

весь резной, кресла, покрытые плюшем, а на камине огромная бронзовая Жанна д'Арк. Но г-н кюре хотел показать мне не спальню. Он провел меня в другую комнату, почти пустую, в ней были только стол и аналой. На стене висела довольно дурная олеография, вроде тех, что встречаются в больничных палатах, на ней был изображен толстощекий и розовый младенец Иисус между ослом и быком.

— Видишь эту картинку, — сказал он, — ее подарила мне крестная. У меня достаточно средств, чтобы купить себе что-нибудь получше, более художественное, тем не менее я отдаю предпочтение этой. Она уродлива и даже несколько глуповата, это меня успокаивает. Мы ведем свой род из Фландрии, мой милый, из края выпивох и обжор — богатого края... Вы, чернявые мозгляки из-под Булони, даже представить себе не можете в ваших глинобитных лачугах, что такое богатство Фландрии, ее чернозем! Не надо требовать от нас красивых речей, от которых падают в обморок набожные дамы, однако и мы тоже можем выставить немало мистиков, мой мальчик! И мистиков не чахоточных, нет. Мы жизни не боимся: в наших жилах течет добрая грубая кровь, красная и густая, она пульсирует

у нашего виска, даже когда мы полны до краев можжевеловой водкой, даже когда не помним себя от гнева — фламандского гнева, который быка может свалить с ног, — добрая кровь, куда добавлен чуток голубой испанской, как раз в меру, чтобы сделать эту смесь огненной. Ну, словом, у тебя свои печали, у меня свои — вполне вероятно, не те же самые. С тобой может случиться, что ты не потянешь упряжку, а я в упряжке взбрыкивал, и не раз, уж поверь. Если бы я тебе рассказал… Но это не сегодня, сейчас ты слишком не в себе, еще упадешь в обморок от слабости. Вернемся к моему младенцу Иисусу. Вообрази, что поперингский кюре, там, у нас, с согласия генерального викария, надумал, умная голова, направить меня в Сен-Сюльпис. Сен-Сюльпис в их представлении был чем-то вроде Сен-Сира или Сомюрского высшего кавалерийского училища — одним словом, военной академией для начинающих церковнослужителей. К тому же у господина моего батюшки (в скобках: я сначала подумал, что он шутит, но похоже, что г-н торсийский кюре никогда иначе и не именует своего отца: может, так было принято прежде?), у господина моего батюшки кое-что водилось в мошне, и он считал долгом угодить епархии.

Только вот загвоздка!.. Как увидел я эту старую запаршивевшую казарму, провонявшую жирным бульоном, брр!.. И всех этих парней, до того отощавших, бедняги, что даже в фас они выглядели как бы в профиль… Короче, мы, вместе с тремя-четырьмя добрыми товарищами, не больше, попортили немало крови преподавателям своими выходками, ничего особенного, так, слегка буянили. Первые в работе и в трапезной, ничего не скажешь, но в остальном… сущие чертенята. Например, как-то вечером, когда все улеглись, взобрались на крышу и ну мяукать… впору весь квартал разбудить. Наш наставник вскочил с кровати и давай креститься, несчастный, решил, что все окрестные коты назначили свиданье в святой обители, что бы поведать тут друг другу всяческие мерзости — шутка дурацкая, не спорю! В конце триместра эти господа отправили меня восвояси с соответствующей характеристикой! Не глуп, хороший мальчик, добрый по природе, и пошло-поехало. Короче, я годен только коров пасти. А я ни о чем другом не мечтал, как быть священником. Быть священником или умереть! Сердце мое так кровоточило, что Господь Бог попустил меня даже испытать соблазн покончить с собой — право слово! Господин мой батюшка был

человек справедливый. Он отвез меня на своей одноколке к его преосвященству, вооружившись записочкой от моей двоюродной бабки, настоятельницы намюрского монастыря Целования Мариина. Монсеньер тоже был человек справедливый. Он тотчас допустил меня к себе в кабинет. Я кинулся ему в ноги, рассказал об искушении, которое испытал, и неделю спустя он отправил меня в свою семинарию, заведение не слишком модное, но солидное. Не в том суть! Я могу сказать, что видел смерть в глаза, и какую смерть! Так что с этого момента я решил принять свои меры предосторожности, не умничать. Не осложнять себе жизнь, не высовываться, как выражаются военные. Мой младенец Иисус слишком мал, чтобы чересчур уж интересоваться музыкой или литературой. И он, пожалуй, даже скривился бы, увидя, что люди, вместо того чтобы задать свежей соломы его быку или вычистить скребницей осла, только закатывают глаза.

Он подтолкнул меня в спину, выставляя из комнаты, и от дружеского шлепка его широких ладоней я едва не упал на колени. Потом мы выпили вместе по стаканчику можжевеловой. Внезапно он поглядел мне прямо в глаза твердо и властно. Это был совершенно другой человек

— человек, который никому не обязан отчетом, сюзерен.

— Монахи есть монахи, — сказал он, — я не монах. Я не монастырский настоятель. У меня своя паства, свое стадо, я не могу плясать перед ковчегом со своим стадом — со своим скотом; на что это будет похоже, скажи, пожалуйста? У меня скотина как скотина, ни слишком хорошая, ни слишком дурная — быки, ослы, молочный и рабочий скот. Есть и козлы. Что прикажешь мне делать с козлами? Их не зарежешь, не продашь. Игумену легче легкого дать распоряжение отцу привратнику. Попадется ненароком козел — игумену ничего не стоит от него избавиться. А я — не могу, мы должны со всем уметь управиться, даже с козлами. Козлы или овцы, это дела не меняет, Господь желает, чтобы мы вернули ему каждое животное в хорошем состоянии. И не забивай себе голову заботой, чтобы от козла не несло козлом, попусту потратишь время, да еще рискуешь впасть в отчаяние. Старые священники принимают меня за оптимиста, этакого неунывайку, молодые, вроде тебя, считают букой, находят, что я слишком суров, крут с прихожанами, командую ими, как солдатами. Те и другие на меня в претензии за то, что я не лелею своего

собственного плана реформ, как все прочие, или держу его про себя. «Традиции!» — ворчат старики. «Эволюция!» — поют молодые. А я считаю, что человек всегда остается человеком, он и сейчас не многим большего стоит, чем в языческие времена. И вообще вопрос не в том, чтобы знать, чего он стоит, а в том, кто им повелевает. Ах, если бы дали волю деятелям церкви! Заметь, я вовсе не пытаюсь подсахарить средневековье: в тринадцатом веке люди отнюдь не отличались святостью, а монахи, если и не были так глупы, как нынешние, пили зато куда больше, спору нет. Но мы закладывали основу империи, мой мальчик, империи, в сравнении с которой империя Цезарей была бы дерьмом, мы строили мир, Римский мир, истинный. Христианское общество — вот каков был бы плод наших совместных усилий. Это вовсе не значит, что все христиане стали бы непорочными. У церкви крепкие нервы, она греха не боится, напротив. Она смотрит ему в лицо спокойно и даже по примеру господа нашего Иисуса Христа берет грех на себя, отвечает за него. Если хороший работник на совесть потрудился шесть дней в неделю, ему можно простить попойку в субботний вечер. Послушай, я дам тебе определение христианского народа через

его противоположность. Противоположность христианского народа — это народ безрадостный, одряхлевший. Ты скажешь, что мое определение не слишком укладывается в теологические каноны. Не спорю. Но тут есть над чем призадуматься господам, которые зевают на воскресной обедне. Да и как им не зевать! Разве может церковь за какие-то несчастные полчаса в неделю научить их радости! Даже если они затвердили бы наизусть все постановления Тридентского собора, это вряд ли прибавило бы им веселья!

Почему наше раннее детство представляется нам таким сладостным, таким светозарным? У ребенка ведь есть свои горести, как и у всех прочих, и он, в общем, так беззащитен против боли, болезни! Детство и глубокая старость должны бы были быть самым тяжким испытанием для человека. Но как раз из чувства своей полной беспомощности дитя смиренно извлекает самый принцип радости. Оно полностью полагается на мать, понимаешь? Настоящее, прошлое, будущее, вся жизнь заключены для него в одном взгляде, и этот взгляд улыбка. Так вот, милый мой, если бы нам не мешали делать свое дело, церковь одарила бы людей такого рода высшей беззаботностью. Заметь, что при этом на долю каждого пришлось

бы ничуть не меньше неприятностей. Голод, жажда, нужда, ревность, нам никогда недостало бы сил окончательно прищучить Дьявола, куда там! Но человек чувствовал бы себя сыном божьим, вот в чем чудо! Он жил бы и умирал с этой мыслью в башке — и не с мыслью, которой он просто набрался из книг, нет. Потому что этой мыслью, благодаря нам, было бы проникнуто все — нравы, обычаи, развлечения, праздники, все, вплоть до самых ничтожных надобностей. Это не помешало бы крестьянину возделывать землю, ученому корпеть над своей таблицей логарифмов и даже инженеру конструировать свои игрушки для взрослых. Но мы покончили бы с чувством одиночества, вырвали бы его с корнем из сердца Адама. Язычники со своим хороводом богов были не так уж глупы: им все же удалось дать бедному миру иллюзию примитивной гармонии с незримым. Но сейчас такая штука гроша ломаного не стоила бы. Вне церкви народ всегда будет народом ублюдков, народом подкидышей. Конечно, он может еще рассчитывать, что его признает своим сыном Сатана. Долгонько им придется ждать черного рождества! Сколько бы они ни подставляли к очагу башмаки, Дьяволу уже обрыдло класть туда свои

механические игрушки, которые устаревают, не успеют их изобрести, теперь он бросает людям только крохотный пакетик героина, морфия или еще какую-нибудь ничего ему не стоящую дрянь. Бедные люди! Они опустошили все, вплоть до греха. Не всяк развлекается, кто хочет. Ребенку для забавы достаточно грошовой куклы, тогда как старику сводит рот зевотой перед пятисотфранковой игрушкой. Почему? Потому, что он утратил дух детства. Так вот, Господь Бог возложил на церковь обязанность поддерживать в мире этот дух детства, эту непосредственность, эту свежесть. Язычество не было врагом природы, но только христианство ее возвеличивает, одушевляет, подымает до уровня человека, до уровня его мечты. Хотел бы я, чтобы мне попался в руки какой-нибудь ученый книжный червь, из тех, что обзывают меня обскурантом, я сказал бы ему: «Не моя вина, что на мне похоронные одежды. И в конце концов, носит же папа белое, а кардиналы — красное. Я вправе нарядиться не хуже самой царицы Савской, потому что я несу радость. И я дал бы ее вам, ничего не требуя взамен, только попросите. Церковь владеет радостью — всей той частью радости, которая отведена нашей юдоли скорби. И все, что вы сделали в ущерб церкви,

вы сделали в ущерб радости. Разве я мешаю вам высчитывать прецессию равноденствия или разлагать атомы? Научись вы даже создавать жизнь, какой толк, если смысл жизни вами утрачен? Вам остается только пустить себе пулю в лоб среди всех ваших колб. Да создавайте себе жизнь, сколько хотите! Тот образ смерти, который вы предлагаете, мало-помалу отравляет сознание сирых мира сего, постепенно затемняет, обесцвечивает их последние радости. Как-то вы еще просуществуете, пока ваша промышленность и ваши капиталы позволяют вам превращать мир в ярмарку при помощи машин, которые вертятся с головокружительной скоростью под рев труб и вспышки потешных огней. Но подождите, подождите — наступит первая четверть часа тишины. И тут люди услышат Слово — нет, не то, которое они отвергли, не то, что спокойно возвещало: „Я — Путь, Истина, Жизнь“, но Слово из бездны: „Я дверь, замкнутая навек, тупик, ложь и гибель“».

Он произнес эти последние слова так мрачно, что я, наверно, побледнел или, точнее, пожелтел, ибо такова, увы, последние несколько месяцев моя манера бледнеть, — потому что он налил мне еще стаканчик можжевеловой, и мы заговорили о другом. Его веселость не показалась мне ни

фальшивой, ни даже наигранной, думаю, она ему свойственна по природе, у него веселая душа. Но его взгляду не сразу удалось достичь с ней согласия. Когда я, уходя, склонился перед ним, он перекрестил мой лоб большим пальцем и сунул мне в карман сто франков:

— Бьюсь об заклад, ты без гроша, первое время всегда приходится туго, вернешь мне деньги, когда сможешь. Ну, проваливай и никогда не рассказывай дуракам о наших разговорах.

«Задать свежую солому быку, вычистить скребницей осла», — мне припомнились эти слова сегодня утром, пока я чистил картошку на суп. Помощник мэра вошел в кухню за моей спиной, я резко поднялся со стула, не успев даже стряхнуть очистки; я чувствовал себя смешным. Он, впрочем, принес добрые вести: муниципалитет дал согласие вырыть мне колодец. Я смогу, таким образом, сберечь двадцать су в неделю, которые плачу мальчику-певчему за то, что он носит воду. Мне хотелось бы поговорить с помощником мэра относительно принадлежащего ему кабаре — он намеревается устраивать танцы по четвергам и воскресеньям, четверговые он именует «семейными балами» и зазывает на них даже девочек с фабрики, а парни развлекаются тем, что их

спаивают.

Я не осмелился. Он взял себе манеру смотреть на меня с улыбкой, в общем даже благожелательной и вызывающей меня на разговор, но такой, словно, что бы я там ни сказал, это не может иметь решительно никакого значения. К тому же подобный разговор приличней будет завести у него дома. Предлог для посещения у меня есть, поскольку его супруга тяжело больна и уже несколько недель не выходит. Она, кажется, неплохая женщина и прежде, как мне говорили, довольно аккуратно посещала службы.

…«Задать свежей соломы быку, вычистить скребницей осла…» Пусть так. Самые простые из моих обязанностей отнюдь не самые легкие, напротив. У скотины потребности малые, неизменно одни и те же, не то что у людей! Я сыт по горло разглагольствованиями о простоте сельских жителей. Я сам крестьянский сын и склонен скорее думать, что они чудовищно сложны. В Бетюне, когда я начинал как викарий, молодые рабочие, бывшие на нашем попечении, едва был сломан первый лед, пустились откровенничать со мной, им ужасно хотелось понять себя, чувствовалось, что их просто переполняет симпатия к себе. Крестьянин любит себя редко, и если он

проявляет такое жестокое равнодушие к тем, кто любит его, дело вовсе не в том, что он не верит в это чувство — он, скорее, пренебрегает им. Он, конечно, не слишком старается побороть собственные недостатки или пороки. Но вместе с тем и не питает никаких иллюзий на этот счет — он сжился с ними, притерпелся к ним, считая заведомо неисправимыми, и на протяжении всей жизни стремится только удержать в узде этих бесполезных и дорогостоящих зверей, тратя по возможности меньше на их прокорм. И поскольку нередко аппетит этих чудовищ, таимых от окружающих в немоте крестьянских жизней, с годами растет все больше, постаревшему человеку становится так трудно вынести себя самого, что ему нестерпимо всякое выражение симпатии со стороны, он подозревает тут своего рода сообщничество с внутренним врагом, мало-помалу пожирающим его силы, труд и достаток. Что сказать этим несчастным? Случается видеть на смертном одре старика-развратника, чья скупость была всего лишь горькой отместкой, добровольным самоистязанием, наказанием, которое человек сам налагал на себя долгие годы с неукоснительной строгостью. И уже на пороге агонии какое-нибудь слово, исторгнутое томи-

тельным страхом, вдруг выдает эту неугасимую ненависть к себе, которой, быть может, нет прощенья.

Полагаю, мое решение обойтись без услуг домоправительницы, принятое две недели назад, истолковано неправильно. Осложняет дело еще то, что ее мужа, г-на Пегрио, недавно наняли в замок охранять охотничьи угодья. Вчера он даже дал присягу в Сен-Ваасте. А я-то еще счел себя очень ловким, купив у него бочоночек вина! Я напрасно потратил на это двести франков, присланных тетей Филоменой, поскольку г-н Пегрио теперь отказался от обязанностей коммивояжера бордоской фирмы, хотя и передал ей мой заказ. Всю выгоду от этого скромного проявления моей щедрости, наверно, извлечет его преемник. Какая глупость!

Да, какая глупость! Я рассчитывал, что этот дневник поможет мне удержать разбегающиеся мысли в тех редких случаях, когда мне выпадает минута сосредоточиться. Я представлял себе, что он будет своего рода беседой между Господом Богом и мною, продолжением молитвы, неким способом обойти ее трудности, порой все еще кажущиеся мне непреодолимыми, возможно, из-за мучительных колик в животе. Но оказалось, что

дневник приоткрыл мне, какое огромное, какое чрезмерное место занимают в моей жалкой жизни тысячи мелких бытовых забот, от которых я, как мне иногда казалось, избавился. Я понимаю, что Господь не отвергает наших тревог, даже самых ничтожных, что он ничем не брезгует. Но зачем закреплять на бумаге то, о чем мне, напротив, следовало бы постараться тут же забыть? Хуже всего, что, поверяя все это дневнику, я испытываю неизъяснимое, сладостное чувство, и уже одно это должно было бы насторожить меня. Заполняя каракулями при свете лампы эти страницы, которых никто никогда не прочтет, я ощущаю незримое присутствие рядом с собой кого-то, безусловно не Бога, скорее уж некоего друга, созданного по моему собственному образу и подобию, хотя и отличного от меня, иного по своей сути… Вчера вечером я вдруг с необыкновенной остротой ощутил это присутствие и даже поймал себя на том, что склоняю голову к какому-то воображаемому слушателю, охваченный внезапным желанием заплакать, которого тут же устыдился.

Впрочем, лучше уж довести этот опыт до конца — я хочу сказать, продолжать его, по крайней мере, еще несколько недель. Я даже попытаюсь

записывать все, что придет в голову, без всякого отбора (мне случается еще иногда колебаться, примеривая тот или иной эпитет, править себя), а потом засуну эти бумажки поглубже в ящик и перечитаю их некоторое время спустя на свежую голову.

II

Сегодня, после обедни, у меня был долгий разговор с мадемуазель Луизой. До сих пор я редко виделся с ней в церкви по будним дням, поскольку ее положение гувернантки в замке обязывает нас обоих к предельной сдержанности. Г-жа графиня ее очень ценит. М-ль Луиза, кажется, намеревалась принять постриг, уйти в монахини, в орден св. Клары, но посвятила себя заботам о престарелой больной матери, умершей только в прошлом году. Оба мальчика ее обожают. К сожалению, старшая дочь, м-ль Шанталь, не проявляет к ней никакой симпатии и как будто даже находит удовольствие в том, чтобы унижать ее, обращаясь как с прислугой. Это, возможно, всего лишь детские выходки, но они жестоко испытывают терпение м-ль Луизы, которая, как мне известно от г-жи графини, происходит из очень хорошей семьи и получила превосходное воспитание.

Мне дано было понять, что в замке одобряют мое решение обойтись без домоправительницы. Там считают, однако, предпочтительней, чтобы моим хозяйством все же раз или два в неделю

занималась приходящая прислуга, хотя бы из принципа. Конечно, это — вопрос принципа. Дом священника, в котором я живу, весьма комфортабелен; если не считать замка, он самый красивый в округе, — и при этом стану сам стирать белье! Тут могут увидеть вызов.

Вероятно, я также не вправе жить иначе, чем мои собратья, которые ничуть не состоятельней меня, но более умело распоряжаются своими скромными ресурсами. Я искренне убежден, что мне совершенно безразлично, как жить бедно или богато, но пусть бы уж наши верхи решили этот вопрос раз и навсегда. От нас требуют обстановки буржуазного благополучия, которая нам не по карману. Сохранить достоинство можно и в нужде. К чему поддерживать видимость? И к чему делать из нас нищих?

Я утешал себя мыслью, что буду преподавать начала закона божьего, давать частные уроки, готовя детей к первому причастию, в соответствии с пожеланием святого папы Пия X. Еще и сейчас сердце мое разрывается от нежности, едва я заслышу с кладбища жужжание их голосов и постукивание этих маленьких сабо, подбитых

железом, на пороге церкви. Sinite parvulos… [7] Я мечтал, как стану говорить им теми детскими словами, которые так легко приходят мне на язык, обо всем, что вынужден таить в себе, о чем нельзя сказать с кафедры, где мне усиленно рекомендовали быть сдержанным. О! Я не преступил бы границ, разумеется! Но я был так горд в общем, что мне предстоит объяснять не дроби или гражданское право, заниматься не этим ужасным наглядным обучением, которое и в самом деле всего лишь наглядно, не более того. Человеку обучаться у вещей! К тому же я давно избавился от мучительного страха, присущего, думаю, любому молодому священнику, вынужденному оперировать некоторыми словами, некоторыми образами, — страха вызвать смешки. Страха двусмысленности, который пресекает всякий порыв и невольно заставляет держаться в пределах суровых доктринальных поучений, формулируемых на языке, совершенно истертом, но зато проверенном, так что он никого не задевает и обладает хотя бы достоинством, благодаря самой своей неопределенности и скуке, отбивать всякую охоту к ироническим комментариям.

---

[7] Примечания: 7
Пустите детей (лат.)

Слушая нас, слишком часто можно подумать, что мы проповедуем какого-то бога спиритуалистов, верховное существо, не знаю что там еще, во всяком случае, нечто вовсе не похожее на Господа нашего, познанного нами, как нашего чудесного живого друга, который сострадает нашим горестям, сопереживает нашим радостям, разделит нашу агонию и примет нас в свои объятия, на грудь свою.

Я сразу ощутил сопротивление мальчиков и умолк. В конце концов не их вина, если слишком раннее — неизбежное — знакомство с животными дополняется теперь еженедельными киносеансами.

Когда их уста впервые сумели выговорить слово «любовь», оно уже было смешным, грязным словом, за которым они с удовольствием погнались бы, хохоча и забрасывая его камнями, как за жабой. Но девочки оставили мне некоторую надежду, в особенности Серафита Дюмушель. Это лучшая моя ученица на уроках катехизиса, веселая, аккуратненькая, и взгляд у нее хотя и чуть дерзкий, но чистый. У меня мало-помалу сложилась привычка выделять ее среди менее внимательных подружек, я часто ее спрашивал, получалось, что я и говорю как бы для нее.

На прошлой неделе, выдавая в ризнице еженедельную награду за успехи — благочестивую картинку, — я безотчетно положил ей руки на плечи и спросил:

— Тебе, наверно, не терпится принять святое причастие? Кажется, что время тянется слишком долго?

— Нет, — ответила она мне, — почему? Куда мне спешить.

Я опешил, хотя не так уж, впрочем, и возмутился — я ведь знаю, как лукавы дети. Поэтому я спросил:

— Но ты ведь все понимаешь? Ты так хорошо меня слушаешь!

Тут в ее личике проступила какая-то жесткость, и она ответила, пристально глядя на меня:

— Это потому, что у вас очень красивые глаза.

Я, естественно, сделал вид, что не слышал ее слов, мы вышли из ризницы вместе, и остальные девочки, шушукавшиеся между собой, внезапно умолкли, а потом расхохотались. Ясно было, что они сговорились заранее.

После этой истории я пытался вести занятия так же, как и прежде, не поддаваясь затеянной ими игре. Но бедняжка, без сомнения подстрекаемая другими, преследует меня, корча исподтишка

гримасы, кокетничает, строит из себя взрослую женщину и вызывающе задирает юбку, чтобы затянуть потуже шнурок, который служит ей подвязкой. Господи, дети всегда дети, но откуда такая враждебность в этих малютках? Что я им сделал?

Монахи приемлют муки ради душ. А мы приемлем муки от душ. Эта мысль, посетившая меня вчера вечером, всю ночь бодрствовала у моей постели, как ангел.

Сегодня три месяца, как я получил назначение в Амбрикур. Уже три месяца! Усердно молился утром за мой приход, за мой бедный приход — за мой первый и, не исключено, последний приход, ибо я хотел бы здесь и умереть. Мой приход! Слово, которое невозможно произнести без волнения, — что я говорю! — без порыва любви. А между тем пока за ним стоит для меня только нечто смутное. Я знаю, что мой приход действительно существует, что мы связаны навечно, ибо он живая частица нетленной церкви, а не какая-нибудь административная фикция. Но я хотел бы, чтобы Господь отверз мне глаза и уши, дал увидеть лицо моего прихода, услышать его голос. Не слишком ли многого я прошу? Его лицо! Его взгляд! Это, должно быть, мягкий, печаль-

ный, терпеливый взгляд, я представляю себе, что он немного похож на мой собственный, когда я перестаю сопротивляться и отдаюсь течению той великой незримой реки, которая несет нас всех вперемешку, живых и мертвых, в глубины Вечности. И не взгляд ли это всего христианского мира, всех приходов или даже… возможно, всего рода человеческого? Тот, что узрел Господь с высоты креста. Да простится им, ибо не ведают, что творят…

(Мне пришло в голову использовать этот пассаж, несколько его обработав, в воскресной проповеди. «Взгляд прихода» вызвал улыбку, и я на мгновение осекся посреди фразы с ощущением, увы, слишком отчетливым, что разыгрываю комедию. Бог ведает, однако, что я был совершенно искренен! Но в образах, чересчур тронувших наше сердце, всегда есть нечто нечистое. Убежден, что торсийский протоиерей осудил бы меня. Выходя после обедни, г-н граф сказал мне своим странным голосом, чуть в нос: «Вас посетило вдохновенье!» Я готов был сквозь землю провалиться.)

Мадемуазель Луиза передала мне приглашение отобедать в замке в следующий вторник. Хотя меня несколько стесняло присутствие м-ль Шан-

таль, я тем не менее собирался ответить отказом, но м-ль Луиза незаметно сделала мне знак, чтобы я принял приглашение.

Во вторник ко мне опять придет прислуга. Г-жа графиня столь добра, что платит ей за один рабочий день в неделю. Мне было до такой степени стыдно за свое белье, что я побежал с утра в Сен-Вааст и купил три сорочки, кальсоны, носовые платки, короче, мне едва хватило ста франков г-на торсийского кюре, чтобы покрыть этот крупный расход. Кроме того, мне придется кормить ее обедом, а женщина, которая работает, нуждается в приличной пище. К счастью, тут пригодится мое бордо. Вчера я разлил его в бутылки. Оно показалось мне несколько мутным, но тем не менее ароматным.

Дни проходят, проходят… До чего же они пусты! С повседневными обязанностями я еще как-то справляюсь, но выполнение той скромной программы, которую наметил для себя, всякий раз откладываю на завтра. Отсутствие навыка очевидно. А сколько времени отнимает у меня хождение! Одна из деревень, приписанных к приходу, в трех километрах от церкви, другая — в пяти. От велосипеда толку мало, так как, если я подымаюсь на нем в гору, особенно натощак, у ме-

ня начинаются чудовищные боли в желудке. Мой приход, такой крохотный на карте!.. Но ведь если взять какой-нибудь школьный класс, где всего двадцать или тридцать учеников примерно одного возраста и одного социального положения, послушных одной дисциплине и обучающихся одним и тем же предметам, то и там учитель начинает разбираться в своих воспитанниках только во второй четверти… Мне чудится, что моя жизнь, что все мои силы уйдут в песок.

Мадемуазель Луиза приходит теперь ежедневно к святой обедне. Но она появляется и исчезает так быстро, что я иногда даже не успеваю заметить ее присутствия. Не будь ее, церковь оставалась бы пуста.

Вчера встретил Серафиту в сопровождении г-на Дюмушеля. Лицо этой девочки меняется день ото дня: прежде оно было таким подвижным, переменчивым, теперь я нахожу в нем что-то очерствевшее, не по возрасту жесткое. Пока я разговаривал с нею, она глядела на меня с таким стесняюще пристальным вниманием, что я не мог не покраснеть. Быть может, мне следовало бы предупредить ее родителей. Но о чем?

На листке, оставленном, без сомнения, умышленно в одном из катехизисов и найденном мною

сегодня утром, чья-то неумелая рука нарисовала женскую фигурку и надписала: «Зазноба г-на кюре». Поскольку книги я раздаю без всякого порядка, как попало, автора этой шутки искать бесполезно.

Напрасно я твержу себе, что без такого рода неприятностей не обходятся даже самые лучшие учебные заведения, это успокаивает меня лишь отчасти. Учитель всегда может довериться начальству, выждать. Тогда как здесь…

«Приять муки от душ», — всю ночь я твердил про себя эту утешительную фразу. Но ангел не вернулся.

Вчера пришла г-жа Пегрио. Она так явно выражала недовольство платой, положенной г-жой графиней, что я счел должным прибавить пять франков из собственного кармана. Вино я, очевидно, разлил в бутылки преждевременно и без необходимых предосторожностей, так что оно испорчено. Я нашел в кухне бутылку почти непочатой.

Конечно, характер у этой женщины тяжелый и манеры неприятные. Но нужно быть справедливым: даю я неуклюже, с какой-то нелепой принужденностью, которая вводит в заблуждение. Я почти никогда не ощущаю поэтому, что

сделал человеку приятное, может, как раз из-за того, что мне этого очень хочется. Людям кажется — я дал скрепя сердце.

Во вторник мы собрались у эбютернского кюре на ежемесячную лекцию. Тема, рассмотренная г-ном аббатом Тома, лиценциатом исторических наук: «Реформа, ее истоки, ее причины». Поистине, состояние церкви в XVI веке заставляет содрогнуться. Пока лектор излагал свой предмет, поневоле несколько однообразный, я наблюдал за лицами слушателей и не находил в них ничего, кроме вежливого любопытства, в точности как если бы мы собрались на чтение каких-нибудь глав из истории фараонов. Это внешнее безразличие некогда выводило меня из себя. Теперь я вижу в нем свидетельство великой веры, возможно, также — великой безотчетной гордости. Ни одному из этих людей не пришло бы на ум, что церковь в опасности, какие бы к тому ни были основания. Моя собственная убежденность, разумеется, ничуть не меньше, но, возможно, она другого рода. Их спокойная уверенность приводит меня в ужас.

(Я сожалею, что написал слово «гордость», однако не могу отказаться от него, не находя другого, более точного, чтобы передать это чувство, такое

человеческое, такое конкретное. В конце концов церковь не некий идеал, который предстоит воплотить, она существует, и они внутри нее.)

После лекции я позволил себе робко намекнуть на программу, намеченную мною для себя. О половине пунктов я еще умолчал. Им нетрудно было мне доказать, что ее выполнение, даже частичное, потребовало бы сорока восьми часов в сутки и такого личного влияния, которого у меня нет, да, возможно, никогда и не будет. К счастью, общее внимание отвлек от меня лэнбрский кюре, он, будучи крупным специалистом в этой области, великолепно осветил проблему деревенских касс взаимопомощи и сельскохозяйственных кооперативов.

Возвращение домой было довольно унылым, моросило. Как ни мало я выпил, от вина у меня ужасно разболелся живот. Нет сомнения, с осени я сильно исхудал и выгляжу, должно быть, все хуже и хуже, с некоторых пор меня уже и не спрашивают о моем здоровье. Неужели у меня не хватит сил! Как я ни стараюсь, мне трудно поверить, что Господь возьмет у меня все — до конца, воспользуется мною, как всеми остальными. С каждым днем меня все больше поражает собственное неведение самых элементарных

деталей практической жизни, которые, кажется, известны каждому без всякого обучения, как бы интуитивно Конечно, я не глупее других, и когда придерживаюсь общепринятых формул, запоминающихся без труда, может создаться впечатление, что я все понимаю. Но эти слова, имеющие для всех точный смысл, мне, напротив, кажутся почти неотличимыми друг от друга до такой степени, что я, случается, употребляю их невпопад, как плохой игрок, который ходит не с той карты. Во время дискуссии о деревенских кассах взаимопомощи у меня было ощущение, что я ребенок, по недоразумению присутствующий при беседе взрослых.

Вполне вероятно, что мои собратья разбирались во всем этом ничуть не лучше меня, несмотря на брошюры, которыми нас засыпают. Но меня поразило, как быстро они все это схватывают. По преимуществу они бедны и мужественно мирятся со своим положением. Тем не менее все, касающееся денег, оказывает на них какое-то магическое воздействие. Их лица тотчас приобретают серьезность, самоуверенность, перед которой я теряюсь, умолкаю, начинаю испытывать что-то похожее на почтение.

Боюсь, я никогда не стану практичным, жиз-

ненный опыт тут не поможет. На взгляд поверхностного наблюдателя я ничем не отличаюсь от своих собратьев, я такой же крестьянин, как все они. Но я потомок людей крайне бедных издольщиков, поденщиков, батрачек, — у нас нет чувства собственности, мы его явно растеряли на протяжении столетий. В этом мой отец походил на деда, а тот на своего отца, умершего от голода в чудовищную зиму 1854 года. Монетка в двадцать су жгла им карман, и они спешили найти приятеля, чтобы тут же ее пропить. Мои однокашники по семинарской школе не обманывались на этот счет: мама могла надеть свою лучшую юбку, свой самый красивый чепец, она все равно сохраняла тот приниженный, уклончивый вид, ту жалкую улыбку неимущих, по которым чужие дети сразу все понимают. И если бы мне недоставало только чувства собственности! Боюсь, что повелевать я умею не больше, чем обладать. А это куда серьезнее.

Ну и пусть! Случается, что посредственные, мало одаренные ученики выбиваются в первые ряды. Они там никогда не блистают, ясное дело. Я не собираюсь себя переделать, я просто подавлю в себе отвращение. Если я должен посвятить себя прежде всего душам, я не могу не разобраться

в тех заботах, в сущности вполне законных, которые занимают такое большое место в жизни моих прихожан. Читает же у нас учитель — хотя он и парижанин — лекции о севообороте и удобрениях. Я немедленно впрягусь во все эти дела.

Необходимо также, чтобы мне удалось создать спортивное общество, по примеру большинства моих собратьев. Молодые прихожане интересуются футболом, боксом и велосипедными гонками. Неужели я откажу им в удовольствии поспорить обо всем этом на том основании, что развлечения такого рода — тоже вполне, конечно, законные! — не по вкусу мне самому? Состояние здоровья не позволило мне выполнить свой воинский долг, и было бы смешно, если бы я попытался принять участие в их играх. Но я могу держаться в курсе происходящего, читать хотя бы спортивную страничку «Эко де Пари», газеты, которую мне довольно регулярно ссужает г-н граф.

Вчера вечером, написав эти строки, я преклонил колени подле кровати и помолился Господу Богу, чтобы он благословил решение, только что принятое мною. И внезапно мною овладело ощущение, что все мечты, упования, честолюбивые замыслы моей юности рухнули; дрожа от озноба, я лег в постель, но уснул только на заре.

Мадемуазель Луиза просидела сегодня утром всю святую обедню, закрыв лицо руками. Читая последнее Евангелие, я хорошо видел, что она плакала. Тяжко быть одному, еще тягостней делить свое одиночество с равнодушными и неблагодарными.

С тех пор как мне взбрела в голову несчастная мысль рекомендовать управляющему г-на графа моего старого товарища по церковной школе, который представляет в наших краях крупную фирму химических удобрений, учитель перестал со мной здороваться. Он, кажется, сам представляет другую фирму, бетюнскую.

В следующую субботу мне предстоит отужинать в замке. Поскольку главная, если не единственная, цель этого дневника приучить себя к полной откровенности с самим собой, я должен признаться, что ничуть не раздосадован, скорее даже польщен… И я этого не стыжусь. Хозяева замка пользовались, как говорится, неважной репутацией у нас в семинарии, и молодой священник, безусловно, должен держаться независимо по отношению к людям светским. Но и в этом вопросе, как и во множестве других, я потомок бедняков, никогда не знавших ни зависти, ни озлобления крестьянина-собственника, который до седьмого

пота бьется с неплодородной почвой, а рядом с ним какой-нибудь бездельник получает с той же самой земли ренту, не пошевелив пальцем. Мы — мой род — так давно уже не имели никакого дела с сеньорами! Нами на протяжении веков помыкал как раз этот крестьянин-собственник, а нет на свете хозяина жестче, хозяина, на которого было бы так трудно угодить.

Получил письмо от аббата Дюпрети, весьма странное. Аббат Дюпрети был моим одноклассником в духовном училище, потом учился еще где-то и, по последним слухам, получил назначение младшим священником в небольшой приход амьенской епархии — тамошний кюре, будучи больным, добился, чтобы ему дали кого-то в помощь. Я сохранил о Луи Дюпрети очень живое, почти нежное воспоминание. Нам тогда ставили в пример его набожность, хотя я лично находил, что он слишком уж нервен, чересчур чувствителен. В третьем классе наши места в часовне были рядом. Мне нередко доводилось слышать, как он всхлипывает, закрыв лицо очень бледными руками, неизменно перепачканными в чернилах.

Письмо отправлено из Лилля (где, как мне помнится, у одного из его дядей, отставного сельского полицейского, действительно была бакалей-

ная лавочка). Меня удивляет, что в письме нет и намека на его службу, с которой он, возможно, вынужден был расстаться — по состоянию здоровья, должно быть; поговаривали, что ему грозит туберкулез. Отец и мать его умерли от этой болезни.

С тех пор как у меня нет домоправительницы, почтальон взял привычку подсовывать письма под дверь. Я нашел запечатанный конверт случайно, перед тем как лечь в постель. Это для меня минута очень неприятная, и я всегда ее оттягиваю, насколько возможно. Боль в животе, как правило, вполне терпима, но ужасно надоедлива, неотступна. Мало-помалу сосредотачиваешься на ней, мысли вязнут, собираешь все свое мужество, чтобы не встать. Я редко поддаюсь, впрочем, этому искушению, так как в доме холодно.

Я распечатал конверт, в предчувствии какой-то дурной новости, даже хуже — сцепления дурных новостей. Склонность, конечно, досадная, что поделаешь. Тон письма мне не нравится. Я нахожу в нем какую-то деланную веселость, почти непристойную, если предположить, что мой бедный друг, очевидно, не может, во всяком случае в данный момент, выполнять свои обязанности. «Ты один способен меня понять», — говорит он.

Почему? Мне вспоминается, что будучи куда более блестящим учеником, чем я, он мною даже несколько пренебрегал. Я, естественно, от этого любил его еще сильней.

Поскольку он просит, чтобы я срочно приехал повидаться с ним, скоро все разъяснится.

Я очень озабочен предстоящим визитом в замок. От первого разговора зависит, возможно, успех больших планов, которыми я так дорожу и которые могли бы быть осуществлены с помощью денег и влияния г-на графа. Как водится, моя неопытность, глупость и дурацкое невезенье усложняют, точно назло, самые простые вещи. Так, например, моя красивая теплая сутана, которую я берег для торжественных случаев, стала мне теперь широка. К тому же г-жа Пегрио, по моей, впрочем, собственной просьбе, вывела на ней пятна, но так неумело, что от бензина остались отвратительные следы. Точно радужные круги, расплывшиеся на слишком жирном бульоне. Идти в замок в своей будничной сутане, много раз чиненной, в особенности на локтях, мне как-то неприятно. Еще подумают, будто я выставляю напоказ свою бедность. Всякое ведь может в голову прийти.

Мне хотелось бы также, чтобы я был в состоянии

есть — хотя бы настолько, чтобы не привлекать к себе внимания. Но тут ничего нельзя предвидеть заранее, мой желудок так капризен! Едва что-нибудь не так, справа появляется знакомая боль, ощущение какой-то рези, колики. Пересыхает во рту — я не в силах проглотить ни куска.

Все это досадные пустяки, не более. Я переношу их довольно стойко, я не неженка, тут я в мать. «Твоя мать была кремень», — любит повторять мой дядя Эрнест. Бедняки понимают под этим, как мне кажется, неутомимую хозяйку, которая никогда не болеет и умирает сразу, так что не заставляет за собой ходить.

Господин граф похож скорее на крестьянина, вроде меня самого, чем на одного из тех богатых промышленников, с которыми мне доводилось встречаться прежде, в бытность мою викарием. Он в два счета преодолел мое смущение. Какой властью обладают эти люди высшего света, казалось бы ничем почти не отличающиеся от других, но делающие все на свой особый лад! Обычно мне становится не по себе от малейших проявлений предупредительности, здесь же со мной обращались даже почтительно, давая, однако, понять, что этим уважением я обязан только своему сану. Г-жа графиня безупречна. Она была

в домашнем платье, очень простом, на седеющих волосах что-то вроде мантильи, напомнившей мне ту, которую накидывала по воскресеньям моя бедная мама. Я не мог устоять и сказал ей об этом, но выразился так неловко, что сомневаюсь, поняла ли она меня.

Мы посмеялись вместе над моей сутаной. Во всяком другом месте, думаю, сделали бы вид, будто ничего не замечают, и это было бы для меня пыткой. С какой свободой эти дворяне говорят о деньгах и обо всем, что с ними связано, какая сдержанность, какое изящество! Кажется даже, что откровенная, неприкрытая бедность внушает им полное к тебе доверие, создает между ними и тобой своего рода сообщническую близость. Я особенно это почувствовал, когда к кофе пожаловали с визитом г-н и г-жа Верженн (в прошлом очень богатые мукомолы, купившие год назад замок Рувруа). В ироническом взгляде г-на графа после их ухода недвусмысленно читалось: «Скатертью дорога, наконец-то мы опять в своем кругу!» А между тем усиленно поговаривают о свадьбе (мадемуазель Шанталь и Верженна-сына… Не в том суть! Я полагаю, что впечатление, которое я сейчас так неумело анализирую, не объясняется одной только учтивостью, пусть даже искренней.

Одним хорошим воспитанием здесь всего не объяснишь.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы г-н граф отнесся с большим энтузиазмом к моим планам занять молодежь, создать спортивное общество. Пусть он даже не хочет сам приложить к этому усилий, но почему отказать мне в предоставлении небольшого участка в Латрилер и старой риги, которая сейчас пустует и в которой легко было бы устроить зал для игры, лекций, кинозал, наконец? Я хорошо знаю, что просить умею не лучше, чем давать, людям нужно время на раздумье, а я вечно надеюсь на какой-то немедленный душевный отклик, ответный порыв.

Я покинул замок очень поздно, слишком поздно. Я и прощаться не умею, только бросаю косые взгляды на циферблат и при каждом обороте стрелки выражаю поползновение откланяться, хозяева из вежливости протестуют, а я не смею этим пренебречь. Так может продолжаться часами! Наконец, я ушел, сам уже не помня, что наговорил, но настроенный доверчиво, радостно, с ощущением, что произошло что-то хорошее, замечательное, чем мне хотелось бы тут же поделиться с другом. Еще немного, и я припустил бы бегом по дороге к дому.

Я люблю возвращаться домой по Жеврской дороге и почти ежедневно, даже когда дождливо и ветрено, присаживаюсь у вершины откоса на ствол тополя, неведомо почему забытый здесь много зим тому назад и уже слегка подгнивший. Он покрыт, словно кожухом, паразитической растительностью, которая кажется мне то отталкивающей, то прелестной, в зависимости от настроя моих мыслей или погоды. Именно здесь я надумал завести этот дневник, и, полагаю, подобная идея даже не пришла бы мне на ум ни в каком ином месте. В этом краю лесов и лугов, перерезанных живыми изгородями, яблоневыми посадками, я не нашел бы другого наблюдательного пункта, откуда деревня предстала бы мне вся целиком, словно собранная в горсти. Я смотрю на нее и никогда не встречаю ответного взгляда. Не думаю, впрочем, чтобы она вовсе не знала обо мне. Но она словно повернулась ко мне спиной и наблюдает за мною искоса, прижмурив веки, как кошка.

Чего она от меня хочет? Да и хочет ли чего? Кто-нибудь другой, например, какой-либо богач, мог бы оценить отсюда все эти глинобитные дома, высчитать, какова площадь полей и пастбищ, помечтать, что вот он выложил необходимую

сумму и теперь владеет деревней. Я не могу.

Как бы я ни старался, отдай я ей даже всю свою кровь до последней капли (мне и вправду иногда грезится, что она распяла меня на кресте, здесь на вершине, и теперь хотя бы смотрит, как я умираю), моей она не станет никогда. Я гляжу на нее сейчас, такую светлую, свежую (по случаю дня всех святых стены домов только что выбелены известкой, подцвеченной бельевой синькой), и все равно не могу забыть, что она стоит здесь уже века, и ее древность пугает меня. Задолго до того как была выстроена в XV веке церквушка, где я всего лишь прохожий, деревня уже терпеливо сносила жару и холод, дождь, ветер, солнце, то преуспевала, то впадала в нищету, вцепившись в этот клочок земли, из которого пила соки и которому возвращала своих мертвецов. До чего же сокровенен, до чего глубок ее опыт! Она поглотит и меня, как поглотила других, наверняка скорее, чем других.

Иногда мне приходят в голову мысли, которыми я не смею ни с кем делиться, хотя они не кажутся мне безумными, отнюдь нет. К примеру, кем стал бы, во что превратился бы я, смирись я с ролью, предначертанной для меня желанием многих католиков, пекущихся в первую оче-

редь об охране общественных устоев, то есть в конечном итоге об охране своего собственного положения. Нет, я не обвиняю этих господ в лицемерии, они вполне искренни. Разве мало людей, объявляющих себя сторонниками порядка, защищают всего лишь укоренившиеся привычки, подчас просто даже лексикон, понятия которого так отполированы, обточены долгим употреблением, что все оправдывают, ничего не ставя под сомнение? В этом-то и заключается одна из самых непостижимых напастей, выпавших на долю человека, — он вынужден доверять самое драгоценное свое достояние чему-то до такой степени непостоянному, до такой степени, увы, податливому, как слово. Нужно немалое мужество, чтобы всякий раз выверять инструмент, подгоняя к его собственному замку. Как правило, предпочитают схватить что попало, нажать чуть посильнее и, если язычок замка дрогнул, на этом успокаиваются. Я восхищаюсь революционерами, они идут на все, чтобы взорвать динамитом крепостные стены, а ведь, будь они людьми благонамеренными, у них в руках была бы связка ключей, которая позволила бы им спокойно войти через ворота, никого даже не разбудив.

Получил сегодня новое письмо от своего старо-

го друга, еще более чудное, чем первое. Кончается оно следующими словами:

«Со здоровьем у меня неважно, только это меня действительно и тревожит, было бы досадно умереть в момент, когда после стольких бурь я наконец достиг гавани. Inveni Portum [8]. Тем не менее я не в обиде на болезнь, она даровала мне досуг, в котором я так нуждался и которого у меня без нее никогда бы не было. Я только что провел полтора года в санатории. Это дало мне возможность серьезно углубиться в загадку бытия. Если ты поразмыслишь, то придешь, я полагаю, к тем же выводам, что и я. Aurea Mediocritas [9]. В этих словах доказательство, что мои притязания скромны, я не бунтовщик. Напротив, я храню превосходные воспоминания о наших учителях. Зло не в доктринах, но в том воспитании, которое наши наставники получили сами и передали нам, не умея думать и чувствовать по-иному. Это воспитание сделало из нас индивидуалистов, одиночек. В сущности, мы так и не вышли из состояния детства, мы только и делали, что выдумывали — выдумывали свои горести, свои

---

[8] Примечания: 8
Прибыл в гавань (лат.).

[9] Примечания: 9
Золотая середина (лат.).

радости, выдумывали Жизнь, вместо того чтобы жить. Так что теперь, прежде чем осмелиться сделать шаг за пределы нашего мирка, мы вынуждены начинать все сначала. Это трудная работа, и ее не сделаешь, не поступившись самолюбием, но одиночество еще труднее, тебе предстоит это понять.

Не следует рассказывать обо мне в твоем кругу. В трудовой, здоровой, короче, нормальной (слово „нормальной“ трижды подчеркнуто) жизни не должно было бы быть ничего тайного. Увы, наше общество устроено так, что счастье в нем всегда выглядит подозрительно. Полагаю, что христианское учение определенного толка, весьма далекое от духа Евангелий, сыграло известную роль в выработке предрассудков, общих для верующих и неверующих. Уважая свободу других, я до сих пор предпочитал хранить молчание. Я много думал, прежде чем решился нарушить его сегодня в интересах лица, заслуживающего всяческого уважения. Хотя мое здоровье за последние месяцы значительно улучшилось, у меня есть серьезные тревоги, которыми я с тобой поделюсь. Приезжай побыстрее».

Inveni Portum… Почтальон вручил мне письмо, когда я вышел утром, направляясь на урок закона

божьего. Я прочел его на кладбище, в нескольких шагах от Арсена, начинавшего рыть могилу для г-жи Пиноше, которую хоронят завтра. Он тоже углублялся в загадку бытия.

От этого «приезжай побыстрее» у меня сжалось сердце. После его жалкой тирады, продуманной так тщательно (я точно вижу его перед собой почесывающим висок кончиком ручки, как в былые времена), эти детские слова, которых он не может удержать, которые сорвались… На минуту я попытался убедить себя, что все придумал, что за ним попросту ухаживает кто-то из родных. К сожалению, насколько я знаю, у него нет никого, кроме сестры, служанки кафе в Монтре. Вряд ли «лицо, заслуживающее всяческого уважения», это она.

Ну и пусть, все равно поеду.

Меня навестил г-н граф. Он был очень любезен, как всегда, одновременно почтителен и фамильярен. Попросил у меня позволения закурить свою трубку и оставил мне двух кроликов, подстреленных им в Совелинском лесу.

— Госпожа Пегрио приготовит вам их завтра утром. Она предупреждена.

Я не осмелился сказать ему, что мой желудок принимает сейчас только черствый хлеб. Это

рагу обойдется мне в половину рабочего дня г-жи Пегрио, которая даже не полакомится приготовленным блюдом, поскольку вся семья полевого сторожа кроликами сыта по горло. Я, правда, могу отправить остатки с мальчиком-певчим моей старой звонарше, но только когда стемнеет, чтобы не привлекать ничьего внимания. И без того уже слишком много разговоров о моем дурном здоровье.

Многие из моих проектов не по вкусу г-ну графу. Он предостерегает меня, подчеркивая в особенности дурные умонастроения местных жителей, которые, как он говорит, обожрались после войны и нуждаются теперь в том, чтобы немного повариться в собственном соку.

— Не старайтесь слишком быстро их завоевать, не открывайтесь им сразу. Пусть сами сделают первый шаг.

Граф — племянник маркиза де ла Рош-Масе, чье поместье находится всего в двух лье от моей родной деревни. Он проводил там некогда каникулы и хорошо помнит мою бедную маму, которая была тогда ключницей в замке и подкармливала его огромными ломтями хлеба с маслом, втайне от покойного маркиза, очень скупого. Я, впрочем, сам, не подумавши, спросил его об этом, но он

тотчас ответил, очень мило, без тени стеснения. Дорогая мама! Такая еще молодая в ту пору и такая бедная, она умела внушить уважение к себе, симпатию. Г-н граф не говорит: «Госпожа ваша матушка», что, как мне кажется, в его устах выглядело бы несколько нарочитым, но слова «ваша матушка» он произносит, делая ударение на «ваша», с такой серьезностью, с таким почтением, что у меня навертываются слезы на глаза.

Если бы эти строки попались когда-нибудь на глаза человеку стороннему, он наверняка счел бы меня весьма наивным. И я, без сомнения, действительно таков, ибо, уж конечно, нет ничего низкого в своего рода восхищении, которое внушает мне этот человек, внешне такой простецкий, подчас даже легкомысленный, с виду — вечный школьник, резвящийся на вечных каникулах. Я не считаю его умней других, и, говорят, он довольно прижимист со своими арендаторами. Нельзя сказать также, что это образцовый прихожанин, ранней воскресной обедни он не пропускает никогда, но у святого причастия я его еще не видел ни разу. Не знаю даже, говеет ли он на пасху. Как же получилось, что он сразу занял подле меня место — увы, слишком часто пустующее — друга, союзника,

сотоварища? Возможно, причина в том, что я ощутил в нем естественность, которую напрасно ищу в других. Ни сознание своего превосходства, ни наследственная склонность повелевать, ни даже возраст ничто не заставляет его уныло важничать, настороженно пыжиться, как это делает самый мелкий буржуа, кичащийся своим единственным преимуществом деньгами. Мне кажется, буржуа вечно озабочены тем, чтобы сохранить дистанцию (если говорить на присущем им языке), тогда как он сохраняет свой ранг совершенно непринужденно. О, я отлично понимаю, сколько кокетства — я хотел бы думать, бессознательного — в его отрывистом, почти грубом, лишенном какой бы то ни было снисходительности тоне, который тем не менее никого не унижает и вызывает у последнего бедняка не столько мысль о его подчиненности, сколько идею свободно принимаемой военной дисциплины. Кокетства, боюсь, немало. Немало также и гордыни. Но, слушая его, я приободряюсь. И когда я говорю с ним об интересах прихода, о душах, о церкви, а он отвечает «мы», точно мы оба, он и я, можем служить лишь единому делу, я нахожу это естественным и не смею его поправить.

Господин торсийский кюре его недолюбливает

и именует не иначе как «графчик», «ваш графчик». Это меня раздражает.

— Почему «графчик»? — спросил я.

— Да потому, что он — безделушка, только милая безделушка, хотя и подлинная. На крестьянском буфете она производит впечатление. Но в лавке антиквара или на аукционе, в день большой распродажи, вы ее даже не заметили бы.

Когда же я признался, что все еще не потерял надежды заинтересовать г-на графа своими планами попечительства, он пожал плечами:

— Хорошенькая копилка из саксонского фарфора ваш графчик, да только вам ее не расколоть!

Я и в самом деле не думаю, чтобы он был слишком щедр. Если он и не производит, как многие другие, впечатления человека, которого держат деньги, то сам он за них, спору нет, держится.

Я хотел также побеседовать с ним о м-ль Шанталь, понурый вид которой меня тревожит. Однако натолкнулся на явное нежелание говорить об этом, потом он вдруг очень развеселился, но его веселость показалась мне деланной. Имя м-ль Луизы его, кажется, крайне обозлило. Он покраснел, лицо его стало деревянным. Я умолк.

«Вы склонны к дружбе, — заметил мне как-то

мой старый наставник, каноник Дюрье. — Берегитесь, как бы эта склонность не обернулась страстью. Из всех страстей это единственная, от которой невозможно оправиться никогда».

Мы охраняем, пусть так. Но мы охраняем, чтобы спасти, вот чего не хочет понять мир, ибо он стремится к одному — продлить себя. А ныне довольствоваться этим уже нельзя.

Древний мир, возможно, и мог себя продлить. Продлить себя надолго. Он был для этого создан. В нем была чудовищная тяжесть, гигантское бремя прижимало его к земле: он примирился с несправедливостью. Вместо того чтобы с ней лукавить, он ее принял всю целиком, полностью, он положил ее в основу закона. Обратил в закон в ряду других законов, он учредил рабство. И нет сомненья, что, какой бы высокой степени совершенства ни достиг древний мир, он не мог сбросить гнет проклятья, поразившего Адама. Дьявол хорошо это знал, лучше, чем кто бы то ни было. Но до чего же жестоко это было — почти полностью переложить груз проклятья на плечи человеческой скотины, избавившись тем самым от тяжкого бремени. Всю огромную совокупность невежества, бунта, отчаяния нес на себе своего рода народ-жертва, народ, не имеющий ни

имени, ни истории, ни достояния, ни союзников — во всяком случае, таких, о которых можно сказать вслух, — ни семьи — во всяком случае, законной, — народ без имени и без богов. Какое упрощенное решение социальных проблем, методов правления!

Но этот институт, казавшийся неколебимым, на самом деле был куда как хрупок. Чтобы покончить с ним навсегда, хватило одного столетья. Хватило бы, возможно, и одного дня. После того как народ-искупитель рассеялся, какая сила могла бы заставить его вновь встать под ярмо?

Институт рабства умер, и вместе с ним рухнул Древний мир. Люди верили, делали вид, что верят в необходимость рабства, принимали его как нечто непреложное. Но оно никогда не будет восстановлено. Человечество не посмеет испробовать вновь эту чудовищную возможность, риск слишком велик. Закон может терпеть несправедливость, исподволь ей потворствовать, но своей санкции он уже не даст ей никогда. У несправедливости больше никогда не будет легального статуса, с этим покончено. Что не мешает ей, однако, распространяться по свету. Общество, уже не смеющее открыто использовать ее ради блага узкого круга, вынуждено неустанно преследовать

зло, которое заключено в нем самом и, будучи изгнанным из законов, почти тотчас пробилось в нравах, начав, как бы в обратном направлении, свой неустанный бег по адскому кругу. Хочет оно того или не хочет, общество отныне разделяет удел человеческий, ему предстоят те же неподвластные разуму перипетии. Некогда оно было безразлично к добру и злу, не ведало иных законов, кроме охраны своего собственного могущества, христианство наделило общество душой, и эту душу оно либо погубит, либо спасет.

Я показал эти строки г-ну торсийскому кюре, однако не посмел сказать, что они принадлежат мне. Но он так проницателен — а я так не умею лгать, что не знаю даже, может, он и догадался. Вернув мне листок, со смешком, который я уже знаю и который не сулит ничего хорошего, он сказал:

— Твой друг неплохо пишет, все это даже слишком лихо закручено. Вообще-то говоря, если всегда полезно мыслить здраво, то дальше лучше бы не заглядывать. Видишь вещь, как она есть, без всякой музыки, и не рискуешь убаюкать себя песенкой, которую сам себе поешь. Если ты заметил истину походя, вглядись хорошенько, так, чтобы потом узнать ее, но не жди, пока она со-

строит тебе глазки. Евангельские истины глазок не строят. Что до остальных, то никогда толком не знаешь, где они таскались, прежде чем дошли до тебя, частные беседы опасны. Мне не хотелось ставить в пример такого мужлана, как я сам. Но все же: когда мне приходит на ум какая-нибудь мысль душеспасительная, разумеется, потому что на все другие… — я прежде всего пытаюсь повергнуть ее к стопам Господа Бога в своей молитве. Удивительно, до чего она сразу меняет облик. Бывает, прямо не узнать…

Ну да ладно. Твой друг прав. Современное общество может сколько угодно отвергать Вседержителя, искупительная жертва была принесена и за него, ему уже нельзя просто управлять общим наследием, этого мало, оно, как и все мы, хочешь не хочешь, вступило на путь поисков царства божия. А это царство не от мира сего. Так что остановки на этом пути нет, невозможно прекратить поиски. «Спасись или погибни!» Тут нечего возразить.

То, что твой друг говорит о рабстве, тоже верно. Ветхий завет терпел рабство, да и апостолы тоже проявляли к нему терпимость. Они не повелели рабу: «Отринь своего хозяина», в то время как блудодею, например, они говорили: «Не медли,

отринь свою плоть!» Здесь есть тонкое различие. А почему? Потому что они хотели, предполагаю я, дать миру передышку, прежде чем подвергнуть его сверхчеловеческому испытанию. И я уверен, что такой удалец, как апостол Павел, тоже не строил себе на этот счет иллюзий. Отмена рабства не устранила бы эксплуатации человека. Если приглядеться хорошенько, раб стоил дорого, и уж хотя бы поэтому хозяин вынужден был относиться к нему с известной бережностью. А я вот знавал в молодости одного прохвоста, стекольного мастера, который брал в стеклодувы пятнадцатилетних мальчишек, а когда их бедные легкие не выдерживали, нанимал других, охотников у этого скота было хоть отбавляй. В сто раз лучше быть рабом одного из добрых римских граждан, которые, отдадим им должное, не вели себя, вероятно, как собаки на сене. Нет, апостол Павел не строил себе иллюзий! Он полагал просто, что христианство принесло миру истину, и она непреоборима, потому что вошла в сознанье и человек тотчас узнал в ней себя: Иисус спас каждого из нас и каждый из нас стоит крови Христовой. Можешь перевести это как угодно, даже на язык рационалистов — самый дурацкий из всех, — но это заставляет тебя

сблизить слова, которые взрываются при малейшем соприкосновении. Пусть только общество будущего попытается рассесться на них! Они подпалят ему задницу, вот и все. И тем не менее бедный мир по-прежнему лелеет, в большей или меньшей степени, мечту о древнем договоре, который был заключен некогда с демонами и обеспечивал ему покой. Пожалуй, низведение четверти или, возможно, даже трети рода человеческого до положения скотины, но скотины высшего порядка, было не слишком дорогой ценой за пришествие сверхчеловеков, чистопородной элиты, истинного царства земного… Так думают, но вслух сказать не смеют. Господь наш, обручившись с бедностью, до такой степени возвысил достоинство бедняка, что теперь его уже не свести с этого пьедестала. Он дал бедняку предка — и какого предка! Дал ему имя — и какое имя! Бунт бедняка приглядней, чем смирение, ведь бедняк словно вошел уже в царство божие, словно вернулся с того света — вернулся с брачной трапезы в своей белой одежде… Чего же ты хочешь, Государство вынуждено делать хорошую мину при плохой игре. Оно подтирает детишек, перевязывает увечных, стирает рубахи, варит суп для бездомных бродяг, надраивает плеватель-

ницы выжившим из ума, но глаз не сводит со стрелки часов, соображая, дадут ли ему наконец время, чтобы заняться своими собственными делами. Оно еще рассчитывает — отчасти, конечно, — что ему удастся возложить роль, которую некогда выполняли рабы, на машины. Чушь! Чем больше крутятся машины, тем больше становится безработных, так что, выходит, эти машины вырабатывают только безработных, понимаешь? У бедняков жизнь не сладкая. Ну, там, в России, они еще пытаются… Заметь, я не считаю русских хуже других, все они — нынешние — безумцы, одержимые! — но у этих чертей русских крепкое нутро. Эти ребята — северные фламандцы. Они все переварят, пройдет век, два, они переварят и политехнику, их и на это хватит.

В целом их идея не так уж глупа. Естественно, речь, как всегда, идет о том, чтобы покончить с бедняком: ведь бедняк — свидетель Иисуса Христа, наследник иудеев! Но вместо того чтобы превратить его в рабочий скот или истребить, можно сделать из него человека обеспеченного или даже — если предположить, что дела пойдут все лучше и лучше, — государственного служащего. А у служащего всегда есть твердые устои.

Мне в моем захолустье тоже случается думать

о русских. Мои товарищи по семинарии часто говорили о них, полагаю, толком ничего не зная. Главным образом, чтобы подразнить преподавателей. Священники-демократы — люди милые, полные рвения, но я нахожу их — как бы это получше сказать? — немного буржуазными. Впрочем, народ их недолюбливает, это факт. Не потому ли, что не понимает? Короче, повторяю, мне случается думать о русских с каким-то любопытством, с нежностью. Когда человек изведал нищету, ее сокровенные, ее непередаваемые радости, русские писатели, например, заставляют его плакать. В год папиной смерти маме пришлось перенести операцию, ей вырезали опухоль, и она пять или шесть месяцев пролежала в бергетской больнице. Меня взяла к себе тетка. У нее была крохотная распивочная в окрестностях Ланса, мерзкий дощатый барак, где шахтеры, слишком бедные, чтобы пойти куда-нибудь в другое место, в настоящее кафе, могли выпить можжевеловой. Школа была в двух километрах, уроки я учил, сидя на полу, за стойкой, — иными словами, на совершенно прогнившем деревянном помосте. Сквозь щели проникал запах земли, запах непросыхающей сырости, грязи. В вечера после получки наши клиенты даже не брали на

себя труд выйти наружу по естественным надобностям: они мочились прямо на пол, и мне за стойкой делалось так страшно, что в конце концов я засыпал. Но не в этом дело. Учитель меня любил, он давал мне книги. Именно там я прочел воспоминания о детстве г-на Максима Горького.

Во Франции, конечно, тоже есть очаги бедности. Островки бедности. Но они никогда не бывают достаточно велики, чтобы бедные оказались по-настоящему в своей среде, могли жить подлинной жизнью бедноты. Само богатство у нас слишком приглушено, слишком очеловечено, — не знаю, как выразиться поточней? — чтобы где-нибудь разгорелась в полную силу, распустилась пышным цветом чудовищная мощь денег, их слепая мощь, их жестокость. Мне думается, что русский народ, напротив, был бедным народом, народом бедняков, что он изведал хмель бедности, ее власть. Если бы церковь могла причислить к лику святых целый народ и избрала бы этот, она канонизировала бы его как покровителя бедности, особого заступника бедноты. Г-н Горький, кажется, заработал кучу денег, вел роскошную жизнь где-то на Средиземном море, во всяком случае я читал что-то такое в газете. Даже если это правда, — в особенности если это

правда! — я рад, что ежедневно молился за него на протяжении многих лет. Когда мне было двенадцать, я не то чтобы вовсе еще не знал Господа Бога, ибо среди множества голосов, наполнявших мою бедную голову громовыми раскатами, грохотом штормовых волн, я уже узнавал его голос. Но все равно, первый опыт отчаяния нестерпимо жесток! Да будет благословен всякий, кто оберег от отчаяния детское сердце! Миряне недостаточно понимают это или забывают, потому что иначе им было бы слишком страшно. Среди нуждающихся, как и среди богачей, маленький бедняк одинок, так же одинок, как королевский сын. По крайней мере у нас, в нашей стране, бедностью не делятся, каждый бедняк одинок в своей бедности, эта бедность принадлежит только ему, она его часть — как лицо, руки или ноги. Вряд ли я ясно осознавал свое одиночество, возможно, я и вовсе не сознавал его. Я просто безотчетно подчинялся этому закону своей жизни. В конце концов, я бы, наверно, полюбил одиночество. Нет ничего тверже гордости бедняков. Но вот вдруг эта книга, явившаяся издалека, из сказочных краев, дала мне в товарищи целый народ.

Я дал почитать эту книгу приятелю, который, естественно, не вернул мне ее. Да я и не слиш-

ком-то охотно стал бы ее перечитывать, зачем? Достаточно раз услышать — или поверить, что слышишь, — эту жалобу, не похожую на жалобу ни одного другого народа, нет, ни одного, даже еврейского, набальзамированного своей гордыней, как труп благовониями. Да и не жалоба это, скорее песнь, гимн. Нет, я знаю, это не церковный гимн, молитвой его не назовешь. Здесь, как говорится, всего намешано. Стоны мужика под розгами, вопли избиваемой женщины, отрыжка пьяницы и раскаты дикого веселья, этот нутряной рев — ибо бедность и похоть, увы! ищут друг друга, взывают друг к другу во тьме, как два изголодавшихся чудовища. Да, все это должно было ужаснуть меня, не спорю. Однако мне кажется, что такая бедность, бедность, которая позабыла все, вплоть до собственного имени, которая уже не ищет, уже не рассуждает и преклоняет где придется свою заблудшую голову, в один прекрасный день пробудится на груди господа нашего Иисуса Христа.

Вот я и воспользовался случаем.

— Ну а если бы они все же добились успеха? — спросил я у г-на торсийского кюре.

Он на мгновенье задумался.

— Сам понимаешь, я не полезу к беднякам с со-

ветом поскорей заявить налоговому инспектору, что они потеряли свое право на пенсию! Пусть тянут, сколько протянут… Но чего ты в конце концов хочешь? Мы здесь, чтобы учить истине, и нам не след ее стыдиться.

Его руки, лежавшие на столе, слегка дрожали, чуть заметно, но все же я понял, что мой вопрос разбудил в нем воспоминания о днях мучительной борьбы, когда едва не пошли ко дну и его мужество, и разум, возможно, и вера… Перед тем как мне ответить, он широко развел плечи, точно человек, который, встретив преграду на своем пути, готовится ее отбросить. О, я не был слишком уж тяжел, нет!

— Учить, мой милый, не так-то весело! Я говорю не о тех, что выходят из положения при помощи всяких благоглупостей: ты еще на них насмотришься за свою жизнь, научишься различать с первого взгляда. «Утешительные истины», как они выражаются. Истина сначала освобождает, утешает она потом Впрочем, мы не вправе называть это утешением. Может, еще соболезнованием? Слово божье — каленое железо! Так неужто ты — ты, который ему учит, — станешь брать его щипчиками, чтобы не обжечься? Не схватишься за него обеими руками? Смех, да и

только. Священник, который сходит с кафедры Истины, сложив губы в куриную гузку, несколько разгоряченный, но довольный, — не проповедовал, а самое большее мурлыкал. Заметь, с каждым может случиться, всех нас клонит в сон, и подчас чертовски трудно не дремать, уснули же в Гефсиманском саду апостолы, даже они! Короче, нужно об этом помнить. Ты и сам понимаешь, что когда тот или другой вовсю размахивает руками и пот с него катит градом, как с грузчика, это еще вовсе не значит, что он в самом деле не спит, далеко не так. Я просто хочу сказать, что когда Господь ненароком исторгает из меня душеспасительное слово, я чувствую это по боли, которую оно мне причиняет.

Он рассмеялся, но каким-то незнакомым мне смехом. в нем было, конечно, мужество, но и надлом. Я не позволю себе судить человека, стоящего, что бы там ни было, много выше меня, но мне хочется сейчас отметить одну его черту, мне самому совершенно чуждую. Впрочем, ни мое воспитание, ни мое происхождение и не могли развить ее во мне. Нет спору также, что некоторые считают г-на торсийского кюре человеком толстокожим, едва ли не вульгарным или — как, например г-жа графиня — недалеким. Ну, словом,

я вправе писать здесь все, что хочу, не рискуя никому навредить. Так вот, мне представляется — в плане человеческом, по крайней мере, — что доминирующая черта этой величественной фигуры — гордость. Если уж г-н торсийский кюре не горд, то это слово вовсе лишено смысла или, во всяком случае, теряет смысл для меня. Сейчас, не сомневаюсь, он был уязвлен в своей гордости, в своей гордости гордого человека. И я был тоже уязвлен, я страдал за него, мне ужасно хотелось сделать что-то нужное, полезное, сам не знаю что. Не подумав, я брякнул:

— Тогда, значит, и я нередко мурлычу, потому что…

— Замолчи, — ответил он, и меня поразила внезапная мягкость его голоса, — не думаешь ли ты, что какой-нибудь несчастный голодранец вроде тебя способен сделать нечто большее, чем просто повторить свой урок? Но Господь Бог тем не менее его благословляет, твой урок, потому что ты не похож на процветающего лектора для поздней обедни… Видишь ли, — продолжал он, — каждого дурака, короче, любого, кого ни возьми, тронет мягкое, ласковое слово, такое, какое несут нам святые Евангелия. Так пожелал Господь. Это само собой. И только люди слабые или суемуд-

рые считают необходимым закатывать глаза и сверкать белками, прежде чем откроют рот. Да ведь и природа тоже встречает человека лаской, разве для младенца, покоящегося в колыбели и вбирающего мир своим открытым взглядом предпробуждения, вся жизнь не мягкое, нежное участие? А жизнь-то ведь сурова! Заметь, впрочем, что, если подойти к этому правильно, прием, который она оказывает человеку, не так уж обманчив, как кажется, ибо смерть только и стремится, что выполнить обещание, данное жизнью на заре дней, улыбка смерти, хоть она и серьезней, ничуть не менее сладка и мягка, чем та, первая. Короче, в устах младенцев слово также делается младенческим. Но когда взрослые — Гордецы — полагают хитроумным нашептывать себе слово божье, точно это сказочка Матушки Гусыни, удерживая из него лишь трогательные, поэтические детали, — мне страшно — страшно за них, разумеется. Послушать только лицемера, развратника, скупца, богача неправедного, как они воркуют, распустя губы и блестя глазами, Sinite parvulos, точно позабыли слова, идущие следом, — одни из самых устрашающих среди всех, которые дано было услышать уху человеческому: «И если не обратитесь и не будете как

дети, не войдете в царство небесное…»

Он повторил этот стих, словно для себя самого, и продолжал еще некоторое время говорить, не отнимая рук от лица:

— Было бы, знаешь ли, идеально проповедовать Евангелие одним детям. Мы слишком расчетливы, вот в чем зло. Поэтому-то нам только и остается, что учить духу бедности, а это, мой милый, поверь, не легкое дело! Ну и пытаешься на все лады, плохо ли, хорошо, приспособиться. И прежде всего начинаешь обращаться к одним богатым. Проклятые богачи! Это, как назло, люди очень сильные, очень умные, дипломаты — первый сорт. Когда какой-нибудь дипломат вынужден подписать договор, который ему не по вкусу, он спорит по каждому пункту. Тут изменит слово, там переставит запятую, в конце концов все подгонит, тютелька в тютельку. Ну а на этот раз, черт возьми, овчинка стоила выделки: речь-то ведь шла о проклятии, сам понимаешь! Но оказывается, есть проклятие — и проклятие. В данном случае его обходят. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство божье…» Заметь, я первый нахожу этот текст чересчур суровым и вовсе не отказываюсь делать различия, а то слишком уж

это ударило бы по клиентуре отцов иезуитов. Итак, сойдемся на том, что Господь имел в виду богачей, настоящих богачей, богачей, проникнутых духом богатства. Ладно! Но когда дипломаты принимаются намекать, что игольное ушко — одно из врат Иерусалимских, только чуть-чуть поуже, и богач, проходя сквозь него в царство небесное, рискует разве что слегка оцарапать икры или порвать на плечах свою красивую тунику, это меня, как ни говори, злит! Господь наш собственной рукой начертал на этих денежных мешках: «Смертельно опасно», как делает дорожное управление на мачтах высокого напряжения, а еще хотят, чтобы…

Он поднялся и стал ходить по комнате, от стены к стене, засунув руки в карманы своей теплой сутаны. Я хотел тоже встать, но он усадил меня кивком головы. Я чувствовал, что он еще колеблется, как бы вынося обо мне последнее суждение, взвешивая, можно ли мне сказать то, чего он, возможно, не говорил никому — во всяком случае, в подобных выражениях. Он явно во мне сомневался, однако в его сомнениях не было ничего для меня унизительного, могу поклясться. Он, впрочем, и не способен никого унизить. В эту минуту его взгляд был таким добрым, мягким

— хотя это кажется нелепым, когда речь идет о солидном, полном, почти вульгарном на вид мужчине, о человеке с таким огромным практическим опытом, знанием жизни, — в нем была удивительная, непередаваемая чистота.

— Нужно многое взвесить, прежде чем говорить богатым о бедности. Иначе мы оказались бы недостойны проповедовать ее беднякам, а как тогда осмелиться предстать перед судом Спасителя нашего Иисуса Христа?

— Проповедовать бедность беднякам? — спросил я.

— Да, беднякам. Ибо к ним посылает нас Господь в первую очередь, а для чего? Что должны мы возвестить им? Бедность. Они-то ждут совсем другого! Они ждут, что их нищете будет положен конец, а вместо этого Бог берет за руку бедность и говорит им: «Вот ваша Владычица, поклянитесь ей в верности и благоговении», какой удар! Запомни, что к этому, в сущности, сводится вся история еврейского народа с его царством земным. Народ бедняков подобен еврейскому народу, страннику среди других племен, алчущему исполнения своих плотских упований, это — народ разочарованный, разочарованный до мозга костей.

— И, однако…

— Да, и, однако, таков порядок, изменить его не в наших силах… Не спорю, человеку малодушному, может, и удастся обойти трудность стороной. Народ бедняков — легкая аудитория, благодарная аудитория, если знаешь, как к ней подойти. Пойди к больному раком, скажи, что он скоро выздоровеет, он только и мечтает тебе поверить. Нет ничего легче, в общем, чем дать им понять, что бедность — нечто вроде стыдной болезни, недостойной цивилизованной нации, и что мы их избавим от этой дряни во мгновение ока. Но кто из нас осмелится говорить так о бедности Иисуса Христа?

Он смотрел на меня в упор, но я так и не знаю, не сливался ли я для него с предметами домашней обстановки, привычными безмолвными поверенными его признаний. Нет! Он меня не видел! Одним только желанием убедить меня невозможно было бы объяснить его душераздирающий взгляд. Это против самого себя, против чего-то в самом себе, сотни раз подавленного, сотни раз побежденного, но все еще неусмиренного, восставал он во весь свой рост у меня на глазах, на это обрушивал всю свою силу, подобно человеку, борющемуся за жизнь. Как же глубока

была эта душевная рана! Он словно раздирал себя собственными руками.

— Мне, ты ведь меня знаешь, — сказал он, — очень хотелось бы проповедовать бедным бунт. Или, точнее, вовсе ничего не проповедовать. Охотнее всего я взял бы одного из этих так называемых «борцов», торговцев фразой, игроков в революцию, и показал бы ему, что такое настоящий фламандец. У нас, фламандцев, мятеж в крови. Вспомни нашу историю! Благородные и богатые нас никогда не страшили. Слава богу, теперь я уже могу в этом признаться, — как я ни силен, какой я ни крепкий мужчина, Господь уберег меня от чересчур нестерпимых искушений плоти. Но несправедливость и людские невзгоды — вот что распаляет мою кровь. Сейчас все это в прошлом, но ты не можешь себе представить… Вот возьми, например, знаменитую энциклику Льва Тринадцатого «Rerum Novarum», вы теперь читаете ее спокойно, как ни в чем не бывало, проглядываете, словно рядовое великопостное послание. А у нас в свое время, мой милый, земля содрогнулась под ногами. Какой энтузиазм! Я был тогда приходским священником в Норанфонте, в самом сердце шахтерского края. Такая простая вещь, как идея, что труд не товар, покорный

закону спроса и предложения, что нельзя спекулировать на заработной плате, на жизни людей, как на пшенице, сахаре или кофе, потрясала сознание, поверишь ли? Из-за того, что я объяснял это с кафедры моим прихожанам, я прослыл социалистом, и благонамеренные крестьяне добились моего перевода, как опального, в Монтре. На опалу мне было плевать, пойми. Но в ту минуту…

Он умолк, весь дрожа. Он не отрывал от меня взгляда, и я устыдился ничтожности своих трудностей, мне хотелось целовать ему руки. Когда я осмелился поднять глаза, он стоял спиной ко мне и смотрел в окно. После долгого молчания он продолжал все тем же изменившимся, хотя и более глухим, голосом.

— Жалость, знаешь ли, это животное. Животное, от которого можно требовать многого, но не всего. Самый верный пес может взбеситься. Жалость сильна и прожорлива. Не знаю, почему ее обычно считают какой-то нюней, растетехой. Одна из самых мощных страстей человека — вот что такое жалость. В ту пору моей жизни я — человек, которого ты сейчас слышишь, — боялся, что она сожрет меня. Гордыня, зависть, гнев, даже похоть, — все семь смертных грехов хором вопили от боли. Словно волчья стая, которую

облили керосином и подожгли.

Я вдруг почувствовал на своих плечах тяжесть его рук.

— Короче, и у меня тоже были свои неприятности. Трудней всего, что никто тебя не понимает, чувствуешь себя смешным. Все видят в тебе только заурядного священника-демократа, тщеславного и актерствующего. Возможно, что священники-демократы, как правило, и не слишком темпераментны, но мне-то темперамента скорее, полагаю, хватало с лихвой. Знаешь, я тогда понял Лютера. Ему тоже темперамента хватало. Нисколько не сомневаюсь, он в своей эрфуртской монастырской дыре с ума сходил, снедаемый жаждой справедливости. Но Господь Бог не любит, когда затрагивают его справедливость, и гнев божий крепковат для нас, бедняг. Мы от него хмелеем, делаемся хуже скотов. Вот и старик Лютер, сначала заставил трепетать кардиналов, а потом в конце концов стал лить воду на мельницу немецких князей, этой гнусной банды… Взгляни только на портрет, который был сделан с него на смертном одре… Никто не узнает прежнего монаха в этом пузатом человечке с надутым ртом. Хоть гнев его и был в принципе справедлив, но мало-помалу он отравил Лютера:

обратился в нездоровый жир, вот и все.

— Вы молитесь за Лютера? — спросил я.

— Ежедневно, — ответил он. — Меня, впрочем, тоже зовут Мартин, как и его.

Тут произошло нечто поразительное. Он придвинул стул впритык к моему, сел, взял мои руки в свои и, неотрывно глядя мне в глаза своими прекрасными глазами, хотя и полными слез, но более, чем когда-либо, властными, глазами, которые могли бы сделать смерть совсем легкой, совсем простой, сказал:

— Я называю тебя голодранцем, но я тебя уважаю. Прими это слово, как оно того заслуживает, — это великое слово. На мой взгляд, ты призван Господом, тут нет сомнений. Физически ты смахиваешь скорее на монашью породу, но суть не в этом! Плечами ты похвастать не можешь, но сердцем крепок, ты достоин служить в пехоте. Запомни только то, что я тебе скажу: не дай себя эвакуировать — если ты попадешь хоть раз в лазарет, тебе оттуда не выбраться. Ты не создан для войны на истощение. Шагай вперед и постарайся окончить свои дни в братской могиле, не отстегнув ранца.

Я хорошо знаю, что не достоин такого доверия, но раз уж оно мне даровано, думаю, не обману

его. В этом вся сила слабых, малых, моя сила.

— Одни постигают жизнь быстрее, другие медленнее, но в конце концов все ее постигают, в меру своих возможностей. Мера у каждого своя, разумеется. Четвертушка не может вместить столько, сколько литровая бутыль. Но есть еще опыт несправедливости.

Я почувствовал, как лицо мое, помимо воли, твердеет, ибо это слово причиняет мне боль, и уже открыл рот, чтобы ответить.

— Молчи! Ты еще не знаешь, что такое несправедливость, ты это узнаешь. Ты принадлежишь к породе людей, которую несправедливость чует издалека и терпеливо подстерегает до дня, когда… Не позволяй ей тебя сожрать. Главное, не воображай, что сможешь заставить ее отступить перед тобой, глядя ей в глаза, как укротитель! Тебе не совладать с ее колдовскими чарами, она тебя заворожит. Не смотри на нее дольше, чем того требует необходимость, и никогда не смотри на нее без молитвы.

В его голосе послышалась легкая дрожь. Какие образы, какие картины проходили в это время перед его глазами? Бог весть.

— Эх, ты еще не раз позавидуешь монашке, которая спозаранку с веселым сердцем отправ-

ляется к своим вшивым ребятишкам, своим нищим, пьяницам и трудится до вечера засучив рукава. Ей, знаешь ли, не до несправедливости! У нее свое стадо увечных, она его моет, подтирает, перевязывает и в конце концов хоронит. Господь не ей вручил свое Слово. Слово божье! Верни мне мое Слово, — потребует Судия в Судный день. Как подумаешь, что тут придется извлечь некоторым из своего жалкого багажа, становится, право, не до смеха!

Он снова поднялся и встал ко мне лицом. Я тоже поднялся.

— Сберегли ли мы его, это Слово? И если сберегли в неприкосновенности, не утаили ли от других? Дали ли мы его бедным так же, как богатым? Разумеется, Господь Бог говорит со своими бедными ласково, но, как я уже сказал тебе, он возвещает им только бедность, от этого никуда не уйдешь. Спору нет, церкви доверено охранять бедняка. Это легче всего. И каждый, кто способен на сочувствие, разделяет с нею эту опеку. Но одна лишь церковь, слышишь? — одна, только она одна обязана охранять достоинство бедности. О! Нашим врагам легко. «Нищих всегда имеете с собой», — это ведь не демагогом сказано! Это — Слово, и оно вручено нам. И пусть себе богачи

прикидываются, будто верят, что в нем оправдание их эгоизма. Но нам-то каково — мы ведь таким образом оказываемся заложниками сильных мира сего всякий раз, когда армия неимущих подступает к стенам Града! Нет в Евангелии слова печальнее этого, оно исходит печалью. И обращено оно прежде всего к Иуде. Иуда! В Евангелии от Луки рассказано, что Иуда вел счет расходам и что его бухгалтерия была не слишком точной, пусть так! В общем, он был банкиром двенадцати, а где это видано, чтобы банковские книги были в ажуре? Возможно, он перебирал лишку за комиссию, как и все прочие. Судя по последней его операции, блестящий финансист из него бы не получился, из этого Иуды! Но Господь Бог приемлет наше общество таким, как оно есть, в противоположность шутникам, которые создают свое на бумаге и давай его реформировать — все так же на бумаге, разумеется! Короче, Господь Бог отлично понимал власть денег, он отвел подле себя местечко капитализму, дал ему возможность развернуться и даже сделал свой первый вклад в основной капитал; по-моему, это чудесно, как хочешь! Это прекрасно! Бог ничего не презирает. В конце концов, пойди дело на лад, вовсе не исключено, что Иуда давал бы деньги на санатории,

больницы, библиотеки или лаборатории. Заметь, что проблема пауперизма его уже интересовала, как каждого миллионера. «Нищих всегда имеете с собой, отвечает ему Господь наш, — а меня — не всегда». Что означает: «Смотри не пропусти час милосердия. И верни-ка мне лучше, не откладывая, деньги, украденные у меня, вместо того чтобы морочить голову моим апостолам своими воображаемыми спекуляциями на доходах от парфюмерии и прожектами благотворительных учреждений. Ты вдобавок убежден, что льстишь моей всем известной слабости к нищим, но ты ошибаешься от начала до конца. Я своих бедняков люблю не так, как старухи англичанки любят бездомных кошек или быков на корриде. Это все барские замашки. Я люблю бедность глубокой, вдумчивой, трезвой любовью — как равный равного, как любят супругу с плодоносящим лоном и верным сердцем. Я увенчал ее собственными руками. Не всякому дано почитать ее, служить ей — тому только, кто прежде облекся в белую льняную тунику. Не всякому дано преломить с нею горький хлеб. Я пожелал, чтобы она была смиренной и гордой, но не раболепной. Да и не отвергнет стакан воды, буде его предложат ей во имя мое, и да приемлет его во имя мое. Если бы

права бедняка зиждились на одной необходимости, вы, с вашим эгоизмом, ничтоже сумняшеся, обрекли бы его только на строго необходимое, да еще заставили бы расплачиваться за это вечной благодарностью и вечным рабством. Вот ты сейчас негодуешь на эту женщину, которая умастила мне ноги драгоценным миром, как будто мои бедняки не вправе тоже воспользоваться благами парфюмерной промышленности. Воистину, ты из тех, кто, дав медный грош бродяге, возмущаются, что он не бросается тут же, у них на глазах, к булочнику, чтобы набить брюхо черствым хлебом, который лавочник, впрочем, провал бы ему по цене свежего. Да будь они сами на его месте, они тоже отправились бы к виноторговцу, ибо нутро обездоленного алчет иллюзии больше, чем хлеба. Несчастные! Разве золото, с которым вы так носитесь, не иллюзия, не сновиденье, а подчас даже всего лишь обещание сновиденья? Бедность немало тянет на весах Отца моего небесного, и все ваши сокровища — дым, им не уравновесить чаши. Среди вас всегда будут бедные, потому что всегда будут богатые, то есть жадные и жестокие, стремящиеся не столько даже к обладанию, сколько к власти. Такие есть как среди неимущих, так и среди богачей, и бед-

няк, который уснул с перепою в канаве, видит, возможно, те же сны, что и Цезарь, под своим пурпурным балдахином. Богаты вы или бедны, взгляните-ка лучше на себя в бедность, как в зеркало, ибо она образ вашего первородного разочарования, здесь, в земной юдоли, она подобна утраченному Раю, она — опустошенность вашего сердца, ваших рук. Я возвел ее так высоко, взял ее в жены, увенчал потому лишь, что мне ведомо ваше лукавство. Допусти я, чтобы вы видели в ней врага или хотя бы чужестранку, оставь я вам надежду, что вы можете когда-нибудь изгнать ее из вашего мира, я вынес бы тем самым приговор слабым. Ибо слабые во веки веков пребудут для вас невыносимым бременем, мертвым грузом, который ваши цивилизации, преисполненные гордыни, станут перебрасывать одна другой с гневом и отвращением. Я запечатлел на челе бедняка свой знак, и вы уже не смеете к нему приблизиться, разве что ползком, вы пожираете заблудшую овцу, но посягнуть на само стадо уже не решаетесь. Отыми я на мгновение свою руку, и ненавистное мне рабство тотчас возродится, под тем или иным именем, ибо ваш закон содержит свои счетные книги в ажуре, а слабому нечем расплатиться, кроме собственной шкуры».

Его широкая ладонь дрожала на моей руке, и слезы, которые я, казалось, видел в его глазах, как бы постепенно впитывались этим взглядом, по-прежнему не отпускавшим мой. Я не мог плакать. Незаметно для меня стемнело, и я уже едва различал его окаменевшее лицо, столь же благородное, столь же чистое, столь же мирное, как лицо усопшего. И тут как раз послышался первый удар колокола, призывавший к вечерне, он прозвучал с какой-то головокружительной небесной высоты, точно с вершины ночи.

Вчера был в Бланжермоне у г-на благочинного, который — весьма по-отечески, но нескончаемо долго — беседовал со мной о том, что молодому священнику следует относиться внимательно к своим счетам.

— Главное — никаких долгов, этого я не допущу! — заключил он.

Я был, признаться, несколько удивлен и глупейшим образом уже встал, чтобы откланяться. Он, однако, просил меня сесть (счел, по-видимому, что я рассердился); в конце концов я понял, что г-жа Памир пожаловалась на задержку платы по своему счету (за хинную водку). Вдобавок я якобы задолжал пятьдесят три франка мяснику Жофрену и сто восемнадцать торговцу углем Делакуру.

Г-н Делакур — генеральный советник. Последние двое, впрочем, ни на что не жаловались, и г-н благочинный вынужден был признаться, что и эти сведения исходят от г-жи Памир. Она не может мне простить, что я беру бакалейные товары у Камю, человека нездешнего, чья дочь, по слухам, недавно развелась с мужем. Мой патрон сам первый смеется над подобными сплетнями, считая их нелепыми, но когда я сказал, что ноги моей больше не будет у г-на Памира, несколько рассердился. Он напомнил мне о моих высказываниях на одной из наших ежеквартальных конференций у вершокского кюре, где сам он не присутствовал. Я якобы позволил себе выражения, на его взгляд слишком резкие, говоря о торговле и торговцах.

— Запомните хорошенько, дитя мое, слова молодого священника, такого неопытного, как вы, никогда не будут пропущены мимо ушей старшими, ведь их долг — составить ясное представление о новом собрате. В ваши годы следует быть сдержаннее на язык. В таком узком, замкнутом кругу, как наш, нет ничего законней взаимного контроля, и было бы дурно, если бы вы затаили на это обиду в сердце. Порядочность в торговле, конечно, теперь уж не та, что прежде,

наши лучшие семьи проявляют по этой части небрежение, достойное всяческого порицания. Но у грозного Кризиса, следует признать, есть свои суровые законы. Я еще знавал времена, когда эта трудолюбивая, бережливая буржуазия, которая и по сю пору является залогом богатства и величия нашей дорогой отчизны, почти поголовно подпала под влияние злокозненной прессы. Сейчас, почувствовав угрозу плодам своих трудов со стороны всяких смутьянов, она осознала, что эпоха многообещающих иллюзий миновала, что у общества нет опоры более крепкой, чем церковь. Разве право собственности не записано в Евангелии? О, разумеется, это дело тонкое, и вы, как духовный наставник, должны обращать их внимание на обязанности, соответствующие этому праву, но тем не менее… Из-за своих физических недомоганий я стал ужасно нервным. Мне не удалось сдержать слова, которые сами рвались с уст, хуже того, я произнес их дрожащим голосом, тоном, изумившим меня самого:

— Не так-то часто слышишь на исповеди покаяние в незаконных доходах!

Господин благочинный посмотрел мне в глаза, я твердо выдержал этот взгляд. Я думал о торсийском кюре. Но, как бы там ни было, возмущение,

даже законное, слишком уж сомнительное движение души, чтобы священник имел право ему поддаться. Да я и сам чувствую что-то не то в своем гневе, когда мне приходится говорить о богаче — о настоящем богаче, богаче по духу, единственном подлинном богаче, пусть у него в кармане и не больше одного денье, — о денежном человеке, как они выражаются… Денежный человек!

— Ваше замечание удивляет меня, — сказал г-н благочинный сухо. — Мне кажется, я слышу в нем какую-то злопамятность, ожесточение… Дитя мое, продолжал он несколько мягче, — боюсь, как бы былые школьные успехи не сообщили вашему уму ложного направления. Мир не семинария. Жизнь в семинарии — это не жизнь. Немного было бы нужно, без сомнения, чтобы сделать из вас интеллигента, то есть бунтаря, человека, систематически оспаривающего социальную иерархию, которая зиждется вовсе не на уме. Избави нас боже от реформаторов!

— Господин благочинный, многие из святых тем не менее ими были.

— Избави нас боже также от святых! Не спорьте, это, впрочем, всего лишь шутка, но сначала выслушайте меня. Вам отлично известно, что церковь канонизирует только очень немногих,

из ряда вон выходящих праведников, чьи уроки и героический пример, пропущенные сквозь сито тщательной проверки, составляют общую сокровищницу верующих, хотя при этом, заметьте, последним отнюдь не дозволяется бесконтрольно черпать из этой сокровищницы. Отсюда вытекает, что, как бы глубоко мы ни почитали этих выдающихся людей, они подобны драгоценным винам, которые требуют долгой выдержки и стоят неимоверных трудов и забот виноградарю, меж тем как усладить ими свое нёбо смогут лишь его правнуки… Я шучу, разумеется. Вы могли заметить, однако, что бог как бы опасается умножить среди нас, мирян его регулярного воинства, если будет мне позволено так выразиться, число святых, с их чудесами и подвигами, сверхъестественных искателей приключений, наводящих подчас дрожь на регулярные кадры церковной иерархии. Разве арский кюре не исключение? Разве не ничтожна пропорция причисленных к лику святых среди почтенного множества безупречных, ревностных священнослужителей, вкладывающих все силы в отправление своих изнурительных обязанностей? Но кто осмелится при этом утверждать, что жизнь, исполненная героических добродетелей, — привилегия мона-

хов, если даже не простых мирян?

Понимаете ли вы теперь, что в известном смысле и со всеми оговорками относительно несколько неуважительного, парадоксального характера такого рода шутки я имел право сказать: избави нас боже от святых? Слишком часто они были испытанием для церкви, прежде чем стать ее славой. Я уж не говорю о святых неудавшихся, несовершенных, которых хоть пруд пруди вокруг истинных святых, как медной мелочи в кармане, — от них, как от больших грошовых монет, куда больше тяжести, чем проку! Какой пастырь, какой епископ пожелал бы командовать подобным воинством? Пусть они даже преисполнены духа покорности! Какой толк? Что бы они ни делали, их высказывания, их поведение, само их молчание всегда рискует оказаться соблазном для людей посредственных, слабых, теплых. О, я знаю, вы ответите мне, что Господь извергнул из уст своих тех, кто тепл. А кто, собственно, тепл? Этого мы не знаем. Можем ли мы быть уверены, что определяем этот тип людей так же, как Он? Отнюдь нет. С другой стороны, у церкви есть свои нужды, скажем прямо она нуждается в деньгах. Эта потребность существует, вы не можете со мной не согласиться, и нечего тут краснеть.

Церковь обладает телом и душой: она должна обеспечивать нужды тела. Здравомыслящий человек не стесняется того, что он должен есть. Будем же смотреть на вещи трезво. Мы сейчас говорили о торговцах. От кого государство получает львиную долю своих доходов? Не от этой ли как раз мелкой буржуазии, алчной до денег, неумолимой по отношению к бедняку, как и по отношению к себе самой, бережливой до одури? Современное общество — ее создание.

Разумеется, никто не требует, чтобы вы поступались принципами, ни в одной епархии, насколько мне известно, уча закону божьему, не вносят никаких изменений в четвертую заповедь. Но разве можем мы совать нос в счетные книги? Более или менее послушные нашим урокам, когда дело идет, к примеру, о заблуждениях плоти, в которых их мирская мудрость видит беспорядок, пустое расточительство, — хотя, впрочем, она не подымается многим выше страха перед риском или расходом, — эти труженики рассматривают то, что они именуют своими делами, как частное владение, где все освящено их трудом, ибо они исповедуют религию труда. Каждый за себя — вот их правило. И тут мы не властны, понадобится немало времени, века, быть может, чтобы разру-

шить предрассудок, видящий в коммерции своего рода войну и требующий для нее тех же привилегий, той же терпимости. Солдат на поле брани не считает себя убийцей. Точно так же и негоциант, извлекающий из своего труда ростовщическую прибыль, отнюдь не видит в себе вора, ибо знает, что не способен вытащить десять су из чужого кармана. Ничего не поделаешь, дорогое мое дитя, люди остаются людьми! Если бы какой-нибудь из этих торговцев решил следовать буквально евангельским предписаниям относительно законного дохода, банкротство было бы ему обеспечено.

Можем ли мы стремиться к тому, чтобы отбросить в Ряды низшего класса этих трудолюбивых граждан, которым стоило таких усилий выбиться в люди и которые являются нашей лучшей опорой в материалистическом обществе? Ведь именно они берут на себя часть расходов церкви и поставляют нам кадры духовенства, в то время как источник рекрутирования священнослужителей в наших деревнях почти иссяк. От крупной индустрии уже осталось одно только название — ее поглотили банки, аристократия вымирает, пролетариат ускользает от нас, так неужели вы предложите средним классам немедленно, с маху разрешить проблему совести, требующую долго-

го труда, меры, такта. И разве рабство не больше оскорбляло Закон Господа нашего? Тем не менее апостолы… В вашем возрасте человек склонен к безапелляционным приговорам. Опасайтесь этой наклонности. Не предавайтесь абстрактному умствованию, не теряйте из виду конкретных людей. Вот, кстати, возьмите для примера хотя бы ту же семью Памир, она отлично иллюстрирует только что изложенную мною концепцию. Дед был простым рабочим, каменщиком, известным антиклерикалом, даже социалистом. Наш достопочтенный собрат, безанкурский кюре, еще помнит, как этот Памир спустил штаны на пороге своего дома, когда мимо шел крестный ход. Вскоре он купил небольшую торговлю винами и ликерами, заведение довольно сомнительное. Два года спустя его сын, окончивший муниципальный коллеж, породнился с хорошей семьей, с Делакруа, племянник которых был приходским священником где-то неподалеку от Брожлон. Дочь, женщина весьма расторопная, открыла бакалейную лавку. Старик, естественно, стал ею заниматься, круглый год он колесил по дорогам в своей двуколке. И именно на его средства внуки обучались в пансионе епархиального коллежа в Монтре. Ему льстило, что они там дружат с

детьми дворян, он давно уже забыл, впрочем, о социализме, служащие боялись его как огня. В двадцать два года Луи Памир женился на дочери нотариуса Деливоля, доверенного его преосвященства; Арсен занимается магазином, Шарль обучается в Лилле на медицинском факультете, а самый младший, Адольф, в аррaской семинарии. Всем известно, что эти люди сами не боятся работы, однако иметь с ними дело не легко, они выжали весь кантон. Ну и что! Они нас обворовывают, но зато и уважают. Это создает между ними и нами своего рода социальную солидарность, о которой можно сожалеть или не сожалеть, но которая существует, а все, что существует, должно быть использовано во благо.

Он умолк, немного раскрасневшись. Мне всегда трудно следить за такого рода речами, мое внимание быстро утомляется, если тайная симпатия не позволяет мне страстно опережать мысль собеседника, и я, как выражались прежние преподаватели, начинаю «плестись в хвосте»... Как справедливо народное выражение «слова, которые камнем ложатся на сердце»! То, что я выслушал, окаменело в моей груди, и я чувствовал, что одна только молитва еще может растопить эту ледяную глыбу.

— Я, наверно, говорил с вами слишком резко, — продолжал г-н бланжермонский благочинный, — но для вашего же блага. Когда вы поживете подольше, вы это поймете. Но нужно жить.

— Нужно жить, это ужасно! — ответил я, не подумав. — Вы не согласны?

Я ждал взрыва, потому что сказал это голосом, которым говорю в дурные часы. Я сам хорошо знаю этот голос — «голос твоего отца», как выражалась мама… На днях я слышал, как бродяга отвечал деревенскому полицейскому, требовавшему у него бумаги: «Бумаги? Откуда я их возьму? Я сын неизвестного солдата!» У него был голос вроде этого.

Господин благочинный только окинул меня долгим пристальным взглядом.

— Вы, похоже, поэт (он произносит «поат»). К счастью, с двумя деревнями, приписанными к вашему приходу, работы у вас будет выше головы. Работа все наладит.

Вчера вечером мне недостало мужества. Мне хотелось подвести итог этой беседе. Зачем? Я, ясное дело, не могу не принимать во внимание характер г-на благочинного, очевидное удовольствие, которое он получает, противореча мне, меня унижая. Он в прошлом показал себя

ревностным гонителем молодых священников-демократов и, нет сомнения, причисляет меня к ним. Ошибка вполне извинительная, в общем. Крайне скромное происхождение, нищее, обездоленное детство, все более и более ощущаемая мною самим диспропорция между весьма небрежным, с большими пробелами, образование ем, которое я получил, и некой чувствительностью ума, позволяющей о многом догадываться, сделали из меня человека по натуре не слишком дисциплинированного, а вышестоящие имеют все основания опасаться этой разновидности. Кем стал бы я, если бы… Чувства, испытываемые мною по отношению к тому, что именуется обществом, довольно, впрочем, смутны до сих пор… Несмотря на то что я сын людей бедных, — а может, именно поэтому, как знать? — я понимаю по-настоящему только превосходство породы, крови. Признайся я в этом, меня бы высмеяли. Мне кажется, например, что я с радостью служил бы истинному господину государю, королю. Можно соединить ладони и вложить свои руки в руки другого человека, поклявшись ему в вассальной верности, но никому не взбредет на ум совершить этот обряд у ног какого-нибудь миллионера, потому что с милли-

онером это выглядело бы по-идиотски. Понятия богатства и могущества до сих пор не могут для меня слиться, первое все еще остается отвлеченным. Я понимаю, легче легкого сказать в ответ на мои рассуждения, что среди сеньоров прошлого многие были обязаны своим феодом денежному мешку ростовщика-отца, но, в конце концов, был ли феод завоеван мечом или нет, охранять его приходилось мечом, как собственную жизнь, ибо человек и феод сливались воедино, даже имя носили одно… И разве не по этому таинственному знаку узнавали друг друга цари? А царь в нашем Священном писании ничем не отличается от пророка. Конечно, миллионер располагает в недрах своих сейфов большим числом жизней человеческих, чем любой монарх, но его могущество подобно идолам — оно слепо и глухо. Оно способно убивать, вот и все, даже не ведая, что убивает. Не такова ли привилегия бесов?

(Мне иногда кажется, что Сатана, когда он пытается овладеть мыслью Бога, не просто ненавидит ее, не понимая, но понимает навыворот. Он невольно устремляется против течения жизни, вместо того чтобы отдаться ему, и истощает свои силы в бесплодных, ужасающих потугах вывернуть наизнанку каждое из дел Творения.)

Гувернантка зашла сегодня утром ко мне в ризницу. Мы долго беседовали о м-ль Шанталь. Молодая девушка якобы все больше и больше ожесточается, ее пребывание в замке стало невыносимым, и следовало бы отдать ее в пансион. Но г-жа графиня, очевидно, еще не решается на подобную меру. Я понял, что от меня ждут, чтобы я склонил ее к этому, и мне предстоит отужинать в замке на будущей неделе.

Мадемуазель явно чего-то недоговаривает. Несколько раз она смотрела мне в глаза с неприятной настойчивостью, губы у нее дрожали. Я проводил ее до дверцы, выходящей на кладбище. Уже на пороге прерывающимся голосом, торопливо, точно стараясь поскорей отделаться от унизительного признания так говорят в исповедальне, — она стала извиняться, что прибегает ко мне в таких опасных, таких деликатных обстоятельствах.

— Шанталь натура пылкая, странная. Не думаю, чтобы она была порочной. У молодых особ ее возраста безудержное воображение. Я, впрочем, долго колебалась, прежде чем предостеречь вас против девочки, которую люблю и жалею, но она способна на весьма необдуманные поступки. Случись такое, вы человек в приходе новый, вам

ни к чему, даже рискованно, поддавшись вашему великодушию, вашему милосердию, как бы вызвать ее тем самым на признанья… Господин граф этого не потерпел бы, — добавила она тоном, который мне не понравился.

Разумеется, у меня нет никаких оснований подозревать ее в предвзятости, несправедливости, и когда я попрощался с нею нарочито холодно, не протянув даже руки, у нее в глазах стояли слезы, настоящие слезы. Впрочем, манеры м-ль Шанталь мне отнюдь не по вкусу, в ее лице есть та черствость, та жестокость, с которой я нередко, увы, сталкиваюсь и у многих молодых крестьянок и в секрет которой до сих пор не проник, вероятно, никогда не проникну, ибо даже на смертном одре они позволяют догадаться лишь о немногом. Мальчики совсем иные! Я не склонен думать, что они кощунствуют, исповедуясь в такой момент, нет, умирающие, о которых я говорю, вполне искренне раскаивались в своих грехах. Но лишь по ту сторону мрачного перехода на их бедных дорогих лицах вновь проступало выражение безмятежного детства (такого, однако, недавнего!), какая-то доверчивость, восторженность, чистая улыбка… Демон похоти — немой демон.

Не в том суть. Я ничего не могу с собой поделать

— хлопоты мадемуазель мне чем-то подозрительны. Я недостаточно опытен, авторитетен, чтобы вмешиваться в семейные дела такого деликатного свойства, и было бы куда разумнее держать меня от них в стороне. А если уж сочли нужным мое вмешательство, что значит этот запрет, это нежелание, чтобы я вынес обо всем свое собственное суждение? «Господин граф этого не потерпел бы…» Вот уж чего не следовало говорить.

Вчера получил опять письмо от своего друга, короткую записку. Он просит, чтобы я соблаговолил отложить на несколько дней поездку в Лилль, поскольку ему самому необходимо съездить по делам в Париж. В конце он пишет: «Ты, очевидно, давно уже понял, что я, как говорится, расстался с сутаной. Сердце мое, однако, не изменилось. Оно лишь открылось для более человеческого и, следовательно, более великодушного восприятия жизни. Я зарабатываю на жизнь — это великое слово, великое дело. Зарабатывать на жизнь! Привыкнув с семинарских лет получать от вышестоящих, подобно подаянию, хлеб насущный или миску гороха, мы остаемся до самой смерти школьниками, детьми. Я пребывал, как, вероятно, пребываешь и по сей день ты, в полном неведении собственной социальной ценности. Я

едва осмелился бы предложить свои услуги для выполнения самых скромных обязанностей. А между тем, хотя дурное здоровье и не позволяет мне предпринять всех необходимых шагов, я получил немало очень лестных предложений, так что, когда придет время, я должен буду выбирать между полудюжиной мест, весьма высоко оплачиваемых. Возможно даже, что в твой ближайший визит я буду иметь удовольствие и честь принять тебя в приличной обстановке, хотя пока наше жилище из самых скромных…»

Я хорошо понимаю, что все это — ребячество, и мне следовало бы просто пожать плечами. Но я не могу. Есть некая разновидность глупости, некий оттенок глупости, в котором я с первого взгляда узнаю, испытывая чувство глубочайшего унижения, священническую гордыню, вовсе не связанную с таинствами, — гордыню вздорную, заплесневелую. До чего же мы беспомощны перед жизнью, перед людьми! Какая все это нелепая детская чепуха!

А между тем мой бывший товарищ считался одним из лучших учеников в семинарии, из самых одаренных. Он не лишен был даже какого-то раннего, несколько ироничного, знания людей и довольно здраво судил о некоторых из наших

преподавателей. Почему же он теперь пытается выставить себя передо мной, прибегая к такому жалкому бахвальству, цену которому, как я думаю, и сам отлично понимает? Подобно многим другим, он кончит какой-нибудь конторой, где его дурной характер и болезненная обидчивость насторожат сослуживцев и где у него, как бы тщательно он ни скрывал свое прошлое, вряд ли появится много друзей.

Мы дорого, очень дорого платим за ниспосланное свыше достоинство своего призвания. От высокого до смешного всегда один шаг! И мир, обычно столь снисходительный к смешному в людях, в нас смешное ненавидит инстинктивно. Уже женская глупость достаточно раздражает, но глупость в священнике злит еще больше, чем женская, впрочем, подчас она кажется каким-то таинственным отростком этой последней. Неприязнь множества бедных людей к духовенству, их глубокая антипатия, возможно, объясняется не одним только, более или менее сознательным бунтом желаний против Закона и тех, кто его олицетворяет, как стараются нам внушить… К чему это отрицать? Чтобы испытывать отвращение к уродству, вовсе не обязательно иметь ясное представление о Прекрасном. Посредственный

священник — уродлив.

Я говорю не о дурном священнике. Вернее, дурен именно посредственный священник. Иной же просто чудовище. Чудовищность не поддается общим меркам. Кто может знать, каковы намерения Бога в отношении чудовища? Зачем оно создано? Каково сверхъестественное значение подобной немилости? Я, например, как ни стараюсь, не могу поверить, что Иуда принадлежит миру — тому миру, которому Иисус таинственно отказал в своей молитве… Нет, Иуда не от мира сего…

Я убежден, что мой бедный друг не заслуживает названия дурного священника. Я даже предполагаю, что он искренне привязан к своей подруге, я ведь знал его когда-то как человека чувствительного. Посредственный священник — увы! — почти всегда таков. Быть может, даже порок нам менее опасен, чем своего рода слюнявость. Бывает размягчение мозга. Размягчение сердца страшнее.

Возвращаясь сегодня поутру полями из деревни, приписанной к моему приходу, я заметил г-на графа, который пускал по следу своих собак у опушки Линьерского леса. Он издали приветствовал меня, но, казалось, был не слишком

расположен вступать со мной в беседу. Думаю, что он так или иначе узнал о хлопотах мадемуазель. Мне следует вести себя крайне сдержанно, осмотрительно.

Вчера — исповеди. От трех до пяти — дети. Я начал, естественно, с мальчиков.

Как Господь наш любит их, этих малюток! Всякий другой, не священник, задремал бы на моем месте под их монотонное жужжание, слишком часто похожее на повторение фраз из Наставления к исповеди, затверженных наизусть… А вздумай он разобраться, задай тот или иной вопрос, просто полюбопытствуй, полагаю, ему было бы не избежать чувства отвращения. Кажется, что скотское в них так и прет наружу! И тем не менее!

Что знаем мы о грехе? Геологи говорят нам, что земля, на вид такая твердая, такая прочная, в самом деле всего лишь тонкая пленка на океане жидкого огня и непрерывно содрогается, подобно пеночке, которая образуется на молоке, когда оно закипает… Какую толщину имеет грех? На какую глубину нужно рыть, чтобы дойти до лазурной бездны?..

Я серьезно болен. Вчера я внезапно это понял, меня словно озарило. Время, когда я еще не знал

этой неотвязной боли, которая иногда как будто слабеет, но никогда не разжимает окончательно своих тисков, мне вдруг показалось ужасно далеким, отступившим в почти головокружительное прошлое, отступившим едва ли не в самое детство… Вот уже полгода, как я почувствовал первые приступы моего недуга, и мне с трудом припоминаются дни, когда я ел и пил как все люди. Плохой признак.

Однако острые приступы прекратились. Острых приступов больше нет. Я сознательно исключил из своего рациона мясо, овощи, питаюсь только хлебом, смоченным в вине, очень понемногу, всякий раз, как почувствую, что мне нехорошо. Впрочем, пост мне на пользу. Голова ясная, и сил больше, чем три недели назад, гораздо больше.

Никого уже не волнуют теперь мои приступы дурноты. По правде говоря, я начинаю и сам привыкать к своей печальной физиономии, которой уж некуда дальше худеть, но которая тем не менее — необъяснимо — сохраняет молодой не смею сказать, здоровый — вид. В моем возрасте лицо не разрушается, кожа, натянутая на кости, остается эластичной. Спасибо и на этом!

Перечитываю эти строки, написанные вчера: я провел хорошую ночь, она меня освежила, я по-

лон бодрости, надежды. Это ответ Провидения на мои иеремиады, мягкий упрек. Я часто замечал — или думал, что улавливаю, — эту затаенную иронию (не нахожу, к сожалению, более точного слова). Можно сказать, пожатие плеч матери, следящей за неумелыми шагами своего малого дитяти. Ах, если бы мы умели молиться!

Госпожа графиня стала отвечать на мой поклон кивком головы, очень холодно, отчужденно.

Сегодня был у доктора Дельбанда, старого врача, который прослыл мужланом и растерял клиентуру из-за нескончаемых насмешек коллег над его плисовыми штанами и смазными сапогами, воняющими салом. Торсийский кюре предупредил его о моем визите. Доктор уложил меня на диван и долго ощупывал мой живот своими длинными руками, и в самом деле далеко не чистыми (он только вернулся с охоты). Пока он осматривал меня, большой пес, лежавший у порога, следил за каждым его движением с поразительным, обожающим вниманием.

— Никуда вы не годитесь, — сказал он мне. — Достаточно на вас взглянуть (он, казалось, брал в свидетели своего пса), чтобы понять, что вы далеко не всегда ели досыта, а?..

— Раньше, возможно, — ответил я. — Но сей-

час...

— Сейчас слишком поздно! Ну, а алкоголь, что прикажете делать с алкоголем? Да нет, не с тем, что вы сами выпили, конечно, с тем, что выпили до вас, задолго до того, как вы появились на свет. Зайдите ко мне недели через две, я дам вам записку к профессору Лавиню, в Лилль.

Господи, я отлично знаю, что наследственность лежит тяжким бременем на таких плечах, как мои, и тем не менее слово «алкоголизм» режет ухо. Одеваясь, я взглянул на себя в зеркало, и моя печальная физиономия, с каждым днем все более желтая, с ее длинным носом, глубокими складками, опускающимися к углам губ с выбритой, но такой жесткой щетиной, что с ней не управляется плохая бритва, показалась мне вдруг мерзкой.

Вероятно, доктор поймал мой взгляд, так как он рассмеялся. Пес в ответ принялся лаять, потом весело запрыгал. «Лежать, Фокс! Лежать, грязная скотина!» В конце концов мы пошли на кухню. Весь этот кавардак вернул мне мужество, не знаю уж почему. В высоком очаге пылали, как стог сена, вязанки хвороста.

— Когда вам будет невмоготу, заглядывайте ко мне. Такое я, поверьте, говорю далеко не каждому. Но торсийский кюре рассказывал мне о вас, и

ваши глаза мне нравятся. Верные глаза, собачьи. У меня тоже собачьи глаза. Это редкость. Торси, вы и я — мы одной породы, чудной породы.

Идея, что я принадлежу к той же породе, что эти солидные мужчины, никогда, конечно, не пришла бы мне в голову. Однако я понял, что он не шутит.

— К какой такой породе? — спросил я.

— Той, что крепко на ногах стоит. А почему она стоит? Вот этого-то как раз никто и не знает. Вы мне скажете: божья благодать? Но только я, друг мой, в Бога не верую. Подождите! Не спешите отбарабанить мне ваш урок, я его сам наизусть знаю: «Дух дышит, где хочет, я принадлежу душе церкви». Чушь. Ну почему нужно стоять, а не сидеть или лежать? Заметьте, что физиологические объяснения тоже никуда не годятся. Невозможно подтвердить фактами гипотезу физического к этому предрасположения. Атлеты, как правило, мирные граждане, конформисты дальше некуда и признают только те усилия, которые оплачиваются, — отнюдь не наши. Ясное дело, рай вы придумали. Но я как раз на днях сказал Торси: «Признай, что ты все равно выстоял бы — есть там рай или нет». Впрочем, между нами, в ваш рай ведь попадут все, а? Рабочие, которые вка-

лывают сверхурочно, разве нет? Или я, который перерабатывал лишку — я говорю, перерабатывал лишку, как говорят хватил лишку, — вот я и спрашиваю себя: может, мы просто гордецы?

Он хохотал, но слышать его смех было тягостно, и, казалось, пес почувствовал это, как и я: он вдруг перестал скакать по кухне и смиренно улегся на пол, подняв на хозяина спокойный, внимательный взгляд, взгляд как бы отрешившийся от всего, даже от смутной надежды понять эту боль, хотя она и отдавалась в самой глубине его нутра, в каждой жилке его бедного собачьего тела. Он уткнулся носом в скрещенные лапы, подрагивая ресницами, по его длинному хребту пробегала странная дрожь, он тихонько рычал, словно чуя приближение врага.

— Я хотел бы прежде понять, что вы имеете в виду под стоянием?

— Это долгий разговор. Ну, скажем, чтобы быть покороче, что вертикальная позиция положена только сильным мира сего. Прежде чем встать в эту позицию, человек рассудительный ждет, пока он обретет силу, силу или ее знак — власть, деньги. А я не ждал. Когда я был в третьем классе, ректор коллежа в Монтре как-то в пост, предлагая нам духовные упражнения, потребовал,

чтобы каждый из нас выбрал свой девиз. Знаете, какой взял я? «Устоять». Устоять перед чем — спрашиваю я вас, и это — тринадцатилетний мальчишка!..

— Может, несправедливость.

— Несправедливость? Да и нет. Я не из тех, кто только и талдычит о справедливости: прежде всего, я, честное слово, не требую ее для себя. От кого, черт побери, могу я ее требовать, если я не верую в Бога? Страдать от несправедливости — удел смертного. Да вот, возьмите, с тех пор как мои коллеги распустили слух, что я не имею никакого представления об антисептике, все мои клиенты дали деру, я лечу теперь только банду пентюхов, которые расплачиваются со мной корзиной картошки или какой-нибудь птицей и вдобавок еще считают меня идиотом. В известном смысле эти хамы — жертвы богачей. Но знаете, аббат, по-моему, они того же поля ягоды, что и их угнетатели, они не большего стоят. В ожидании, пока они сами смогут угнетать, они обдирают меня. Все же…

Он почесал голову, незаметно бросил на меня косой взгляд. Я хорошо видел, что он покраснел. Это смущение сделало его старое лицо прекрасным.

— Все же одно дело страдать от несправедливо-

сти, другое — терпеть ее. Они ее терпят. Она их унижает. Мне это невыносимо. Тут ничего нельзя поделать, ты себе не хозяин, правда? Когда я сижу у постели какого-нибудь бедняги, который не хочет спокойно умереть — такое редко бывает, но случается время от времени, — моя проклятая натура берет верх, мне хочется сказать ему: «Да оторвись ты от всего этого, олух! Я покажу тебе, как это сделать чисто». Гордыня, да, вечная гордыня! В известном смысле, мой милый, я вовсе не друг бедных, роль ньюфаундленда мне отнюдь не по вкусу. Я предпочел бы, чтобы они выпутывались без меня, чтобы они выпутывались с помощью сильных мира сего. Но где там! Они мне все портят, из-за них я стыжусь своего ремесла. Заметьте, чувствовать себя солидарным с кучей дурней, которые, говоря языком медицины, отбросы человеческие, — невелика радость. Может, тут все дело в крови? Я кельт, кельт с головы до ног, а кельты раса жертвенная. У нас в крови страсть к делам обреченным! Я, впрочем, считаю, что человечество делится на две разновидности, в зависимости от своего представления о справедливости. Для одних она равновесие, компромисс. Для других…

— Для других, — прервал его я, — справед-

ливость — торжество любви к ближнему, ее триумфальное пришествие.

Доктор устремил на меня долгий взгляд, в котором было удивленье, сомненье, мне стало очень не по себе от этого взгляда. Думаю, ему не понравились мои слова. И в самом деле, это были только слова.

— Триумфальное! Триумфальное! Хорош триумф, мой мальчик. Вы ответите мне, что царство божие не от мира сего? Согласен. А если все-таки слегка подтолкнуть стрелку часов? Я ведь упрекаю вас, церковнослужителей, не в том, что еще есть бедные, отнюдь нет. Я даже уступаю вам лучшую часть и готов согласиться, что забота о их пропитании, одежде, лечении, подтирке лежит на старой рабочей скотине, вроде меня. Чего я вам не прощаю, коль скоро вам поручено опекать их, так это того, что вы отдаете их в наши руки такими грязными. Понимаете? После двадцати столетий христианства, разрази меня бог, люди не должны были бы стыдиться бедности. Или вы его предали, вашего Христа! Вот чего я не могу понять. К чертям собачьим! Вы располагаете всем необходимым, чтобы унизить богатого, поставить его на место. Богатый жаждет знаков благоговения, чем он богаче, тем сильнее эта жажда. Если

бы вам хоть достало мужества отправить богачей в последний ряд, поближе к кропильнице или даже на паперть, — почему бы нет? — это заставило бы их призадуматься. Они бы все, как один, косились в сторону скамьи для бедных, я их знаю. Повсюду — первые, а здесь, у Господа нашего, — последние, представляете? Нет, я отлично знаю, что это не легко. Если правда, что бедный — образ и подобие Иисуса Христа, — сам Иисус, — обидно возвести его на почетное место, лицом ко всем, — лицо-то осмеянное, и вам за две тысячи лет не удалось стереть с него плевки. Ибо социальный вопрос — это в первую очередь вопрос чести. И отверженных порождает именно несправедливое унижение бедняка. Никто не требует от вас, чтобы вы откармливали людей, которые, впрочем, утратили на протяжении многих поколений способность жиреть и скорее всего так и остались бы тощими, как кукушки. И пусть даже, на худой конец, приличия ради, были бы отвергнуты паяцы, лодыри, пьяницы — короче, элементы явно компрометирующие. Но ведь бедняк, настоящий бедняк, честный бедняк, сам тащится на последнюю скамью в доме божьем — в своем доме, и никогда еще не было видано, чтобы привратник, разукрашенный, как

катафалк, пришел бы за ним в задние ряды, чтобы сопроводить его на хоры, оказывая ему знаки почтения, как Князю — Князю христианской крови. Самая мысль о чем-либо подобном вызывает обычно смех у ваших собратьев, — пустяки, суета. Но какого же черта они тогда расточают почести сильным мира сего, которые ими упиваются? И если церковь считает все это смешным, почему заставляет так дорого за это платить? «Нас подымут на смех, — говорит она, — какой-нибудь хам в отрепьях, восседающий на хорах, да это покажется всем нелепым фарсом». Ладно! Но как вы с ним поступаете, с этим хамом, когда он сменит свое тряпье на сосновый ящик, когда вы уже можете быть спокойны, совершенно спокойны, что он больше не сморкнется в пальцы, не харкнет на ваш ковер? Не отвечайте! Мне плевать, что я прослыву дураком, правда на моей стороне, сам папа не заставит меня отступиться. И то, о чем я говорил сейчас, мой мальчик, ваши святые делали, значит, не так уж это глупо. На коленях перед нищим, убогим, прокаженным вот как изображают ваших святых. Чудная, право, армия — капралы считают достаточным походя похлопать по плечу в знак снисходительного благорасположения гостя королевской крови, у

ног которого простираются маршалы!

Он умолк, несколько смущенный моим молчанием. Опыт у меня, конечно, не велик, но, полагаю, я сразу улавливаю некую интонацию — ту, что выдает глубокую душевную рану. Возможно, другие сумели бы в такой момент найти нужное слово, утишающее боль. Я таких слов не знаю. На мой взгляд, истинная боль, рвущаяся из человека, прежде всего — достояние бога. Я пытаюсь смиренно принять ее в свое сердце, такой, как она есть, стараюсь взять ее на себя, полюбить, как свою. И я понимаю весь сокровенный смысл опошленного выражения «разделить с...», ибо поистине я разделяю эту боль.

Пес подошел и положил голову ему на колени.

(Вот уже два дня я упрекаю себя в том, что не ответил на эту обвинительную речь, и, однако, в глубине души не могу поставить себе этого в вину. Впрочем, что мог я бы сказать? Я не посол бога философов, я служитель Иисуса Христа, и слова, которые могли бы прийти мне на уста, боюсь, были бы доводами, пусть и сильными, но все же настолько слабыми, что, давно меня убедив, они так и не смягчили мою собственную боль.)

И несть мира, как в Иисусе Христе.

Первая часть моей программы начинает осу-

ществляться. Я решил посещать раз в квартал, не реже, каждую семью. В епархии относятся к этому плану как к вздорной затее, мне и правда трудно будет справиться со всем, взятым на себя, поскольку я прежде всего должен неукоснительно выполнять свои обязанности. Люди, считающие себя вправе судить нас издалека, из своих комфортабельных кабинетов, где они ежедневно делают одно и то же, даже вообразить себе не могут, насколько беспорядочна, «разбросанна» наша повседневная жизнь. Нас едва хватает на то, чтобы управиться с обычными делами — теми, досконального отправление которых позволяет вышестоящим сказать: вот приход, содержимый должным образом. Остается еще непредусмотренное. И непредусмотренное тоже не терпит небрежения! Там ли я, где пожелал Господь? Вот вопрос, который я задаю себе двадцать раз на день. Ибо Господин, которому мы служим, не только судит нашу жизнь, но и разделяет ее, претерпевает. Куда легче было бы угодить Богу-геометру и моралисту.

Я объявил сегодня утром после воскресной обедни, что молодые спортсмены прихода, желающие создать команду, могут собраться в доме священника после вечерни. Это решение я при-

нял не вдруг, все было обдумано, я тщательно отметил в своих списках имена возможных членов — человек пятнадцать, по меньшей мере — десять.

Господин этишанский кюре походатайствовал перед г-ном графом (он в замке свой человек). Г-н граф в участке не отказал, но он желает сдать его в аренду на пять лет с оплатой погодно (300 франков). По истечении срока арендного договора, если не будет нового соглашения, вышеупомянутый участок возвращается к нему, причем все, что будет там выстроено и оборудовано, переходит в его собственность. В сущности, он не верит в успех моего начинания, и весь этот недостойный торг, вовсе не соответствующий ни его положению, ни его характеру, затеян, как мне кажется, чтобы отбить у меня охоту заниматься этим делом. Г-н граф сказал этишанскому кюре довольно жестко, что «некоторые чересчур пылкие добрые намерения опасны для всех, что не по нему брать на себя обязательства в отношении воздушных замков, что мне прежде следовало бы доказать свою способность двигаться, делая какие-то шаги, и что он хотел бы возможно скорее увидеть воочию моих, как он выразился, пентюхов в свитерах…».

Записавшихся всего четверо — не густо! Я не знал, что существует Спортивное общество в Эклене, щедро поддерживаемое владельцем обувной фабрики г-ном Вернем, который дает работу населению семи общин. Правда, до Эклена двенадцать километров. Но парни из нашей деревни легко преодолевают это расстояние на своих велосипедах.

В конечном итоге мы все-таки обменялись несколькими интересными мыслями. Мне кажется, парни погрубее, любители потанцевать и поволочиться за девушками, не принимают в свою компанию этих бедных молодых людей. Как хорошо сказал Сюльпис Митонне, сын моего бывшего звонаря, «от кафе только вред здоровью и расход карману». В ожидании лучших времен мы, поскольку нас пока слишком мало, ограничились решением создать скромный кружок самообразования и оборудовать комнату для игр и чтения, выписав несколько журналов.

Я никогда не обращал особого внимания на Сюльписа Митонне. Здоровье у него хрупкое, он только что отбыл воинскую повинность (после двух отсрочек). Теперь он кое-как малярит и слывет лентяем.

Я думаю, он больше всего страдает от грубости

той среды, в которой вынужден жить. Как и многие, он мечтает получить место в городе, возлагая надежду на свой красивый почерк. Увы! Грубость больших городов хоть и другого рода, но, как мне кажется, ничуть не менее опасна. Она, пожалуй, еще более коварна, еще более заразительна. Человеку слабохарактерному против нее не устоять.

После ухода остальных мы еще долго с ним разговаривали. В его взгляде, каком-то неопределенном, даже уклончивом, есть то волнующее меня выражение, которое присуще людям, обреченным на непонимание, на одиночество. Он напоминает взгляд гувернантки.

Госпожа Пегрио предупредила меня вчера, что больше ко мне ходить не будет. Ей было бы стыдно, сказала она, получать плату за такую ничтожную работу. (И правда, мой режим, скорее воздержанный, и состояние моего белья оставляли ей много свободного времени.) С другой стороны, добавила она, «не в ее правилах тратить свое время попусту».

Я попытался обратить все в шутку, но мне не удалось выжать из нее улыбку. Ее маленькие глазки щурились от злости. Я против воли испытываю почти неодолимое отвращение к этому рыхлому, круглому лицу, к этому низкому лбу,

кожу которого оттягивает кверху жидкий пучок на макушке, и в особенности к ее жирной шее, исполосованной поперечными складками и всегда блестящей от пота. Человек не властен над такого рода ощущениями, и я так боюсь выдать себя, что она, наверное, видит меня насквозь.

Под конец она невнятно намекнула на «некоторых особ, которых не жаждет здесь встретить». Что имеет она в виду?

Сегодня пришла на исповедь гувернантка. Мне известно, что ее духовник эшенский священник, но я не мог не выслушать ее. Как наивны люди, полагающие, что святое таинство позволяет нам полностью проникнуть в тайну души! Жаль, что не в нашей власти предоставить им возможность проделать этот опыт! Привыкнув к отроческим покаяниям моих семинаристов, я до сих пор не могу понять, в результате каких ужасных превращений внутренняя жизнь христианина сводится в его собственной передаче к такой не поддающейся расшифровке схеме… Вряд ли среди людей взрослых многие повинны в том, что кощунствуют на исповеди. Ведь ничего нет легче, как просто не исповедоваться! Нет, тут дело хуже! Происходит медленная кристаллизация ничтожных обманов, уловок, недоговоренностей. Этот

панцирь облекает совесть, сохраняя до известной степени ее форму, только и всего. Возникает привычка, и со временем люди наименее тонкие вырабатывают в конце концов свой особый язык, до невероятия отвлеченный. Ничего особенного они не утаивают, но их лукавая искренность похожа на матовое стекло — оно пропускает свет настолько рассеянный, что глаз ничего толком не различает.

К чему же сводится тогда покаяние? Оно еле затрагивает поверхность совести. Не смею сказать, что внутри она разлагается, скорее — каменеет.

Кошмарная ночь. Едва я закрывал глаза, к сердцу подступала тоска. Я не нахожу, к сожалению, другого слова, чтобы обозначить эту слабость, которой нет имени, подлинное кровотечение души. Я внезапно пробуждался с воплем в ушах — и опять-таки, то ли это слово? Нет, конечно.

Как только я преодолевал сонную одурь, как только мысль моя прояснялась, сразу возвращалось спокойствие. Умение держать себя в руках, которое я выработал, чтобы не распускать свои нервы, оказывается, гораздо сильнее, чем я предполагал. После смертельной ночной муки я черпаю утешение в этой мысли, ибо одному Богу ведома вся мера моих усилий, почти без-

отчетных, следовательно, не дающих никакого удовлетворения самолюбию.

Как плохо мы разбираемся в подлинной сути человеческой жизни! Нашей собственно. Судить о нас по тому, что мы именуем своими поступками, быть может, столь же тщетно, как судить о нас по нашим снам. Спаситель наш в его неизреченной справедливости избирает что-то в этой темной куче, и то, что он возносит как реликвию пред очи Отца небесного, вдруг расцветает, озаряется ярче солнца.

Что с того. Сегодня утром я был так измучен, что, кажется, отдал бы все на свете за человеческое слово сочувствия, ласки. Я подумал, не сбегать ли в Торси. Но в одиннадцать должны были прийти дети на урок закона божьего. Даже на велосипеде я не успел бы вернуться вовремя.

Мой лучший ученик — Сильвестер Галюше, мальчик не слишком опрятный (его мама умерла, и он воспитывается у старухи бабушки, которая попивает), но такой поразительной красоты, что при взгляде на него невольно возникает почти душераздирающее ощущение невинности — невинности до грехопадения, невинной чистоты чистого животного. Когда я раздавал награды за успехи, он зашел в ризницу за своей картинкой,

и мне почудилась в спокойных внимательных глазах этого мальчика та жалость, которой я так нестерпимо жаждал. Я обнял его и разрыдался, опустив голову ему на плечо, самым глупым образом.

Первое официальное заседание нашего «Кружка самообразования». Я думал поручить председательство Сюльпису Митонне, но товарищи как будто несколько чуждаются его. Я, естественно, не счел нужным настаивать.

Мы, впрочем, только уточнили некоторые пункты нашей программы, поневоле весьма скромной, как позволяют наши ресурсы. Бедным ребятам явно не хватает воображения, увлеченности. Англебер Денизан признался, что они боятся, их «подымут на смех». У меня впечатление, что они и пришли-то ко мне только от нечего делать, от скуки, — поглядеть…

Встретил на Деврской дороге г-на торсийского кюре. Он подвез меня до дому на своей машине и даже любезно согласился отведать моего пресловутого бордо.

— Оно вам нравится? — спросил он меня.

Я ответил, что сам довольствуюсь дешевым вином, которое покупаю в бакалейной лавке «Четырех лип». Это его, кажется, успокоило.

У меня было четкое ощущение, что у него на уме есть какая-то мысль, но он уже принял решение ее не высказывать. Он слушал меня с рассеянным видом, меж тем как в его взгляде читался невольный вопрос, на который я не мог ответить, поскольку он отказывался его сформулировать. Как обычно, в тех случаях, когда я робею, я нес что-то невпопад. Бывает молчание, которое тебя притягивает, завораживает, так что хочется бросить в него что-нибудь первое попавшееся, любые слова…

— Странный ты тип, — сказал он мне наконец. — Второго такого простака нет во всей епархии, уж точно! И при этом ты вкалываешь как вол, не жалеешь сил. Должно быть, у монсеньера и правда туго со священниками, если он отдал приход в такие руки! К счастью, приход не так-то легко пошатнуть! Не то бы ты наколол тут дров.

Я чувствовал, что из жалости ко мне он обратил в шутку суждение, глубоко продуманное, прочувствованное. Он прочел эту мысль в моих глазах.

— Я мог бы засыпать тебя советами, но стоит ли? Когда я преподавал математику в Сент-Омерском коллеже, среди моих учеников были поразительные ребята — самые сложные задачи

им удавалось решать наперекор общепринятым правилам, так, благодаря собственной смекалке. И к тому же, мой милый, ты ведь не в моем подчинении, делай, как знаешь, покажи, на что способен. Я не вправе вводить в заблуждение твое начальство. Свою систему я объясню тебе когда-нибудь позднее.

— Какую систему?

Он уклонился от прямого ответа.

— Видишь ли, церковное начальство право, рекомендуя нам соблюдать осторожность. Я и сам осторожен, за неимением лучшего. Я таков по природе. Нет ничего глупее взбалмошного священника, который пускается на безрассудные затеи, просто так, потому что в голову взбрело. Но все же пути наши — не пути мирские! Истину нельзя предлагать людям, как страховой полис или слабительное. Жизнь есть Жизнь. Истина господня это — Жизнь. Мы вроде бы несем ее людям, но на самом деле это она несет нас, мой мальчик.

— В чем моя ошибка? — сказал я. (Голос мой пресекался, мне пришлось дважды повторить свой вопрос.)

— Ты слишком суетишься — как шмель в бутылке. Но ты, мне кажется, владеешь даром

молитвы.

Я испугался, что он сейчас посоветует мне отправиться в Солем, постричься в монахи. И он опять догадался, о чем я подумал (это, впрочем, вероятно, не слишком трудно).

— Монахи похитрей нас, а у тебя практического ума ни на грош, все твои пресловутые прожекты ничего не стоят. Что касается знания людей, то не стоит и говорить. Ничтожного графчика ты принимаешь за сеньора, мальчишек, которых учишь закону божьему, за поэтов, вроде тебя самого, а своего благочинного за социалиста. Короче, в глазах этого совершенно нового прихода ты выглядишь более чем нелепо. Ты уж меня извини, но ты напоминаешь мне тех лопоухих молодых мужей, которые тешат себя мыслью, что «изучают свою жену», тогда как она с первого взгляда уже знает своего супруга вдоль и поперек.

— Значит?.. (Я до того смешался, что едва мог говорить.)

— Значит?.. Значит, гни свою линию, что я могу тебе еще сказать! Самолюбия ты лишен начисто, а судить о твоих начинаниях заранее трудно, потому что ты в них вкладываешь всего себя, отдаешься до конца. Нет спору, люди правы, когда действуют осмотрительно. Вспомни слова

Рюисброка Восхитительного, фламандца, как и я: «Даже если ты вознесся мыслями к богу, но как раз в этот момент больной попросил чашку бульона, спустись с седьмого неба и подай ему необходимое». Наставление доброе, что и говорить, но не следует злоупотреблять им, оправдывая свою лень. Ибо с возрастом, опытом, разочарованиями приходит нечеловеческая лень. Ах! Старые священники твердокаменны! Нет ничего неосторожней осторожности, если она исподволь готовит нас к тому, чтобы обойтись без Бога. Иногда старые священники поистине ужасны.

Я передаю его слова, как могу, скорее не слишком точно. Я едва слышал их. Но о стольком догадывался! У меня нет веры в себя, но моя добрая воля так велика! И мне всегда поэтому кажется, что она бросается в глаза, что меня будут судить по намерениям. Какое безумие! Я считал, что еще только стою на пороге этого мирка, а на самом деле уже углубился в него совсем один, — и выход захлопнулся за моей спиной, никакого отступления. Я не знал своего прихода, а он притворялся, что незнаком со мной. Но представление, которое он обо мне составил, было уже слишком прочным, слишком отчетливым. Отныне только ценой гигантских усилий я смогу

что-либо изменить.

Господин торсийский кюре прочел на моем дурацком лице ужас и, конечно, понял, что напрасно даже пытаться успокоить меня сейчас. Он умолк. Я заставил себя улыбнуться. Да, думаю, я улыбнулся. Это было трудно.

Плохая ночь. В три часа утра я взял свой фонарь и пошел в церковь. Ключ от боковой дверцы я найти не смог, пришлось открыть большие врата. Скрежет замка отдался под сводами чудовищно громко.

Я уснул на своей скамье, зажав голову руками, да так крепко, что разбудил меня только дождь на заре. Вода проникла внутрь через разбитый витраж. Выходя с кладбища, я столкнулся с Арсеном Мироном, лицо его я различал неясно, но в тоне, которым он со мной поздоровался, звучала насмешка. Должно быть, я с моими припухшими от сна глазами и вымокшей сутаной выглядел достаточно нелепо.

Все время борюсь с искушением сбегать в Торси. Дурацкая потребность игрока, который отлично знает, что проиграл, но стремится еще и еще раз об этом услышать. К тому же я в том нервном состоянии, когда только и способен, что запутаться в напрасных извинениях. Зачем

говорить о прошлом? Для меня важно лишь будущее, а сейчас я еще не чувствую себя в силах посмотреть ему в лицо.

Господин торсийский кюре, возможно, думает так же, как я. Даже наверняка. Сегодня утром, когда я развешивал драпировки для отпевания Мари Пердро, мне показалось, что я узнаю его твердый, тяжеловатый шаг по плитам. Но это был всего лишь могильщик, который пришел сказать, что закончил работу.

От разочарования я чуть не свалился с лестницы… О нет, я не готов…

Мне следовало сказать доктору Дельбанду, что церковь — это вовсе не то, что он думает, не некое суверенное государство со своими законами, чиновниками, армиями, не какой-то момент, пусть даже и славный, в истории человечества. Церковь пролагает свой путь во времени, как воинское соединение через неведомые страны, где невозможно какое бы то ни было нормальное снабжение. Она живет за счет государств и обществ, сменяющих друг друга, как солдаты живут за счет населения, изо дня в день.

Как может она отдать Бедняку, законному наследнику Спасителя, царство, что не от мира сего? Она ищет бедняка, она взывает к нему на

всех земных путях. А Бедняк извечно остается все там же — на самой вершине головокружительного пика, и лицо его обращено к Князю Бездны, который неутомимо твердит ему на протяжении двадцати веков своим ангельским голосом, своим пленительным, чарующим голосом: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне…»

В этом, быть может, кроется потустороннее объяснение невероятной покорности масс. Могущество досягаемо, Бедняку стоит только руку протянуть. Но он о том не ведает или делает вид, что не ведает. Он уставился в землю, а искуситель ждет, что с секунды на секунду будет наконец произнесено слово, которое предаст ему род человеческий, но это слово никогда не слетит с высоких уст, скрепленных печатью самого бога.

Неразрешимая проблема: как восстановить Бедняка в его правах, не сделав сильным мира сего. И случись даже невозможное, удайся даже беспощадной диктатуре с ее армией чиновников, экспертов, статистиков, опирающейся, в свою очередь, на миллионы шпиков и жандармов, приструнить одновременно повсюду на земном шаре хищников, свирепых и хитроумных зверей, созданных для наживы, эту человеческую породу, живущую человеком (ибо ее неутолимая

алчность к деньгам всего лишь лицемерная, хотя возможно и бессознательная форма омерзительного, постыдного голода, который ее пожирает) — все равно людьми неотвратимо и очень скоро овладеет отвращение к aurea mediocritas, возведенному таким образом в универсальное правило, и повсюду, подобно цветам по весне, пробьется тяга к бедности.

Не существует общества, которое одержало бы верх над Бедняком. Одни живут за счет глупости ближнего, другие за счет его тщеславия, его пороков. А Бедняк живет за счет милосердия. Какое великое слово.

Не понимаю, что произошло сегодня ночью, должно быть, мне это пригрезилось. Часа в три утра (я как раз подогрел себе немного вина и крошил в него, по своей привычке, хлеб) стала хлопать садовая калитка, да так сильно, что мне пришлось выйти. Я нашел ее закрытой, что, собственно, и не удивило меня, поскольку я твердо помнил, что накануне сам ее запер, как делаю это, впрочем, каждый вечер. Примерно двадцать минут спустя она опять принялась хлопать, еще яростней, чем в первый раз (ветер был очень сильный, настоящий ураган). Нелепая история…

Я возобновил обход прихожан — благодарение

Богу! Замечания г-на торсийского кюре сделали меня осмотрительным: я стараюсь задавать не слишком много вопросов, соблюдая осторожность и касаясь — во всяком случае, на первый взгляд — только вещей самых повседневных. В зависимости от ответа я пробую перевести разговор на предметы более высокие, но не слишком, и мы совместно извлекаем из беседы какую-нибудь наискромнейшую истину. Но истина не может быть умеренной! Какие бы меры предосторожности я ни принимал, пусть уста мои даже и не произносят его вслух, имя Божье внезапно озаряет своим сиянием эту давящую, удушливую атмосферу, и лица, уже приоткрывшиеся, вновь замыкаются. Точнее было бы сказать, что они темнеют, мрачнеют.

Быть может, бунт, который исчерпывает себя в ругани, в богохульстве, не так уж страшен?.. Ненависть к Богу всегда наводит меня на мысль об одержимости. «И вошел в него Сатана (Иуда)». Да, об одержимости, о безумье. Тогда как затаенный страх перед божественным, эта своего рода попытка объехать жизнь по кривой, словно прячась в узкую тень стены, от заливающего все света… Так спешат забиться поглубже несчастные животные, истерзанные жестокими

детскими играми. Свирепое любопытство бесов, их чудовищное сочувствие человеку настолько загадочнее… Ах! Если бы нам было дано увидеть эти увечные существа глазами ангелов!

Мне гораздо лучше, приступы реже, иногда мне даже кажется, что я ощущаю некое подобие аппетита. Во всяком случае, я теперь готовлю себе еду без отвращенья; меню мое неизменно — хлеб и вино. Только в вино я кладу много сахара, а хлебу даю зачерстветь, он лежит у меня несколько дней, пока не станет совсем твердым, настолько твердым, что, случается, я его не режу, а раскалываю — это очень удобно делать сечкой. Такой хлеб куда лучше переваривается.

Благодаря этому режиму я справляюсь со всей работой, не переутомляясь, и ко мне понемногу возвращается чувство уверенности… Не пойти ли мне в пятницу к г-ну торсийскому кюре? Сюльпис Митонне посещает меня ежедневно. Умен он, конечно, не слишком, но зато сколько в нем чуткости, внимания. Я дал ему ключ от пекарни, и теперь он приходит сюда в мое отсутствие, что-то мастерит, чинит. Мой бедный дом просто преобразился благодаря ему. Он говорит, что его желудок не переносит вина, но сахаром он прямо объедается.

Он пожаловался со слезами на глазах, что из-за частых посещений церковного дома терпит насмешки и издевки. Дело в том, полагаю, что нашим крестьянам, которые трудятся с утра до вечера, непонятен его образ жизни. Я сделал ему суровый выговор за лень. Он обещал, что поищет работу.

Ко мне в ризницу заявилась г-жа Дюмушель. Она возмущена, что я не допустил ее дочь к экзамену за четверть.

Я стараюсь по возможности не касаться в этом дневнике некоторых жизненных испытаний, о которых хотел бы поскорее забыть, ибо они не из тех, увы, что приемлешь с радостью — а чего стоит смирение, лишенное радости? Нет, я отнюдь не преувеличиваю их значения! Они вполне заурядны, я знаю. И стыд, который меня из-за них мучит, душевная смута, над которой я не властен, не делают мне чести, но я не в силах преодолеть физическую брезгливость, своего рода омерзение, вызываемое ими. К чему отрицать? Порок слишком рано предстал передо мной в своем истинном виде, и, хотя я действительно испытываю глубокое сострадание к этим бедным душам, образ, в котором мне, помимо моей воли, видится их несчастье, почти невыносим. Короче,

похоть меня страшит.

В особенности нечистые помыслы в детях… Они мне знакомы. Нет, я и этого не принимаю трагически! Напротив, я думаю, наш долг относиться к ним очень терпеливо, ибо малейшая неосторожность может привести тут к ужасающим последствиям. Так трудно отличить глубокие раны от поверхностных и, даже разобравшись, так опасно их зондировать! Иногда лучше дать им зарубцеваться самим, зарождающийся нарыв не следует трогать. Но все это не мешает мне ненавидеть всеобщий заговор, предумышленную слепоту, нежелание видеть вещи очевидные и эту дурацкую, себе на уме, улыбку взрослых перед лицом особого рода томления, которое считается пустяшным потому только, что оно не умеет выразить себя на нашем языке — языке людей уже сформировавшихся. Слишком рано я сам изведал тоску, чтобы не возмущаться всеобщей глупостью и несправедливостью по отношению к детской тоске, исполненной тайны. Опыт, увы! показывает, что и дети способны на отчаяние. И демон тоскливого страха, как мне кажется, по самой сути своей — грязный демон.

Я не часто упоминал здесь поэтому о Серафите Дюмушель, хотя в последние недели она

доставляла мне немало огорчений. Случается, я задумываюсь — уж не ненавидит ли она меня? Так, не по возрасту умело, она меня изводит. Нелепые шалости, прежде носившие характер наивных дурачеств, беззаботных проказ, теперь обнаруживают преднамеренное упрямство, которое трудно объяснить одним только болезненным любопытством, свойственным многим ее сверстницам. Прежде всего она вытворяет свои штучки не иначе как в присутствии подружек, делая при этом вид, что между нею и мною существует некое сообщничество, взаимопонимание, — долгое время я относился к ее шалостям с улыбкой, всю опасность которой стал понимать лишь недавно. Если я случайно сталкиваюсь с ней на дороге — а встречаю я ее чуть чаще, чем следовало бы, — она здоровается со мной спокойно, серьезно, без всяких ужимок. Как-то раз я на это попался. Она ждала меня, не шевелясь, опустив глаза, я приближался к ней с какими-то ласковыми словами, точно приманивал пташку. Пока я не подошел совсем близко, Серафита стояла недвижно, уставясь в землю, так что я видел только упрямый, низко опущенный затылок, но тут вдруг резко отскочила, увернувшись от меня, и швырнула в канаву свой ранец. Мне пришлось

потом отослать этот ранец с мальчиком-певчим, которого приняли весьма нелюбезно.

Госпожа Дюмушель была со мной учтива. Разумеется, невежество ее дочери вполне оправдывает принятое мною решение, хотя, в сущности, это не больше чем предлог. Устрой я ей еще одно испытание, Серафита чересчур умна, чтобы с ним не справиться, так что мне не следует подвергать себя риску оказаться в унизительном положении. Я постарался поэтому дать понять г-же Дюмушель, что ее дочь кажется мне не по возрасту развитой, преждевременно созревшей, за ней необходимо понаблюдать еще несколько недель. Она быстро нагонит других, а отсрочка послужит ей уроком и в любом случае принесет свои плоды.

Бедная женщина слушала меня вся красная от злости. Я видел, как злость приливает к ее щекам, к ее глазам. Мочки ее ушей стали пунцовыми.

— Девочка ничуть не хуже других, — наконец сказала она. — Ей хочется одного — чтобы ей дали возможность воспользоваться своим правом, большего она не просит.

Я ответил, что Серафита и правда прекрасно училась, но ее поведение, особенно ее манеры меня не устраивают.

— Какие еще манеры?

— Чересчур кокетливые, — ответил я.

Эти слова вывели ее из себя.

— Кокетливые! А вам-то что за дело! Кокетство не ваша забота. Кокетство! Надо же! Не хватало только, чтобы еще и священники совали свой нос куда ни попади. Вы уж не взыщите, господин кюре, но я считаю, слишком вы молоды рассуждать об этом, и вдобавок с девчонкой.

На этом мы и расстались. Дочка смирно ждала ее, сидя в пустой церкви. Через приоткрытую дверь мне были видны лица остальных девочек, я слышал их приглушенные смешки, — они наверняка отталкивали одна другую, чтобы увидеть, что делается в церкви. Серафита, рыдая, бросилась в объятия матери. Боюсь, она ломала комедию.

Что делать? Дети мигом подмечают смешное и отлично умеют, воспользовавшись создавшимся положением, извлечь из него все возможное, действуя с поразительной последовательностью. Девочки явно в восторге от воображаемой дуэли между одной из них и священником. Если понадобится, они готовы приложить руку, чтобы вся эта история выглядела еще скандальней и тянулась подольше.

Я спрашиваю себя, достаточно ли тщательно продуманы мои уроки катехизиса. Сегодня вечером мне пришло в голову, что я связывал слишком большие, неумеренно большие надежды с тем, что, в сущности, является лишь одной из заурядных обязанностей моего служения, одной из самых неблагодарных, самых тяжких обязанностей. Кто я такой, чтобы требовать утешения от этих детей? Я мечтал беседовать с ними откровенно, мечтал разделить с ними свои горести, свои радости, — нет, не рискуя их ранить, разумеется! — мечтал вложить всю душу в эти уроки, как вкладываю ее в молитву… Все это — эгоизм.

Отныне положу себе за правило гораздо меньше полагаться на вдохновение. К сожалению, мне не хватает времени, придется оторвать еще немного от часов отдыха. Сегодня ночью это мне удалось, благодаря тому что я лишний раз поел, не испытывая при этом никаких неприятностей с пищеварением. А я еще сожалел раньше о покупке этого благотворного бордо!

Вчера — визит в замок, завершившийся катастрофой. Решенье пойти туда я принял скоропалительно, сразу после обеда, довольно, впрочем, позднего, так как я провел много времени в Бергезе, у г-жи Пижон, которая все еще больна.

Было около четырех часов, я чувствовал себя, как говорится, «в форме», был полон сил. К моему великому удивленью — поскольку по четвергам г-н граф обычно проводит послеобеденное время дома, — я застал г-жу графиню в одиночестве. Как объяснить, почему я, явившись в замок таким бодрым, не смог не только поддержать разговор, но даже связно ответить на заданные мне вопросы? Правда, я шел чересчур быстро. Г-жа графиня, с ее безукоризненной воспитанностью, сначала сделала вид, что ничего не замечает, но в конце концов была вынуждена спросить, как я себя чувствую. В последние недели я стараюсь уклониться от такого рода вопросов и даже счел себя вправе лгать. Это, впрочем, совсем нетрудно — я заметил, что люди только того и ждут, стоит мне ответить, что все хорошо, они охотно верят. Нет спору, тощ я невероятно (мальчишки прозвали меня «Скорблый», что на местном говоре означает: «Скорбный»), но достаточно сказать, что худоба у нас «в роду», лица тотчас проясняются. Я отнюдь об этом не сожалею. Признайся я в своих недугах, меня тотчас «спровадили бы в тыл», как выражается г-н торсийский кюре. Мне только и остается, как я считаю, — ведь на молитву у меня времени в обрез — что подольше скрывать

ничтожное недомогание от всех, кроме Господа нашего Иисуса Христа.

Поэтому я ответил г-же графине, что, наверно, слишком поздно пообедал и у меня побаливает живот. Хуже всего, что мне пришлось поспешно откланяться, и спустился по лестнице я точно лунатик. Хозяйка замка проводила меня вниз, но я не мог даже ее поблагодарить, так как прижимал платок ко рту. Она глядела на меня странным, невыразимым взглядом, в нем были и симпатия, и удивленье, и жалость, но также, думается, и некоторое отвращенье. Мужчина, которому дурно, всегда так смешон! Наконец, когда я протянул ей руку, она взяла ее, прошептав, точно про себя, поскольку я мог догадаться о значении ее слов только по движению губ: «Бедный мальчик», или, может: «Мой бедный мальчик!»

Меня это так поразило, так потрясло, что я пошел к аллее прямо через лужайку — по красивому английскому газону, которым так дорожит г-н граф и на котором теперь, должно быть, остались следы моих грубых башмаков.

Да, я корю себя за то, что молюсь мало и плохо. Почти ежедневно мне приходится прерывать послеобеденную благодарственную молитву, чтобы принять кого-либо из прихожан, по большей

части больных. Мой однокашник по духовному училищу Фабрегарг, который стал аптекарем и обосновался в окрестностях Монтре, присылает образчики лекарств в качестве рекламы. Учитель, кажется, не слишком доволен этой конкуренцией, поскольку прежде мелкие услуги такого рода оказывал только он один.

Как трудно никого не задеть! Что бы ты ни делал, люди склонны не столько воспользоваться твоими услугами, сколько бессознательно столкнуть добрые намерения одних с добрыми намерениями других. Откуда эта непонятная душевная черствость?

Поистине, человек враг самому себе, тайный и лукавый враг. Зло, где его ни посей, всходит почти наверняка. Но чтобы дало росток зерно добра, чтобы его не заглушили сорняки, нужна особая удача, счастливое чудо.

Сегодня обнаружил в своей почте письмо со штампом Булони, на плохой бумаге в клеточку, такая обычно бывает в кафе. Оно без подписи.

«Лицо, к вам расположенное, настоятельно вам советует просить о переводе. И чем скорее, тем лучше. Когда вы заметите то, что бросается в глаза всем, вы заплачете кровавыми слезами. Нам жаль вас, но повторяем: „Убирайтесь вон!“».

Это еще что такое? Мне кажется, я узнал почерк г-жи Пегрио, — она оставила здесь записную книжку, в которую заносила расходы на мыло, стиральные порошки и жавель. Эта женщина меня, конечно, недолюбливает. Но почему она так страстно желает, чтобы я уехал?

Послал короткую извинительную записку г-же графине. Сюльпис Митонне любезно согласился отнести ее в замок. Он не счел это унизительным для своего самолюбия.

Опять ужасная ночь, сон, прерываемый кошмарами. Из-за проливного дождя я не решился дойти до церкви. Никогда еще я не прилагал таких усилий, чтобы молиться, — поначалу спокойно, сосредоточенно, потом с каким-то яростным, ожесточенным упорством, и, наконец, хладнокровно, с трудом смирив себя, вкладывая в молитву всю свою волю отчаяния (это слово внушает мне ужас), все напряжение воли, от которого сердце билось в тоске. Все тщетно.

Я знаю, конечно, что самая жажда молитвы — уже молитва, и Бог большего не требует. Но для меня дело было не в исполнении обязанности. Мне в этот момент молитва нужна была, как воздух легким, как кислород крови. Позади меня стояла уже не жизнь с ее буднями, бытом, от ко-

торой отталкиваешься в самозабвенном порыве, не теряя в то же время внутреннего знания, что в должный час вернешься к повседневности. Позади меня не было ничего. А впереди была стена, черная стена.

У нас в ходу самое нелепое представление о молитве! И как только у тех, кто молитвы не знает — не знает вовсе или знает недостаточно, — язык поворачивается болтать о ней? Какой-нибудь монах, траппист или картезианец, трудится годами ради постижения молитвы, а первый попавшийся вертопрах ничтоже сумняшеся берется судить о деле всей жизни! Будь молитва действительно, как они утверждают, лишь суесловием, своего рода диалогом маньяка с собственной тенью или, того хуже — безрезультатной суеверной мольбой о ниспослании благ земных, — как объяснить, что миллионы людей черпают в ней до своей последней минуты, не скажу даже — усладу, потому что эти люди опасаются сентиментальных утешений, но суровую, всесильную, непреоборимую радость! Да, знаю, ученые говорят о самовнушении. Но им просто никогда не доводилось видеть старых монахов, которые, при всей своей рассудительности, умудренности, при всей неколебимости своих суждений, излучают по-

нимание и сострадание, нежную человечность. Каким же чудом эти полусумасшедшие, эти пленники грезы, эти сновидцы наяву с каждым днем проникаются все глубже бедами других людей? Странное греженье, чудной опиум! Ведь он не только не замыкает личность на себе самой, изолируя ее от окружающих, но, напротив, наделяет чувством общечеловеческой солидарности, духом всеохватывающего милосердия!

Я понимаю всю рискованность такого сравнения и прошу мне его простить, но, быть может, оно что-то объяснит людям, от которых не приходится ждать самостоятельных суждений, если их не подтолкнет к этому какой-нибудь неожиданный, не укладывающийся в привычные представления образ, — а таких людей немало; какой здравомыслящий человек, дотронувшись случайно несколько раз кончиками пальцев до клавиш рояля, сочтет себя вправе свысока судить о музыке? И если его не трогает симфония Бетховена или фуга Баха, если он вынужден довольствоваться тем, что ловит на лицах других отсвет высокого наслаждения, лично ему недоступного, разве не поставит он это в вину только себе самому?

Увы! Люди верят на слово психиатрам, прене-

брегая единодушным свидетельством святых, напрасно они заверяют, что молитвенное самоуглубление не сравнимо ни с чем и что в то время, как всякая другая попытка самопознания лишь приоткрывает нам постепенно нашу собственную сложность, молитва ведет к внезапному и всеобъемлющему озарению, когда перед внутренним взором разверзается лазурь. В ответ люди, как правило, только пожимают плечами. Но признавался ли хоть один человек, владеющий этим даром, что молитва его разочаровала?

Сегодня утром у меня буквально подкашивались ноги. Страшные часы, показавшиеся мне нескончаемыми, не оставили о себе отчетливого воспоминанья — только ощущение удара, нанесенного в самое сердце неведомо откуда. Во мне все точно одеревенело, и это пока еще спасает меня от ясного понимания всей глубины случившегося.

Человек никогда не молится в одиночестве. Или печаль моя была слишком непомерна? Я просил Бога за себя одного. Он не снизошел.

Перечитываю эти строки, написанные сегодня утром, после пробуждения. С тех пор…

Неужели это была только иллюзия?.. Или, возможно… Минуты слабости бывали и у святых…

Но только не этот глухой бунт, я уверен, не это угрюмое, почти злобное безмолвие души…

Час ночи: в деревне погасла последняя лампа. Ветер и дождь.

То же одиночество, то же безмолвие. На этот раз никакой надежды преодолеть препятствие или обойти его. Ничего. Господи! Я дышу тьмой, я ее вдыхаю, тьма наполняет меня, проникая через какую-то неведомую, невообразимую брешь души. Я сам — тьма.

Заставляю себя думать о людях, которые терзаются такой же тоской, как я. Никакого сочувствия этим незнакомцам. Мое одиночество абсолютно, я его ненавижу. Никакой жалости к себе.

Неужели я навсегда лишился дара любви!

Я распростерся ниц подле своей кровати. Нет, конечно, я не так наивен, чтобы верить в действенность этого жеста. Но мне хотелось принять позу совершенной покорности, безграничного смирения. Я лежал у края бездны, небытия, как нищий, как пьяница, как труп — и ждал, чтобы меня подобрали.

В первую же секунду, еще до того как губы мои коснулись пола, я устыдился этой лжи. Ибо я не ждал ничего.

Чего бы я ни отдал за то, чтобы страдать! Но

и боль меня отвергла. Самая привычная, самая обыденная — боль в животе. Я чувствую себя чудовищно хорошо.

Я не боюсь смерти, я к ней так же безразличен, как к жизни, это трудно объяснить.

Мне кажется, я прошел в обратном направлении весь тот путь, который проделал с тех пор, как Бог исторг меня из небытия. Я был вначале всего лишь искрой, алеющей пылинкой божественного милосердия. И теперь опять я только эта пылинка в неисповедимом мраке. Но она уже почти не алеет, скоро окончательно угаснет.

Проснулся очень поздно. Сон овладел мною, очевидно, внезапно, там, где я рухнул. Пора служить обедню. Мне хочется все же записать перед уходом следующее: «Что бы ни произошло, я об этом никогда и никому не скажу, в особенности г-ну торсийскому кюре».

Утро такое светлое, теплое. Полное какой-то чудесной легкости… Когда я был совсем маленьким, мне случалось забиться на заре в живую изгородь, с которой стекали струйки воды, и я возвращался домой весь вымокший, дрожащий, счастливый, чтобы получить шлепок от бедной мамы и большую кружку кипящего молока.

Весь день у меня не выходили из головы карти-

ны моего детства. Думаю о себе, как об умершем.

(NB — В тетради вырван десяток страниц. Несколько слов, оставшихся на полях у корешка, тщательно зачеркнуты.)

Доктора Дельбанда нашли сегодня поутру на опушке Базанкурского леса с пробитой головой, уже окоченевшего. Он упал на тропинку, в лощине, меж густых зарослей орешника. Предполагают, что он потянул к себе ружье, запутавшееся в ветвях, и оно выстрелило.

Я решил было уничтожить этот дневник. Но, подумавши, порвал только часть, которую счел излишней, впрочем, я столько раз повторял все это мысленно, что знаю наизусть. Это точно голос, говорящий со мной безумолчно, день и ночь. Надеюсь, он угаснет вместе со мной? Или же…

Последние дни я много думал о грехе. Определять его как отступление от божественного завета значит, по-моему, подходить слишком упрощенно. Люди наговорили о грехе уйму глупостей! И, как водится, не дают себе труда подумать. Вот уже века и века врачи не могут прийти к согласию и дать точное определение болезни. Удовольствуйся они определением, что болезнь отступление от нормы доброго здоровья, им бы уже давным-давно не о чем было спорить. Но они

всякий раз изучают болезнь на больном, чтобы его вылечить. То же самое пытаемся сделать и мы. Так что все эти шуточки, иронические улыбочки, смешки по поводу греха не слишком нас трогают.

Естественно, никто не хочет смотреть дальше проступка. Но ведь проступок — это в конце концов только симптом. А симптомы, бросающиеся в глаза профану, отнюдь не всегда самые тревожные, самые важные.

Я думаю, убежден, что немало есть людей, которые ничему не отдаются всем своим существом и не до конца искренни с собой. Они живут на поверхности самих себя, однако человеческая почва так плодоносна, что даже и этого тонкого внешнего слоя хватает для тощей жатвы, создающей иллюзию подлинной судьбы. Говорят, во время последней войны мелкие служащие, робкие в обычной жизни, постепенно раскрывались как командиры: они даже не подозревали в себе этой страсти повелевать. Нет, разумеется, здесь нет ничего похожего на то, что мы называем прекрасным словом «обращение» convertere, — но в конце концов достаточно и того, что эти бедняги изведали героизм в его простейшей форме, героизм без непорочности. А скольким людям так и не

дано получить ни малейшего представления о героизме преестественном, даруемом только верой, без которого нет внутренней жизни! Но судить-то их будут как раз по ней! Стоит об этом чуть призадуматься, это — очевидно, неопровержимо. Значит?.. Значит, когда смерть отнимет у них все те искусственные придатки, которыми наделило людей этой породы общество, они предстанут в своем подлинном виде — такими, какими были неведомо для себя: мерзкими, недоразвитыми чудовищами, человеческими обрубками.

Но если они так созданы, что могут они сказать о грехе? Что знают о нем? Рак, который их гложет, подобен многим опухолям — он не причиняет боли. Большинство, в лучшем случае, ощутило укол в какой-то момент, но боль тут же ушла, и они позабыли о ней думать. Редко найдется ребенок, у которого внутренняя жизнь, в христианском понимании этого слова, не намечалась, хотя бы в самой зачаточной форме. Был день, когда юная жизнь забилась сильнее, дух героизма зашевелился в глубине невинного сердца. Не так уж и властно, быть может, а все же достаточно, чтобы крохотное существо смутно что-то ощутило, а иногда, пусть и неосознанно, прияло великий риск спасения, заключающий в себе божествен-

ное начало человеческого бытия. Ребенок узнал нечто о добре и зле, получил представление о добре и зле в чистом виде, вне всякой связи с социальными условностями и нравами. Но он, естественно, реагировал на случившееся с ним по-детски, так что взрослым не сохранит об этой решающей, высокой минуте ничего, кроме воспоминанья о ребяческой драме, а может, даже и шалости. Так что ее подлинный смысл от него ускользнет, и до конца жизни он будет говорить о ней с размягченной улыбкой, со старческим умилением, чуть ли не со сладострастием.

Трудно даже себе представить, сколько детского в людях, которые слывут серьезными, сколько поистине необъяснимого, невероятного ребячества. Мне, хоть я и не так давно священствую, нередко доводилось, случается и теперь, внутренне улыбаться этому. А каким снисходительным, каким сочувственным тоном разговаривают с нами! Один арраский нотариус, которого я напутствовал перед кончиной — лицо значительное, бывший сенатор, один из самых крупных землевладельцев департамента, — сказал мне однажды, по-видимому желая извиниться за то, что выслушивает мои увещевания с некоторым скептицизмом, вполне, впрочем, благожелатель-

ным: «Я хорошо вас понимаю, господин аббат, мне знакомы ваши чувства, я и сам был очень набожен. Лет в одиннадцать я ни за что бы не уснул, не прочтя трижды „Ave Maria“ [10], да еще я положил себе читать эти молитвы единым духом, без роздыха. Иначе, считал я, это принесет мне несчастье…»

Он полагал, что я на этом и остановился, что мы, бедные священники, на этом и останавливаемся. В конечном итоге я выслушал его предсмертную исповедь. Что сказать? Оказывается, жизнь нотариуса — дело невеликое, вся она подчас укладывается в несколько слов.

Нет греха тягче, чем утрата надежды, и, пожалуй, нет греха, до такой степени обласканного, взлелеянного. Человек распознает его не сразу, а в печали, возвещающей отчаяние, которая ему предшествует, есть что-то упоительное! Это самый ароматный эликсир Сатаны, его амброзия. Ибо тоска…

(Страница оборвана.)

Сегодня сделал очень странное открытие. М-ль Луиза обычно оставляет молитвенник на своей скамье, в специальном ящичке. Сегодня я нашел

---

[10] Примечания: 10
Богородице дево, радуйся (лат.).

толстую книгу на каменных плитах, и поскольку благочестивые картинки, которые были в нее вложены, рассыпались, мне невольно пришлось ее перелистать. Мне попалось на глаза несколько строк, написанных от руки на оборотной стороне переплета. Это — имя и адрес мадемуазель — вероятно, ее прежний адрес — в Шарлевиле (Арденны). Почерк тот же, что в анонимном письме. Во всяком случае, так мне показалось.

Но что мне теперь до этого?

Великие мира сего умеют без слов дать вам понять, что пора откланяться, им достаточно кивка, взгляда, даже и этого не нужно. Но Бог…

Я не утратил ни Веры, ни Надежды, ни Любви. Но что смертному до вечных благ в этом бренном мире. Важна лишь жажда вечных благ. Мне кажется, я их больше не жажду.

Встретил г-на торсийского кюре на отпевании его старого друга. Могу сказать, что меня не покидает мысль о докторе Дельбанде. Но мысль, даже надрывающая душу, это не молитва, она не может быть молитвой.

Бог меня видит и судит.

Я решил продолжать этот дневник, потому что откровенное, скрупулезно точное изложение всего, что со мной происходит сейчас, в дни этого

испытания, может — как знать? — оказаться когда-нибудь полезным для меня, для меня или для кого-нибудь другого. Несмотря на то, что сердце мое ожесточилось (мне кажется, я не испытываю ни малейшей жалости ни к кому, жалость мне так же недоступна, как молитва, я понял это сегодня ночью, над гробом Аделины Супо, хотя и постарался добросовестно ее напутствовать), будущий, скорее всего — воображаемый, читатель моего дневника вызывает у меня дружеское участие… Нежность предосудительная, ведь на самом деле это нежность к себе самому. Я сделался писателем или, как выражается бланжермонский благочинный, «поэтом»… И тем не менее…

Я хочу поэтому чистосердечно отметить здесь, что вовсе не пренебрегаю своими обязанностями, напротив. Улучшение, почти невероятное, моего здоровья очень благоприятствует работе. Было бы не вполне справедливо сказать, что я не молюсь за доктора Дельбанда. Я отправляю и эту обязанность, как всякую другую. Я даже воздерживаюсь от вина в последние дни, что угрожающе подтачивает мои силы.

Короткий разговор с г-ном торсийским кюре. Этот замечательный священник поистине удивительно владеет собой. Его самообладание

очевидно, хотя внешне никак и не проявляется, — ни единым жестом, ни единым словом он не выказывает, каких усилий, какого напряжения воли стоит ему держать себя в руках. По его лицу видно, что он страдает, он не пытается даже скрыть этого, с поистине монаршим прямодушием и простотой. В подобных обстоятельствах даже самых лучших людей, как правило, ловишь на двусмысленном взгляде — из тех, что более или менее открыто намекают: «Видите, я держусь, не надо меня хвалить, это в моем характере, благодарю…» Взгляд г-на кюре бесхитростно ищет сочувствия, участия, но с каким благородством! Так мог бы протянуть руку за подаянием король. Он провел две ночи над усопшим, и его сутана, обычно такая чистая, наглаженная, — вся в пятнах, в глубоких складках, расходящихся веером. Он забыл, может быть впервые в жизни, побриться.

Его самообладание обнаруживает себя в одном: от него исходит, ничуть не меньше, чем обычно, та сила, которая даруется только верой. Несмотря на то что его явно снедает тоска (доктор Дельбанд, по слухам, покончил с собой), он остается человеком, излучающим на окружающих покой, мир, стойкость. Я служил сегодня обедню вместе

с ним, как иподьякон. Мне доводилось раньше замечать, как при освящении слегка дрожат его прекрасные руки, простертые над чашей. Сегодня они не дрожали. В них была даже властность, величие… Невозможно описать, до какой степени это контрастировало с его лицом, осунувшимся от бессонницы, усталости и, главное, мучительных мыслей, о которых я догадываюсь.

Он ушел, не пожелав остаться на поминки, устроенные племянницей доктора — очень похожей на г-жу Пегрио, только еще более грузной. Я проводил его до вокзала, и, поскольку до поезда оставалось еще полчаса, мы присели с ним на скамью. Он очень устал, и при ярком дневном свете лицо его показалось мне еще более измученным. Я никогда не замечал прежде морщин в углах его рта, несказанно печальных, горьких. Думаю, это и заставило меня решиться. Я вдруг сказал ему:

— Вы не боитесь, что доктор…

Он не дал мне закончить фразы, словно пригвоздив последнее слово к моим губам своим властным взглядом. Мне стоило большого труда не опустить глаза, я знаю — он этого не любит. «Глаза, которые трусят», — говорит он. Наконец его черты мало-помалу смягчились, он даже чуть заметно улыбнулся.

Не стану передавать нашего разговора. Да и был ли это разговор? Все это не продолжалось и двадцати минут… Небольшая пустынная площадь, обсаженная с двух сторон липами, казалась еще более тихой, чем обычно. Вспоминаю стайку голубей, регулярно пролетавшую над нами, стремительно и так низко, что был слышен свист крыльев.

Он действительно опасается, что его старый друг застрелился. Похоже, он был совершенно деморализован, поскольку до последней минуты рассчитывал получить наследство от престарелой тетушки, но та совсем недавно перевела все свое состояние на имя весьма известного стряпчего (поверенного его преосвященства, С-кого епископа), за что тот обязался выплачивать ей пожизненную ренту. Прежде доктор зарабатывал уйму денег и щедро тратил их на довольно своеобразные и несколько неразумные пожертвования, которые далеко не всегда оставались в тайне и заставляли подозревать в докторе политическое честолюбие. Когда более молодые коллеги разделили между собой его клиентуру, он не пожелал менять своих привычек.

— Чего ты хочешь? Он не был человеком, способным чем-то пожертвовать ради сохранения

остального. Он сотни раз говорил мне о бессмысленности борьбы с тем, что он именовал жестокостью людей и глупостью судьбы, о том, что социальная несправедливость неизлечима — с нею нельзя покончить, не уничтожив самого общества. Он сравнивал иллюзии реформаторов с иллюзиями последователей Пастера, которые мечтали обеззаразить мир. Словом, он считал себя ослушником, не больше и не меньше, последним представителем той давно вымершей породы — если предположить, что она вообще когда-нибудь существовала, — которая ведет безнадежную и беспощадную борьбу с завоевателем, превратившимся за века в законного владельца. «Я мщу», говорил он. Короче, он не верил в существование регулярной армии, понимаешь? «Когда я сталкиваюсь с несправедливостью, которая разгуливает в одиночестве, без охранников, и когда я вижу, что она мне по плечу, ни слишком слаба, ни слишком сильна, я набрасываюсь на нее и душу». Это дорого ему обходилось. Еще прошлой осенью он выплатил долги старухи Гашвом, одиннадцать тысяч франков, потому только, что г-н Дюпонсо, хлеботорговец, скупил ее векселя и собирался наложить лапу на землю. Смерть проклятой тетки нанесла ему, конечно,

последний удар. Да что там! Триста или четыреста тысяч франков все равно мигом сгорели бы в таких руках! Тем более что он, бедняга, с возрастом стал просто невозможен. Разве не вбил он себе в голову, что будет содержать — в точном смысле слова — старого пьянчугу по имени Ребатю, бывшего браконьера, ленивого, как сурок, который живет в хижине угольщиков, на границе владений Губо, таскается, как говорят все, за девочками-пастушками и никогда не просыхает. А тот вдобавок еще смеялся над ним. Не думай, что доктор этого не знал! Но он, как всегда, поступал по-своему, у него на все были свои мотивы.

— Какие?

— Что этот Ребатю — самый лучший охотник из всех, с которыми ему доводилось встречаться, что нельзя лишать его этой радости, как нельзя лишать человека еды и питья, и что своими бесконечными протоколами полевая жандармерия доведет этого безобидного маньяка до того, что тот превратится в опасного зверя. И все это было перемешано в его дорогой старой башке с навязчивыми идеями, которыми он был поистине одержим. Он говорил мне: «Одарить людей страстями и запретить их удовлетворять — нет, это не по мне, я не Господь Бог». Надо признать,

что он ненавидел маркиза де Больбек, а маркиз поклялся, что рано или поздно прижмет Ребатю с помощью своих сторожей и отправит его в Гвиану. Так что, черт побери!..

Я, кажется, уже отмечал в этом дневнике, что печаль чужда г-ну торсийскому кюре. Душа его весела. И даже сейчас, если я не глядел на его лицо, а он, как всегда, не опускал головы, держал ее очень прямо, меня поражали некоторые оттенки его голоса. Несмотря на всю удрученность, нельзя сказать, чтобы голос его был печальным: в нем сохранялся какой-то, почти неуловимый, трепет, дуновение внутренней радости, такой глубинной, что ничто не могло ее замутить, подобно спокойной толще океанских вод, неподвластной ураганам.

Он поведал мне еще многое, вещи почти невероятные, почти безумные. В четырнадцать лет наш друг мечтал стать миссионером, веру он потерял, изучая медицину. Он был любимым учеником прославленного профессора, имя которого я запамятовал, и товарищи единодушно предсказывали ему исключительно блестящую карьеру. Известие, что он обосновался в нашем захолустье, всех удивило. Он объяснял это своей бедностью, не позволяющей ему готовиться к

экзаменам на конкурс, к тому же слишком усердные занятия серьезно подорвали его здоровье. Но истинная причина была в том, что он терзался из-за утраты веры. Он сохранил странные привычки, например, ему случалось вопрошать распятие, висевшее на стене его комнаты. Иногда он рыдал, опустившись подле него, закрыв голову руками, а иногда, напротив, даже вызывающе угрожал ему, показывая кулак.

Еще несколько дней тому назад я, вне всякого сомнения, выслушал бы все это с большим хладнокровием. Но сейчас я был не в состоянии вынести откровенный разговор о такого рода вещах, мне словно лили расплавленный свинец на открытые раны. Конечно, я не выстрадал ничего подобного, и, возможно, мне не придется так страдать до самой смерти. Но я мог только опустить глаза. Если бы я поднял их на г-на торсийского кюре, боюсь, я закричал бы. К сожалению, в таких случаях человеку труднее совладать с языком, чем с глазами.

— Если он и в самом деле покончил с собой, то…

Господин торсийский кюре вздрогнул, точно мой вопрос внезапно разбудил его. (Он и правда последние пять минут говорил точно во сне.) Я

почувствовал на себе его внимательный взгляд, должно быть, он о многом догадался.

— Посмей только кто-нибудь другой, не ты, задать мне подобный вопрос!

Потом он надолго умолк. Маленькая площадь была по-прежнему пустынной, светлой, и крупные птицы, совершая свой однообразный облет, словно обрушивались на нас через равные промежутки времени с высоты неба. Я машинально ждал их возвращения и этого свиста, похожего на свист исполинской косы.

— Один Бог ему судья, — сказал он наконец своим спокойным голосом. Максанс (впервые он назвал при мне своего старого друга по имени) был человек справедливый. Праведных судит Бог. У меня душа болит не за дураков и не за откровенных мерзавцев, сам понимаешь! Святые ведь зачем-то существуют? За таких искупительную дань заплатят они, им это по плечу. А вот…

Руки его были сложены на коленях, на земле лежала большая тень от широких плеч.

— Мы на войне, что делать? Врагу нужно смотреть в лицо — встретить его лицом к лицу и «устоять», как он говорил, помнишь? Таков был его девиз. Если на войне оступится рядовой солдат в третьем или четвертом эшелоне, какой-нибудь

погонщик мулов в обозе, это не имеет такого уж большого значения, правда ведь? Я уж не говорю о каком-нибудь штатском обормоте, которому только и заботы, что читать свою газету, какое до него дело генералиссимусу? Но есть ведь и линия фронта. А в авангарде грудь это грудь. Тут каждая грудь на счету. Существуют Святые. Я называю Святыми тех, кому дано больше других. Богатых. Я всегда считал, что, если бы мы умели взглянуть на человеческое общество нездешним взглядом, это дало бы нам ключ ко многим тайнам его истории. В конце концов человек ведь сотворен по образу и подобию Бога, и когда он пытается создать порядок, отвечающий его природе, он, очевидно, пусть и неумело, копирует другой, истинный порядок. Разделение на бедных и богатых должно отвечать какому-то великому всеобщему закону. Богатый — в глазах церкви покровитель бедного, — словом, его старший брат! Заметь, нередко он играет эту роль непреднамеренно, это просто результат соотношения экономических сил, как они выражаются. Обанкротился какой-нибудь миллионер — и вот уже тысячи людей выброшены на улицу. Отсюда нетрудно себе представить, что происходит в незримом мире, если споткнется один из тех богачей, о которых я

говорю, из тех, в чьем распоряжении божья благодать! Беспечность посредственности — пустяк. Беспечность Святых — вот соблазн! Нужно быть безумцем, чтобы не понимать, что единственное оправдание неравенства потустороннего удела — это риск. Наш риск. Твой, мой.

Он сидел выпрямившись, не двигаясь. Увидев его на этой скамье, в этот зимний день, освещенный холодным послеполуденным солнцем, любой прохожий принял бы его за бравого священника, разглагольствующего, не без похвальбы, о пустяшных делах своего прихода перед почтительным молодым собратом, который ловит каждое его слово.

— Запомни то, что я тебе скажу: все зло пошло, возможно, от его презрения к посредственности. «Ты ненавидишь людей посредственных», говорил я ему. Он не возражал, потому что был, повторяю, человеком справедливым. А тут, понимаешь ли, нужна осторожность. Человек посредственный — ловушка Дьявола. Посредственность чересчур сложна для нас, она — божья забота. А пока суд да дело, человек посредственный должен был бы найти прибежище в нашей тени, у нас под крыльями. Прибежище, теплый кров они, бедняги, нуждаются в тепле! «Если бы

ты действительно искал Господа нашего, ты его нашел бы», — говорил я ему также. Он отвечал мне: «Я ищу Бога там, где больше шансов его найти, — среди бедных». На тебе! Да только бедные — одного с ним поля ягода, в общем — бунтари, гордецы. Я как-то спросил его: «А если Спаситель поджидает вас как раз в облике одного из тех, кого вы так презираете, ведь он берет на себя и освящает все наши слабости, за исключением греха. Какой-нибудь малодушный — это нередко всего лишь обездоленный, который раздавлен гигантской социальной машиной, как крыса балкой, какой-нибудь скупец — это человек, снедаемый тоской от сознания собственного бессилия и гложимый боязнью „остаться на мели“. Нам человек кажется безжалостным, а на самом деле он просто патологически страшится бедняка — встречается и такое, — испытывает по отношению к нему ужас, столь же необъяснимый, как панический испуг некоторых неврастеников перед мышью или пауком. Ищете ли вы Спасителя среди людей такого рода? — спросил я его. — И если не ищете, на что вы можете жаловаться? Это вы сами его проглядели…» Он, может, и правда проглядел его.

Сегодня ночью (точнее, едва стемнело) кто-то

опять заявился в церковный сад. Мне кажется, этот человек уже собирался дернуть за звонок, когда я внезапно открыл слуховое окошко, которое как раз над окном комнаты. Шаги поспешно удалились. Может, это кто-нибудь из детей?

Только что был у меня г-н граф. Предлог: дождь. Вода так и хлюпала в его высоких сапогах. Три или четыре подстреленных кролика лежали кучкой кровавой грязи и серой шерсти на дне охотничьей сумки, на это невозможно было смотреть. Он повесил ее на стену, и все время, пока он со мной разговаривал, я видел сквозь веревочное плетенье, среди вздыбившейся шерсти, один глаз, еще влажный, очень тихий, уставившийся на меня.

Он попросил прощенья за то, что переходит к делу сразу, без обиняков, с армейской откровенностью. Сюльпис якобы слывет в деревне человеком извращенным, с чудовищными привычками. В полку он, по выражению г-на графа, «едва не попал под трибунал». Порочен и лжив, таков общий приговор.

Как всегда, это только слухи, истолкование каких-то его поступков, ничего точного. Известно, например, что Сюльпис прослужил несколько месяцев у одного колониального чиновника на

пенсии, человека весьма сомнительной репутации. Я ответил, что хозяев не выбирают. Г-н граф пожал плечами и бросил на меня сверху вниз короткий, совершенно недвусмысленный взгляд: «Что он — дурак? Или только прикидывается?»

Признаюсь, мое поведение могло его удивить. Он ждал, полагаю, протестов. Я остался невозмутим, не решаюсь сказать — безразличен. Мне хватает своего. Я слушал, впрочем, его речь со странным ощущением, что она обращена к кому-то другому, не ко мне — к тому человеку, которым я был и которого уже нет. Его слова опоздали, он сам тоже опоздал. Его сердечность показалась мне на этот раз деланной, даже вульгарной. Не нравится мне и его взгляд, который так и рыщет повсюду и, обежав с поразительным проворством все углы комнаты, возвращается ко мне, чтобы впериться мне прямо в глаза.

Я только отобедал, кувшин с вином был еще на столе. Г-н граф наполнил стакан, без всякого стеснения, и сказал мне: «Вы пьете слишком терпкое вино, господин кюре, это вредно. Кувшин нужно держать в чистоте, мыть кипятком».

К вечеру, как обычно, пришел Митонне. У него побаливает бок, он жалуется, что ему трудно дышать, и сильно кашляет. Я собирался поговорить

с ним, но мне вдруг стало противно, меня сковал какой-то внутренний холод, я предоставил ему заниматься своим делом (он очень умело заменяет прогнившие плашки паркета) и вышел немного прогуляться. Вернулся я, так и не приняв, конечно, никакого решения. Я открыл дверь в гостиную. Занятый циклевкой своих плашек, он разумеется, не мог меня ни слышать, ни видеть. Тем не менее он внезапно обернулся, и наши взгляды встретились. Я прочел в его глазах удивленье, потом настороженность, потом ложь. Не ту или иную конкретную ложь, но склонность ко лжи. Это напоминало мутную воду, тину. Наконец — я все еще пристально смотрел на него, это длилось одно мгновение, может, несколько секунд, не знаю — из-под грязи проступил подлинный цвет глаз. У меня нет слов, чтобы описать это. Губы его задрожали. Он подобрал свои инструменты, тщательно завернул их в кусок холста и вышел, не проронив ни звука.

Я должен был бы удержать его, расспросить, но не мог. Не мог оторвать глаз от его бедного силуэта на дороге. Он, впрочем, мало-помалу выпрямился и, проходя мимо дома Дега, приподнял свою каскетку с отчаянной лихостью. Двадцатью шагами дальше он, должен быть, принялся на-

свистывать одну из своих излюбленных песенок, ужасных, чувствительных песенок, тексты которых он тщательно переписывает в тетрадочку.

Я вернулся к себе в комнату совершенно без сил — невероятно усталый. Не понимаю, что произошло. Внешне застенчивый, Сюльпис на самом деле скорее нагл. К тому же за словом в карман не лезет и этим злоупотребляет. Я поражен, что он даже не попытался оправдаться — задача в его глазах нетрудная, поскольку он, вне всякого сомнения, не слишком высоко ставит мое знание жизни и способность судить о людях. Да и как мог он догадаться? Я, кажется, и словом не обмолвился, в моем взгляде, безусловно, не было ни презрения, ни гнева… Вернется ли он?

Я прилег на кровать, чтобы немного прийти в себя, и тут что-то вдруг словно оборвалось во мне, в моей груди, меня стало трясти, и сейчас, когда я пишу это, Дрожь все еще не оставила меня.

Нет, я не потерял веры! Да и само это выражение «потерять веру», точно она кошелек или связка ключей, всегда мне казалось глуповатым. Оно, должно быть, почерпнуто из лексикона добропорядочного буржуазного благочестия, унаследованного от унылых священнослужителей XVIII века, которые отличались нестерпимой

болтливостью.

Веры не теряют, она просто перестает наполнять жизнь. Именно поэтому старые духовники не ошибаются в своем скептическом отношении к такого рода интеллектуальным сомнениям, куда более редким, без сомнения, чем это утверждают. Но когда образованный человек мало-помалу, незаметно для себя самого, загоняет свою веру в дальний закоулок мозга, где он может найти ее только усилием мысли, памяти, это уже не вера. Даже если он сохраняет нежность к тому, чего уже нет, но что могло бы быть, невозможно называть верой этот абстрактный символ, не больше похожий на веру, если воспользоваться знаменитым сравнением, чем созвездие Лебедя на лебедя.

Я не потерял веры. Жестокость испытания, его необъяснимая, ошеломительная внезапность могли, конечно, потрясти мой рассудок, мои нервы, иссушить вдруг во мне — возможно, и навсегда, как знать? — дар молитвы, переполнив меня угрюмой покорностью, еще более ужасной, чем великие порывы отчаяния, его безмерные падения, — моя вера неколебима, я это чувствую. Но мне не удается ее настичь. Я не нахожу ее ни в моей бедной голове, неспособной правильно

связать двух мыслей и непрестанно перебирающей почти бредовые образы, ни в моем сердце, ни даже в моей совести. Иногда мне чудится, что она укрылась, что она продолжает существовать там, где мне, конечно уж, не пришло бы на ум ее искать, — в моей плоти, в моей жалкой плоти, в моей крови и плоти, в моей бренной, но принявшей крещенье плоти. Мне хотелось бы найти слова, чтобы выразить эту мысль возможно проще, возможно непосредственней. Я не потерял веры, потому что Господь в неизреченной своей милости уберег меня от порока. Да, я знаю, такого рода доказательство насмешило бы философов! Разумеется, какому бы безудержному распутству ни предавался человек в здравом уме, это не может замутить его рассудок до такой степени, чтобы он усомнился, скажем, в правильности некоторых аксиом геометрии. Для этого нужно впасть в безумие. Но что, в конце концов, известно нам о безумии? Что известно нам о похоти? Что известно нам о их скрытой взаимосвязи? Похоть — таинственная рана в лоне рода человеческого. Мало сказать — в лоне! В самом роднике жизни. Смешивать похоть, владеющую человеком, с желанием, сближающим мужчину и женщину, все равно что называть одним именем опухоль и

орган, который она пожирает и форму которого она подчас ужасающе воспроизводит при своем уродливом разрастании. Человечество изо всех сил старается прикрыть эту постыдную рану, используя пленительность искусства. Можно подумать, что оно в каждом новом своем поколении страшится бунта человеческого достоинства, отчаяния отреченья от этого зла существ еще юных, еще им не затронутых… С какой удивительной заботливостью человечество бдит над своими детьми, стараясь заранее смягчить чарующими образами унизительность первого опыта, который почти неотвратимо ставит человека в смешное положение! И когда, несмотря на все эти усилия, раздается безотчетная жалоба юного величия, попранного, оскорбленного бесами, как ловко человечество заглушает этот вопль смешками! Какая умелая дозировка ума и чувства, жалости, нежности, иронии, какая сообщническая бдительность окружает отрочество! Даже старые чайки не так суетятся вокруг птенцов при первом их полете. И если отвращение слишком уж сильно, если драгоценное юное создание, над которым еще бдят ангелы, охвачено тошнотой, если его выворачивает наизнанку, какие заботливые руки протягивают ему золотой таз,

вычеканенный художниками, разукрашенный поэтами, меж тем как оркестр наигрывает под сурдинку, заглушая шепотом листвы и лепетом струй икоту гадливости.

Но для меня мир так не раскошеливался… Бедняк уже в двенадцать лет понимает многое. Да и понимать было не обязательно. Я видел. Похоть не понимают, ее видят. Я видел эти лица, остервенелые, внезапно каменевшие в непередаваемой улыбке. Боже мой! Как же люди не замечают, что маска наслаждения, отбросившего ханжеские прикрытия, — это, в сущности, маска тоскливого страха? О, эти алчущие лица, они до сих пор преследуют меня в ночных кошмарах, одну ночь из десяти примерно я вижу во сне эти лица, пронзенные болью! Сидя на корточках позади стойки в распивочной, — я вечно вылезал из темной пристроечки, где, как полагала тетка, я учил в это время уроки, — я смотрел на них, они возникали надо мной в колеблющемся свете слабой лампы, свисавшей на медном проводе, то и дело задеваемом головой какого-нибудь пьяницы, их тени плясали на потолке. Как ни мал я был, я хорошо отличал один хмель от другого, я хочу сказать, что только то, другое, опьянение и внушало мне страх. Достаточно было появиться

молодой служанке несчастной хромоногой девушке, серой, как пепел, — и отупелые глаза вдруг приобретали такую пронзительную целеустремленность, что я до сих пор не могу хладнокровно вспомнить об этом… Знаю, скажут — это детские впечатления, и сама необыкновенная острота такого рода воспоминаний, ужас, который они все еще мне внушают столько лет спустя, как раз заставляет взять их под подозрение… Пусть так! Хотел бы я, чтобы светские люди увидели это сами! Не думаю, что можно многое постичь, глядя на лица чересчур утонченные, чересчур чуткие, на лица, которые умеют притворяться и прячутся в минуту наслаждения, как прячутся звери в свой смертный час. Я, конечно, не отрицаю, что тысячи людей распутничают всю жизнь и до самого порога старости — а иногда и много позже — не могут утолить ненасытного отроческого любопытства. Что можно постичь, глядя на эти легкомысленные создания? Они — игрушка бесов, возможно, но не подлинная их добыча. Кажется, что Бог, с какой-то таинственной целью, не попустил их действительно загубить свою душу. Вероятные жертвы дурной наследственности, проступившей в них карикатурными, но безобидными чертами, они словно

дети, отставшие в своем развитии, которые, хоть и делают под себя, но при этом не порочны, и провиденье дарует им своего рода младенческий иммунитет… Ну и что? Какой же вывод? Разве существование безобидных маньяков позволяет отрицать, что существуют и опасные безумцы? Моралист оценивает, психолог анализирует и классифицирует, поэт музицирует, живописец играет красками, как кошка своим хвостом, паяц хохочет, а что толку! Повторяю, безумье так же непонятно людям, как и разврат, и общество защищается против них обоих, не признаваясь в том открыто, с тем же подспудным страхом, с тем же тайным стыдом и почти одними и теми же средствами… Ну а что, если безумье и похоть нечто единое?

Какой-нибудь философ, в комфортабельном окружении своих книг, естественно, судит об этом по-иному, чем священник, вдобавок священник сельский. Полагаю, немного найдется духовников, которыми не овладевало бы с годами ощущение тягостного однообразия исповедей, своего рода головокружение. И не столько даже от того, что они слышат, сколько от того, о чем догадываются, от того, что скрыто за скупыми словами, всегда одними и теми же, угнетающе

скудоумными, если их читаешь, но кишащими, как зловонные могильные черви, когда эти слова тебе нашептывают в тиши и мраке исповедальни. Поэтому-то нас и преследует образ гноящейся раны, из которой сочится самая субстанция жалкого рода человеческого. Какие великие дела мог бы творить мозг человека, не отложи в нем свою личинку эта ядовитая муха.

Нас, священников, обвиняют, нас всегда будут обвинять — это ведь так легко! — в том, что мы в глубине души питаем завистливую, ханжескую ненависть к мужской силе; однако всякому, хоть немного соприкоснувшемуся с грехом, ясно, что похоть непрерывно угрожает заглушить своими плевелами и плодовитой паразитической мерзостью и мужскую силу, и ум. Неспособная к созиданию, она оскверняет в самом зародыше хрупкий росток человечности; в ней, возможно, сокрыто начало всех изъянов нашего рода, и когда где-нибудь на извилистой тропинке дикого леса, глубины которого нам неведомы, мы сталкиваемся с нею лицом к лицу, когда застигаем ее в неприкрытом виде, такой, какой она вышла из рук искусителя, крик, вырывающийся из нашей утробы, это не просто вопль ужаса, но и проклятье: «Ты, только ты спустила с цепи смерть!»

Ошибка многих священников, скорее ревностных, чем мудрых, в том, что они подозревают людей в недобросовестности: «Вы не веруете, потому что вера стеснительна». Как часто мне доводилось слышать нечто подобное! Не правильнее ли было бы сказать: непорочность заповедана нам не в наказание, она — одно из таинственных, но очевидных, подтвержденных жизненным опытом условий того, данного нам свыше самопознания, познания себя в Боге, которое и есть вера. Порочность не разрушает этого познания, но уничтожает потребность в нем. Человек не верует, потому что утратил жажду веровать. Ты больше не стремишься познать себя. Сокровенная истина, твоя истина, тебя уже не интересует И сколько бы ты ни твердил, что догмы, которые ты еще вчера исповедовал, все еще присутствуют в твоем сознании, но только разум их не приемлет, это дела не меняет! В действительности обладаешь лишь тем, чего жаждешь, ибо для человека не существует абсолютного, тотального обладания. Ты больше не жаждешь себя. Ты больше не жаждешь радости. Любить себя можно только в боге. И ты больше никогда не полюбишь себя, ни в этом мире, ни в том — во веки веков.

(Внизу, на полях этой страницы, можно разобрать многократно перечеркнутые, но все еще доступные прочтению строки: «Я писал это в тоске, в глубоком смятении сердца и чувств. Буря мыслей, образов, слов. Душа нема. Бог нем. Безмолвие».)

Ощущение, что это еще не самое страшное: настоящее искушение — то, которого я жду, — еще на далеких подступах, оно гряде г, медленно надвигаясь на меня, возвещая о себе этими бредовыми стенаниями. И бедная моя душа тоже его ждет. Она нема. Помрачение тела и души.

(Внезапность, ошеломительный характер несчастья, обрушившегося на меня. Дар молитвы покинул меня без всякого предварительного надрыва, сам собой, как падает плод…)

Ужас пришел потом. Я понял, что сосуд разбит, увидев, что руки мои пусты.

Я хорошо знаю, что такого рода испытание не ново. Врач сказал бы мне, без сомнения, что я просто страдаю нервным истощением, что нелепо питаться только хлебом и вином. Но прежде всего: я отнюдь не чувствую себя истощенным, напротив. Мне лучше. Вчера я, можно сказать, почти пообедал: картошка, масло. К тому же я без труда справляюсь со своей работой. Господь

ведает, как я подчас жажду побороть себя! Мне кажется, что я вновь обрету мужество. Иногда боли в животе еще возвращаются. Но теперь они застигают меня врасплох — я уже не живу в непрерывном ожидании, как прежде…

Я знаю также, сколько рассказывают всякого — правдивого и ложного — о душевных тяготах святых. Увы, сходство здесь чисто внешнее! Святым не приходилось приспосабливаться к своему бремени, а я уже чувствую, как приноравливаюсь к своему. Если бы я уступил искушению пожаловаться кому бы то ни было, порвалась бы последняя нить, связующая меня с Богом, я был бы сломлен, я погрузился бы, мне кажется, в вечное безмолвие.

И все же вчера я дошел почти до самого Торси. Мое одиночество сейчас так беспредельно, так поистине превосходит силы человеческие, что мне вдруг захотелось пойти помолиться на могилу старого Дельбанда. Потом я вспомнил о его протеже — об этом Ребатю, с которым не знаком. В последнюю минуту силы меня оставили.

Визит м-ль Шанталь. Сегодня вечером я не чувствую себя способным писать об этом разговоре, перевернувшем мне душу… Никуда я не гожусь! Я совершенно не разбираюсь в людях. Никогда, на-

верно, так и не буду в них разбираться. Ошибки, которые я совершаю, не идут мне впрок: уж слишком они повергают меня в смятенье. Я наверняка принадлежу к тем слабым, ничтожным людям, которые полны добрых намерений, но всю жизнь колеблются между неведением и отчаянием.

Утром, отслужив обедню, помчался в Торси. Г-н торсийский кюре болен и лежит у одной из своих племянниц в Лилле. Вернется не раньше, чем через восемь, десять дней. До тех пор…

Чувствую, что писать бесполезно. Я не мог бы доверить эту тайну бумаге, не поднялась бы рука. Да, вероятно, и не имею права.

Мое разочарование, когда я узнал об отъезде г-на кюре, было столь велико, что я вынужден был прислониться к стене, чтобы не упасть. Экономка смотрела на меня скорее с любопытством, чем с жалостью, в последние недели я ловил уже не раз такие взгляды, и у самых разных людей — так смотрела на меня г-жа графиня, Сюльпис и многие другие… Можно подумать, что я внушаю какой-то страх.

Прачка Марсьял развешивала белье во дворе, и я, немного задержавшись, чтобы передохнуть, отчетливо расслышал разговор женщин обо мне. Одна из них сказала более громко и с выраже-

нием, от которого краска бросилась мне в лицо: «Бедняга!» Что им известно?

Ужасный для меня день. Хуже всего то, что я не чувствую себя способным разумно, хладнокровно оценить факты, и их подлинный смысл, возможно, от меня ускользает. Конечно, у меня уже бывали моменты растерянности, подавленности. Но тогда я, не прилагая для этого никаких усилий, ощущал в себе тот душевный покой, в котором, точно в зеркале, отражались события и люди — как бы прозрачную глубину вод, с поверхности которой глядел на меня их образ. Теперь этот источник замутился.

Есть что-то странное — возможно, постыдное? — в том, что, в то время как молитва, по моей собственной вине, конечно, почти не приносит мне облегчения, за этим столом, перед этими листами белой бумаги, я от части прихожу в себя.

О, как бы мне хотелось, чтобы это был только сон, дурной сон!

Из-за отпевания г-жи Ферран мне пришлось отслужить сегодня раннюю обедню в шесть утра. Мальчик-служка не пришел, я считал, что в церкви нет никого, кроме меня. В этот час, в это время года все кругом тонет в сумраке — глаз едва различает ступеньки, ведущие на хоры.

Вдруг я услышал, совершенно отчетливо, слабый шорох четок, соскользнувших с дубовой скамьи на плиты пола. И больше ни звука. Произнося отпуст, я едва смел поднять глаза.

Ее тонкое лицо было еще более измученным, чем позавчера, и у рта — эта складка, такая презрительная, такая жесткая. Я сказал ей:

— Вам отлично известно, что я не могу принять вас здесь, уходите!

Ее взгляд меня испугал, а я ведь никогда не считал себя трусом. Господи! Сколько ненависти в ее голосе! А взгляд по-прежнему горд, в нем нет стыда. Значит, можно ненавидеть, не чувствуя стыда.

— Мадемуазель, — сказал я, — я сделаю то, что обещал.

— Сегодня?

— Да, сегодня.

— Потому что завтра, господин кюре, будет уже поздно. Она знает, что я говорила с вами, она знает все. Она хитра, как зверь! Я раньше ей доверяла: к ее глазам привыкаешь, они кажутся добрыми. Теперь я их выцарапала бы, эти глаза, да, я раздавила бы их ногой, вот так!

— Говорить такое в двух шагах от святого причастия, неужто вы совсем не боитесь Бога!

— Я убью ее, — сказала она, — я убью ее или себя. А вы потом объясняйтесь по этому поводу с вашим Господом Богом!

Она произносила эти безумные слова, не повышая голоса, напротив, минутами я едва мог ее расслышать И видел я тоже плохо, почти не различал черт лица. Касаясь одной рукой стены, держа в другой свою горжетку, свисавшую вдоль бедра, она склонилась ко мне, и ее длинная тень на плитах пола изогнулась дугой. Господи, как же ошибаются люди, считая, что исповедь опасно приближает нас к женщинам. Лгуньи или одержимые внушают нам скорее жалость; самоуничижение, которому предаются другие, чистосердечные, заразительно. Но только сейчас я понял тайное могущество этого пола в истории, его роковую власть. Взбешенный мужчина выглядит сошедшим с ума. А бедные девушки из народа, которых я знал в детстве, с их жестикуляцией, воплями, гротескным надрывом, были мне скорее смешны. Я не представлял такой немногословной, но ломающей все препоны ярости, такой безудержной тяги всей женской сути ко злу, к ненависти, к сраму… Это было почти прекрасно, в этом была какая-то нездешняя — но и не поту сторонняя — красота, красота мира более

древнего, быть может, мира до грехопадения? Еще до грехопадения ангелов.

Я потом старался, как мог, отогнать от себя эту мысль. Она нелепа, опасна. Сначала она не показалась мне прекрасной, да я, впрочем, ничего и не формулировал так четко. Лицо м-ль Шанталь было совсем рядом с моим. Заря медленно занималась, проникая сквозь грязные окна ризницы, зимняя, невыносимо печальная заря. Молчание, конечно, длилось не долго, столько, сколько нужно, чтобы прочесть «Salve Regina» [11] (слова «Salve Regina», такие прекрасные, такие чистые, действительно невольно сорвались с моих уст).

Она, должно быть, заметила, что я молюсь, и гневно топнула ногой. Я взял ее за руку, слишком податливую, едва-едва отвердевшую в моей руке. Наверно, я стиснул ее сильнее, чем мне казалось. Я сказал ей:

— Прежде всего, преклоните колени!

Она слегка пригнула колени перед святым престо лом. Опершись на него руками, она смотрела на меня с вызывающим и в то же время полным невыразимого отчаяния выражением.

— Говорите: «Господи, в эту минуту я способна

---

[11] Примечания: 11
Радуйся, Царице (лат.).

толь ко оскорбить тебя, но это не я, это бес, который вселился в мое сердце».

Она все же повторила это слово за словом, как ребенок, читающий молитву. Да она же в конце концов еще совсем девочка! Длинная горжетка упала на пол, и я наступил на мех. Внезапно она распрямилась, и, словно вырвавшись от меня, обратясь лицом к алтарю, сказала сквозь зубы:

— Можешь проклясть меня, если хочешь, мне плевать!

Я сделал вид, что не слышу. Какой толк?..

— Мадемуазель, — снова заговорил я, — я не стану продолжать этого разговора здесь, посреди церкви. Есть только одно место, где я могу вас выслушать, — и я тихонько подтолкнул ее к исповедальне. Она сама опустилась на колени.

— У меня нет желанья исповедаться.

— Я и не прошу вас об этом. Подумайте только о том, сколько признаний в постыдных поступках слышали эти деревянные перегородки, они, можно сказать, пропитаны ими насквозь. Хоть вы и благородная барышня, здесь ваша гордыня грех, ничем не лучше других, еще одна грязная капля на куче грязи.

— Хватит об этом, — сказала она. — Вы отлично знаете, что я хочу только справедливости. И пле-

вала я на грязь. Грязь — это униженье, в котором я живу. С тех пор как эта гнусная женщина вошла в дом, я проглотила больше грязи, чем хлеба.

— Это слова, вычитанные из книг. Вы — ребенок и должны говорить как ребенок.

— Ребенок! Я уже давно не ребенок. Я уже узнала все, что только можно узнать. Мне хватит этого на всю жизнь.

— Успокойтесь!

— Я спокойна. Желаю вам такого же спокойствия. Я слышала их сегодня ночью. Я стояла как раз у них под окном, в парке. Они теперь не дают себе труда даже задернуть шторы. (Она рассмеялась ужасным смехом. Поскольку она поднялась с колен, ей пришлось сильно нагнуться, прижав лоб к перегородке, да и гнев душил ее.) Мне хорошо известно, что они сговорились во что бы то ни стало выжить меня. На той неделе, во вторник, я еду в Англию. У мамы там кузина, и мама считает этот план весьма практичным, пристойным… Пристойным! Лопнуть от смеха! Но она верит всему, что они ей говорят, клюет на все их выдумки, как рыба на наживку. Тьфу!..

— Ваша матушка… — начал я.

Она ответила мне словами почти нецензурными, не решаюсь даже их воспроизвести. Она

говорила, что несчастная женщина не сумела отстоять свое счастье, свою жизнь, что она глупа и малодушна.

— Вы подслушиваете под дверьми, — снова заговорил я, — подглядываете в замочные скважины, шпионите, и это вы — благородная барышня, такая гордая! Я всего лишь бедный крестьянин, два года моего детства прошли в скверной распивочной, в которую вы отказались бы даже ногой ступить, и все же я не стал бы вести себя как вы, пусть бы даже от этого зависела сама моя жизнь.

Она выпрямилась резким движением и стояла теперь перед исповедальней, опустив голову, лицо ее было по-прежнему каменным. Я закричал:

— На колени! Преклоните колени!..

Она снова подчинилась.

Позавчера я упрекал себя в том, что принял всерьез ее слова, которые были, возможно, лишь измышлениями темной ревности, нездоровых грез, кошмаров. Нас так упорно предостерегали от лукавства тех, кого наши древние трактаты о морали странным образом именуют «лицами иного пола»! Мне казалось, я вижу, как пожимает плечами г-н торсийский кюре. Но тогда я сидел за своим столом, размышлял в одиночестве о

застрявших в моей памяти словах, интонация которых была безвозвратно утеряна. Тогда как теперь передо мной было это неповторимое лицо, искаженное не страхом, но каким-то более глубоким, рвущимся из нутра смятением. Да, мне случалось видеть такие изменившиеся черты, но только в минуты агонии, и я, естественно, приписывал это всегда причинам самым обыденным, чисто физическим. Говорят же врачи о «маске агонии». Врачам свойственно ошибаться.

Что сказать, что сделать, чтобы помочь этому израненному существу, самый ток жизни которого, казалось, иссякал от какого-то невидимого внутреннего увечья? Что то подсказывало мне, что я должен подождать еще несколько секунд, помолчать, пойти на такой риск. К тому же я обрел немного сил для молитвы. Она тоже безмолвствовала.

И тут произошло нечто странное. Я не пытаюсь объяснить, я просто рассказываю все, как было. Я сейчас до такой степени измучен, нервен, что, возможно, мне это просто померещилось. Короче, я смотрел в ту темную дыру, в которой даже при дневном свете трудно различить черты лица, и мало-помалу, постепенно лицо м-ль Шанталь стало проступать все яснее. Этот образ стоял пе-

ред моими глазами, чудесно меняясь, и я замер, словно он мог исчезнуть от малейшего моего движенья. Разумеется, я тогда не отдавал себе в этом отчета, я осознал все много позже. Я спрашиваю себя, не было ли связано это своего рода виденье с моей молитвой, быть может, это и была сама моя молитва? Моя молитва была печальна, и образ тоже был печален, как она. Я с трудом мог вынести эту печаль, и в то же время я жаждал разделить ее, принять на себя всю ее целиком, чтобы она вошла в меня, наполнила мое сердце, мою душу, мои кости, все мое существо. Она заглушала во мне глухое бормотание невнятных вражеских голосов, не умолкавших ни на минуту последние две недели, она восстанавливала былую тишину, блаженную тишину, в которой должен заговорить Бог — говорит Бог…

Я вышел из исповедальни, она поднялась на ноги еще раньше; мы оказались снова лицом к лицу, и я не узнал своего виденья. Она была невероятно бледна, почти до смешного. Руки ее дрожали.

— Я больше не могу, — сказала она совершенно по-детски. — Почему вы так на меня смотрели? Оставьте меня в покое!

Глаза ее были сухими, горячечными. Я не на-

шелся, что ответить, и молча проводил ее до дверей церкви.

— Если бы вы любили вашего отца, вы не были бы в этом ужасном состоянии, не бунтовали бы. Разве это любовь?

— Я больше не люблю его, — ответила она, — я, наверно, его ненавижу, я всех их ненавижу.

Слова шипели на ее губах, и после каждой фразы голос прерывался какой-то икотой, икотой отвращения, усталости, не знаю.

— Не считайте меня дурочкой, — сказала она гордо, самонадеянно. — Моя мать воображает, что я, как она выражается, не знаю жизни. Но я не слепая. Наши слуги настоящие обезьяны, а она считает их безупречными, «людьми, на которых можно положиться». Она ведь сама их выбрала, вы же понимаете! Девочек следовало бы воспитывать в пансионе. Короче, для меня уже в десять лет, а может, и раньше, не было секретов. Это меня ужасало, возбуждало во мне жалость, но я все принимала, как принимаешь болезнь, смерть, многое другое — отвратительное, но неизбежное, чему вынужден покориться. Однако был еще отец. Отец был для меня все: учитель, король, бог — настоящий друг. Когда я была девочкой, он всегда со мной беседовал, обращался со мной почти

как с равной, я носила на груди, в медальоне, его фотографию и прядь волос. Мать никогда его не понимала. Моя мать…

— Не говорите о вашей матери. Вы ее не любите. И даже…

— Не бойтесь, договаривайте до конца, — да, я ее ненавижу, я всегда ее нена…

— Замолчите! Увы! Во всех домах, даже христианских, водится незримое зверье, бесы. И самый свирепый из них поселился в вашем сердце, давно уже, только вы об этом не ведали.

— Тем лучше, — сказала она. — Я хотела бы, чтобы этот зверь был гнусен, омерзителен. Я потеряла уважение к отцу. Я больше ему не верю, а на остальное мне плевать. Он мне изменил. Дочери можно изменить, как изменяют жене. Это не одно и то же, это хуже. Но я отомщу. Я удеру в Париж, я себя обесчещу и напишу ему: «Вот что вы со мной сделали!» И он будет страдать, как страдаю я сейчас.

Я на минуту задумался. Мне казалось, я читал на ее устах, пока она говорила, другие слова, которые не были произнесены, но одно за другим вписывались огненными буквами в мое сознание. Я вскричал, не помня себя:

— Нет, вы этого не сделаете. Вас искушает иное,

я знаю!

Она так задрожала, что вынуждена была опереться на стену обеими руками. И тут опять случилось нечто такое, о чем я тоже только рассказываю, не пытаясь объяснить. Мне кажется, мои слова были сказаны наугад, по наитию, но в то же время я был уверен, что не ошибаюсь:

— Отдайте мне письмо, оно здесь, у вас в сумке. Сию минуту отдайте!

Она даже не пыталась возражать, только глубоко вздохнула и, пожав плечами, протянула мне лист бумаги.

— Вы сам дьявол! — сказала она.

Мы вышли из церкви почти спокойным шагом, но я еле держался на ногах, сгибаясь от боли в животе, о которой в последнее время почти забыл думать. На этот раз она была сильнее, ужасней, чем когда-либо прежде. Мне пришло на ум одно выражение бедного старого доктора Дельбанда: «Сверлящая боль». Она меня и в самом деле сверлила. Я вспомнил барсука, которого г-н граф у меня на глазах пригвоздил к земле рогатиной: пронзенный насквозь, он издыхал в канаве, оставленный даже собаками.

Мадемуазель Шанталь, впрочем, не обращала на меня никакого внимания. Она шагала между

могилами, опустив голову. Я едва осмеливался смотреть на нее, письмо я держал в руке, и время от времени она бросала на него странные, косые взгляды. Мне было трудно поспевать за ней, каждый шаг стоил мне усилий, я до крови закусил губы, чтобы не застонать. Наконец я рассудил, что упорствовать далее в борьбе с болью было бы гордыней, и попросил м-ль Шанталь остановиться на минуту, потому что у меня больше нет сил.

Сейчас я, возможно, впервые глядел в лицо женщине. Нет, разумеется, я никогда сознательно не избегал этого, и случалось, даже находил какое-нибудь женское лицо приятным, но, хотя я и не разделяю чрезмерной щепетильности некоторых моих товарищей по семинарии, мне слишком хорошо известно людское лукавство, поэтому обычно я сдержан, как и подобает священнику. Но сегодня верх взяло любопытство. Оно было, думаю, сродни любопытству солдата, рискующего вылезти из своего окопа, чтобы увидеть наконец врага в лицо, или еще… Мне вспоминается, как лет семи-восьми я сопровождал бабушку к ее умершему кузену и, оставшись в комнате один, приподнял саван, чтобы вот так взглянуть на лицо покойника.

Есть лица чистые, излучающие чистоту. Таким

было некогда, без сомнения, и лицо, которое я видел перед собой. Но сейчас в нем появилось что-то замкнутое, непроницаемое. Чистоты уже не было, однако ни гнев, ни презрение, ни стыд еще не смогли стереть с него таинственного знака. Они только корчили рожи. Необычайное, почти пугающее благородство этих черт говорило о силе зла, греха, чуждой ей силе… Боже! Неужто мы так ничтожны, что бунт гордой души может обернуться против нее самой!

— Вы напрасно стараетесь, — сказал я ей (мы находились в самой глубине кладбища, неподалеку от калиточки, которая выходит на Казимиров загон, в запущенной части погоста, где трава так высока, что могилы, заброшенные уже на протяжении целого столетия, под ней совсем неразличимы), — другой, может, и вовсе не стал бы вас слушать. Я вас выслушал, пусть так. Но я не принимаю вашего вызова. Бог вызовов не принимает.

— Верните мне письмо, и я буду считать, что мы квиты, — сказала она. Я сама сумею себя защитить.

— Защитить от кого, от чего? Зло сильнее, чем вы, дочь моя. Или вас настолько обуяла гордыня, что вы считаете себя недосягаемой?

— Во всяком случае, для грязи, если я этого захочу, — сказала она.

— Вы сами из грязи.

— Слова! Может, ваш Бог теперь запрещает любить своего отца?

— Не произносите слова «любовь», — сказал я, — вы утратили на нее право, да, наверно, и способность. Любовь! Миллионы людей во всем мире просят ее у Господа Бога, готовы выстрадать тысячу смертей, чтобы в их иссушенный рот упала капля воды, той воды, в которой не было отказано самаритянке, но о которой они молят втуне. Вот я…

Я вовремя остановился. Однако она, должно быть, поняла, мне показалось, она потрясена. Правда, хотя я и говорил очень тихо — а может, именно поэтому — усилие, которым я держал себя в руках, вероятно, сообщило моему голосу особое выражение. Я чувствовал, что он как бы дрожит у меня в груди. Эта молодая девушка, наверно, сочла меня безумным? Она старалась не встречаться со мной глазами, и мне чудилось, я вижу, как ширятся темные провалы ее щек.

— Да, — снова заговорил я, — сохраните для других оправданья такого рода. Я всего лишь бедный священник, недостойный и несчастный. Но

я знаю, что такое грех. А вы не знаете. Все грехи похожи, все они — единый грех. Я перед вами не мудрствую. Эти истины доступны самому последнему христианину, буде он захочет воспринять их от нас. Мир греха противостоит миру благодати, как опрокинутое отражение пейзажа на глади глубокого и темного водоема. Грешники сопричастны друг другу. Их притягивает, объединяет, сплачивает, слепляет взаимная ненависть, взаимное презрение, и грядет день, когда все они предстанут перед взором Всевечного озером липкой грязи, по которому втуне прокатываются гигантские валы божественной любви, этот океан живого ревущего огня, некогда оплодотворивший хаос. Кто вы такая, чтобы осудить чужой проступок? Тот, кто осуждает проступок, с ним соединяется, совокупляется. Вы ненавидите эту женщину, считаете, что вы не такая, как она, а между тем ваша ненависть и ее грех подобны двум побегам от одного корня. Чего стоит ваша ссора? Жесты, вопли, не больше — сотрясение воздуха. Смерть все равно скоро сделает вас обеих недвижными, безмолвными. К чему все это, если вы уже объединились во зле, попали все трое в ловушку одного греха — одной грешной плоти, вы — соумышленники, да, соумышленники! И

пребудете ими во веки веков.

Наверно, я очень неточно передаю собственные слова, так как память моя не сохранила почти ничего определенного, кроме перемен ее лица, на котором, как мне казалось, я их читал.

— Довольно! — сказала она глухим голосом. И только ее глаза не просили пощады. Никогда я не видал, да и не увижу, наверно, такого неумолимого лица. И, однако, я предчувствовал почему-то, что это — самое отчаянное, самое последнее ее усилие противоборствовать Спасителю, что грех выходит из нее. Чего стоят все разговоры о молодости, о старости? Разве страдальческое лицо, которое я видел перед собой, не было еще несколько недель тому назад совсем детским? Теперь я не смог бы определить его возраста, а может, у него и в самом деле не было возраста? У гордыни нет возраста. Да и у страданья тоже, в конце концов.

Она ушла, не проронив больше ни слова, внезапно, после долгой паузы… Что я наделал!

Вернулся очень поздно из Обена, где мне нужно было навестить после ужина больных. Нечего и пытаться уснуть.

Как я дал ей уйти в такую минуту? И даже не спросил, чего она ждет от меня.

Письмо все еще у меня в кармане, но я только сейчас прочел надпись на конверте: оно адресовано г-ну графу.

Боль в глубине живота «сверлит» все так же, отдает даже в спину. Непрерывно мутит. Я почти счастлив, что не могу думать: лютая боль отвлекает от душевной тоски. Вспоминаю норовистых коней — мальчишкой я ходил смотреть, как их подковывает кузнец Кардино. Как только вымокшая в крови и пене веревка стягивала их ноздри, бедные животные смирялись, прижав уши и дрожа на своих высоких ногах. «Ну что, получил свое, дурачок!» — говорил кузнец с громким хохотом.

Вот и я тоже — получил свое.

Боль вдруг прошла. Она была, впрочем, такой неотступной и ровной, что я, вдобавок донельзя утомленный, почти задремал. Когда она отступила, я вскочил — в висках у меня стучало, но сознание было чудовищно ясным — с ощущением, с уверенностью, что слышал, как меня окликнули…

Лампа еще горела на столе.

Я обошел сад: ни души. Я знал, что никого не найду. Все до сих пор кажется мне сном, но каждая его подробность встает передо мной с необычайной отчетливостью, словно осве-

щенная внутренним светом, каким-то ледяным озарением, не оставляющим ни одного темного угла, где я мог бы укрыться, чтобы обрести хоть каплю покоя… Наверно, так видит себя человек по ту сторону смерти. Господи, что я наделал!

Вот уже несколько недель, как я не молился, не мог молиться. Не мог? Как знать? Эту благодать благодатей нужно заслужить, как и всякую другую, а я, без сомнения, не был ее достоин. Короче, Бог меня покинул. Тут нет сомнений. Отныне я был — ничто, я таил это от всех! Хуже того: я кичился тем, что молчу, я считал свое молчание прекрасным, героическим. Правда, я попытался повидать г-на торсийского кюре. Но мне надлежало броситься к ногам того, кто надо мной поставлен, — г-на бланжермонского благочинного. Я обязан был сказать ему: «Я больше не в состоянии руководить приходом, мне не хватает для этого ни осмотрительности, ни способности суждения, ни здравого смысла, ни истинного смирения. Еще несколько дней тому назад я позволял себе судить вас, я вас почти презирал. Бог меня наказал. Отошлите меня в мою семинарию, я опасен для прихожан».

Он-то бы понял! Да и кто бы не понял, впрочем! Достаточно прочесть эти жалкие страницы,

моя постыдная слабость вопиет с каждой строки. Разве так должен говорить хозяин прихода, духовный наставник, пастырь? Ибо я был поставлен пастырем этого прихода, а показал себя ему таким, каков есть: жалким нищим, который ходит, протягивает руку за подаянием от порога к порогу, не смея даже постучать в дверь. Нет, разумеется, я не пренебрегал своими обязанностями, я даже старался изо всех сил, но что толку? Силы-то были ничтожные. Руководителя судят не только по намерениям: раз он что-то взял на себя, он и ответствен за результат. И когда я, к примеру, не желал признаться, что у меня плохо со здоровьем, в самом ли деле это было мне продиктовано только чувством долга, пусть даже и обостренным? Имел ли я право так рисковать? Если рискует глава, это — риск для всех.

Позавчера мне не следовало принимать м-ль Шанталь. Уже ее первый визит ко мне домой был не вполне приличен. Во всяком случае, мне надлежало прервать ее, прежде чем… Но я положился, как всегда, на себя одного. Я не пожелал видеть ничего, кроме существа, которое стояло передо мной, у края ненависти и отчаяния, этой двойной бездны, и земля уходила у него из-под ног… О, это измученное лицо! Такое лицо, конечно, не могло

лгать, такое безграничное смятение. Но ведь, когда я видел смятенье в других, оно меня так не трогало. Почему же эту душевную смуту я не мог стерпеть? Воспоминанье о моем собственном убогом детстве слишком еще близко, я знаю. Я и сам тоже некогда готов был отступить в ужасе перед людским горем и срамом… Господи! Столкнуться с грязью в других было бы ничтожным испытанием, если бы оно не открывало нам порочности в нас самих. Мерзкий голос, услышанный впервые, и первым же звуком пробуждающий в нас долгий ответный шепот…

Что с того! Тем более продуманно, тем более осторожно следовало мне действовать. А я наносил удары как попало, рискуя поразить вместе со зверем-похитителем его невинную, безоружную добычу… Священник, достойный своего звания, видит перед собой не только частное явление. А я, как обычно, вовсе не учел ни семейных, общественных требований, ни тех компромиссов, без сомнения законных, которые из них вытекают. Анархист, мечтатель, поэт, — г-н бланжермонский благочинный совершенно прав.

Только что просидел больше часа у окна, несмотря на холод. Долина в лунном свете кажется наполненной лучистой ватой, такой

невесомой, что движеньем воздуха от нее отрывает длинные пряди, которые косо всплывают в небо и словно парят там на головокружительной высоте. И в то же время так близко… Так близко, что мне видны их клочья, задевающие верхушки тополей. О, химеры!

Мы поистине ничего не знаем об этом мире, мы вне мира.

Слева от меня виднелась темная громада, окруженная светлым нимбом и по контрасту казавшаяся каменно плотным, отполированным базальтовым утесом. Это самая возвышенная часть парка, лес, засаженный вязами, а ближе к вершине холма — гигантскими елями, которые изуродованы осенними ураганами. Замок расположен на другом склоне холма, он обращен к деревне, ко всем нам тыльной стороной.

Нет, как ни стараюсь, не могу ничего вспомнить о нашем разговоре, не могу восстановить в точности ни одной фразы… Можно подумать, что, передав его несколькими словами в этом дневнике, я словно бы начисто стер все, что было сказано. Память пуста. И все же одно меня поражает. Обычно я не способен произнести без запинки несколько слов кряду, а на этот раз был многословен. А ведь я, возможно, впервые

в жизни высказал вслух — без всяких предосторожностей, без околичностей, боюсь даже, без должной сдержанности свое мучительное чувство (даже не чувство, почти зримый образ, в котором нет ничего абстрактного), в общем, свое виденье зла, его могущества, тогда как чаще стараюсь отстранить от себя мысль о нем, она слишком болезненна, бросает слишком яркий свет на некоторые необъяснимые кончины, некоторые самоубийства… Да, немало есть душ — гораздо больше, чем решаются предположить обычно, — которые, будучи внешне безразличными к религии или даже к морали вообще, в какой-то ничем не примечательный день — тут достаточно одного мгновения, — заподозрив в себе эту одержимость злом, стремятся любой ценой от нее избавиться. Солидарность во зле, вот что ужасает! Ибо преступленья, какими бы ужасными они ни были, не больше объясняют природу зла, чем самые высокие деяния святых — величие Бога. Когда мы в семинарии приступили к изучению книги одного публициста-франкмасона прошлого века — если не ошибаюсь, Лео Таксиля, — которая преподносилась читателю как «Тайные записи духовников» (что было впрочем, ложью), нас прежде всего по-

разило, до чего удручающе скудны возможности, которыми располагает человек, чтобы, не скажу даже — оскорбить, но просто задеть Бога, жалким образом копируя бесов… Ибо Сатана слишком жестокий хозяин; он не прикажет, как Спаситель в своей божественной простоте: «Подражайте мне!» Он не потерпит в своих жертвах сходства с собой, он допускает только, чтобы они были его грубой, гнусной, бессильной карикатурой, которой тешится, никогда не пресыщаясь, свирепая ирония Преисподней.

Мир зла недоступен, в общем, нашему пониманию. Мне даже не всегда удается представить его себе, как некий завершенный мир, вселенную в себе. Он только набросок — набросок омерзительного недоношенного творения на крайней грани бытия, таким он и пребудет вечно. Мне приходят на ум прозрачные хляби океанских провалов. Что чудищу преступник — одним больше, одним меньше! Оно пожирает преступленье мгновенно, претворяя его тут же в свою ужасающую субстанцию, переваривает, ни на миг не выходя из состояния вечной, зловещей неподвижности. Но историки, моралисты, даже философы не видят ничего, кроме преступника, не хотят заглянуть глубже, они реконструируют зло по

образу и подобию человека. У них нет ни малейшего представленья о зле, как таковом, об этой исполинской засасывающей пустоте, небытии. Ибо если род человеческий обречен погибнуть, он погибнет от омерзения, от уныния. Человеческая личность будет постепенно разрушена изнутри, подобно тому, как дерево разрушается невидимым грибком, который за несколько дней превращает дубовую балку в пористое вещество, без труда протыкаемое пальцем. Моралист станет разглагольствовать о страстях, государственный деятель — плодить полицейских и чиновников, воспитатель предлагать свои программы, и все они будут пускать на ветер сокровища в тщетных усилиях замесить тесто, в котором уже нет дрожжей.

(Взять, к примеру, хотя бы эти всемирные войны, на первый взгляд свидетельствующие о необыкновенной активности человека, меж тем как на деле они изобличают, напротив, его растущую апатию… Кончится все это тем, что на бойню будут регулярно отправлять огромные покорные стада.)

Нам говорят, что Земля, просуществовавшая миллионы столетий, еще совсем молода, как и на первых стадиях своего планетарного развития.

Вот и зло тоже только начинает свой путь.

Господи, я переоценил свои силы. Ты поверг меня в отчаяние, бросил, как бросают в воду новорожденного котенка, еще слепого.

Кажется, ночь никогда не кончится. Воздух снаружи так тих, так чист, что каждые пятнадцать минут до меня отчетливо доносится бой башенных часов мориенвальской церкви, в трех километрах отсюда… Знаю, уравновешенный человек только усмехнулся бы, глядя, как я томлюсь тоской, но разве можно совладать с предчувствием?

Как мог я ее отпустить? Почему не окликнул?..

Письмо было здесь, оно лежало на моем столе. Я нечаянно вытащил его из кармана вместе с другими бумажками. Странная, непонятная вещь: я о нем забыл. Мне, впрочем, приходится сделать над собой огромное усилие воли, сосредоточить все свое внимание, чтобы заглянуть в себя и восстановить тот неодолимый импульс, который заставил меня произнести эти слова, до сих пор стоящие в моих ушах: «Дайте мне ваше письмо». А, может, я и не говорил этого? Не знаю. Возможно, мадемуазель, мучимая страхом, угрызениями совести, подумала, что не в состоянии дольше хранить свой секрет, и это побудило ее

протянуть мне письмо. Остальное — дело моего воображения…

Бросил письмо в огонь, не читая. Глядел, как оно горит. Уголок листа вырвался из пожираемого пламенем конверта и тут же почернел. На миг светлые буквы проступили на черном, и мне показалось, я отчетливо увидел: «Господу…»

Снова начались боли в желудке, чудовищные, нестерпимые. Сопротивляюсь всеми силами желанью кинуться наземь и кататься, рыча по-звериному. Одному Богу ведомо, как я мучаюсь. Но ведает ли он?

(NB. Эта последняя фраза, написанная на полях, была зачеркнута.)

Под первым попавшимся предлогом — якобы чтобы получить плату за поминальную службу, которую г-жа графиня заказывает каждые три месяца по умершей родне, — посетил сегодня утром замок. Я был так взволнован, что надолго задержался у входа в парк, глядя, как старик Кловис, садовник, вяжет, по своему обыкновению, хворост. От его спокойствия мне полегчало.

Слуга на несколько минут замешкался, и я вдруг с ужасом вспомнил, что г-жа графиня расплатилась по счету еще месяц назад. Что я скажу ей? Через полуоткрытую дверь мне был виден

стол, накрытый для завтрака, от которого, по-видимому, только что встали. Я стал считать чашки, но цифры путались у меня в голове. Г-жа графиня уже несколько минут наблюдала за мной своими близорукими глазами, стоя в дверях гостиной. Мне показалось, что она пожала плечами, но беззлобно. Это могло означать: «Бедняга! Опять он в своем репертуаре, его не переделаешь…» — или что-нибудь в том же духе.

Пройдя через зал, мы вошли в небольшую комнату. Она указала мне на стул, но я этого не заметил, в конце концов, она сама подвинула этот стул ко мне. Я устыдился собственного малодушия.

— Я пришел поговорить с вами о вашей дочери, — вымолвил я.

Минуту мы оба молчали. Нет сомнения, что среди всех творений, над которыми день и ночь бдит в доброте своей божественное провиденье, я был одним из самых заброшенных, самых несчастных. Но всякое самолюбие во мне будто угасло. Г-жа графиня уже не улыбалась.

— Я вас слушаю, говорите, не бойтесь, полагаю, мне известно гораздо больше, чем вам, об этом бедном ребенке.

— Сударыня, — снова начал я, — Господь Бог

ведает тайны души, только он один. Людям, даже самым проницательным, свойственно заблуждаться.

— А вы? (Она ворошила горящие угли и делала вид, что полностью этим поглощена.) Себя вы считаете проницательным?

Возможно, она хотела уязвить меня. Но я в эту минуту был не способен почувствовать себя оскорбленным. Во мне, как правило, берет надо всем верх чувство нашего бессилия — бессилия, присущего нам всем, жалким существам, чувство нашей непреодолимой слепоты, и сейчас оно было сильнее, чем когда-либо, оно, как тиски, сжимало мое сердце.

— Сударыня, — сказал я, — как бы высоко ни ставило человека богатство и происхождение, он всегда чей-то слуга. Я слуга всех. Пожалуй, слово «слуга» еще чересчур благородно для такого жалкого, заурядного священника, как я, мне следовало бы сказать: «Я вещь, которая принадлежит всем», или нечто еще более ничтожное, если угодно Богу.

— Что может быть ничтожнее вещи?

— Есть вещи бросовые, вещи, вышвыриваемые на свалку, так как ими уже нельзя пользоваться. И если, к примеру, вышестоящие сочли бы, что я

не гожусь для исполнения тех скромных обязанностей, которые были мне доверены, я был бы такой бросовой вещью.

— Если вы такого мнения о себе самом, я нахожу с вашей стороны весьма неосторожным притязать…

— Я ни на что не притязаю, — ответил я. — Эта кочерга в ваших руках только орудие. Если бы Господь Бог даровал ей ровно столько разума, сколько требуется, чтобы она сама шла к вам в руки, когда понадобится, она была бы примерно тем, чем являюсь я для вас всех, тем, чем я хотел бы быть.

Она улыбнулась, хотя за этой улыбкой, безусловно, не было ни веселья, ни иронии. Я, впрочем, был изумлен собственным спокойствием. Может, оно контрастировало со смирением, звучавшим в моих словах, и это заинтриговало, смутило ее?.. Она вздохнула, искоса поглядев на меня.

— Что же вы хотите сказать о моей дочери?

— Вчера она была у меня в церкви.

— В церкви? Вы меня удивляете. Дочерям, которые восстают против родителей, в церкви не место.

— Церковь принадлежит всем, сударыня.

Она снова посмотрела на меня, на этот раз прямо в лицо. Глаза ее, казалось, еще улыбались, но изгиб рта выражал удивленье, недоверие, невыразимое упрямство.

— Эта маленькая интриганка обвела вас вокруг пальца.

— Не ввергайте ее в отчаяние, — сказал я. — Господь это запрещает.

На какое-то мгновение я ушел в себя. Дрова шипели в камине. Через открытое окно, сквозь муслиновые занавеси, виднелась огромная лужайка, окаймленная темной стеной сосен, и над ней — безмолвное небо. Это напоминало пруд со стоячей водой. Слова, которые я только что произнес, ошеломили меня самого. Они были так далеки от того, о чем я думал еще четверть часа назад! И я чувствовал всю их непоправимость, теперь я должен был идти до конца. Да и женщина, сидевшая передо мной, тоже вовсе не походила на ту, которую я себе представлял.

— Господин кюре, — заговорила вновь она, — я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях, в самых лучших даже. И, поскольку вы сами охотно признаете свою неопытность, я не стану на ней останавливаться. Впрочем, есть обстоятельства, в которых мужчина, опытен он или не опытен,

все равно ничего не поймет. Только женщины способны глядеть на них прямо. Вы, мужчины, видите лишь то, что на поверхности. А бывает, что смута…

— У всех смут — один отец, и это — отец лжи.

— Смута смуте рознь.

— Конечно, — сказал я, — но зато мы знаем, что порядок — един, и в основе его — Милосердие.

Она расхохоталась, злобно, ожесточенно.

— Я, разумеется, не ждала… — начала она. Я думаю, она прочла в моих глазах удивленье, жалость, потому что тотчас взяла себя в руки.

— Что вам известно? Что она вам рассказала? Молодые девицы вечно чувствуют себя несчастными, непонятыми. И всегда находятся простаки, которые им верят…

Я смотрел ей прямо в глаза. Как только я осмелился говорить с ней таким тоном?

— Вы не любите свою дочь, — сказал я.

— Вы не смеете!..

— Сударыня, Господь Бог свидетель, я шел сюда утром с намерением быть полезным вам всем. И я слишком глуп, чтобы заранее все обдумать. Вы сами продиктовали мне эти слова, и я сожалею, что они вас оскорбили.

— Вы что же, полагаете, вам дана власть читать

в моем сердце?

— Думаю, да, — ответил я. Я испугался, как бы она не вышла из терпенья, не изругала меня. Ее серые глаза, обычно такие мягкие, потемнели. Но она опустила голову и принялась чертить круги в золе кончиком кочерги.

— Знаете ли вы, — сказала она наконец очень мягко, — что те, кто поставлены над вами, строго осудили бы ваше поведенье?

— Те, кто поставлены надо мной, могут сказать, что я действовал не так, как должно, если сочтут это нужным, это их право.

— Я вас знаю, вы хороший молодой священник, не тщеславный, не честолюбивый, у вас нет, конечно, склонности к интригам, вас не иначе как подучили. Этот тон… эта самоуверенность… Право, мне кажется, я брежу! Ну, скажите начистоту: вы считаете меня дурной матерью, мачехой?

— Я не позволяю себе судить вас.

— О чем же разговор?

— Я не позволяю себе судить также и мадемуазель. Но у меня есть опыт страдания, я знаю, что это такое.

— В вашем возрасте?

— Возраст тут ни при чем. Я знаю также, что у страдания есть свой язык, страдание не следует

ловить на слове, осуждать за какое-нибудь слово, страдание готово проклясть все — общество, семью, родину, самого бога.

— Вы что же — одобряете это?

— Я не одобряю, я пытаюсь понять. Священник — как врач, он не должен пугаться ран, нарывов, гноя. Душевные раны всегда источают кровь и гной, сударыня.

Она вдруг побледнела и сделала движенье, чтобы встать.

— Вот почему я дал мадемуазель выговориться, да я и не имел права не выслушать ее. Священник внимает только страданию, если оно подлинно. Что за важность, в какие слова оно облекается? И будь они даже ложью…

— Вот как — для вас, что правда, что ложь, все едино. Хороша мораль.

— Я учу не морали, — сказал я.

Ее терпенью явно приходил конец, я ждал: она вот-вот даст мне понять, что разговор окончен. Ее действительно подмывало это сделать, но всякий раз, когда ее взгляд останавливался на моей унылой физиономии (я видел свое лицо в зеркале, от зеленого отсвета лужаек оно казалось еще более нелепым, еще более бескровным), можно было заметить по почти неуловимому движению

подбородка, что она снова и снова собирает все свои силы, всю свою волю, чтобы убедить меня, оставив за собой последнее слово.

— Моя дочь просто-напросто ревнует к гувернантке, она вам, должно быть, нарассказала всякие ужасы?

— Я полагаю, она ревнует прежде всего к дружбе отца.

— Ревнует отца? Что же прикажете делать мне?

— Ее нужно успокоить, смягчить.

— Ну да, я должна была бы броситься ей в ноги, попросить у нее прощения?

— Во всяком случае, не дать ей отдалиться от вас, от семьи с отчаянием в сердце.

— И все же она уедет.

— Вы можете ее принудить… Бог вам судья.

Я поднялся. Она встала одновременно со мной, и я прочел в ее глазах какой-то испуг. Казалось, она боится, что я ее покину, и в то же время борется с желаньем сказать мне все начистоту, выложить наконец свою несчастную тайну. Она была не в силах дольше хранить ее про себя. Наконец, у нее вырвалось, как раньше вырвалось у другой, ее дочери:

— Вам не понять, что я выстрадала. Вы не зна-

ете жизни. В пять лет моя дочь уже была такой, как сейчас. Все и тотчас — вот ее девиз. У вас, священников, наивное, превратное представление о семейной жизни. Достаточно послушать вас (она засмеялась) на отпевании. Дружная семья, почитаемый отец, несравненная мать, утешительное зрелище, социальная ячейка, наша дорогая Франция и пошло, поехало… Странно не то, что вы произносите подобные слова, но что вам кажется — они кого-то трогают, вам доставляет удовольствие говорить все это. Семья, сударь…

Она вдруг умолкла, так внезапно, точно проглотила конец фразы в буквальном смысле слова. Как! Неужто передо мной была та же дама, которую я увидел в свое первое посещение замка, когда она, такая сдержанная, такая доброжелательная, задумчиво глядела из-под черных кружев, утопая в своем глубоком кресле? Даже сам ее голос настолько изменился, что я с трудом узнавал его, в нем появилась какая-то крикливость, какой-то взвизг на последних слогах. Полагаю, она сама это чувствовала и мучилась невозможностью взять себя в руки. Я не знал, что и думать о подобной слабости в женщине, обычно так превосходно владевшей собой. Моей собственной отваге еще можно найти объяснение:

я, возможно, потерял голову, я бросился вперед, закусив удила, как все робкие люди, которые, чтобы выполнить свой долг до конца, отрезают себе всякие пути к отступлению, жгут мосты. Но она? Ей было бы так легко, полагаю, выбить меня из седла! Для этого хватило бы, пожалуй, определенной улыбки.

Господи, неужели всему причиной смута в моей голове, в моем сердце? Уж не заразительна ли тоска, которая меня снедает? Последнее время я чувствую, что одного моего присутствия достаточно, чтобы выкурить грех из норы, заставить его вылезти на поверхность, показаться в глазах, на языке, в голосе… Можно подумать, что враг рода человеческого не удостаивает даже прятаться от такого хлипкого противника, как я, бросает мне в лицо вызов, смеется надо мной.

Мы стояли бок о бок. Вспоминаю, что дождь барабанил в стекла. Вспоминаю также старого Кловиса, который, закончив работу, вытирал руки своим синим фартуком. По ту сторону прихожей слышалось звякание бокалов, постукивание убираемой посуды. Все вокруг было таким спокойным, легким, обыденным.

— Странная жертва! — заговорила она снова. — Скорее уж хищный зверюшка. Вот что она такое.

Украдкой она наблюдала за мной. Мне было нечего ответить, я промолчал. Это молчание, казалось, вывело ее из себя.

— Не понимаю, почему я поверяю вам тайны моей жизни. Но пусть так! Не стану же я вам лгать! Я и правда страстно желала сына. Он родился. Но прожил всего полтора года. Сестра уже тогда его ненавидела… Да, как ни мала она была, она его ненавидела. Что касается отца…

Ей пришлось перевести дыханье, прежде чем она смогла снова заговорить. Глаза ее были устремлены в одну точку, руки, опущенные вниз, судорожно сжимались, словно она пыталась уцепиться за что-то невидимое, найти опору. Казалось, она неудержимо скользит вниз, по какому-то откосу.

— В последний день они оба куда-то отправились. Когда они пришли домой, крошка уже умер. Они стали неразлучны. И до чего же ловка она была! Вам это слово, естественно, кажется странным? Вы воображаете, что девочка ждет совершеннолетия, чтобы превратиться в женщину, не так ли? Священники часто наивны. Не знаю, думает ли о мыши котенок, когда играет клубком шерсти, но делает он именно то, что нужно. Мужчина, говорят, нуждается в нежности,

не спорю. Но в нежности вполне определенной, единственной в своем роде, только в ней, — в той, которая соответствует его природе, для которой он рожден. Что ему за дело до искренности! И разве мы, матери, не прививаем сами мальчикам вкуса ко лжи — ко лжи, которая успокаивает их с колыбели, ободряет, баюкает, ко лжи, мягкой и теплой, как материнская грудь? Короче, я очень скоро поняла, что хозяйка в моем доме — эта девочка, что я должна примириться с ролью жертвы, быть только зрительницей, служанкой. Я, жившая лишь памятью о сыне, всюду видела одного его — натыкалась на его стул, его платьица, какую-нибудь поломанную игрушку, о, горе! Что сказать? Такая женщина, как я, не опускается до постыдного соперничества. К тому же мое горе все равно было безутешно. В самых тяжких семейных неурядицах всегда есть что-то смешное. Короче, я жила между этими двумя существами, созданными друг для друга, хотя и необыкновенно разными, и их сочувствие ко мне неизменно сообщническое — меня выводило из себя. Да, осуждайте меня, если угодно, оно надрывало мне сердце, пропитывало его ядом, я предпочла бы, чтобы они меня ненавидели. В общем, я держалась стойко, терпела свое наказание молча. Я

тогда была молода, нравилась. Когда женщина уверена в своей привлекательности, знает, что только от нее самой зависит полюбить и быть любимой, не трудно сохранить добродетель, во всяком случае, женщинам моего типа. Одной гордости было бы достаточно, чтобы не пасть. Я не отступила ни от какой из своих обязанностей. Подчас я даже чувствовала себя счастливой. Мой муж человек не высокого полета, куда там. Каким чудом Шанталь, с ее твердостью, подчас даже жестокостью оценок не поняла, что… Она ничего не поняла. Вплоть до дня, когда… Заметьте, сударь, всю мою жизнь я сносила бесчисленные измены мужа, до того грубые, до того мальчишеские, что они даже не причиняли мне боли. Впрочем, из нас двоих обманутой, конечно, была больше она, чем я!..

Она опять умолкла. Я, кажется, машинально положил ладонь на ее руку. Я не помнил себя от удивленья, от жалости.

— Я все понял, сударыня, — сказал я. — Мне не хотелось бы, чтобы вы когда-нибудь пожалели о том, что высказали такому ничтожеству, как я, вещи, которые должно слышать только духовнику.

Она бросила на меня растерянный взгляд.

— Я скажу все, до конца, — сказала она свистя-

щим голосом. — Вы сами этого захотели.

— Я этого не хотел!

— Нечего было тогда приходить. Вы к тому же прекрасно умеете вызывать людей на откровенность, вы, под вашим облачением, хитры, как бес. Ладно! Покончим с этим! Что сказала вам Шанталь? Попробуйте отвечать правду.

Она топнула ногой, в точности как ее дочь. Она стояла, опершись локтем о столешницу камина и сжимая в руке старинный веер, лежавший там среди других безделушек, я видел, как черепаховая ручка мало-помалу ломалась в ее пальцах.

— Она не выносит гувернантку, она никогда не выносила ничьего присутствия в доме!

Я промолчал.

— Да отвечайте же! Она сказала вам, что ее отец… Нет, не отрицайте, я читаю правду в ваших глазах. И вы ей поверили? Несчастной девчонке, которая посмела… — Она не смогла закончить фразу…

Мне кажется, мое молчание, или мой взгляд, или не знаю, что еще, исходившее от меня, — как все это грустно! — остановили ее, прежде чем ей удалось повысить тон, и, как после каждой паузы, к ней вернулся ее обычный, хотя и дрожащий от досады, голос, только чуть более хриплый, чем

всегда. Думаю, собственное бессилье, поначалу просто злившее ее, в конце концов, внушило ей тревогу. Она разжала пальцы, и сломанный веер выскользнул из ее ладони, она, вспыхнув, быстро затолкала обломки под часы, стоявшие на камине.

— Я погорячилась, — начала она, но деланная мягкость интонаций звучала чересчур фальшиво. Она походила на неумелого рабочего, который, пробуя один за другим свои инструменты и не находя нужного, в ярости отбрасывает их все. — В конце концов, это вы должны говорить. Зачем вы пришли? Чего вы хотите?

— Мадемуазель Шанталь сказала мне, что скоро уедет.

— Действительно, очень скоро. Все это, впрочем, дело давно решенное. Она вам соврала. По какому праву вы препятствуете… — снова заговорила она, натянуто рассмеявшись.

— У меня нет никакого права, я хотел только узнать ваши намерения, окончательно ли ваше решение…

— Да, окончательно. Я не нахожу, что у молодой девушки есть разумные основания считать непосильным испытанием поездку на несколько месяцев в Англию, к друзьям.

— Именно поэтому я и хотел бы договориться с вами, чтобы побудить вашу дочь дать на это согласие подчиниться.

— Подчиниться? Да вам легче будет ее убить!

— Боюсь, как бы она действительно не дошла до какой-нибудь крайности.

— До какой-нибудь крайности… как красиво вы выражаетесь! Вы намекаете, без сомнения, на то, что она покончит с собой? Меньше всего она способна на это! Да ее повергает в смятение обыкновенная ангина, она ужасно страшится смерти. Только в этом она и похожа на своего отца.

— Сударыня, — сказал я, — именно такие люди и накладывают на себя руки.

— Полно!

— Пустота притягивает тех, кто не смеет прямо взглянуть на нее, они кидаются в пропасть от страха в нее упасть.

— Вы говорите с чужого голоса, вы вычитали это из книг. Ваш собственный опыт не мог вас этому научить. А вы сами боитесь смерти?

— Да, сударыня. Но позвольте мне быть с вами откровенным. Смерть очень трудный переход, он не для гордецов, и я меньше боюсь своей смерти, чем вашей, — сказал я, потеряв терпенье. Я и вправду видел — или мне казалось, что видел, —

ее в этот момент мертвой. И образ, стоявший перед моим взором, наверно, передался ей, потому что у нее вырвался приглушенный крик, какой-то яростный стон. Она отошла к окну.

— Мой муж волен держать здесь, кого желает. У гувернантки к тому же нет средств, мы не можем выбросить ее на улицу ради прихоти наглой девчонки! Она и на этот раз не смогла продолжать в том же тоне, голос ее дрогнул. Возможно, мой муж был по отношению к ней слишком… слишком внимателен, слишком фамильярен. Мужчины в его возрасте нередко поддаются сентиментальным порывам или считают, что движимы ими… — Она вновь умолкла. — А если мне это в конце концов безразлично! Чего уж! После того как я вынесла столько нелепых унижений за эти годы — он изменял мне со всеми горничными, девками самого низкого пошиба, отребьем в полном смысле слова, — неужто мне теперь, когда я уже старая женщина, уже смирилась с этим, открыть глаза, бороться, рисковать — и ради чего? Или с гордостью моей дочери следует считаться больше, чем с моей собственной? Почему бы ей, в свою очередь, не вытерпеть то, что вытерпела я?

Она произнесла эту последнюю, страшную фразу, не повышая голоса. Стоя в амбразуре

огромного окна, опустив одну руку и комкая в другой, поднятой над головою, муслин занавесей, она бросала мне эти слова, как будто выплевывала жгучий яд. Сквозь стекла, мокрые от дождя, я видел парк, такой благородный, такой покойный, величественные контуры лужаек, старые, торжественные деревья… Конечно, я должен был чувствовать к этой женщине только жалость. Но хотя обычно я без труда принимаю на себя вину другого, разделяю стыд, контраст этого мирного жилища и его постыдных тайн вызывал во мне протест. Передо мной было не столько даже людское безумие, сколько упрямство, изворотливость, поддержка, которую человек, на глазах у Бога, исподтишка оказывает всем силам соблазна и смерти. Как! Невежество, болезни, нищета пожирают миллионы невинных, а когда провиденье чудом создает приют, где может наконец расцвести мир, туда ползком пробираются страсти и, едва угнездившись, принимаются выть по-звериному день и ночь…

— Берегитесь, сударыня, — сказал я.

— Беречься? Кого? Чего? уж не вас ли? Не будем драматизировать. То, что вы слышали, я сказала вам первому.

— Вы не говорили об этом даже вашему ду-

ховнику?

— Духовник тут ни при чем. Это чувства, над которыми я не властна. Да я никогда и не руководствовалась ими в своем поведении. Мой домашний очаг, господин аббат, очаг — христианский.

— Христианский! — вскричал я: это слово было для меня как удар в грудь, оно пронзило меня. — Разумеется, сударыня, вы принимаете здесь Христа, но что вы с ним делаете? Он ведь и у Каиафы тоже был.

— У Каиафы? Вы что, с ума сошли? Я не ставлю в упрек ни мужу, ни дочери, что они меня не понимают. Существуют недоразумения, которые непоправимы С ними смиряешься.

— Да, сударыня, человек смиряется с тем, чего не любит. Дьявол осквернил все, даже смирение святых.

— Вы рассуждаете как простолюдин. В каждой семье есть свои тайны. Разве будет лучше, если мы выставим их напоказ? Многократно обманутая, я могла бы стать неверной женой. Но в моем прошлом нет ничего, за что я могу краснеть.

— Благословенны ошибки, которых мы стыдимся! Да сподобит вас Господь презирать себя!

— Странная мораль!

— Это и в самом деле мораль не мирская. Что Богу до престижа, до достоинства, до науки, — все это гроб повапленный, в котором сокрыт гниющий труп.

— Вы что же, предпочитаете скандал?

— А вы считаете бедняков глухими и слепыми? Увы, бедность слишком проницательна! Сытое брюхо провести нетрудно, оно легковерно. Но от обездоленных вы можете сколько угодно прятать ваши пороки, они учуют их издалека, по запаху. Нам уши прожужжали мерзостями язычников, но те хотя бы требовали от своих рабов только покорности, как требуют послушания от домашних животных, и когда, раз в год, в праздник сатурналий, рабы брали реванш, хозяева относились к этому с улыбкой. Тогда как вы, нынешние, злоупотребляя божественным словом, которое учит бедных душевному смирению, лукавите, хитростью похищаете то, что должны были бы принять на коленях, как небесный дар. Нет на свете худшего соблазна, чем лицемерие сильных мира сего.

— Сильных мира сего! Да я могла бы назвать вам фермеров, которые богаче нас. Мы, мой бедный аббат, маленькие люди.

— В вас видят хозяев, господ. Власть всегда зи-

ждется только на иллюзиях обездоленных.

— Все это пустые фразы. Обездоленным только и заботы что наши семейные дела!

— Сударыня, — сказал я ей, — существует лишь одна семья — великая человеческая семья, и ее глава — Господь наш. И вы — богатые — могли быть его возлюбленными чадами. Вспомните Ветхий завет: блага земные в нем часто служат залогом небесного расположения. Что говорить! Разве это не драгоценная привилегия — родиться избавленным от посюсторонних тягот, обращающих жизнь неимущего в однообразную погоню за хлебом насущным, в изнурительную борьбу с голодом и жаждой, с ненасытным чревом, каждый день требующим своего? Вашим жилищам надлежало быть домами мира, домами молитвы. Неужели вас никогда не волновала преданность бедных тому наивному представлению, которое они составили себе о вас? Увы, вы разглагольствуете о их жизни, не понимая, что они алчут не столько ваших благ, сколько чего-то иного, они и сами бы не могли сказать, чего, и эти грезы скрашивают подчас чудесным образом их одиночество, — грезы о великолепии, о величии, бедные грезы, грезы бедняка, благословенные Господом Богом…

Она приблизилась ко мне, словно давая мне понять, что я должен откланяться. Я чувствовал, что мои последние слова дали ей время прийти в себя, я сожалел о них. Теперь, когда я их перечитываю, они меня смущают. Нет, я не отказываюсь от них. Но это слова человеческие, не больше. Они выражают очень глубокое, очень жестокое разочарование моего детского сердца И, разумеется, я не одинок — миллионам людей моего класса, моей породы еще суждено пережить его. Оно — составная часть наследия бедняка, одна из главных составных частей бедности, сама суть бедности, я в этом нисколько не сомневаюсь. Господь пожелал, чтобы бедный протягивал руку, нищенски выпрашивая величие, как и все остальное, а между тем он ведь сам его излучает, того не ведая.

Я взял свою шляпу, которую раньше положил на стул. Увидев, что я уже у порога, берусь за ручку двери, она сделала жест, выдававший глубокое волнение, и этот порыв всего ее существа потряс меня. Я прочел в ее глазах непонятный страх.

— Странный вы священник, — сказала она голосом, дрожавшим от нетерпения, от нервного напряжения, — впервые такого вижу. Расстанемся хотя бы добрыми друзьями.

— Могу ли я не быть вам другом, сударыня, я ведь ваш священник, ваш пастырь.

— Слова! Что вы, наконец, знаете обо мне?

— То, что вы мне сами сказали.

— Вы хотите смутить меня, это вам не удастся. Я мыслю слишком здраво.

Я промолчал.

— В конце концов, нас ведь будут судить по нашим делам, не так ли? Какой проступок я совершила? Не спорю, мы с дочерью чужие друг другу. До сих пор мы не показывали виду. Сейчас произошел кризис. Я выполняю волю мужа. Если он обманывается… Он-то уверен, что дочь вернется к нему.

Что-то пробежало по ее лицу, она прикусила губы, но слишком поздно.

— А вы, вы верите в это, сударыня? — спросил я. Господи! Она откинула голову назад, и я увидел — да, увидел — на какое-то краткое мгновение, что признание рвется из глубин этой души, не знающей прощенья, как ни старается она его удержать. Взгляд, застигнутый на лжи, говорил: «Да», но неодолимый порыв всего ее сокровенного существа выталкивает «нет» из полуоткрытых губ.

Мне кажется, она сама удивилась этому «нет»,

но даже не попыталась взять его назад. Ненависть внутри семьи ужасней всякой другой, потому что это чувство питается повседневным контактом, оно, как гнойник, мало-помалу отравляет организм, не вызывая жара.

— Сударыня, — сказал я, — вы выбрасываете из дому ребенка, и вы понимаете, что это — навсегда.

— Это зависит только от нее самой.

— Я постараюсь воспрепятствовать ее отъезду.

— Вы же ее совсем не знаете. Она слишком горда, чтобы остаться здесь, если почувствует, что к ней проявили снисходительность, она этого не вынесет.

Я потерял терпенье.

— Господь вас сломит! — вскричал я.

У нее вырвался какой-то стон, нет, не стон побежденного, который молит о пощаде, скорее вздох, глубокий вздох человека, собирающегося с силами, чтобы бросить вызов.

— Сломит? Я уже сломлена. Теперь Бог бессилен, чем еще может он меня наказать? Сына он у меня отнял. Я больше его не боюсь.

— Бог разлучил вас с ним на время, но ваше жестокосердие…

— Замолчите!

— Ваше жестокосердие может разлучить вас с ним навсегда.

— Вы кощунствуете, Бог не мстит.

— Он не мстит, это слово человеческое, оно имеет смысл для вас одной.

— Может, скажете еще, что мой сын меня возненавидит? Сын, которого я носила, кормила!

— Вы не будете ненавидеть друг друга, вы друг друга не узнаете.

— Замолчите!

— Нет, не замолчу. Священники слишком часто молчат, и я хотел бы думать, что молчат только из жалости. Но мы малодушны. Принцип установлен, а там болтайте, что хотите. Ну и что сделали из ада вы, люди? Своего рода место вечного заключения, наподобие ваших собственных тюрем, заблаговременно уготованное для человеческой дичи, которую ваша полиция травит от сотворения мира, — для врагов общества. Вы не прочь отправить туда же богохульников и святотатцев. Но может ли здравый ум, может ли гордое сердце приять без отвращения подобный образ божественной справедливости? Когда образ ада вас стесняет, вы ничтоже сумняшеся просто отбрасываете его. Вы судите об аде по законам сего мира, а он не от мира сего. Он не от мира сего, и еще

менее от мира христианского. Вечное наказание, вечное искупление — уж и то чудо, что сама мысль об этом является нам в здешней жизни, ведь едва грех изыдет из нас, достаточно знака, взгляда, немого зова, чтобы прощение ринулось на нас с небесных высот, как орел. А все потому, что распоследний из людей, пока он жив, даже если думает, что не любит, еще способен полюбить. Сама ненависть лучится, и то, что мы именуем отчаянием, для самого непритязательного из бесов — светозарное, победное утро. Ад, сударыня, — не любить. Для вас выражение «не любить» звучит банально. Для живого человека не любить значит любить меньше, полюбить другого. Способность любить кажется нам неотделимой от нашей сути, от самой нашей сути — понимание это ведь тоже своего рода любовь — ну, а что если ее можно все же вовсе утратить? Не любить, не понимать — и тем не менее жить, вот что чудовищно! Всеобщее заблуждение состоит в том, что мы приписываем таким, покинутым богом существам что-то свое, человеческое, нашу вечную подвижность, в то время как они — вне времени, вне движенья, окаменели навсегда. Увы! Да подведи нас за руку сам Бог к одному из этих скорбных созданий, и будь оно нам в прошлом даже самым дорогим

другом, о чем бы мы стали теперь с ним говорить и на каком языке? Разумеется, если человек, нам подобный, пусть и самый ничтожный, пусть негодяй из негодяев, брошен живым в геенну огненную, я готов разделить его судьбу, я бросился бы отбивать его у палача. Разделить его судьбу!.. Беда-то в том, невообразимая беда этих охваченных пламенем камней, прежде бывших людьми, в том и состоит, что им уже нечего разделить.

Мне кажется, я довольно точно передаю свои слова, и, возможно, в чтении они даже впечатляют. Но пробормотал я все это, наверняка, так невнятно, так несвязно, что моя тирада должна была показаться нелепой. Меня едва хватило на то, чтобы членораздельно выговорить все до конца. Я был выпотрошен. Увидь меня кто-нибудь в эту минуту — привалившегося к стене, мнущего пальцами шляпу — перед этой властной женщиной, я был бы сочтен за провинившегося, который тщетно пытается оправдаться. (Нет сомненья, я и в самом деле был таков.) Она глядела на меня с необыкновенным вниманием.

— Нет проступка, — сказала она хрипло, — который давал бы право…

Мне казалось, я слышу ее сквозь густой туман, приглушающий звуки. И в то же время мною

овладевала печаль, неизъяснимая печаль, против которой я совершенно бессилен. Быть может, это было величайшим искушением в моей жизни. И в эту минуту Бог пришел мне на помощь: я вдруг ощутил на своей щеке слезу. Одну-единственную слезу — как случается видеть на лицах умирающих в последний миг их земных страданий. Она смотрела, как стекает эта слеза.

— Вы меня слышали? — спросила она. — Вы меня поняли? Я говорила вам, что нет на свете такого проступка…

Я признался, что нет, не слышал. Она не отрывала от меня глаз.

— Передохните минутку, вы не в состоянии сделать и десяти шагов, у меня больше сил, чем у вас. Право же, все это совсем не похоже на то, чему нас учат. Это — грезы, поэмы. Я не считаю вас дурным человеком. Я уверена, вы сами, подумавши, устыдитесь этого гнусного шантажа. Ничто не может разлучить нас — в этом ли мире, в ином ли — с тем, кого мы любили больше самих себя, больше жизни, больше спасения.

— Сударыня, — сказал я, — даже в этом мире достаточно пустяка, какого-нибудь ничтожного кровоизлияния в мозг, да и того меньше, и мы уже не узнаем людей, к которым были горячо

привязаны.

— Смерть не безумье.

— Мы действительно знаем о ней еще меньше.

— Любовь сильнее смерти, это написано в ваших книгах.

— Любовь не мы придумали. У нее свой строй, свой закон.

— Господь Бог повелевает любовью.

— Нет, он любовью не повелевает, он сам любовь. Если вы хотите любить, не ставьте себя вне любви.

Она положила обе руки на мою, наши лица почти соприкасались.

— Это нелепо, вы говорите со мной как с преступницей. Неверность моего мужа, равнодушие моей дочери, все это для вас — ничто, ничто, ничто!

— Сударыня, — сказал я, — я говорю с вами как священник, как велит мне голос свыше. Напрасно вы принимаете меня за человека, витающего в облаках. Как я ни молод, мне отлично известно, что есть немало семей, подобных вашей или еще более несчастных. Но зло, которое может пощадить одних, других убивает, и мне кажется, Господь сподобил меня увидеть опасность, которая угрожает вам, да, вам, вам одной.

— Иными словами, всему виной я.

— О сударыня, никто не может предвидеть, к чему, в итоге, приведет один дурной помысел. У дурных та же судьба, что и у хороших: на тысячу развеянных ветром, заглушенных сорняками, высушенных зноем приходится один, который пускает корни. Семена зла и добра носятся повсюду. Все горе в том, что людское правосудие, как правило, вмешивается слишком поздно: оно наказывает и клеймит проступки, однако не в его возможностях пойти дальше, глубже лица, их совершившего. А наши ужасные дурные помыслы отравляют воздух, которым дышат другие, и зародыш какого-нибудь преступления, зароненный в душу несчастного, помимо его воли, никогда бы не вызрел в плод, если бы не это тлетворное начало.

— Все это бредни, чистые бредни, больные грезы! (Она была смертельно бледна.) Если так думать, невозможно жить.

— Я в этом не сомневаюсь, сударыня. Если бы Бог наделил нас ясным представлением о солидарности, связующей всех нас, как в добре, так и во зле, мы бы не могли жить, это сущая правда.

Читая эти строки, можно, конечно, подумать, что я говорил не наобум, а действовал продуман-

но. Клянусь, никакого плана у меня не было. Я просто отбивался, как мог.

— Не соблаговолите ли сказать, какой дурной помысел я утаила, произнесла она после долгой паузы, — что это за червь в сердцевине плода?..

— Вы должны смириться с… волей божьей, открыть ваше сердце. — Я не решался говорить ей прямо о преставившемся младенце, и разговор о смирении, казалось, ее удивил.

— Смириться? С чем?..

И тут вдруг она поняла.

Мне случалось сталкиваться с закоренелыми грешниками. Большинство защищается от Бога, противопоставляя ему своего рода слепое чувство, и когда видишь на лице старца, оправдывающего свой порок, глуповатое и в то же время упрямое выражение капризничающего ребенка, это надрывает сердце. Но сейчас передо мной был бунт, подлинный бунт, озаривший своим пламенем человеческое лицо. Он появился не во взгляде, остановившемся и словно затуманенном, не в выражении рта, и даже голова ее не только не была гордо поднята, но напротив, клонилась к плечу, словно придавленная незримым бременем… Нет, показная наглость богохульства ничто перед этой трагической простотой! Ка-

залось, внезапная вспышка, взрыв воли отнял у нее все силы, оставив тело недвижным, бесстрастным, опустошенным непомерной затратой жизненной энергии.

— Смириться? — сказала она мягким голосом, леденившим сердце. — Что вы понимаете под этим? Разве я не смирилась? Если бы я не смирилась, я бы умерла. Смирение! Да я и так слишком смиренна! Я стыжусь этого. (Ее голос, хотя она и не повышала тона, звучал странно, с каким-то металлическим звоном.) Мне не раз прежде случалось завидовать слабоумным женщинам, которые так и не сумели выкарабкаться. Но такие, как я, замешаны крепко, из песка и извести. Чтобы заставить это несчастное тело забыть, мне следовало убить его. Однако не всякий, кто жаждет смерти, способен покончить с собой.

— Я говорю не о таком смирении, — сказал я, — вы отлично это знаете.

— О каком же? Я хожу к обедне, говею на пасху, я могла бы вовсе не выполнять обрядов, я думала даже об этом. Но я сочла это ниже своего достоинства.

— Сударыня, уж лучше бы вы богохульствовали, чем говорить такое. В ваших словах вся гордыня ада.

Она молчала, уставившись в стену.

— Как смеете вы так говорить о Боге? Вы закрываете ему ваше сердце, и вы…

— Я хоть жила спокойно. Я бы умерла от этою…

— Так не может продолжаться.

Она взвилась, как змея.

— Бог сделался мне безразличен. Какой вам прок, глупец, если вы вынудите меня признать, что я его ненавижу?

— Вы уже не ненавидите его, — сказал я. — Ненависть — это равнодушие и презрение. А вы теперь противостоите друг другу, лицом к лицу. Он и вы.

Она по-прежнему глядела в одну точку, не отвечая.

В этот момент меня охватил неизъяснимый ужас. Все, что я только что сказал, все, что она сказала мне, весь этот нескончаемый диалог показался мне лишенным всякого смысла. И какой разумный человек расценил бы его иначе? Я, безусловно, поддался обезумевшей от ревности и гордыни девушке, мне показалось, я вижу в ее глазах мысль о самоубийстве, жажду покончить с собой, вижу так же явственно, так же отчетливо, как видишь слово, написанное на стене. Но то

был внутренний толчок, непроверенный разумом, подозрительный уже в силу самой своей необузданности. И не было никаких сомнений, что женщина, стоявшая сейчас передо мной, как перед судьей, действительно прожила много лет в ужасном оцепенении отверженных душ, которое является самой жестокой, самой неисцелимой, самой бесчеловечной формой отчаяния. Но как раз к этому недугу священник и не вправе подойти без трепета. Я хотел с маху разогреть это оледенелое сердце, озарить беспощадным светом все, вплоть до самого дальнего закоулка совести, которую Господь в своем милосердии пожелал, быть может, оставить пока в спасительном сумраке. Что сказать? Что сделать? Я чувствовал себя как человек, который единым духом взобрался на головокружительную высоту и, открыв глаза остановился, ослепленный, не способный ни подняться выше, ни спуститься вниз.

И тут — нет! Этого невозможно выразить словами, — в то время как я изо всех сил боролся с сомнением, со страхом, ко мне вернулся дар молитвы. Пусть меня поймут правильно: я не переставал молиться с самого начала этого необыкновенного разговора, молиться в том смысле, в каком понимают это слово легкомысленные

христиане. Несчастное животное может делать дыхательные движения и под пневматическим колоколом, но что толку! И вдруг воздух вновь со свистом врывается в его бронхи, разглаживает одну за другой складочки тонкой легочной ткани, уже успевшей скукожиться, артерии вздрагивают под напором тарана красной крови — и все его существо напрягается, как корабль, когда паруса, оглушительно грохоча, полнятся ветром.

Она упала в кресло, зажав голову руками. Разорванная мантилья висела на ее плече, она сняла ее мягким движением, мягким движеньем бросила на пол. Я не терял из виду ни одного ее жеста, но в то же время меня не покидало странное ощущение, что мы оба уже не в этом унылом салоне, что комната пуста.

Я увидел, как она вынула из-за выреза блузки медальон, висевший на простой серебряной цепочке. И все с той же мягкостью, которая была ужасней, чем любая ярость, поддела ногтем крышку — стекло отскочило на ковер, она не обратила на это внимания. На кончиках ее пальцев осталась светлая прядь, словно золотистая стружка.

— Вы мне клянетесь… — начала она. Но тотчас прочла в моих глазах, что я все понял и клясться

не стану.

— Дочь моя, — сказал я (это обращение само сорвалось с моих губ), — с Господом Богом не торгуются, предайтесь ему, не ставя никаких условий, отдайте ему все, он воздаст вам сторицею. Я не пророк, не кудесник, и оттуда, куда все мы идем, вернулся один он.

Она не возражала, только склонилась еще ниже, я видел, как при каждом моем слове вздрагивают ее плечи.

— Я могу утверждать лишь одно, — нет царства живых и царства мертвых, есть только царство божие, и все мы, живые и мертвые, принадлежим ему.

Я произнес эти слова, мог бы произнести и другие, сейчас это не имело ни малейшего значения! Мне казалось, что чудесная рука разверзла какую-то незримую стену, и в эту брешь ворвался покой, величаво подымаясь округ, как вешние воды в разлив — покой, неведомый земле, сладостный покой мертвых.

— Это мне ясно, — сказала она поразительно изменившимся, но спокойным голосом. — Знаете, о чем я думала минуту назад? Быть может, мне не следует вам в этом признаваться? Так вот, я говорила себе: «Если бы где-нибудь, в этом мире

или в ином, было место, где нет Бога — пусть я даже должна там вынести тысячу смертей, умирать ежесекундно, вечно — я унесла бы туда моего (она не осмелилась произнести имя преставившегося младенца)»… и я сказала бы Богу: «Ну, насыться! Раздави нас!» Вам это, конечно, кажется чудовищным?

— Нет, сударыня.

— То есть как нет?

— Я и сам, сударыня… Мне тоже случается…

Я не мог договорить до конца. Передо мной стоял образ бедного доктора Дельбанда, он смотрел мне в глаза своим старым, усталым, неколебимым взглядом, в котором я боялся читать. И я слышал, мне казалось, что я слышу в эту самую минуту также стон, вырывающийся из груди стольких людей, стенания, рыдания, хрип — о бедное наше человечество, его отчаянный шепот под гнетом!

— Полноте! — сказала она раздумчиво. — Возможно ли такое?.. И даже дети, невинные малютки с верным сердцем… Вы хоть видели, как они умирают?

— Нет, сударыня.

— Он послушно сложил ручки, он молился так серьезно… я только что пыталась дать ему по-

пить, на его обметанных жаром губах еще была капля молока…

Она дрожала, как лист на ветру. Мне казалось, я один, один стою между Богом и этим созданием, преданным пытке. Грудь моя разрывалась. И все же Господь Бог сподобил меня устоять.

— Сударыня, — сказал я, — будь даже наш Бог богом язычников или философов (для меня это одно и то же) и укройся он в своем небесном чертоге, наши горести все равно низвергли бы его оттуда. Но вы знаете, что Спаситель сам снизошел к нам. Вы можете грозить ему кулаком, плевать ему в лицо, стегать его бичом и в конце концов распять на кресте, что изменится от этого? Все это уже было, дочь моя…

Она не решалась смотреть на медальон, который все еще держала в руке. Я никак не мог предвидеть того, что она сделала! Она сказала мне:

— Повторите то, что вы сказали… об аде… что ад — это больше не любить.

— Да, сударыня.

— Повторите!

— Ад — это больше не любить. Пока мы живы, мы можем тешить себя иллюзией, считать, что любим сами по себе, помимо Бога. Но мы подоб-

ны безумцам, протягивающим руки к лунному отражению в воде. Простите меня, я очень плохо выражаю свои мысли.

Она как-то странно улыбнулась, но лицо ее оставалось по-прежнему напряженным, улыбка была мрачная. Она зажала медальон в кулаке и другой рукой прижала этот кулак к груди.

— Каких слов вы ждете от меня?

— Говорите: да приидет царствие твое.

— Да приидет царствие твое.

— Да будет воля твоя.

Внезапно она встала, все так же прижимая кулак к груди.

— Сударыня, — вскричал я, — вы твердили эти слова тысячи раз, но теперь нужно сказать их от глубины души.

— Я ни разу не читала «Отче наш» с тех пор… с тех пор, как… Да вы и сами это знаете, вы все знаете еще прежде, чем вам скажешь, — заговорила она снова, пожав плечами, на этот раз гневно. Потом она сделала жест, смысл которого я понял лишь потом. Лоб ее блестел от пота. — Я не могу, простонала она, — мне кажется, я теряю его во второй раз.

— Царствие, о пришествии которого вы молите, это также и ваше царствие и его.

— Пусть же оно приидет! — Она посмотрела мне в глаза, и мы так стояли несколько секунд, потом она сказала: — Я вверяюсь вам.

— Мне!

— Да, вам. Я оскорбила Бога, должно быть, я его ненавидела. Да, теперь я понимаю, что так и умерла бы с этой ненавистью в сердце. Но вверяюсь я только вам.

— Я слишком ничтожный человек. Вы положили бы золотой в дырявую руку.

— Еще час тому назад моя жизнь казалась мне упорядоченной, все было на своем месте, вы не оставили от нее камня на камне.

— Такой и отдайте ее Богу.

— Я хочу отдать все или ничего, так уж мы, женщины, созданы.

— Отдайте все.

— Нет, вам меня не понять, вы думаете, я уже смирилась. Но того, что еще уцелело во мне от гордыни, хватило бы, чтобы проклясть вас!

— Отдайте и вашу гордыню, вместе со всем остальным, отдайте все.

Я еще не договорил, когда увидел в ее глазах какой-то неизъяснимый свет, но было уже слишком поздно, чтобы я мог чему бы то ни было помешать. Она швырнула медальон в горящие

поленья. Я бросился на колени, сунул руку в огонь, я не почувствовал даже ожога. На мгновение мне показалось, что я держу в пальцах светлую прядку, но она ускользнула от меня и упала на пламенеющие угли. За моей спиной стояла такая ужасная тишина, что я не смел обернуться. Суконный рукав моей сутаны сгорел до локтя.

— Как вы смели! — пробормотал я. — Что за безумье!

Она отступила к стене, прильнула к ней спиной, руками.

— Я прошу у вас прощения, — сказала она униженно.

— Вы что же — считаете Бога палачом? Он желает, чтобы мы жалели себя. Впрочем, наши горести принадлежат не нам, он возлагает их на себя, приемлет их в сердце свое Мы не вправе намеренно искать страданий, чтобы бросить им вызов, попрать их. Понимаете?

— Что сделано, то сделано, теперь я бессильна это изменить.

— Да будет мир с вами, дочь моя, — сказал я и благословил ее.

Мои пальцы немного кровоточили, кожа местами вздулась. Она разорвала носовой платок и перевязала мне руку. Мы не проронили больше

ни слова. Мир, который я призвал на нее, снизошел на меня. Так просто, так буднично, что ничье присутствие уже не могло его смутить. Да, мы так незаметно вернулись к повседневной жизни, что самому внимательному свидетелю не удалось бы заметить сокровенной тайны, которая уже принадлежала не нам.

Она попросила, чтобы я назавтра выслушал ее исповедь. Я взял с нее слово никому не рассказывать того, что было между нами, и сам обещал хранить молчание.

— Что бы ни случилось, — сказал я. Произнося эти слова, я почувствовал, как сжалось мое сердце, и снова меня охватила печаль. Да сбудется воля божья.

Я ушел из замка в одиннадцать и вынужден был тут же поспешить в Домбаль. На обратном пути я остановился на лесной прогалине, откуда открывается вид на равнину, на длинные пологие склоны, почти незаметно сбегающие к морю. В деревне я купил немного хлеба и масла и с удовольствием поел. Как всегда, после решительных жизненных испытаний, я ощущал какую-то притупленность, вялость мысли, что не так уж неприятно и рождает странную иллюзию легкости, счастья. Какого счастья? Не знаю, как сказать.

Это какая-то безликая радость. То, что должно было произойти, произошло, минуло, вот и все. Вернулся я поздно, встретив по дороге старого Кловиса, который вручил мне пакет от г-жи графини. Я долго не решался его открыть, хотя знал, что в нем. Это был маленький медальон, теперь уже пустой, висевший на порванной цепочке.

Там было также письмо. Вот оно. Странное письмо.

«Господин кюре, не думаю, чтобы вы могли вообразить состояние, в котором меня оставили, к такого рода психологическим тонкостям вы, должно быть, совершенно безразличны. Что вам сказать? Безутешная память о малютке отгораживала меня от всех, я жила в ужасающем одиночестве, мне кажется, от этого одиночества теперь избавило меня другое дитя. Надеюсь, вас не покоробит, что для меня вы — дитя. Вы и есть дитя. Да сохранит вас Господь таким навсегда!

Я спрашиваю себя, что же вы сделали, как вы это сделали. Или, вернее, я больше себя ни о чем не спрашиваю. Все хорошо. Я не верила, что могу смириться. И в самом деле, то, что пришло ко мне, не смирение. Смирение не в моей натуре, предчувствие не обманывало меня на этот счет. Я не смирилась, я счастлива. Я ничего не хочу.

Не ждите меня завтра. Я пойду исповедаться к аббату Х., как обычно. Я постараюсь быть предельно искренней, но также и предельно сдержанной, не так ли? Как все просто! Я скажу: „Я сознательно грешила против Надежды на протяжении одиннадцати лет, ежеминутно, ежечасно“, — и этим все будет сказано. Надежда! Я считала, что она умерла у меня на руках тем страшным вечером, в тот ветреный, скорбный март… Ее последнее дыханье коснулось моей щеки, я точно знаю, в каком именно месте. И вот она возвращена мне. Не одолжена, подарена. Моя надежда, моя собственная надежда, не больше похожая на ту, которую называют этим именем философы, чем слово „любовь“ похоже на любимое существо. Эта надежда — плоть от моей плоти. Это трудно выразить. Тут нужны младенческие слова.

Я хотела высказать вам все это сегодня же. Так было нужно. И больше мы не будем к этому возвращаться, не правда ли? Никогда. Какое сладкое слово. Никогда. Написав, я тихонько произнесла его вслух, мне кажется, оно каким-то чудесным, несказанным образом выражает тот покой, который вы мне даровали».

Я сунул это письмо в свое «Подражание Иисусу Христу», старую книгу, принадлежавшую еще ма-

ме и до сих пор хранящую аромат лаванды — той лаванды, пакетики которой она клала в белье, по тогдашней моде. Сама она не часто ее читала из-за мелкого шрифта и тонкой бумаги — бедные мамины пальцы, заскорузлые от стирки, с трудом переворачивали страницы.

Никогда… Никогда больше… Почему?.. И вправду, есть что-то сладостное в этом слове.

Клонит ко сну. Чтобы дочитать до конца вечерние молитвы, пришлось ходить взад-вперед по комнате, глаза закрывались сами собой. Не знаю, счастлив ли я.

Половина седьмого.

Графиня умерла сегодня ночью.

Первые часы этого ужасного дня я провел в состоянии, близком к бунту. Бунтуешь от непонимания, а я не понимаю. Человек может вынести испытания, которые поначалу кажутся непосильными, — кто из нас знает свои силы? Но в этой беде я чувствовал себя нелепым, бесполезным, я только без толку путался у всех под ногами. Постыдное уныние, с которым я не мог справиться, проступало на моем лице невольной гримасой. В зеркалах и оконных стеклах я видел его искаженным, казалось, не столько даже горем, сколько страхом, тоскливо перекошенный рот,

моливший о жалости и словно осклабившийся в отвратительной улыбке. Господи!

Пока я бессмысленно суетился, все делали, что могли и в конце концов оставили меня в одиночестве. Г-н граф мною вообще не занимался, м-ль Шанталь подчеркнуто меня не замечала. Все случилось часа в два ночи. Г-жа графиня упала с кровати, сломав при падении будильник, стоявший на столике. Но обнаружили труп, естественно, много позже. Левую руку, уже отвердевшую, так и не смогли разогнуть. Г-жа графиня уже несколько месяцев недомогала, но врач не находил ничего серьезного. Очевидно, у нее была грудная жаба.

Я примчался в замок весь в поту. Сам не знаю, на что я надеялся. Чтобы переступить порог ее комнаты, мне пришлось сделать над собой усилие, страшное, противоестественное усилие, у меня лязгали зубы. Неужели я так малодушен! Лицо ее было прикрыто кисеей, я едва различил его черты, но губы, касавшиеся материи, я видел отчетливо. Мне так хотелось, чтобы на них была улыбка, непроницаемая улыбка усопших, которая так гармонирует с их неземным молчанием!.. Но она не улыбалась. Перекошенный рот выражал равнодушие, пренебрежение, почти

презрение. Когда я поднял руку для благословения, она была словно налита свинцом.

По странной случайности накануне в замок пришли две монахини, собиравшие подаяние, и, поскольку они уже закончили свой обход, г-н граф предложил утром подвезти их до станции на машине. Так что они заночевали в замке. Обе они, такие крохотные в своих непомерно широких платьях и маленьких грубых башмаках, выпачканных грязью, сидели у гроба. Боюсь, мое поведение их изумило. То одна, то другая искоса посматривали на меня, мне никак не удавалось сосредоточиться. Меня сковал какой-то ледяной холод, и только в глубине груди жгло огнем. Мне казалось, я сейчас упаду.

Наконец, с божьей помощью, я сумел помолиться. Сколько я себя сейчас ни вопрошаю, я ни о чем не сожалею. Сожалеть мне не о чем. Не о чем? Нет, это неправда. Я ведь мог бодрствовать в эту ночь и еще несколько часов хранить ничем не замутненное воспоминанье о разговоре, который, вероятно, был для нее последним. Впрочем, к тому же и первым. Первым и последним. «Счастлив я или нет?» — писал я… Каким же я был дураком! Теперь-то я знаю, — никогда еще мне не случалось, никогда уже не доведется изведать та-

кую полноту бытия, как в те неизъяснимо тихие, проникнутые присутствием, взглядом, жизнью другого человека минуты, когда я, облокотясь на свой стол и держа в ладонях старую книгу, вверял ей, точно преданному и умеющему молчать другу, адресованное мне письмо. И то, что мне предстояло утратить так скоро, я сам покрыл саваном сна, темного сна, без сновидений…

Теперь все кончено. Воспоминанье о живой уже меркнет, в памяти останется, я знаю, только образ покойницы, над которой Господь простер свою руку. Что должен сберечь мой ум из всего этого стечения случайных обстоятельств, во тьме которых я пробирался ощупью, точно слепой? Господу Богу нужен был свидетель, и он избрал меня, конечно, за неимением лучшего, так кличут первого попавшегося прохожего. Только такой безумец, как я, мог возомнить, что он тут играет определенную, важную роль. Слишком большая милость уж и то, что Господь сподобил меня присутствовать при этом примирении души с надеждой, при этом торжественном бракосочетании.

Около двух часов мне пришлось уйти из замка. Занятия законом божьим кончились гораздо позже, чем я рассчитывал, так как экзамены в самом

разгаре. Мне очень хотелось провести ночь над гробом г-жи графини, но там все еще обе монахини, и вместе с ними решил бодрствовать г-н каноник де ла Мотт-Бёврон, дядя г-на графа. Я не смел настаивать. Вдобавок г-н граф, неизвестно почему, со мной демонстративно холоден, почти враждебен. Как это понять?

Господин каноник де ла Мотт-Бёврон, которого мое присутствие также явно нервирует, отвел меня на минуту в сторонку и спросил, не намекала ли чего о своем здоровье г-жа графиня в нашем вчерашнем разговоре. Я отлично понял, что это был лишь предлог, чтобы исподволь вызвать меня на откровенность. Должен ли был я говорить? Не думаю. Уж если рассказывать, так все. А тайна г-жи графини, никогда мне не принадлежавшая полностью, теперь уж не принадлежит и вовсе, точнее, навсегда у меня отнята. Разве я могу предвидеть, как использует ее слепота, ревность, может, даже ненависть? Ныне, когда ужасное соперничество потеряло всякий смысл, рискну ли я разбудить самую память о нем? Да это и не просто память, боюсь, оно еще долго пребудет живо, оно из тех, которые сама смерть не всегда обезоруживает. К тому же, если я расскажу о выслушанных признаниях, не увидят ли в них

оправдание давних размолвок? Мадемуазель молода, а я по опыту знаю, как упорны, возможно неизгладимы, впечатления юности… Короче, я ответил г-ну канонику, что г-жа графиня выразила желание, чтобы между членами семьи было восстановлено согласие.

— В самом деле? — сухо сказал он. — Вы были ее духовником, господин кюре?

— Нет. — Должен сознаться, что его тон несколько раздражал меня. — Я полагаю, она была готова предстать перед Господом, — добавил я.

Он кинул на меня странный взгляд.

Я зашел в спальню в последний раз. Монахини читали последние молитвы. Вдоль стены громоздились букеты цветов, принесенные друзьями, родственниками, которые весь день приезжали прощаться с покойной, в доме стоял от них почти веселый шум. Каждую минуту свет автомобильных фар озарял окна, слышалось поскрипывание песка на аллеях, голоса перекликавшихся шоферов, гудки машин. Но все это не мешало монотонному бормотанью монахинь, словно сучивших нескончаемую нить.

При свете свеч лицо под кисеей виднелось яснее, чем днем. Достаточно было нескольких часов, чтобы черты его смягчились, разгладились,

из-за больших кругов под опущенными веками казалось, что покойная задумчиво глядит на мир. В этом лице все еще чувствовалась гордость, спору нет, даже властность. Но оно словно наконец отвернулось от противника, которому долго бросало прямой вызов, и мало-помалу погрузилось в раздумья, нескончаемые, непостижимые. Как далеко оно ушло от нас, за пределы нашей власти! И вдруг я увидел ее бедные руки, скрещенные на груди, тонкие, длинные пальцы, куда более по-настоящему мертвые, чем лицо, и узнал отметину, царапинку, которую заметил еще накануне, когда она прижала к груди медальон. Тонкая пленочка коллодия все еще держалась на пальце. И тут, сам не знаю почему, сердце мое надорвалось. Воспоминанья о борьбе, которую она выдержала в моем присутствии, на моих глазах, об этом великом сражении за вечную жизнь, из которого она вышла обессиленной, но непобедимой, нахлынули на меня с ужасной силой — я был на грани обморока. Как же я не догадывался, что такой день не может иметь продолжения, что мы сошлись у грани незримого мира, на самом краю светозарной бездны? Почему не упали мы в нее вместе! «Да будет мир с вами», — сказал ей я. И она приняла этот мир на коленях. Да пре-

будет он с нею во веки веков! Это я дал ей мир. О, диво — возможность одарить тем, чем сам не обладаешь, о, благодатное чудо наших пустых рук! Надежда, которая умерла в моем сердце, расцвела в ее душе, дар молитвы, который, как я считал, безвозвратно утерян мною, господь вернул ей, и, — как знать? может, от моего имени… Да пребудет с ней и это, да пребудет с ней все! И вот у меня отнято все, Боже, как только ты один умеешь отымать, ибо ничто не укроется от твоего грозного попечения, от твоей грозной любви.

Я отвел кисейный покров, прикоснулся пальцами к высокому чистому лбу, исполненному покоя. И тут, подле этой женщины, еще вчера стоявшей неизмеримо выше меня по своему возрасту, происхождению, состоянию, уму, я, ничтожный, заурядный священник, понял, да, понял, что такое чувство отцовства.

Чтобы выйти из замка, мне нужно было пересечь галерею. Дверь гостиной была раскрыта настежь, как и дверь столовой, где у стола суетились люди, торопливо жуя бутерброды, перед тем как уехать. Таков обычай в этих краях. Когда появлялся кто-нибудь из членов семьи, некоторые из посетителей, застигнутые врасплох с набитыми ртами, раздувшимися щеками, прилагали

огромные усилия, чтобы изобразить на своем лице печаль и сочувствие. Старые дамы показались мне особенно — я едва осмеливаюсь написать это слово оголодавшими, омерзительными. М-ль Шанталь повернулась ко мне спиной, и я слышал, проходя мимо, какой-то невнятный шепот. Мне почудилось, что говорят обо мне.

Сейчас сижу у окна. Там по-прежнему нескончаемый поток машин, глухой рокот празднества… Похороны в субботу.

С самого утра пошел в замок. Г-н граф передал мне, что горе мешает ему принять меня, но что после обеда, часа в два, г-н каноник де ла Мотт-Бёврон ко мне придет, чтобы договориться об отпевании. Как это понять?

Я так скверно выглядел, что обеспокоенные святые сестры, без моего ведома, попросили лакея принести бокал портвейна, который я выпил с большим удовольствием. Этот юноша, племянник старого Кловиса, обычно учтивый и даже подобострастный, отвечал весьма холодно на мои попытки заговорить с ним. (Правда, слуги в важных домах не терпят фамильярности, вдобавок, возможно, достаточно неуклюжей, когда речь идет о таких людях, как я.) Но вчера он прислуживал за столом, и я подумал, что до него могли

долететь некоторые высказывания. Какие?

У меня есть всего полчаса, чтобы пообедать, переодеться в теплую сутану (снова пошел дождь) и хоть немного прибрать в доме, где с некоторых пор все ужасно запущено. Мне не хотелось бы произвести неприятное впечатление на г-на каноника де ла Мотт-Бёврон, он и без того не слишком ко мне расположен. Так что у меня есть дела более неотложные, чем писать эти строки. Однако дневник необходим мне, как никогда. Только в те краткие минуты, которые я ему посвящаю, я еще ощущаю какое-то желание в себе разобраться. Размышления сделались для меня до того мучительными, память так притупилась, — я имею в виду память о недавних событиях, потому что другая!.. — воображение стало таким вялым, что я вынужден напрягать все силы, чтобы скинуть с себя какую-то смутную, вязкую одурь, и даже молитва, увы! избавляет меня от нее далеко не всегда. Стоит мне дать себе передышку, я впадаю в какую-то полудрему, которая искажает перспективу воспоминаний — все последние дни тонут в тумане, точно пейзаж, где не видать ни ориентиров, ни дорог. Если я делаю записи аккуратно, утром и вечером, дневник как бы расставляет вехи в моем одиночестве, и

иногда я даже засовываю в карман последние странички, чтобы иметь возможность перечитать их, когда во время моих однообразных и невыносимо утомительных хождений от одной деревни, приписанной к приходу, к другой, меня охватывает страх поддаться этому своего рода головокружению. Не чересчур ли много места в моей жизни занимает дневник, как таковой… Я не знаю. Бог это ведает.

Только что ушел от меня г-н каноник де ла Мотт-Бёврон. Этот священник совсем не таков, как мне представлялось. Почему не говорил он со мной прямее, откровеннее? Он, вероятно, и сам бы этого хотел, но светские люди, с их неизменной корректностью, явно себя сдерживают, боясь растрогаться.

Сначала мы договорились о деталях отпевания. Г-н граф хочет, чтобы все было прилично, но не более — таково было, как он утверждает, многократно высказанное пожелание его супруги. Покончив с этим, мы оба замолчали, довольно надолго, мне было ужасно не по себе, г-н каноник, глядя в потолок, машинально открывал и защелкивал крышку своих больших золотых часов.

— Я должен вас предуведомить, — сказал он наконец, — что мой племянник Омер (г-на графа

зовут Омер, я этого не знал) желает повидаться с вами сегодня вечером, для приватного разговора.

Я ответил, что в четыре должен встретиться с причетником, чтобы развернуть драпировки, но сразу после этого приду в замок.

— Зачем же, дитя мое, вы примете его здесь. Вы же не замковый капеллан, черт побери! И я даже дам вам совет: будьте возможно сдержаннее, не позволяйте вовлечь вас в спор о ваших действиях как священнослужителя.

— О каких действиях?

Он подумал, прежде чем ответить.

— Вы виделись здесь с моей внучатой племянницей?

— Мадемуазель Шанталь приходила ко мне, господин каноник.

— У нее опасный, непокорный характер. Она, конечно, сумела вас растрогать?

— Я был с нею суров. Боюсь, скорее даже унизил ее.

— Она вас ненавидит.

— Не думаю, господин каноник, она, может, воображает, что ненавидит меня, но это не одно и то же.

— Вы полагаете, что имеете на нее какое-то

влияние?

— Сейчас, конечно, нет. Но, может, она и не забудет, что такой ничтожный человек, как я, посмел однажды устоять в споре с нею и что Господу Богу не лгут.

— Она изобразила вашу встречу совсем по-иному.

— Это ее дело. Мадемуазель слишком горда, чтобы рано или поздно не устыдиться своей лжи, и это заставит ее покраснеть. Ей очень нужно почувствовать стыд.

— А вам?

— Мне? — сказал я. — Да взгляните только на мое лицо. Если Господь Бог и создал его для чего-то, то именно для оплеух, а я пока еще не получил ни одной.

В этот момент взгляд его упал на полуоткрытую кухонную дверь, и он увидел стол, все еще покрытый клеенкой, на которой были остатки моего обеда: хлеб, яблоки (мне принесли вчера корзину) и на три четверти опустошенная бутылка вина.

— Вы не очень-то заботитесь о своем здоровье?

— У меня капризный желудок, — ответил я, — он принимает только немногое — хлеб, фрукты, вино.

— Боюсь, что в вашем состоянии вино скорее

вредно, чем полезно. Иллюзия здоровья — это еще не здоровье.

Я попытался ему объяснить, что это вино — старое бордо, поставляемое мне полевым сторожем. Он улыбнулся.

— Господин кюре, — начал он, как равный с равным, даже с каким-то уважительным оттенком, — вполне вероятно, что наши взгляды на то, как следует вести приход, решительно расходятся, но в этом приходе хозяин вы, вы тут в своем праве, достаточно вас послушать. Я слишком часто в своей жизни подчинялся, чтобы не составить себе представления о том, что такое подлинный авторитет, где бы я с ним ни столкнулся. Пользуйтесь своим авторитетом крайне осмотрительно. Есть души, для которых он, вероятно, непререкаем. Я старый священник, мне хорошо известно, как нивелирует характеры семинарское воспитание, нередко — увы! — низводя их до уровня всеобщей посредственности. С вами это воспитание ничего не смогло поделать. Ваша сила на том и зиждется, что вы сами не знаете, или не решаетесь отдать себе отчет в том, до какой степени не похожи на других.

— Вы смеетесь надо мной, — сказал я. Мне было не по себе, я чувствовал, что меня пробирает

какая-то странная дрожь, пронизывает страх перед этим непроницаемым взглядом, который леденил душу своей бесстрастностью.

— Дело не в том, чтобы осознавать свою власть, господин кюре, а в том, как ее употребить, ибо именно в этом весь человек. Что толку от власти, которая не используется или используется лишь наполовину? Вы, как в серьезных, так и в ничтожных случаях, пускаете в ход всю свою власть, скорее всего даже безотчетно. И это многое объясняет.

При этих словах он взял с моего письменного стола листок бумаги, придвинул к себе ручку, чернильницу. Потом подтолкнул все это ко мне.

— Мне ни к чему знать, что произошло между вами и… покойницей, сказал он. — Но я хотел бы пресечь дурацкие и, без сомнения, опасные разговоры. Мой племянник совершенно вышел из себя. Монсеньер так прост, что принимает его за важную персону. Резюмируйте в нескольких словах вашу позавчерашнюю беседу. Не обязательно излагать все в точности, и уж во всяком случае, — он сделал нажим на этих словах, — ни к чему приоткрывать то, что было доверено не только вашей чести священнослужителя, это уже само собой, но даже и просто вашей скромности.

Впрочем, эта бумага перейдет из моего кармана прямо в руки его преосвященства. Я боюсь, однако, сплетен.

Поскольку я не отвечал, он вновь остановил на мне очень долгий взгляд своих умышленно погашенных глаз, мертвых глаз. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Вы мне не доверяете, — снова заговорил он спокойным, уверенным, непререкаемым тоном.

Я ответил, что не могу понять, как подобная беседа может стать предметом отчета, мы разговаривали с глазу на глаз, без свидетелей, и, следовательно, только г-жа графиня была бы вправе предать огласке наш разговор. Он пожал плечами.

— Вы не знакомы с канцелярскими нравами. Если ваше свидетельство будет представлено мною, его примут с благодарностью, сдадут в архив и больше никогда о нем не вспомнят. В противном же случае вы погрязнете в устных объяснениях, совершенно к тому же бесполезных, потому что вам никогда не удастся говорить на их языке. Вы будете им говорить, что дважды два четыре, а они все равно будут считать вас человеком экзальтированным, безумцем.

Я молчал. Он положил руку мне на плечо.

— Ну ладно, оставим это. Я еще повидаюсь с вами завтра, если позволите. Не скрою, я пришел с намерением подготовить вас к визиту моего племянника, но к чему? Вы не из тех, кто умеет говорить, чтобы ничего не сказать, а здесь, к сожалению, нужно было бы именно это.

— В конце концов, — вскричал я, — что я сделал плохого, в чем меня упрекают?

— В том, что вы такой, как вы есть, и тут уж ничем не поможешь. Видите ли, дитя мое, нельзя сказать, что эти люди ненавидят вашу простоту, но они от нее защищаются, она для них что-то вроде огня, о который они обжигаются. Вы разгуливаете по белу свету со своей смиренной улыбкой, молящей о милосердии, а в кулаке несете факел, принимая его, очевидно, за пастырский посох. В девяти случаях из десяти они его вырвут у вас и затопчут. Но достаточно им ослабить внимание хоть на минуту, вы понимаете? Впрочем, если быть откровенным, я не очень-то высокого мнения о моей покойной племяннице, эти девицы де Тревиль-Соммеранж всегда были штучки, самому дьяволу, полагаю, пришлось бы попотеть, чтобы исторгнуть вздох из их уст, слезу из их глаз. Встретьтесь с моим племянником, поговорите с ним, как сами сочтете нужным. Только

помните, что он дурак. И пусть вас не смущает его имя, титул и прочая ерунда, с которой вы, боюсь, по благородству вашей души, слишком считаетесь. С аристократией покончено, дорогой друг, вбейте себе это в голову: я знавал двух или трех аристократов во времена моей молодости. Это были нелепые, но необыкновенно характерные личности. Они напоминали мне карликовые дубы, выращиваемые японцами в цветочных горшочках. Горшочки — это наши обычаи, наши нравы. Нет семьи, которая могла бы устоять против медленно подтачивающей ее скаредности, когда перед законом все равны, а судья и владыка — общественное мнение. Сегодняшние аристократы — это буржуа, стыдящиеся самих себя.

Я проводил его до ворот и даже прошел с ним несколько шагов по дороге. Думается, он ждал от меня какого-то порыва откровенности, доверия, но я предпочел промолчать. Я чувствовал себя не в силах преодолеть в эту минуту какое-то тягостное ощущение, что, впрочем, не укрылось от его странных глаз, которые он время от времени останавливал на мне со спокойным любопытством. Как мог я признаться, что не имею ни малейшего представления о претензиях ко мне г-на графа и что поэтому наша недавняя беседа

с г-ном каноником была игрой в недомолвки, о чем он, разумеется, даже не подозревал?

Сейчас так поздно, что я счел бесполезным идти в церковь, причетник, наверно, уже сделал сам все необходимое.

Визит г-на графа так ничего мне и не разъяснил. Я убрал со стола, расставил все по местам, но дверцы шкафа — само собой — оставил открытыми. Как и взгляд каноника, его взгляд упал прежде всего на бутылку с вином. Можно было биться об заклад, что случится именно так. Когда я думаю о своем повседневном меню, которым не удовольствовалось бы даже большинство бедняков, меня несколько раздражает это удивленье всех и каждого перед тем, что я пью не одну только воду. Я неторопливо встал и затворил дверь на кухню.

Господин граф был очень холоден, но вежлив. По-видимому, дядя не поставил его в известность о нашем разговоре, так что мне пришлось вновь улаживать вопрос о похоронах. Расценки он знает лучше меня, торгуется о плате за свечи и точно обозначил пером на плане церкви, где, как он желает, должен быть установлен катафалк. На лице его тем не менее лежит печать горя и усталости, даже голос изменился, в нем меньше ощущается обычная неприятная гнусавость.

В своем скромном черном костюме и грубых башмаках он похож на какого-нибудь зажиточного крестьянина. «И вот этот старый человек в воскресном платье — спутник одной и отец другой…» — подумал я. Увы! Мы твердим: семья, семьи, точно так же, как говорим Отчизна. А за семьи надо бы усердно молиться, семьи внушают мне страх. Да смилуется над ними Господь!

Я нисколько, впрочем, не сомневался, что каноник де ла Мотт-Бёврон сказал мне правду. Несмотря на все свои усилья, г-н граф нервничал все более и более явно. К концу мне даже показалось, что он вот-вот выскажется, но тут произошло нечто чудовищное. Роясь в своем бюро, чтобы найти формуляр, который необходимо было заполнить, я смахнул бумаги, и они разлетелись во все стороны. В то время как я торопливо складывал их, мне показалось, я слышу за спиною учащенное, прерывистое дыханье, я ждал, что он с секунды на секунду прервет молчание, и нарочно затягивал возню с бумагами, но напряжение было столь нестерпимым, что я внезапно обернулся, чуть не толкнув его. Он стоял вплотную ко мне, весь красный, протягивая сложенный вчетверо листок, соскользнувший под стол. Это было письмо г-жи графини, я едва не вскрикнул,

и когда я брал листок из его рук, он, должно быть, заметил, что меня трясет, так как пальцы наши соприкоснулись. Мне даже почудилось, что он испугался. После нескольких, ничего незначащих фраз мы расстались, церемонно раскланявшись. Завтра утром я пойду в замок.

Бодрствовал всю ночь, сейчас рассветает. Окно мое оставалось открытым, и я продрог. С трудом держу перо в окоченевших пальцах, но, как мне кажется, дышу легче, несколько успокоился. Уснуть я, разумеется, не мог, но этот холод, пронизавший меня насквозь, словно заменил сон. Час или два тому назад, в то время как я молился, преклонив колени и прижавшись щекой к доске стола, я вдруг ощутил себя таким опустошенным, таким выпотрошенным, что мне показалось, я умираю. Это бы ло приятно.

К счастью, на дне бутылки еще оставалась капля вина. Я разогрел его и насыпал много сахару. Следует признать, что мужчина моего возраста не может поддерживать свои силы несколькими стаканами вина, овощами и, изредка, кусочком сала. Нет сомнения, я совершаю непростительную ошибку, откладывая со дня на день визит к лилльскому врачу.

Не думаю, однако, что я малодушен. Просто мне

трудно преодолеть какое-то оцепенение, которое не означает ни равнодушия, ни покорности, но в котором я, почти безотчетно, укрываюсь от своих болей. Нет ничего проще, чем положиться на волю божию, когда день за днем убеждаешься на опыте в собственной никчемности! Но так не трудно докатиться и до влюбленности в собственные унижения и невзгоды, принимая их как благодать, тогда как на самом деле все это лишь роковой результат глупого поведения. Неоценимая услуга, которую оказывает мне этот дневник, состоит в том, что он помогает понять, в какой части моих нескончаемых злоключений повинен я сам. Так и теперь, стоило мне прикоснуться пером к бумаге, и я ощутил свое глубочайшее, беспросветное неумение сделать что-либо толком, свою невероятную неуклюжесть.

(Кто бы мог подумать четверть часа тому назад, что я способен написать эти строки, в сущности, такие мудрые? А ведь написал же.)

Вчера утром я пошел, как было обещано, в замок. Открыла мне дверь м-ль Шанталь. Это меня насторожило. Я думал, она примет меня в зале, но она почти насильно втолкнула меня в маленькую гостиную, где жалюзи так и не были подняты. Сломанный веер по-прежнему лежал на камине,

за часами. Мне кажется, мадемуазель перехватила мой взгляд. Ее лицо было еще жестче, чем всегда. Она хотела было сесть в то самое кресло, в котором два дня назад… Мне почудилось, что в ее глазах точно блеснула молния, и я сказал:

— Мадемуазель, у меня мало времени, я лучше постою.

Она вспыхнула, губы ее задрожали от гнева.

— Почему?

— Потому что мне здесь не место, да и вам тоже.

Ответ ее был чудовищен, невероятен для девочки таких лет, я не мог не подумать, что он внушен ей бесом. Она сказала:

— Я не боюсь мертвецов.

Я повернулся, чтобы уйти. Она бросилась между мною и дверью, раскинув руки, чтобы преградить мне путь.

— По-вашему, лучше ломать комедию? Если бы я могла молиться, я бы молилась. Я даже пыталась. Когда здесь (она указала на свою грудь) такое молиться невозможно…

— Что именно?

— Называйте как хотите, полагаю — это радость. Догадываюсь, что вы обо мне думаете — я чудовище? Да?

— Чудовищ не существует.

— Если потусторонний мир и правда похож на то, что о нем рассказывают, моей матери нетрудно меня понять. Она никогда меня не любила. А после смерти брата возненавидела. Разве я не права, что говорю с вами откровенно?

— Вы с моим мнением не считаетесь…

— Вы отлично знаете, что считаюсь, но полагаете ниже своего достоинства это признать. В сущности, ваша гордыня стоит моей.

— Вы говорите, как дитя, — сказал я, — вы и богохульствуете, как дитя.

Я сделал шаг к двери, но она вцепилась в ручку.

— Гувернантка укладывает свои чемоданы. В четверг она уедет. Видите, я всегда добиваюсь того, чего хочу.

— Какой толк, — сказал я, — это вам ничего не даст. Если вы останетесь такой, как сейчас, вы всегда найдете, кого ненавидеть. Будь вы способны меня услышать, я добавил бы даже…

— Что?

— А то, что ненавидите вы себя, одну себя!

Она на мгновение задумалась.

— Ба! Я возненавидела бы себя, если бы не добилась того, чего хотела. Теперь я должна быть

счастлива, а то… Они сами во всем виноваты. Зачем они заперли меня в этой паршивой конуре? Есть девушки, которые даже здесь нашли бы возможность довести их до белого каления. Это облегчает. А я ненавижу сцены, мне они омерзительны, я способна все вынести, не сморгнув. Какое наслажденье не повысить голоса, спокойно склонясь над вышивкой, опустить глаза и прикусить язык, когда кровь закипает в жилах! Знаете, моя мать была такой же. Мы могли молчать часами, сидя бок о бок, мечтая каждая о своем, злясь каждая на свое, а папа, разумеется, ничего даже не замечал. В такие минуты чувствуешь нечто непередаваемое, удивительную силу, которая скапливается в тебе и которую не исчерпать за всю жизнь, как бы она ни была долга… Естественно, для вас я — лгунья, лицемерка?

— Господу ведомо, кем я вас считаю, — сказал я.

— Вот это меня и бесит. Никогда не поймешь, что вы думаете. Но вы еще узнаете, какова я на самом деле, я хочу этого! А правда, что люди умеют читать в чужих душах? Вы верите в эти россказни? Разве такое возможно?

— И вам не стыдно всей этой пустой болтовни? Думаете, я не догадываюсь, уже давно, что вы

сделали что-то дурное по отношению ко мне, не знаю, что именно, но что-то сделали и теперь горите желаньем бросить мне в лицо признанье в этом?

— Да, пусть так. А вы станете мне говорить о прощении, разыгрывать из себя мученика?

— Не заблуждайтесь, — сказал я, — я служитель могущественного властелина и, как священник, могу отпустить грех лишь от его имени. Любовь к ближнему вовсе не в том, в чем видят ее миряне. Если вы пожелаете вдуматься в то, чему вас учили, вы согласитесь со мной, что есть время для милосердия, время для справедливости и только одно несчастье непоправимо — предстать пред ликом Всепрощающего не раскаявшись.

— В таком случае, — сказала она, — ничего вы не узнаете!

Она отошла от двери, освобождая мне проход. Переступая порог, я увидел ее в последний раз — она стояла у стены, опустив руки, склонив голову на грудь.

Господин граф пришел только четверть часа спустя. Он вернулся с полей, весь в грязи, с трубкой во рту, вид у него был счастливый. Мне показалось, что от него попахивает спиртным. Казалось, мое присутствие его удивило.

— Моя дочь вручила вам документы, там все подробности похоронной церемонии, как она была отслужена вашим предшественником по моей теще. Я хочу, чтобы отпевание было точно таким же, за исключением нескольких деталей.

— К сожалению, расценки с тех пор изменились.

— Поговорите об этом с моей дочерью.

— Но мадемуазель мне ничего не передала.

— Как! Вы разве не виделись?

— Мы только что виделись.

— Что такое! Пригласите мадемуазель, — сказал он горничной.

М-ль Шанталь все еще была в гостиной, думаю, она так и стояла за дверью, потому что появилась в ту же секунду. Лицо г-на графа изменилось так внезапно, что я не поверил своим глазам. Казалось, он был ужасно смущен. Она смотрела на него печально, с улыбкой, как глядят на ребенка, не отвечающего за свои поступки. Она даже кивнула мне. Какая невероятная выдержка у существа столь юного.

— Мы с господином кюре беседовали о другом, — сказала она мягко. — Мне кажется, вы должны предоставить ему действовать по собственному усмотрению, все эти китайские

церемонии, право же, нелепы. Вам нужно еще подписать чек для мадемуазель Ферран. Не забудьте, она уезжает сегодня вечером.

— Как сегодня вечером? Она что же — не будет присутствовать на похоронах? Всем это покажется странным.

— Всем! Мне думается, напротив, никто даже не заметит ее отсутствия. И потом, что поделаешь? Она предпочитает уехать.

Мое присутствие явно стесняло г-на графа, он покраснел до ушей, но его дочь говорила так ровно, спокойно, что невозможно было не ответить ей в том же тоне.

— Я нахожу, что шестимесячное жалованье это уж чересчур, просто нелепо платить столько, — продолжал он.

— Но ведь именно на этой сумме остановились вы с мамой, когда обсуждали увольнение. К тому же этих несчастных трех тысяч франков — бедняжка мадемуазель — еле-еле хватит на путешествие, один билет на пароход стоит две тысячи пять.

— Что еще за путешествие? Я считал, она собирается отдохнуть в Лилле, у своей тетки Преможи?

— Ничего подобного. Вот уже десять лет, как

она мечтает совершить плавание по Средиземному морю. По-моему, у нее есть все основания немного поразвлечься. Жизнь здесь была в конце концов не так уж весела.

Господин граф уже не скрывал гнева.

— Ладно, ладно, постарайтесь впредь держать про себя такого рода соображения. Ну, чего вы еще ждете?

— Чек. Ваша чековая книжка в секретере, в гостиной.

— Отвяжитесь от меня!

— Как вам будет угодно, папа. Я хотела только избавить вас от разговора на эту тему с мадемуазель, которая чрезвычайно расстроена.

Он наконец взглянул в лицо дочери, но та выдержала его взгляд не дрогнув, с выражением недоумения и невинности на лице. И хотя я не мог в эту минуту усомниться в том, что она разыгрывает отвратительную комедию, в ее поведении тем не менее было что-то благородное, какое-то, еще детское, достоинство, преждевременная горечь, от которой сжимало сердце. Она, конечно, осуждала отца, осуждала бесповоротно, возможно даже ничего не прощая, но не без грусти. И не презрение, а именно эта грусть делала старого человека беспомощным перед нею, ибо в нем

самом, увы, не было ничего созвучного такой грусти, он ее просто не понимал.

— Да выпишу, выпишу я твой чек, — сказал он, — приди через десять минут.

Она поблагодарила его улыбкой.

— Она очень чувствительная, легко уязвимая девочка и требует чуткости, — сказал он мне надменно. — Гувернантке чуткости не хватало. Пока была жива мать, ей, бедняжке, удавалось предупреждать столкновения, но теперь…

Он пригласил меня в столовую, пропустив впереди себя, но сесть не предложил.

— Господин кюре, — снова заговорил он, — будем откровенны. Я духовенство чту, моя семья всегда поддерживала прекрасные отношения с вашими предшественниками, но эти отношения основывались на уважении, почтительности, реже на дружеских чувствах. Я не желаю, чтобы священник вмешивался в мою семейную жизнь.

— Мы вынуждены иногда делать это помимо своей воли, — сказал я.

— Вы невольно… во всяком случае, бессознательно… послужили причиной ужасного несчастья. Я надеюсь, что ваша недавняя беседа с моей дочерью будет последней. Никто, даже ваше церковное начальство, не станет спорить,

что такой молодой священник, как вы, не может претендовать на роль духовного наставника девушки этого возраста. Шанталь и так слишком впечатлительна. В религии, конечно, немало хорошего, более того — прекрасного. Но главная миссия церкви — охранять семью, общество, церковь порицает любые эксцессы, это сила порядка, умеренности.

— Каким образом я стал причиной несчастья? — сказал я.

— Мой дядя де ла Мотт-Бёврон объяснит вам это. Достаточно, чтобы вы знали, что я не одобряю ваших неосторожных поступков и что ваш характер, он сделал паузу, — ваш характер, как и ваши привычки, представляется мне опасным для прихода. Имею честь кланяться.

Он повернулся ко мне спиной. Подняться в спальню я не посмел. К мертвым, как мне думается, должно приближаться лишь с ясной душой. Я был слишком потрясен словами, которые только что выслушал и которые казались мне совершенно бессмысленными. Характер? Еще куда ни шло. Но привычки? Какие привычки?

Я пошел к дому дорогой, которую, не знаю почему, называют Райской грязной тропкой между двух изгородей. Почти сразу же пришлось

побежать в церковь, где меня уже давно ждал причетник. Мое оборудование в жалком состоянии, и я вынужден признать, что если бы провел инвентаризацию вовремя, это избавило бы меня от многих хлопот.

Причетник — ворчливый старик, за брюзгливостью и даже грубостью которого скрывается натура чудаковатая, чувствительная. Среди крестьян гораздо чаще, чем это думают, встречаются люди с почти женской капризностью настроений, считающейся привилегией богатых бездельников. Один Бог знает, до какой степени ранимыми, сами того не сознавая, могут быть существа, замурованные на протяжении нескольких поколений, иногда — нескольких столетий, в немоту, всей глубины которой они даже не способны измерить, поскольку у них нет ни малейшей возможности ее преодолеть, да, впрочем, они об этом даже и не помышляют, наивно отождествляя монотонный повседневный труд и медленный ток собственных дум… вплоть до того дня, когда подчас… О, одиночество бедняков!

Выколотив драпировки, мы присели передохнуть на каменную скамью в ризнице. Я видел в полумраке его ссутулившуюся фигуру, с огромными руками, покорно сложенными на худых

коленях, ко лбу, блестевшему от пота, прилипла короткая прядь седеющих волос.

— Что думают обо мне прихожане? — спросил вдруг я. Поскольку раньше мы с ним никогда ни о чем серьезном не заговаривали, обращаться к нему с таким вопросом было, казалось бы, нелепо, да я и не ждал, что он ответит. Он действительно заставил меня долго ждать.

— Болтают, что вы почти ничего не едите, — выговорил он наконец замогильным голосом, — еще, что вы морочите голову девчонкам на уроках закона божьего своими россказнями о том свете.

— Ну а вы? Что думаете обо мне вы, Арсен?

На этот раз он задумался так надолго, что я снова взялся за работу, повернувшись к нему спиной.

— По-моему, лет вам не хватает…

Я постарался обратить все в шутку, хотя мне было не до смеха:

— Ну, годы — дело наживное, Арсен!

Он, однако, не слушал меня, продолжая терпеливо, упрямо развивать свою мысль:

— Кюре — он вроде нотариуса. Он должен быть на месте, когда есть надобность. А надоедать не надо.

— Но послушайте, Арсен, нотариус ведь работа-

ет на себя, а я на Господа Бога. Люди сами редко обращаются к Богу.

Он подобрал с полу свою палку, оперся подбородком на рукоятку. Можно было подумать, что он дремлет.

— Обращать, — заговорил он наконец снова, — обращать... Мне вот семьдесят три года, а я никогда не видел еще собственными глазами обращенного. Человек каким рождается, таким и умирает. В нашей семье все связаны с церковью. Дед мой был звонарем в Лионе, покойная мать домоправительницей у господина кюре в Вильмане, не было случая, чтобы кто-нибудь из наших скончался, не причастившись святых даров. Голос крови, ничего не поделаешь.

— Вы встретитесь с ними на том свете, — сказал я.

Он опять надолго задумался. Я искоса наблюдал за ним, занимаясь своим делом, и совсем уже потерял надежду что-нибудь услышать, когда он изрек свое последнее слово усталым, незабываемым голосом, казалось, вещавшим из глубин веков.

— Уж как умрешь, все умрет, — сказал он.

Я сделал вид, что не понял. Я не чувствовал себя способным ответить ему, да и к чему? Он

наверняка не понимал, что богохульствует, произнося эти кощунственные слова, — они были для него лишь признаньем в собственном бессилии вообразить ту вечную жизнь, никаких веских доказательств существования которой ему не давал земной опыт, хотя смиренная мудрость рода открывала ему ее бесспорность, и он в нее верил, не умея выразить свою веру, законное — пусть и еле слышно нашептываемое — наследство бессчетных крещеных предков… И все же сердце мое пронзил смертельный холод, силы меня оставили, и я, под предлогом мигрени, ушел один под дождь и ветер.

Теперь, когда эти строки написаны, я с изумлением смотрю на окно, разверстое во мрак, на кавардак на моем столе, на множество ничтожных свидетельств, видимых лишь моему собственному глазу, словно говорящих на таинственном языке о мучительном томлении последних часов. Прояснился ли мой ум? Или же, напротив, сила предчувствия, позволявшая мне собрать воедино события, сами по себе незначительные, притупилась из-за усталости, бессонницы, горечи? Не знаю. Все кажется мне нелепостью. Почему я не потребовал от г-на графа объяснения, хотя даже сам каноник де ла Мотт-Бёврон считал, что это

необходимо сделать? Прежде всего потому, что я подозреваю м-ль Шанталь в каком-то коварном обмане и страшусь узнать, в чем именно дело. И еще потому, что пока покойница у себя в доме, то есть до завтрашнего дня, пусть лучше все молчат! Позднее, возможно… Но никакого «позднее» не будет. Мое положение в приходе стало настолько трудным, что обращение г-на графа к его преосвященству, без сомнения, увенчается полным успехом.

Ну и пусть! Сколько я ни перечитываю эти страницы, мой рассудок не находит здесь ни единого слова, которое хотелось бы взять назад, но мне очевидна вся их тщета. Не доводы рассудка порождают истинную печаль — печаль души, — и не им ее побороть, если уж она вошла в нас, Господь ведает, через какую брешь бытия… Что сказать? Нет, она даже не вошла, она всегда была в нас. Мы говорим — печаль, тоска, отчаяние, пытаясь уверить себя, будто это какие-то перемены в душе, но я все больше и больше убеждаюсь, что это и есть сама душа и что удел человеческий после грехопадения ощущать все в себе и вне себя только как томление духа. Как бы ни был равнодушен человек к потустороннему, его, даже в миг наслаждения, не покидает смутное созна-

ние грозного чуда — это и есть торжество той единственной радости, которая дана существу, ведающему, что он смертен, и вынужденному подыскивать, как это ни трудно, оправданья, поневоле шаткие, яростному бунту своей плоти против этого абсурдного, отталкивающего предположения. Мне кажется, не храни его неусыпное милосердие божие, человек, едва осознав свой удел, должен был бы обратиться в прах.

Я затворил окно, разжег огонек в камине. По отдаленности одной из деревень, приписанных к моему приходу, я освобожден от положенного священнику поста в день, когда служу там святую обедню. До сих пор я не использовал этой поблажки. Но сегодня согрею себе кружку подсахаренного вина.

Я перечитал письмо г-жи графини, мне казалось, я вижу и слышу ее самое… «У меня нет никаких желаний». Ее долгий искус завершился, испытание окончено. Мое только начинается. Быть может, это продолжение того же? Быть может, Господь пожелал переложить на мои плечи бремя, от которого он избавил свое изнемогшее творение? Чем иначе объяснить ту радость, смешанную со страхом, ту угрожающую нежность, что пронзила меня, когда я благословлял

усопшую? Женщина, которой я отпустил грехи и которую несколько часов спустя приняла в свои объятия смерть, на пороге супружеской спальни, надежного убежища, созданного для отдохновения (вспоминаю, что на следующий день ее часы все еще оставались на стене, там, где она их повесила, ложась спать), эта женщина уже принадлежала нездешнему миру, я увидел, сам того не ведая, на ее челе отблеск покоя Мертвых.

За это, конечно, надо платить.

(NB. — Здесь несколько страниц вырвано, по-видимому, в спешке. То, что сохранилось на полях, прочесть невозможно, каждое слово перечеркнуто пером с такой яростью, что во многих местах прорвана бумага.

Один лист остался чистым, на нем всего несколько строк:

Твердо решив не уничтожать дневник, но сочтя должным вырвать эти несколько страниц, написанных поистине в бреду, хочу тем не менее засвидетельствовать здесь в обвинение себе, что последнее испытание, выпавшее на мою долю, самое тягостное из всех разочарований моей бедной жизни, ибо не могу даже предста-

вить себе ничего худшего, — застигло меня в момент, когда мне изменила покорность, мужество и когда мною овладел соблазн...

(Фраза осталась недописанной. На следующей странице не хватает сверху нескольких строк.)

...Надо уметь порвать любой ценой.

— Как, — сказал я, — любой ценой? Я вас не понимаю. Не понимаю всех этих тонкостей. Я бедный маленький священник, я только и хочу остаться незамеченным. Если я наделал глупостей, то они — такие, каков я сам, они ставят меня в смешное положение, они достойны осмеяния. Но разве нельзя дать мне время во всем разобраться самому? Где там! Священников, видите ли, не хватает. А кто виноват? Люди высшего порядка, как они себя называют, идут в монахи, а на таких незадачливых крестьян, как я, наваливают сразу три прихода! Да я ведь даже и не крестьянин, вы отлично это знаете. Настоящие крестьяне презирают таких людей, как я, батраков, холопов, которые таскаются с места на место в поисках нанимателя, а то и делаются контрабандистами, браконьерами, подонками, людьми вне закона.

Нет, я не считаю себя дураком. Уж лучше бы я был глупцом. Ни герой, ни святой, и даже…

— Замолчи, — сказал мне г-н торсийский кюре, — не прикидывайся младенцем.

Дул резкий ветер, и я вдруг увидел, что его милое старое лицо посинело от холода.

— Зайдем сюда, я промерз до костей.

Это была сторожка, где Кловис складывает свои вязанки хвороста.

— Я не могу теперь пойти к тебе. Что о нас подумают? К тому же хозяин гаража, господин Бигр, взялся отвезти меня в Торси на машине. В сущности, мне, понимаешь, следовало задержаться еще на несколько дней в Лилле, я не должен выходить в такую погоду.

— Вы приехали из-за меня! — сказал я.

В ответ он сердито пожал плечами.

— А похороны? Да и не твое это дело, мой мальчик, я поступаю так, как считаю нужным, зайди ко мне завтра.

— Ни завтра, ни послезавтра, ни, возможно, вообще на этой неделе, если только…

— Я сыт по горло твоими «если только». Хочешь, приходи, не хочешь, не приходи. Все-то тебе надо взвесить. Ты заплутался в наречиях. Жизнь нужно строить ясно, как французское предложение.

Каждый служит Господу Богу на свой манер и на своем языке, какого черта! Даже весь твой облик, одежда, вот эта пелерина, например…

— Но эта пелерина — подарок моей тетки!

— Ты похож на немецкого романтика. И потом, что за мина!

У него было такое выражение лица, какого я никогда прежде не видел, почти злобное. Мне кажется, он сначала заставлял себя говорить со мной сурово, но теперь самые жестокие слова сами рвались у него с языка, и, возможно, он сердился на себя за то, что не может их сдержать.

— Я не отвечаю за то, как выгляжу! — сказал я.

— Отвечаешь! Прежде всего, ты безобразно питаешься. Я еще должен об этом поговорить с тобой, очень серьезно. Не знаю, отдаешь ли ты себе отчет в том, что… — Он замолк. — Нет, об этом в другой раз, — заговорил он опять, более мягко, — не в этой лачуге. Короче, ты питаешься наперекор всякому здравому смыслу и еще удивляешься, что у тебя боли… Да если бы я ел, как ты, У меня самого были бы колики в животе! Что касается внутренней жизни, друг мой, боюсь, тут беда того же порядка. Ты недостаточно молишься. Ты больше страдаешь, чем молишься, вот что я думаю. Еда должна соответствовать за-

трачиваемым усилиям, а молитва — мере наших горестей.

— Дело в том… я не… я не могу! — вскричал я. И тотчас пожалел об этом признании, потому что взгляд его вновь посуровел.

— Не можешь молиться, бормочи! Послушай, я тоже натыкался на стену! Дьявол внушал мне такое отвращение к молитве, что с меня пот катил градом, когда я принуждал себя перебирать четки, веришь? Постарайся понять!

— О, я понимаю! — ответил я с таким жаром, что он долго смотрел на меня, меряя взглядом с головы до ног, без всякой, впрочем, недоброжелательности, напротив…

— Послушай, — сказал он, — не думаю, чтобы я обманывался на твой счет. Постарайся ответить на вопрос, который я сейчас тебе задам. Я не преувеличиваю значения этой маленькой проверки, — просто мне самому как-то пришла в голову эта мысль, когда я пытался понять себя, и, естественно, я обнаружил в результате немало неожиданностей. Короче, я много думал о призвании. Мы все, конечно, призваны, пусть так, но только на разный манер. Чтобы упростить вопрос, я начинаю прежде всего с того, что пытаюсь поставить каждого из нас на подходящее ему ме-

сто в Евангелии. Ну, это, ясное; дело, омолаживает нас на две тысячи лет, но что с того! Для Господа Бога времени не существует, его взор проницает время. Я говорю себе, что задолго до нашего рождения — если говорить на языке людей — Господь уже где-то повстречал каждого из нас — в Вифлееме, в Назарете, по дороге в Галилею, не знаю. Был день в ряду дней, когда взор его остановился на нас, и, в зависимости от места, времени, обстоятельств, призвание каждого из нас обрело свой особый характер. Нет, я не выдаю тебе всего этого за богословские истины! Я просто раздумываю, воображаю, грежу; понимаешь, если бы наша бедная душа, которая ничего не забыла, которая помнит вечно, могла бы провести наше бренное тело через века, заставить его подняться по этому гигантскому двухтысячелетнему откосу, она привела бы его прямехонько на то самое место, где… Что? Да что такое с тобой? С чего ты?

Я не замечал, что плачу, я не думал об этом.

— Почему ты плачешь?

Дело в том, что я неизменно вижу себя в Гефсиманском саду и в тот именно момент, да, как это ни странно, в тот именно момент, когда, положив руку на плечо Петра. Он задает вопрос — совершенно бесполезный, в общем, даже наивный, но

такой учтивый, такой ласковый: «Вы спите?» Это было привычное, естественное движение моей души, но до сих пор я не осознавал его, и вдруг…

— Да что с тобой? — нетерпеливо повторял г-н торсийский кюре. — Ты меня не слушаешь, ты о чем-то мечтаешь. Друг мой, тот, кто хочет молиться, не должен мечтать. Твоя молитва истекает мечтой. А для души нет ничего опасней подобного кровотечения!

Я открыл рот, хотел ему ответить, но не смог. Не важно! Разве мало уже и того, что Господь Бог смилостивился надо мной, открыв мне сегодня устами моего старого наставника, что нет такой силы, которая могла бы отлучить меня от предначертанного мне искони жребия, что я обречен Голгофе? Кто осмелится выставлять напоказ подобную милость? Я вытер слезы и так нескладно высморкался, что г-н кюре улыбнулся:

— Вот уж не думал, что ты еще такой ребенок, у тебя нервы совсем расстроены, дитя мое.

(Но он опять присматривался ко мне с таким пристальным вниманием, что я с трудом удержался и не рассказал ему обо всем, я видел, как менялся его взгляд, словно подбираясь к моей тайне. Поистине, он — подлинный повелитель душ, владыка.)

Наконец он пожал плечами с видом человека, который решил отступиться.

— Ну ладно, хватит, не можем же мы торчать до ночи в этой лачуге. В конце концов, возможно, Господу Богу угодно оставить тебя в этой печали. Но я всегда замечал, что такого рода испытания, в какое бы безысходное уныние они нас ни погружали, никогда не затемняют нашего рассудка, когда того потребует спасение души. Мне уже не раз сообщали о тебе вещи прискорбные, неприятные, но не в этом дело! Люди злы. Однако с бедной графиней ты и в самом деле переборщил, просто театр какой-то!

— Не понимаю.

— Ты читал «Заложницу» господина Поля Клоделя?

Я ответил, что даже не знаю, о чем и о ком он говорит.

— Ну, тем лучше. Там идет речь об одной святой девице, которая по совету кюре, в твоем роде, отказывается от данного ею слова, выходит за старого вероотступника, предается отчаянию, и все это якобы ради того, чтобы избавить папу от тюрьмы, а ведь место папы — от времен апостола Петра скорее в Мамертинской тюрьме, чем во дворце, изукрашенном сверху донизу этими

мошенниками Возрождения, которые, чтобы написать Божью Матерь, заставляли позировать своих потаскух! Господин Клодель гениален, не отрицаю, но все эти литераторы одним миром мазаны: стоит им заговорить о святости, как они погрязают в возвышенном, оно у них так и прет из всех пор! Святость не возвышенна, будь я духовником героини, я бы прежде всего заставил ее сменить свое птичье имя на обыкновенное христианское — ее зовут Лебедь — и потом внушил бы ей, что коль уж она дала слово, то обязана его сдержать человек может дать слово только единожды, и сам наш святой отец — папа тут не властен ничего изменить.

— Но при чем тут я, в чем я…

— А эта история с медальоном?

— С медальоном?

Я не мог понять.

— Эх ты, глупыш, вас слышали, видели, успокойся, ничего сверхъестественного здесь нет.

— Кто нас видел?

— Ее дочь. Но ведь ла Мотт-Бёврон тебе уже все рассказал, не прикидывайся дурачком.

— Нет.

— Как нет? Только этого недоставало! Ну что ж, раз уж я в это ввязался, нужно идти до конца,

не так ли?

Я не шелохнулся, у меня было время немного взять себя в руки. Если м-ль Шанталь извратила истину, она сделала это ловко, мне предстояло выпутаться из связавшей меня по рукам и ногам сети полулжи, избавиться от которой трудно, не предав, в свою очередь, усопшую. Г-н кюре, казалось, был удивлен моим молчанием, обескуражен.

— Хотел бы я знать, что ты понимаешь под словом «смирение»... Вынудить мать, чтобы она бросила в огонь единственную вещь, оставшуюся ей на память об умершем сыне, да это же какая-то иудейская история — из Ветхого завета. И по какому праву ты говорил ей о вечной разлуке? Души нельзя шантажировать, мой милый.

— Вы представляете все в таком свете, — сказал я, — я мог бы представить все в ином. Но к чему! Основное — действительно правда.

— И это все, что ты можешь ответить?

— Да.

Я думал, он на меня обрушится с обвинениями. Он, напротив, ужасно побледнел, лицо его стало мертвенно-серым, и тут я понял, до какой степени он меня любит.

— Уйдем наконец отсюда, — пробормотал он, —

и, главное, ни за что не соглашайся на встречу с этой девушкой — она дьяволица.

— Я не захлопну перед ней своей двери, пока я кюре этого прихода, я не захлопну двери ни перед кем.

— Она утверждает также, что ее мать противилась тебе до последней минуты и что ты оставил ее в состоянии ужасного смятения, неописуемой душевной смуты. Это правда?

— Нет!

— Ты оставил ее…

— Я оставил ее наедине с Богом, с миром в душе.

— О, Господи! (Он глубоко вздохнул.) Подумай, ведь она могла, умирая, помнить о твоей требовательности, твоей суровости?..

— Она опочила в мире.

— Что ты об этом знаешь?

Я не почувствовал даже искушения сказать ему о письме. Если бы не было смешно так говорить о себе, я мог бы сказать, что весь, с головы до ног, обратился в безмолвие. Безмолвие и мрак.

— Короче, она умерла. Что, по-твоему, должны думать люди? Такого рода сцены не по силам сердечникам.

Я промолчал. На этих словах мы расстались.

Я медленно шел домой. Мне не было больно. Напротив, у меня словно камень упал с души. Эта встреча с г-ном торсийским кюре была как бы генеральной репетицией той неотвратимой беседы, которая предстояла мне с начальством, и я, едва ли не с радостью, осознал, что сказать мне нечего. Последние два дня я безотчетно страшился того, что меня обвинят в ошибке, которой я не совершал. В таком случае я, из порядочности, не мог бы смолчать. Тогда как отныне я был свободен, пусть каждый судит по собственному усмотрению, как я выполнил свой долг священника. Мои поступки, впрочем, действительно можно расценить по-разному. Большим облегчением для меня было также думать, что м-ль Шанталь, возможно, искренне обманывалась насчет истинного характера нашего разговора, который она, вероятней всего, толком не слышала. Предполагаю, что она была в саду, под окном, расположенным довольно высоко над землей.

Придя домой, я удивился, почувствовав, что голоден. У меня есть еще в запасе картошка, я часто пеку ее на углях и ем со свежим маслом. У меня есть также яйца. Вино и в самом деле никудышное, но, когда я его подогреваю и подсахариваю, пить можно. Я до того прозяб, что на

этот раз налил полную кастрюльку, в нее входит один стакан, не больше, клянусь. Я уже кончал есть, когда вошел торсийский кюре. От удивленья — на этот раз не только от удивленья — кусок застрял у меня в горле. Я вскочил, меня шатало, вид у меня, вероятно, был безумный. Вставая, я неосторожно задел бутылку, и она разбилась с жутким звоном. Мутный ручеек черного вина потек по плитам пола.

— Бедное мое дитя! — сказал он. — Вот, значит, в чем дело… вот в чем… — ласково повторил он несколько раз. Я все еще не понимал, не понимал ничего, кроме того, что нежданный покой, которым я только что наслаждался, был, как всегда, предвестником нового несчастья.

— Это же не вино, это какая-то дрянная краска. Ты отравляешь себя, дурачок!

— У меня нет другого.

— Попросил бы у меня.

— Клянусь вам, я…

— Молчи!

Он оттолкнул ногой осколки бутылки, словно раздавил какую-то гадину. Я ждал, когда он кончит, не в силах вымолвить ни слова.

— Теперь понятно, почему ты выглядишь так плохо, мой бедный мальчик, да от такой дряни в

животе ты давно должен был умереть.

Он стоял передо мной, засунув руки в карманы своей теплой сутаны, и когда я увидел, как он расправляет плечи, я понял — сейчас он выскажет все, не пощадит меня.

— Ну, машину господина Бигра я упустил, но я рад, что пришел сюда. Прежде всего, сядь!

— Нет, — сказал я.

Я почувствовал, что голос дрожит в моей груди, как всегда, когда какой-то самому мне непонятный душевный трепет упреждает меня, что пришла минута встретить опасность лицом к лицу и устоять. Устоять вовсе не всегда означает оказать сопротивленье. Мне даже кажется, что в эту минуту я готов был признаться в чем угодно, только бы меня оставили в покое, наедине с Богом. Не было такой силы на свете, которая помешала бы мне устоять.

— Послушай, — продолжал г-н торсийский кюре, — я не сержусь на тебя. И не думай, что я считаю тебя пьяницей. Наш друг Дельбанд сразу понял, в чем дело. Мы все, в наших деревнях, больше или меньше, — сыновья алкоголиков. Твои родители пили не больше других, может, даже и меньше, но ели они плохо, а то и вовсе голодали. К тому же, за неимением лучшего,

они надувались пойлом вроде этого, которое и лошадь с ног свалит. Чего же ты хочешь? Рано или поздно ты должен был ощутить эту жажду, жажду, в сущности, даже не твою. Вот так все и тянется, да, так может тянуться веками: жажда бедняков солидное наследство! Иногда мало пяти поколений миллионеров, чтобы ее утолить, она сидит в костях, в мозгу костей. Можешь не уверять меня, что ты об этом не подозревал, я и сам это знаю. Да пусть бы ты даже выпивал в день одну каплю, не больше какой-нибудь барышни, это ровным счетом ничего бы не изменило. Ты пропитан алкоголем от рожденья, бедняжка. И потихоньку скатывался, требуя от вина — и от какого вдобавок вина — сил и мужества, которых набрался бы, съев доброе жаркое, кусок настоящего мяса. Если подойти к делу по-человечески, что может быть хуже смерти, а ты ведь себя убиваешь. И разве утешенье говорить себе, что сошел в могилу, выпив такую ерундовую порцию, которой не хватило бы, чтобы сохранить бодрость и веселие какому-нибудь анжуйскому виноградарю? И заметь, ты не грешил против Господа. Но теперь ты, мой милый, предупрежден. Теперь ты согрешишь против него.

Он умолк. Я смотрел на него, не отдавая себе в

этом отчета, как смотрел на Митонне, или на мадемуазель, или… О да! Я чувствовал, что печаль переполняет меня… А он, он сильный и спокойный человек, истинный служитель божий, мужчина. И он тоже встречает опасность лицом к лицу. Мы словно прощались друг с другом на расстоянии, разделенные незримой дорогой.

— А теперь, — заключил он голосом, несколько более хриплым, чем обычно, — не воображай невесть что. Я свои слова на ветер не бросаю, верь мне: ты все-таки священник что надо! Не говоря дурного о бедной покойнице, следует тем не менее признать…

— Оставим это, — сказал я.

— Воля твоя!

Мне хотелось бы уйти, как я это сделал час назад, в хибарке садовника. Но теперь он был моим гостем, приходилось считаться с его желаньем. Хвала Господу! Его воля была на то, что мой старый наставник не покинул меня и еще раз выполнил свою задачу. Встревоженный взгляд внезапно отвердел, и я вновь услышал хорошо знакомый голос — сильный, отважный, полный таинственного ликования.

— Работай, — сказал он, — занимайся пока что малыми делами, день за днем. Будь прилежен.

Помни о школьнике, который склоняется над тетрадью и выписывает свои каракули, высунув от старания язык. Вот такими желает видеть нас Господь Бог, когда предоставляет нам полагаться на собственные силы. Мелочи кажутся ничем, но они даруют мир душе. Как полевые цветы. Думаешь, что они не пахнут, а соберешь букет — от него исходит аромат. Молитва о малом — невинна, в каждой мелочи есть свой ангел. Молишься ли ты ангелам?

— Господи Боже мой, конечно…

— Мы недостаточно молимся ангелам. Они внушают страх богословам из-за давних ересей Восточных церквей, какой-то нервный страх, право! Мир полон ангелов. А Богородице? Молишься ты Богородице?

— Что за вопрос?

— Так все говорят… Но молишься ли ты ей, как нужно, хорошо ли ты ей молишься? Она Мать наша, разумеется. Она, мать рода человеческого, новая Ева. Но также и дочь его. Древний мир, мир больной, мир, еще не познавший благодати, долго качал ее на своей исстрадавшейся груди — века и века — в смутном, непонятном ожидании

virgo genetrix [12]. Века и века он оберегал своими дряхлыми руками, отягченными преступлениями, своими набрякшими руками чудо-девочку, не ведая даже ее имени. Девочку, эту царицу ангелов! И она до сих пор повелевает ими, не забывай об этом! Средневековье отлично это понимало. Средневековье понимало все. Но поди помешай дуракам переиначивать на свой лад «драму воплощения», как они выражаются! Если уж они считают необходимым, престижа ради, даже скромных мировых судей обряжать, как ярмарочных шутов, или пришивать галуны на рукав железнодорожным контролерам, они сгорели бы от стыда, придись им признаться перед неверующими в том, что эта трагедия, единственная подлинная трагедия, трагедия из трагедий — ибо все иные — ничто, — разыгралась без всяких декораций и позументов. Подумай только! Глагол стал плотью, а журналисты того времени все прохлопали! Из своего повседневного опыта они знают, как чертовски трудно разобраться, где истинно великое, даже когда речь идет о вещах человеческих — гениальности, геройстве, — да и о любви, их бедной любви! Так трудно, что в

[12] Примечания: 12
Девы-родительницы (лат.).

девяноста девяти случаях из ста они поспевают со своими цветами красноречия только на кладбище, отдают должное только мертвецам. Святость Бога! Простота Бога, устрашающая простота Бога, который проклял гордыню ангелов! Да, должно быть, Дьявол рискнул бросить вызов этой простоте, и тотчас гигантский пылающий факел на вершине творения низвергся во тьму. Иудейский народ был, надо думать, твердолоб, не то он понял бы, что Бог, воплотившись в человека, в идеал человека, рискует пройти незамеченным, что надо поэтому смотреть в оба. Да вот, возьми хотя бы этот эпизод триумфального восхождения в Иерусалим, он, по-моему, так прекрасен! Спаситель вкусил все — триумф, как и смерть, он не отверг ни одну из наших радостей, он отверг только грех. Его смерть, черт побери, — тут он обо всем позаботился, ничего не упустил. Но его триумф — триумф для детей, ты не находишь? Лубочная картинка — он сам верхом на осляти, и зеленые ветви, и деревенский люд, хлопающий в ладоши. Прелестная пародия, чуть ироничная, на императорское великолепие. Кажется, что на устах Спасителя играет улыбка — Спаситель нередко улыбается, — она говорит нам: «Не принимайте всего этого слишком всерьез, но, в общем, быва-

ют и законные триумфы, вовсе не запрещается праздновать победу — когда Жанна д'Арк входит в Орлеан, осененная орифламмами, забрасываемая цветами, в своем красивом камзоле из золотого сукна, я отнюдь не хочу, чтобы она думала, что поступает дурно. Раз вы в этом до такой степени нуждаетесь, бедные мои дети, я его освящаю, ваш триумф, благословляю, как благословляю вино ваших виноградников». И с чудесами, заметь, то же самое. Он их творит, только когда без этого не обойтись. Чудеса — картинки в книге, прелестные картинки! Но вот на что обрати особое внимание, сынок: у святой Матери Божьей нет ни триумфов, ни чудес. Сын не попустил, чтобы земная слава коснулась ее даже самым кончиком своего исполинского необузданного крыла. Никто не жил, не страдал, не умер с такой простотой, в таком глубоком неведенье своего собственного величия, величия, которое ставит ее, однако, превыше ангелов. Ибо она ведь родилась безгрешной, — какое поразительное одиночество! Родник до того чистый, до того прозрачный, до того прозрачный и чистый, что ей не дано было даже увидеть в нем отражение собственного лица, созданного единственно на радость Отцу — о, священное одиночество! Взгляни только,

как смотрят издали на это чудесное созданье, недосягаемое для них, неуязвимое и безоружное, древние домашние демоны человека, его господа и слуги одновременно, ужасные прародители, направлявшие первые шаги Адама на пороге проклятого мира — Лукавство и Гордыня. Конечно, род наш немногого стоит, но детство всегда волнует его до мозга костей, перед младенческим неведеньем он опускает глаза — глаза, познавшие добро и зло, глаза, которые всякого навидались! А тут ведь даже не просто неведенье. Богоматерь была сама Невинность. Подумай — что мы для нее, мы, род человеческий? Ну конечно, она ненавидит грех, но, в конце концов, она ведь его и не познала на опыте, тогда как самые великие святые через этот опыт прошли, даже святой Франциск Ассизский, при всей своей ангельской праведности. Только у Матери Божьей воистину младенческие глаза, единственные истинно детские глаза, из всех когда-либо смотревших на наш срам и злосчастие. Да, мой милый, чтобы хорошо ей молиться, нужно ощущать на себе этот взгляд, отнюдь не снисходительный ибо снисходительность неотделима от известного горького опыта, — но нежно сочувственный, сострадательно удивленный, полный еще ка-

кого-то невыразимого чувства, непостижимый, неизъяснимый, такой взгляд может быть лишь до грехопадения. Пречистая Дева моложе рода человеческого, который породил ее, — и хоть она Мать божьей благодатью, Мать благодати, но самая младшая дочь рода человеческого.

— Благодарю вас, — сказал я. Я не нашел других слов. Да и это произнес так холодно! — Прошу вас, благословите меня, — продолжал я тем же тоном. Дело в том, что я уже минут десять боролся с болью, нестерпимой болью, которая никогда еще не была такой острой. Господи, и эту боль я еще перенес бы, но тошнота, сопровождающая ее последнее время, отнимает у меня всякое мужество. Мы стояли на пороге двери.

— Тебе плохо, — ответил он, — это ты должен меня благословить.

Он взял мою руку, быстро поднес ее к своему лбу и ушел. Ветер и вправду сбивал с ног, но все же впервые я не увидел, как он выпрямляется во весь свой мощный рост, он шел ссутулившись.

После ухода г-на кюре я на минутку присел в кухне, вникать в его слова мне не хотелось. «Я придавал всему происшедшему со мной такое значение, подумал я, — только потому, что я мнил себя невинным. Многим священникам случает-

ся совершать весьма неосторожные поступки, а меня ведь ни в чем большем и не винят. Не исключено, что волнение ускорило смерть г-жи графини, г-н торсийский кюре ошибается лишь в том, каков был на самом деле наш разговор». Как ни странно, эта мысль принесла мне облегчение. Я все расстраиваюсь из-за своей неумелости, так почему бы мне не понять раз и навсегда, что я просто принадлежу к разряду посредственных священников? Наверное, первые школьные успехи были слишком сладки для сердца несчастного ребенка, которым я был в ту пору, и воспоминанье о них все еще не изгладилось, вопреки всему. Мне трудно согласиться с мыслью, что, после того, как я был «блестящим» учеником, — слишком блестящим! — теперь мое место на задних партах, среди тупиц. Я подумал также, что последний упрек г-на кюре был не так уж несправедлив, как показалось мне сначала. Правда, совесть моя тут чиста: я не нарочно перешел на тот режим, который он находит нелепым. Мой желудок не переносит другой пищи, только и всего. «К тому же, думал я также, — уж эти-то мои прегрешения никого не волнуют. Доктор Дельбанд насторожил моего старого наставника, а дурацкий случай с разбитой бутылкой только утвердил его в мысли,

на самом деле совершенно необоснованной».

В конце концов мои страхи показались мне смешными. Разумеется, от г-жи Пегрио, Митонне, г-на графа, еще кое-кого не укрылось, что я пью вино. Ну и что с того? Было бы уж слишком видеть преступление в этой слабости, которая, самое большее, могла бы быть расценена как грех чревоугодия, присущий многим моим собратьям. А Бог ведает, что ни один человек здесь не считает меня чревоугодником.

(Два дня не вел дневника, сама мысль о нем была мне отвратительна. Подумавши, боюсь, что продиктовано это не столько законной щепетильностью, сколько чувством стыда. Постараюсь быть честен до конца.)

После ухода г-на торсийского кюре я тоже вышел. Прежде всего мне нужно было навестить больного — г-на Дюплуи. Я нашел его при смерти. Хотя, по словам врача, у него было всего лишь воспаление легких, не очень даже тяжелое, но он — толстяк, и его слишком ожиревшее сердце внезапно сдало. Жена, присев на корточки перед очагом, спокойно подогревала кофе. Она не понимала, что происходит. Она только сказала: «Может, вы и правы, ему недолго осталось». Некоторое время спустя, приподняв простыню,

она добавила: «Ну вот он и отходит, теперь скоро конец». Когда я пришел со святым елеем, он был уже мертв.

Я бежал бегом. И зря я согласился выпить большую чашку кофе с можжевеловой. От можжевеловой меня всегда тошнит. Го, что говорит доктор Дельбанд, конечно, правда. Моя тошнота смахивает на тошноту от пресыщения, чудовищного пресыщения. Мне достаточно запаха. У меня такое ощущение, словно язык распухает во рту, как губка.

Мне следовало тут же вернуться домой. Я мало-помалу выработал на опыте какие-то приемы, может и смешные на посторонний взгляд, но позволяющие мне, когда я дома, преодолевать мой недуг, усыплять его. Всякий, кто привык страдать, в конце концов приходит к пониманию, что с болью надо обращаться обходительно, что нередко с нею можно совладать хитростью. Хотя у каждой боли есть своя индивидуальность, свои вкусы, но все боли злы и скудоумны, так что прием, выработанный однажды, может служить бесконечно.

Словом, чувствуя, что натиск предстоит жестокий, я сделал глупость и попытался дать ему прямой отпор. На то была господня воля. Это,

боюсь, меня и погубило.

Очень скоро совсем стемнело. В довершение всех бед, мне нужно было посетить кое-кого в окрестностях поместья Гальба, где дороги никуда не годные. Дождя не было, но размокшая глина липла к подошвам, почва здесь просыхает только в августе. В каждом доме мне освобождали местечко у очага, у печки, набитой грубым брюэйским углем. В висках у меня стучало, я почти не слышал, что мне говорили, отвечал невпопад, и вид у меня, вероятно, был очень странный! Тем не менее я держался: поход в Гальба всегда тяжек, так как дома там расположены далеко один от другого, разбросаны среди лугов, мне хотелось обойти все, чтобы не терять на это еще один вечер. Время от времени я заглядывал в свою записную книжечку и вычеркивал одно за другим имена, список казался мне нескончаемым. Когда я вышел из последнего дома, сделав все необходимое, мне было так плохо, что я не отважился выбираться на большую дорогу и двинулся напрямик, вдоль опушки леса. Тропинка шла мимо дома Дюмушелей, куда я собирался заглянуть. Вот уже две недели, как Серафита не показывается на уроках закона божьего, и я дал себе слово расспросить ее отца. Сначала я

шагал довольно бодро, боль в желудке, казалось, притупилась, меня мучили только тошнота и головокружение. Я очень хорошо помню, что миновал выступ Ошийского леса. Первый раз я упал в обморок, очевидно, чуть дальше. Мне мерещилось, что я все еще изо всех сил стараюсь устоять на ногах, хотя щекой я чувствовал ледяную глину. Наконец, я поднялся. Я даже пошарил под кустами ежевики в поисках своих четок. Моя бедная голова раскалывалась на части. Образ Приснодевы-Ребенка, навеянный мне г-ном кюре, неотступно преследовал меня, и, как я ни старался овладеть собой, начатая молитва неуловимо переходила в видения, всю абсурдность которых я время от времени осознавал. Не могу сказать, как долго я шел в этом состоянии. Приятные или нет, все эти виденья не утишали нестерпимой боли, сгибавшей меня пополам. Думаю, только боль не давала мне окончательно погрузиться в бред, она была единственной недвижной точкой в бесплодном круговороте моих грез. Они не оставили меня еще и сейчас, когда я пишу эти строки, но, благодарение Богу, я не чувствую никаких угрызений совести, ибо воля моя отвергала это наваждение, восставала против дерзостных видений. Как могущественно слово божьего человека!

Торжественно заверяю здесь, что мне, разумеется, ни на минуту и в голову не приходило, что это видение в истинном смысле слова, ибо память о том, что я недостоин, что я просто болен, можно сказать, ни на минуту меня не покидала. И все же не могу отрицать, что образ, возникавший во мне, был не из тех, которые ум приемлет или отвергает по своему хотенью. Осмелюсь ли признаться в том, что…

(Здесь две строки зачеркнуты.)

…Небесное созданье, в чьих крохотных ручках смирялись молнии, эти руки, исполненные благодати… Я смотрел на ее руки. Я то видел их, то не видел, и когда боль моя сделалась нестерпимой, я ухватился за одну из них. Это была детская рука, рука бедного ребенка, уже изношенная работой, стиркой. Как рассказать об этом? Мне не хотелось, чтобы это оказалось мороком, и все же, помню, я закрыл глаза. Я боялся, подняв веки, увидеть лицо, перед которым сгибаются наши колени. Я его увидел. Но в то же время это было лицо ребенка или очень молодой девушки, лишенное всякого сияния. Это было лицо печали, но печали мне незнакомой, к которой я не мог причаститься, такой близкой моему сердцу, моему жалкому человеческому сердцу, и все же неприступной.

В человеческой печали всегда есть горечь, а эта печаль была сладка, безропотна, она вся была приятием. Она навевала мысль о какой-то неведомой великой ночи, ласковой, бесконечной. Наша печаль, наконец, рождена опытом невзгод, опытом нечистым, а эта печаль была невинна. Она была сама невинность. И тут я понял значение некоторых слов г-на кюре, казавшихся мне ранее туманными. Господь наш набросил некогда по воле своей какой-то чудесный покров на эту девственную печаль, и, как ни слепы, как ни жестоки люди, они признали по знаку сему свою дражайшую дщерь, самую младшую в их древнем роде, небесную заложницу, вокруг которой выли бесы, и тогда люди восстали все, как один, оградив ее крепостной стеной своих бренных тел.

Думаю, я еще шел некоторое время, но совсем сбился с пути, спотыкался в густой траве, вымокшей от дождя и заплетавшейся под моими подошвами. Когда я понял, что заблудился, передо мной была живая изгородь, слишком частая и высокая, чтобы я мог сквозь нее пробраться. Я пошел вдоль изгороди, вода струилась с ветвей, затекала за воротник, руки мои стали совсем мокрыми. Боль мало-помалу утихала, но я не переставал сплевывать теплую воду, у которой

был, как мне казалось, вкус слез. У меня не было сил даже вытащить носовой платок из кармана. Сознания я не терял, но ощущал себя рабом слишком жестокой муки или, точнее, воспоминанья об этой муке — ибо уверенность, что она еще вернется, была даже страшней самой боли, — и я плелся за ней, как собака плетется за хозяином. Я боялся также, что упаду где-нибудь и меня найдут полумертвым, а это повлечет за собой еще один скандал. Мне казалось, я звал кого-то. Внезапно моя рука, придерживавшаяся изгороди, провалилась в пустоту, земля ушла из-под ног. Сам того не зная, я дошел до края откоса и упал, сильно стукнувшись коленями и лбом о каменистую тропинку. Еще минуту мне казалось, что я встал на ноги, иду. Потом я понял, что все это мне только мерещится. Мрак сгустился, оплотнел, я подумал, что снова падаю, но на этот раз в тишину. Я мгновенно соскользнул в нее. И она сомкнулась надо мной.

Открыв глаза, я тотчас все вспомнил. Мне почудилось, что уже рассветает. Но это был свет фонаря, стоявшего прямо передо мной на откосе. Я увидел также другой огонек, слева, за деревьями, и сразу узнал дом Дюмушелей с его дурацкой верандой. Вымокшая сутана липла к спине, ря-

дом никого не было.

Кто-то поставил фонарь подле моей головы — один из тех фонарей, которыми пользуются в конюшне, керосиновый, от него больше дыма, чем света. Вокруг фонаря крутилось какое-то гигантское насекомое. Я попытался встать, но не смог, однако почувствовал, что силы ко мне возвращаются, боль прошла. Наконец я сел. Было слышно, как по ту сторону изгороди покряхтывает и сопит скотина. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что даже если мне удастся встать на ноги, бежать слишком поздно, оставалось только терпеливо снести любопытство того, кто нашел меня и скоро вернется за фонарем. «Увы, подумал я, — меньше всего мне хотелось бы, чтобы меня подобрали именно у дома Дюмушелей». Я смог привстать на колени и вдруг увидел ее перед собой. Стоя, она была не выше меня. Ее худое личико было ничуть не менее лукавым, чем обычно, но прежде всего мне бросилась в глаза его ласковая серьезность, чуть-чуть торжественная, почти комическая. Я узнал Серафиту. Улыбнулся ей. Возможно, она подумала, что я над ней смеюсь, серые глаза сверкнули злобой такой не детской, — которая не раз заставляла меня потупить взор. Тут я заметил, что у нее в

руках глиняная миска с водой, в которой плавает какая-то тряпка, не слишком чистая. Она зажала миску между колен.

— Я набрала воду в луже, — сказала она, — так надежнее. Они все там, в доме, по случаю свадьбы кузена Виктора. А я вышла, чтобы загнать скотину.

— Смотри, чтоб тебя не наказали.

— Наказали? Меня никогда не наказывают. Однажды отец поднял на меня руку. «Попробуй тронь, — сказала я ему, — вот отведу Рыжуху на Поганый луг, она и сдохнет от водянки!» А Рыжуха наша лучшая корова.

— Ты не должна была так говорить, это дурно.

— Дурно, — отозвалась она, многозначительно пожав плечами, — доводить себя до такого состояния, как вы сейчас.

Я почувствовал, что бледнею, она смотрела на меня странным взглядом.

— Хорошо еще, что это я вас нашла. Я бежала за коровами, и у меня сабо скатилось на дорогу, я спустилась за ним, думала, вы мертвый.

— Мне уже лучше, я сейчас встану.

— По крайней мере, не возвращайтесь в таком виде!

— В каком это?

— Вас вырвало, у вас все лицо перемазано, как будто вы ели шелковицу.

Я попытался забрать у нее миску, но она едва не выскользнула у меня из рук.

— У вас руки чересчур дрожат, — сказала она, — дайте-ка я сама, мне не привыкать, о ла-ла! На свадьбе моего брата Нарцисса и не такое было. А? Что вы говорите?

У меня зуб на зуб не попадал, наконец она все же разобрала, что я прошу ее завтра прийти ко мне домой, я ей всю объясню.

— Ну нет, я такие гадости про вас говорила, ужас что. Вам следовало бы отлупить меня. Я ревнива, жутко ревнива, ревнива, как зверь. И не доверяйте другим. Они ябеды, лицемерки.

Говоря все это, она вытирала тряпкой мой лоб, щеки. От холодной воды мне стало лучше, я встал, но меня все еще сильно трясло. Наконец дрожь прошла. Моя маленькая самаритянка подняла фонарь на уровень моего подбородка, наверно, чтобы лучше судить о плодах своих трудов.

— Если хотите, я провожу вас до конца тропинки. Поосторожней на выбоинах. Главное, выбраться с пастбища, а там уж все просто.

Она пошла впереди меня, потом, когда тропинка стала шире, бок о бок со мной, а несколькими

шагами дальше вложила свою ручонку в мою, как пай-девочка. Мы шли молча. Коровы угрюмо мычали. Мы услышали, как вдалеке хлопнула дверь.

— Мне пора обратно, — сказала она. Но остановилась, преградив мне путь, и поднялась на цыпочки. — Как придете домой, обязательно лягте, — это помогает лучше всего. Жаль, некому сварить вам кофе. Хуже нет, по-моему, когда у мужчины нет женщины, это ненормально.

Я не мог оторвать взгляда от ее лица. Все в нем было увядшим, почти старообразным, кроме лба, сохранившего удивительную чистоту. Никогда не думал, что этот лоб так чист!

— Послушайте, все, что я сказала, чушь, вранье! Я отлично знаю, вы не виноваты. Они подсыпали вам порошок в стакан, это у них такая забава, шутка. Но теперь, благодаря мне, они ничего не увидят, мы им наставим нос…

— Куда ты запропастилась, потаскушка!..

Я узнал голос ее отца. Она спрыгнула с откоса, неслышно, как кошка, держа в одной руке свои сабо, в другой фонарь.

— Ш-ш! Быстрей идите домой. Как раз сегодня ночью вы мне снились. Вид у вас был печальный, как сейчас, я проснулась в слезах.

Дома мне пришлось выстирать сутану. Материя была заскорузлой, вода покраснела. Я понял, что меня сильно рвало кровью.

Ложась, я почти принял решение поехать первым же утренним поездом в Лилль. Я был настолько ошарашен — страх смерти пришел позднее, — что будь в живых старый доктор Дельбанд, я тотчас побежал бы в Девр, прямо среди ночи. Но, как всегда, случилось то, чего не ждешь. Я проспал всю ночь без просыпа и пробудился с петухами, в отличном настроении. Я не мог даже удержаться от смеха при взгляде на свою печальную физиономию, пока снова и снова скреб щетину, с которой не управляется ни одна бритва, настоящую шоферскую, кучерскую щетину... В конце концов, может, кровь, запятнавшая мою сутану, попросту текла у меня из носу? Как это вполне правдоподобное объяснение не пришло мне в голову сразу? Наверно, кровь пошла, когда я ненадолго потерял сознание, и я остался под впечатлением того отвратительного ощущения тошноты, которое томило меня перед обмороком.

Все же я непременно поеду на этой неделе в Лилль проконсультироваться у врача.

После обедни посетил окольтского священни-

ка, чтобы попросить его заменить меня, если мне придется отлучиться. Мы едва знакомы, но он почти одних лет со мной и внушает мне доверие. Несмотря на усердную стирку, пластрон моей сутаны выглядит безобразно. Я сказал, что в шкафу опрокинулся флакон с красными чернилами, и он любезно ссудил меня старой теплой сутаной. Что он думает обо мне? Я ничего не прочел в его глазах.

Господина торсийского кюре вчера отвезли в амьенскую клинику. Говорят, у него сердечный приступ, ничего опасного, но он нуждается в медицинской помощи, в уходе сиделки. Перед тем как его уложили в санитарную машину, он нацарапал карандашом записку мне: «Мой маленький Грибуй, молись усердно Господу Богу и навести меня на той неделе в Амьене».

Выходя из церкви, столкнулся с м-ль Луизой. Я считал, она уже далеко от здешних мест. Она пришла пешком из Арша, туфли ее были все в глине, лицо грязное и, как показалось мне, расстроенное, из шерстяной перчатки, прорванной в нескольких местах, торчали пальцы. И это она — прежде такая аккуратная, холеная! Я ужасно огорчился. Однако с первых же слов понял, что ее терзания не из тех, в которых можно при-

знаться.

Она сказала мне, что последние полгода ей не платили жалованья, а теперь нотариус г-на графа предложил ей совершенно неприемлемую сделку, и она не решается покинуть Арш, живет в гостинице.

— Господин граф окажется в полном одиночестве, это человек слабый, эгоист, дорожащий своими привычками, дочь мигом приберет его к рукам.

Я понял, она еще надеется, не смею сказать — на что. Она старалась говорить округлыми фразами, как и прежде, и минутами ее голос даже чем-то напоминал голос г-жи графини, от которой она переняла также манеру щурить веки близоруких глаз… Добровольное самоуничижение — царственно, но в зрелище разлагающейся спеси приятного мало!..

— Даже госпожа графиня обращалась со мной, как с человеком из общества. Впрочем, мой двоюродный дед, майор Эднер, был женат на девице Нуазель, а Нуазели им родня. Испытание, ниспосланное мне Богом…

Я не выдержал и прервал ее:

— Не поминайте всуе имя божье.

— О, вам легко меня обвинять, презирать. Вам

неведомо, что такое одиночество.

— Кому это ведомо, — сказал я. — Нам никогда не изведать всей глубины нашего одиночества.

— В общем, вы заняты своим делом, дни для вас бегут быстро.

Я невольно улыбнулся.

— Вам сейчас нужно уехать подальше отсюда, порвать все связи. Обещаю получить для вас все, что положено. И перевести по адресу, который вы укажете.

— С помощью мадемуазель, разумеется? Я не думаю ничего дурного об этой девочке, я все ей прощаю. Это необузданная, но великодушная натура. Иногда мне кажется, что, объяснись я с ней откровенно…

Она сняла одну из перчаток и нервно комкала ее в руке. Конечно, она внушала мне жалость, но отчасти и отвращенье.

— Мадемуазель, — сказал я ей, — не говоря уж обо всем другом, хотя бы гордость должна была бы удержать вас от некоторых поступков, к тому же бесполезных. И самое поразительное, что вы хотите втянуть в это меня.

— Гордость? Покинуть эти края, где я жила счастливо, почти как ровня своих хозяев, и отправиться неведомо куда, нищенкой — это вы

именуете гордостью? Уже вчера, на рынке, крестьяне, которые прежде кланялись мне чуть не до земли, делали вид, что не узнают меня.

— Не узнавайте и вы их. Будьте гордой!

— Гордость, снова гордость! Да и что такое гордость? Никогда не думала, что гордость — христианская добродетель… Мне странно даже слышать это слово из ваших уст.

— Простите, если вы хотите говорить со священником, он должен потребовать от вас покаяния в грехах, чтобы получить право их отпустить.

— Ничего такого я не хочу.

— Тогда позвольте мне говорить с вами на языке, который вам доступен.

— На мирском?

— Почему бы нет? Прекрасно, когда человек может стать выше собственной гордости. Но прежде нужно до нее возвыситься. Я не вправе свободно рассуждать о чести, как ее понимают миряне, это не предмет разговора для такого ничтожного священника, как я, но мне порой кажется, что честью недостаточно дорожат. Увы, каждый из нас способен рухнуть в грязь, измученному сердцу грязь кажется освежающей. И стыд — это, знаете ли, тоже сон, тяжелый сон, беспробудный хмель. И если последние остатки гордости могут

поставить на ноги несчастного, почему бы пренебрегать ею?

— И эта несчастная — я?

— Да, — сказал я. — Я не позволил бы себе унижать вас, если бы не надеялся таким образом избавить от унижения еще более тяжкого, непоправимого, которое навсегда уронило бы вас в ваших собственных глазах. Откажитесь от мысли встретиться с мадемуазель Шанталь, вы понапрасну осрамите себя, она вас растопчет, раздавит…

Я умолк. Я видел, что она подстегивает свою злобу, свое возмущение. Мне хотелось бы выразить ей сочувствие, но все слова, приходившие мне на ум, я это чувствовал, могли только распалить ее жалость к себе и вызвать отвратительные слезы. Никогда еще я не понимал так хорошо свое бессилие перед лицом невзгод, которые не мог разделить, как бы ни старался.

— Да, — сказала она, — между Шанталь и мною вы выбрали твердо. Мне вас не перетянуть. Она меня сломила.

Ее слова напомнили мне одну фразу из моего последнего разговора с г-жой графиней. «Господь вас сломит!» — вскричал я тогда. Это воспоминанье причинило мне боль.

— В вас нечего ломать! — сказал я. И сразу пожалел об этих словах, но теперь больше не жалею, они вырвались у меня из сердца.

— Она и вас провела, — ответила гувернантка, сделав печальную мину. Она не повышала голоса, но говорила все торопливее, ужасно торопливо, не могу даже передать всего, слова рвались нескончаемым потоком с ее обметанных губ. — Она вас ненавидит. Она возненавидела вас с первого дня. Она дьявольски прозорлива. А уж хитра! От нее ничто не ускользает. Стоит ей нос высунуть на улицу, сбегаются все дети, она пичкает их сахаром, они ее обожают. Она им говорит о вас, они ей рассказывают невесть что о ваших уроках закона божьего, она передразнивает вашу походку, ваш голос. Она неотвязно думает о вас, это ясно. А уж если она неотвязно о ком-нибудь думает, она превращает этого человека в мальчика для битья, преследует его до самой смерти, она безжалостна. Вот еще позавчера…

Меня точно резануло в самое сердце.

— Замолчите! — сказал я.

— Нет, вы должны знать, что она такое.

— Я знаю! — воскликнул я. — Вам ее не понять.

Она обратила ко мне свое бедное униженное лицо. Ветер высушил слезы на ее смертельно

бледных щеках, оставив поблескивающий след, который терялся в темных провалах под скулами.

— Я говорила с Фашоном, помощником садовника, который прислуживает за столом в отсутствие Франсуа. Шанталь все рассказала отцу, они корчились от смеха. Она нашла неподалеку от дома Дюмушелей книжечку с вашим именем на первой странице. Ей пришло в голову расспросить Серафиту, и, как водится, она сумела вытянуть из девочки все…

Я смотрел на нее с дурацким видом, не в силах вымолвить ни слова. Но и в эту минуту, когда она, вероятно, упивалась местью, ничто, даже злоба, не могло изменить выражение ее печальных глаз, в них была неизбывная покорность рабочей скотины, и только лицо чуть порозовело.

— Похоже, девочка наткнулась на вас, когда вы храпели на дороге в…

Я повернулся к ней спиной. Она побежала за мной, ухватилась за мой рукав, я не смог сдержать жеста отвращения, мне пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы взять ее руку и тихонько отвести в сторону.

— Уходите! — сказал я. — Я буду молиться за вас.

Мне наконец стало жаль ее.

— Все уладится, поверьте. Я повидаюсь с господином графом.

Она удалилась быстрым шагом, как-то косо склонив голову, точно раненое животное.

Господин каноник де ла Мотт-Бёврон только что уехал из Амбрикура. Я так и не видел его больше.

Сегодня заметил издалека Серафиту. Она пасла свою корову, сидя на обрыве. Я подошел к ней чуть ближе. Она убежала.

Без сомнения, моя всегдашняя робость с некоторого времени приобрела маниакальный характер. Не так-то легко справиться с безотчетным детским страхом, который заставляет меня резко оборачиваться, стоит мне почувствовать на себе чей-нибудь взгляд. Сердце начинает прыгать в моей груди, и дыханье возвращается только после того, как я услышу «добрый день» в ответ на свое приветствие. Пока этот отклик долетит до меня, я уже успеваю утратить всякую надежду на него.

А меж тем я больше не вызываю любопытства. Приговор мне вынесен, чего же еще от меня ждать? У них теперь есть правдоподобное, привычное, успокоительное объяснение моего

поведенья, они могут отвернуться от меня и заняться вещами более насущными. Известно, что я «пью» — пью в одиночестве, тайком, — молодежь добавляет «как сапожник». Как будто все ясно. Остается, увы! мой ужасный вид — краше в гроб кладут, — от которого я, естественно, не могу избавиться и который никак не согласуется с невоздержанностью. Вот этого-то они мне и не простят.

Я очень боялся урока закона божьего, предстоявшего в четверг. Нет, я ждал, конечно, не того, что именуется на школьном жаргоне «буза» (крестьянские дети никогда не бузят), но всяких перешептываний, хихиканья. Однако ничего такого не было.

Серафита пришла с опозданием, задыхающаяся, раскрасневшаяся. Мне показалось, что она прихрамывает. К концу урока, когда я читал «Sub tuum» [13], я увидел, что она крадется за спинами подружек, и не успел я произнести «Amen», как услышал торопливый стук деревянных подошв по плитам.

Когда церковь опустела, я нашел под кафедрой носовой платок, синий в белую полоску, слишком

---

[13] Примечания: 13
Под твой <покров прибегаю> (лат.).

большой для кармана ее фартука, она часто его теряет. Мне подумалось, что она не осмелится прийти домой без столь драгоценного предмета, так как г-жа Дюмушель славится своей скаредностью.

Серафита и в самом деле вернулась. Она стрелой промчалась к своей скамье, совершенно бесшумно (башмаки она сняла). Хромала она гораздо сильнее, чем раньше, но когда я окликнул ее из глубины церкви, она опять пошла, почти не припадая на ногу.

— Вот твой платок. Не теряй его больше!

Она была очень бледна (я редко видел ее такой, потому что от малейшего волнения она делается пунцовой). Она взяла платок у меня из рук, сердито, даже не поблагодарив. Но не сдвинулась с места. Она стояла, поджав больную ногу.

— Ступай, — сказал я ей ласково.

Она сделала шаг к двери, потом повернулась и встала прямо передо мной, очаровательно передернув плечиками.

— Сначала мадемуазель Шанталь меня вынудила (она приподнялась на цыпочки, чтобы смотреть мне прямо в лицо), а потом… потом…

— Потом ты уже говорила охотно? Что поделаешь, девочки болтливы.

— Я не болтливая, я — злая.

— Ты уверена?

— Уверена! Разрази меня Бог! (Она перекрестила лоб и губы большим пальцем, перемазанным чернилами.) Я помню все, что вы им говорили, — все ласковые слова, комплименты, да вот хотя бы — вы сказали Зелиде «моя маленькая». Моя маленькая! Этой пузатой косоглазой кобыле! Только такому, как вы, это и может взбрести на ум!

— Ты ревнуешь.

Она глубоко вздохнула, прищурив глаза, точно всматривалась в глубины своей мысли, в самые глубины.

— А вы ведь даже некрасивый, — процедила она сквозь зубы с невообразимой серьезностью. — Все дело в том, что вы грустный. Даже когда улыбаетесь, все равно — грустный. Мне кажется, что если бы я поняла, почему вы грустный, я бы никогда больше не делала ничего дурного.

— Я грустный потому, что люди не любят Бога.

Она покачала головой. Синяя грязная лента, которой она перехватывает на макушке свои жалкие волосенки, развязалась, и ее концы нелепо болтались у подбородка. Мои слова явно показались ей непонятными, совершенно непонятными. Но она не долго раздумывала.

— Я тоже грустная. Это хорошо — быть грустной. Это искупает грехи, иногда говорю я себе…

— Ты, значит, много грешишь?

— Еще бы! (Она бросила на меня взгляд, в котором был и упрек, и какое-то смиренное признанье.) Вам же отлично это известно. И не в том дело, что они так уж меня интересуют, мальчишки! Они ничего не стоят. Такие дураки! Просто бешеные псы, да и только.

— И тебе не стыдно?

— Стыдно. Мы вместе с Изабеллой и Ноэми часто встречаемся с ними там, наверху, за Маликорновым холмом, в песчаном карьере. Сначала мы все скатываемся с горки. Тут уж я самая отчаянная, можете не сомневаться! А когда они все уходят, я играю в покойницу…

— В покойницу?

— Ну да, в покойницу. Вырою яму в песке, лягу в нее на спину, вытянусь, руки на груди скрещу, глаза закрою. Стоит мне пошевелиться, хоть самую чуточку, песок сыплется за шиворот, в уши, даже в рот. Я хотела бы, чтобы это была не просто игра, чтобы я в самом деле умерла. После разговора с мадемуазель Шанталь я там пролежала несколько часов. Когда я вернулась домой, папа меня отлупцевал. Я даже заплакала, а это со мной

случается не часто…

— Значит, ты никогда не плачешь?

— Нет. Слезы кажутся мне противными, грязными. Когда плачешь, грусть выходит из тебя, а сердце тает, как масло, фу, мерзость! Или же… (она снова прищурилась) может, нужно найти какой-то другой… другой способ плакать, что ли? По-вашему, все это глупо?..

— Нет, — сказал я. Я не знал, как ей ответить, боялся, что малейшая неосторожность отдалит от меня навсегда этого дикого зверька. — Настанет день, когда ты поймешь, что такой другой способ плакать — молитва, только в слезах молитвы нет малодушья.

При слове «молитва» она насупила брови, както по-кошачьи сморщив нос. Она повернулась ко мне спиной и, сильно хромая, пошла к двери.

— Почему ты хромаешь?

Она резко остановилась, напружинилась всем телом, готовая сорваться с места, оборотила ко мне только лицо. Потом опять передернула плечиками, как в первый раз. Я потихоньку приблизился, она тщетно пыталась натянуть на колени свою серую шерстяную юбку. Через дырку в чулке я увидел, что нога у нее совершенно лиловая.

— Вот из-за чего ты хромаешь, — сказал я, — что это?

Она отскочила назад, но я успел схватить ее за руку. Она стала вырываться, и чуть выше икры приоткрылась толстая веревка, стянутая так туго, что по обе ее стороны набухли два валика, лиловые, как баклажан. Выдернув руку, она запрыгала на одной ноге между скамей, мне удалось поймать ее только в двух шагах от двери. Она глядела на меня с такой серьезностью, что сначала я молчал.

— Это я наказала себя за то, что выболтала все мадемуазель Шанталь, я дала обет не снимать веревки до сегодняшнего вечера.

— Разрежь немедленно! — сказал я и протянул ей свой нож, она молча подчинилась. Но боль от внезапного прилива крови была, вероятно, чудовищна, так как она скорчила ужасную гримасу. Если бы я ее не подхватил, она наверняка упала бы. — Обещай мне, что это не повторится.

Она кивнула, все с той же серьезностью, и ушла, держась рукой за стену. Храни ее Господь!

Ночью у меня, по-видимому, было кровотечение, пустяковое, конечно, но теперь я уже не могу обманываться, нос тут ни при чем.

Было бы неразумно откладывать без конца

визит к врачу в Лилль, и я написал доктору, попросив его принять меня пятнадцатого. Через десять дней.

Я выполнил обещание, которое дал м-ль Луизе. Мне было трудно заставить себя пойти в замок. Но, к счастью, я повстречался с г-ном графом на улице. Его, казалось, ничуть не удивила моя просьба, можно подумать, он ждал ее. Я и сам действовал на этот раз гораздо более ловко, чем надеялся.

С обратной почтой получил ответ от доктора. Он согласен принять меня пятнадцатого. Я сумею обернуться за сутки.

Вместо вина я пью теперь очень крепкий кофе. Это мне на пользу. Чувствую себя хорошо, но из-за кофе у меня бессонница. Я не страдал бы от нее, иногда она мне даже приятна, если бы не сердцебиение, по правде говоря довольно томительное. Рассвет, как всегда, приносит мне избавление. Он сладостен, как божья благодать, как улыбка. Да будет благословенно утро.

Силы возвращаются ко мне и вместе с ними что-то вроде аппетита. К тому же стоит прекрасная погода, сухо и холодно. Луга в белом инее. Деревня совсем иная, чем осенью, в прозрачном воздухе она словно мало-помалу приобретает

невесомость, и когда солнце начинает клониться к закату, кажется, что она висит в пустоте, не прикасаясь к земле, ускользает от меня, возносится. Зато сам я будто тяжелею, точно мой вес все сильнее притягивает меня к земле. Иногда это обманчивое ощущение настолько навязчиво, что я смотрю со своего рода ужасом, с необыкновенным омерзением на свои грубые башмаки. Зачем они здесь, в этом сияющем свете? Мне чудится, что они увязают в почве.

Молюсь я, конечно, лучше. Но сам не узнаю своей молитвы. Раньше она была настоятельной мольбой, и даже когда я читал, например, по требнику, что отвлекало мое внимание, я ощущал себя собеседующим с Богом, то просительно, то упрямо, требовательно — да, я хотел вырвать у него милости, силой добиться его ласки. Теперь я ничего не хочу. Подобно деревне, моя молитва стала невесомой, она возносится… Хорошо ли это? Плохо? Не знаю.

Опять небольшое кровотечение, точнее, я харкаю кровью. Страх смерти коснулся меня. Конечно, мысль о смерти часто посещала меня и раньше, подчас внушала боязнь. Но боязнь не страх. Это длилось всего мгновение. Не знаю, с чем сравнить это пронзительное ощущение. С

ударом тонкого бича по сердцу, возможно?.. О, Голгофа!

Легкие у меня в плохом состоянии, это точно. Но ведь доктор Дельбанд внимательно меня выслушал. За несколько недель туберкулез не мог значительно прогрессировать. К тому же с этой болезнью нередко можно совладать энергичным усилием, волей к выздоровлению. Я способен на это.

Сегодня завершил посещения, которые г-н торсийский кюре иронически назвал «надомными». Если бы мне не был так ненавистен лексикон, привычный для многих из моих собратьев, я сказал бы, что эти визиты были «утешительными». А меж тем я отложил на конец те из них, положительный исход которых казался мне наименее вероятным… Откуда вдруг эта легкость в отношениях с людьми и вещами? Или она воображаема? Или я утратил чувствительность к мелким неприятностям? Или теперь, когда мое ничтожество признано всеми, это обезоружило подозрительность, антипатию? Все проходит передо мной, точно во сне.

(Страх смерти. Второй приступ был, мне кажется, не таким острым, как первый. Но какое странное чувство — это содрогание, это сжатие

всего существа вокруг какой-то точки в груди…)

Только что была у меня одна встреча. Встреча, впрочем, ничем не удивительная! В том состоянии, в котором я сейчас, самое ничтожное событие теряет свои точные пропорции, словно пейзаж в тумане. Короче, я повстречал, как мне думается, друга, мне открылась дружба.

Это признание немало удивило бы моих прежних товарищей, так как я слыву человеком, который хранит верность приятельским отношениям, сложившимся в юности. Я помню все даты, славлюсь, например, тем, что не забываю никого поздравить с годовщиной рукоположения. Над этим даже посмеиваются. Но все это не более, чем приятельские отношения. Теперь я понимаю, что дружба между двумя людьми может вспыхнуть внезапно с той неодолимой силой, которую миряне готовы признать лишь за любовью с первого взгляда.

Итак, я направлялся в Мезанг, когда услышал вдалеке за спиной рев сирены и тарахтенье, которое то наполняло собой воздух, то стихало, в зависимости от капризов ветра или изгибов дороги. В последние дни все уже привыкли к этим звукам, и никто даже головы не подымает. Только скажут: «Опять этот мотоцикл г-на

Оливье». Машина немецкая, поразительная, она похожа на небольшой сверкающий локомотив. Настоящее имя г-на Оливье Тревий-Соммеранж, он приходится племянником г-же графине. Старики, знавшие его здесь ребенком, неистощимы на рассказы о нем — восемнадцати лет пришлось отправить его в армию, настолько трудным был этот мальчик.

Я остановился передохнуть на склоне холма. Шум мотора на несколько секунд затих (наверное, из-за крутого Диллонского поворота), потом вдруг снова стал нарастать. Это напоминало какой-то дикий вопль, повелительный, угрожающий, отчаянный. Почти тотчас на гребне передо мной возник сноп пламени — солнце било прямо в отполированную сталь, — и вот уже машина промчалась по спуску и с мощным рыком так стремительно поднялась вверх, что казалось, единым махом вспрыгнула на холм. Когда я кинулся в сторону, чтобы пропустить ее, сердце точно оборвалось в моей груди. Лишь через минуту я осознал, что не слышу больше рева, только пронзительный стон тормозов, скрежет колес о гравий дороги. Потом не стало и этих звуков. Наступившая тишина показалась мне оглушительней грохота.

Господин Оливье стоял передо мной, в сером свитере, закрывавшем шею до самых ушей, с непокрытой головой. Так близко я еще ни разу его не видел. Лицо у него спокойное, внимательное, а глаза настолько светлые, что мне трудно даже сказать, какого они в точности цвета. Он глядел на меня и улыбался.

— Не соблазнитесь, господин кюре? — спросил он меня голосом… Боже мой, голосом, который я тотчас узнал, — мягким и непреклонным голосом г-жи графини. (Я не слишком хороший физиономист, как принято говорить, но памятлив на голоса, их я никогда не забываю, я люблю голоса. Слепец, которого ничто не отвлекает, должно быть, многое узнает из голосов.)

— А почему бы нет, сударь? — ответил я.

Мы молча оглядывали друг друга. Я прочел в ею взгляде удивленье, легкую иронию. Рядом с этой яркой машиной моя сутана выглядела черным и унылым пятном. Что за чудо, почему я ощутил себя в эту минуту юным, совсем юным да, совсем юным, — ничуть не менее юным, чем само победоносное утро? Передо мной промелькнуло мое тоскливое отрочество — не так, как проходит, говорят, перед утопающим вся его жизнь, прежде чем он окончательно идет ко дну, ибо это не

было чредой мгновенно сменяющих друг друга картин, нет. Мое отрочество предстало передо мной, как личность, как некое существо (живое или мертвое, одному Богу известно!). Но я не был убежден, что узнаю его, я не мог его узнать, потому что… это покажется очень странным — потому что я увидел его впервые, я никогда прежде его не видел. Оно прошло когда-то, как проходят поблизости от нас посторонние люди, и, может, среди этого множества людей есть такие, которые могли бы стать нам братьями, но они исчезли навсегда. Я никогда не был юным, потому что не осмелился. Жизнь вокруг меня, вероятно, текла как обычно, мои товарищи познали эту терпкую весну, насладились ею, в то время как я старался о ней не думать, оглушая себя работой. В приятелях у меня, конечно, недостатка не было! Но даже самым близким из друзей внушала, верно, безотчетный страх та печать, которую наложило на меня мое раннее детство, мой детский опыт нищеты, ее позора. Если бы я открыл им свое сердце… но именно то, что мне пришлось бы в таком случае сказать, я и хотел как раз скрыть во что бы то ни стало. Господи, сейчас это мне кажется таким простым! Я никогда не был юным, потому что никому не захотелось быть юным

вместе со мной.

Да, все вдруг мне показалось простым. Этого я никогда не забуду. Светлое небо, фиолетовый туман, отливающий золотом, склоны еще белые от изморози, и эта ослепительная машина, тихонько урчавшая на солнце… Я понял, что юность благословенна, что в юности есть свой риск — но и этот риск благословен. И какое-то предчувствие, которого я не могу объяснить, подсказывало мне — я это твердо знал, — что Бог не пожелал, чтобы я умер, не приобщившись хоть отчасти к этому риску, — может, лишь настолько, насколько это необходимо для полноты жертвы, когда придет для нее час. Мне дано было познать этот славный миг в его мимолетности.

Такие слова по поводу ничем не замечательной встречи, вероятно, покажутся совершенно идиотскими, я знаю. Но что мне за дело до этого! Чтобы не быть смешным в счастье, надо этому научиться с пеленок, с дней, когда еще не умеешь пролепетать ни слова. У меня никогда, ни на секунду не будет этой уверенности, этого изящества. Счастье! Своего рода гордость, веселье, абсурдная, чисто плотская надежда, плотская форма надежды — мне кажется, именно это они и называют счастьем. Короче, я ощутил себя юным,

по-настоящему юным рядом с этим, таким же юным, как я, товарищем. Мы оба были юны.

— Куда вы направляетесь, господин кюре?

— В Мезарг.

— Вам еще никогда не приходилось ездить на мотоцикле?

Я расхохотался. Я думал про себя, что доведись мне лет двадцать тому назад хотя бы ласково провести рукой, как я это делал сейчас, по продолговатому корпусу, содрогавшемуся от медленной пульсации мотора, я обмер бы от восторга. Не помню, чтобы в детстве я осмеливался даже мечтать об одной из таких игрушек, сказочно недоступных маленьким беднякам, о какой-нибудь из этих механических игрушек, которые сами движутся. Однако эта мечта, видно, дремала где-то в глубоких тайниках моего «я». И не оттуда ли, из прошлого, она всплывала теперь, неожиданно разгораясь в моей больной груди, уже тронутой, возможно, смертью? Она пылала там, как солнце.

— Право, — продолжал он, — вы можете похвалиться тем, что сразили меня. И вы не боитесь?

— Ничуть, почему я должен бояться?

— Да ни почему.

— Послушайте, — сказал я, — отсюда до Мезар-

га дорога пустынна, мы, скорей всего, никого не встретим. Мне бы не хотелось, чтобы над вами смеялись.

— Я просто дурак. — сказал он, помолчав.

Я кое-как вскарабкался на маленькое сиденье, довольно неудобное, и почти тотчас длинный склон, который был перед нами, словно отпрыгнул назад, меж тем как пронзительный голос мотора набирал все больше и больше высоту, пока не слился в единую ноту удивительной чистоты. Это была точно песнь света, сам свет, и мне чудилось, что все мои желанья стремятся следом за ней, по гигантской кривой ее чудесного взлета. Пейзаж не надвигался на нас, он открывался со всех сторон и где-то, за смятенным скольжением дороги, величественно обращался вокруг собственной оси, подобно вратам, разверстым в иной мир.

Я был совершенно неспособен измерить ни расстояние, покрытое, нами, ни время. Знаю только, что ехали мы быстро, очень быстро, все быстрее и быстрее. Встречный ветер уже не был, как вначале, барьером, на который налегало всей своей тяжестью мое тело, он превратился в головокружительный коридор, в прогал между воздушными колоннами, вращавшимися с

непостижимой скоростью. Я ощущал, как они откатываются назад справа и слева от меня, точно упругие стены, и когда я пытался отвести в сторону руку, ее прижимало к моему боку неодолимой силой. Мы были уже у поворота на Мезарг. Мой водитель на миг обернулся. Примостившись на высоком сиденье, я возвышался над ним, так что ему приходилось смотреть на меня снизу вверх.

— Берегитесь! — крикнул он.

Глаза его смеялись, лицо было напряжено, ветер вздымал дыбом длинные светлые волосы. Я увидел, как подъем дороги ринулся на нас, потом внезапно бросился наутек, описав растерянную кривую. Беспредельный горизонт дважды покачнулся, и вот мы уже летели вниз по Деврскому откосу. Мой спутник что-то крикнул мне, я в ответ рассмеялся, я чувствовал себя счастливым, раскрепощенным, все куда-то отступило. Наконец до меня дошло, что он несколько удивлен моим видом, возможно, думает, что напугал меня. Мезарг остался позади. Протестовать было свыше моих сил. В конце концов, подумал я, мне понадобилось бы не меньше часа, чтобы добраться туда пешком, так что я еще выиграл время…

К церковному дому мы подъехали на более разумной скорости. Небо заволокло тучами, с

севера повеяло холодом. Я ощутил, что пробудился от сна.

По счастью, дорога была пустынна, мы не встретили никого, кроме старухи Мадлен, собиравшей хворост. Она даже не обернулась. Я полагал, г-н Оливье поедет дальше, в замок, но он очень мило попросил разрешения зайти ко мне. Я не знал, что ответить. Я отдал бы все на свете за возможность угостить его, в моей крестьянской башке твердо засело, что военного всегда мучат голод и жажда. Но я, естественно, не осмелился предложить ему моего вина, превратившегося в никуда не годное мутное пойло. Мы разожгли хворост в камине, и он набил свою трубку.

— Жаль, я завтра уезжаю, мы могли бы повторить…

— С меня, пожалуй, хватит, — ответил я. — Людям не слишком бы понравилось, что их кюре носится по дорогам со скоростью экспресса К тому же недолго и разбиться.

— Вы этого боитесь?

— О нет… В общем, не так уж… Но что подумал бы монсеньер?

— Вы мне очень нравитесь, — сказал он. — Мы подружились бы.

— Я и вы?

— Конечно! И не думайте, что я так говорю, ничего о вас не зная. Там только о вас и говорят.

— Дурно?

— Скорее… Моя кузина в бешенстве. Настоящая Соммеранж эта девица.

— Что вы хотите этим сказать?

— Да я и сам ведь Соммеранж. Мы, Соммеранжи, ненасытны и твердолобы, ничем не можем удовлетвориться, должно быть, дьявол наградил нас этой неуживчивостью, из-за которой мы не перестаем враждовать с собой, так что наши добродетели смахивают на наши пороки, и самому Господу Богу было бы трудно разобраться, кто в нашей семье негодяй, а кто святой, найдись случайно такой. Единственное качество, присущее нам всем, — мы, как чумы, страшимся чувства. Делить с другим наши радости мы ненавидим, но зато проявляем порядочность хотя бы в том, что не взваливаем на него свои беды. В час смерти это неоценимое достоинство, и истина обязывает меня отметить, что умираем мы неплохо. Так-то. Теперь вы знаете столько, сколько я сам. Все это в совокупности делает из нас неплохих солдат. К сожалению, это ремесло пока недоступно женщинам, так что женщины в нашем семействе, черт побери!.. Моя бедная тетушка нашла для

них девиз: «Все или ничего». Я как-то ей сказал, что в этом девизе мало смысла, если только не рассматривать его как вызов. А вызов такого рода всерьез можно бросить лишь в свой смертный час, не правда ли? Никто из наших, однако, не вернулся, чтобы сообщить нам, был ли этот вызов принят и кем.

— Я убежден, что вы веруете в Бога.

— В нашей семье, — ответил он, — такими вопросами не задаются. Мы все веруем в Бога, даже самые худшие из нас — худшие, возможно, даже сильней других. Думаю, мы слишком обуяны гордыней, чтобы согласиться творить зло, ничем не рискуя: так что у нас всегда есть свидетель, с которым предстоит столкнуться, — Бог.

От этих слов у меня должно было разорваться сердце, потому что в них легко было бы увидеть богохульство, а меж тем они вовсе не смутили меня.

— Столкнуться с Богом не так уж плохо, — сказал я, — Это заставляет человека во всем идти до конца — ставить на карту всю свою надежду до конца, всю надежду, на которую он способен. Но только Бог иногда отворачивается…

Он уставился на меня своими светлыми глазами.

— Мой дядя считает вас ничтожным, грязным священнишкой, и он даже утверждает, что вы…

Кровь бросилась мне в лицо.

— Я надеюсь, вы не считаетесь с его мнением, он глуп как пробка. Что касается моей кузины…

— Хватит, прошу вас! — сказал я. Я чувствовал, что слезы навертываются у меня на глаза, но ничего не мог поделать с этой неодолимой слабостью, от отчаяния, что я поддаюсь ей, меня охватил озноб, я присел на корточки у края камина, прямо в золу.

— Я впервые вижу, чтобы моя кузина выражала какое-то чувство с такой… Обычно она не допускает никакого нескромного вторжения, при малейшей попытке у нее делается каменное лицо.

— Лучше уж говорите обо мне…

— О вас! Да, если бы не этот черный чехол, вы были бы точь-в-точь как любой из нас. Я понял это с первого взгляда.

Я не понимал (да и сейчас не понял).

— Не хотите же вы сказать, что…

— Именно хочу. Но вам, может быть, не известно, что я служу в Иностранном легионе?

— В Иностранном легионе?..

— Ну да, в Легионе, что тут такого! Это слово

внушает мне отвращение с тех пор, как романисты сделали его модным.

— Так как же священник?.. — пробормотал я.

— Священник? У нас и в священниках нет недостатка. Да вот хотя бы ординарец моего майора — прежде он был кюре в Пуату. Мы об этом узнали только после…

— После?..

— После его смерти, черт возьми!

— И как он?..

— Как он умер? На вьючном муле, будь оно проклято, перепеленатый, как сосиска. С пулей в брюхе.

— Я не об этом вас спрашиваю.

— Послушайте, я не хочу вам лгать. Ребята любят порисоваться в такую минуту… У них есть для этого два или три выраженья, которые не слишком отличаются от тех, что вы именуете богохульствами, будем откровенны!

— Какой ужас!

Со мной творилось что-то необъяснимое. Господь ведает, что мне никогда не приходилось особенно задумываться об этих жестоких людях, об их ужасном, воинственном призвании, потому что для моего поколения слово «солдат» было связано с будничным образом гражданского че-

ловека, мобилизованного в армию. Я вспоминаю отпускников, которые являлись домой с набитыми солдатскими сумками и в тот же вечер выходили на улицу в вельветовых штанах — такими же крестьянами, как все вокруг. И теперь слова этого незнакомца вдруг пробудили во мне неизъяснимое любопытство.

— Но богохульство богохульству рознь, — продолжал мой собеседник своим спокойным, почти суровым голосом. — Для наших ребят это способ жечь за собой мосты, для них это дело привычное. Глупость, конечно, но ничего грязного тут, по-моему, нет. Их поставили вне закона в этом мире, вот они и ставят себя сами вне закона в ином. Если Господь Бог не спасает солдат, всех солдат без разбору, потому что они — солдаты, нечего и добиваться. Одним богохульством больше, чтобы не отстать, чтобы получить по той же мерке, что и товарищи, не искать льготы, не оказаться в привилегированном меньшинстве, только и делов — а потом, была ни была!.. В общем, все тот же девиз — все или ничего, — вы не находите? Бьюсь об заклад, что и вы…

— Я?

— Ну, конечно, тут есть оттенки. Но если бы вы только захотели взглянуть на себя…

— Взглянуть на себя!

Он не выдержал и рассмеялся. Мы дружно смеялись так же, как только что смеялись там, на дороге, в солнечном свете.

— Я хочу сказать, что если бы ваше лицо не выражало… — он приостановился, но светлые глаза теперь уже не сбивали меня с толку, я читал в них его мысль, — привычку к молитве, полагаю, — закончил он. — Черт побери, не умею я говорить на этом языке…

— Молитва! Привычка к молитве! Увы! Если бы вы только знали… я молюсь плохо.

Он ответил очень странно, я с тех пор немало раздумывал о его словах.

— Для меня привычка к молитве это скорее неотступная озабоченность молитвой, борьба, усилье. Неутихающая боязнь страха, страх страха, который лепит лицо отважного человека. Ваше лицо — позвольте мне сказать — точно изношено молитвой, оно напоминает ветхий молитвенник или те стертые лики, что выбиты резцом на могильных плитах. Не беда! Я думаю, понадобилось бы не так много, чтобы оно стало лицом человека вне закона, молодчика вроде нас. Впрочем, дядя утверждает, что у вас отсутствует всякое понимание социальных устоев. Признайтесь: наш

порядок не их порядок.

— Я не отвергаю их порядка, — ответил я, — я только ставлю ему в вину отсутствие любви.

— Наши ребята не входят во все эти тонкости. Они только считают, что Бог стал на сторону того правосудья, которое они презирают, как правосудье, лишенное чести.

— Но сама честь, — начал я…

— О да, конечно, честь они понимают по-своему… Но как бы примитивно это ни выглядело на взгляд ваших казуистов, их закон хорош хотя бы тем, что за него дорого плачено, очень дорого. Он подобен жертвенному камню булыжник как булыжник, может, чуть покрупней других, но обагренный очистительной кровью. Разумеется, с нами не все ясно, и теологам пришлось бы здорово поломать головы с нашим случаем, если бы эти доктора богословия нашли время нами заняться. Но, как бы там ни было, ни один из них не посмел бы утверждать, что мы, живые или мертвые, принадлежим миру, над которым тяготеет вот уже двадцать столетий единственное евангельское проклятие. Ибо закон этого мира — отказ, а мы ни в чем не отказываем, даже в собственной шкуре, и — наслажденье, а мы и распутничаем-то только ради передышки и забвения, для нас что разврат,

что сон, и — корысть, а у большинства из нас нет ничего, даже незаинвентаризованной одежды, чтобы быть в ней положенным в землю. Согласитесь, что такая нищета выдерживает сравнение с нищетой некоторых модных монахов, которые специализировались на разведывании редких душ!..

— Послушайте, — сказал я, — есть солдаты-христиане… — Голос мой дрожал, как всегда, когда какой-то неведомый знак предупреждает меня, что, хочу я того или не хочу, слова мои, по воле божьей, либо принесут утешенье, либо введут в соблазн.

— Рыцари? — ответил он с улыбкой. — Когда я учился в коллеже, на устах у святых отцов только и было что рыцарские шлемы и латы, «Песнь о Роланде» нам подавали как французскую «Илиаду». Эти славные ребята, ясное дело, были вовсе не такими, как воображают барышни, но, черт возьми, враги-то видели их — щит к щиту, плечо к плечу. Они стоили того, чего стоил высокий образ, на который они равнялись. А это образ незаемный. У людей нашей породы рыцарство было в крови, церкви только и осталось, что его благословить. Солдаты, солдаты в чистом виде — вот кто были рыцари, других таких солдат не видел мир.

Защитники града, они не были его слугами, они держались с ним на равных. Самое высокое воплощение воина прошлого — солдат-пахарь Древнего Рима — после них как бы изгладилось из Истории. Нет, я не утверждаю, что все они были справедливы и чисты. И тем не менее они представляли справедливость, особую справедливость, о которой вот уже века и века печалятся или грезят бедняки. Ведь справедливость в руках сильных мира сего только орудие власти, ничем не лучше любого другого. Можно ли тут говорить о справедливости? Правильнее было бы сказать — несправедливость, но несправедливость рассчитанная, действенная, целиком опирающаяся на ужасное знание сопротивляемости слабого, его способности вынести страдания, унижения и невзгоды. Несправедливость, поддерживаемая на должном уровне давления достаточном, чтобы безостановочно вращались все колесики гигантской машины, производящей богачей, но в то же время не слишком высоком, чтобы котел не взорвался. И вот по всей христианской земле пробежал слух, что создается нечто вроде жандармерии Господа нашего Иисуса Христа… Слух сам по себе дело не великое, согласен! Но заметьте вот что — если задуматься над басно-

словным, непреходящим успехом такой книги, как «Дон-Кихот», нельзя не понять, что человечество по сю пору мстит смехом за свою великую обманутую надежду, значит, оно долго ее еще носило в своем сердце, значит, она глубоко в нем укоренилась! Отмстители за поругание — рыцари восстанавливали железной рукой попранную справедливость. И сколько бы вы ни твердили — эти люди рубили наотмашь, рубили с плеча, они врубились и в ваше сознанье. Еще и сегодня немало женщин готово дорого дать за право носить их имена, жалкие солдатские имена, а наивные аллегории, некогда намалеванные на рыцарских щитах неумелой рукой какого-нибудь клирика, тревожат воображение богатейших королей угля, нефти или стали. Вы не находите, что это комично?

— Нет, — сказал я.

— А я нахожу! До смерти смешно думать, что светские люди тешат себя мыслью, будто у них есть что-то общее с теми высокими ликами, и это после семи веков домашнего прозябания, лени и супружеских измен. Куда им! Те солдаты были неотторжимой частью христианского мира, а ныне христианский мир утрачен. Христианского мира уже нет и не будет.

— Почему?

— Потому что больше нет солдат. А раз нет солдат, значит, нет и христианского мира. Знаю, вы мне скажете, что его восприемница — церковь, и это главное. Не спорю. Но только с земным царством Христа покончено навсегда. Надежда на него умерла вместе с нами.

— Вместе с вами? — вскричал я. — Вот уж в ком нет недостатка, так это в солдатах!

— В солдатах? Называйте этих людей военнослужащими, так будет вернее. Последний настоящий солдат пал тридцатого мая тысяча четыреста тридцать первого года, и убили его вы, вы, служители церкви! Хуже чем убили: осудили, отлучили, сожгли!

— Мы также причислили ее к лику святых…

— Вы? Скажите уж лучше, на то была воля Господня. А он вознес ее так высоко именно потому, что она была последним солдатом. Последний из этой породы не мог не быть святым. Господь пожелал также, чтобы им была святая. Он уважил древний рыцарский кодекс. Древний меч, не опустившийся ни перед кем, покоится на коленях, которые самый гордый воин может лишь поцеловать, обливаясь слезами. Мне, знаете, по душе это сдержанное напоминание о турнирах,

когда герольды возглашали: «Честь дамам!» Вашим докторам богословия, которые относятся с такой опаской к прекрасному полу, тут есть от чего злобно передернуться, а?

Казалось, я должен был рассмеяться — его шутка была вполне в духе тех, которые мне не раз доводилось слышать в семинарии, но я видел в его глазах хорошо знакомую мне печаль. Такая печаль берет меня за душу, я перед ней совершенно теряюсь, непреодолимо, по-дурацки робею.

— В чем же вы упрекаете церковнослужителей? — наконец выдавил я из себя, не найдя ничего лучшего.

— Я? Да ни в чем особенном. В том только, что они обмирщили нас. Первым настоящим обмирщением было обмирщение воина. И это случилось не вчера. Когда вы хныкали по поводу эксцессов национализма, вам следовало вспомнить, как вы заигрывали с законодателями Возрождения, которые, припрятав в карман христианское право, восстановили у вас под носом, смеясь вам в лицо, языческое государство, знающее только один закон — закон собственного спасения, все эти безжалостные отечества, исполненные алчности и гордыни.

— Послушайте, — сказал я, — я не слишком све-

дущ в истории, но, как мне кажется, в феодальной анархии таились свои опасности.

— Без сомнения… Вы не рискнули иметь с ними дело. Вы бросили христианский мир в незавершенном виде, слишком уж медленно он созидался, дорого стоил, мало давал доходу. Впрочем, разве вы не строили некогда свои соборы из камней языческих храмов? Новое право? Зачем, когда под рукой есть кодекс Юстиниана?.. «Все под контролем Государства, и Государство под контролем Церкви» — эта изящная формула должна была прийтись по вкусу вашим политикам. Да только рядом были мы, мы — воины. И у нас были наши привилегии, и наше братство — поверх всех границ. У нас были даже собственные обители. Монахи-воины! Было от чего перевернуться в гробу римским проконсулам, да и вам тоже, вам тут тоже нечем было гордиться! Честь солдата, сами понимаете, не поймать в силки казуистики. Достаточно перечесть процесс Жанны д'Арк. «Вы поклялись, что верите в наших святых, верны сюзерену, признаете законность французского короля, так доверьтесь же нам, говорили они, — и мы даруем вам прощение во всем». — «Я не нуждаюсь в том, чтобы мне что-нибудь прощали!» — восклицала

она. «Так что же, нам проклясть вас?» Она могла бы ответить: «Пусть же я буду проклята вместе с моей присягой». Ибо нет для нас закона, кроме присяги. Вы благословили эту присягу, но покорны мы были ей, не вам. Не в том дело! Вы нас выдали Государству. Государство, которое нас вооружает, обмундировывает и ставит на довольствие, берет на себя также нашу совесть. Нам запрещено судить, запрещено даже понимать. А ваши богословы все это одобряют, не сморгнув. Покривившись, они разрешают нам убивать, убивать где угодно, как угодно, убивать по приказу, словно мы палачи. Защитники родины, мы подавляем также мятежи, а если мятеж одержит победу, служим победителю. Мы освобождены от верности. Такой режим и превратил нас в военнослужащих. Мы — военнослужащие в чистом виде, до такой степени, что в демократической стране, где никаким холуйством не удивишь, холуйство генералов-министров представляется скандальным даже адвокатам. Мы до такой степени военнослужащие — и ничего больше, — что Лиоте, человек из породы великих военачальников, неизменно отвергает это порочащее звание. Впрочем, скоро и с военнослужащими будет покончено. Все, от семи до шестидесяти лет…

Все? Что все?.. Само слово «Армия» теряет всякий смысл, когда народы набрасываются друг на друга точно дикари, право слово! — точно эти дикие племена, в которых по сто миллионов. А богословы, чувствуя все большее омерзение, все так и будут подписывать индульгенции — отпущения грехов, отпечатанные в типографии и составленные, надо полагать, редакторами министерства национальной совести? Но где же предел? Когда же они, между нами говоря, остановятся, ваши богословы? Отменные убийцы будут завтра убивать без всякого риска. Какому-нибудь гнусному инженеришке, расположившемуся по-домашнему, в шлепанцах, с командой специально обученных рабочих где-нибудь на высоте в тридцать тысяч футов над землей, достаточно будет нажать кнопку, чтобы уничтожить целый город и скорехонько вернуться восвояси, опасаясь только одного — как бы не опоздать к обеду. Ясное дело, такого чиновника никому и в голову уже не придет называть солдатом. Да достоин ли он называться даже военнослужащим? Ну где вы, духовенство, отказавшееся в семнадцатом веке хоронить на освященной земле бедных комедиантов, где похороните вы этого субъекта? Неужели наше ремесло так марает человека, что

у нас полностью отняли право нести ответственность за свои действия, как будто мы разделяем чудовищную невинность нашей стальной механики? Как же так! Какого-нибудь несчастного парня, если он весенним вечером опрокинет на мох подружку, вы обвиняете в смертном грехе, а убийца целых городов, стоит ему только сменить штаны, может причаститься телу господню, пока отравленные им дети умирают, надрывая свои бедные легкие на материнской груди. Комедианты — вот вы кто! И нечего делать вид, будто вы ведете переговоры с нашими кесарями! Древний град мертв, мертв, как мертвы его боги. А кто такие боги-покровители современного града, нам известно — они пируют в светском обществе, это банкиры. Можете заключать какие угодно конкордаты! Вне христианского мира на Западе нет места ни для отчизны, ни для солдата, а ваша трусливая уступчивость скоро окончательно обесчестит как первую, так и второго!

Он встал, вбирая меня своими странными глазами, голубизна которых по-прежнему оставалась бледной, но в полумраке казалась словно позолоченной. Яростным жестом швырнул в золу свою сигарету.

— Мне лично плевать на все, — снова заговорил

он, — меня убьют раньше.

Каждое его слово переворачивало мне душу. Увы! Бог предался в наши руки — Душой и Телом — Тело, Душа, Честь Бога были в наших священнических руках, и то, что эти люди расточают на всех дорогах мира… «Сумеем ли мы хотя бы умереть, как они?» — думал я. На мгновение я прикрыл лицо руками, я был в ужасе от того, что слезы текли у меня между пальцев. Плакать перед ним, как ребенок, как женщина! Но Господь вернул мне немного мужества. Я поднялся, сделав над собой усилье, опустил руки и — воспоминанье об этом мучит меня — открыл ему свое несчастное лицо, свои постыдные слезы. Он долго не отрывал от меня взгляда. О, гордость все еще жива во мне! Я боялся увидеть презрительную или хотя бы жалостливую улыбку на волевых губах — меня страшила даже больше его жалость, чем презрение.

— Вы отличный парень, — сказал он, — в свой смертный час я не пожелал бы другого священника.

И он расцеловал меня, как целуют дети, в обе щеки.

Я решил поехать в Лилль. Сегодня утром явился мой заместитель. Оп нашел, что выгляжу я

неплохо. Я и вправду чувствую себя лучше, много лучше. Строю тысячи фантастических планов. Я и вправду до сих пор слишком уж сомневался в себе. Сомнение в себе — не смирение. Полагаю даже, что подчас это, напротив, самая взвинченная, почти безумная форма гордыни, своего рода ревнивая ожесточенность, настраивающая несчастного человека против самого себя, сжирающая его. В этом-то, должно быть, и кроется тайна ада.

Боюсь, во мне заронено семя великой гордыни. Уже давно собственное безразличие к тому, что принято называть мирской суетностью, внушает мне не столько удовлетворение, сколько недоверие. Мне кажется, что в моем непреодолимом отвращении к своей нелепой особе есть что-то скверное. Я не забочусь о себе, уже даже не пытаюсь преодолеть свою природную недотепистость, испытываю едва ли не удовольствие, безропотно приемля мелкие несправедливости по отношению к себе — а ведь именно они самые жгучие. Уж не таится ли за всем этим некое разочарование, источник которого, на взгляд Бога, нечист? Конечно, все это помогает мне, худо ли, хорошо, быть терпимым к слабостям окружающих, поскольку по первому движению души я склонен

всегда пенять на себя и поэтому легко вхожу в положение другого. Но в то же время во мне из-за этого мало-помалу угасают доверие, порыв, упование на лучшее… Моя молодость — ну, то, что во мне есть от молодости! — принадлежит не мне, вправе ли я держать ее под спудом? Нет, слова г-на Оливье, как они ни были приятны, головы мне отнюдь не вскружили. Они только убедили меня, что я могу привлечь симпатию таких, как он, — людей, стоящих во многих отношениях гораздо выше меня… Разве это не знак?

Мне припоминаются также слова г-на торсийского кюре: «Ты не создан для войны на истощение». А здесь поистине идет война на истощение.

Господи, если бы мне выздороветь! Если бы мои теперешние страдания оказались всего лишь первым симптомом той перестройки организма, которая происходит иногда на тридцатом году… Последние два дня не могу отвязаться от прочитанной, не помню где, фразы: «Мое сердце с теми, кто на первой линии, мое сердце с теми, кто будет убит». С теми, кто будет убит… С солдатами, миссионерами…

Погода как нельзя лучше, даже чересчур отвечает моей… едва не написал — радости, но

это слово не точно. Правильно было бы сказать упованьям. Да, великим, чудесным упованьям, не покидающим меня даже во сне, ибо именно это чувство разбудило меня сегодня ночью. Я вдруг осознал, что лежу с открытыми глазами, во тьме, безмерно счастливый, ощущение счастья было почти болезненным, так как я не понимал, откуда оно. Я встал, выпил воды и молился до рассвета. Душа моя изливалась в этом шепоте. Так тихонько шуршит листва перед восходом солнца. Какое солнце взойдет во мне? Смилуется ли надо мной Господь?

Нашел в почтовом ящике записочку от г-на Оливье, отправленную из Лилля, он пишет, что проведет там последние дни отпуска, у своего друга, в доме № 30 по улице Верт. Не помню, чтобы я ему говорил, что собираюсь поехать в этот город. Какое странное совпадение!

Сегодня в половине шестого утра за мной заедет машина г-на Бигра.

Вчера благоразумно лег пораньше. Но сон не приходил. Я долго боролся с желанием встать и еще раз взяться за этот дневник. Как он мне дорог! Самая мысль оставить его здесь на время моего отсутствия, хотя оно будет очень непродолжительным, приводит меня в ужас. Думаю, что

не устою и в последнюю минуту суну эту тетрадь в саквояж. Впрочем, ящики действительно плохо запираются, а возможность нескромного любопытства никогда не исключена.

Увы! Живешь уверенный, что ничем не дорожишь, и вдруг в один прекрасный день замечаешь, что втянулся в затеянную тобой игру. У самого бедного человека есть свое тайное сокровище. И порой опасней отнюдь не то, которое ценней, даже напротив. Есть, без сомнения, нечто болезненное в моей привязанности к этим страницам. А все же они очень помогли мне в трудные минуты, да и сейчас служат весьма драгоценным напоминанием, слишком унизительным, чтобы я мог нравиться самому себе, достаточно точным, чтобы сосредоточить мою мысль. Они оторвали меня от грез. А это не мало.

Возможно, даже вполне вероятно, что отныне нужда в дневнике отпадет. Господь ниспослал мне столько милостей, совсем неожиданных, удивительных! Меня переполняет доверие и покой.

Сунул в камин вязанку хвороста, глядел, как она пылает, прежде чем снова взяться за дневник. Если мои предки перепили и недоели, мерзли они, должно быть, тоже предостаточно, потому что я всегда испытываю какое-то глупое детское или

дикарское изумление перед пылающим огнем. Как тиха ночь! Чувствую, больше мне не уснуть.

Итак, сегодня после обеда, кончая сборы, я услышал скрип входной двери. Я ждал своего заместителя, и мне показалось, я узнаю его походку. Если уж говорить все до конца, я был поглощен нелепым занятием. Мои башмаки в приличном состоянии, но порыжели от влаги, и я красил их чернилами, прежде чем начистить. Ничего больше не слыша, я вышел в кухню и увидел там м-ль Шанталь, сидевшую на низкой скамеечке у очага. Она не глядела на меня, уставясь в золу.

Признаюсь, я не слишком удивился ее приходу. Я заранее был готов претерпеть все последствия собственных ошибок, вольных или невольных. У меня такое ощущение, что мне дана милостивая отсрочка, передышка, я не хочу заглядывать вперед, к чему? Я с нею поздоровался, казалось, она была этим обескуражена.

— Вы как будто уезжаете завтра?

— Да, мадемуазель.

— Вы вернетесь?

— Это будет зависеть…

— Это зависит только от вас самого.

— Нет, от врача. Я еду в Лилль на консультацию.

— Ваше счастье, что вы больны. Мне кажется, болезнь дает время помечтать. Я никогда не мечтаю. Все развертывается в моей голове с ужасающей точностью, словно в расчетной книге какого-нибудь судебного исполнителя или нотариуса. Женщины в нашей семье отличаются практичностью, вам это известно?

Она приблизилась ко мне. Я старательно покрывал сапожной мазью свои башмаки. Я делал это даже с какой-то нарочитой медлительностью, я был бы вовсе не против, чтобы наша беседа завершилась взрывом смеха. Быть может, она догадалась о моих мыслях. Внезапно она прошипела:

— Кузен говорил вам обо мне?

— Да, — ответил я. — Но не могу пересказать вам его слов. Я уже ничего не помню.

— А мне-то что. Мне дела нет до того, что думает обо мне он или вы.

— Послушайте, — сказал я, — вам ужасно хочется узнать, что я о вас думаю.

Она минуту поколебалась, а потом ответила: «Да», потому что лгать она не любит.

— Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, — у священника не может быть собственного мнения о человеке. Миряне судят о людях, исходя из добра

и зла, которые они способны причинить друг другу, а мне вы не можете сделать ни зла, ни добра.

— Но вы могли бы судить обо мне, исходя хотя бы… не знаю уж… ну, из заповедей, что ли, морали?

— Я могу судить о вас, только исходя из благодати божьей, а мне неведомо, сколь он милосерден по отношению к вам, и этого мне не дано будет узнать никогда.

— Полноте! У вас есть глаза и уши, надеюсь, вы пользуетесь ими, как все прочие люди?

— Они ничего мне в вас не откроют! — Мне кажется, я улыбнулся.

— Договаривайте до конца, договаривайте! Что вы хотите этим сказать?

— Я боюсь вас оскорбить. Мне вспоминается, я видел ребенком спектакль кукольного театра как-то в ярмарочный день в Вильмане. Петрушка спрятал свое сокровище в глиняный горшок и отчаянно размахивал руками на другом конце ширмы, чтобы отвлечь внимание полицейского. Я думаю, что вы очень суетитесь в надежде утаить от всех истину вашей души, а возможно, и для того, чтобы самой о ней забыть.

Она внимательно слушала меня, поставив локти на стол, положив подбородок на ладони и

прикусив мизинец левой руки.

— Я, господин кюре, правды не боюсь, и если вы вызываете меня на правду, могу немедленно вам исповедоваться. Я ничего не скрою, клянусь!

— Я ни на что вас не вызываю, — сказал я, — что касается исповеди, то я согласился бы ее выслушать только в том случае, если бы вам грозила смертельная опасность. Грехи будут вам отпущены в положенное время надеюсь, и уж наверняка не моей рукой!

— Ну, это предсказать не трудно. Папа поклялся, что добьется вашего перевода, и все тут у нас теперь считают вас пьяницей, потому что…

Я резко обернулся к ней.

— Хватит, — сказал я. — Мне не хотелось бы проявлять неуважение к вам, но я сыт по горло вашими глупостями, мне в конце концов становится стыдно слушать. Раз уж вы здесь, — да еще против воли собственного отца! — помогите мне убрать дом. Я один с этим ни за что не справлюсь.

Когда я сейчас думаю об этом, мне трудно понять, почему она мне подчинилась. Но тогда я счел это вполне естественным. Дом преображался на глазах. Она молчала, но когда я искоса посматривал на нее, мне казалось, что она становится

все бледнее и бледнее. Внезапно она отбросила тряпку, которой вытирала мебель, и снова подошла вплотную ко мне, лицо ее было искажено яростью. Я почти испугался.

— Ну, этого с вас достаточно? Вы довольны? Да, ловко вы прикидываетесь! Все думают, что вы безобидный, что вас надо пожалеть! А вы — тверды, как камень!

— Тверд не я, это вы сами несгибаемы, и это — от Бога.

— Что вы морочите мне голову? Я прекрасно знаю, Бог любит только кротких, смиренных… Да расскажи я вам, что я думаю о жизни!

— В вашем возрасте о жизни не слишком задумываются, просто хотят того или другого, вот и все.

— Ну так вот, а я хочу все, дурное и хорошее. Я испробую все.

— Надеюсь, вам не придется долго ждать, — сказал я, смеясь.

— Оставьте! Пусть я еще молода, но мне отлично известно, что большинство умирает, так этого и не добившись.

— Значит, они не добивались по-настоящему. Они мечтали. А вы ведь никогда не мечтаете. Те, о ком вы говорите, напоминают путешественни-

ков, не выходящих из комнаты. А когда человек действительно стремится вперед, земля не так уж велика.

— Пусть жизнь меня разочарует, не важно! Я отомщу, я буду творить зло ради зла!

— Вот тут-то вы и обретете Бога, — сказал я. — Наверно, я выражаюсь неточно, к тому же вы — ребенок. Но, в общем, могу вам сказать, что вы отправляетесь в путь, отвернувшись от мира, ибо мир — это не бунт, мир — это приятие, и прежде всего, приятие *лжи*. Так что рвитесь вперед изо всех сил, настанет день, когда стена поддастся, а любая брешь в стене ведет к небу.

— Вы так говорите… это ваши фантазии… или…

— Воистину, землю унаследуют кроткие. А люди вроде вас не станут у них ее оспаривать, так как не будут знать, что с нею делать. Похитители похищают лишь царство небесное.

Она вся покраснела и пожала плечами.

— Хочется ответить вам, не знаю чем… выругаться, что ли… Вы что считаете, будто располагаете мною, независимо от моей воли? Да я, если захочу, обреку себя на вечную муку.

— Я отвечаю за вас, — сказал я, не задумываясь, — душой за вашу душу.

Она мыла руки под краном в кухне и даже не обернулась. Потом спокойно надела шляпу, которую сняла раньше, перед уборкой. Медленным шагом приблизилась ко мне. Если бы я не знал ее лица, я мог бы счесть, что оно было спокойным, но я видел, как подергивался уголок ее рта.

— Предлагаю вам сделку, — сказала она, — если вы действительно такой, каким я вас считаю…

— Нет, я вовсе не такой, каким вы меня считаете. Вы видите во мне, как в зеркале, самое себя и свою судьбу.

— Я спряталась под окном, когда вы говорили с мамой. Ее лицо стало вдруг таким… таким ласковым! Я вас в эту минуту возненавидела. Нет, я в чудеса верю не больше, чем в привидения, но мать свою, возможно, я все-таки знала! Ей красивые фразы нужны были, как рыбке зонтик. У вас что — есть секрет? Да или нет?

— Это утраченный секрет, — сказал ей я, — и вы, в свою очередь, найдете его, чтобы потом утратить, и другие подхватят его, ибо порода, к которой вы принадлежите, не вымрет, пока существует мир.

— Что? Какая еще порода?

— А та, которую сам Бог отправил бродить по свету и которая не остановится до скончания

веков.

III

Мне стыдно, что я не в состоянии держать перо. Руки дрожат. Не все время, но приступами, впрочем, непродолжительными, несколько секунд. Заставляю себя записать это.

Если бы у меня еще оставались деньги, я поехал бы в Амьен. Но я совершил нелепицу только что, выйдя от врача. Какая глупость! У меня остается только обратный билет и тридцать семь су.

Предположим, все сошло бы благополучно: не исключено, что и в этом случае я точно так же сидел бы тут и писал. Припоминаю, что приметил уже раньше это маленькое тихое кафе с безлюдной задней комнатой, такой уютной с ее грубо отесанными столами. (Из соседней булочной приятно тянет запахом свежевыпеченного хлеба.) И мне точно так же хотелось бы есть…

Да, наверно… Я вытащил бы эту тетрадь из саквояжа, попросил бы перо и чернила, та же служанка принесла бы мне их с той же улыбкой. И я тоже улыбнулся бы в ответ. Улица залита солнцем.

Когда я перечитаю эти строки завтра, через шесть недель, — быть может, через шесть меся-

цев, как знать? — уверен, мне захочется найти в них… Господи, найти что?.. Да только доказательство того, что и сегодня я вел себя как всегда. Какое ребячество.

Сначала я пошел, куда глаза глядят, к вокзалу. Зашел в старую церковь, не знаю, как она называется. Там было слишком людно. Это тоже ребячество, но мне хотелось свободно преклонить колени на плитах, скорее даже пасть ниц, прижаться лицом к полу. Никогда еще я с такой силой не ощущал физического протеста против молитвы — с такой отчетливостью, что меня даже не мучили угрызения совести. Я тут был не волен. Никогда не думал, что за банальным словом «рассеянность» может таиться такая степень распада, раздрызга. Ибо я боролся не со страхом, но как бы с бессчетными страхами — каждая моя жилочка была переполнена страхом, множеством страхов. И стоило мне прикрыть глаза, попытаться сосредоточиться, как начинало мерещиться, будто я слышу их перешептывание, словно гул несметной незримой толпы, забившейся в глубь моего тоскливого ужаса, как в пучины мрака.

Мой лоб и руки взмокли от пота. Наконец я вышел из церкви. Меня охватил уличный холод. Я шел быстро. Думаю, если бы я страдал, мне уда-

лось бы проникнуться жалостью к себе, оплакать себя, свое несчастье. Но я не ощущал ничего, кроме невероятной легкости. Соприкосновение с этой гудящей толпой ошарашило меня, как ошеломляет внезапная радость. У меня точно выросли крылья.

Обнаружил в кармане своей теплой сутаны пять франков. Я приготовил их для шофера г-на Бигра, но забыл отдать. Заказал черный кофе и один из тех хлебцев, аппетитный запах которых доносился из булочной. Хозяйку кафе зовут г-жа Дюплуи, она вдова каменщика, у него прежде была мастерская в Торси. Некоторое время она исподтишка наблюдала за мной с высоты своей стойки, поверх перегородки, отделяющей заднюю комнату. Потом подсела ко мне, глядя, как я ем.

— В вашем возрасте, — сказала она, — у человека волчий аппетит.

Пришлось согласиться, чтобы мне принесли масла, фландрского масла, отдающего орешками. Единственный сын г-жи Дюплуи умер от туберкулеза, а внучка — от менингита, ей не было и двух лет. Сама она больна диабетом, ноги у нее распухли, но ей никак не удается найти покупателя на это кафе, куда никто не ходит. Я утешал ее, как мог. Безропотность всех этих людей устыжает ме-

ня. На первый взгляд в их покорности судьбе нет ничего христианского, потому что они выражают ее на присущем им языке, а в этом языке ничего христианского не осталось. У их смирения нет истинных слов, у них нет истинных слов, чтобы выразить себя. Они отделываются поговорками и газетными фразами.

Узнав, что поезд у меня только вечером, г-жа Дюплуи любезно предложила мне воспользоваться задней комнатой кафе.

— Вы тут сможете спокойно писать вашу проповедь.

Мне стоило большого труда помешать ей растопить печурку (меня все еще познабливает).

— Когда я была молодой, — сказала она, — священники слишком много ели, страдали от полнокровия, а вы теперь тощи, как бездомные коты.

Мне кажется, она неправильно истолковала то, что я поморщился, поскольку поспешно добавила:

— Вначале всегда приходится туго. Не беда! В ваши годы вся жизнь впереди.

Я открыл рот, чтобы ответить, и… сначала я даже не понял. Да, еще ничего не решив, я уже знал, что буду хранить молчание. «Хранить молчание»

какое странное выражение! Ведь это молчание хранит нас.

(Господи, на то была твоя воля, я узнаю твою длань. Я ощутил ее на своих устах.)

Госпожа Дюплуи оставила меня и снова заняла свое место за стойкой. В кафе зашли посетители, рабочие, которые хотели перекусить. Один из них увидел меня через перегородку, и его товарищи расхохотались. Шум их разговоров мне не мешает, даже напротив. Тишина в моей душе — тишина, благословенная Богом, и она никогда не отгораживала меня от людей. Мне чудится, они входят в мою душу, и я принимаю их, точно на пороге своего жилища. А они входят в нее, тут нет сомнения, входят помимо своей воли. Увы, мне нечего предложить им, кроме непрочного убежища! Но есть души, тишина которых представляется мне чем-то вроде исполинского надежного крова. Бедные изнемогшие грешники входят под него ощупью, засыпают под ним и потом уходят утешенными, не сохранив даже воспоминанья об огромном незримом храме, где они скинули на миг свое бремя.

Разумеется, глупо думать об одном из самых сокровенных таинств причащения святых в связи с только что принятым мною решением,

возможно, оно продиктовано обычной человеческой осторожностью. Но не моя вина, если я полностью завишу от минутного вдохновения или, точнее было бы сказать, от порыва нежной жалости Господней, которой я полностью себя вверяю. Короче, я вдруг понял, что с момента моего визита к доктору сгораю желанием рассказать о своем секрете, разделить с кем-нибудь свое горе. Но я понял также, что должен промолчать, чтобы вновь обрести покой.

В моем несчастье нет ничего исключительного. Возможно, сегодня сотни, тысячи людей во всем мире услышат тот же приговор и будут точно так же ошеломлены им. Вполне вероятно, я среди них — один из наименее способных совладать с первым впечатлением, мне известна эта моя слабость. Но, по опыту, я знаю также, что унаследовал от матери и, без сомнения, от многих других горемычных женщин моего рода какую-то особую выносливость, в конечном итоге почти неодолимую, потому что, не пытаясь бороться с болью, она как бы погружается в нее, свыкается с ней — в этом наша сила. Как иначе объяснить то упорство, с которым боролись за жизнь все эти несчастные, чье ужасающее терпение в конце концов одолевало неблагодарность и неспра-

ведливость мужа, детей, родных — о, милые кормилицы обездоленных!

Но только — нужно молчать. Нужно молчать до тех пор, пока мне будет дозволено безмолвие. А это может длиться неделями, месяцами. Страшно подумать, что еще несколько минут тому назад достаточно было одного слова, жалостливого взгляда, может, даже просто вопроса, чтобы этот секрет вырвался у меня!.. Он уже был у меня на языке. Господь удержал меня. Да, я знаю, сочувствие другого человека приносит минутное облегчение, я вовсе не пренебрегаю им. Но это сочувствие не утоляет жажды, душа пропускает его, как решето. А когда страданье переходит из жалости в жалость, словно изо рта в рот, мы уже не можем, как мне кажется, ни уважать, ни любить его…

И вот я снова за этим столом. Мне захотелось вернуться в ту церковь, откуда я вышел таким пристыженным сегодня утром. Она и вправду холодна и темна. То, чего я ждал, не произошло.

Когда я вернулся, г-жа Дюплуи пригласила меня пообедать с ней. Я не посмел отказаться. Мы говорили о г-не торсийском кюре, которого она знала викарием в Преле. Она его очень боялась. Я поел вареной говядины, овощей. Пока меня

не было, она растопила печурку и после обеда оставила меня одного, в тепле, за чашкой черного кофе. Я чувствовал себя хорошо, даже задремал ненадолго. Проснувшись…

(Господи, я обязан это написать. Я думаю об этих рассветах, о моих последних рассветах на этой неделе, о том, как я встречал утро, о пенье петухов, о высоком покойном окне, еще полном ночи, где в одном стекле, всегда в том же, справа, начинало загораться солнце… Каким все это было свежим, чистым…)

Итак, ранним утром я пришел к доктору Лавиню. Меня почти тотчас провели в приемную. В ней было неприбрано, служанка, опустившись на колени, скатывала ковер. Несколько минут мне пришлось обождать в столовой, здесь, мне кажется, все оставалось, как накануне вечером — ставни и шторы закрыты, на столе скатерть, на полу — хлебные крошки, которые скрипели под моими подошвами, застоявшийся сигарный запах. Наконец за моей спиной отворилась дверь, доктор пригласил меня войти.

— Извините, что принимаю вас здесь, — сказал он, — это комната, где играет моя дочь. Сегодня вся квартира вверх дном. По требованию хозяина, мы каждый месяц должны освобождать ее для

генеральной уборки — глупо, конечно! Сегодня я принимаю только с десяти, но вы, кажется, торопитесь. В общем, диван у нас есть, вы сможете лечь на него, это главное.

Он раздвинул занавеси, и я увидел его при ярком свете. Никак не думал, что он так молод. Лицо у него такое же худое, как у меня, а кожа настолько странного цвета, что я решил сначала, будто это игра света. Она точно отливала бронзой. Его глаза смотрели на меня с какой-то отчужденностью, нетерпением, но вовсе не сурово, напротив. Пока я неловко стягивал с себя шерстяную рубашку, всю заштопанную, он отвернулся. Я сидел с дурацким видом на диване, не осмеливаясь лечь. Диван, впрочем, был весь завален игрушками, более или менее поломанными. Среди них валялась даже тряпичная кукла, перемазанная чернилами. Доктор усадил ее на стул, потом, задав мне несколько вопросов, внимательно прощупал меня, временами закрывая глаза. Лицо его было как раз над моим, и длинная прядь черных волос касалась моего лба. Я видел его исхудалую шею, стиснутую дешевым целлулоидным воротником, уже пожелтевшим. Кровь мало-помалу приливала к его щекам, придавая им медную окраску. Он внушал мне страх и отчасти также отвращение.

Осматривал он меня долго. Меня удивило, что он почти не обратил внимания на мою больную грудь, только провел несколько раз рукой по левому плечу, у ключицы, что-то насвистывая. Окно выходило во дворик, и мне была видна сквозь стекла почерневшая от сажи стена, прорезанная такими узкими отверстиями, что они походили на бойницы. Признаюсь, я представлял себе профессора Лавиня и его квартиру совсем по-иному. Комнатушка казалась просто грязной, и, сам не знаю почему, от этих поломанных игрушек, от этой куклы у меня сжималось сердце.

— Одевайтесь, — сказал он.

Неделю тому назад я был готов к самому худшему. Но в последние несколько дней мне стало настолько лучше! Как бы там ни было, минуты ожидания показались мне очень долгими. Я пытался думать о г-не Оливье, о нашей прогулке в последний понедельник, об этой пылающей солнцем дороге. Руки у меня так дрожали, что, обуваясь, я дважды порвал шнурки.

Доктор шагал взад-вперед по комнате. Наконец он, улыбаясь, подошел ко мне. Улыбка его успокоила меня лишь отчасти.

— Ну что ж, я предпочел бы иметь рентгеновский снимок. Я дам вам записку в больницу, в

отделение доктора Груссе. К сожалению, вам придется побыть здесь до понедельника.

— Это действительно так уж необходимо?

Он на секунду замялся. Господи, мне кажется, в этот момент я готов был выслушать, не дрогнув, любой приговор. Но я знаю по опыту — когда во мне рождается немой, глубокий зов, предшествующий молитве, на лице моем появляется выражение, похожее на страх. Теперь я думаю, что доктор неправильно это истолковал. Он улыбнулся еще шире, открытой, едва ли не нежной улыбкой.

— Да нет, — сказал он, — это, в общем, для проформы. К чему вас тут задерживать! Возвращайтесь спокойно восвояси.

— Я могу отправлять свои обязанности?

— Разумеется. (Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо.) Не обещаю, конечно, что все ваши неприятные ощущения исчезнут, могут быть и приступы. Что поделаешь? Надо научиться жить со своим недугом, все мы больны, в большей или меньшей степени. Я даже не требую от вас соблюдения диеты: пробуйте одно, другое, ешьте то, что не противно. А когда от чего-нибудь станет мутить, не упрямьтесь, переходите потихоньку на молоко, на подсахаренную воду,

я с вами говорю по-дружески, по-товарищески. Если боли очень уж усилятся, будете принимать микстуру, я вам выпишу рецепт, каждые два часа по столовой ложке, но не более пяти ложек в день, понятно?

— Хорошо, господин профессор.

Он пододвинул круглый столик к креслу, стоявшему передо мной, и оказался лицом к лицу с тряпичной куклой, словно обращавшей к нему, снизу вверх, свою бесформенную голову, с которой облупились чешуйки краски. В ярости он отбросил куклу в другой конец комнаты, она хлопнулась о стену со странным звуком, потом упала на пол. Там она и осталась, лежа на спине, раскинув руки и ноги. Я не смел взглянуть ни на нее, ни на него.

— Послушайте, — сказал он вдруг, — я считаю, что рентген вам решительно необходим, но спешить не к чему. Приезжайте через неделю.

— Если нет абсолютной необходимости…

— Я не вправе говорить с вами по-другому. В конце концов все мы можем ошибаться. Только не позволяйте Груссе дурить вам голову! Его дело — снимок, речей от него не требуется. Мы потом с вами поговорим обо всем, наедине… Но как бы там ни было, если вы мне верите, не меняйте

ничего в ваших привычках, привычки — друзья человека, в сущности, даже дурные привычки. Для вас нет ничего хуже, чем перестать делать свое дело, какая бы тому ни была причина.

Я почти не слышал его, мне хотелось поскорее вырваться на улицу, на свободу.

— Хорошо, господин профессор…

Я поднялся. Он нервно мял свои манжеты.

— Кто, черт возьми, направил вас ко мне?

— Господин доктор Дельбанд.

— Дельбанд? Не знаю такого.

— Господин доктор Дельбанд умер.

— Ах, так? Ну, тем хуже! Приезжайте через неделю. По здравому рассуждению, лучше будет, если я сам отведу вас к Груссе. Во вторник, через неделю, договорились?

Он почти вытолкал меня за дверь. В последние минуты на его угрюмом лице появилось странное выражение; оно казалось веселым, но в этом веселии было что-то судорожное, какое-то замешательство, точно у человека, которому стоит большого труда не выказать своего нетерпения. Я вышел, не решившись даже пожать ему руку, но, дойдя до передней, сообразил, что забыл взять рецепт. Дверь только закрылась, мне казалось, я слышу шаги в гостиной, я подумал, что комната

пуста и я смогу взять со стола рецепт, никого не потревожив… Но он стоял там, в амбразуре узкого окна, расстегнув брюки и поднеся к бедру маленький шприц, металлический ободок которого поблескивал у него между пальцами. Никогда не забуду его ужасной улыбки, не сразу исчезнувшей при моем внезапном появлении: она блуждала у приоткрытого рта, хотя взгляд, устремленный на меня, выражал изумление и гнев.

— Что еще?

— Я пришел взять рецепт, — промямлил я.

Я сделал шаг к столу, но листка там уже не было.

— Я сунул его в карман, обождите минуту.

Он резким движением вытянул иглу и замер передо мной, неподвижно, не отрывая от меня глаз, все еще держа в руке шприц. Казалось, он бросает мне вызов.

— Это вполне заменяет Господа Бога.

Думаю, что мое смущение его обезоружило.

— Не сердитесь, это только солдатская шутка. Я отношусь с уважением к любым убеждениям, даже религиозным. У меня самого нет никаких убеждений. Врач ни в чем не убежден, у него есть только гипотезы.

— Господин профессор…

— Почему вы называете меня профессором? Какой я профессор?

Я подумал, что имею дело с сумасшедшим.

— Да отвечайте же, черт бы вас подрал! Вы ссылаетесь на рекомендацию коллеги, имени которого я даже не слышал, называете меня профессором…

— Господин доктор Дельбанд посоветовал мне обратиться к профессору Лавиню.

— К Лавиню? Вы что, смеетесь надо мной? Ваш Дельбанд, должно быть, был законченный балбес. Лавинь умер еще в январе, семидесяти восьми лет от роду! Кто дал вам мой адрес?

— Я нашел его в телефонной книге.

— В самом деле? Меня зовут не Лавинь, а Лавиль. Вы что, читать не умеете?

— Я ужасно рассеян, — сказал я, — извините меня, пожалуйста.

Он встал между мною и дверью, я думал только о том, как бы выбраться из этой комнаты, я чувствовал себя точно в ловушке, в западне. Пот струился по моему лицу, ослепляя меня.

— Это я должен просить у вас прощенья. Если хотите, я напишу вам записку к другому профессору, Дюптипре, например? Но, между нами говоря, я считаю это совершенно бесполезным, я

владею своим ремеслом ничуть не хуже, чем эти провинциалы, я работал интерном в парижских клиниках, да еще прошел третьим по конкурсу! Извините, что сам себя нахваливаю. В вашем случае нет ничего затруднительного, тут любой разберется не хуже меня.

Я снова направился к двери. Слова его не внушали мне ни малейшего недоверия, но взгляд мучительно стеснял. В нем был нестерпимый блеск и пристальность.

— Я не хотел бы злоупотреблять вашим временем, — сказал я.

— Ничем вы не злоупотребляете (он вытащил свои часы), я начинаю прием только в десять. Должен вам признаться, — продолжал он, — что я впервые встречаюсь с глазу на глаз с таким, как вы, в общем, со священником, с молодым священником. Это вас удивляет? Не спорю, это странно.

— Я сожалею только, что из-за меня у вас может создаться дурное впечатление обо всех нас, — ответил я. — Я вполне заурядный священник.

— О, помилуйте, напротив, вы меня страшно интересуете. У вас лицо… замечательное лицо. Вам никогда этого не говорили?

— Конечно, нет, — воскликнул я, — вы, наверно, смеетесь надо мной.

Он повернулся ко мне спиной, пожав плечами.

— У вас в роду много священников?

— Ни одного, господин доктор. Правда, я не очень-то много знаю о своей родне. У таких семей, как наша, нет истории.

— Вот тут вы ошибаетесь, историю вашей семьи можно прочесть в каждой морщинке вашего лица, а их предостаточно!

— У меня нет никакого желанья читать по ним, зачем? Пусть мертвые хоронят мертвых.

— Они отлично хоронят и живых. Вы полагаете, что свободны?

— Не знаю, в какой мере я свободен, в большей или в меньшей. Я думаю только, что Господь мне ниспослал ту долю свободы, которая необходима, чтобы я, когда придет день, мог отдать ее в его руки.

— Простите меня, — продолжал он, помолчав, — я, наверно, кажусь вам хамом. Но дело в том, что я сам принадлежу к семье, которая… к семье вроде вашей, наверно. Когда я вас увидел сегодня утром, у меня возникло неприятное ощущение, что передо мной… что передо мной мой двойник. Вы считаете меня сумасшедшим?

Я невольно поглядел на шприц. Он рассмеялся.

— Не беспокойтесь, от морфия не пьянеют. Он,

напротив, неплохо прочищает мозги. Я жду от него того, чего вы, вероятно, ждете от молитвы забвения.

— Простите, — сказал я, — от молитвы ждут не забвения, а силы.

— Сила мне уже ни к чему.

Он подобрал с пола тряпичную куклу и заботливо усадил ее на камин.

— Молитва, — продолжал он задумчиво, — желаю вам, чтобы вы молились с той же легкостью, с какой я вонзаю эту иглу в кожу. Люди, вроде вас, у которых тоска в душе, не молятся или молятся плохо. Признайтесь, вам в молитве дорого лишь усилие, лишь принуждение, вы себя насилуете, заставляете. Неврастеник всегда — собственный палач.

Теперь, думая об этом, я не могу себе объяснить, почему при этих словах меня охватил какой-то стыд. Я не смел поднять глаз.

— Не принимайте только меня за материалиста на старый манер. Инстинкт молитвы живет в каждом из нас, и он так же необъясним, как и все остальные. Это — как я предполагаю — одна из форм той темной борьбы, которую индивид ведет против рода. Но род поглощает все, безмолвно А род, в свою очередь, пожирается человечеством,

так что иго мертвецов давит на живых все тяжелее. Не думаю, чтобы хоть у одного из моих предков на протяжении столетий возникло малейшее желание разобраться во всем этом лучше, чем его родители. В деревне, в низовьях Мэн, где мы живем от века, даже сложилась поговорка: «Упрям, как Трике», — Трике это наше прозвище с незапамятных времен. А упрямыми в наших местах называют тугодумов. Так вот, я родился с тем бешенством познанья в крови, которое вы именуете libido sciendi [14]. Я работал, как люди жрут. Когда я думаю о своих юношеских годах, о своей комнатушке на улице Жакоб, о своих ночах тех лет, меня охватывает какой-то ужас, почти религиозный. И зачем все это? Зачем, спрашиваю я вас?.. Теперь я умерщвляю это любопытство, неведомое моей родне, выколачиваю его помаленьку из себя, выколачиваю морфием. Ну а если это слишком затянется… У вас никогда не было искушения покончить с собой? Дело нередкое, для неврастеников вашего типа — даже нормальное…

Я не нашелся, что ответить, меня будто околдовали.

---

[14] Примечания: 14
Похоть знания (лат.)

— Правда, тяга к самоубийству — особый дар, своего рода шестое чувство, не знаю уж как назвать, — с этим рождаются. Поверьте, я сделаю это незаметно. Я все еще охочусь. Пробираешься, например, через заросли, таща за собой ружье, — паф! — и на следующее утро заря находит тебя уткнувшимся носом в траву, покрытым росой, свежим, спокойным, меж тем как первые дымки подымаются над деревьями, поют петухи, щебечут птицы. А? Это вас не соблазняет?

Господи, на мгновение я подумал, что он знает о самоубийстве доктора Дельбанда и нарочно разыгрывает передо мной эту жестокую комедию. Но нет! Его взгляд был искренним. Как я ни был сам взволнован, я чувствовал, что мое присутствие — уж не знаю почему — его потрясает, что оно становится с каждой минутой все невыносимей для него и что тем не менее он не в состоянии меня отпустить. Мы были пленниками друг друга.

— Людям, вроде нас, лучше бы так и не вылезать из навоза, — снова заговорил он глухим голосом. — Мы себя не жалеем, мы ничего не жалеем. Хотите, побьемся об заклад, что вы в вашей семинарии были таким же, как я в моем Прованском лицее? Бог там или Наука, но мы

на это набрасывались, нас сжигало изнутри. Ну и что! Вот мы оба теперь перед тем же… — Он внезапно умолк.

Мне следовало бы понять, но у меня в голове было одно — удрать побыстрее.

— Такой человек, как вы, — сказал я, — никогда не отворачивается от поставленной цели.

— Зато цель от меня отворачивается, — ответил он. — Через шесть месяцев я умру.

Я подумал, что он все еще говорит о самоубийстве, и, очевидно, он прочел эту мысль в моих глазах.

— Не знаю, зачем я ломаю перед вами всю эту комедию. Вы так смотрите, что тянет рассказывать вам всякие истории, все равно какие. Покончить с собой? Вы поверили? Нет, это занятие для важных господ, для поэтов, мне эти элегантные замашки не по плечу. Не хотелось бы, однако, чтобы вы сочли меня малодушным.

— Я не считаю вас малодушным, я только думаю, что это… этот наркотик…

— Не болтайте, чего не знаете, о морфии… Настанет день, когда вы тоже… — Он ласково поглядел на меня. — Вам приходилось когда-нибудь слышать о злокачественном лимфогранулематозе? Нет? Это, впрочем, болезнь не для широкой

публики. Она как раз была темой моей диссертации, представляете? Так что обмануться я не могу, мне даже лабораторные анализы ни к чему. Я себе даю еще три месяца, от силы шесть. Как видите, я не отворачиваюсь от цели. Я смотрю ей в глаза. Когда прурит становится нестерпимым, я чешусь, но что поделаешь, у клиентуры есть свои требования — врач всегда должен оставаться оптимистом. Вот я и подкалываюсь перед приемом. Лгать больным при нашем ремесле — необходимо.

— Уж не слишком ли вы им лжете?..

— Вы считаете? — сказал он. В его голосе была все та же ласковость. Ваша роль легче моей; вы, полагаю, имеете дело только с умирающими. Агония, в большинстве случаев, эйфорична. Другое дело — единым махом, одним-единственным словом отнять у человека всякую надежду. Мне такое доводилось, раз или два. Знаю, знаю, что вы могли бы мне ответить, ваши богословы возвели Надежду в ранг добродетели, у вашей Надежды руки смиренно сложены на груди. Ну ладно, пусть так, никто этой богини вблизи не лицезрел. Но наша, человеческая надежда — это зверь, говорю я вам, зверь в человеке, зверь матерый и свирепый. Лучше уж дать ему угаснуть потихоньку.

В противном случае, смотрите, не упустите его! Упустите — он вас задерет, загрызет. А больные — хитрецы! Кажется, уж знаешь их как свои пять пальцев, а все же даешь промашку, попадаешься на крючок не сегодня, так завтра. Да вот хотя бы: старый полковник, закаленный колониальный вояка требует, чтобы я сказал ему всю правду, по-товарищески… Бр-р!..

— Надо умирать постепенно, — пролепетал я, — выработать в себе привычку.

— Ерунда! Вы сами прошли эту тренировку?

— Во всяком случае, я пытался. Я, впрочем, не сравниваю себя с мирянами, у которых есть свои заботы, семья. Жизнь такого незаметного священника, как я, никому не важна.

— Возможно. Но если ваша проповедь сводится к приятию судьбы, это не ново.

— Я говорю о радостном приятии, — сказал я.

— Хватит! Человек глядится в свою радость, как в зеркало, и не узнает себя, дурак! Радость требует самозатраты, затраты человеческой субстанции радость и боль одно и то же.

— То, что называете радостью вы, возможно Но миссия церкви как раз и состоит в том, чтобы вновь обрести источники утраченной радости.

В его глазах была та же ласковость, что и в го-

лосе. Я невыразимо устал, мне казалось, я провел здесь уже долгие годы.

— Позвольте мне наконец уйти! — воскликнул я.

Он вынул из кармана рецепт, но не протянул мне его. И вдруг положил ладонь на мое плечо, рука его была вытянута, голова чуть наклонена, глаза полуприкрыты. Его лицо напоминало мне мои детские виденья!

— В конце концов, — сказал он, — таким людям, как вы, возможно, следует говорить правду.

Он замялся, прежде чем продолжить. Как это ни покажется невероятным, слова его долетали до моих ушей, не пробуждая никаких подозрений. Двадцатью минутами раньше я вошел в этот дом, уже смирившись, готовый выслушать все, что угодно. Хотя последняя неделя в Амбрикуре наполнила мою душу необъяснимым ощущением безопасности, уверенности, каким-то обещанием счастья, слова г-на Лавиля, поначалу такие успокоительные, все же очень меня обрадовали Теперь я понимаю, что эта радость была куда сильнее, чем мне казалось, куда глубже. Я ощутил ту же раскрепощенность, веселье, что и на дороге в Мезарг, но к этому примешивался еще какой-то нетерпеливый восторг. Мне прежде

всего хотелось вырваться из этою дома, из этих стен. И в тот самый момент, когда мой взгляд, казалось, отвечал на безмолвный вопрос доктора, все мое внимание на самом деле было сосредоточено на смутном шуме, доносившемся с улицы. Вырваться! Убежать! Вновь оказаться под этим зимним небом, таким чистым, на котором всходила заря, когда я сегодня утром глядел на него из окна поезда! Г-на Лавиля это, должно быть, ввело в заблуждение. Впрочем, внезапно я все понял: он еще не закончил фразы, а я был уже только мертвецом среди живых.

Рак… Рак желудка… Это слово особенно поразило меня. Я ждал другого. Я ждал туберкулеза, Мне пришлось напрячь все свое внимание, чтобы проникнуться мыслью, что я умру от болезни, которая действительно очень редко встречается у людей моего возраста. Я, должно быть, только нахмурил брови, как делаешь, слушая условия трудной задачи. Я был настолько поглощен этим, что, кажется, даже не побледнел. Глаза доктора глядели в мои, я читал в них доверие, приязнь, еще что-то невыразимое. Это был взгляд друга, товарища. Рука снова сжала мое плечо.

— Мы сходим проконсультироваться у Груссе, но, откровенно говоря, не думаю, чтобы эта дрянь

была операбельна. Меня удивляет, что вы еще держитесь Брюшная полость широко затронута, опухоль значительна, и под левой ключицей я обнаружил признак, увы, почти безошибочный, так называемую железку Труазье. Заметьте, что болезнь может прогрессировать более или менее медленно, хотя, должен сказать, в вашем возрасте…

— Какой срок вы мне даете?

Он, вероятно, опять ошибся, потому что голос мой не дрогнул. Увы, я был не хладнокровен, а просто ошарашен. Я отчетливо слышал, как трогается трамвай, дает звонок, мысленно я уже вышел за порог этого мрачного дома, смешался с быстрой толпой… Да простит меня Господь! Я не вспомнил о Нем…

— Трудно сказать. Это зависит, главным образом, от потери крови. Кровотечение редко бывает смертельным, но если оно повторяется часто… Ба, как знать? Когда я вам посоветовал спокойно вернуться к работе, я не ломал комедию. Если вам повезет, вы умрете на ногах, как пресловутый император, или почти на ногах. Это уж зависит от морального состояния. Разве что…

— Разве что?..

— Вы человек стойкий, — сказал он, — из вас

вышел бы хороший врач. Лучше уж я сам вам скажу все до конца, чем заставлять вас рыться в справочниках. Так вот, если в ближайшие дни вы почувствуете боль в левом бедре и при этом слегка повысится температура, лягте в постель. Такого рода флебиты в вашем случае нередки, и есть опасность эмболии. Теперь, мой дорогой, вы знаете столько же, сколько я.

Он наконец протянул мне рецепт, я машинально сунул его в свою записную книжку. Почему я не ушел тут же? Не знаю. Быть может, я не смог подавить вспышку гнева, возмущения против этого незнакомца, который так спокойно распорядился мною, словно своей собственностью. Или был слишком поглощен абсурдным старанием привести за несколько жалких секунд свои мысли, планы, даже воспоминания, всю свою жизнь в согласие с этой новой очевидностью, делавшей меня совершенно другим человеком? Мне кажется, я просто был, как это мне свойственно, парализован застенчивостью, не знал, каким образом откланяться. Мое молчание удивило доктора Лавиля. Я отдал себе в этом отчет по дрожи в его голосе.

— Впрочем, среди тысяч больных, некогда приговоренных врачами, попадаются и такие,

которые доживают едва ли не до ста лет. Отмечены случаи рассасывания злокачественных опухолей. Как бы там ни было, такого человека, как вы, не надолго обманула бы болтовня Груссе, успокаивающая только дураков. Нет ничего унизительней, чем вырывать правду по крохам у этих авгуров, которым совершенно наплевать на то, что они плетут. Когда тебя окатывают то холодной, то горячей водой, постепенно теряешь уважение к себе, люди самые мужественные падают духом и подчиняются судьбе, как и все остальные, попадают в то же покорное стадо. Итак, мы встречаемся через неделю, во вторник, я отведу вас в клинику. А вы тем временем служите обедни, исповедуйте богомолок, ничего не меняйте в своих привычках. Я хорошо знаю ваш приход. У меня даже есть друг в Мезарге.

Он протянул мне руку. Я был все в том же рассеянном, отсутствующем состоянии. Как бы я ни старался, мне ни за что не понять, какое ужасное чудо заставило меня в такую минуту позабыть обо всем, вплоть до самого имени божьего. Я был одинок, невыразимо одинок перед лицом смерти, эта смерть была всего лишь концом бытия — ничем больше. Зримый мир точно утекал из меня с чудовищной быстротой беспорядочной

чредой образов, но не мрачных, а, напротив, светозарных, ослепительных. «Неужели это возможно? Значит, я так любил все это?» — думал я. Эти рассветы, эти сумерки, эти пути. Эти изменчивые, таинственные пути, всегда полнящиеся людскими шагами. Неужели я так любил пути, наши пути, земные пути? Какой бедный ребенок, выросший в их пыли, не поверял им своих грез? И они плавно, величаво несли эти грезы в какие-то неведомые моря, о, великие реки света и тени, несущие мечты бедняков! Мне думается — именно слово «Мезарг» так пронзило мое сердце. Мысли мои в эти минуты, казалось, были далеки от г-на Оливье, от нашей прогулки, и тем не менее это было не так. Я не отрывал глаз от лица доктора, но внезапно оно исчезло. Я не сразу понял, что плачу.

Да, я плакал. Я плакал беззвучно, мне кажется, даже без единого вздоха. Я плакал широко раскрытыми глазами, плакал так, как при мне плакали умирающие, и это от меня тоже уходила жизнь. Я утер лицо рукавом сутаны и снова различил лицо доктора. Он глядел на меня с неизъяснимым выражением удивленья, сочувствия. Если бы человек мог умереть от отвращения к себе, я бы умер. Мне следовало бежать, я не смел. Я ждал,

что Господь ниспошлет мне слово, слово священника, я отдал бы жизнь за это слово, то, что мне еще оставалось от жизни. Мне хотелось хотя бы попросить прощения, я смог лишь пролепетать что-то невнятное, слезы душили меня. Я чувствовал, как они текут из моей груди, у них был вкус крови. Чего бы я ни отдал за то, чтобы они были действительно кровью! Откуда они брались? Кто может это объяснить? Я оплакивал не себя, клянусь! Я никогда еще не был так близок к тому, чтобы себя возненавидеть. Я оплакивал не свою смерть. В детстве мне случалось вот так просыпаться в слезах. От каких же снов пробудился я на этот раз? Увы! Я считал, что прохожу по этому миру, почти не глядя на него, как пробираешься, опустив глаза, сквозь шумную толпу, мне случалось иногда даже мнить, что я его презираю. Но тогда мне было стыдно за себя, не за него. Я был несчастным человеком, который любит, не смея сказать об этом, не смея признаться даже себе самому, что любит. Нет, я не отрицаю, в этих слезах могло быть и малодушье! Но, я думаю, они были также слезами любви… В конце концов я повернулся и вышел, опомнился я уже на улице.

Полночь, у г-на Дюфрети.

Не знаю, почему мне не пришло на ум занять

двадцать франков у г-жи Дюплуи, я смог бы тогда переночевать в гостинице. Правда, вчера вечером я совершенно потерял голову от отчаяния, что опоздал на свой поезд. Мой бедный друг, впрочем, устроил меня вполне прилично. Мне кажется, все хорошо.

Конечно, меня станут порицать за то, что я воспользовался, хотя бы на одну ночь, гостеприимством священника, положение которого не вполне нормально (оно даже хуже). Г-н торсийский кюре назовет меня Грибуйем. И будет прав. Я думал об этом, поднимаясь вчера по лестнице, вонючей, темной. Несколько минут я стоял, не двигаясь, перед дверью квартиры. На ней четырьмя кнопками была прикреплена пожелтевшая визитная карточка: «Луи Дюфрети, торговый представитель». Чудовищно.

Несколькими часами раньше я, возможно, не осмелился бы войти. Но теперь я не один. Во мне сидит это… Короче, я дернул за звонок в смутной надежде, что никого нет дома. Он открыл мне дверь. На нем была сорочка, бумажные брюки, которые мы носим под сутаной, шлепанцы на босу ногу. Он сказал мне, едва ли не сердито:

— Ты мог бы предупредить меня, у меня контора на улице д'Онфруа. Я живу здесь временно.

Дом омерзительный.

Я поцеловал его. Он закашлялся. Мне кажется, он был взволнован больше, чем хотел показать. На столе еще были остатки еды.

— Я должен хорошо питаться, — вновь заговорил он с надрывающей душу серьезностью, — а у меня нет аппетита. Помнишь бобы, которыми кормили нас в семинарии? Хуже всего, что приходится готовить здесь же, в комнате, в алькове. Я возненавидел запах жареного жира, это — нервное. В другом месте я ел бы как зверь. Мы уселись рядом, я с трудом узнавал его. Шея у него непропорционально вытянулась, и голова на ней кажется совсем крошечной, точно крысиная мордочка.

— Это мило с твоей стороны, что ты зашел. Сказать откровенно, меня удивило, что ты отвечаешь на мои письма. У тебя, между нами говоря, прежде были не слишком широкие взгляды…

Не помню даже, что ответил я.

— Извини, я немного приведу себя в порядок. Сегодня я решил побездельничать, но это бывает не часто. Что поделаешь? У активной жизни есть и свои хорошие стороны. Но не думай, что я предаюсь сладкой лени! Я очень много читаю, как никогда раньше. Возможно даже, в один пре-

красный день… У меня собрано немало весьма интересных, весьма жизненных заметок. Мы еще к этому вернемся. Ты, помнится, неплохо владел александрийским стихом? Твои советы будут мне весьма кстати.

Минуту спустя я увидел через полуприкрытую дверь, как он проскользнул на лестницу с молочной банкой в руке. И я снова остался наедине с… Господи, это правда — я предпочел бы другую смерть! Легкие, которые мало-помалу тают, как кусочек сахара в воде, или изнуренное сердце, которое приходится непрерывно подбадривать, или даже эту странную болезнь г-на доктора Лавиля, позабыл ее название, — мне кажется, угроза, нависающая во всех этих случаях, должна оставаться какой-то смутной, абстрактной… Тогда как теперь, стоит мне нащупать под сутаной место, где так надолго задержались пальцы врача, мне чудится… Может, это все — воображение? И все же! Тщетно я твержу себе, что ничто во мне не изменилось, я такой же, как все последние недели, ну, почти такой же, — от одной мысли вернуться домой с этой… в общем, с этой вещью, меня охватывает стыд, омерзение. Я и так был слишком склонен питать отвращение к своей персоне, и знаю, как подобное чувство опасно

— в конце концов оно отнимет у меня последнее мужество. Мой первейший долг теперь, когда впереди меня ждут испытания, безусловно должен был бы состоять в примирении с самим собой…

Я много думал о своем унизительном поведении сегодня утром. Полагаю, дело не столько в моем малодушии, сколько в ошибочном суждении. Я лишен здравого смысла. Ясно ведь, что перед лицом смерти я не могу вести себя так же, как люди, которые много выше меня и вызывают во мне восхищение — г-н Оливье, например, или г-н торсийский кюре. (Я намеренно сближаю эти два имени.) В подобных обстоятельствах, как один, так и другой держались бы с тем высшим достоинством, которое является естественным, свободным проявлением великой души. Даже г-жа графиня… Да, я знаю, все это скорее свойства натуры, нежели добродетели, они не приобретаются! Увы! Но, наверно, что-то такое есть и во мне, коль скоро я восхищаюсь этим в других… Это словно язык, который я хорошо понимаю, хотя и не могу на нем говорить. И ошибки меня ничему не учат. И вот в момент, когда мне нужно собрать все силы, чувство собственного бессилия охватывает меня с такой неодолимостью, что я теряю нить моего бедного мужества, как неуме-

лый оратор теряет нить собственной речи. Это испытание для меня не ново. Прежде я утешал себя надеждой на что-то чудесное, непредвидимое — уж не на мученический ли крест? В мои годы смерть кажется такой далекой, что даже понимание собственной заурядности, почерпнутое из повседневного опыта, ни в чем не убеждает. Трудно поверить, что и в этом событии не будет ничего из ряда вон выходящего, что и оно будет обыкновенным, как ты сам, по твоему образу и подобию, по образу и подобию твоей судьбы. Оно как бы выпадает из привычного мира, думаешь о нем, точно о сказочных краях, названия которых читаешь в книгах. Именно это я и говорил себе — мой страх был вызван внезапным грубым разочарованием. Передо мной вдруг предстало то, что казалось где-то за горами, за долами, по ту сторону воображаемого океана. Моя смерть здесь. Смерть как смерть, и я приму ее с теми же чувствами, с какими приемлет любой обыкновенный, заурядный человек. Нет сомнений, что и умереть я сумею не лучше, чем умел владеть собой в жизни. Я и тут окажусь так же неловок, так же неуклюж. Нам твердят: «Будьте просты!» Я стараюсь изо всех сил. Но быть простым не так-то легко! Миряне произносят слова «простые

люди» точно так же, как «смиренные», — с той же снисходительной улыбкой. Им следовало бы сказать: «цари».

Господи, я отдаю тебе все, ото всей души. Но я не умею давать, я даю, точно позволяю взять. Самое правильное — не суетиться. Ибо если я не умею давать, ты зато умеешь брать… Как мне хотелось бы, однако, хоть раз, хоть один-единственный раз быть щедрым и милостивым к тебе!

Меня ужасно тянуло повидаться с г-ном Оливье. Я даже пошел уже к улице Верт, но повернул назад. Думаю, от него я не смог бы утаить свой секрет. Поскольку он через два-три дня уезжает в Марокко, это не так уж важно, но я чувствую, что невольно стал бы перед ним в позу, заговорил бы на языке, мне не присущем. Я не хочу ничем бравировать, бросать какой-либо вызов. Единственный героизм, который мне по плечу, — отсутствие всякого героизма, и коль скоро силы оставили меня, я хотел бы теперь одного — пусть смерть моя будет неприметной, настолько неприметной, насколько это возможно, пусть она ничем не выделяется на фоне других событий моей жизни. В конце концов именно моей природной неуклюжести я обязан дружбой такого человека, как г-н торсийский кюре. Быть может,

она не так уж недостойна этой дружбы? Быть может, это — детская неуклюжесть? Как ни строго сужу я себя подчас, я никогда не сомневался, что нищ духом. Детская нищета под стать духовной. Нет сомнения, это нечто единое.

Я рад, что не повидался еще раз с г-ном Оливье. Я рад, что встречаю первый день моего искуса здесь, в этой комнате. Да это, впрочем, даже и не комната, мне поставили раскладушку в коридорчике, где мой друг хранит свои образчики химических товаров. Воняет от всех этих пакетов ужасно. Нет одиночества глубже, чем своего рода безобразие, своего рода безысходность безобразия. Газовый рожок — из тех, что именуют, кажется, «бабочкой», свистит и плюется над моей головой. Мне чудится, я забился в это безобразие, в эту нищету, как в нору. Прежде она внушала бы мне отвращение. Я рад, что теперь она приемлет мое горе. Я должен сказать, что не искал ее, не сразу даже и узнал. Когда вчера вечером, после второго обморока, я очнулся на постели, у меня в мыслях только и было, что удрать, удрать любой ценой. Я вспомнил, как потерял сознание в солнечный день, у загона г-на Дюмушеля. Тогда мне было хуже. Я вспомнил не только дорогу в глубокой узкой лощине, но увидел и свой дом свя-

щенника, садик. Мне чудилось, я слышу шорох высокого тополя, который в самые безветренные ночи пробуждался задолго до зари. Вдруг мне показалось, что мое сердце перестает биться.

— Я не хочу умирать здесь! — закричал я. — Снесите меня вниз, отвезите куда-нибудь, все равно куда!

Я, конечно, был не в себе, но все же узнал голос своего несчастного товарища. Он был одновременно яростным и дрожащим. (Он с кем-то препирался на лестничной площадке.)

— Ну, чего ты от меня хочешь? Я не в силах снести его вниз один, и ты сама прекрасно знаешь, что консьержа мы просить ни о чем не можем!

И тут я устыдился, я осознал свое малодушие.

Я должен, впрочем, объясниться тут раз и навсегда. Поэтому я продолжу рассказ с того места, на котором оборвал его несколькими страницами раньше. Мой друг вышел, довольно долго я оставался в одиночестве. Потом я расслышал перешептывание в коридоре, и, наконец, он вошел, по-прежнему держа в руке молочную банку, задыхаясь, весь красный.

— Надеюсь, ты поужинаешь у меня, — сказал он. — Мы можем пока поболтать. Если хочешь, я тебе почитаю… Это нечто вроде дневника и

называется «Этапы». То, что случилось со мной, должно заинтересовать многих, случай достаточно типичный.

Пока он говорил, я, очевидно, в первый раз потерял сознание. Он заставил меня выпить большой бокал вина, мне стало лучше, только мучительно болело около пупка, но мало-помалу и боль стихла.

— Что поделаешь, в наших жилах дурная кровь. В семинарских школах не обращают никакого внимания на прогресс гигиены, это ужасно. Один врач сказал мне: «Все вы — интеллигенты, недоедавшие с детства». Это объясняет многое, ты не находишь?

Я не мог не улыбнуться.

— Не подумай только, что я хочу оправдаться! Я принадлежу лишь к одной партии — партии полной откровенности, как с другими, так и с самим собой. У каждого — своя правда, так называется поразительная пьеса какого-то очень известного писателя.

Я передаю в точности его слова. Они показались бы мне смешными, если бы я не видел на его лице явных следов расстройства, причин которого, я уже понял, он мне не скажет.

— Если бы не моя болезнь, — продолжал он

после паузы, — я, наверно, остался бы навсегда таким же, как и ты. Я много читал. А потом, по выходе из санатория, мне пришлось искать места, померяться силами с судьбой. Это вопрос воли, упорства — упорства в особенности. Ты, естественно, воображаешь, что нет ничего легче, чем найти покупателя на товар? Ошибаешься, глубоко ошибаешься! Независимо от того, что ты продаешь москательные товары или золотые копи, кто ты — Форд или скромный торговый представитель, тут необходимо умение воздействовать на людей. Необходимость воздействия на людей — лучшая школа воспитания воли, я теперь это раскусил. К счастью, опасный порог уже позади. Не пройдет и полутора месяцев, у меня будет свое дело, я вкушу сладость независимости. Заметь, я никого не толкаю на свой путь. Бывает, приходится туго, и не поддерживай меня в такие моменты чувство ответственности за… за особу, которая пожертвовала для меня блестящим положением и которой… Прости мне, что я касаюсь ситуации…

— Она мне известна, — сказал я.

— Да, разумеется… Впрочем, мы можем рассмотреть ее объективно. Как ты понимаешь, я принял все меры, чтобы тебе не пришлось сего-

дня вечером столкнуться…

Мой взгляд явно стеснял его, он, конечно, не находил в моих глазах того, что желал бы в них прочесть. А я испытывал перед никчемной суетностью, терзавшей его, те же мучительные ощущения, что и тремя днями раньше в присутствии м-ль Луизы. Ту же неспособность пожалеть, войти в положение, то же щемящее чувство в душе.

— Обычно она возвращается как раз в это время. Я попросил ее провести вечер у подруги, у соседки…

Он робко протянул через стол худую бледную руку, торчавшую из чересчур широкого рукава, положил ее. на мою, ладонь у него была потная, холодная. Думаю, он был искренне взволнован, однако глаза его лгали.

— В моей интеллектуальной эволюции она роли не сыграла, хотя наша дружба поначалу сводилась к обмену мыслями, суждениями о жизни, о людях. Она работала старшей сестрой в санатории. Это женщина культурная, начитанная, она получила образование куда выше среднего: у нее дядя — директор лицея в Ран-дю-Флие. Короче, я счел должным выполнить обещание, которое дал ей там. Не подумай только, что это увлеченье,

страсть! Тебя это удивляет?

— Нет, — сказал я. — Но мне кажется, ты напрасно оправдываешься в том, что любишь женщину, которую избрал.

— Я не знал, что ты сентиментален.

— Послушай, — продолжал я, — если бы мне выпало преступить обет, данный в день, когда я был рукоположен, я предпочел бы, чтобы это случилось из-за любви к женщине, а не из-за того, что ты называешь своей интеллектуальной эволюцией.

Он пожал плечами.

— Я с тобой не согласен, — сухо ответил он. — Позволь мне прежде всего сказать тебе, что ты говоришь о вещах, которых не знаешь. Моя интеллектуальная эволюция…

Он, должно быть, говорил еще некоторое время, так как мне помнится длинный монолог, который я слушал, не понимая. Потом мой рот наполнился какой-то приторной грязью, а его лицо, проступив вдруг на мгновение с необычайной ясностью, четкостью, исчезло во тьме. Когда я открыл глаза и в последний раз сплюнул что-то клейкое, прилипавшее к деснам (это был сгусток крови), я услышал женский голос:

— Не двигайтесь, господин кюре, сейчас все

пройдет.

Произношение у нее было, как у жителей Лана.

Сознание тотчас вернулось ко мне, после рвоты мне стало гораздо легче. Я сел на кровати. Бедная женщина хотела выйти, мне пришлось удержать ее за руку.

— Извините меня, пожалуйста. Я была у соседки, через коридор. Господин Луи немножко растерялся. Он хотел сбегать в аптеку Ровеля. Господин Ровель его приятель. К сожалению, лавка закрыта ночью, а господин Луи не может ходить быстро, он задыхается при малейшем усилии. Здоровье его оставляет желать лучшего.

Чтобы ее успокоить, я сделал несколько шагов по комнате, и она наконец согласилась сесть. Она такая крохотная, что ее легко принять за одну из тех девочек без возраста, которых полно в шахтерских поселках. Лицо ее не лишено приятности, даже напротив, тем не менее у меня такое ощущение, что стоит от него отвернуться, как оно тотчас исчезнет из памяти. Но ее увядшие голубые глаза улыбаются так безропотно, так кротко, что напоминают глаза какой-нибудь прабабки, древней пряхи.

— Когда вы почувствуете себя хорошо, я уйду, —

снова заговорила она. Господин Луи рассердится, если застанет меня здесь. То, что мы с вами разговариваем, ему придется не по вкусу, он мне строго наказал, уходя, сказать вам, что я просто соседка.

Она присела на низкий стульчик.

— Вы, наверно, очень плохо обо мне думаете, комната даже не прибрана, кругом грязь. Вся беда в том, что я с утра ухожу на работу, и очень рано, в пять часов. И сил у меня тоже не слишком много, сами видите…

— Вы медицинская сестра?

— Сестра? Скажете тоже! Там, в санатории, я была нянечкой, когда познакомилась с господином Луи… Вас, наверное, удивляет, что я называю его господин Луи, хотя мы теперь вместе? — Она опустила голову, делая вид, что поправляет складки своей юбчонки. — Он больше не встречается ни с кем из своих прежних… своих… ну, в общем, своих прежних товарищей, что ли! Вы первый. С одной стороны, я прекрасно знаю, что не пара ему. Но только, понимаете, там, в санатории, он думал, что вылечился, вообразил невесть что… Что касается церкви, я не вижу ничего дурного в том, чтобы жить как муж и жена, но он, кажется, дал обет, это правда? Обет есть обет. Но как быть! Тогда я не могла с ним об этом говорить, тем более

что… простите… я его любила.

Она произнесла эти слова так печально, что я не нашелся, как ответить. Мы оба покраснели.

— Есть еще причина. За таким образованным человеком, как он, ухаживать не просто, он сам знает не меньше доктора, разбирается в лекарствах, и хотя он теперь и пользуется льготами, как лицо этой профессии, на аптеку даже с пятидесятипятипроцентной скидкой уходит много денег.

— Чем же вы занимаетесь?

Она замялась на мгновение.

— Уборкой. В нашей работе самое утомительное, что приходится бегать с одного конца города в другой.

— Ну а его торговля?

— Вроде бы дело будет доходное. Но только пришлось взять в долг — на контору, на пишущую машинку, и потом, знаете, он ведь совсем не выходит из дому. Только и говорит что об усталости! Знаете, я вполне могла бы заработать на двоих, но ему втемяшилось мое образование, как он говорит, ну, вроде школы, что ли!

— Это когда же?

— А по вечерам, ночью, он ведь почти не спит. Но ведь таким, как я, рабочим людям, нужно вы-

спаться. Нет, вы не подумайте, он не нарочно, ему это просто не приходит в голову, иногда скажет: «Вот и полночь», как ни в чем не бывало. Я должна, он считает, стать дамой! Такому человеку, как он, ясное дело, сами понимаете… Тут, как ни верти, я бы ему в жены не годилась, если бы…

Она наблюдала за мной с таким пристальным вниманьем, точно сама ее жизнь зависела от следующего слова, от секрета, который она мне откроет. Не думаю, чтобы она мне не доверяла, просто ей не хватало храбрости произнести перед чужим человеком роковое слово. Она словно стыдилась. Я частенько замечал у бедных женщин это отвращение к разговору о болезнях, эту застенчивость. Лицо ее залилось краской.

— Он скоро умрет, — сказала она. — Но он этого не знает.

Я невольно вздрогнул. Она покраснела еще больше.

— О, я догадываюсь, о чем вы думаете. Сюда приходил здешний викарий, человек очень учтивый, господин Луи с ним, впрочем, даже не знаком. По его мнению, я мешаю господину Луи выполнить свой долг, как он сказал. А что такое долг? Это не так-то просто понять. Конечно, эти господа будут лечить его лучше, чем я, в нашей

квартире и воздух плохой, да и еда не та, что нужно, как я ни стараюсь. (По качеству — хорошая, это мне удается, но разнообразия нет, господину Луи все так быстро приедается!) Но мне хотелось бы, чтобы решение исходило от него самого, так было бы лучше, вы не находите? Предположим, я уйду — он сочтет, что я его предала. Потому что, в общем, не обижайтесь, ему ведь известно, что я совсем неверующая. Ну и…

— Вы так и не обвенчались? — сказал я.

— Нет, господин кюре.

Я заметил, что по ее лицу пробежала тень. Потом она, словно вдруг, решилась:

— Не хочу вам лгать, это я не захотела.

— Почему?

— Из-за того, что… ну, из-за того, кто он, что ли! Когда он вышел из санатория, я надеялась, ему станет лучше, он выздоровеет. Ну а если бы ему вздумалось в один прекрасный день, как знать?.. Зачем, чтобы у него были из-за меня неприятности, говорила я себе.

— А он что об этом думал?

— Да ничего. Он считал, что я отказываюсь из-за своего дяди из Ран-дю-Флие, который раньше был почтальоном, у него есть денежки, а священников он недолюбливает. Я сказала, он лишит меня

наследства. Самое забавное, что старик и в самом деле лишил меня наследства, но как раз потому, что я не вышла замуж, стала, как он выражается, сожительницей. Он человек по-своему хороший, мэр своей деревни. «Ты даже не можешь добиться, чтобы твой кюре женился на тебе, должно быть, ты стала полным ничтожеством».

— Но когда…

У меня не хватило духа закончить фразу, она договорила за меня тем голосом — многим он показался бы безразличным, но я-то хорошо его знаю, он пробуждает во мне столько воспоминаний, — тем голосом без возраста, тем отважным и безропотным голосом, который усмиряет пьяного, выговаривает непослушным детям, баюкает младенца, не имеющего пеленок, спорит с безжалостным лавочником, умоляет судебного исполнителя, утешает умирающего, голосом матери семейства, неизменным на протяжении столетий, голосом, которого не сломить всем невзгодам мира.

— Когда он умрет, я останусь прислугой. Перед тем, как я поступила работать в санаторий, я была кухаркой в детском профилактории, возле Иера, на Юге. Я люблю детей, лучше детей, знаете, никого нет, дети — это сам Господь.

— Может, вы найдете опять что-нибудь в таком роде, — сказал я.

Она покраснела еще больше.

— Не думаю. Потому что — мне не хотелось бы, чтобы вы кому-нибудь говорили об этом, — но, между нами, я оказалась недостаточно крепкой, я подхватила от него чахотку.

Я молчал, ей, казалось, было ужасно не по себе от моего молчания.

— Возможно, я уже и раньше была больна, — сказала она, как бы извиняясь, — у меня и мать была не очень крепкой.

— Я был бы рад помочь вам, — сказал я.

Она, очевидно, решила, что я собираюсь предложить ей денег, но, взглянув на меня, успокоилась, даже улыбнулась.

— Знаете, мне очень хотелось бы, чтобы вы, при случае, намекнули ему, насчет его идеи дать мне образование. Как подумаешь… ну, в общем, сами понимаете, не очень-то много времени нам с ним остается быть вместе, а учиться так трудно! Он никогда не отличался терпением, что вы хотите, он ведь болен! Но он говорит, будто я это нарочно, будто я могла бы, если бы захотела. Наверно, тут и моя болезнь виновата, вообще-то я не так уж глупа… Ну а что я могу ему ответить?

Подумайте только, он стал обучать меня латыни, с ума сойти! Это меня-то, которая и начальной школы не окончила. К тому же, после всех этих уборок, я просто падаю от усталости, мне ничего, кроме сна, и в голову не идет. Разве нельзя хотя бы просто поговорить спокойно?

Она опустила голову, играя кольцом, которое было у нее на пальце. Заметив, что я смотрю на это колечко, она поспешно спрятала руку под передник. Я сгорал от желания задать ей один вопрос, но не решался.

— В общем, — сказал я, — жизнь у вас трудная… И вы никогда не отчаиваетесь?

Она, должно быть, решила, что в моем вопросе есть какой-то подвох, лицо ее посуровело, напряглось.

— Вас никогда не тянет взбунтоваться?

— Нет, — ответила она, — только иногда я перестаю понимать.

— И тогда?

— Такие мысли лезут в голову, когда отдыхаешь, воскресные мысли, как я их называю. А другой раз, если я уж очень устану, устану до смерти… Но почему вы меня спрашиваете об этом?

— Из дружеских чувств, — сказал я. — Потому что бывают минуты, когда я и сам…

Она глядела мне в глаза.

— По правде говоря, вы не слишком хорошо выглядите, господин кюре. Ну что ж, скажу: когда я уже ни на что не способна, на ногах не стою, да еще в боку болит, я, бывает, забьюсь в уголок, одна-одинешенька, и вместо того вы станете смеяться — вместо того, чтобы вспомнить о чем-нибудь веселом, о чем-нибудь, что подбадривает, думаю о всех тех незнакомых людях, которым приходится так же туго, как мне, — а их немало, земля-то велика! — о нищих, что топчутся под дождем, о бездомных ребятишках, о больных, об умалишенных, которые воют на луну в сумасшедшем доме, обо всех, обо всех! Я стараюсь затеряться среди них, сделаться маленькой-премаленькой — и не только среди живых, знаете, но и среди мертвых, которые тоже страдали, среди тех, что еще родятся на свет и будут страдать, как мы… «Почему? Почему нужно страдать?» — твердят они все… И мне кажется, я спрашиваю вместе со всеми, мне чудится, я слышу кругом себя их шепот, и он меня убаюкивает. В такие минуты я не поменялась бы местом даже с миллионером, я чувствую себя счастливой. Что поделаешь? Это не от меня зависит, я себя даже не корю. Я похожа на свою мать. «Если везенье из везений

быть невезучей, — говорила она, — то мне его с лихвой хватает!» Я никогда не слышала, чтобы она жаловалась. А ведь она была замужем дважды, и оба оказались пьяницы, такая незадача! Папа был худшим из двоих, да еще вдовец с пятью мальчишками, чистыми чертенятами. Она растолстела до невозможности, вся ее кровь превратилась в жир. Но все равно! «Нет никого выносливей женщины, говаривала она еще, — нам не след укладываться в постель, пока не придет час умереть». Ее то в груди схватывало, то болело плечо, рука, она уж и дышать не могла. В последний вечер папа вернулся домой мертвецки пьяный, как обычно. Она хотела поставить кофейник на огонь, он выскользнул у нее из рук. «Вот дурища, — сказала она, — надо же быть такой растяпой, сбегай-ка к соседке, займи у нее другой кофейник, да побыстрее, одна нога здесь, другая там, а то, гляди, проснется отец». Когда я вернулась, она, можно сказать, почти уже умерла, лицо с одной стороны было совсем черное, язык, тоже черный, торчал изо рта. «Надо бы мне лечь, — говорит, — что-то нехорошо». Папа храпел на постели, она не посмела его разбудить, присела у очага. «Можешь уже положить сала в суп, — сказала еще, — он закипел». И умерла.

Мне не хотелось прерывать ее, я хорошо понимал, что она еще никогда не рассказывала этого никому с такими подробностями, она и в самом деле точно пробудилась внезапно от какого-то сна и страшно смутилась.

— Я все говорю, говорю, а вот, слышу, возвращается господин Луи, я узнаю его шаги на улице. Мне лучше уйти. Он, может, и позовет меня, добавила она, краснея, — но не рассказывайте ему ни о чем, он пришел бы в бешенство.

Увидя, что я на ногах, мой друг сделал радостный жест, который меня глубоко тронул.

— Аптекарь был прав, посмеявшись надо мной. Меня и в самом деле пустяшный обморок пугает до ужаса. Должно быть, у тебя просто несварение желудка.

Потом мы решили, что я проведу ночь здесь, на этой раскладушке.

Я попытался еще поспать, но не смог. Опасаясь, что свет и в особенности свист газового рожка мешает моему другу, я, приоткрыв дверь, кинул взгляд в комнату. Она пуста.

Нет, я не сожалею, что остался здесь, напротив, мне даже кажется, г-н торсийский кюре одобрил бы меня. Впрочем, если я даже и сделал глупость, это теперь не в счет. Мои глупости уже не в счет:

я вышел из игры.

Конечно, многое во мне должно было тревожить вышестоящих. Но дело-то в том, что мы совершенно неправильно глядели на вещи. Например, г-н бланжермонский благочинный не напрасно сомневался в моих возможностях, в моем будущем. Да только у меня и не было вовсе никакого будущего, а мы оба этого не знали.

Я говорю себе также, что юность — дар божий и, как о всяком божием даре, о ней не следует сожалеть. Молоды, по-настоящему молоды лишь те, кому Он определил не пережить своей молодости. Я принадлежу к этой породе. Я спрашивал себя: «Что я буду делать в пятьдесят, в шестьдесят лет?» И, естественно, не находил ответа. Даже вообразить его не мог. Во мне не было старика.

Эта уверенность утешительна. Впервые за долгие годы, возможно, даже впервые за всю мою жизнь, я гляжу, как мне кажется, на свою молодость прямо, без недоверия. Мне чудится, я узнаю ее лицо, ее забытое лицо. И она тоже глядит на меня, прощает меня. Меня всегда давило бремя собственной нескладности, оно мешало мне совершенствоваться, я требовал от своей молодости того, чего она не могла мне дать, я находил ее нелепой, стыдился ее. А теперь, устав от

взаимных упреков, мы можем присесть с нею рядом у края дороги и передохнуть минутку, молча, наслаждаясь великим покоем вечера, в который нам скоро предстоит погрузиться вместе.

Утешительна также мысль, что я не могу никого обвинить в чрезмерной суровости к себе, мне не хочется употреблять слишком громкого слова «несправедливость». Разумеется, я полон почтения к людям, которые, чувствуя себя жертвами людского неправосудия, черпают в этом душевные силы и упования. Но мне самому — и тут я бессилен что-либо изменить — всегда противно думать, что я, пусть даже и невольно, послужил причиной или хотя бы поводом чужих прегрешений. Даже на Голгофе, приемля в томлении свою крестную чашу, Спаситель в его святой человечности не считал себя жертвой людской несправедливости: «Non sciunt quod faciunt» [15]. Слова, доступные малому ребенку, хочется сказать — младенческие слова, но бесы, которым их никогда не понять, должно быть, непрестанно твердят их с тех самых пор со все нарастающим ужасом. Они ждали разящей молнии, а вместо этого безгрешная рука словно захлопнула над

[15] Примечания: 15
Не ведают, что творят (лат).

ними крышку бездонного колодезя преисподней.

Поэтому я бесконечно радуюсь при мысли, что попреки, от которых я подчас страдал, делались мне только по нашему общему неведенью моей истинной судьбы Такого здравомыслящего человека, как г-н бланжермонский благочинный, не могло, конечно, не тревожить мое будущее, и он безотчетно гневался на меня сегодня за ошибки, которые я мог совершить завтра.

Я любил души наивно (думаю, впрочем, что мне и не дано любить иначе). Эта наивность, чувствую, с годами стала бы опасной и для меня самого, и для ближних, ибо я всегда неуклюже противился склонности, настолько естественной для моего сердца, что мне позволено считать ее неодолимой. Мысль, что эта борьба окончена, ибо больше не с чем сражаться, возникла у меня еще утром, но тогда я был оглушен тем, что открыл мне г-н доктор Лавиль. Мало-помалу она входила в меня. Точно тоненькая струйка прозрачно чистой воды. И теперь душа моя переполнена ею, она меня освежает. Тишина и покой.

Само собой, в эти последние недели, последние месяцы, дарованные мне Богом, пока мне хватит сил управляться с приходом, я попробую, как и прежде, действовать со всей осмотрительностью,

на которую способен. Но мне уже незачем думать о будущем, я стану работать ради настоящего. Такое дело, думаю, мне по плечу, по силам. Я ведь добиваюсь успеха только в мелочах и, как ни часто я терзался тревогой, должен признать, малые радости дают мне чувство победы.

И с этим решающим днем будет то же, что со всеми прочими: я не завершил его в страхе, однако день, грядущий следом, не займется во славе. Я не отворачиваюсь от смерти, но и не бросаю ей вызова, как сумел бы это сделать, нет сомнения, г-н Оливье. Я пытался взглянуть на нее со всем возможным для меня смирением, не без тайной надежды обезоружить ее, разжалобить. Не кажись мне такое сравнение слишком глупым, я сказал бы, что смотрю на нее, как смотрел бы на Сюльписа Митонне или на м-ль Шанталь… Увы! Тут нужны были бы неведенье и простота младенца.

Прежде чем я узнал свой жребий, меня не раз посещал страх, что я не сумею достойно умереть, когда настанет мой час, ибо я, нет сомненья, ужасно впечатлителен. Мне вспоминаются слова дорогого старого доктора Дельбанда, которые я, кажется, приводил в этом дневнике. Говорят, что монахи и монахини приемлют смерть не

слишком смиренно. Но теперь эти опасения меня больше не мучат. Я хорошо понимаю, что человек, уверенный в себе, в своем мужестве, может желать, чтобы его агония была чем-то совершенным, безупречным. Моя же агония, за неимением лучшего, пусть будет такой, как будет, только и всего. Не звучи это слишком дерзко, я сказал бы, что для истинно любящего сердца самая прекрасная поэма не стоит неуклюже пролепетанного признанья. Подумавши, я прихожу к выводу, что такое сравнение никого не может оскорбить, ибо человеческая агония — прежде всего акт любви.

Возможно, Господу будет угодно сделать из моей пример, урок. Но если она вызовет жалость, это ничуть не хуже. Что тут такого? Я любил людей и чувствую, что этот мир живых был дорог мне. Я умру не без слез. Нет ничего более чуждого мне, чем стоическое равнодушие, с какой же стати мне желать смерти, которой умирают люди бесстрастные? Герои Плутарха внушают мне одновременно страх и скуку. Войди я в рай в этаком маскарадном костюме, мне кажется, я вызвал бы у всех, вплоть до моего ангела-хранителя, насмешливую улыбку. Чего мне тревожиться? Зачем заглядывать вперед? Если мне будет страшно, я скажу: мне страшно, без всякого стыда. И

пусть первый взгляд Господа, когда я предстану перед его божественным ликом, будет взглядом ободрения!

Я задремал на мгновение, положив голову на стол. Должно быть, рассвет уже близко, слышны тележки молочников.

Мне хотелось бы уйти, не повидавшись ни с кем. К сожалению, это не так-то просто, даже если я оставлю на столе записку, пообещаю вскоре вернуться. Мой друг не поймет меня.

Что могу я сделать для него? Боюсь, он откажется повидаться с г-ном торсийским кюре. Еще больше боюсь, как бы г-н торсийский кюре не ранил жестоко его тщеславия и не побудил к какому-нибудь безрассудному, отчаянному поступку, на который он вполне способен из упрямства. Нет, я нисколько не сомневаюсь, что мой старый наставник в конце концов одержал бы верх над ним. Но если верить этой бедной женщине, надо спешить.

Да и с ней самой надо спешить… Вчера вечером я старался не подымать на нее глаз, она, боюсь, все прочла бы в них, а я не был уверен в своей правоте. Нет! Я не был достаточно уверен! Напрасно я твержу себе, что любой другой на моем месте не стал бы ждать, а, напротив, нарочно

вызвал бы слова, которых я так опасался, — я все-таки далеко не убежден, что это нужно. «Уезжайте, — полагаю, сказал бы ей всякий другой священник, — уезжайте. Пусть он умрет вдали от вас, примирившись с церковью». И она бы уехала. Но уехала бы, не понимая, просто покорясь, как всегда, извечному инстинкту своей породы, безропотной породы, испокон века обреченной ножу мясника. Она затерялась бы в людской толпе со своим смиренным горем, своим невинным протестом, не находящим для своего выражения ничего, кроме покорности. Не думаю, чтобы она была способна проклинать, ибо невообразимое неведение, сверхчеловеческое неведение ее сердца — из тех, над которыми бдит ангел. Не слишком ли жестоко уж и то, что никто так и не научит ее поднимать свой отважный взор к лику Всеприемлющего? Возможно, Господь принял бы от меня бесценный дар руки, не ведающей, что она дает? Но я не осмелился. Пусть г-н торсийский кюре поступит, как сочтет нужным.

Я прочел все положенные молитвы, отворив окно во двор, похожий на черный колодец. Но мне кажется, что угол стены, обращенной на восток, начинает светлеть над моей головой.

Я завернулся в одеяло, даже натянул его слегка

на лицо. Мне не холодно. Обычная боль не терзает меня, но тошнит.

Если бы я мог, я ушел бы из этого дома. Так приятно было бы снова пройтись по пустынным улицам, как вчера утром. От моего визита к доктору Лавилю, от часов, проведенных в кафе г-жи Дюплуи, у меня осталось только какое-то смутное воспоминание, и когда я стараюсь сосредоточиться, восстановить подробности, мною овладевает невероятная, неодолимая усталость. То, что тогда во мне страдало, уже не существует, уже не может существовать. Какая-то часть моей души утратила чувствительность, останется бесчувственной до конца.

Конечно, я сожалею о слабости, проявленной перед доктором Лавилем. Но мне следовало бы стыдиться, что я нисколько не угрызаюсь из-за ложного представления о священниках, которое сложилось по моей вине у этого человека, такого твердого, решительного. Ну и пусть! Все это позади. Недоверие, которое я испытывал к себе, к своей особе, рассеялось, думаю, навсегда. Конец борьбе. Я ее больше не понимаю. Я примирился с собой, с этими бренными останками.

Ненавидеть себя легче, чем думают. Благодать в том, чтобы себя забыть. И если бы всякая гор-

дость угасла в нас, высшей благодатью было бы смиренно возлюбить себя — один из страдающих членов Господа нашего Иисуса Христа.

Письмо г-на Луи Дюфрети г-ну Торсийскому кюре.

ПОСТАВКА АПТЕКАРСКИХ И МОСКАТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ

ИМПОРТ-ЭКСПОРТ

Луи Дюфрети, торговый представитель.

Лилль… февраля 19… года.

Господин кюре,

Сообщаю вам без промедления просимые вами подробности. Впоследствии они будут дополнены рассказом, который мое состояние здоровья пока не позволяет мне окончательно отделать и который я намерен опубликовать в «Кайе де ла женесс лиллуаз», скромном журнале, где я сотрудничаю в часы досуга.

Позволю себе выслать вам соответствующий номер, как только он появится в продаже.

Посещение моего друга доставило мне

живейшее удовольствие. Наша взаимная привязанность, возникшая в самые прекрасные годы юности, была из тех, которым нечего бояться враждебных ударов времени. Полагаю, впрочем, что сначала в его намерения не входило затягивать свой визит дольше, чем это необходимо для доброй братской беседы. Часов в семь вечера он почувствовал легкое недомогание. Я счел должным не выпускать его из дому. Моя квартира, хоть она и скромна, казалось, очень ему понравилась, и он охотно принял предложение переночевать у меня. Добавлю, что сам я, из деликатности, попросил приюта у одного друга, живущего по соседству.

Сон не шел ко мне, и часа в четыре я тихонечко заглянул в его комнату мой бедный друг был распростерт на полу, без сознания. Мы перенесли его на кровать. Как мы ни были осторожны, боюсь, это повлекло за собой фатальный исход. Его сильно вырвало кровью. Поскольку особа, разделявшая тогда мою жизнь, получила серьезное медицинское образование,

она смогла оказать ему необходимую помощь и объяснить мне, в каком он состоянии. Прогноз был самый мрачный. Однако кровотечение прекратилось. Пока я ждал врача, наш бедный друг пришел в сознание. Но не говорил. Капли густого пота стекали с его лба и щек, а взгляд, едва различимый под полуприкрытыми веками, казалось, был полон тоскливого страха. Я заметил, что пульс его быстро слабеет. Соседский мальчик побежал за дежурным священником, викарием прихода святой Остреберты. Умирающий знаками дал мне понять, что просит четки, я взял их из кармана его брюк, он прижал четки к груди и держал так до последней минуты. Казалось, силы начинают к нему возвращаться, едва слышным голосом он попросил меня отпустить ему грехи. Лицо его стало спокойнее, он даже улыбнулся. Хотя трезвая оценка положения обязывала меня не слишком спешить с выполнением его просьбы, гуманность и дружба не позволили мне отказаться. Добавлю, что я, как мне думается, выполнил этот долг с

чувством, которое должно избавить вас от всяких тревог.

Священник все еще заставлял себя ждать, и я счел необходимым выразить моему несчастному товарищу свое огорчение по поводу того, что из-за этого опоздания он рискует лишиться того утешения, которое церковь хранит для умирающих. Он, казалось, не слышал меня. Но несколько минут спустя он положил свою руку на мою, призывая меня взглядом приблизить ухо к его губам. И тут он отчетливо, хотя и чрезвычайно медленно, произнес — заверяю вас, что передаю его слова совершенно точно: «Что с того? Все — благодать».

Мне кажется, он умер почти в тот же миг.

— НОВАЯ ИСТОРИЯ МУШЕТТЫ —

С первых же страниц этого повествования родное имя Мушетты так естественно, так само собой навернулось мне на перо, что заменить его каким-либо другим стало уже невозможным. Мушетту, героиню «Новой Истории», роднит с Мушеттой из «Солнца Сатаны» лишь их трагическое одиночество, обе они жили одинокими и одинокими умерли.

Да будет милосерд господь и к той и к другой

Ж. Б.

Часть первая

И вот уже прорвавшийся с запада шквальный унылый ветер — морской, по утверждению Антуана, — разносит во мраке голоса, рвет их на куски. С минуту поиграет с каждым в одиночку, потом собьет в один клубок и, хрипя от злости, забросит неизвестно куда. Последний, донесшийся до Мушетты, еще висит где-то в воздухе, совсем как те осенние листья, что долго кружатся, прежде чем лечь на землю.

Мушетта решила было не надевать башмаки на деревянной подошве — так легче бежать. Сегодня, как на грех, она, по ошибке, сунула ноги в чужие. Ну и плевать! Башмаки Эжена оказались такие большущие, что между задником и щиколоткой может войти вся ее тоненькая пятерня. Зато есть в этом и свое преимущество — если при каждом шаге чуть подкидывать башмаки пальцами ног, они, словно пара огромных кастаньет, так грохочут по щебенке школьного дворика, что Мадам — как они зовут учительницу — просто заходится.

Мушетта легко взбирается на самый верх откоса и, прислонившись к живой изгороди, насквозь

пропитанной влагой, останавливается, чтобы оглядеться. С этого наблюдательного пункта до школы вроде бы рукой подать, но теперь на школьном дворе никого уже нет. По субботам после большой перемены все классы сходятся в парадную залу, главным украшением которой служит бюст Республики и портрет бывшего президента Армана Фальера, висящий здесь с незапамятных времен, а в углу к стене прислонено знамя Гимнастического общества, хранящееся в клеенчатом чехле. Должно быть, как раз сейчас Мадам объявляет отметки за неделю, а потом все хором еще раз прорепетируют кантату, которая входит в торжественную часть праздника при распределении наград, но когда еще оно будет. Ох, когда-то еще оно будет в этом печальном месяце марте. Но вот она ясно различает навязшую в зубах мелодию «Большие надежды», которую запевает сама Мадам, страшно оскалив тонкогубый рот и с таким яростным взмахом головы, что гребень, поддерживающий пучок, сползает на шею…

Надейтесь!.. Надейтесь сильнее!

Еще трое суток, — сказал им Колумб, — и я новый мир вам открою!

А сам все смотрел на небесный свод

Под дымкою голубою…

Сквозь мутные стекла Мушетта с трудом различает склоненные попарно, по трое над партитурой головки своих соучениц, зато на фоне окрашенной эмалевой краской стены четко вырисовывается длинный силуэт Мадам, взгромоздившейся на помост. Тощая длань, следуя ритму кантаты, то взмывает к небесам, то опускается долу, а то, протянутая угрожающе-властно, застывает на весу, и голоса медленно стихают, словно бы стелятся у ног укротительницы, как смирившийся хищник.

По уверению учительницы, Мушетта не имеет «ни малейших способностей к пению». Неправда это, Мушетта просто ненавидит пенье. Как, впрочем, и ко всякой музыке питает дикую, необъяснимую ненависть. Стоит только длинным изуродованным подагрой пальцам Мадам коснуться клавиш уныло ноющей фисгармонии, как сразу что-то так мучительно сжимается в полудетской груди Мушетты, что даже слезы на глазах выступают. Какие слезы? Скорее всего слезы стыда. Каждая нота подобна слову, больно ранящему самую ее душу, как те грязные слова, которые вполголоса бросают ей вслед мальчишки, а она притворяется, что не слышит, но порою

носит их с собой до самого вечера, как будто они присохли к ее коже.

Как-то она попыталась объяснить Мадам тайну этого неодолимого отвращения, но, бледнея от гнева, смогла выдавить из себя всего несколько нелепых, ничего не объясняющих фраз, а в каждой попадалось слово «противно». «Мне музыка противна». «Вы просто дикарка, настоящая маленькая дикарка, удрученно твердила Мадам. — Но ведь и у дикарей есть музыка! Конечно, своя, варварская, но все-таки музыка! Всегда и повсюду музыка предшествовала науке». Тем не менее учительница не отступала, пытаясь обучить ее сольфеджио, понапрасну тратила уйму времени, буквально голову теряла. А все потому, что Мушетта. которая упрямо отказывалась неизвестно по какой причине «давать грудной звук» и еще усиливала свой ужасающий Пикардийский акцент, Мушетта, по утверждению Мадам, обладала прелестным голосом, скорее даже голоском, до того невесомо хрупким, что, казалось, вот-вот он переломится пополам, прервется, а он не прерывался. Когда же Мушетта, на горе свое, достигла четырнадцати лет и тем самым стала «старейшиной» школы, она тоже начала «давать грудной звук», если только вообще пела.

Обычно она довольствовалась тем, что просто беззвучно открывала рот в надежде обмануть недреманное ухо Мадам. Случалось, что Мадам в ярости скатывалась с помоста, тащила бунтовщицу к фисгармонии и, нажимая ладонями на затылок Мушетты, пригибали ее голову к самым клавишам.

Иной раз Мушетта упорствовала. Иной раз просила пощады, кричала, что сейчас попробует. Тогда учительница усаживалась на табурет перед фисгармонией, извлекала из адского этого инструмента не то жалобу, не то мычание, и над этими унылыми звуками вдруг возносился умопомрачительно чистый, чудом обретенный голос, подобный крохотной лодчонке на гребне пенного вала.

Поначалу Мушетта не узнавала собственного голоса: не до того ей было, она зорко всматривалась в лица подруг, ловила взгляды, кривые улыбки зависти, которые по простоте душевной считала пренебрежительными. Потом, словно бы из самых недр непроницаемого, колдовского мрака она вдруг замечала, что поет. Тщетны были все усилия разбить хрустальную струйку, под шумок вновь запеть горлом, усилить Пикардийский акцент. Свирепый взгляд Мадам всякий раз

призывал ее к порядку, как и рев внезапно обезумевшей фисгармонии. Несколько мгновений Мушетта изнемогала в неравной борьбе, такой жестокой борьбе, что никто и представить себе этого не мог. И, наконец, невольно, даже против ее желания, фальшивая нота вырывалась из худенькой груди, где теснились рыдания, и сразу становилось легче. Будь что будет! Со всех сторон раздавался смех, и сразу же лицо Мушетты пряталось под маской тупости, — так научилась она скрывать свои маленькие радости.

Сейчас Мадам небось уже заметила ее отсутствие, ну и пускай! Через минуту Мушетту ждет самое большое ее удовольствие, такое же жалкое и дикарское, как она сама, удовольствие сродни ей самой. Через минуту дверь, вырисовывающаяся черным прямоугольником на фоне стены, вечно закрытая, распахнется и извергнет из себя на дорогу с единым пронзительным визгом наконец-то получивших свободу девочек, глухих к последним призывам Мадам, к бесполезному теперь хлопанью в ладоши. И вот, притаившись за изгородью, удерживая дыхание, чувствуя, как в сердце нарастает сладостный страх, Мушетта из своего укрытия будет исподтишка следить за щебечущей стайкой, хотя лиц уже не разглядеть

из-за сгущающихся сумерек, и только голоса раздаются во мраке, теперь уж различаешь каждый не по знакомому, а по новому их звучанию.

Даже привычка не притупляет маленькие радости Мушетты, не притупила и эту — напротив, с каждым разом становится все интереснее. Открыла она для себя этот секрет, впрочем, совсем случайно, как случайно в темных прогалинах по колеям обнаруживает сотни чудесных вещей, которых никто не видит и которые валяются там годами.

В иные дни, в ее плохие дни (так по крайней мере называет их Мадам), как только зазвонят к последней перемене, которую полагается проводить в школьном дворике, скупо освещенном единственным газовым рожком, ее охватывает непреодолимое искушение перелезть через изгородь и бежать в темноте куда глаза глядят. Раньше она неслась по Обенской дороге, даже не отваживаясь оглянуться, сопровождаемая грозным стуком собственных башмаков с ушками, и останавливалась перевести дух только там, где ответвляется дорога на Сен-Вааст. Но в один прекрасный день, когда Мадам пришла вдруг фантазия перенести урок сольфеджио на завтра, девочки гурьбой вывалились из школы

одновременно с Мушеттой и направились в ту же сторону. Пришлось тогда быстренько вскарабкаться на откос, ползти на животе по траве. В великому ее удивлению, задохнувшиеся от бега девчонки привычно остановились у первого поворота поболтать. И нередко случалось даже, что когда уже все девочки расходились по домам, две какие-нибудь подружки ненадолго задерживались, поверяя друг другу секреты. Иногда они прислонялись к поросшему травой откосу. Мушетте стоило только руку протянуть, и она могла бы потрогать их сбившиеся на сторону пучочки, подвязанные засаленной ленточкой.

Самыми сладостными были именно эти последние минуты. Уже разбредаются по бесчисленным тропкам их лесного края через пастбища, через ручьи маленькие группки ее соучениц. Только там подальше, на дороге, еще шепчется о чем-то парочка неразлучных, а тем временем не видимая никому наблюдательница с силой прижимает оба кулака к губам, чтобы не чихнуть часом, потому что от сырой травы насквозь промокли чулки.

Нынче вечером школьницы пронеслись мимо беспорядочной стайкой, скрылись из виду все вместе, и сомкнувшуюся за ними тишину нару-

шал лишь еле уловимый шорох дождевых капель в опавшей листве.

Не помня себя от злости, Мушетта швырнула вслед припоздавшей парочке целую пригоршню грязи, но комок бесшумно шлепнулся в колею. Девочки даже не оглянулись. Зря старалась! Где-то у Линьера еще слышен нестройный гул голосов, но вскоре он переходит в неясное бормотание, временами ему отвечает удар молота по наковальне, таким же чистым, таким же четким звуком, как тот, что по весне рвется из серебряного горлышка жабы.

Опять Мадам позабыла потушить на школьном дворике газовый рожок, рожок устарелой системы, где язычок пламени похож на желтую бабочку с голубым сердечком. Даже здесь слышно, как на ветру огонь плюется искрами, присвистывает, но вот он снова взмывает вверх, и в отблесках пламени пляшут по мертвенно-бесцветному цементу тени красных, крашеных столбов и уродливой плоской крыши. Мушетта глаз отвести не может. Ей чудится, будто она уже все эта видела давным-давно, сотни раз видела во сне и что нынче этот зловещий уголок кого-то поджидает. Придет ли он? Придет ли нынче вечером?.. Но на пороге кухни вдруг появляется

Мадам и, крупно шагая, подходит к фонарю и гасит его. И все исчезает разом, только огромный тополь еле-еле различимый на фоне неба, шепчет что-то, словно ручеек.

Мушетта вовсе и не собирается спускаться с откоса. Она проскальзывает под изгородь, оставив на шипе колючей проволоки кусок шерстяной косынки, и идет прямо пастбищем, по его мягкому склону она доберется до Манервильского леса. Впрочем, никакой это не лес, а так себе, просто молодое мелколесье площадью в несколько гектаров, почва здесь скудная, песчаная, и полно худосочных кроликов величиной не больше крысы. Их поселок Сен-Венан примостился у противоположной опушки, крошечный поселок, всего несколько очагов, последний огрызок некогда огромного угодья, раздробленного на части десять лет назад евреем — перекупщиком земельных участков, прибывшим с Арден. Домик Мушетты притулился в стороне, у самой кромки стоячего болота, забился в чащобу. Саманные стены потрескались от мороза снизу доверху, потолочные балки, уворованные где ни попадя, вот-вот рухнут. Придет холодная пора, отец заткнет дыры пучками хвороста и на том успокоится.

Когда Мушетта добралась до леса, ветер задул еще сильнее, дождь налетал короткими порывами, пригибая к земле покряхтывавший сухостой. Стало так темно, что даже не видать, куда ступаешь. Дождинки стучат, будто градины.

Мушетта храбро задирает юбчонку на голову и пускается бежать изо всех сил. На ее беду, земля, изрытая вдоль и поперек кроличьими норками, оседает при каждом неосторожном шаге, а когда забираешься в заросли, где переплетенная толстенными корнями почва тверже, по лицу злобно хлещут мокрые ветки, гибкие, как лозина. Одной веткой сорвало с головы косынку. Мушетта кидается за ней, спотыкается о пень и падает со всего размаху. Проклятая косынка! Хоть бы новая, так нет, совсем не новая! Но она переходит от одного к другому, смотря кому понадобится. Даже отец иногда, когда у него уж слишком разболятся зубы, обматывает этой самой косынкой свою физиономию, перекошенную флюсом. Разве что только чудом может пройти незамеченной пропажа столь ценной вещи, особенно если каждый привык видеть ее на определенном гвоздике. Боже ты мой, какая же ее ждет порка, даже сейчас заранее горит спина!

Трескотня дождевых капель возобновляется

с новой силой, и теперь к ней примешивается идущее отовсюду пришептывание насыщенной влагой земли, короткое чмоканье срывающихся в колею комков грязи, и иногда вдруг под невидимым отсюда камнем забурлит вода, пробивая себе путь, словно прорыдает на кристально чистой ноте. Уже отчаявшись, Мушетта кружит наугад по чащобе. Потом, пригнув голову, бежит прямо напролом. Промокшая юбка липнет к коленам, и при каждом шаге приходится обеими руками придерживать за ушки отяжелевшие башмаки. Ух, черт! Только она собиралась перепрыгнуть через лужу грязи, — а поди рассчитай в темноте, широкая она или нет, — как вдруг под ее ногами разверзается земля и с плотоядным чавканьем заглатывает правый башмак. Мушетта скатывается в ров, делает наудачу несколько шагов, выпрямляется, еще оглушенная падением, отыскать дорогу она уже не в силах, ревет от злости, прыгая на одной ноге и поддерживая правую, босую, рукой.

Выбившись из сил, она опускается прямо на землю, словно захмелев от холода и усталости. Но хуже всего, что после бессмысленных блужданий и поворотов она уже не надеется выбраться на дорогу. Напрасно она закрывает глаза, с за-

крытыми глазами лучше слышно. Уже давно кузнечный молот не стучит о наковальню, да к тому же буря так разыгралась, что деревья дрожат, точно туго натянутые струны. Разве что, да и то с трудом, прорвется далекий лай собаки, но его тут же подхватит и унесет ветер. Дорога, на которую она выбралась, просто-напросто одна из бесчисленных проторенных тропок, которые каждую зиму прокладывают деревенские старухи, отправляющиеся в лес за валежником; на обратном пути они волочат по земле вязанки хвороста, огромные корзины с сушняком.

Небось дома уж давно отужинали. Хочешь не хочешь, а придется ложиться на голодный желудок. Хоть бы отец нынче вернулся пьяным! К сожалению, рассчитывать сегодня на это не очень-то приходится. Свеклу уже свезли на той неделе, работы нету, в кабачке в кредит больше не отпускают, потому что мадам Изамбар, новая кабатчица, не слишком-то мирволит пьяницам. Правда, есть в заначке, за поленницей, бутылка можжевеловой. Да только мать, которая теперь почти ничего не ест из-за вечной боли в груди, не прочь иногда выпить стаканчик, разбавив ее наполовину водой. Обычно это проходит незамеченным, так как бывший контрабандист

употребляет свою собственную продукцию только после возвращения из кабачка, когда у него, по собственному выражению, «подагра все тело гложет», так что, видать, ему конец приходит. Но нынче вечером…

Разумеется, мысли Мушетты не текут столь стройно и логично. Расплывчатые, они с легкостью перескакивают с одного на другое. Если бы бедняки могли воссоздать из своих горестей цельную картину, они бы совсем пали духом. Но беды — просто-напросто сцепление бед, череда несчастных случайностей. Бедняк подобен слепцу, который десятки раз пересчитывает дрожащими пальцами монетки, не умея определить их достоинства ни по орлу, ни по решке. Так вот и беднякам хватает самой мысли о бедности. Их горе лица не имеет.

Теперь, когда Мушетта уже не борется, ее охватывает инстинктивная, бессознательная покорность, та, какой сильны животные. Никогда в жизни она не болела, и холод, сковывающий все тело, даже не причиняет мук, скорее уж от него как-то неуютно, как, впрочем, и от многого другого. Но это ничем не грозит, не будит мыслей о смерти. Да, впрочем, и о самой смерти Мушетта думает как о некоем чрезвычайном событии,

как о чем-то маловероятном, о чем глупо заранее думать, как, скажем, об огромном выигрыше в лотерее. В ее годы умереть или сделаться барыней — просто выдумка, химера…

Она осторожно втискивается меж двух сросшихся стволов большой сосны, ее верно забыли дровосеки. Ложем ей служит толстый слой сосновых иголок, почти сухих, так как дождевая вода легко просачивается сквозь них. Она снимает свой единственный башмак, стягивает шерстяные чулки, выжимает их. Кажется, что ветер дует теперь отовсюду разом, ураганом врывается в самую чащобу, исхлестанную свирепым ливнем, и вздымает вверх к небу среди вздыбленных ветвей, словно столб дыма, жалкенькую стайку опавшей листвы, но ее тут же прибивает к земле водяным смерчем.

Услышав шум шагов, она не спеша приоткрыла глаза и сразу же разглядела его: он направлялся к ней, осторожно ступая, будто ночной зверь. Длинный силуэт, совсем как только что в школе силуэт Мадам, кажется черным на фоне более светлого неба. Широченные охотничьи штаны, натянутые поверх вельветовых брюк, свисали, как подол юбки. Мушетта сразу же узнала его по запаху табака, контрабандного бельгийского

табака с фиалковой отдушкой, иногда он давал этот табак ее отцу в виде спресованного большого брикета огненного цвета и такого твердого, что приходилось рубить его секачом.

— Смотрите-ка, да это ты! — проговорил он.

Он чуть было не наступил на нее своими огромными сапожищами, от которых идет удушливый запах сала и перегноя. И тотчас же в лицо ей ударяет луч электрического фонарика.

— Слишком грязно, чтобы силок ставить, пойду-ка домой.

Мушетта с трудом подымается, не выпуская из рук мокрых чулок и единственного своего башмака. Все ее тщедушное тельце бьет дрожь.

— Эх, дьявольщина! Да ты, красотка, с холоду, того гляди, помрешь... Надо же выдумать — в такую непогодь в низину забраться... Да сюда через пять минут вода дойдет, разрази меня гром. А куда ты, бедолага, второй башмак подевала?

— По...по...потерялся, мосье Арсен.

— От уж дуреха!.. Из школы, что ли, возвращаешься? С дороги сбилась, да? С подружками шла? Видать, мозги у тебя куриные, надо прямо сказать.

Он снова направляет на нее луч электрического фонарика. Тщетно Мушетта пытается натянуть

мокрые чулки. Она в самом центре неподвижного светового пятна, одна нога у нее вытянута, другая поджата; ее словно бы сковало этим светом, она просто не в силах подняться со своего ложа, хотя ей все-таки удалось сесть.

— Вернешься к отцу с одним башмаком, береги зад! Помнишь хоть, где ты его, разиня, посеяла?

Мушетта вскидывает голову, стараясь разглядеть в темноте склоненное над ней лицо. Присутствие этого парня ничуть ее не тревожит, ведь не встревожилась бы она, очутись рядом с ней собака или кошка, но, прежде чем эта мысль успевает сложиться в ее голове, ухо уже улавливает в знакомом голосе какую-то почти неприметную нотку, трещинку, что ли. И словно ее поясницу обжег удар бича — она вскакивает на ноги.

— Чего это на тебя нашло? Вдруг ожила! На осиное гнездо, что ли, села? Ну говори, черт тебя раздери, где башмак потеряла?

Голос становится жестче, повелительней, и Мушетта понимает, что мешкать нельзя, а то, того гляди, заработаешь парочку хороших подзатыльников. Ну и ладно! Ни угрозами, ни подзатыльниками не вырвать у нее ни слова, пока не отпустит нервное напряжение. Она прекрасно

может, даже глазом не моргнув, выслушивать получасовые нотации Мадам, в сущности не слыша их, и вдруг какой-нибудь жест, какое-нибудь слово, и она уже чувствует, что на нее накатывает то, что учительница не без удовольствия определяет словом «припадок», «ваш припадок». «Я, очевидно, оскорбила мадемуазель Мушетту!» И подруги хохочут. Но отец выражается куда категоричнее. «Не строй свиной хари!»

Она делает несколько неверных шагов, отступает назад, прислоняется к стволу сосны, той, что потолще. Тыльной стороной левой руки утирает лоб, щеки. Лента, которую она вплетает в свою недлинную косичку, так и осталась висеть на колючках. С рассыпавшихся прядей, которые она каждое воскресенье обильно мажет маслом, стекает вода.

Мосье Арсен снова глядит на нее, целую долгую минуту глядит. Глаз его она не видит, но слышит его дыхание.

— А ну пойдем, хватит болтать! — говорит он. — Вода подымается.

Он идет впереди, она за ним. От коротких вспышек фонарика еще более густым, еще более предательским кажется ночной мрак. Мушетта натыкается на пни, царапает себе ноги сосно-

выми иголками. Ни за какие блага мира она не попросила бы мосье Арсена идти помедленнее, потому что в самых затаенных глубинах ее существа живет инстинкт физической покорности, как у всякой женщины из простонародья, которая может здорово облаять пьянчугу мужа, но послушно семенит с ним рядом, приноравливая свой шаг к его. Платье Мушетты превратилось в ледяной саван. А ей на это наплевать, она уже не страдает от холода, уже не чувствует ни своих ног, ни живота, только там, в груди, поднимается боль, там как-то пусто, неловко, тошнотно. Взгляд ее прикован к ритмичному колыханию плеч ее спутника… Стоп!

Слово это с запозданием доходит до ее ушей. Она делает шаг вперед, падает на колени, поднимается. Они стоят посреди незнакомой ей поляны. Дождь и не думает униматься, ветер крепчает. Мертвенно-белесое небо изливается им прямо на головы, грохоча, как водопад.

— Иди сюда!

Она снова делает несколько шагов, но так непомерно тяжка ее усталость, что, взбираясь на отлогий откос, где расползаются босые ноги, она невольно, не подумав, хватает за руку своего провожатого.

— А теперь нагибайся!

Он первым входит в лачугу и резким движением плеч сбрасывает сумку, которая с мягким стуком падает наземь. Сумка набита кроликами, еще теплыми, со слипшейся от дождя и крови шерсткой.

— Об заклад бьюсь, что ты даже не слыхивала о лачуге Зидаса, — говорит он. — Чем безобидней с виду тайник, тем он надежнее. Ну скажи сама, кто же на такую грязную развалюху подумает?.. В прошлом году, еще до начала охотничьего сезона, наехали сюда к нам из Булони с сетями и столько куропаток нагребли, что ихнему грузовичку пришлось два рейса делать. Только вот на обратном пути с ними авария на Бланжийской дороге приключилась. Стражники пронюхали. Я сам сюда приволок дичи больше, чем на пять тысяч франков. Заметь, что жандармы во всех направлениях прочесали долину, нашли даже прошлогодние тайники; правда, там одна только прелая солома была, но даже в голову им не пришло обыскать лачугу, а если бы и обыскали, ничего, видишь ли, и не обнаружили бы, кроме кучи хвороста да старой куртки. Потому что…

Мушетта без сил повалилась в углу, прямо на землю. Ей мешает сосредоточиться этот поток

слов, но все ее чувства начеку, подстерегают грядущую опасность, какую, она еще и сама не знает. Потому что раз пробудившееся недоверие так легко не усыпишь. Глазам больно, и она опускает веки. Со стороны кажется — спит.

Однако ни одно движение ее хозяина от нее не ускользает. Длинными тонкими пальцами, хотя и грязными, а все-таки куда белее, чем у прочих деревенских, он, как пес, разгребает землю, потревожив слой сухих листьев, разлетевшихся по всей лачуге. Открывается люк, прикрытый простой крышкой от ящика с веревочной петлей. Он ныряет в отверстие и тут же снова появляется.

— А ну-ка глотни! — командует он.

Этот повелительно-грубый тон успокаивает Мушетту, пожалуй, даже больше, чем любое дружеское слово. Впрочем, и защищаться-то у нее нет сил, разве что молчанием, разве что этой вот неподвижностью. Только сейчас она начинает соображать, что ее блуждание в чащобе под проливным дождем длилось долго, очень долго и что сил у нее совсем не осталось. Судорожно зажимает она зубами оклеенное сукном горлышко солдатской фляжки, откуда разит прокисшим вином.

Спиртное, словно струя расплавленного свин-

ца, заполняет всю грудную клетку. Бог ты мой! Ей кажется, будто усталость переливается по всему телу, мурашками покалывает каждый наболевший суставчик.

В глиняную, кое-как сложенную печь мосье Арсен подбрасывает связку хвороста. И так же бросает через плечо свое старое кожаное пальто и шерстяную рубаху. Языки пламени, пробивающиеся сквозь клубы дыма, золотят обнаженный, словно из меди отлитый торс.

— Погрейся-ка, — советует он. — Я-то знаю, почему я сюда приперся, ясно? Пережду непогоду, так-то оно лучше. Это, девочка, циклон, запомни «циклоном» зовется. Лет двадцать назад я уже видел такое, а может, и похлеще. В ту пору я еще и в школу не ходил — совсем мальцом был. Сначала на море началось, в открытом море, может, за тысячи и тысячи километров отсюда, потом мимо англичан прошло и к нам.

В Булони небо до того почернело, что все жители на улицу высыпали. Сначала было тихо-тихо, потом море на северо-западе — само море, поняла? закипело. Да, да, закипело, ну вроде как вода в кастрюле закипает. Пока еще ничего слышно не было. Да и вообще ничего особенного мы не услышали. Только вдруг видим, что все таможенные

здания паром затянуло, — не дымом, ясно? — а именно паром. Вроде бы и сам воздух тоже закипел. И вот, представь, крыша на доке подымается, медленно-медленно так. Издали подумаешь, что это зверь какой-то все раздувается, ну, дракон, что ли. А потом эта чертова крыша забилась, будто парус, и как взлетит в небо со всеми своими балками, бах, тарарах! Мы, понимаешь, детвора то есть, стоим, глазеем. А когда циклон над городом прошел, так даже земля затряслась. Но в таких случаях сильного ветра не бывает, он весь воздух всасывает, а мы в безвоздушном пространстве остаемся. И даже, говорю, ничего не слышно, только кирпичи да черепицы как начнут кругом трещать, вроде шутихи кто запускает. Все паром заволокло: и город и море.

Опыт не обманывает Мушетту — красавец Арсен пьян. Только пьян совсем по-другому, чем ее отец. Впрочем, никто еще никогда не видел, чтобы он брел по дороге и шатался или держался стенки, как раненый зверь, когда тот пробирается в свою берлогу. «Так только шуты разные да паяцы себя ведут, презрительно заявлял он, — выпьют чуток и уже воображают, будто пьяным-пьяны». При случае он охотно и с гордостью рассказывает, что не здешний, что родился он в Булони, мать-бре-

тонка его родила, мол, случайно от неизвестного папаши. Обычно-то он, выпив, держит язык за зубами. Или же говорит, говорит… вот как нынче вечером, ровным тихим голосом, почти шепотом, в глазах загорается странный огонек, и когда он переходит к морским рассказам — он служил во флоте, — упаси боже даже про себя усмехнуться. Тогда он сразу вскакивает и идет на обидчика враскачку, по-матросски, верный признак, что на него нашло, а здешние побаиваются этих приступов ярости, потому что злится он иначе, чем они, по-непонятному злится…

— Слушай, — говорит Арсен, — вот он… Идет наискосок по равнине. Через пять минут вовсю разбушуется. Приложи-ка ухо к земле, услышишь, как он несется. Ей-богу, такая погодка кровь бодрит, погода для настоящих мужчин.

Он берет с полу флягу, и губы его уже заранее складываются в лакомую гримаску, отчего он делается похож на маленького мальчугана.

— Как бы вы не напились, мосье Арсен, — спокойно произносит Мушетта.

— Нынче вечером мне в самый раз напиться, — отвечает он, — по самую что ни на есть завязочку, понятно? У меня неприятности.

Протянув руку, он проводит длинными паль-

цами по плечу Мушетты, неуклюже-ласково касается ее спины, бока.

— Высохла — ну вот и ладно, — говорит он. — С таким ветром пустяка достаточно, чтобы лачуга сразу со всех четырех сторон занялась и сгорели бы мы здесь с тобой, как крысы. Да было бы тебе известно, что у тебя под задом все мои патроны припрятаны. Вот так-то, красотка, взлетишь прямо к небесам!

Он принужденно смеется. Мушетте надо бы ответить ему хоть что-нибудь, просто из вежливости ответить, но инстинкт более властный, чем воля, приказывает ей молчать. К тому же алкоголь мало-помалу испарился, веки тяжелеют, ей хочется прилечь, заснуть.

— А ты не из разговорчивых, — замечает он, — впрочем, для девицы это, напротив, даже приличнее.

Из кармана куртки, висящей на гвоздике, он вытаскивает огромные серебряные часы-луковицу.

— Когда из школы ушла?

— Не знаю точно, — на всякий случай осторожно отвечает Мушетта. Может, в половине седьмого. Я раньше всех убежала.

— Одна, что ли?

— Ясное дело.

— Никто тебя не видел?

— Откуда я знаю? А почему вы меня спрашиваете, мосье Арсен?

Арсен морщит нос, ну чисто кошка. Мушетта пожимает плечами, еле-еле, так, для себя самой. Конечно, вечные побои не окончательно поработили ее сердечко, зато научили, что к гневным вспышкам мужчины следует относиться настороженно, со спокойным и глубоко запрятанным презрением.

— Я через изгородь перелезла, мосье Арсен.

— Хотела пастбищем пройти?

— Да.

— Так вот что, запомни хорошенько, что я тебе сейчас скажу. Через пастбища ты не шла. А шла по Линьерской дороге, как и полагается при непогоде. А может, даже в Линьер заглянула, скажем, шарики себе купить.

— Шарики? А на какие такие гроши? У меня же ничего нет, мосье Арсен.

— Вот, держи, тут несколько су. Скажешь, что нашла на дороге. Значит, добралась до поселка и остановилась у болота, потому что погода сильно плохая.

— Ладно, мосье Арсен, ладно, поняла.

Она сует монеты в карман передника, греет

их, сжимает в кулаке. Никогда еще не было у нее такого богатства. Деньги приятно трогать, как живую человеческую кожу.

Мосье Арсен продолжает:

— Значит, остановилась у болота. И видела, как я вышел из кабачка Дюплуи. Дюплуи, он свой человек. Я тебе сказал, что иду из Басомпьера, что я силки ходил проверять.

— Силки? И жандармам тоже про силки говорить?

— Нет, вы только посмотрите, какая она у нас хитрая!

Он допивает бутылку, полощет рот последним глотком и сквозь зубы сплевывает на еще багровую золу.

— Пусть лучше тебя обвинят в том, что ты спер яйцо на Бражелонском базаре, чем быка на Сен-Ваастской ярмарке.

Мушетта смотрит, как пляшут на раскаленных головешках язычки горящего спирта, совсем как голубенькие мушки. На ее худенькой мордашке застыло теперь выражение покорности и лукавства. Сотни раз ей приходилось врать таможенникам! Раньше отец баловался контрабандой. Тогда они жили далеко отсюда, ближе к Верблооку — у самого края болота, и такое ги-

бельное было это место, что ночью можно было там пробраться только за фландрским ученым псом, умевшим чуять под застывшей коркой окна, куда вершок за вершком засасывало человека в течение каких-нибудь десяти минут. В то время она была еще совсем-совсем маленькая. Теперь бы она, конечно, врала куда складнее. Каждое произнесенное мосье Арсеном слово уже врезалось ей в память, заняло положенное ему место. А сам мосье Арсен шагает по хижине взад и вперед. Плевать ему, что здесь теснота: есть в нем какая-то свободная непринужденность, как в хищниках, разгуливающих по клетке, она видела их в зверинце Беллока сквозь разошедшиеся доски ограды.

— Ты не такая девочка, как другие, ты славная девочка, — вдруг произносит он. — Пойду поищу твой башмак. Может, нам еще куда придется идти.

На мгновение он останавливается на пороге, и сразу же ливень обрушивается на его голую спину, слабо освещенную последними отблесками меркнущего очага.

Она остается одна. Одежда высохла, в висках уже не стучит, и даже голод, кажется ей, лишь продлевает это ощущение физического уюта,

сладостной полудремоты. Все ее чувства, кроме настороженного слуха, как бы спят. Ей нет надобности вслушиваться, она и так различает среди сотни звуков, доносящихся снаружи, последние завывания ветра на вершинах холмов, перестук дождевых капель, а временами мягкий треск сломанной ураганом сухой ветки, которая, прежде чем навеки увязнуть в грязи, придавит по дороге молоденький кустик. Вдруг пальцы ее, рассеянно пересыпавшие еще теплую золу, замирают, судорожно сжимаются в кулак, и она машинально становится на колени. Только что раздались два выстрела: сначала один, через несколько минут другой, четкие, хоть и приглушенные расстоянием.

Машинально она вскидывает глаза — нет, карабин мосье Арсена по-прежнему висит на гвозде. Впрочем, мосье Арсен так далеко и не мог уйти. Ясно, стрелял какой-нибудь браконьер, укрывавшийся в своем тайнике, потом решил идти домой и разрядил ружье. Но оба выстрела прозвучали через долгий, даже странно долгий промежуток, — так что вряд ли это охотник, он бы дуплетом стрелял…

И снова Мушетта вспоминает те уже далекие ночи, ночи раннего ее детства, в глинобитной

хибарке, приютившейся на самом краю неоглядной равнины. Сколько раз какой-нибудь контрабандист, отыскивая чуть ли не на ощупь дорогу, пулял вот так в воздух; отчаянный призыв к дружкам, тоже блуждавшим в потемках и пересвистывавшимся, а пронзительная трель их свистков напоминала крики болотных птиц. Точно такие же одиночные выстрелы, не будившие даже эха, доносились откуда-то из безвестной дали; и тяжелый, вязкий воздух, пропитанный жирными испарениями, подымавшимися с торфяников, послушно, подобно глубоким водам, подчинялся звуку выстрела и начинал вибрировать. Дело в том, что Мушетта редко слышала самый выстрел: ее будило неожиданное дребезжание оконных стекол, и она вскакивала со своего тощего, набитого тряпками тюфяка.

Мосье Арсен вернулся почти сразу же. И бросил на пол перед Мушеттой свою находку — ее насквозь мокрый башмак.

— Я-то боялся, как бы его течением вниз не утащило. Один бог знает, чего только река не навыбрасывала. Даже дохлого кролика, ему хребет о камень переломило. А уж крутит, крутит — еле на ногах удерживаешься. Шипит, вроде пенится — ну прямо тебе пиво…

Она чувствует на себе его взгляд, тяжелый взгляд.

— Слыхала?

Еще выстрел. Всего один. Затаив дыхание, они ждут второго, но тщетно.

— У, сволочь! — цедит он сквозь зубы.

Потом подымает с полу пустую бутылку, обнюхивает ее, яростно шваркает о стену, и она разлетается вдребезги.

— Будь у меня еще пол-литра можжевеловой, я бы опять туда пошел. Ей-ей, пошел бы.

И снова его взгляд встречается с глазами Мушетты, недоверчивый, грозный взгляд. Девочка выдерживает его, не опуская век.

— А хитра же ты! — наконец произносит он. — Словно куропатка! Сейчас мы с тобой золу наружу повыкидываем. И здесь все в порядок приведем. Только сначала…

Он присаживается на корточки перед очагом, подносит к глазам левую руку, внимательно приглядывается к ней, что-то насвистывая.

— Подойди-ка сюда, девочка. Достань из кармана кожанки электрический фонарь и постарайся направить его прямо вот сюда, только смотри не трясись, ты же у нас из настоящей контрабандистской семьи. Если будет дурно, так глаза

закрой.

На левой кисти видна ранка странных очертаний, дождь так основательно промыл ее, что обнажилось живое мясо, а вокруг него синеватые кровоподтеки. Пальцы распухли.

— Укус, — бормочет он, — поганый укус.

Правой рукой он осторожно разгребает головешки, берет еще не совсем потухшую, дует на нее.

— А теперь свети мне.

Он туго перетягивает запястье тряпкой, закручивает ее изо всех сил. Пальцы сейчас стали совсем лиловые, и рана вырисовывается с какой-то удивительной четкостью. Края рваные, и все-таки явно проступают следы зубов. Не лисьих, не барсучьих, это уж ясно!

Поплевав на пальцы, он хватает багровую головешку. Кончик ее как раз по размеру раны. Не торопясь, он осторожно прикладывает головешку к ране и снова дует на нее. Зловеще потрескивает живое мясо. Но Мушетта глядит не на головешку. На стену падает круг света и выхватывает из мрака лицо, с которого она не спускает глаз. Оно, это лицо, потеряло сейчас свое залихватское выражение, оно застывшее, как бы пытается воссоздать некое таинственное видение, но это не вызов

ему, а скорее желание собраться с мыслями. На какой-то миг шея, почти такая же длинная и гибкая, как у женщины, с таким же шелковистым отливом, вздувается, и на ней проступает толстая темная жила. Но пусть дрожат губы, с них не срывается ни стона. Бог ты мой! Уже давным-давно дочка бывшего контрабандиста живет как чужая среди обывателей постылого поселка, среди этих черных и мохнатых, как козлы, людей, до срока обложенных нездоровым жиром, отравленных чуть не до умопомрачения кофе, — тем самым кофе, который они сосут круглый год в вонючих кабачках, так что даже кожа у них делается кофейного цвета.

Презрение — чувство, почти ей неведомое, потому что по наивности она считает, что оно не про нее; думает она об этом так же редко и мало, как, скажем, о материальных благах жизни, — все это для богачей, для сильных мира сего. Как бы она удивилась, если бы кто-нибудь сказал ей, что она презирает Мадам, сама-то она думает, что только восстает против того порядка, воплощением коего является их наставница. «У вас испорченная натура!» кричит порой Мадам. Она и не спорит. Ничуть этого не стыдится, как не стыдится рваной своей одежонки, так как давно уже все ее

кокетство состоит в том, чтобы с дикарской бессознательностью пренебрегать высокомерными осуждениями подружек и насмешками мальчиков. Порой, когда мать воскресными утрами посылает ее в поселок купить про запас на целую неделю сала, она нарочно шлепает по грязным колеям и появляется на главной площади, когда народ расходится с мессы, замарашка замарашкой… И вот, вдруг…

Он в последний раз дует на головешку, потом бросает ее на пол. Их взгляды встречаются. Так ей хочется вложить в свой взгляд некое чувство, но она ощущает лишь его жар, совсем так, как жарко обжигает нёбо, когда хлебнешь молодого, еще не перебродившего вина. И этому жару она не умеет дать точного имени. Да и впрямь, что здесь общего с тем, что люди зовут любовью, с теми хорошо ей известными жестами? Она может только недрогнувшей рукой направлять луч фонарика на рану.

— Открой дверь, — командует он. — Пойду выброшу золу. Так или иначе, нас с тобой сегодня здесь не было, усекла? Никому не говори, даже отцу. Я впереди пойду. А ты за мной.

Слишком просторные башмаки из грубой кожи до крови натирают ноги, но ей важно только одно

— как бы не потерять из виду своего спутника. Впрочем, ночь уже не такая темная. Так как они все время сворачивают с дороги и идут для быстроты прямиком через заросли, Мушетта никак не может определить, где они находятся. А вскоре и не пытается определить. Поэтому она с изумлением видит, что они вышли на шоссе прямо к кабачку мосье Дюплуи. Ставни домика закрыты, в щели их не просачивается даже лучик света. Должно быть, действительно очень поздно.

Мосье Арсен входит во двор, стучит в низенькую дверку, и она бесшумно распахивается. Он с кем-то говорит, но так быстро, что слов не разобрать. Когда он снова подходит к ней, губы его морщит такая странная улыбка, что даже сердце сжимается.

— Слушай, что я тебе скажу, — начинает он, — этот тип вовсе не такой, как я считал, ну да черт с ним! И без него обойдемся. Хоть и выпил я здорово, но планчик один у меня есть. Пройдем-ка еще немного. Если ты уж очень замучилась, я тебя на закорках понесу.

Теперь он говорит с ней, как с равной. Ой, нет! Она ничуть не устала, ничуть не боится, если нужно, она всю ночь может идти, так что пусть он не беспокоится!.. Все эти фразы она произносит

про себя кротким нежным голоском! Но выдавить хоть слово не способна и только хмуро кивает.

Они останавливаются перед другой хижиной, ее Мушетта знает хорошо. Зовется она «Со свиданьицем». Дровосеки по весне складывают здесь свой инструмент. Сейчас там никого. Дверь подается при первом же ударе ногой.

— Вот удачно-то получилось, что я сюда позавчера заглянул, — говорит мосье Арсен. — И дрова есть сухие и свечка. Такой разведем огонь, что только держись! Хочу, чтобы к утру побольше золы накопилось, на полную тачку, тогда я скажу, что целый день, мол, здесь просидел, в тепле.

Они присаживаются по обе стороны очага, и Мушетта не спускает глаз со своих башмаков. Размышлять для нее дело совсем непривычное, и она даже не сознает, каких усилий ей это стоит. Если ей и случалось отлететь от самой себя на крыльях мечты, то уже давно забыты те тайные тропки, по которым возвращаешься обратно. Сейчас ей просто чудится, будто все пламя жизни, всей ее жизни, сосредоточено теперь в единой точке, что гнездится в груди, в самой наболевшей точке, и мало-помалу она приобретает твердость алмаза, неистребимый его блеск. Да, да, алмаза; алмаз — это такой волшебный камень, и Мадам

уверяет, что алмазы находят в черной сердцевине угольной глыбы, где они пролежали века и века. Она не смеет взглянуть на мосье Арсена. Но еще страшнее услышать его слова. Одно-единственное слово, произнесенное в этой тиши, и она, Мушетта, разобьется, словно стекло.

— Слушай, девочка, — вдруг начинает он, — много или мало я тут тебе наболтал, видно, надо уже все до конца выложить. Да, впрочем, завтра ты и десяти шагов от дома не отойдешь, как такого наслушаешься. Я-то людей знаю. Мухи вроде не обидят, а как завидят лужу крови, так непременно им нужно туда нос совать и язык распускать. Ну и черт с ними! Учти, не каждый день приходится доверяться девушке, особенно девушке твоих лет — вернее, просто девочке. Поэтому подыми голову и смотри мне в лицо, прямо в лицо, как мужчина мужчине.

Она мужественно пытается сделать так, как он ей велит. Но всякий раз, встретившись глазами с мосье Арсеном, она невольно отводит взгляд, скользнув по его лицу, он неудержимо клонится долу. Не может она с ним управиться: ну словно капля масла, сползающая вниз по клеенке. Только с огромным трудом удается ей зацепиться взглядом за вырез его рубахи, как раз в том месте,

где на смуглой коже, позолоченной огнем, чернеет родинка.

— Прямо беда, — говорит он, пожимая плечами. — Вот вы, женщины, даже самые молоденькие, и то не можете обойтись без кривляний. В конце концов делай как знаешь, хочешь — гляди на меня, хочешь — нет. Только зря ты воображаешь, будто я наобум действую. Пусть я здорово набрался, все равно голова у меня варит. Так вот, хочешь знать, почему я тебя уважаю? Уважаю с тех самых пор, как при мне твой папаша здорово тебе всыпал в тот вечер, когда была, ярмарка в Сен-Венане, помнишь? Он тебя по заду шомполом молотил, а ты ухитрилась обернуться и посмотреть ему в лицо так дерзко, что он тебе еще вдобавок пощечину залепил. А ты спокойненько уселась в уголок у окна, поправила юбчонку, и на глазах хоть бы слезинка, сухие глаза, как трут для огнива. Знаешь, как меня самого в детстве лупили, но ты, ты… ей-богу, меня даже стыд разобрал. А я-то тебя считал… считал…

Он долго ищет подходящего слова, но не находит. Лицо его внезапно становится словно каменное.

— По-моему, я человека убил, — произносит он. — Только теперь какой уж он человек, был

да сплыл!

Она не шелохнулась. Только прерывисто вздохнула раз, другой. Словно бы зевнула. Он решил, что она не расслышала.

— Стражника Матье, — утвердительным тоном произнесла она после долгого молчания.

— Точно. А почему ты сразу о нем подумала?

— Потому что видела его нынче утром, он мимо нашего дома проходил. Отец еще заметил, что он закинул за спину скатанный дождевик. «Видать, Матье всю ночь по лесу бродить будет, — сказал отец. — Надо бы Арсену в оба глядеть…»

— Неверно он сказал. Матье уже не первую неделю здесь рыщет. Но едва он где появится, так сразу все: «Ну, на этот раз Арсену каюк. Матье его прищучит». Так вот вам, не он меня, а я его прищучил.

Последние слова он произносит даже с каким-то сожалением. Признание, видимо, облегчило его душу, лицо утратило свою каменную непреклонность, а глаза устремлены куда-то вдаль, будто стараются вызвать в памяти полузабытую картину.

— Надо думать, что это из-за чертова циклона у меня нервы так разыгрались. Я циклон заранее чувствую. Первым делом воздух вязким становит-

ся, так и липнет к коже. А тяжелый какой! Я как раз откапывал капкан рядом с загоном Камиля, знаешь какой капкан отличный, с пружиной; я за него тридцать монет отвалил. При таком ливне ни за что нельзя поручиться. Могло вполне мой капкан к самому Сен-Ваасту унести, тем более я его цепью не закрепил. «Что ты здесь поделываешь, Арсен? — вот что он мне сказал. — Уж не хочешь ли за Селедочную лужу отправиться? Так и в колонию угодить недолго». А сказал он так потому, что я обернулся и сунул руку в карман брюк. Тут я карман взял и вывернул. А там только кисет да трубка. «Послушайте-ка, — это я ему говорю, — я же не дурак в конце концов. Если я вам зло причиню, то мне-то какая от этого польза будет! Если я вас укокошу, так это уж не Гвианой пахнет, а гильотиной. Раз вам эта игрушечка по вкусу, можете ее себе взять». Я уж давно заметил, что он все время на мой капкан косится. «Ладно», — отвечает он, так что и упрашивать его долго не пришлось. Я уже отошел от него, а он меня окликает. «Только не воображай, дружок Арсен, что ты такой малостью со мной рассчитаешься. Слишком давно ты нам спать мешаешь. Очень уж ты занесся, потому как работаешь на крупнейших воротил, разъевшихся

на браконьерстве, на этих ловкачей, на чистых гангстеров и из Арраса и из Булони. Но у них таких пройдох, как ты, навалом: один попался, на его место десяток найдется. Рано или поздно, все равно вляпаешься, если только не смоешься отсюда». — «На это не надейтесь, мосье Матье», — вот что я ему сказал.

Странный у него был какой-то вид. Тут только я смекнул, что он пьян, и он тоже пьян. Только потому я заметил, что щеки у него еще больше ввалились, а зрачки так и прыгают, и хотел бы он мне в лицо прямо посмотреть, да не может. Да что рассказывать — теперь он уже не прислужник ихний был, а просто человек, который погубить меня желает. С минуту мы так и простояли лицом к лицу и, поверь, даже ни разу не моргнули. В такие минуты я обычно-то предпочитаю уйти от греха подальше, а вот тут стоял, будто меня по ногам связали, — в ушах гудит, чувствую, как во мне злоба закипает.

Когда у меня вот так между лопатками зудеть начнет, сам знаю, что смываться пора, а не то сердце у меня разорвется, и свалюсь я без чувств. Заметь, со мной такое не раз бывало. Добрые люди зовут это черной болезнью, эпилепсией то есть. Короче, я уже шагов с десяток сделал и вдруг

остановился. А тот стоит, ржет. Ну тогда я двинулся на него. К счастью, опять дождь припустил, да еще какой! Ну чисто свинец с неба валится. А находились мы с ним в молодом лесу — трехлетнем, не больше, а все-таки какая-никакая защита, все лучше, чем на открытом месте. И холод нас до костей пробирает. И пошли мы с ним рядышком в рощицу, знаешь, сосновая, неподалеку от хижины Дюпоншеля. Может, мы от этой мокроты протрезвели? Да нет, не думаю. Такие парни, как мы, даже под мухой не переходим черту, чем пьянее, тем благоразумнее. Ну а уж как переступили эту черту, будь тогда что будет!

Только ни он, ни я не желали уступать друг другу. Видела, как собаки посреди шоссе грызутся? Пройдет грузовик, они в сторону отбегут, рядышком трусят, друг на друга косятся, отойдут подальше и снова сцепятся. Вот так и мы с ним. Но когда мы вышли на сухое место, под старые сосны, я снова подумал, что со мной будет, если я дурака сваляю. А тут еще ветер прорвался с моря, даже земля у нас под ногами затряслась… «Слушай, Арсен, — это он мне говорит, а сам скосоротился весь, — раз уж такой случай представился, оставь ты лучше Луизу в покое, послушай доброго совета. Терпеть не могу, когда

мне поперек дороги становятся, — это я про баб говорю». — «Странный вы все-таки стражник, да еще присягу приносили, — это я ему отвечаю. — Да разве же можно так дразнить человека, особенно когда еще слово, другое — и будет за что его на каторгу отправить».

Тут мы с ним покатились по земле, ну словно два дикаря. Я все норовил ему шею сдавить, да мешала его толстая вельветовая куртка. Как он цапнет меня зубами за руку — хрясь! Мертвой, что называется, хваткой! Уж я его колотил головой о землю, только земля чересчур размякла, да и он меня не выпускает. Мы во время драки и не заметили, что постепенно по откосу сползаем и рухнули прямо в ров, а там воды по пояс. Болваны болванами, понятно! Выбрались оттуда, как умели, я все свою флягу щупал, ведь в ней водка была, а пробка выскочила! Вот я и испугался, что вся моя коммерция к черту полетит. Лучше уж пусть у меня в нутре хранится, — вот что я подумал… Но ведь цельный литр, черт его побери! Да и до того малость принял! Сосал, сосал, да чуть не задохнулся. Глаза на лоб полезли, мне казалось, что не глаза у меня, а два стеклянных шарика.

А он смотрит на меня, вид у него странный какой-то, сам белый, как полотно, и зубами кля-

цает. Он еще больше, чем я, промок, я ведь на него упал. Я протянул ему флягу, и, представь, мы с ним вроде друзьями стали, на время, конечно. А циклон совсем разыгрался, даже под соснами, более или менее в затишке, и то приходилось держаться за руки, а то ветер с ног валил. Короче, раздавили мы с ним литр, сели рядышком на пень, а над головой вроде бы неплохой навесик из ветвей, да только с него вода капала, как из водосточной трубы. А мы и не замечали. От крика у нас глотки заболели, ведь ветер твои же слова тебе назад в глотку забивал, точно кулаком по морде жахал. Тут-то Матье…

Он вдруг замолчал, поднес к горлу руку и на секунду замер, на лице его застыло такое выражение, будто он ищет чего-то в памяти, тупо и безнадежно ищет. Наконец лицо его мало-помалу просветлело, хотя с него не сошел еще страх, о чем он сам, очевидно, и не подозревал. Потому что после молчания, которое показалось Мушетте бесконечно долгим, он вдруг спокойно заговорил с видом человека, преодолевшего мгновенную слабость памяти и примирившегося с тем, что может восстановить лишь половину забытых фактов.

— Со мной такое иногда бывает. (Судорож-

ным жестом он провел ладонями по лицу, будто отгоняя невидимую муху.) Доктор зовет это «провалами».

Он снова замолчал, пытаясь улыбнуться. В глазах появилось какое-то странное выражение. Мушетта заметила, что один его зрачок еле заметно закатился под верхнее веко.

— Что? Удивляешься? — сказал он. — Ничего не поделаешь! А может, это во мне все еще проклятая можжевеловая играет? Да не беспокойся ты! Вспомню рано или поздно. Заметь, что самое-то главное я не забыл, вот только подробностей никак не соберу. Или, вернее, все они вот тут, под рукой, да никак их не распутаешь! Знаешь, как нитки в клубке.

Присев на корточки, чуть разведя руки, уперев ладони в пол, вся перегнувшись вперед, Мушетта походила сейчас на кошечку, подстерегающую мышонка.

— Да и впрямь, что спрашивать с пьяного? Ходишь-ходишь, а в голове остается одна какая-нибудь картина или же две, зато четкие как фотография. Да что говорить, вот как сейчас тебя вижу, так вот вижу, что держу капкан за пружину, а пружина сантиметров шестнадцать будет, и хрясь! Два раза его по башке. А штучка, черт бы

ее побрал, около пяти килограммов весит! Он как грохнется лицом вниз и начал сучить ногами, сперва быстро, быстро, потом помедленнее, а под конец уж совсем шевелиться перестал, уткнулся носом в колею, а кругом все красное. А вот что до того произошло, не припомню. А после?.. Так вот, красавица, после, по-моему, я так и остался стоять, даже не посмел его перевернуть лицом вверх, и не скажу, чтоб я так уж собой гордился. Если даже ему череп не размозжило, он непременно в воде захлебнулся. Да что там говорить, не так уж трудно опознать парня, который кончился, уж ты мне поверь на слово. Ногами он брыкал здорово, я тебе уже докладывал, как кролик, если ему в голову пулей угодишь. Ну а…

Он снова провел ладонью по лбу.

— И все-таки сейчас, когда стреляли, я подумал: не помер он — это он напарника своего зовет. В такую погодищу кому же, к черту, приятно сидеть в засаде да дичь ждать? Ведь вся дичина сейчас куда посуше забилась. Да, впрочем, я узнал по звуку его ружьишко: английское, короткоствольное, порохом заряжается, а при сырой погоде этот порох затяжной выстрел дает…

Он мог теперь сколько угодно разыгрывать хладнокровие, Мушетта не поддавалась на обман.

Горящим взглядом она впивалась в это уже такое знакомое лицо, которое, чудилось ей, видела сейчас впервые. Или вернее, будто это было первое человеческое лицо, в которое она вглядывалась по-настоящему, с таким напряженным, с таким нежным вниманием, что собственная ее жизнь словно бы растворилась в нем без остатка. Вовсе она не считала его таким уж красивым. Просто оно было создано для нее, оно все целиком так удобно укладывалось в ее взгляд, совсем так же, как укладывается в ямку ладони рукоятка ее старого ножа — нож, единственную свою драгоценность в этом мире, она нашла как-то вечером на дороге и никому не показывала. Ей ужасно хотелось бы приложить руку к этому лицу, но с нее хватало радости смотреть на золотистую смуглую кожу, такую же теплую, как только что испеченный хлеб.

Конечно, не бог весть какое красивое лицо. Лица знаменитых киноактеров, иногда попадавшиеся ей на глаза в газетах, принадлежали людям совсем иной породы, чем она, таких она никогда и не увидит в жизни, и испытывала она к ним какое-то презрение пополам с завистью. А вот это лицо — лицо свое, родное, лицо сообщника. Словно в озарении молнии, оно вдруг стало для нее

таким же близким, как собственное. И счастье, какое она испытывала от созерцания этого лица, было заложено вовсе не в нем, а в ней самой, в глубинах ее существа, где притаилось это счастье, ожидая своего часа, как зерно, похороненное под снегом. И не от этого места, не от этого часа шла ее радость, и не было на свете такой силы, чтобы ослабить могущество и сладость самой его сути. Пропадет на мгновение, и вновь возродится само по себе, следуя естественному своему ритму, как, скажем, потребность во сне или в еде, что наступает через строго определенные промежутки.

Боже ты мой, ну конечно, бывало, и она тоже думала о любви, но для того, чтобы обуздать физическое отвращение, над которым сама была не властна и которого даже втайне стыдилась, надо было придумывать себе каких-то совсем иных людей, ничуть не похожих на тех, что ее окружали, но воображение быстро утомлялось непривычной работой. А сейчас это лицо, которое она участливо, с дикарской бережностью, все целиком вбирала взглядом, не тревожило ее, и смотреть на него было так же спокойно, как на свое собственное, когда оно, бывало, отражалось в единственном зеркале, имевшемся у них дома. Да, да именно так, — таинственное подобие соб-

ственного ее лица, только в тысячу раз дороже. Потому что в иные дни, когда, скажем, случайно брошенная насмешка Мадам вдруг касалась наболевшего места, тогда и без зеркала она знала, что щеки неудержимо заливает краска, что начинает дрожать подбородок, предвещая близкие рыдания, — как тогда ненавидела она свое лицо, как его презирала. А вот лицо мосье Арсена никогда в жизни не будет для нее ни смешным, ни отталкивающим.

Даже вот эта пьяная ухмылка, которую она так ненавидела на губах отца и которую, увы, обнаружила на губах нового своего друга, и та внушала ей лишь нежность и сочувствие, и еще неведомое ей доселе чувство — ибо мальчишки вызывали у нее отвращение — внушало смирение, смешанное с желанием защитить, укрыть, рождало неистощимое терпение, терпение, которое превыше любой брезгливости, — материнский инстинкт, только что распустившийся в груди, хрупкий, как майская роза.

— А вдруг стражник и вправду не умер, — начинает она, — зачем тогда, мосье Арсен, говорить, что я вас видела у кабачка? Лучше придумать что-нибудь другое.

Он стоит, прислонившись к стене, заложив

за спину руки, свесив голову, и смотрит на нее сверху вниз. Огромные капли пота проступают у корней волос и одна за другой медленно сползают на голую грудь.

— Ну и что? — вяло отзывается он. — Если он только сможет, то наверняка расскажет. Будет твердить «да», я буду твердить «нет», вот-то газетчики порадуются. Я ли, кто ли другой, а у нас тут полно парней, которым не терпится с ним свести счеты, а если тебя здорово трахнули по башке, вряд ли у тебя хватит времени оглянуться.

— Дело в том, мосье Арсен, если я могу оказать вам услугу, то, видите ли, надо попытаться все вспомнить…

— Вспомнить… вспомнить… Слишком ты многого хочешь, красотка. У меня и так в голове гудит, словно улей.

В серых глазах вспыхивают искорки гнева и тут же гаснут. Всего на миг, однако Мушетте чудится, будто она прочла в его глазах смутную мольбу, мучительный зов.

— Ну чего я тебе скажу? Он лежал, да, лежал, уткнувшись лицом в колею, и дождь молотил, вода так и журчала. И ногами дрыгал, это уж верно, это я сам видел.

Бледные щеки приобретают зловещий серый

оттенок, правый зрачок почти совсем скрылся под веком. Но больше всего пугается Мушетта при виде его рта, чуть покривившегося, с капелькой пены в углу губ, ставших такими же серыми, как щеки. Она с трудом подымается с земли, ее шатает. Мосье Арсен словно и не видит ее. Она кладет ладонь на его правую руку, судорожно прижатую к груди, как бы в защиту от таинственной опасности, но это простое движение требует от нее такого усилия, что она начинает дрожать всем телом, язык пересыхает, делается таким шершавым, что каждое слово дается с трудом:

— Я скажу… скажу, что… я спряталась в лесу… и что вас видела… видела, как стражник вас… Да послушайте же, мосье Арсен, слушайте, прошу вас! Сказать, что он был пьяный, или нет? Можете на меня положиться. Я их вот как ненавижу, ничего они от меня не добьются.

Он с трудом отрывает себя от стены, делает несколько неверных шагов на негнущихся ногах. Сейчас он похож на ребенка, который вскочил с постели, еще не доглядев снов, еще отяжелевший от дремоты.

— Слушай, малышка, — заикаясь, произносит он, — в глазах у меня темно, и затылок разламывает, сейчас наверняка припадок начнется. Ты

не особенно переживай. Следи только, чтобы я головой о стенку не трахнулся…

Он рухнул, как стоял, так падает подрубленное дерево, наводя на окружающих страх. Она услышала даже странный звон — это он ударился об пол подбородком. Как можно вот так вот рухнуть и остаться в живых? Потом, когда он перевернулся лицом вверх, она увидела, как втянулся его живот, глаза закатились, нос заострился и стал еще белее, чем все лицо. И потом он снова одеревенел и со странным вздохом, будто кузнечные мехи проткнули, выгнулся дугой, упершись в землю затылком и пятками. Широкая грудная клетка, застывшая в судорожном вздохе, вдруг заходила медленно-медленно, но с такой силой, что казалось, ребра вот-вот прорвут кожу. Так прошло с минуту, потом из перекошенного рта струей хлынула водка вперемежку с пеной. И сразу же черты разгладились, стало спокойным искаженное лицо, но на нем застыло выражение такой муки, такого изумления, что он был похож теперь на мертвого ребенка.

Мушетта присела на корточки рядом, почти касаясь его плеч. Что делать? Никогда еще она не видела, чтобы мертвец лежал вот так прямо на голой земле, а не на смертном ложе, рядом

с которым стоит в фаянсовой миске веточка освященного самшита и заунывно бормочут зловещие старухи, бдящие над покойником, хлопочущие вокруг усопшего, как хлопочут они вкруг роженицы. Впрочем, и предпринять ничего она не в силах, роковое сцепление всех этих непонятных событий совсем добило ее. Тщетно пытается она собрать их воедино, они безнадежно путаются в ее мозгу, и не будь то чувство, что удерживает ее здесь, сильнее страха, она бы содрогнулась от ужаса. На единственный жест она все-таки решилась — просунула ладонь между затылком мертвеца и глиняным полом.

До чего же легкая у него голова! Стоит только чуть-чуть нажать кончиком пальца, и она уже поддается, клонится вправо или влево. Со всей отпущенной ей природой нежностью Мушетта сжимает эту голову руками, тихонько приподымает ее. Теперь веки у него закрыты, и губы морщит слабая улыбка. Кончиком передника она вытирает пену, проступившую в углах рта. И ей чудится, будто сама ее жизнь тоже улыбается совсем такой же улыбкой. Ничего ей больше не нужно. Приди сейчас ей в голову мысль коснуться губами этого лба, по которому скользят ее растрепавшиеся пряди волос, она бы и коснулась. Но она

об этом даже не думает. Желание ее подобно той теплоте, что греет живую плоть, оно разливается по всем жилкам, не вызывая никаких определенных образов. Она держит в ладонях эту любимую голову совсем так, как держала бы какой-нибудь бесценный предмет, и мучил бы ее тот же страх — лишь бы не разбить, не потерять. Она не смеет даже положить ее себе на колени.

И вдруг она запела.

Произошло это так естественно, что она сначала даже не заметила. Ей казалось, что она мурлычет, не разжимая губ, сотни раз слышанную-переслышанную песенку, потому что огромный граммофон с нелепой ярко-красной трубой, выставленный в окне кабачка, каждое воскресенье повторяет ее без конца. Это какой-то танец, люди говорят — негритянский танец. Слов не разобрать. Обычно-то она слушает его с отвращением, но мотив привязался, вытесняя из памяти любимые мелодии Мадам. Иной раз глубокой ночью, когда пьяный отец, возвратившись домой, с грохотом швырнет дверь об стену, Мушетта разом вынырнет из черной бездны сна, куда, с тех пор как она стала девушкой, проваливается с головой — так вот, прежде чем снова заснуть, она начинает потихоньку напевать эту

песенку про себя, натянув на голову одеяло.

Уже давно, еще тогда, когда Мушетта мысленно шла за ритмом и всплесками причудливой мелодии, она изумлялась, что у нее так хорошо получается, и к изумлению этому примешивался смутный страх. Ей чудилось, будто она ступила на покрытый снегом склон, совсем забыв, что после первых же шагов начинается головокружительный спуск. Когда, осмелев, она начинала мурлыкать, не разжимая губ, эту мелодию, ее, трепещущую, ошеломленную, в мгновение ока покидал овладевший ею демон пения, и на нее накатывало непонятное смятение, руки холодели, становились влажными от пота, кровь волнами приливала к вискам, как если бы она вдруг очутилась совсем голая перед гогочущей толпой.

И здесь, в этом тихом убежище, равнодушно внимающем всхрапам пьяницы, она вслушивается, как медленно, шаг за шагом, угасает выдуманная песенка, как бешено бьется о ребра ее испуганное сердце.

Как же сама она дивилась, что на этот раз превозмогла свой страх, который поначалу возобладал было над всеми прочими чувствами. Она вслушивалась в этот чистый, рвущийся из гру-

ди, еще чуть дрожащий голосок, голосок почти неестественной хрупкости. Нет и не было у нее такого опыта, что помог бы понять, что этот таинственный голос — голос самой ее жалкой юности, вдруг расцветшей всеми красками, своего рода возмещение за все давнишние унижения, что она принимала их душой как должное, а временами даже находила в них отдохновение, постыдную сладость.

Этот голос — ее тайна. Единственная, которой она может поделиться с посланным ей нынче диковинным другом, распростертым у ее ног, живым или мертвым, наверняка мертвым. Она отдавала ему свою тайну, как отдала бы себя самое, если бы ребенок в ней все еще не оттеснял женщину. И теперь, когда она доверила другому свое сокровище, она сама уже не узнавала его. Слушала свое пение со смиренным жаром, оно освежало душу и тело, ей самой хотелось омочить в этих звуках ладони.

Длится это долго — по крайней мере ей так кажется. Возможно, минуту, длиной в целый день. Внезапно колдовской голосок смолкает. И, опустив глаза, Мушетта видит, что руки ее пусты.

Мосье Арсен стоит перед ней, лицо его все еще в грязи. Из верхней губы, разбитой при падении,

сочится кровь.

— Ну и ну! — говорит он. — Нашла тоже время петь!

Он пытается рассмеяться, но во взгляде его, странно бегающем, как у затравленного зверя, вспыхивает подозрительный огонек. Он проводит рукой по лбу, смотрит на свою перепачканную грязью и кровью ладонь.

— Должно быть, у меня припадок был… Для нервов это, конечно, не слишком-то хорошо, но для здоровья не опасно. У моего папаши тоже была эпилепсия. Так по крайней мере мне говорили, потому что я-то своего папаши не знал.

Сквозь приспущенные веки он следит за каждым движением Мушетты. По всему видно, что он старается собрать обрывки беспорядочных воспоминаний. Но остерегается спрашивать прямо, боясь себя выдать; однако вопрос сам, помимо воли, срывается с его губ, правда, вопрос осторожный.

— Слушай, красотка, — говорит он, — а не пора ли нам с тобой отсюда смываться? Уже ночь на дворе.

С этими словами он берет мокрую кожанку, снимает со стены ружье, вскидывает за спину мешок, делает шаг к двери, по-прежнему искоса

поглядывая на свою спутницу.

— А ну идем! По дороге доставлю тебя родителям У отца небось припрятана за поленницей бутылочка можжевеловой, поднесет нам с тобой.

А ей неприятно, что он уже встал. От усталости, холода, от водки, которая еще до сих пор жжет пустой желудок, ее разморило. Но она послушно берет за руку своего странного друга. Сколько же лет никому не протягивала она своей ручонки? В этот жест она простодушно вкладывает весь переполняющий ее сердце пыл.

— А куда мы сейчас пойдем, мосье Арсен?

— Куда же нам с тобой идти, малышка? Ясно, к вам, черт побери!

— А ваш… а стражник?.. А полиция, мосье Арсен?

Последнее слово она почти выкрикивает, потому что он смотрит на нее как-то странно, не по-обычному. Господи! Вся кровь ударяет в грудь, душит.

— Какая полиция?

Понурив голову, он медленно отступает в глубь хижины.

— Подожди, подожди-ка, — говорит он. — Чуточку терпения. После этих сволочных припадков у меня все в голове путается. Стой, не шевелись,

девчушка. Через минуту я все вспомню.

Он бросает последнюю охапку хвороста на остывающую золу. Хворост такой сухой, что загорается от первой же искры огнива. Присев на корточки перед очагом, он тянет к огню руки. Она опускается рядом с ним на колени…

— Видите ли, мосье Арсен, стражник, которого вы…

— Молчи, тебе говорят! — сердится он. — Заткнись! Мы с ним поругались, он меня обложил, да и я его, что верно, то верно. А потом… А потом… Ага, мы с ним вместе выпили.

Мушетта приподымается с колен, приближает к нему свое лицо.

Она уже отбросила теперь всякую осторожность.

— Мосье Арсен, да вспомните же, — умоляет она. — Он упал. Помните, да? Лицом в колею, и кругом все стало красным… Вы его убили! — кричит она, вся содрогаясь от неудержимых рыданий.

— Возможно! А чем же я его убил? Из ружья?

— Капканом, мосье Арсен, схватили капкан за пружину…

Обхватив голову руками, он погружается в раздумье.

— Капканом… А ведь верно, я ходил, чтобы капкан откопать, умница моя… Тут ты говоришь правду, девочка. Но вот насчет Матье… Помню, мы с ним выпили вместе, это уж точно. А потом… Потом… Кто знает, что потом было? Мы, красотка, оба сильно набрались.

Вдруг он осекся, как бы пораженный внезапно налетевшей мыслью, которую он еще не способен выразить словами, и мысль эта так и замерла где-то внутри, даже не отразившись во взгляде. Он стоит, прислонясь к притолоке, и кажется, будто он перегораживает дверь широко раскинутыми руками. По крайней мере Мушетта уверена, что он преградил ей путь. Страх уже зреет где-то в душе. Одного этого жеста оказалось достаточно, чтобы страх вдруг овладел всем ее жалким, тощим тельцем.

— Пропустите меня, мосье Арсен! — кричит она и в голосе ее звучит мольба.

— Пропустить? А куда ты ночью пойдешь?

— Домой, мосье Арсен, клянусь, прямо домой!

Он смотрит на нее без гнева, но с каким-то особым спокойным вниманием, с тем непогрешимо уверенным вниманием, с каким выслеживает на опушке леса среди палой листвы след, ведомый лишь ему одному… «Чую дичь», — обычно гово-

рит он в таких случаях. В его задумчивом взгляде ни гнева, ни жалости.

— Не бойтесь, я все-все вспомню, мосье Арсен. А завтра вы тоже все вспомните, сейчас вам хмель мешает, надо бы вам выспаться. Если они начнут меня спрашивать раньше, чем я вас увижу, я скажу, что…

— Минуточку! — кричит он. — Чего ради ты-то в эту историю впутываешься? Если ты кому-нибудь хоть слово скажешь, я тебе шею сверну, ей-богу, сверну!

Теперь его голос наводит на Мушетту ужас, такой он хриплый и низкий. Но ни за какие блага мира она не уйдет отсюда. Бежать уже поздно; она и побоев меньше боится.

— Мосье Арсен, — прерывает она молчание, — лучше я себя убью, чем скажу что-нибудь вам во вред.

Ей ни к чему продолжать. Тоненькое ее личико выражает такую чудесную решимость, что пьяница глядит на нее с изумлением. Наступает молчание, и ей кажется, будто в тишине она различает удары собственного сердца, готового выскочить из груди.

— Послушай-ка, — наконец произносит он с многозначительностью пьяного, и голос его ста-

новится еще ниже, — почему это ты так боишься мне повредить, девочка?

Она и рада бы ответить, но все, на что она способна, — это судорожно проглотить слюну.

— Для девочки твоих лет ты, оказывается, умница. Любой старухе сто очков вперед дашь.

Головешки в очаге одна за другой покрываются черным налетом. Только какой-то удивительно нежный свет идет отовсюду разом. На стене еле вырисовывается огромная тень мосье Арсена. Да и сам он теперь вроде тени, но можно еще различить его сверкающую улыбку, его белозубую улыбку.

— Я всегда тебя уважал… — начинает он, прищелкивая языком.

На сей раз Мушетта уже не обманывается. Ей знаком этот тон, каждое слово, срывающееся с невидимых в темноте губ, этот голос, словно взвешенный во мраке и до ужаса близкий. Совсем особенный голос! В нем слышится дрожь, не простая, а какая-то бархатистая, и чувствуется в нем что-то фальшивое, надтреснутое, вымученное. Самые вроде бы простые, самые обычные слова кажутся незнакомыми, наподобие тех картонных масок, которые она видела на ярмарке.

Точно так же говорят парни, среди клубов дыма

и винных испарений, когда мадам Офрэ нанимает ее в ярмарочный день мыть посуду. Многие девочки, еще не вступившие в возраст любви, не обращают на это внимания, слушают такие речи без страха и отвращения. Придет время, и они будут глушить страх и отвращение под громкими взрывами неестественного гнусавого смеха, от которого на щеках вспыхивает румянец. Есть в таком голосе как бы запах нищеты. В редкие минуты он может унизить, обеспокоить. Но если принимаешь его без возмущения, он становится неотъемлемой, привычной частью повседневного быта, уже неотличимым от теплого, надежного и бедного твоего гнезда.

Между ними залегло молчание, столь же неверное, как отсветы очага. Какая сила приковывает Мушетту к месту? Она и не думает бежать, хотя вся она боязливое ожидание, сплошной ужас. Плотское, чисто физическое ожидание, плотский ужас, ибо в эту роковую минуту, когда должна решиться ее судьба и уже накинута на эту гордую головку погребальная вуаль, Мушетта окончательно лишается способности рассуждать и предвидеть. Но от этого человека, чье дыхание она уже чувствует на своей шее, от него единственного на свете, она не убежала бы, если бы

дело шло даже о спасении жизни.

Однако она ловко отскакивает в сторону, так неожиданно отскакивает, что он еле удерживается на ногах, неуклюже хватается за стенку. Кто знает, может быть, одно-единственное слово могло бы в эту минуту еще образумить пьяного, но ни единому звуку не прорваться сквозь судорожно сжавшуюся гортань. Зубы Мушетты стиснуты с такой силой, что она сама слышит, как они скрипят. Он бросается вперед наудачу, как бешеный, тянет к ней руки, и сейчас, во внезапном приливе желания, они приобретают страшную силу, дьявольскую ловкость. Однако даже им не совладать с прогнувшейся дугой поясницей, скорее уж они сломают ее. Он грубо толкает девочку к стене. От удара она сгибается вдвое, и с губ ее слетает короткий стон. Впрочем, единственный, слетевший с ее губ. Обгоревшие головешки рушатся в золу. И в сгустившемся мраке нет уже ничего живого, кроме прерывистого дыхания красавца Арсена.

Сжавшись в комочек, она скатывается под заросли дрока и лежит там, даже кролик занял бы не больше места. Изрытый дождем песок подается под тяжестью ее тела, так что она почти целиком укрыта в своей норке. Идущая от земли сырость кажется ей сладостной. С каким-то стран-

ным самообладанием она, удерживая дыхание, зорко вглядывается в темноту.

Хижина недалеко, и временами ей чудится, будто по ту сторону рва, до краев заполненного дождевой водой, среди расступающихся здесь деревьев, она различает ее темные очертания. Там ли еще мосье Арсен? Ничто, буквально ничто не выдает теперь его присутствия. Он погнался было за ней, но, пробежав всего несколько шагов, очевидно, зацепился за выкорчеванный пень, потому что она услышала, как он грубо выругался. А потом еще долго были слышны его быстрые шаги. Он, должно быть, прошел совсем рядом, позади ее норки. Но она даже головы не повернула и сердце ее не забилось сильнее.

Наконец долгую тишину прервал его голос — он окликнул ее сначала робко, почти сконфуженно, а потом вдруг со злостью. Но хуже всего то, что она не знает, там он сейчас или нет, — на том самом месте, где, как ей кажется, должны расходиться две тропки. На счастье, ночь выдалась темная, да и к тому же она будет ждать, сколько потребуется, некуда ей торопиться…

Ее беспокоит боль, боль, отдающая в каждой косточке, добравшаяся даже до самых истоков ее жизни. Ей нравится, что в поселке ее счита-

ют «железной девкой». Но теперешние муки не идут ни в какое сравнение со всеми прежними. Мушетта не привыкла вслушиваться в себя, да и времени просто никогда не хватало задуматься над той еле уловимой разницей, что существует между духом и телом, над тайной их связью. Она терпеливо переносит эту боль, не отдавая себе отчета, откуда она, эту столь гармонично, столь равномерно разлитую по всем жилкам боль, которая, дойдя до высшего своего предела, вроде бы распыляется, тает в тошнотворном омерзении.

Она встает на колени, удерживая рыдания, страшные рыдания без слез. Она все еще вслушивается. Тишина — только круговая капель с мокрых веток. И все-таки сначала она не решается повернуться спиной к невидимой отсюда хижине, она идет пятясь, останавливается в последний раз. Теперь она уже добралась до тропки, она здесь, под ногами, правда, ее не различишь в темноте, но Мушетта угадывает все ее повороты, — вдоль колеи журчит вода, то громче журчит, то тише. Наконец она начинает скользить вниз.

Но, как только она чувствует под ногой твердую землю, ее подхватывает неодолимая сила, влечет вперед, прямо через чащобу. Сначала она

пытается еще отводить ветки, а они, намокшие, хлещут по лицу с удвоенной силой, но потом уже не обращает на них внимания. Она бежит, нагнув голову, и только изредка с губ срывается слабый стон, так стонет загнанный зверь, мчась из последних своих сил, которому на миг удается ослабить мышцы, напряженные до предела ужасом перед близкой гибелью от собачьих клыков.

Она переводит дух только на опушке, на обочине гудронированного шоссе, где все выбоины, наполненные водой, уходя к горизонту, поблескивают во мраке.

Часть вторая

Хотя она и попыталась бесшумно поднять деревянную щеколду, единственный и к тому же ржавый гвоздь заскрипел, как обычно, да еще на свою беду, она зацепила ведро, где заваривали отруби для птицы. Мать спит чутко. Как только Мушетта толкает дверь, она тут же ее окликает:

— Это ты? Откуда идешь?

В таком знакомом голосе звучит сейчас что-то незнакомое, тотчас же поразившее слух девочки.

— Поздно домой являешься, — продолжает в темноте голос. — Правда, не знаю я, который час, так намучилась, что сразу после ужина легла. Отца и братьев еще нету. Постарайся развести огонь и согрей малышу молока. Я его напоить не успела, слишком нынче устала.

Давно остыла зола в очаге, и нет в доме спичек, отец, прежде чем отправиться на ночное бдение в кабачок, прихватил последнюю коробку. Ничего не поделаешь! Придется младшенькому обойтись холодным молоком, и Мушетта, как всегда, сует бутылочку за пазуху, чтобы хоть немного ее согреть.

Сколько раз она так делала. Но теперь от при-

вычного прикосновения бутылки — на слишком толстое горлышко четвертинки с трудом налезает резиновая соска, — она вздрогнула всем телом, ее забила неуемная дрожь. У нее вдруг не хватило силы ждать, пока молоко согреется, и, низко нагнувшись над тюфяком, она нашарила в темноте крупного младенца с болезненно рыхлым, синеватым тельцем.

До сих пор она питала к своему младшему братишке лишь скрытое злобное отвращение, потому что этот последний отпрыск рода потомственных алкоголиков имел обыкновение кричать все ночи напролет и засыпал только на заре, словно сраженный солнечным светом, от первых лучей которого он боязливо отводил в сторону свои выпученные глазенки, полуприкрытые ленивыми веками с редкими рыжими ресницами. Отвращение, которое она остерегается выказать слишком явно, страшась побоев, а также еще и потому, что является прямой наследницей клана смиренных матерей, равно покорных и младенцу и мужу. Ей и в голову не приходит усомниться в праве крикуна на близких, хотя бы потому, что иначе он свою власть проявить еще бессилен.

Но нынче непроизвольным движением утопающего, который идет ко дну, она схватила на

руки тряпичный сверток, разивший мочой и прокисшим молоком, но, стоило ей почувствовать, как он потихоньку шевельнулся у ее юной груди, она бросилась в дальний конец комнаты и присела с ним на табуретку за дверью, открытой в дровяной сарай.

Удивленный непривычно крепким объятием, ребенок медленно повернул к ней свое дряблое личико, искаженное гримаской смутного страха и тоскливого ожидания. А потом уткнулся лицом ей в грудь, и из вечно липких его губ потекла струйка слюны, никогда не иссякавшей слюны. Ручонками он теребил жалкий корсажик Мушетты, а она не спускала глаз с этих ручонок. При слабом свете ночника, стоявшего в стенной нише, она видела собственную свою худенькую грудь, грудь уже женскую. Вон там под левой грудью, что это тень? Пять нерешительных детских пальчиков коснулись ее груди, и тогда она, уже не сдерживаясь, тихонько зарыдала, судорожно всхлипывая. Слезы текли на бутылочку, на щеки братишки, и он недовольно морщил лицо под этой теплой капелью.

Очевидно, мать ничего не слышала, ничего не заметила, потому что через минуту с постели снова раздался ее голос:

— Вчера вечером я пеленки с мылом простирнула, сними-ка их с веревки. Нельзя же его на ночь в мокром оставлять, все время будет вопить, а у меня, поверишь ли, голова совсем раскалывается, встать и то не могу. Слышишь, дочка?

Мушетта снова вслушивается, пытается понять… Нет, она не ошиблась, голос у матери не такой, как обычно, не покорно усталый, не тот крикливый, каким она с раздражением обращается к людям ли, к скотине, к коту-ворюге, к выпавшей из рук миске, к провонявшему салу. Сейчас Мушетта слышит его кротким, чуть ли не ласковым. Он никак не сочетается с произносимыми словами, как будто если и приходят в голову матери иные слова, она не осмеливается их произносить вслух и скажет их только тогда, когда придет ее час.

Прежде чем перепеленать маленького, Мушетта вытирает себе щеки грубой тряпкой, ее хоть и простирнули с мылом, но до сих пор от нее разит спиртным. Потом оттаскивает свой тюфячок подальше, ложится не раздеваясь, только скидывает тяжелые от лесной грязи башмаки — от них идет запах гниющих листьев и сосновых иголок.

Обычно-то она спит, свернувшись калачиком, хотя Мадам с высот гигиенических навыков

клеймит эту пагубную привычку — недаром в книге предметного обучения имеется целая глава, посвященная сну, и там рекомендуется спать только на спине, головой к северу, ногами к югу, по ходу магнитной стрелки. Но сегодня, едва она прижимает к груди руки, как тут же отдергивает их и раскидывает в разные стороны.

Раскидывает свирепо-бессознательным движением. Ее тоненькое, худенькое личико с опущенными веками, уже тронутое дремотой, искажается гримасой отвращения. И даже потом, когда она разом погружается в глубины забытья, когда дышит, как и каждую ночь, глубоко и спокойно, руки ее ничего не простили, они отказываются касаться ненавистного тела и так до самого пробуждения судорожно сжимают края тюфячка.

Проснулась она вся в слезах, или, вернее, ее разбудили эти слезы. Они текут по подбородку прямо на шею, даже ворот рубашки слегка увлажнен. Первое ее чувство даже не удивление, а испуг — не плакала она уже давным-давно, да и то когда скупые слезинки гнева жгли ей глаза, они тут же сохли на щеках. А главное, никогда еще она не плакала во сне. Плакать во сне! Откуда взялись эти противные слезы?

Тонкое одеяло сползло на пол, и снова ее до костей пробирает холод, и от этого холода слабеет воля, стирается даже память о вчерашней беде. Она приподымается на тюфячке и гневно вскрикивает от боли. Хорошо хоть иссякает источник слез, когда она наконец усаживается в привычной своей позе, той, в которой пытается зубрить уроки — коленки подтянуты к животу, а руки охватывают коленки. Еще минуту она борется со сном и внезапно…

Счастливы те девушки, которым первое объятие дарит раскаяние или вообще какое-то смутное, но достаточно сильное чувство, способное заглушить эту безобразную тоску, это тошнотворное отчаяние! Мушетте приходится делать над собой нелепые усилия, чтобы обдумать нелепое свое приключение. Но удается только ускорить бег разодранных картин, сливающихся в один сплошной бесконечный кошмар, в пугающую монотонность ужаса, который порой мучит всю ночь ее, истую дщерь алкоголиков, и который она никак не может стряхнуть с себя, разве что много позже, к ужину, проносив с собой целый день, как вгрызшегося в бок невидимого зверя.

Бегство с уроков, ожидание на обочине дороги, бешеная скачка через чащобу под гневные по-

рывы ветра и секущий ливень, встреча с мосье Арсеном, из этих обрывков никак не удается слепить связную историю, тут нет ни начала, ни конца, скорее уж это похоже на неясный гул, которым полна сейчас ее бедная головенка, гул, складывающийся в погребальное пение. И когда утихает этот гул, внезапно наступает тишина, подобная беспросветной ночи, тишина, придавившая все чувства; и вот тогда тот голос становится почти неразличимым, голос, произнесший ее имя, имя Мушетты, голос такой тихий, что его с трудом можно расслышать, такой родной, такой единственный, что, даже прежде чем его уловил слух, эти три слога отдались в груди. Ибо мосье Арсен произнес ее имя один только раз, когда…

Да и произнес ли он ее имя? А не было ли это просто коротким мужским всхлипом, всхрапом боязни, смешанной с яростью, — так рычит зверь, поднятый охотником с лежки. Господи! Ведь правда же, правда, что она мужественно переносит любые невзгоды, но, видно, пришел час «расплачиваться», как любит говорить отец. Вот так она без стыда ложилась под розги, желая одного умереть, не в силах даже затаить зло против своего палача, связанная с ним неким

необъяснимым чувством, причастная чем-то к его жестокости, как будто и ей передалась его ненависть. Но так уж повелось, и она не может думать об этом без горечи. Но когда лишь только стихало чувство унижения, она начинала мечтать о будущем отмщении, она чувствовала, как вновь рождалась в ней та самая гордыня, которую, казалось бы, нельзя убить, не убив ее самое. А вот теперь гордыня ее умирает. Умерла. Почему же, почему?

До рассвета еще далеко, и, однако, уже слышна в том конце поселка утренняя перекличка петухов. Сейчас надо будет вставать, держаться. Даже мысль о том, что она владеет тайной, не своей, чужой, ужасной тайной, что придется вскоре предстать перед полицией и речь пойдет о свободе, а может быть, и жизни человека, — даже эта мысль не способна отвратить от нее наваждение. Мстить она не желает, совсем не желает.

Мрачность, обидчивость, — предмет вечных нападок Мадам, — отдаляющие ее от подружек, замыкающие в кольце молчания, могли бы открыть более проницательному взгляду, что уже давно она с горестью ощущает свою бедность, ту бедность, которая покрепче тюремных стен. Еще вчера она охотно бы признала, что такая

девочка, как она, должна рано или поздно примириться с неизбежным, снести от мужчины любое оскорбление.

Школьные подружки не прощают ей злобного равнодушия к мальчишкам, обвиняют в том, что она, мол, шпионит за ними, а сама делает вид, что ее не интересуют их интрижки. Они любят дразнить ее «скрытницей». Что правда, то правда, ничто не ускользает от ее взгляда, она действительно выслеживает девочек с каким-то болезненным любопытством, в котором порой находит даже удовольствие. То, что тогда пробуждается в душе, словно бы отторгается от нее: со сжавшимся сердцем она всматривается, как перед ней разворачивается однообразный свиток все одних и тех же картин — всегда одних и тех же, данных преждевременным и наивным опытом порока, потом все поглощается мраком, и остается лишь смутная, не поддающаяся определению неловкость, так вот бывает, когда память не удержит сна, хотя целый день носишь в душе его отпечаток.

Как-то, уже на самом исходе осени, кузнец Пуржа, который подторговывает также и шкурками и которому отец сбывает свою добычу — хорьков и куниц, вдруг грубо втолкнул ее в вонючий

темный сарай, где он держит свой товар. Она вырвалась, оставив в его ручищах клок своей юбчонки. Хотя сама она, понятно, поостереглась рассказывать об этом происшествии, рассказал подручный кузнеца. Дошло до того, что сам мосье Пуржа приходил к ним умилостивить отца, потому что тот, распаленный алкоголем и родительскими чувствами, грозил принести жалобу жандарму. Из этого памятного события она уразумела, что закон защищает девочек ее возраста, что еще некоторое время она может пользоваться известными преимуществами, с которыми приходится считаться даже такому человеку, как мосье Пуржа, а ведь он бывший помощник мэра и запросто пьет с депутатом.

И быть может, так вот и проснулся в ней не торопясь спавший доселе инстинкт и так же не торопясь созрела в ее упрямой головенке единственная гордость, которая была отпущена ей судьбой и ради которой она, несомненно, появилась на свет божий. Кто произнес бы при ней слово «девственность», тому она простодушно фыркнула бы в лицо. Слово «чистота» вызывает в ней лишь физический образ прозрачной воды или — что еще наивнее — образ прекрасных девушек, которых каждое лето привозят в

окрестные замки, и одеты они в свежие платья, и длинные их пальцы с минуту медлят на дверце машины, и голоса у них нежные, смеющиеся. Но, несомненно, та великая гордость, которой ни одно живое существо не бросило милостыни подлинного счастья, та изголодавшаяся гордость, которую приходилось вскармливать втайне, за свой собственный счет, собственной своей плотью, не нашла ли эта гордость в минуту ребяческого внезапного осознания своей физической нетронутости то, что необходимо ей для полного расцвета?

Ей нечего кичиться своим тщедушным телом, зачастую в синяках от побоев, в царапинах от колючих веток кустарника, продубленным злыми зимними ветрами да еще облаченным в нелепые платьишки, которые выкраивает мать из своих ношеных-переношеных кофт. Ее неукротимая чистота не имеет ничего общего с тем другим чувством, которым на протяжении веков девушки, безусловно, куда больше обязаны поэтам и художникам, нежели сокровенному инстинкту защиты, считающемуся врожденным. Кто из хорошеньких, поглощенных собой девушек, еще до того, как пробудятся их чувства, их самообожание, кто из них не назовет чистоту

бунтом стыдливости против постыдных унижений, которым подвержен этот их идол, вопреки совместным усилиям парфюмеров и портных?

Никогда Мушетте не было ведомо это отвращение. Она только восхищалась тем, что девушка может отказаться от всех благ молодости, которая дается нам лишь один раз. Ценность этого дара не слишком ее интересовала. Она готова была примириться с тем, что дар этот сродни ее бедности, такой же нищенский дар, как она сама. Если у нее его выманят, это и будет ее тайным мщением. Но еще вчера некий тайный голос в глубине души твердил ей, что она сама в один прекрасный день предложит его.

Конечно, все эти мысли выстроить в один логический ряд она неспособна. Неясный образ мосье Арсена, подобно обломку кораблекрушения, скользит по течению ее мечты. Ей начинало казаться, будто браконьер смотрит ей прямо в глаза с выражением высокомерного равнодушия, презрения, и тогда вся кровь бросалась ей в лицо и затем горячим потоком заливала заледеневшую грудь. Ее осквернили как бы врасплох, в восторженную минуту смиренного благоговения, и не может она почувствовать к тому, кто похитил ее чистоту, настоящей ненависти, женской нена-

вести. Память о грубом насилии сливается в ее ребяческом представлении с множеством других обид. Разум ее не слишком-то четко отделяет это насилие от варварских расправ пьяницы-отца. Но в оставшемся после этой ночи чувстве стыда таится нечто незнакомое, ведь до сих пор она боялась и презирала своих мучителей. А мосье Арсен как был, так и остался на том пьедестале, куда вознесло его ребяческое обожание, остался навсегда, навсегда остался! О, проклятое детство, не желающее умирать!

Она долго борется со своей болью. Ловит на грязных половицах первые отблески зари. Ей не терпится посмотреть на себя, на свое лицо, на свои глаза. Ей кажется, будто если осколок зеркала, единственного зеркала на весь дом, подтвердит, что на этом упрямом лбу, как и всегда, ничего нельзя прочесть, тогда к ней вернется мужество. Разве сама не видела она сотни раз, с удивлением, почти с ужасом, как лгут другие лица, еще хранящие жар последних поцелуев, не замечала этих наглых взглядов? Сколько раз, когда посылали ее в погреб кабачка нацедить сидра, она видела такие лица, вдруг возникающие из темноты, где-нибудь в уголке пустой комнаты, так как смышленая хозяйка в ярмарочные дни

нарочно забывала запереть свое заведение на ключ!

Но увы! Нет ни малейшего сходства между теми лицами и ее, те лица уже не детские. «Такое маленькое личико, — говорит Мадам, — может уместиться у меня в горсти!» Не могут же всерьез относиться к такой внешности ни мосье Арсен, и никто другой. Жила в ней великая надежда, до того великая, что ее не вмещало даже сердце, надежда, не даривша я ни капли подлинного счастья, та, что запечатлелась в памяти лишь как чудесное, граничащее с боязнью ожидание, так вот эта великая надежда оказалась всего-навсего предчувствием унижения, еще более горшего, чем все прочие, хотя и сродни им. Только на этот раз оно задело ее глубоко, так глубоко, что вся ее плоть отвечает на него неведомым еще страданием, расходящимся из самой сердцевины жизни по всему ее намученному телу. Пусть эти страдания рано или поздно пройдут, след от них никогда не изгладится. Вот она, тайна Мушетты. Кому бы в будущем ей ни предстояло открыть свое сердце, все равно ей не избыть этой тайны, ибо в распоряжении несчастной девочки всегда только несколько самых простеньких мыслей, да и тех не выразить словами, так как еще слишком беден

ее словарь. Тайна эта так и останется тайной ее плоти… Ах, если бы только знать наверняка, что мосье Арсен ее ненавидит! Но он не ненавидит ее. Стоит ей закрыть глаза, и она слышит: «Я всегда к тебе по-дружески относился…»

Слова эти, как бы произнесенные чьими-то невидимыми устами, буквально срывают ее с постели. С минуту она стоит неподвижно, согнувшись чуть ли не вдвое, опершись одной рукой о стену, другую прижав к животу. Ах, будь она на два года постарше, пусть даже всего на один год, — мосье Арсен с ней так бы не посмел обращаться. Впрочем, и она бы тогда защищалась. Ведь он же пьяный был. А разве пьяный знает, что делает? В прошлом году парни, которых жандармы так и не нашли, хотя вся деревня твердила их имена, в день розыгрыша лотереи изнасиловали старуху Шоде, ихнюю блаженненькую, которая живет чуть ли не в шалаше и которая от шести различных отцов, так и оставшихся неизвестными, прижила шестерых детей и каждого очередного младенца держала в ящике старинного комода, вместо люльки, и вскармливала хлебом, смоченным в сладком сидре…

Хоть бы удалось заплакать, но слезы не идут, уж слишком она стыдится себя, своей беды, слиш-

ком уж себя ненавидит. Не по ее вине ее мучит стыд, нет, не по ее! Ей ненавистно то черное разочарование, то мерзкое заблуждение, куда разом рухнула вся ее юность, настоящая ее юность, та, что еще вчера жаждала отсечь от себя детство, родиться на свет божий, единственный шанс и тот потерянный, неизгладимое пятно!

Ледяная сырость подымается по ногам, так как пол у них просто глиняный, а в щелку под дверью без помех задувает ветер. Синяк на груди, уже давно переставший болеть, вдруг снова дает себя знать, начинает пульсировать. Нет, не вынесет она теперь взгляда Мадам, этого равнодушно-презрительного взгляда, которому никогда и не проникнуть в ее тайну. Бросить ей вызов, всем им бросить вызов! Лгать никогда не казалось предосудительным Мушетте, ибо ложь самая драгоценная да, пожалуй, и единственная привилегия несчастных. Но сейчас ее гордыня страдает слишком жестоко — от того, что на этот раз придется скрывать. Любое бы она предпочла, только не то, что ждет ее впереди, — череда сереньких дней.

По ребяческому ее разумению, убийство стражника и изнасилование четырнадцатилетней девочки — два одинаково тяжких преступления

в глазах правосудия, равно наказуемых законом, тем самым загадочным законом, покровительство коего обходится беднякам слишком дорого. Так что ее свидетельство ничем не поможет человеку, которого она любит. Да, впрочем, она и не верит всерьез, что он будет сидеть и ждать, когда за ним придут жандармы. Такой парень всегда сумеет вовремя смыться. Сейчас он небось уже где-нибудь далеко. Если только, конечно, не забился в какой-нибудь более надежный тайник, не изобрел какого-нибудь более удачного хода; ведь правосудие так легко одурачить! И в глубине сердца она желает смерти стражнику Матье.

— Чего это ты там стоишь? — спрашивает мать.

Мушетта не отвечает на вопрос. В комнате такая темень, что ей кажется, будто она отгорожена стеной от всего остального мира. Очевидно, мать просто услышала, как она копошится. Вообще-то у матери не такой уж тонкий слух.

— Что-то мне совсем неможется, — продолжает в темноте голос. Возьми-ка в ящике свечу. И пошарь в старых отцовских штанах, может, там, в кармане, коробок спичек завалялся. Он в новых брюках ушел.

При свете свечи Мушетта смутно видит стра-

дальческое лицо, но, впрочем, не обращает на это особого внимания. Уже давно домашние привыкли к ее болезни, привыкли, но не притерпелись. Когда отец с сыновьями, вернувшись под утро, обнаруживают ее сидящей на табуретке в одной рубашке и юбке, хотя в комнате холодище, и она мерно покачивается всем телом, вперед и назад, вправо и влево, будто убаюкивает младенца, — а это она боль свою убаюкивает, — никогда они ее ни о чем не спросят — еще чего! Просто сами, чертыхаясь сквозь зубы, разведут огонь, разогреют себе кофе. А страдалица, добитая их молчанием, словно бы прося извинения, начинает чуть слышно стонать, не разжимая губ. Вроде бы поет. Иной раз бросит, явно ожидая ответа: «Совсем меня болезнь загрызла, надо бы доктора позвать». На что следует глухое невнятное ворчание, ибо бедняков ничуть не трогают застарелые хвори, — только еще один тяжкий крест, столь же роковой, как и все прочие, и этому никакой доктор не поможет!..

В свое время сама больная была того же мнения и долго крепилась. Но сегодня иссякло и ее терпение. Ее берет страх. Эту боль в руке, в плече, она бы еще кое-как выдержала. Отпустит ненадолго, а потом снова навалится, да и боль всегда одна

и та же, то резкая, то потаенная, в конце концов начинает внушать боязливый ужас, мало-помалу вгоняет в детство. Конечно, от доктора она большой помощи не ждет! Врачи, как и ветеринары, обходятся дорого и только языком чешут. Но ей-то как раз и кажется, что если бы она наговорилась всласть о своей болезни, ей стало бы гораздо легче, потому что кумушкам уже надоело ее слушать — изредка заглянет какая, сидит и невпопад качает головой. Вот доктор — единственный, кто охотно выслушал бы ее рассказ, — их совсем молоденький доктор, похожий скорее на девушку; и руки у него белые-белые, как у повитухи. Впрочем, и видела она его всего только раз, когда его пригласили к бакалейщице, у которой такая же болезнь, как и у нее. Но с тех пор, как ее уж очень допечет, она мечтает его увидеть.

Ладно, ничего не попишешь! Хотя она нередко сцеплялась с отцом, мужчина есть мужчина: никогда бы она не осмелилась, по любимому ее выражению, «самовольно позвать доктора», хотя ее пьяница муж пропивает в неделю ровно столько, сколько стоит визит врача, не говоря уже о том, сколько он зря по кабакам времени теряет. Пьяница же отлично понимает, в чем тут дело; и продолжает молчать не из злобы даже, даже

не из жадности, а просто из-за своего идиотского упрямства, которое заменяет ему всякую работу мысли, хотя сам он считает, что это именно и называется мыслить. А может, и потому, что нагляделся на женщин, которые хоть и страдают, но не жалуются.

Мушетту настораживает не так исказившееся лицо матери, как ее голос, в котором звучит непонятная, необычная нежность. Слова она произносит самые обыкновенные, и, однако, слышится в них какой-то отголосок смиренной просьбы, даже мольбы, так что Мушетта ошалело смотрит на мать, и свеча дрожит в ее вытянутой руке.

— Осторожнее, пятен насажаешь! — говорит больная беззлобно. — Прилепи свечу к стене. Когда вот такие боли начинаются, все-таки приятнее, если светло!

Она пытается присесть в постели, и тотчас же лицо ее становится белым, как полотно. С минуту, которая кажется бесконечной, она молчит, но, видно, ей так же страшна тишина, как и потемки.

— Подойди-ка сюда, — говорит она, высунув из-под одеяла голую руку. Вот здесь жмет, в самой середине груди. Чисто камень там лежит. Что с

ним делать-то, а?

Конечно, последняя фраза — вопрос риторический и довольно туманный вопрос. Однако Мушетте почему-то представляется, что мать просит у нее совета. Тщетно пытается она найти ответ и только тупо переступает с ноги на ногу.

— Попробуй разжечь огонь, если только хворост остался, — продолжает больная. — Когда у твоего братишки колики начинаются, я ему припарки из крахмала делаю, а то совсем оборется. Попробуй-ка и мне сделать. По-моему, тепло мне только на пользу. Смотри только, не разбуди Гюстава, сама знаешь, раз начнет, ничем его не остановишь.

Мушетта копается в дальнем углу комнаты. Потом подходит к матери, держа кончиками пальцев пустую жестяную банку.

— Крахмал кончился, мам!

С минуту они молча глядят друг на друга, потом мать тревожно отводит глаза и пытается что-то сказать, стараясь, чтобы голос прозвучал как обычно:

— Возьми тогда муки, — говорит она, — тоже неплохо.

Муки! Вчера вечером они, должно быть, купили муки у торговца, который по субботам

приезжает сюда на грузовике. Сделали запас на целую неделю.

— Только не сыпь много, — добавляет больная. — Возьми, сколько нужно. Чтобы получилась припарка в две твои ладони, не больше. Ой-ой-ой! Поторапливайся, дочка!

Вздохнув еще раз-другой, мать замолкает. Кастрюля у них старая, и Мушетта зорко следит, чтобы мука не липла к стенкам. Поэтому она беспрерывно помешивает ее деревянной мутовкой. Запах месива щекочет ей ноздри, добирается до кишок. Боже, до чего есть хочется! Размазывая кашицу по ветхой тряпке, она не может удержаться от соблазна — облизывает палец, к нему прилипли комочки безвкусно-пресного варева.

Мать уже открывает грудь, осторожно отводит больную руку. За эти несколько минут лицо ее странно изменилось. Кожа как-то особенно туго обтягивает кости, и когда пляшущий огонек свечи падает ей на лицо, оно блестит, будто восковая маска. А нос каким-то чудом стал гораздо длиннее. И оттого, что запали ноздри, он кажется неестественно острым.

Когда горячая припарка касается ее груди, она испускает легкий крик. А Мушетта уже отходит от постели. Но мать смиренно просит ее:

— Побудь со мной, дочка. Думаю, от тепла мне хуже не станет, даже дышать вроде легче, что бы я без тебя делала, бедняжка моя Дуду, ведь у меня сил не хватает даже свечу погасить.

Дуду! Мушетта вспоминает, что мать называла ее так ну от силы раз десять за всю их жизнь, да и то уже давным-давно. Зато ласковое это имя полюбилось дедушке, бывшему шахтеру из Ланса, дедушки в семье чуточку стыдились, всем в округе было известно, что целых пять лет он отбыл на каторжных работах в Гвиане, сослали его туда за какое-то темное дело, как говорили, за грехи молодости.

Родным он хвастался, что по возвращении зарабатывал себе на жизнь, выступая на ярмарках в качестве борца-любителя, впрочем, он не столько боролся, сколько стоял у входа в балаган голый по пояс, демонстрируя зевакам свой не слишком богатырский торс, зато украшенный изумительной татуировкой в три цвета. Постепенно он опускался все ниже и ниже, и в один прекрасный день мать чуть не сомлела от страха, когда перед ней появилось эдакое дряхлеющее привидение, неузнаваемое даже для дочерних глаз, в солдатской рубахе и штанах, в огромных башмаках явно того же происхождения, а все его барахлишко бы-

ло завернуто в салфетку, на которой большими красными буквами был напечатан штемпель Дижонского вокзального буфета. Впрочем, прожил он у дочери всего полгода, пожираемый запоздалой чахоткой, осложнившейся еще астмой и эмфиземой, отчего при дыхании в груди у него так клокотало, так хрипело, что всем становилось тошно, всем, кроме Мушетты, которой тогда было всего пять лет. «А ну слушай-ка, птенчик мой Дуду!» — говорил он, обращаясь к внучке. Была она единственным существом в доме, которого он не оскорблял, хотя с утра до вечера цедил сквозь почерневшие корешки зубов до того забористо-гнусные ругательства, что большинство их не понимал даже зять, уж больно живописно сливались в них тюремное арго и загадочный лексикон ярмарочных фигляров.

Однажды вечером, когда у него был сильный жар, он, презрев все мольбы и даже угрозы, решил попытать одно верное средство, какому — как он уверял его обучили в Америке дикари. Пошел, разделся донага и зарылся в теплую соломенную подстилку в коровнике у добросердечного соседа. Утром его нашли мертвым.

Мушетта не знала, любила ли она деда. Но, во всяком случае, не боялась. И иногда он умел ее

рассмешить. Даже когда его, мертвеца, положили на единственную в доме кровать, привезенную еще из далекой Фландрии, неслыханная роскошь, доставшаяся им по наследству, — и тогда дедушка казался ей скорее смешным, ибо его изможденная физиономия прожженного бродяги мало подходила для торжественной минуты вечного успокоения, оно сошло на него так внезапно, что казалось, он просто ломает комедию, напустив на себя похоронно-серьезный вид, что он состроил одну из своих чудовищных гримас только он один и умел так гримасничать, — еще накануне перед осколком зеркала, прибитого к стене, он строил самому себе разные рожи… Сквозь изношенную до дыр ткань рубашки смутно проступала знаменитая его татуировка. Можно было разглядеть женскую головку с длинными миндалевидными глазами, с алым, почти круглым ртом, сложенным сердечком.

— Бедная ты моя Дуду!

Мушетта чувствует, что все ее существо, изнемогшее в многочасовой борьбе, трепещет от этих смиренно-ласковых слов. Но уже давно, очень давно, она отвыкла от любого бездумного доверия: выражение закоренелой настороженности придает ее лицу какую-то особую жесткость. Ах,

если бы только она могла склонить голову на край материнского ложа, она не удержалась бы, она прильнула бы к плечу матери, поддавшись тому же самому неодолимому порыву, в каком она только что прижимала малютку-брата к своей груди.

— …Вот горе-то, неизвестно, который час, — продолжает больная, и в голосе ее звучит неодолимая усталость. — Когда ветер с моря дует, не слышно, как часы на колокольне бьют.

— Верно, еще пяти нету, — говорит Мушетта. — Но ветер вроде переменил направление из-за циклона.

— Циклона? Да какого циклона-то? Где ты этот циклон видела, доченька?

— Вчера вечером, черт возьми!

— Вчера вечером? Да это морской ветер был, просто морской, только сильный. Как соседка днем белье постирала, так она на ночь даже простыни с веревки не сняла.

От удивления Мушетта чуть не уронила свечу, которую пыталась вставить в горлышко пустой бутылки. И, однако, она не возражает, ни на минуту она не сомневается в том, что мать говорит правду. Нет ни одного события минувшей ночи, которое не казалось бы ее взбудораженной

душе обманчивым, предательским. Впрочем, о циклоне-то, настоящем или выдуманном, она помнит твердо только потому, что о нем говорил мосье Арсен. Ах! Это здание таможни, словно бы окруженное паром («не дымом, понимаешь, а паром») и крыши домов и вроде «там какой-то зверь, ну дракон, что ли» — ничего она не забыла, все эти трудно вообразимые вещи она видела отчетливее, чем огонек вот этой свечи, так как рождались они одна за другой перед глазами ее ночного спутника из глубин его пьяного бреда…

Ох, конечно, сейчас мосье Арсен уже не помнит ни о каком циклоне, вряд ли даже помнит о ней, Мушетте… Мечта! Ее даже не мужчина обманул, а мечта… Господи, пусть хоть кто-нибудь знает ее тайну!..

— Слушай, мам, — начинает она и внезапно так низко клонит голову, что касается щекой волос больной.

Проклятье! Гюстав, разбуженный светом, с минуту лежит спокойно, скорчившись, но одеяло соскользнуло, потащив за собой тщедушное его тельце, ножонки запутались в жалком подобии пеленки, его щиплет холод, тянущийся из-под двери, и он испускает крик пронзительный, непрерывный, невыносимый, не выражающий,

несомненно, ни удовольствия, ни боли, просто что-то смещено в этом крохотном, несчастном мозгу, и кажется чудом, как эти хилые легкие еще могут выдерживать такое напряжение.

— Да уйми ты его, — молит мать хриплым голосом, и в блуждающем ее взгляде застывает настоящий страх. — Не могу я сейчас его слышать, ну просто не могу и не могу. Ох, ох!

Мушетта на ощупь хватает сверток уже липких тряпок. Верно, и ее этот визг сводит с ума. Она пытается заглушить его песенкой, но и песня тут же становится еще одним нескладным криком.

— Ой! Ой! — стонет больная. — Опять меня схватило. Будь оно все проклято! Я-то думала, пройдет. Дышать нечем. Открой окно! Тебе говорят, окно открой!

Мушетта подходит к кровати, перескакивает с ноги на ногу, покачивая на ходу свою ношу. На мать страшно глядеть. Последним усилием воли умирающая садится на своем ложе и, вся скрючившись, жадно тянет посиневшие губы к порогу, хотя дверь еще закрыта.

Не выпуская из рук Гюстава, Мушетта приоткрывает дверь, потом сильным ударом ноги отбрасывает ее к стене. Дом их обращен на северо-запад, и влажный морской воздух про-

крадывается в комнату, кажется даже, что он как-то странно дрожит, словно огромная шапка листвы.

— Уйми ты его! Уйми ты его! — монотонно твердит больная.

Но напрасно Мушетта окутывает чахлое тельце корчащегося от судорожных рыданий Гюстава единственным, впрочем тоже уже мокрым, шерстяным одеялом. Крик не прекращается. Но и громче не становится. Им-то он кажется пронзительным, но, очевидно, не слышен еще в тесном дворике, иначе пес Бало непременно бы загремел цепью. Этот крик не то что выводит Мушетту из себя, он мучительно отдается в голове. Что делать? Она раскачивает младенца то вправо, то влево, подымает его даже над головой, яростно прижимает к груди.

— Дай мне его, — вздыхает больная.

Но тут же протягивает младенца обратно, кривясь от боли. Лица бедняков, дошедших до последней крайности, способны выражать одно дикарское смирение, — лишь с трудом проступает на них гримаса муки, как и у зверя. Мушетте кажется, что губы матери вспухли. Нет: это просто высунулся кончик языка, такой же синеватый, как лицо.

— Положи его в люльку, — еле слышно шепчет она. — Накоряжится вдосталь, глядишь — и заснет. Ой-ой-ой! Поди принеси мне бутылочку можжевелевой. Я ее у входа в погреб спрятала, за ящик. Помирать так помирать, пусть уж я хоть помру без мучений!

Мушетта до того издергалась, что ни о чем уже думать не может и машинально выполняет просьбу матери. Она даже не догадывается, что мать тащит на своих плечах все ярмо их нищеты. Ее вечная болтовня, подчас раздражающая домашних, ее бесконечное ворчание, ее шумные вспышки гнева, от которых ретируется даже пьяница муж, ошалев от неудержимого половодья слов, — это, в сущности, их собственный голос и их собственное молчание, неусыпный, не знающий устали голос их скованных немотой душ, свидетель их бед и выражение их жалкой радости. И также их бунт. На той зловещей галере, к которой они прикованы все вместе, мать была подобна деревянной фигуре на носу судна, в лицо ей хлещет ветер, и море щедро осыпает пенными брызгами.

Тяжело переводя дух, берет мать бутылку можжевеловой. Младенец совсем закоченел от холода и вопит не переставая, теперь из своей конуры

ему вторит пес, сначала размеренным лаем, переходящим в рвущее уши повизгивание, подымающееся вверх, словно хроматическая гамма.

Мушетта снова подходит к матери и видит, что умирающая крепко зажала губами горлышко бутылки, а сама дышит с натугой, прерывисто. Можжевеловая льется изо рта, течет на шею, за ворот рубахи. Тут только Мушетта замечает, что мать потеряла сознание. Однако она тут же снова приподымает веки. Ее уже помутневшие глаза ищут знакомые предметы, с трудом узнают их, не знают, за что зацепиться взглядом. Потом она пытается улыбнуться, и от этой извиняющейся улыбки мертвенно-бледные щеки чуть розовеют.

— Здорово я извозилась, — говорит она, щупая рукой промокшее одеяло. Вот-то незадача, не дай бог отец увидит, что я его можжевеловую в постели разлила. Авось с пьяных глаз ничего и не заметит. Ну и ладно! Будь что будет, а все-таки, Дуду, мне здорово лучше стало.

И тут же надолго замолкает. Нельзя дальше держать дверь открытой, от холода у Мушетты совсем окоченели ноги. Она бежит к люльке, закутывает Гюстава в одеяло и кладет его лицом на тюфячок, пусть себе задохнется от злости.

Собака теперь уже просто воет. Но матери, видно, все равно. Можжевеловая попала ей в глаз, и покрасневшее веко судорожно дергается.

— Приложи-ка ухо к моей груди, — шепчет она, — и послушай хорошенько. Я что-то не слышу, бьется сердце или нет.

Голос ее теперь не громче дуновения.

— Смерть моя подходит, это-то уж наверняка, — продолжает она. — Ноги совсем онемели. Не годится, конечно, напившись помирать, — грех это, да, видит бог, никогда я пьяницей не была. Ничего не поделаешь!..

Мушетта слышит слово «смерть», и ей чудится, будто ее изо всех сил толкнули в грудь. Но у нее и впрямь нет времени раздумывать, Гюстав теперь уже. не кричит, он отчаянно вопит, захлебывается. Она снова бросается к его тюфячку.

У братишки полон рот соломы, и она худо ли, хорошо ли вытаскивает ее согнутым указательным пальцем.

— У, крикун проклятый! — шепчет мать и както особенно страшно вздыхает.

Одним глазом — другой закрыт, — она в последний раз смотрит на младенца, потом отворачивается.

— Дай мне бутылочку, Дуду! Скажешь, не надо

бы? А почему не надо? Будь оно все проклято! Я и так всю жизнь лишала себя удовольствия, так неужто перед смертью не могу себе ничего позволить? Думаешь, мне горько оттого, что я помираю? Всю-то жизнь, смолоду до старости, мной помыкали: «Ворчи не ворчи, все одно, придется, милая, по-моему делать, не то трепку задам!» Вот так-то все мы, такова уж наша судьба. А сегодня, дочка, дам-ка я себе волю.

Левой рукой она рассеянно гладит бутылку, и рука у нее такая белая, что все морщинки и трещинки проступают ярко-черными штрихами, как на чистом листе бумаги, на котором отпечаталась ладонь, вымазанная типографской краской.

— Кто знает, может, я нынче ночью еще не помру? А теперь слушай хорошенько, что я тебе скажу, Мушетта. Пойдешь позовешь доктора. Вот уж сколько дней я прямо сама не своя, хочу, да и только, его видеть, с ним поговорить, не знаю, как бы тебе лучше объяснить, Не в упрек я это говорю, только от вас я, кроме мучений, никогда ничего не видела. А над воспитанными людьми, видишь ли, смеяться не надо! Они совсем другие, чем мы с тобой. Скажешь ему, Мушетта, чтобы заглянул к вечеру, это из-за отца, потому что он — чего доброго — и нагрубить может. Скажешь

ему, Мушетта, скажешь, а?

— Да, мам, конечно, пойду и скажу.

— А ты сама, — собравшись с силами, продолжает она, — смотри, как подрастешь, не попадись на удочку какому пьянице, бездельнику. Есть у них подход к девушкам… Только, видишь ли… Вот возьми, к примеру, мосье Арсена. Слишком ты еще молода, не можешь ты всего понять, но не след твоему отцу с ним компанию водить…

Она вслепую тянет руку к бутылке.

— Один только глоток, только один, бедная ты моя Дуду… Чудится мне, будто внутри у меня все пусто и что стала я не тяжеле пуховой подушки…

Она тихонько, чуть ли не робко, кладет свою заскорузлую ладонь на детскую шейку. Быть может, так хочет она испросить прощения за ласковый свой жест, потому что знает, как удивится ему эта молчаливая девчушка, от которой мать не сумела добиться ни слова сочувствия. С секунду упрямая головенка неприметно противится этой ласке, потом вдруг падает в забытьи на материнскую грудь, словно нет уже у девочки силы сдерживаться, и с губ Мушетты срывается стон усталости.

— Мам, — начинает она, — я вот что хочу тебе

сказать…

Но покойница не слышит.

Вернулись они на заре, вдрызг пьяные. Первым заметил свечу, оставленную Мушеттой у изголовья усопшей, самый младший из братьев, Зефирэн, и, даже еще не поняв, что к чему, машинально стянул с головы каскетку. Соседка, мадам Дюмей, сидела на табуретке в темном углу и молола кофе. В чайнике уже пела закипающая вода. Лежа ничком на тюфяке, спала измученная Мушетта рядом с сдавшимся наконец младенцем.

Они молча напились кофе. Потом Зефирэна отрядили оповестить поселок. Отец, скинув надоевшую ему куртку и оставшись, несмотря на холод, в одной рубашке, курил трубку, присев на единственную ступеньку у поилки, как и обычно в воскресенье по утрам. Маленькие глазки грязно-серого цвета беспрерывно моргают.

— Куда собралась, дочка?

— За молоком для Гюстава.

Он останавливает ее взмахом своей глиняной трубки, и его лоснящиеся щеки становятся кирпично-красными. Хотя во взгляде еще застыло неопределенно-торжественное выражение, как у запойных, но рот кривится смущенной улыбкой, открывающей почерневшие корешки зубов. Му-

шетта молча разглядывает его. Ни одна черта ее тоненького личика не дрогнет.

— Славная была женщина, — заикаясь, произносит отец, и слова его трудно разобрать среди хрипа и свиста, рвущихся из сожженных алкоголем легких.

Все так же невозмутимо спокойно глядит на него Мушетта. Кошмары минувшей ночи еще обволакивают ее, подобно густому туману, сквозь который странно искаженными кажутся вещи и лица. Впрочем, в ее взгляде, с таким напряженным вниманием изучающем эту физиономию, даже не поймешь сразу, еще молодую или уже старую, нет прямой неприязни. Правда, что сейчас она не узнает отца. Сейчас, когда с его лица слезло обычное выражение тупого упрямства, а проступило что-то вроде сомнения, смутной тревоги, оно стало похоже на морду сурка. И чем сильнее бедолага старается не сдрейфить перед этим неожиданным свидетелем, доселе просто презренной мошкой, тем сильнее искажаются его вялые черты. Ветер дыбом подымает на затылке кирпично-рыжие волосы.

— Кончишь ли ты наконец на меня пялиться, невежа эдакая? — мямлит он.

По привычке Мушетта все-таки отступает на

шаг. Впрочем, ничуть она его не боится. И не желает даже ему отвечать. В душе ее уже рокочет слепо-немой демон, и имя ему: бунт. Впрочем, не слишком ли это громко — «бунт»? Скорее уж какое-то молниеносно возникшее чувство, и, покорная ему, она поворачивается спиной к прошлому, осмеливается сделать первый шаг, решительный шаг навстречу своей судьбе. Чтобы заговорить, она собирает все свои силенки. И на язык ей наворачивается только ругательство. И она уже раздельно произносит его, но таким грустным, таким грустным голоском, что отец сначала ничего не разбирает. Прежде чем отец открыл рот, девочка распахивает деревянную калитку, и башмаки ее уже стучат по каменистой дороге… Ругательство, самое грубое, которое она знает, но не имеющее сейчас для нее никакого смысла, выражающее лишь ее безысходное, неосознанное отчаяние.

— Дерьмо! — бросает она.

И, бросив, все-таки для верности ускоряет шаг, пока не добирается до вершины холма, откуда уже виден первый дом поселка. Однако ей невыносима даже мысль, вчера еще вполне естественная, что бежит она от побоев. К чувству зарождающейся в ней свободы не примешива-

ется ни капли радости. Девочка понимает, что оно пришло слишком поздно и что ничто уже не спасет ее. Но нет такой силы, чтобы вырвать его из сердца, и она когтями и зубами будет его защищать.

Оторвавшись на минуту от этих мыслей, она оглядывает свое одеяние и пожимает плечами. Да-а! Одежонка! Она забыла надеть кофту, на ней только рубашка и дырявая скверная юбчонка. Кожа на башмаках стала какого-то ржавого цвета, и теперь, когда они высохли, нелепо задрались носки. К тому же волосы у Мушетты в золе, даже на зубах скрипит зола. Сойдет! Подумаешь, грязная, ну так что ж! И нынче утром, если бы не страх, что она не выполнит до конца своего долга, она нарочно бы извалялась в грязи, как свинья. Да, да, прямо бы так и шлепнулась ничком в замерзшую грязь — бросилась бы животом, который до сих пор ноет, так что приходится идти, скрючившись чуть не вдвое.

Вышла она из дома без всякой определенной цели. Вчера мосье Арсен заставил ее выпить спиртного, оно обожгло ее нутро и до сих пор еще жжет… Мосье Арсен! Сейчас он, должно быть, уже далеко! Ей чудится, будто он идет не по настоящей, а по выдуманной ею дороге,

идет своим упругим, чуть настороженным шагом и, возможно, с песней на губах. Ведь он все время что-то напевает. Завтра к вечеру он уж непременно перейдет границу, а граница, в представлении Мушетты, это некая таинственная линия, которую не смеют пересечь ни жандармы, ни таможенники. Бельгийская граница!.. А за ней страна, какую она видит лишь в воображении, сквозь смутные воспоминания раннего детства — плоский край, где взгляд упирается в небосклон и где огромное множество скота, крупные фламандские коровы, такие длинные, что, кажется, они с трудом волочат свой собственный зад, словно какой-то невиданный груз… Край, день и ночь секомый ветром, и под его порывами со скрипом вертятся крылья мельниц — свободный край…

Никогда ей его не увидеть, слишком уж она измучилась. И тот самый гнев, который не сумел обратиться против мосье Арсена, обрушивается теперь на их мерзкий поселок. Особенно же противно ей думать о Мадам. До чего обидно, что нельзя бросить ей в лицо всю правду или хотя бы часть правды, хитро отмеренную, чтобы та взбеленилась от злости, разом заткнуть ей рот: скажем, во вторник на уроке морали, когда она будет клеймить перед всем классом «гнусное

преступление, совершенное против верного слуги закона, получившего ранение на поле чести при исполнении своих обязанностей...». Но они все только смеяться будут. Не поверят ей. Или же... Впрочем, что бы она ни сказала, она отныне может только навредить беглецу, теперь она уже вышла из игры. К чему восставать против собственной судьбы? Вполне достаточно просто ее презирать. Потому что ей осталась только одна роль — роль ребенка, случайно затесавшегося в смертельную схватку двух озверевших мужчин. Преступление, равно как и любовь, отказывается от столь жалкой ноши. Бурливая черная река, подхватившая было ее, минуту протащила по течению, а потом пренебрежительно выбросила на прибрежный песок.

И, однако же... однако, одна она обо всем знает, она одна хранит тайну, которую, возможно, уже стараются по всем дорогам разнюхать жандармы и судья.

Это единственная мысль, что позволяет ей еще держаться среди мрака отчаяния. Само собой разумеется, мысль эта не слишком отчетливо складывается в мозгу, к сатанинской гордыне, внушившей эту мысль, еще примешивается страх. Но впервые в жизни полуосознанный

бунт, а он прямое выражение всей ее природной сущности, приобретает хоть какой-то внятный смысл. Она одна, воистину одна — против всех.

Часть третья

С порога бакалейной лавочки тетушка Дерен машет ей рукой. Обычно-то она, как и все прочие, относится к Мушетте неприязненно и высокомерно, ибо считает, что девочка способна «отомстить через скотину», а это в крестьянских глазах преступление непростительное. Но весть о внезапной смерти уже распространилась в поселке и разожгла всеобщее любопытство.

— Значит, так-то оно! Бедная твоя матушка померла, да так сразу! Говорят, ты даже соседку не успела кликнуть: когда она пришла, все уже было кончено. Зайди, выпей чуток кофе.

Мушетта останавливается на низеньком крылечке, потупив голову, и лицо у нее такое замкнутое, что бакалейщица вздыхает и незаметно переглядывается с покупательницей, замешкавшейся у прилавка.

— Заходи же, тебе говорят. Да не стоит, дочка, так убиваться, каждому свой черед! Хорошо хоть она не почувствовала, что помирает… Видать, от аневризмы? Теперь в газетах то и дело об аневризме пишут.

Вид Мушетты явно внушает бакалейщице

удивление, не без примеси уважительности. Ну кто бы мог подумать, что такая дикарка способна по-настоящему горевать? Да и покойница терпением не отличалась.

Но Мушетте плевать на то, что ее разглядывают с любопытством. Аромат горячего кофе убил в ней все чувства и даже все мысли. От этого аромата у нее слезы проступают на глазах.

Бакалейщица пододвигает к ней корзину с рогаликами. Правда, рогалики позавчерашние, потому что подручный булочника по воскресеньям разносит товар только после второй, поздней мессы. Ну да ладно! Рука Мушетты, макающая редкостное лакомство в горячий кофе, дрожит. Нервная разрядка так сильна, что мало-помалу девочка теряет выдержку, она ест и рыдает одновременно, лицо ее в клубах благоуханного пара, а хрупкое тельце собралось в комок, настоящий котенок перед блюдцем сливок.

Бакалейщица сует четвертый рогалик в дрожащие пальцы. Мушетта машинально кладет его в карман. Положив локти на стол, она сидит с задумчивым видом, но на самом деле не думает ни о чем. Даже у прилавка из светлого дуба какой-то особенно аппетитный вид, так и хочется его лизнуть. До ее слуха доносится приглушен-

ный разговор хозяйки с покупательницей, но он кажется ей лишь бормотаньем, лишь мурлыкающим продолжением собственного сна. Чтобы выйти из тупика этих смутных сновидений, ей нужно, чтобы настала, чтобы длилась тишина. Она подымает на двух женщин свой обычный взгляд, недоверчиво-хитрый. И смотрит на них так свирепо, что обе невольно опускают глаза.

Сквозь незастегнутую прореху рубашки видна обнаженная грудь Мушетты и отчетливо вырисовываются синяки. Они еще не успели полиловеть; на смуглой коже они проступают багровыми пятнами, а полукружья от впивавшихся в тело ногтей — алыми. Конечно, всем отлично известно, что ее папаша скор на расправу. Но вот эти синяки, это уж нечто совсем другое, это уж зловещий знак. На полудетской еще груди они начертали всю ее вчерашнюю историю, и наметанный взгляд деревенских кумушек сразу разгадал ее тайный смысл.

Первое побуждение Мушетты — запахнуть ворот рубашки. Напрасный труд! Полотно потерпело вчера еще больший урон, нежели кожа, и слишком нетерпеливые пальцы лишь довершают начатое — материя окончательно разлезается. Обе женщины еще колеблются: возможно, одно

слово, улыбка могли бы еще предотвратить грозу, но девочка не в силах выдавить из себя ни слова, ни улыбки. Да и невольное ее движение с головой выдает ее. Потому что она вскакивает со стула одним прыжком, как застигнутый врасплох зверек. На беду, стул ударяется о ножку стола, и недопитая чашка грохается на плитки пола.

— Чего это тебя разбирает? — свистящим голосом спрашивает бакалейщица. — Теперь ты мои чашки бить начала! Вот уж и вправду дикарка.

Складка стыда и гнева причудливой чертой перерезает лоб Мушетты. Густо зарумянившееся лицо изобличает ее так явно, как не могло бы изобличить прямое признание. Она бочком продвигается к двери.

— У, шлюшка! — цедит сквозь зубы бакалейщица. — А я-то еще ее пожалела. Вот уж правду говорят: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит».

Впрочем, Мушетта ее не слышит, она уже на улице, уже бредет к поселку неверной походкой; ноги словно одеревенели, и каждый шаг отдается в животе мучительной болью. Пускай бакалейщица визжит себе на здоровье, пусть ругается, ей плевать! И снова все ее страхи, весь ее гнев обращаются уже против себя самой, это себя она

ненавидит. За что? Какую такую ошибку она совершила? Увы! Она и впрямь совершила ошибку. Любые угрызения совести и в счет не идут по сравнению со стыдом, который подтачивает ее изнутри и которому она, не привыкшая связно мыслить, никак не сумела бы найти разумного объяснения, ибо слепой этот стыд был самой ее плотью и кровью. Не замедляя шага, она сжимает обе руки на своей истерзанной груди, потихоньку, но яростно бьет по ней, будто хочет убить.

Так добирается она до церковной площади. Тут только она замечает, что прихрамывает. Двое мальчуганов — сыновья пивовара — возятся у порога дома; никогда они не пропускают случая при виде Мушетты во всю глотку пустить ей вслед кличку «крысомордая», но нынче оба молчат, смотрят на нее, жмутся друг к дружке… Колокол созывает верующих к ранней мессе. Мушетта идет, все так же ковыляя. Только сейчас она догадывается, зачем вышла из дома и куда держит путь, так как всю дорогу шла будто лунатик. Чуть в стороне от последних домишек поселка, там, где тропка, ведущая в поля и обнесенная живой изгородью, идет под уклон, стоит дом мосье Матье, дом кирпичный, новенький, а рядом еще сарайчик и погреб.

Нет, не простое любопытство привело сюда Мушетту. Даже в этом состоянии полного разброда мыслей она отлично понимает, что в такой день, как сегодня, она может спокойно расспрашивать любого о событиях минувшей ночи, ничем не рискуя себя выдать.

Пока усопшую не предадут земле, она принадлежит всему поселку, всей их общине, которую объединили вокруг ее останков почтительный страх, полумистическая сопричастность. В поселке всего один мэр, всего один кюре и всего одна покойница. Поэтому-то дочь ее должна воспользоваться этими несколькими днями, своего рода привилегией, даваемой смертью, что молча признают все жители. Нет, та сила, которая влечет Мушетту к дому стражника Матье, сродни силе, бунтующей в ее душе против себя самой. Повинуется она все тому же, точно установленному, неумолимому закону тяготения, подчиняясь которому падает тело, ибо иное отчаяние в своем падении тоже не может избежать ускорения. Отныне ничто не в силах ее удержать: она до дна выпьет чашу своей беды.

Одно лишь ее удивляет: в поселке царит спокойствие — просто обычное воскресное утро, такое же, как и всегда по праздникам; слышится

еле уловимый веселый гул, жужжание пчелиного роя, откуда вырвется вдруг головокружительный напев колоколов. Сначала Мушетта не обратила на это внимания: столь велико внутреннее ее смятение, что действительность предстает ей в искаженном виде. Но мало-помалу она начинает понимать — в этом спокойствии есть какая-то странность, ведь об убийстве стражника было бы известно. Этот покой не несет в себе надежды, напротив, она воспринимает его как зловещее предзнаменование. Словно весь поселок, тайный ее неприятель, распахивается перед ней, все ширит вокруг нее зону предательской тишины.

Так добирается она до дорожки. Смутно она догадывается о том, сколь безумен, сколь неосторожен ее шаг, но сейчас отступать уже слишком поздно. Перенапряженная воля способна лишь на прямой вызов, так загнанный зверь из последних своих сил несется судорожными скачками впереди настигающей его своры собак, прежде чем свалиться на бок и испустить дух. Однако когда рука уже тянется к деревянной щеколде, мужество покидает Мушетту. Калитка сбита из широких дранок, между ними оставлены лишь узенькие просветы. Она стоит перед этой калиткой, стараясь отдышаться, унять биение сердца.

Взмокшие от пота ладони бросают на выкрашенную в зеленый цвет дранку густую тень, и контуры ее все растут.

По-прежнему звонят к ранней мессе. И вдруг… Мосье Матье вовсе не убит, даже не ранен. Он как раз подходит к окошку в одной рубахе, на физиономии мыльная пена. Конечно, он уже минуту-другую следил за Мушеттой из окна, потому что сразу же ее окликает, и голос у него самый страшный для нее из всех голосов в мире, этот голос верного служаки великой армии закона разом пробуждает в ее душе детские страхи, голос, похожий на тот, которым вещает петрушка на ярмарке, вроде бы добродушный, а на самом деле металлический.

— Что ты здесь поделываешь, паразитка?

Она не отвечает, но нет у нее мужества и бежать отсюда.

— Удачно явилась, — продолжает стражник. — Нам с тобой потолковать надо. Иди-ка сюда, я тебе худого не сделаю.

Он отходит от окошка и тут же появляется на пороге, загораживая весь проем двери могучими плечами. Мушетта медленно взбирается на крыльцо. На шум из кухни выходит мадам Матье, рыжие ее волосы разбросаны по плечам.

— Да не мучь ты ребенка! Послушай, Камилл, ведь сегодня у нее мать померла!

О, чудо! Мушетта потихоньку, как заводная кукла, вскарабкивается на крыльцо, останавливается как раз рядом с молодой женщиной и утыкается лбом в синий фартук. Движение бессознательное — так спящий во сне переворачивается на другой бок. Мадам Матье ласково проводит рукой по непокорной головенке, берет в ладони ее лицо, с силой поворачивает к себе. Черты Мушетты застыли в такой жестокой гримасе, что жена Матье не может сдержать удивленного крика, чуть ли не крика отвращения. А как же иначе! Она единственная дочка служащего Амьенского почтамта, всю жизнь прожила в городе, и слово «дикарь» вызывает в ее представлении лишь образ белозубого негра из джаз-банда, только абсолютно голого и в носу у него бронзовое кольцо.

— Слушай хорошенько, — говорит стражник подозрительно мягким тоном. Знаешь Арсена? Чудесно. Так вот. Мы с ним вчера поцапались из-за капкана, ничего особенного, так, пустяки. Он был пьян — таким пьяным я еще ни разу его не видывал, а пить он, ничего не скажешь, мастак. Словом, мы с ним немного схлестнулись, поняла?

Так сказать, по частному вопросу. Впрочем, это никого не касается. Только нынче на рассвете стражники Тиффожа его забрали. Обвиняют его в том, что он глушил динамитом рыбу на протяжении целых одиннадцати километров, вместе с молодчиками из Булони; они-то и увезли весь улов на большом грузовике, так что жандармы на мотоцикле минут двадцать, если не больше, за ними гнались и не смогли догнать.

Ясно, Арсен улизнул от них, но один стражник — его Шове звать — вроде бы его признал. Схватили они его только часа через два в пятнадцати километрах отсюда, вот мне и хочется узнать, может, этот чертов малый правду говорит. Он заявил жандармам, будто бы встретил тебя нынче ночью у Паланса. Если это правда…

— Это правда, — подтверждает Мушетта непривычно вежливым голоском. Правда, мосье.

Стражник раскатисто хохочет.

— А ты, видать, не из хитрых, — говорит он. — Признайся-ка лучше, что ты нынче утром встретила Арсена. Он нарочно сделал крюк, чтобы с тобой увидеться и обеспечить себе алиби. Иначе зачем бы ты сюда явилась? Ты ведь не часто ко мне в гости ходишь, артистка ты эдакая!

Не так сами слова, как издевательский тон

стражника сбивает Мушетту с толку. Она до того не привыкла к иронии, что когда ей случается слышать иронически произнесенное слово, оно звучит будто на чужом языке и не так злит, как пугает.

— Или твой отец с ним виделся. Потому что Арсен слишком хитрая бестия и не послал бы тебя сюда, что называется, прямо волку в пасть.

— Да оставь ты ее, — кричит жена из кухни. — Не видишь, что ли, девочка сейчас в обморок упадет?

И опять она подходит к девочке, но та медленно отступает и прислоняется к стене. Участливый голос вызывает в ней чисто физическое волнение, против которого она бессильна.

— Зря ты вмешиваешься, — пожимает плечами стражник. — Я ей зла не желаю, но ты только взгляни, какие у нее глазищи. Ну чисто дикая кошка!

— Я видела мосье Арсена нынче ночью, — продолжает Мушетта. — Вот как вас вижу, мосье Матье.

— А где ты этого самого Арсена видела?

— В его хижине в Мурейском лесу.

— А что ты, дуреха, в его хижине делала?

— Я спряталась там от цикл… от дождя…

— С чего это ты такая неженка стала, смотри-ка, пустякового дождика испугалась.

— Это мосье Арсен меня туда привел, — помолчав, поясняет она.

И сразу же спохватывается; сквозь полуопущенные ресницы она замечает, что стражник с женой при этих словах переглянулись. Кровь бросается ей в лицо.

— А откуда ты шла, когда он тебя туда привел? Только уж, пожалуйста, не ври.

— Из школы.

— Из школы? Значит, ты из школы, хитрюга, ночью уходишь?

— Не совсем еще ночью, — возражает Мушетта, и голос ее пресекается. — Я в лесу сначала пряталась. А он, мосье Арсен то есть, шел из Сюрвиля, как он мне сказал.

— Что он тебе мог путного сказать? Он тогда лыка не вязал. Пьян был в дымину.

— Нет, мосье, он не шатался.

— Дуреха! Да разве ты не знаешь, что от первой капли он прямо безумеет? Но что верно, то верно — не шатается, даже когда вылакает литр можжевеловой, идет себе прямохонько, ну прямо тебе кюре во главе процессии, в праздник тела господня. Ну, так что ж он тебе такого сказал?

— Сказал, что вы подрались с ним из-за капкана. И что вы тоже, простите на слове, мосье Матье, тоже были пьяный.

— Ах ты, негодница! — принужденно смеется стражник. — Ну да ладно, продолжай, не бойся. Значит, вышла ты из школы, спряталась в хижине Арсена, дождик лил до полуночи. Надо полагать, ты все-таки вернулась домой? Если даже ты все это не навыдумывала, почему бы нашему Арсену не заглянуть в Тиффож, посмотреть, как солнышко восходит? Жандармам ведь больше ничего и не нужно.

— Домой я вернулась только на рассвете, мосье Матье, я там почти всю ночь оставалась.

Во рту у нее пересохло, язык стал совсем шершавый, так что последние слова переходят в хриплый неразборчивый шепот. Она совсем забыла, что браконьер не совершил никакого преступления, а все выдумал, как выдумал про циклон, что сейчас речь идет о самом заурядном деле, просто об очередном браконьерстве, за такие дела красавца нарушителя уже десятки раз таскали по всем судам их провинции.

— Ночью? Значит, ты всю ночь провела у Арсена в хижине? Ладно, дочка, мне сдается, что для девочки твоих лет ты не слишком-то хорошо

отдаешь себе отчет в собственных словах. Всю ночь, ах ты, шутница!

Но смех его тут же стихает — жена кладет ему на губы палец.

— Да замолчи ты наконец, — говорит она. — Тоже мне ловкач нашелся!

С этими словами она вдруг подходит к Мушетте, обнимает ее за талию и, так как она на целую голову выше девочки, становится на колени, чтобы удобнее было заглянуть ей в лицо.

— Так я и знала, — говорит она. — Понюхай-ка сам, Матье. От бедняжки до сих пор можжевеловой разит. Ясно, этот подонок ее напоил!

Но Мушетта уже успевает отпрыгнуть на шаг назад.

— Лучше признавайся, — ласково продолжает женщина. — Все мужчины скоты. Как только ты к нам вошла, я сразу догадалась, что ты не дома ночевала, до сих пор в волосах полно сосновых иголок. И насчет можжевеловой тоже все ясно, даже нюхать не надо, у тебя до сих пор взгляд блуждающий. Я-то сразу поверила, что ты правду говоришь. Только ты не всю правду сказала. Выйди-ка отсюда, Матье, оставь нас одних.

— Не уходите, мосье Матье!

Крик этот невольно срывается с губ Мушетты,

она сама не понимает, почему она крикнула, но в голосе ее звучит ужас при одной только мысли остаться с глазу на глаз, без свидетелей, с этой женщиной, чья жалость пробуждает в ней тот тайный стыд, который женщина испытывает только в присутствии другой женщины, и в диком неистовстве этого чувства, впрочем редко встречающемся, есть что-то священное.

Мосье Матье, направившийся было к двери, оборачивается. Уж на что он толстокож, этот стражник, но и его пронял этот крик. Он с нескрываемым смятением, весь побагровев, глядит на Мушетту. Путь к бегству ей теперь отрезан: отскочив от жены стражника, Мушетта очутилась еще дальше от двери, на которую она украдкой с отчаянием поглядывает. Голова ее откинута назад, и видна тоненькая, тоненькая шейка, на которой бурно, как сердце, бьется артерия.

— Дай ей пройти, — говорит стражник. — Она совсем ума решилась. Ты только взгляни, как у нее руки трясутся.

— Не болтай зря. У меня вся кровь в жилах стынет при одной мысли, что этот мерзавец… Да что с тобой разговаривать! Если его пес несчастного зайчонка схватит, ты ему пощады не дашь, а тебе не важно знать, не напоил ли он эту девчушку

для того, чтобы…

— Не мели чепухи. Меня такие свинства не касаются. А вот зайцы — это уж по моей части. И потом, надеюсь, жандармы знают свое дело. Пусть отец и подает жалобу.

— Отец? Ты что, юродивый, что ли, если его отцом называешь? Да поднеси ему стакан рома, он с радостью родную дочь продаст. Слушай меня, Мушетта. Сегодня я не хочу растравлять тебя своими расспросами, ты и так совсем разнервничалась. Но если ты заглянешь ко мне завтра, даю тебе слово честной женщины, ты получишь десять франков за беспокойство и будешь мне отвечать, если тебе угодно, а если нет — я настаивать не стану, ты свободна.

Лицо Мушетты поначалу не выражает ровно ничего, она с умыслом надела на себя маску глубочайшего равнодушия. А на самом-то деле она старается незаметно добраться до дверей. И чтобы скрыть свой замысел, она даже не вздрагивает, когда стражник ласково, да, да, ласково треплет ее по щеке. Впрочем, из всех этих разговоров она уловила лишь одно — над мосье Арсеном нависла новая угроза.

Все, что в душе многих поколений бедняков накопилось бунтарского, животного, нерассуж-

дающего, подступает, в буквальном смысле слова подступает к ее губам, потому что ей чудится, будто язык смочен не слюной, будто весь рот забит какой-то едкой, обжигающей жижей с привкусом желчи. Но когда она переступает порог, когда чувствует на лбу, на щеках, всем своим полуобнаженным телом, которому не защита легкая одежонка, укусы ледяного ветра — дар речи внезапно возвращается к ней. С губ ее рвутся слова вызова, вместо брани, но бросит ли она им вызов или чертыхнется — разница невелика. Самое безобидное слово отдалось бы с одинаковой силой в ее груди, так как ей мерещится, будто она окутана покровом тишины. И, даже прежде чем услышать собственную речь, она чувствует, как в гортани вибрирует каждый звук, точно в медном колоколе.

— Мосье Арсен — мой любовник, — заявляет она напыщенным тоном, что производит комичное впечатление. — Спросите его, если вам угодно, он вам ответит.

Одним прыжком она соскакивает с крыльца, но на последней ступеньке спохватывается и медленно, степенно идет тропкой, стараясь ступать большими своими, не по ноге, башмаками как раз по колее, чтобы не поскользнуться. Хотя

в ушах стоит трезвон, крепнущий с каждой минутой, так что даже голова начинает кружиться и уже трудно сохранять равновесие, она все-таки слышит голос стражника за закрытой дверью;

— Вернуть ее или нет, как по-твоему? Если считаешь нужным, пойди завтра поговори с мэром.

Только когда она снова бредет поселком, в голову ей приходит одна мысль. Она добирается до дома Дарделя. Никто ее, по-видимому, не видел. Час, предшествующий поздней мессе, как и в давние времена, считается часом благоговейной сосредоточенности. Нужны века и века, чтобы изменился ритм жизни французской деревни. «Люди готовятся», — говорят крестьяне, и этим объясняется тишина на безлюдной главной улице. А к чему, в сущности, готовятся? Ибо никто уже не ходит к поздней мессе. Не важно. Ровно в девять отец обязательно достанет сорочку с туго накрахмаленной грудью и, путаясь в полотне, которое никак не желает разлепляться, а только странно шуршит, станет клясть всех и вся. И мать, чистившая на суп овощи, тоже заботливо разложит на постели чулки и черную шерстяную юбку в широкую складку.

Дом Дарделя, называвшийся так по имени бывшего его владельца уже лет десять как отошел к

старой служанке маркиза де Кланпэн. Дряхлая, разбитая параличом, так что и передвигаться она может только с помощью двух палок черного дерева с серебряными ручками — дар покойного маркиза, она все равно ходит по больным, но главная ее специальность бодрствовать при покойниках.

Как только раздастся погребальный звон — иногда даже звонит она сама, правда, в самый маленький из трех колоколов: положит костыльки на землю, и все ее тощее тельце, легче, чем у пятилетнего ребенка, раскачивается вслед за веревкой, — едва раздается похоронный звон, родные усопшего уже ждут, когда проковыляет по плитам пола тощенькая старушка, но ждать им приходится недолго. Не обращая внимания на приглушенный шепот, сопровождающий ее появление, она пройдет прямо к ложу, где покоится мертвец, и все замечают, что веки она держит опущенными, как будто бережет силы или хранит про себя некую радость.

Осенив себя крестным знамением, она положит в уголок свою огромную суконную сумку, где хранятся ее запасы — бутылка горячего кофе, сдобренного капелькой рома, медная грелка с полагающимися к ней брикетами и ломоть хлеба

с маслом, аккуратно завернутый в белоснежно-белый платочек. Тогда только она согласится присесть у очага и начнет задавать вопросы, всегда одни и те же, на которые подчас сама и отвечает, так что даже наиболее болтливые, даже те, кому не терпится сообщить такому непревзойденному знатоку все страшные подробности кончины, которым они были первыми свидетельницами, и те слушают, цепенея от какой-то смутной боязни, как ведет странный монолог эта старушка с кроткой улыбкой, с выцветшими голубыми глазами. Так она и сидит, то дремлет, то снова пускается в разговоры, ласкает детишек и раздает им леденцы, которые вытаскивает из своего поместительного кармана, до того липкие, что, прежде чем вручить леденец ребенку, она, бывает, оближет его для чистоты.

Вплоть до вечера она как бы не замечает, что в комнате лежит покойник, что вокруг тела толпятся соседи и соседки. Но стоит только стемнеть, стоит только соседкам покинуть мрачное обиталище смерти, стоит только семье сесть за стол, где уже дымится миска с похлебкой, и каждый сотрапезник вздохнет, коротко, глубоко, словно бы извиняясь в простоте душевной: «Ничего не поделаешь, ведь надо же немножко подкрепить-

ся, правда ведь?», — как она тут же поднимается с места и просеменит в угол, где покойник. Все отвращают взгляды, когда она проходит по комнате, исчезая в темноте, ее хилое тельце нелепо болтается меж двух бесшумных костыликов (они снабжены резиновыми наконечниками) — так на гребне волны покачивается утлое суденышко.

Часы и часы проведет она у изголовья усопшего, не спуская с него внимательных глаз. Ни одна складочка простыни не ускользнет от бдительного ее взгляда, тут же она расправит ее своими тощими пальцами, царапая материю непомерно длинными ногтями. А если случайная муха присядет на чело усопшего, она не поленится согнать ее, еще аккуратнее натянет носовой платок, которым накрыла лицо покойного перед началом своего ночного бдения, — все тот же белый носовой платок, лишь чуть пожелтевший от бесконечных стирок. Хотя она не прочь прослыть набожной (иногда она добровольно выполняет в церкви обязанности ризничего), не похоже, чтоб она молилась, по крайней мере никто никогда и не видел, чтобы она шевелила губами, напротив, они крепко сжаты в гримасе предельного внимания. Но зато ничто и не в силах оторвать ее от этого таинственного бдения, ни отвлечь от созер-

цания, тайна которого ведома лишь ей одной.

Если погребальная свеча стоит слишком далеко, она не забудет ее придвинуть, чтобы та светила прямо в это, словно бы высеченное из камня, лицо ее мрачного компаньона, тоже погруженного в бездонное раздумье. По общему мнению, она дремлет с широко открытыми глазами; такое часто случается — уверяют люди — с древними старухами. Правда и то, что в течение ночи она редко ответит на обращенный к ней вопрос, и, однако, никто не осмелится повторить его дважды, глядя в эти линялые зрачки, где пляшет узенький огонек свечки. Быть может, люди боятся разбудить одновременно и мертвеца, и его стража.

Когда начнут перекликаться петухи, когда начнет бледнеть огонек свечки, она, забившаяся в уголок глубокого кресла, делается словно бы еще меньше. Иногда даже поставит острые локти на край постели и вся уйдет в последнее созерцание, точно надеясь, что серенький отблеск зари откроет ей нечто, что она тщетно ищет уже годы и годы. Мало-помалу пробуждается дом, хлопают двери хлева, встряхивается после сна скотина, позвякивая цепями; люди, переговаривавшиеся полушепотом, начинают говорить полным голо-

сом, как и в обычные дни, с трудом скрывая свою радость перед наступившим утром, неодолимую для крестьянского сердца радость. Тут только она притворится, что спит, уткнет подбородок в грудь, спрячет руки под шерстяной косынкой. Подымется она, лишь когда окончательно рассветет, при шумной суматохе первой трапезы. Бледное ее лицо выражает усталость, незнакомую деревенскому люду, потому что это не физическая усталость, даже не та, что оставляет после себя бессонная ночь. Но особенно стесняет их взгляд ее тусклых глаз, настолько всего наглядевшихся, что кажутся они незрячими. А она как бы не замечает смущения окружающих, соглашается выпить чашечку кофе и прихлебывает его стоя, прислонясь спиной к стенке, раздает остатки своих леденцов ребятишкам, собирающимся в школу, и уходит, освещенная светом нового дня, исчезает за поворотом еще не хоженной с утра, позолоченной лучами зари дороги, оставляя после себя в пыли странный извилистый след. А на пороге дома хозяйку уже ждет кошка.

— Нынче вечером приду к вам, просижу ночь у покойницы, бедняжечка Мушетта.

Не желая проходить мимо широко открытых дверей кабачка, стоявшего на противополож-

ной стороне, Мушетта круто свернула вправо. И тут-то она и столкнулась лицом к лицу со старухой-ризничей.

— Если вам угодно, приходите, делайте, как знаете, — отзывается Мушетта не слишком уверенным тоном.

Взгляд линялых голубых глаз впивается в Мушетту с выражением неодолимого любопытства, сочувствия, какого-то смутного, непонятного сообщничества.

— Заходи, заходи, — негромко, но настойчиво добавляет старушка.

Только потому Мушетта и послушалась, что она и впрямь уже совсем выбилась из сил. Устало опускается она на стул, стоящий возле пустого очага. От красных каменных, тщательно натертых плиток пола идет запах воска и кислых яблок. В зеркале бельевого шкафа, ставшего от старости цвета черного дерева, она смутно различает свое отражение.

Старуха садится напротив Мушетты, она молчит. Стенные часы, где на самой верхушке футляра водружен петушок из позолоченной бронзы, стучат медленно, весомо, и при каждом размахе медного маятника на стену ложится светлый блик. С минуту Мушетта пытается еще бороться

против этой тишины, но уже слишком поздно — тишина взбухает, обволакивает, и ей чудится, будто лоб, плечи окутаны каким-то невидимым глазу покровом. Скинуть бы его, избавиться от него ценою любых усилий, потому что оно давит, как настоящее, и, однако, у Мушетты нет сил даже шевельнуться. И в ту самую минуту, когда она отказывается от борьбы, когда ее вот-вот с головой захлестнет тишина, до нее доносится старческий голос, как бы продолжающий уже начатую фразу:

— Ты, детка, что-то не в себе. Передохни малость, красавица моя, посиди здесь.

— Нет, — не соглашается Мушетта, — мне домой надо.

— Да разве ты сейчас дойдешь, где там! Тебя же ноги не держат.

И снова наступает тишина, но сейчас Мушетта уже покоряется, не борется с ней, напротив. Со всего размаху она бросается в ее пучину, чувствуя, что тело ее охватывает какой-то трепет, чуть ли даже не трепет счастья.

— Ты совершила недоброе, — продолжает старушка. — У тебя в глазах зло. На рассвете ты прошла мимо, я тебя увидела в окошко и сразу подумала: «Вот девочка, совершившая недоброе».

Тишина. С незнакомым ей раньше чувством удовольствия прислушивается Мушетта к тиканью часов, потому что слишком редко мечты ее бывают такими расплывчатыми, такими смутными, так похожи на сон. Впрочем, это и не совсем мечты. Образы, проходящие перед внутренним оком, столь неясны, что ей не удается отделить их друг от друга, она воспринимает лишь их ритмическое, неестественно замедленное чередование. Такие вот минуты, предвестники нерушимого покоя, минуты, медлящие где-то на рубеже сна и смерти, уже почти не принадлежат живой жизни.

— Послушай-ка, — продолжает старуха, — вот уже несколько месяцев, я, как это ни странно, о тебе думаю. Поэтому-то я тебя так хорошо и знаю. Началось это еще с прошлого года, вскоре после Иванова дня, помнишь? Я тогда тебе еще яблоко дала.

Мушетта помнит, но даже движением век не показывает, что помнит. До сегодняшнего дня она никогда никому не открывала своей души — в буквальном смысле этого слова — и тот порыв, что бросил ее несколько часов назад к изголовью уже умершей матери, был первым и единственным. Она смутно догадывается, что

будет он и последним, что в самом истоке иссяк таинственный ручеек.

Впрочем, тайна ее не из тех, что можно поверить людям, — слишком в ней много всего переплелось, слишком многое к ней примешалось; она подобна хилому с виду растеньицу, и, однако, когда вырываешь его, то на корнях остается комочек питавшей его земли. Но она ничего не сделает, чтобы стряхнуть с себя эту непривычную истому, целиком завладевшую ею; и она, эта истома, прилежно и терпеливо оплетает ее нитями невидимой паутины.

— Если я с тобой раньше не поговорила, так только потому, что время еще не пришло. Все приходит в свое время. К чему, ну скажи сама, пытаться остановить коня, когда он брыкается, норовит укусить? Вот когда он устанет, уходится, вот тогда-то и пришло время сказать ему ласковое словечко, надеть на него узду. Животные ли, люди ли, немного, поверь, найдется таких, что устоят перед добрым словом, нужным словом. На беду, люди говорят слишком много. Столько говорят, говорят столько, что в один прекрасный день слова всю силу свою теряют, превращаются в пыль, в полову.

Она подходит к огромному платяному шкафу,

открывает дверцу, и комнату наполняет теплый аромат вербены. Все полки сверху донизу битком набиты белоснежным бельем, но сейчас, когда на него падает отблеск отполированной временем дверцы, оно принимает неуловимый нежно-золотистый оттенок. И в комнате с единственным окном, затянутым шторой, как бы возникает еще один источник света, немыслимо мягкого. Ах, какая женщина, подобная Мушетте, хоть раз в жизни не мечтала о таких сокровищах?! При любых других обстоятельствах ее восторженное остолбенение быстро сменилось бы злостью, но сейчас она и впрямь слишком измучена. Она вдыхает этот незнакомый аромат, ей чудится, будто ладони ее ощущают ласковое прикосновение этих светоносных тканей, их прохладную свежесть.

— В день смерти матери нельзя возвращаться домой в таком виде, как у тебя. Такой день надо чтить. Поверь мне, детка, это великий день. Ты хоть раз думала о смерти, а?

Мушетта молчит. Она по-прежнему не сводит глаз со шкафа. И внезапно мысль о смерти сливается с образом этих стопок беспорочно белого белья.

— Я-то знаю толк в смерти, — доверительным

тоном продолжает загадочная ее собеседница. — И в мертвых толк знаю. В твои годы я боялась мертвецов. А теперь я с ними беседую — конечно, это только так говорится, что беседую, и они мне отвечают, по-своему, но отвечают. Похоже на шепот, скорее даже на легкое дуновение, идущее из недр земли.

Как-то я попыталась объяснить это нашему кюре, но он меня разбранил. По его представлению, мертвые на небесах… Сама понимаешь, я не стала ему перечить, но от своих мыслей не отреклась. Раньше, в давние времена, мертвых, говорят, почитали, да что там, обожествляли! Видишь ли, дочка, это должно было бы быть самой настоящей религией. Все живое — это одна грязь и смрад. Ты скажешь, что покойники тоже не слишком-то хорошо пахнут. Кто ж спорит? Когда сидр бродит, от него тоже разит коровьей мочой. А смерть, как и сидр, должна сначала перебродить.

Она семенит в угол комнаты, кладет на постель большой сверток, аккуратно завернутый в салфетку.

— Если бы я все это людям рассказала (вынимая булавки, которыми сколота салфетка, она одну за другой зажимает их губами), они бы мне в лицо расхохотались… Да ты сама… Признайся-ка, что

ты тоже, если бы не такой день, мне вслед гримасы бы строила. Только сегодня твое сердечко спит. И постарайся, дочка, не разбудить его до срока. Это лучшие минуты в жизни. Я-то ничем не могу помочь людям, которые по-настоящему проснулись, у таких злоба всегда начеку. Лучше уж сунуть руку в барсучью нору. Когда ты сегодня утром в первый раз прошла мимо моего дома, — помнишь? — ты вдруг остановилась посреди дороги. Все твое личико спало, а вот глаза не спали. А когда я тебя во второй раз увидела, и глаза твои тоже спали. К чему ее будить, — вот что я про себя подумала. Ведь она уже испила свою чашу горечи, разве нет?

Последние слова она таинственно шепчет прямо в ухо Мушетте, и та решается наконец приподнять склоненную голову, взглянуть на свою собеседницу.

— Я знаю, ты меня поняла, — произносит старуха, и морщинистые ее щеки розовеют. — Бьюсь об заклад, что у вас дома даже простыни нет для погребения! Прямо жалость смотреть, как здесь покойников обряжают. Подумай только, ведь до рождества Христова их умащивали душистыми маслами благовониями зовутся, — да это целое состояние стоило. А теперь покойников даже

не обмывают. Да что говорить, самого маркиза и того похоронили не побривши, с грязными ногтями. Если бы они, дочка, смели, они бы покойников сразу в гроб запихивали, и кюре еще похвалил бы их. Что толку, что он ходит вокруг гроба, да кропит его святой водой, да ладаном кадит! Все равно он мертвецов бренной оболочкой обзывает — так вот ты могла бы про пустую сумку сказать! Горе-то какое! А с усопшим надо обращаться бережнее, чем с невестой, лелеять его, прихорашивать, прежде чем он отыдет в землю, где и очистится.

В выцветших ее глазах зажегся огонек: теперь они совсем как два подснежника. Мушетта смотрит на нее, разинув от удивления рот. Ясное дело, старуха упивается одной лишь ей ведомыми картинами. Какое-то пугающее простодушие слышалось в звуках ее голоса, залегло во всех ее чертах, застыло в улыбке.

— Отнесу простыню, самую свою лучшую простыню. Мы вместе ее, детка, и обрядим. А сделаю я это для вас, потому что ты слушаешь меня и не смеешься. Люблю я юность. Надо тебе сказать, что я родом не отсюда, ты даже никогда про такой край и не слыхала. Горный край. В нашей деревне как кончится осень, так солнца больше и не уви-

дишь. Встает оно слева, заходит справа, и даже не может высоко в небо подняться и показать людям свою круглую дурацкую физиономию.

А зимой из-за морозов земля такая твердая становится, что мертвых не закапывают: поставят гроб в пустой сарай, до весны покойнику ничего не сделается — на холоде промерзает. Ты только представь себе, кладбище было как раз против нашего дома, там и церковь стояла, самая обыкновенная, наполовину каменная, наполовину дощатая. А так как дорога туда не слишком-то хорошая — вечно обвалы да лавины, — кюре по полгода к нам не подымался; вместо него по воскресеньям ризничий Евангелие читал, ничего не поделаешь! Места у нас мало, кладбище разместили на площадке, а стены площадки уходили отвесно вниз на сотню метров. Кладбище крохотное, величиной с ладонь, зато ты и вообразить себе не можешь, до чего же прелестное. Я ночью вставала им полюбоваться. Даже без луны можно было различить кресты.

Говорила она монотонно, не повышая голоса, но слова срывались с ее губ все быстрее и быстрее. Мушетте невольно припомнились маленькие мельнички те, что мальчишки вырезали из дерева. Как раз одна такая мельничка осталась у них

за домом, забытая еще с лета, я, хотя вода широко разлилась, было слышно круглые сутки ее пчелиное жужжание, заглушавшее даже торопливый плеск ручья.

— На, держи, — продолжала старуха. — В знак нашей дружбы я подарю тебе хорошую простыню тонкого полотна. Даже не все богачи уходят в мир иной в таких нарядах; родня старается всячески изловчиться, лишь бы похуже! И для тебя у меня есть неплохой сюрприз…

Она взяла с постели уже развязанный сверток.

— Это память, — шепчет она. — Если сердце тебе подскажет, будет во что одеться. По-моему, все твоего размера. Одна беда — цвет неподходящий: только белое да голубое. Потому что, видишь ли, покойнице еще пятнадцати не исполнилось, а она уже приняла обет.

— Какой обет? — удивляется девочка. — Что это значит — «обет»?

— Обет, который ее мать дала. Ее мать была дочерью покойного мосье Тревена, владельца прядильной фабрики в Рубе, первейшего богача. Он купил замок Тремолан в двадцати лье отсюда. Летом я там у них служила. Надо тебе сказать, что до тридцати лет здоровье у меня было слабое. Худющая, желтая какая-то, да еще изо рта

у меня дурно пахло — все парни меня на смех подымали! Ну и ладно! Малышка только со мной хотела играть, и дедушка не возражал. Впрочем, играть — это только так говорится, на самом-то деле она любила лишь читать да разговаривать. Все о своих книгах рассказывала. Я, признаться, не особенно-то соображала, о чем она болтает, но зато какое удовольствие было на нее глядеть. Ох, теперь-то я знаю, что не следует гордиться внешностью, столько я нагляделась на молодых красивых покойниц. Кто нас с ней вместе видел, сразу бы решил, что я не жилица на этом свете, такая я была тощая, прямо как галка.

Когда летом в замок привозили барышню, когда она вся в белом выскакивала из черного ландо, заваленного кожаными чемоданами, вся так и благоухающая юностью, она всякий раз, прежде чем меня поцеловать, положит, бывало, мне обе ручки на плечи и скажет: «Боже, какой же у тебя скверный вид, бедняжечка Филомена!» И вот как-то ее привезли из города гораздо раньше, чем обычно, не летом, а весной. Никогда я еще ее такой красавицей не видела, только уж много позже я заметила, как она исхудала. Но самое удивительное, что с этих самых пор я неведомо почему начала чувствовать себя лучше. Слуги,

бывало, и те меня не узнавали. «Физиономию, что ли, тебе подменили?» — смеялись они. Да вовсе не в одном лице тут дело: мне казалось, будто меня ждет великое счастье, что приходит наконец и мой черед.

Теперь в присутствии барышни я совсем не конфузилась. Впрочем, весь дом со мной носился, что-что, а за больной так ухаживать, как я, никто не сумел бы. Из последних сил выбивалась: бывало, подряд трое суток глаз не смыкала, хотя никакой нужды в этом не было, все гляжу, как она спит. Очень возможно, что когда я вот так смотрела на нее спящую, я и приохотилась бодрствовать ночами при покойниках. Незадолго до восхода солнца на лице ее угасало не только сияние юности, но и сама юность как бы уходила. Такое лицо у нее лишь только я одна и видела. И в эти минуты разделявшее нас расстояние словно бы исчезало. Можно даже подумать, что в часы самого крепкого сна вся ее сила, вся ее свежесть уходила от нее и вливалась в меня. Как будто в жилах моих бежала чья-то другая кровь. Порой барышня сердилась. «Ты чего так на меня смотришь?» — спрашивала она. «Ничего не бойтесь», — это я ей отвечала. А то прислонюсь щекой к ее щеке, а она потихоньку фыркнет.

Однако не отворачивалась, моя жалость к ней была посильнее ее отвращения ко мне. Иной раз даже она положит мне голову на плечо и как зарыдает.

От белокурых ее волос шел запах вереска, такой нежный запах, что я даже начинала мечтать о любви, это я-то, которая никогда о мужчинах и не помышляла. Но даже в такие минуты я о ее болезни помнила, потому что лоб ее был покрыт холодным липким потом. Все время она с брезгливой гримасой вытирала его кончиками пальцев, ну а я, понятно, притворялась, будто ничего не замечаю. Как-никак, ведь это была общая наша тайна. И долго все оставалось втайне, потому что с утра она румянилась, да так искусно, что мать слишком поздно обнаружила, что болезнь идет гигантскими шагами. Такие болезни вообще быстро идут. Я сама слышала, как говорили доктора: «Она не борется с недугом…» А зачем бороться-то? Спустя несколько недель, когда мы оставались с ней вдвоем, она уже перестала притворяться.

Думаю даже, что ей доставляло удовольствие показываться передо мной, какой она стала на самом деле — мертвенно-бледной под слабым слоем румян, с потухшими глазами, и в вырезе ее

рубашечки — как же я в свое время завидовала, что у нее такое чудесное белье, — виднелась впалая грудь. Кто знает, может быть, так она отдыхала после целого дня, когда разыгрывала комедию? Теперь она требовала, чтобы я ночевала у нее в спальне на раскладной кровати. Дед заказал ей на осень комнату в одном заведении санаторием зовется, это как бы больница для миллионеров. «Торопиться некуда, — убеждал он дочь. — Летом у нас здесь такой же здоровый климат, как и там; да и ты сама видишь, она часу обойтись без Филомены не может». Что правда, то правда, она все больше привязывалась ко мне, а я к ней. Барыня даже начала на меня косо поглядывать. «Филомена совсем себя не щадит», говорил дедушка. А барыня отвечала: «Ты, значит, просто не замечаешь, как она растолстела». И это правда. Бессонные ночи мне были нипочем, я как-то умею без сна обходиться. И барышня тоже обходилась без сна, а может, просто разлюбила спать.

Днем она была на ногах, как и обычно, иногда даже смеялась, сама слышала. Хотя я старалась как можно реже днем ей на глаза попадаться, но если уж случайно попадалась, она как-то странно улыбнется, принужденно так. Когда мы вечером оставались с ней вдвоем, она поначалу притво-

рялась, будто спит. К полуночи просыпалась — кашель ее душил. Я присаживалась к ней на кровать, рубашка ее от пота прилипала к телу. А когда приступ проходил, она становилась беспомощной, как малое дитя; твердила, что скоро умрет, что прекрасно это знает, что ей стыдно слушать, как доктора все врут. Вот с этих-то пор я и стала думать, что человек должен покоряться смерти. Она часами плакала потихоньку, не всхлипывая, даже слез не смаргивала, казалось, это сама жизнь уходит из нее слезами. В конце концов и я тоже начинала плакать. «Как же ты меня любишь!» — говорила она. Да что там! Эти слезы мне во вред не шли, потому что я никогда не уставала. Напротив, такого аппетита у меня в жизни не было. Прибегу на кухню первая, когда молоко к завтраку еще не закипело. Кажется, камни бы и те сглодала.

Было видно, что старушка уже говорит только для себя самой, совсем забыв о присутствии Мушетты; сверток так и остался лежать у нее на коленях, она обхватила его дрожащими руками. Какие потаенные глубины, какие тайники души всколыхнула в ней эта повесть? Да только всколыхнула ли?

— А что с вашей барышней дальше было? —

задала вопрос Мушетта внезапно охрипшим голосом.

Она нервно схватила за запястье свою собеседницу и уперлась ей в лицо не предвещавшим доброго взглядом, как в самые свои черные дни.

— Ты меня, детка, совсем перепугала. На чем это я остановилась? Уже не помню. Я вроде задремала, а ты меня рывком разбудила.

Как ни коротка была передышка, к Мушетте вернулись силы. Она чувствовала, что щеки ей заливает слишком знакомый жгучий румянец, что виски болезненно сжимает — верный признак близкого приступа упрямой злобы, так раздражавшей Мадам.

— Противная, грязная старушонка, терпеть вас не могу. Да будь я на месте этой барышни, я бы вас лучше удушила.

— Нет, вы только посмотрите на нее, — спокойно, ничуть не испугавшись, произнесла старуха. — Настоящая дикая кошка! Да что у тебя, черномазой, общего с барышней, а? Она беленькая, свеженькая была, а ты, ты на цыганку похожа!

И неожиданно для Мушетты, так что девочка не успела даже ощетиниться, она приблизилась к ней, положила ладонь ей на грудь, там, где

бьется сердце.

— Я тебе только добра желаю, — проговорила она. — Ты плохая девочка, но только потому, что многого не понимаешь. По-моему, вся твоя история мне уже известна. Говори, говори же спокойно, дочка.

Она свернулась клубочком в глубоком кресле, а руки ее заходили вверх и вниз — вдоль черного платья, особенно же быстро шевелились пальцы, и казалось, это даже не пальцы, а маленькие серые зверьки, бесшумно подстерегающие невидимую добычу.

Часть четвертая

Заброшенный уже давно за ненадобностью песчаный карьер. Вырыли его почти у самого подножья холмов, так что мало-помалу туда набралась вода. Каждую зиму ручей — его трудно даже разглядеть под обрушенными на него в ходе работ вековыми валунами — начинает вновь потихоньку струиться, и по множеству канавок стекает по отлогому склону, добирается до равнины и там, прежде чем слить свои воды с водами ручья Планке, образует миниатюрный прудик, такой прозрачный, с таким бело-розовым гравием, устилающим дно, что его справедливо опасаются головастики.

Подружки Мушетты назначают здесь мальчикам свидания. Но в это воскресное утро здесь ни души. Для пущей надежности она перелезает через бывшую насыпь. После постоянных обвалов здесь образовалось нечто вроде узкой пещеры, доступ в нее запрещен из-за ненадежности грунта, о чем предупреждает надпись у входа, разукрашенная непристойными рисунками хулиганов-мальчишек, и при лунном свете длинная тень, падающая от дощечки с надписью

на белесый бок холма, напоминает распятье.

Отсюда, с высоты, Мушетте видна вся лощина, где притулилась их хибарка. К небу из трубы тянется узенький столбик дыма. Ноздри ей щекочет запах мокрого песка, такой отличный от всех других запахов земли, к которым она уже давно принюхалась. Здесь пахнет свежей известкой, новым, еще не обжитым домом, а также чуточку солью и водяной пылью. Сотни раз она вот в такие же утренние часы забывала здесь тошнотворное тепло их саманной хижины, и однако же, каждый вечер вновь окуналась в него с покорностью загнанного зверя — и не без тайного удовольствия. Ибо отвращение было единственным подлинным покоем для дикого ее сердечка среди ненавистных или презираемых людей. А так как она была неспособна объять разумом свой природный бунт, свое, вряд ли даже осознанное, неприятие, именно так мстила она сама себе за непостижимое одиночество, совсем так, как случалось ей, дойдя до последних рубежей усталости, нарочно улечься прямо в месиво дорожной грязи.

Теперь она отдавалась этой усладе отвращения с незнакомой ей раньше ясностью, и это казалось чудесным. Старуха Филомена сказала именно

единственно нужные слова, которые могли заставить Мушетту растрогаться над собственной своей долей! То, что далось бы без труда девушке городских окраин, чье воображение уже достаточно обогащено романами, печатающимися в газетах, и киноэкраном, Мушетта проделывала теперь с мучительной неловкостью. Потребовалось воистину нечеловеческое усилие хотя бы просто для того, чтобы понять, что ее разочарование в любви все же подняло ее таинственным путем на некую более высокую ступень, что она разом вступила в некий романтический мир, смутно угадываемый из случайно прочитанных книг, что отныне она принадлежит к тому привилегированному племени, где чувствительные сердца выискивают богатую добычу для сострадания, как вылавливает гурман в своем живорыбном садке самую прекрасную форель.

Да, старуха сказала единственно нужные слова. Прямо чудо, что ей удалось выведать тайну Мушетты. С помощью какого колдовства? Ибо слов все-таки было бы мало для того, чтобы отошло это замкнутое наглухо сердце, чтобы открылся источник слез. Впрочем, Мушетта никаких слов и не запомнила.

Только слово «смерть» звучало в ее ушах так,

будто она услышала его впервые. Еще вчера оно было полое, черное. Внушало лишь тупой, смутный страх, не поддающийся определению, — и если обычно она избегала его произносить, то совсем не из-за суеверной щепетильности, а из-за жестокого равнодушия к ее жертвам. Впрочем, слово «старость» и «смерть» до сих пор, как и в самом раннем детстве, казались ей почти что синонимами — двумя ликами одной и той же реальности.

И вот сегодня, когда она думала о собственной смерти, сердце ее сжимал уже не страх, а тревога перед сказочным откровением, неотвратимым раскрытием некоей тайны, той самой тайны, в которой ей отказала любовь. Конечно, она создала себе об этом загадочном событии какое-то еще совсем детское представление, но этот образ пьянил ее теперь щемящей нежностью, хотя вчера еще оставлял равнодушной. Так вдруг промелькнет перед нами в свете желания знакомое лицо, и мы сразу догадываемся, что уже давным-давно оно дороже нам самой жизни.

Легкий сверток так и лежит у ее ног прямо на песке. Напрасно старается она представить себе лицо юной покойницы, вынимая одну за другой заржавевшие от времени булавки. И вот на ее

коленях разложена реликвия, почти столь же невесомая, столь же бестелесная, как вызванный воображением Мушетты призрак. Пальцы перебирают складки муслинового платьица. Какой смуглой, совсем черной кажется ее рука сквозь еле ощутимую ткань! С минуту она разглядывает эту руку с удивлением, потом с отвращением, наконец, чуть ли не с ужасом.

И в этот миг и по такому ничтожнейшему поводу жалость, которой она было прониклась к себе, вдруг разом исчезает. Обычно считается, что самоубийство такой же акт, как и все прочие, другими словами — последнее звено в длинной цепи размышлений или хотя бы образов, финал последней битвы между жизненным инстинктом и иным, более загадочным инстинктом неприятия, отказа. Однако это не так. Если не брать тех случаев, когда дело идет о маниакальной одержимости, разбираться в которой дело врача-психиатра, то обычно самоубийство — это необъяснимый феномен пугающей внезапности, невольно приводящий на мысль те химические разложения, по поводу которых современная наука, еще только начинающая лепетать, выдвигает лишь нелепые или противоречивые гипотезы.

Эта смуглая рука с грязными ногтями, она

здесь, перед глазами, рука, уже покрытая сетью морщинок, уже полуувядшая и еще такая юная у хрупкого запястья. Сейчас она кажется неживой — кисть бессильно разжата, пальцы чуть скрючены. И на какой-то миг она видится Мушетте по-настоящему мертвой, словно уже зарытой в сырую землю. Она начинает ненавидеть эту руку, как если бы та принадлежала не ей, а кому-то другому, ненавидит, как некий странный, чужеродный предмет.

Большой палец чуть искривлен после нарыва, и рубец проступает белесоватой полоской. До чего же похож этот палец, расширяющийся к концу, словно нос лыжи, на отцовский палец, и ноготь такой же уродливый, огромный, выпуклый. Так или иначе, ее воспламененное воображение уже не отделяет их друг от друга. Такие руки бывают у тех, кто навсегда отмечен клеймом бед. Собственная рука вызывает в памяти лишь унижения, которым нет числа. Сколько раз Мадам демонстрировала всему классу, высоко подняв над учительской кафедрой эту неопрятную руку, — вот так и разносят микробы смертельных болезней те, кто пренебрегает основными правилами гигиены. А руки, что видела Мушетта несколько часов назад сложенными на впалой

груди матери, тоже, конечно, были из той же породы проклятых. Еще, пожалуй, более проклятых, раз они впустую трудились столько лет!

Покойная мать не отличалась нежностью, и на долю Мушетты от этих преждевременно постаревших рук немного перепало ласки. Да и ласки ли? Быть может, когда-нибудь очень давно? Но она почти не помнит раннего своего детства, ибо таково свойство всех существ, рожденных под знаком мечты, первые годы жизни оставляют в их памяти лишь туманную смутную картину, и прояснится она много позже, много, много позже, на пороге старости, а возможно, лишь в смертный час. У большинства девушек, схожих с Мушеттой, жизнь по-настоящему начинается с пробуждением чувств. Но это-то время как раз и стало для Мушетты порой самых безжалостных трепок, потому что отец обладал в таких делах совсем особым, жестоким мужицким нюхом.

В подобных обстоятельствах было бы естественно, если девочка, такая же несчастная, нашла бы себе вне ненавистного очага хоть какую-то отдушину нежности, пусть даже двусмысленную дружбу с подружкой-ровесницей. Но всякий раз, когда Мушетте представлялся такой случай, она инстинктивно отталкивала его чуть ли не во-

преки собственной воле, в порыве самозащиты, что, впрочем, сама считала глупым, ибо причина была скрыта в потаеннейших уголках души и она не сумела бы найти ей объяснения. К тому же замкнутое выражение лица, взгляд, одновременно дерзкий и боязливый, не привлекали к ней симпатий. Короче, измученная и незадачливая Мушетта охотно согласилась бы никогда не узнавать сладости ласки, настоящей ласки. Но вот однажды…

Было это на ярмарке в Тремьере. Ей велели отнести в кабачок Дюмон улов отца — целую корзину угрей. Какая-то высокая белокурая девушка нечаянно толкнула Мушетту, прошла было мимо, но тут же вернулась и осведомилась, как ее зовут, однако ответа не получила. Тогда она погладила Мушетту ласково и чуть рассеянно по щеке. Сначала Мушетта даже внимания не обратила на такие пустяки. Но к вечеру ее стало мучить это воспоминание, и она всячески старалась изгнать его из памяти. Однако при первых отблесках зари, когда Мушетта проснулась на жиденьком тюфячке, — такие тюфячки в базарные дни мадам Дюмон клала прямо в узеньком коридорчике, заставленном пустыми бидонами и бутылями, где острый винный запах смешивался с жирной

и пресной вонью керосина, — вот тут-то дневное происшествие вдруг предстало перед ней до неузнаваемости не таким, как на самом деле. Еще полусонная, она подсунула под щеку согнутую руку, и вдруг — каким чудом? — почуяла еле уловимый аромат той теплой ладони и этой руки, такой явственной, такой близкой, такой живой, что она не раздумывая подняла голову и протянула губы для поцелуя.

Тогда ей было всего десять, но сердце ее уже достаточно очерствело, чтобы без труда отогнать эту загадочную слабость. Вплоть до краткой встречи с красавцем браконьером ей ни разу не удавалось совладать с тем необъяснимым бунтом, который после мгновенного и напрасного порыва вновь погружал ее в пучину дикарскою одиночества. Но подобно тому, как глубинное поражение нерва через незримые каналы проходит болью по всему телу и очаг ее оказывается внезапно так далеко от раны, что вводит хирурга в заблуждение, так и сейчас, несмотря на то что воспоминание о той незнакомке и ее беглой ласке почти изгладилось из памяти, Мушетта начала разглядывать свои руки с каким-то неестественно острым любопытством, с тайным отвращением.

Недаром Мушетта не могла отделаться от

чувства вечной неловкости под чужим взглядом — под взглядом Мадам она краснела до ушей, она уже давно обнаружила удивительную способность человеческих рук к выражению всевозможных оттенков чувств, которая в сотни раз сильнее, чем, скажем, глаза, выдает нас с головой, потому что руки не слишком искусны во лжи, потому что их в любую минуту можно увидеть за тысячью дел, тогда как взгляд — неутомимый наблюдатель — вечно начеку под завесой век… Взять хотя бы руки отца, каждый вечер они спокойно сложены на коленях и особенно страшны при свете единственной лампы, бросающей вокруг пляшущие тени; так и кажется, что кости вот-вот прорвут туго натянутую кожу; а эти пучки рыжей шерсти, густо покрывающей каждый сустав огромных пальцев! И дедушкины руки тоже, она видела их мирно сложенными на животе, когда дедушка забирался летним днем в уголок потемнее и сидел там при закрытых ставнях, среди незримого облака мух… А руки братьев, слишком быстро превратившиеся в рабочие руки, в мужские руки. А руки крестьянок — от этих рук несет кислым молоком, запаркой для телят и свиней. Даже руки Мадам, правда, они гораздо меньше, зато кончики пальцев истыканы иглой

и все в черных точечках… Трудолюбивые руки, руки землепашца, руки неутомимой хозяйки — в состоянии покоя они просто смешны. И бедняки сами понимают, что смешны, так как стараются спрятать подальше праздные руки от любопытных взглядов. Ведь недаром о принарядившемся ради воскресного дня рабочем говорят: «Он не знает, куда руки девать», жестокая шутка, коль скоро насмешник обязан хлебом своим насущным труду этих рук.

Носком башмака Мушетта случайно наступает на подол легчайшей ткани, уже источенной годами, и от резкого ее движения вся юбка расползается снизу доверху. Потому что муслин сделался не толще паутины. Девочка пытается отцепить шелковистую материю от рук, но она почти невесома, липнет к грубой шерстяной юбчонке и окончательно разлезается лохмотьями.

Не в этот ли миг Мушетта ощутила второй прилив той смутной силы, что пробудилась в самых сокровенных, самых потаенных уголках ее существа? Этот новый прилив столь властен, что она начинает топтаться на узенькой площадке и стонет, как зверек, попавший в капкан. Однако мысль о смерти еще не окончательно сложилась в голове, и она всматривается в пруд, поблески-

вающий у ее ног, еще рассеянным взглядом. Не хочет она умирать. Скорее уж это чувство похоже на неодолимый приступ непонятной стыдливости, загадочной робости, такая вдруг ни с того ни с сего накатывает на человека нервного, причем не в обществе незнакомых людей, а в кругу своих близких, посреди жаркой беседы, накатывает с внезапностью эпилептического припадка и так же внезапно отгораживает его от всех прочих незримым кругом тишины и одиночества, и кажется даже, что он, обезумев, кружится на месте, подобно скорпиону, схваченному кольцом огня.

Ни на миг в мыслях Мушетты не возникает образ того человека, в чьих объятиях она побывала, с кем делила всю эту ночь ребяческого и зверского кошмара. В подобные минуты гнев и стыд могли бы обернуться надеждой, ибо такие страсти несут в себе тайное желание взять реванш. Но ее необузданное, чисто плотское воображение никогда не переступало за рамки настоящего, и в этот торжественный час будущее стало для нее еще сильнее, чем когда-либо, просто словом, лишенным всякого смысла. «Зачем?» — страшный, неумолимый вопрос, на который не может дать ответа ни один действительно одержимый страстями человек и который может спасти лишь

редких героев в силу некоей чудесной благодати, ибо вопрос этот обычно оборачивается против спрашивающего, символ древнего змия, а быть может, и сам змий, — такой вопрос не коснулся губ Мушетты. Он, смутный, просто заложен в ее душе, подобно мине, взрывающейся в глубинах вод: взрыв доносится до нашего слуха только глухим ворчанием, хотя неукротимое волнение вздымается уже из безгласной пучины. Точно так же смертоносная сила, исчадье ада, неусыпная и ласкающая ненависть, расточающая перед богачами и сильными мира сего тысячи дьявольских своих соблазнов, сила эта может лишь врасплох завладеть обездоленным, кого отметило проклятое клеймо нужды. Ей приходится украдкой, день за днем следить за обездоленным с пугающей настойчивостью и, разумеется, с тайным ужасом. Но как только приоткроется в этих простых душах брешь отчаяния, им в их неведении не остается ничего другого, как самоубийство, самоубийство бедняка, так похожее на самоубийство ребенка.

С площадки свисала полоска муслина, и ее не шевелил ветер.

Теперь уже взгляд Мушетты не отрывался от крохотного заброшенного прудика. Когда на него падали косые лучи солнца или когда его

накрывала тень, вода попеременно то тускнела, то переливалась муаровым блеском.

Инстинкт шепнул несчастной девочке об опасности, но лишь шепнул, и она начала спускаться с откоса, понурив голову, тщетно пытаясь собрать воедино рассыпавшуюся несвязную череду картин, подобную взвихренному ветром хороводу опавшей листвы. Разумеется, она догадывалась о смысле этой тревоги, этого смятения, этого оцепенения ума, как бы скованного приливом вдруг сгустившейся крови, которая тяжело билась в каждой жилке. Но нынче это оцепенение было предвестником сна после приступа лихорадки, когда открываются все шлюзы пота. Только она не знала, какого сна.

Повернувшись спиной к пруду, она подняла глаза на привычный пейзаж со смутной надеждой найти там защиту, поддержку. И она уже обратила взгляд на дорогу, которая, опоясав лес, резко уходила вниз, в долину, как бы повисшую между небом и землей. На ту самую дорогу, которой она проходила сотни раз осенью по воскресным дням вдоль живых изгородей, усыпанных ягодами ежевики… Слезы подступили к глазам. Во всяком случае, она почувствовала, как жжет у нее под веками… Но в ту же самую минуту она услышала

цокот лошадиных подков на Мезаргской дороге, и почти сразу на вершине холма появилась грузная кобыла дядюшки Менетрие. Человек и лошадь были совсем близко, так близко, что она слышала, как чертыхается про себя старик, так просто, по привычке, проклиная свой катар.

Первым порывом девочки было бежать, но ноги словно свинцом налились. По мере того как приближался дядюшка Менетрие (тут дорога делала изгиб, и до нее было рукой подать), сердце Мушетты все громче стучало в груди, как у игрока, который не спускает глаз с рук сдающего, зная, что от следующей выпавшей карты зависит вся его жизнь. На мгновение взгляд старика упал на нее, равнодушный взгляд животного. Ей бы крикнуть, позвать, броситься вслед за своим спасителем, пускай даже таким нелепым. Но он уже тяжело протопал мимо, и Мушетте почудилось, будто несуразный его силуэт удаляется со сверхъестественной быстротой, словно его всасывает пустота. От этой умопомрачительной быстроты даже голова закружилась. Для человеческого существа, чьи мускулы еще покоряются воле, собственное его тело становится лишь призраком.

Самоубийство, как таковое, в действительности пугает лишь тех, кто не пытался покончить

с собой и никогда не покончит, ибо черная бездна принимает только того, кому самой судьбой предназначено сойти в нее. Тот, кем владеет смертоносная воля, еще не знает, так ли это; он догадается об этом в последний миг. И последний проблеск мысли человека, кончающего с собой, если только он не сумасшедший, — это, должно быть, ошеломляющее, безнадежное удивление. За исключением безумцев, подсудных иному, никому не ведомому закону, никто никогда не пытался, в случае неудачи, убить себя во второй раз.

Вблизи вода казалась совсем прозрачной. Ил, устилавший дно, был серого, почти зеленого цвета, ласкал глаз, как бархат.

Но в тысячи раз ласковей был голос, что говорил в сердце Мушетты. Да и голос ли это? Мушетта вслушивалась в него так, как слушают животные голос своего хозяина — понукающий или успокаивающий. Голос этот был похож на голос старухи Филомены, но также и на голос Арсена, а иногда даже напоминал голос Мадам. Понятно, он не говорил ни на одном существующем языке. Был он лишь неясным бормотанием, шепотом и с каждой минутой становился все тише. Потом совсем замолк.

Мушетта соскользнула с берега, ступила шаг, другой, пока не почувствовала в икрах и бедрах слабое покусывание холодной воды. Вдруг владевшая ею тишина стала всесветной. Так толпа удерживает дыхание, когда эквилибрист взбирается на последнюю ступеньку уходящей в головокружительную высоту лестницы. Слабеющая воля Мушетты окончательно растворилась в этой тишине. Повинуясь ей, она скользнула вперед, держась одной рукой за кромку берега. Простое движение кисти вполне могло удержать на поверхности ее тело, впрочем, здесь было мелко. И вдруг, подчиняясь правилам некоей пагубной игры, она откинула назад голову, глядя в самый зенит неба. Коварная вода охватила ее затылок, залилась в уши с веселым праздничным журчанием. И, сделав легкое движение всем телом, она почувствовала, что жизнь украдкой уходит от нее, а в ноздри ей уже бил запах самой могилы.

ЦЕЛАЯ
КНИГА